Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

БОМАРШЕ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

●

МЕМУАРЫ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья и примечания
Л. Зониной

И (Фр)
Б 80

Иллюстрации
Ю. Игнатьева

Скан и обработка: glarus63

7—5
Подп. изд.

П.О.КАРОН ДЕ БОМАРШЕ

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ПЬЕРА-ОГЮСТЕНА КАРОНА ДЕ БОМАРШЕ

В тридцатых годах прошлого века Луи де Ломени, работавший над книгой о прославленном авторе «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро», добрался до его архива. Взломав дверь чердачной каморки — ключ не поворачивался в проржавелом замке,— Ломени увидел аккуратные ряды папок, снабженных описями. Папки хранили след жизни делового человека, негоцианта и прожектера, тайного королевского агента и деятельного поборника независимости Американских штатов, собеседника и советчика министров, издателя Вольтера, изобретателя и законника. Реестр одной из этих папок Ломени привел потом в своей книге «Бомарше и его время». Здесь набросок курса всеобщего уголовного права и замечания о возможности приобретения земель в Сиото. Заметки о гражданских правах протестантов во Франции. Рассуждение о пользе посадок ревеня. Проект займа, «равно выгодного для короля и его подданных». Проспект строительства мельницы в Арфлере и предложение воздвигнуть мост через Сену подле Арсенала. План торговых сношений с Индией через Суэцкий перешеек и записка, «коей цель дать королю двадцать линейных кораблей и двенадцать фрегатов для конвоирования торговых судов, направляющихся в колонии». Заметки о превращении торфа в уголь и преимуществах, которые сулит это открытие. И еще многое другое.

Всем этим занимался один человек. Ворочая миллионами, он писал пьесы, следил за их постановкой, отстаивал права драматургов. Выполняя приватные поручения короля, размышлял о высокой политике. Отбиваясь от противников, посягавших на его честность и состояние, сотрясал общество своими мемуарами. Будучи лишенным гражданских прав, составлял по поручению правительства проект реформы высшего судебного органа страны.

Биографию этого человека так и хочется озаглавить «Жизнь и похождения Пьера-Огюстена Карона де Бомарше», на манер плутовского романа. Впрочем, можно написать о нем и роман сентиментальный — недаром отец и сестры нередко сравнивают в своих письмах Бомарше с благородным и чувствительным Грандисоном, героем модного в ту пору английского писателя Ричардсона, которого так любила матушка Татьяны Лариной. Достанет в биографии Бомарше материала и на роман исторический (действительно написанный полтора века спустя Лионом Фейхтвангером), ведь не кто иной, как он, снабдил оружием американских индепендентов и склонил Людовика XVI признать правительство мятежников, отделившихся от британской короны. И для полноты картины окажется необходимым написать еще исследование о Бомарше-драматурге, реформаторе французского театра, создателе Фигаро, чье имя стало нарицательным, как имя Дон-Жуана или Гамлета.

А между тем рождение сулило Пьеру-Огюстену судьбу неприметную. Он появился на свет 24 января 1732 года в Париже, на улице Сен-Дени. Карон-отец, часовщик, выходец из протестантской семьи, принявший католичество ради того, чтобы обосноваться в столице, рассчитывал, что сын тоже станет часовщиком. С тринадцати лет, получив начатки образования в церковной школе, Пьер-Огюстен вооружился лупой и вступил на предусмотренный цеховым уставом путь, который через восемь лет ученичества должен был дать ему права «компаньона», то есть полноправного члена цеха парижских часовщиков.

Пьер-Огюстен постигал отцовское ремесло играючи. Он вскоре опередил всех подмастерьев, а в девятнадцать лет изобрел анкерный спуск, который не только улучшал работу механизма, но и позволял делать часы маленькими и плоскими,— а это весьма прельщало парижских дам и щеголей. К поискам Карона-сына благожелательно приглядывался всеми уважаемый мастер, господин Лепот. Впрочем, этот интерес, как оказалось, был не вполне бескорыстен: господин Лепот попросту присвоил себе изобретение. Ему и в голову не приходило, что безвестный юнец посмеет протестовать и вступит в борьбу с ним, «королевским часовщиком», что он напишет письмо о «печестном поступке» редактору газеты «Курьер де Франс» и обратится в Академию наук с просьбой изучить представленные им документы и признать его, Карона-сына, изобретателем анкерного спуска, а почтенного господина Лепота — вором.

В этой истории с анкерным спуском впервые проявились те черты натуры Пьера-Огюстена Карона, которые принесут ему потом мировую славу. Его талантливость. Его пренебрежение к установленным «правилам», стремление все переделать, обновить, переиначить. Его неудержимый протест против несправедливости, которая, будучи совершена по отношению к нему лично, представляется ему посягательством на миро-

порядок, — защищая собственные интересы, он всегда будет отстаивать Истину, Право, Всеобщую Справедливость.

Пока что скандал с похищенным изобретением приносит известность Карону-часовщику. Среди его клиентов Людовик XV. Он делает крохотные часы — самому королю, его фаворитке маркизе де Помпадур, принцессам. Это приводит его в Лувр. Тут в часовщике обнаруживают неожиданные таланты. Дело в том, что Карон-отец был суров в часы работы: трудовой день начинался в его мастерской зимой в семь, а летом даже в шесть утра, и единственному сыну и наследнику не давалось никаких поблажек. Но после ужина в доме Каронов царило веселье. Пьер-Огюстен и пять его сестер играли на клавесине, виоле, скрипке, гитаре, арфе. Они сочиняли стихи и маленькие комедии, которые тут же сами и разыгрывали. Об этих дарованиях Карона и узнают дочери Людовика XV. Принцессы томятся скукой в своих луврских покоях. Они хотят, чтобы Карон научил их играть на арфе,— молодой часовщик в совершенстве владеет этим новомодным инструментом, он даже усовершенствовал механизм его педалей.

Веселый, красивый, галантный, остроумный, знающий все городские и дворцовые новости, последний романс и последнюю сплетню, Пьер-Огюстен Карон становится во дворце незаменимым человеком. Сам король нередко заходит к дочерям послушать концерты, которые они устраивают под руководством учителя музыки. И Пьер-Огюстен, к великому огорчению старого часовщика, пленяется придворной карьерой.

В 1755 году он покупает у некоего Франке, которому старческие недуги мешают выполнять его дворцовые обязанности, должность «контролера королевской трапезы»: в протокольном кортеже — из кухни к королевскому столу — Пьер-Огюстен Карон шествует, при шпаге, меж дворецким и кравчим. Ему принадлежит высокая привилегия, разрезав мясо, подать блюдо королю. Необременительные обязанности контролера королевской трапезы хотя и не дают дворянских прав, но дозволяют ношение шпаги (может ли это не прийтись по вкусу двадцатитрехлетнему щеголю), да и доход они приносят куда больший, нежели заработок часовщика, будь тот хоть семи пядей во лбу.

Вскоре Карон женится на вдове весьма кстати умершего Франке (который был куда старше своей супруги) и присваивает себе имя, звучащее совсем по-дворянски: де Бомарше — по названию небольшого ее владения, леса Марше (bois Marcher).

А в 1761 году Бомарше, с помощью крупного финансиста Пари-Дюверне, которому он, воспользовавшись близостью к королевской семье, оказывает важную услугу, покупает должность королевского секретаря и судьи по браконьерским делам в королевских угодьях; отныне он дворянин.

В середине XVIII века ощущение непроходимой пропасти между людьми благородного происхождения и простолюдинами уже исчезало. Дворянские титулы покупались и продавались. Среди маркизов и графов было немало отпрысков откупщиков или разбогатевших кабатчиков. Когда Бомарше пожелал стать главным лесничим, на что требовалось согласие всех главных лесничих королевства (их было шестнадцать), которое не было ему дано под предлогом, что Карон-отец является ремесленником и сам Пьер-Огюстен слишком недавно стал дворянином, Бомарше, никогда не дававший спуска тем, кто становился ему поперек дороги, уличил этих спесивых чиновников в том, что их собственные дворянские грамоты не отличаются древностью. «Господин д'Арбонн,— писал Бомарше,— главный лесничий Орлеана, на самом деле еще недавно прозывался Эрве. Он сын Эрве-парúчника. Я берусь назвать десяток людей, и поныне живых и здравствующих, которым он продавал и надевал парики. Господин де Маризи, главный лесничий Бургундии... прозывается Легран, он сын Леграна — сукопщика из предместья Сен-Марсо... Господин Теллес, главный лесничий Шалона,— сын еврея по имени Теллес Дакоста, который был ювелиром и антикваром...»

Дворянская спесь, высмеянная Мольером и Вольтером, получившая смертельный удар в произведениях Руссо и энциклопедистов, не вызывала в молодом буржуа почтительного трепета. Он знал ей истинную цену и никогда не терял в высокопоставленном обществе чувства собственного достоинства. Но дворянское звание, придворная должность открывали выгодные деловые возможности, а Бомарше своей выгоды никогда не упускал. Более того, проникновение во дворец было шагом к политической карьере, которая смолоду влекла Бомарше. Он писал впоследствии: «Если бы родители дали мне широкое образование и возможность свободно выбрать... дорогу, моя неудержимая любознательность, властное стремление к изучению людей и интересов, движущих миром, мое ненасытное желание знать все, что случается нового, и комбинировать новые взаимосвязи непременно бы толкнули меня к политике...» И хотя третьесословное происхождение Бомарше помешало ему поначалу стать профессиональным политиком, интерес к ней в нем не угас.

В 1764 году, располагая огромными средствами все того же Пари-Дюверне, Бомарше едет в Испанию, куда призывает его семейный долг: от его сестры Лизетты, давно уже обосновавшейся в Мадриде, сбежал в день свадьбы жених — хранитель королевской библиотеки Хосе Клавихо (чувствительную эту историю Бомарше расскажет через десять лет в четвертом мемуаре против Гезмана, а Гете обработает ее для театра). В Мадриде впервые широко разворачиваются деловые таланты Бомарше: недавний часовщик и учитель музыки пытается получить у испанского правительства подряд на торговлю с Луизианой, предлагает взять на

откуп все операции по снабжению колоний рабами, добивается патента на всю хлебную торговлю в Испании и т. д. Он, как равный, беседует с послами и министрами. Дает советы правительству: как наладить сельское хозяйство, торговлю хлебом и экономику колоний. Правда, Бомарше не удается осуществить ни одного из грандиозных замыслов, и он уезжает на родину, не солоно хлебавши. Но, вкусив от древа высокой коммерции, неотделимой от политики, он еще острее сожалеет о невозможности посвятить себя этому делу. Через несколько лет после поездки в Испанию он пишет герцогу де Ноайю: «Я был вынужден отказаться еще от одного безумного увлечения — от изучения политики... Мне она нравилась до безумия: книги, работа, путешествия — все было ради политики; взаимные права держав, посягательства монархов, кои всегда потрясают жизнь масс, действия и взаимоотношения правительств — таковы были интересы, созданные для моей души».

Вынужден был отказаться? Бомарше никогда не отказывался от того, что его занимало, он просто ждал подходящего момента. Пока же он пытается попробовать свои силы на новом поприще — в театре.

Воздухом театра Пьер-Огюстен Карон дышит с юности. Он веселится вместе с другими парижанами на спектаклях ярмарочных — или, как их уже начинают называть в ту пору, «бульварных» — театров. В доме часовщика Карона, где всегда полно молодежи, ставят парады — короткие фарсы, возникшие из сценок, которые разыгрывались зазывалами на балкончиках балаганов. Фривольный XVIII век переносит парады с базарных подмостков в дворцовые залы, где в полумраке лож знатные дамы позволяют себе наслаждаться традиционно вольными сюжетами, непристойными шуточками, смачными площадными остротами. Молодой Бомарше тоже сочиняет парады. Сначала для домашнего употребления, потом, когда начинается его дворцовая карьера, для театра Ленормана д'Этиоля, супруга прославленной маркизы де Помпадур.

Но первые серьезные театральные опыты Бомарше — его драмы «Евгения» (1767) и «Два друга, или Лионский купец» (1770) — откликаются на передовые веяния, отвечают новым задачам, которые ставит перед театром просветитель-энциклопедист Дени Дидро. Даже самое слово «драма», как определение жанра своих пьес, Бомарше употребляет одним из первых.

В «Опыте о серьезном драматическом жанре», который Бомарше предпосылает «Евгении», формулируя в нем принципы своей драматургии, он неоднократно ссылается на положения, высказанные автором «Побочного сына», «Отца семейства» и «Парадокса об актере», теоретика «серьезного жанра», «мещанской драмы». Подобно Дидро, Бомарше считает, что со сцены нужно показывать образцы добродетели и долга, воплощенные в персонажах среднего сословия. Он требует от театра правдивости и трогательных ситуаций.

Будущий автор «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро», один из самых блестящих комедиографов в мировой литературе, он пока еще отдает слезам предпочтение перед смехом, который кажется ему недостаточно совершенным, недостаточно действенным орудием нравственного очищения, тогда как «картина горестей порядочного человека разит в самое сердце, проникает в него, им завладевает и вынуждает зрителя присмотреться к себе самому». Он видит свой образец в романах Ричардсона, которые воспитывают, умиляя и трогая. Он ищет прямого контакта «чувствительного человека» на сцене с «чувствительным человеком» в зале.

Но основной удар Бомарше направлен не против комедии, а против классицистской трагедии с ее царями и героями, непохожими на мирных буржуа, сидящих в театре. Он порицает чрезмерность и необузданность трагедийных страстей, изображение на театре преступлений, которые, как писал Бомарше, «столь же далеки от природы, сколь немыслимы при наших нравах».

Сама идея рока, неотвратимости трагической судьбы представляется Бомарше, человеку действия, идеей аморальной. «Всякая вера в фатальность,— записывает он,— унижает человека, отнимает у него свободу, без которой его действия совершенно лишены нравственности».

Эта мысль для Бомарше — важнейшая. Он неоднократно будет к ней возвращаться. Сущность человека не в том, что ему предопределено, не в том, к какому сословию он принадлежит по рождению,— судьба человека зависит от него самого, от его ума и характера. Об этом напомнит Фигаро в своем знаменитом монологе, противопоставляя судьбе графа, который дал «себе труд родиться, только и всего», свою собственную жизнь, потребовавшую от него «такой находчивости, какой в течение века не потребовалось для управления Испанией». Ту же мысль возгласят в философском прологе к опере «Тарар», написанной через двадцать лет после «Евгении», Природа и Дух огня, утверждая, что «земное величие человека» зависит не от его сословной принадлежности, но от его характера.

Анализируя механизм эмоционального воздействия спектакля на зрителя, Бомарше также настаивает на том, что восприятие искусства ломает сословные перегородки. Даже в трагедии, пишет он, «сердечный интерес» возникает потому, что зритель относится к герою как «человек к человеку, а не как человек к принцу». Отсюда Бомарше делает вывод, что, чем ближе положение персонажа к положению самого зрителя, тем сильнее и непосредственнее эмоциональное — и нравственное — воздействие пьесы.

Такой взгляд подводит Бомарше к требованию правдоподобности событий, ситуаций, социальных связей в драме. Он настаивает на необходимости предельно реалистического диалога, из которого должно быть

изгнано все, не связанное непосредственно с сюжетом, чуждое характерам. «Диалог должен быть прост и, насколько возможно, естествен, истинная сила его в красноречивости самих положений, единственно возможная красочность — живая, торопливая, разорванная, бурная речь страстей».

Всегда внимательно следивший за сценическим воплощением своих пьес, Бомарше неизменно настаивает на естественности исполнения. Среди его заметок сохранился совет молодой актрисе (он почти текстуально воспроизведен в «Лионском купце», где Мелак-сын готовит с Полиной любительский спектакль): «Вы прелестны, одарены вкусом и чувствительностью, гибким и нежным голосом. Не к чему кричать. Только разговаривая, можно играть хорошо».

Стремясь к полноте театральной иллюзии, Бомарше мечтает, чтобы зритель забыл об актере и драматурге, чтобы он погрузился в происходящее на сцене, как в самое жизнь. В «Евгении» он пытается создать ощущение непрерывности существования своих персонажей. В антрактах, когда основные герои уходят со сцены,— как бы в другие комнаты,— занавес не опускается: безмолвно выходят слуги, прибирают, расставляют стулья, мимической игрой выражая свое отношение к совершающимся в доме событиям.

Такое переосмысление традиционной интермедии в реалистическом плане настолько опережало свое время, что театр «Комеди Франсез» в своей постановке «Евгении» эти сцены выкинул, о чем Бомарше весьма сожалел.

В фабуле «Евгении» не было ничего неожиданного. История соблазненной девушки, чья чистота, любовь и добродетель в конце концов одерживают верх над безнравственностью аристократа-совратителя, который в итоге на ней женится, была взята автором из вставной новеллы «Хромого беса» Лесажа. Этот сюжет неоднократно варьировался как в романах Ричардсона, так и у его французских эпигонов. Но в «Лионском купце» Бомарше попытался уже показать на сцене нечто совершенно новое. Предвосхищая историю величия и падения бальзаковского Цезаря Биротто и иные драматические судьбы «Человеческой комедии», Бомарше делает героем драмы буржуа, которому грозит банкротство. Вокруг этого сюжетного узла завязывается борьба благородств. Драматизм переносится в сферу непосредственно буржуазных отношений. Сюжет «Лионского купца» оказался еще не ко времени, да и талант Бомарше, как стало ясно через несколько лет, лежал не в области серьезной драмы, принципы которой он столь пылко защищал. Если успех «Евгении» был весьма скромным, то «Лионского купца» ждал сокрушительный провал, и парижские остроумцы утверждали, что банкротство героя повлекло за собой банкротство автора.

Бомарше, разумеется, своего банкротства не признал. Он уже работал над новой пьесой, навеянной испанскими впечатлениями,— «Севильским цирюльником». Но еще до того, как эта комедия получила сценическое воплощение, в жизни ее автора разыгрались важные события, и он стяжал себе славу на новом поприще — как автор «мемуаров». Мемуаром именовался во Франции юридический документ, в котором тяжущаяся сторона излагала и отстаивала свои претензии. Строился мемуар, как и устные выступления адвоката и прокурора в суде, по законам красноречия. Однако Бомарше сообщил и форме мемуара, и его содержанию совершенно новый характер.

В апреле 1770 года Бомарше (увлечение театром не мешало ему заниматься крупными коммерческими операциями) подвел баланс своих денежных отношений с Пари-Дюверне, который давно уже из покровителя превратился в компаньона. В документе, составленном ими, Пари-Дюверне признавал, что должен Бомарше крупную сумму — пятнадцать тысяч ливров. Однако в июле того же года Пари-Дюверне скончался, не успев юридически оформить своих обязательств. Его наследник, граф де Лаблаш, отказался выплатить Бомарше долг покойного. Суд, разбиравший дело дважды — 22 февраля и 15 марта 1772 года,— оба раза решил его в пользу Бомарше, но граф опротестовал эти решения. Докладчиком по делу, которое должно было быть рассмотрено высшей судебной инстанцией — парижским парламентом,— был назначен советник парламента Гезман. Бомарше это стало известно всего за пять дней до судебного заседания. Обстоятельства складывались для него весьма неблагоприятно, так как он сам сидел в это время в тюрьме Фор-л'Эвек, куда попал за драку с неким герцогом де Шоном. Этот потомок одной из знатнейших фамилий Франции, отличавшийся неуравновешенностью и необузданным нравом, попытался убить Бомарше и разгромил его дом, приревновав к своей бывшей любовнице актрисе Менар.

Бомарше знал, что граф де Лаблаш встречался с Гезманом, и имел все основания предполагать, что они столковались. Добившись разрешения ежедневно выходить на несколько часов из Фор-л'Эвека в сопровождении тюремного надзирателя, Бомарше попытался, в свою очередь, повидать Гезмана, дабы объяснить ему обстоятельства дела. Супруга советника обещала устроить Бомарше свидание с мужем, потребовав за хлопоты довольно солидного вознаграждения. Несмотря на это, советник принял его всего на несколько минут, и 5 апреля 1772 года парижский парламент вынес по докладу Гезмана решение в пользу графа де Лаблаша.

На имущество Бомарше были наложены печати. Под сомнение была поставлена и его порядочность: приговор косвенно утверждал, что документ, подписанный Пари-Дюверне, добыт нечестным путем,— то ли Бомарше воспользовался чистым бланком с его подписью, то ли получил

подпись Пари-Дюверне, когда болезнь уже помутила рассудок старика. Положение Бомарше было крайне тяжелым. Вдобавок, опасаясь острого языка Бомарше, который повсюду рассказывал о нравах семейства Гезман и о склонности госпожи советницы погреть руки на делах мужа, Гезман 21 июня подал жалобу на Бомарше в парижский парламент, обвиняя его в попытке дать взятку. Жалоба Гезмана по закону должна была разбираться при закрытых дверях, виновному в подкупе судейского чиновника грозило лишение свободы на много лет, а то и пожизненно. Но чем труднее приходилось Бомарше, тем энергичнее он парировал удары. Стоило королевскому часовщику Лепоту присвоить анкерный спуск, изобретенный Кароном-сыном, как тот «во имя истины» и «собственной репутации» воззвал к общественному мнению. Двадцать лет спустя Бомарше поступает точно так же. 21 сентября 1773 года он публикует свой «Мемуар для ознакомления с делом Пьера-Огюстена Карона де Бомарше», а следом, полемизируя с противниками, которые отвечают ему в печати, и еще три мемуара.

Девиз Бомарше: «Отвага и Истина». Перед читателем развертывается мастерский и точный рассказ о событиях. Чредой проходят персонажи. В первом мемуаре эти портреты только намечены смелым углем. Но от мемуара к мемуару мазки сатирической кисти сообщают им выпуклость, типичность. Здесь и госпожа Гезман с ее незаурядной глупостью и бесстыдным корыстолюбием, с ее бессмертной фразой: «Мы умеем ощипать курицу так, что она и не пикнет»,— обошедшей весь Париж. Здесь и сам «неподкупный» советник Гезман, с его фразеологией судейского крючка, с его циничной безнравственностью, умением запугать свидетеля, застарелой привычкой к подлогу. Здесь продажный журналист Марен (он, кстати, был цензором «Севильского цирюльника»), прикидывающийся доброжелателем, но втайне плетущий интриги против Бомарше, злобный, ненавидимый «авторами — за критику, читателями — за свои писания, должниками — за ростовщичество», шпионящий «за людьми, *к которым вхож*».

Если первый мемуар только исподволь касается нравов «корпорации», склонной подменять беспристрастные «весы Фемиды торгашескими весами Плутоса», то в последнем, четвертом мемуаре, опубликованном 10 февраля 1774 года, когда за поединком следит вся Франция, автор прямо говорит, что, если он окажется жертвой произвола — это будет свидетельствовать о порочности судебной системы, где судьи стоят «на страже интересов своей касты, а не правосудия». Действительно, Истина неотделима от Отваги. Бомарше осмеливается утверждать, что разложение судебной корпорации — «результат всеобщего разложения». Он берет на себя право говорить от лица народа: «Мое дело — дело всех граждан». Он возглашает равенство граждан перед законом и обращается к народу, к общественному мнению, как к высшему судье. Он грозит судьям

народным гневом, тем, что «народ в конце концов привлечет их к ответственности». Он во всеуслышание требует гласности судопроизводства.

Дело в том, что Пьера-Огюстена Карона никогда не оставляла детская уверенность, что обида, нанесенная ему лично, жестоко нарушает миропорядок. Французские просветители страстно защищали человека, каждого человека и все человечество, от общественной несправедливости. Классовая ограниченность их учения выяснилась позднее, они же, как писал Энгельс, выступали «в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества». Что касается Бомарше, то эта универсалистская иллюзия — то ли в силу счастливого темперамента, то ли в результате необычайно деятельной и чреватой злоключениями жизни — приняла у него очень личный характер: он никогда не отделял попрания своих прав, посягательства на свою свободу или свое состояние от попрания Права, нарушения Справедливости, ущерба Человечеству. Поэтому его самозащита приобрела общественное значение. Мемуары Бомарше ускорили реформу французской судебной системы.

Одушевленный то иронией, то гневом, язык мемуаров образен, ритм то замедленно-плавен, то четок и стремителен, пространное изложение фактов завершается короткой формулой, подытоживающей события: «Вы были моим докладчиком, я крайне нуждался в аудиенциях, у вас за них назначили определенную цену. Я открыл кошелек; вы протянули руку. Свидания не состоялись; деньги были возвращены. Пятнадцать луидоров куда-то запропастились; началась перебранка; об этом стало известно, ибо где дым, там и огонь». Описание сменяется живым диалогом, отвлеченное рассуждение — фарсовой сценкой.

«Я прочел четвертый мемуар Бомарше,— писал Вольтер маркизу де Флориану,— и до сих пор не могу опомниться; ничто еще никогда не производило на меня такого впечатления; я не знаю комедии более забавной, трагедии более трогательной, истории, рассказанной лучше, и, главное, каверзного дела, изложенного яснее».

В мемуарах чувствуется рука опытного драматурга. Комизм диалогов предвещает уже одну из самых сильных и смешных сцен «Женитьбы Фигаро»: суд в замке Агуас Фрескас. Кстати, сценки очных ставок Бомарше с советницей Гезман разыгрывались как фарс в домашнем театре королевской фаворитки госпожи Дюбарри.

Сатирические портреты противников Бомарше оттеняются лирическим автопортретом самого автора, в котором легко узнается просветительский идеал порядочного человека, разумного и чувствительного, философски относящегося к жизни: «Я всегда весел,— пишет Бомарше,— с одинаковой страстью отдаюсь и труду и развлечению... склонен шутить, но без всякой злобы, и не возражаю, когда остроумно подшучивают надо мной... я слишком горячо отстаиваю свое мнение, если считаю, что прав,

зато открыто и без всякой зависти проявляю уважение ко всем, чье превосходство признаю; ...в делах я доверчив до легкомыслия, активен, когда меня подстрекают, ленив и апатичен, когда гроза минует, безмятежно предаюсь счастью, но и в несчастье сохраняю неколебимое спокойствие...»

Особой законченности портрет чувствительного человека достигает в «Отрывке из моего путешествия в Испанию», своего рода коротком романе, включенном в четвертый мемуар. Своеобразное сочетание лирики и сарказма, борьба героя, носителя идеи справедливости, который должен завоевать симпатии публики, с социальными силами, воплощающими косность сословного государства, дух смелого протеста, которыми проникнуты мемуары Бомарше,— все это подготавливает уже «Женитьбу Фигаро».

Несмотря на сочувствие общественного мнения, поединок Бомарше с судебной машиной феодальной Франции не мог, разумеется, завершиться полной его победой.

Двадцать шестого февраля 1774 года на совместном заседании всех палат парижского парламента был вынесен приговор по делу, который гласил: «...Пьеру-Огюстену Карону де Бомарше... надлежит явиться в суд, дабы, стоя на коленях, выслушать порицание; кроме того, ему надлежит уплатить три ливра в королевскую казну, кои должны быть взысканы с него. Учитывая требование королевского прокурора, полученное и приложенное к делу по решению суда от 18 февраля, и полностью к нему присоединяясь, суд приказывает, чтобы четыре мемуара, напечатанные в 1773 и 1774 годах... были разорваны и сожжены на площади у лестницы Дворца правосудия королевским палачом, как содержащие дерзостные выражения и наветы, позоряцие и оскорбляющие судебную корпорацию в целом и некоторых из ее членов в отдельности, а также поклепы на разных частных лиц; запрещает упомянутому Карону де Бомарше выпускать в дальнейшем такого рода мемуары под угрозой телесного наказания; а за то, что он их написал, приговаривает его к уплате штрафа в сумме двенадцати ливров, кои пойдут на хлеб заключенным Консьержери...»

Мемуары Бомарше действительно были разорваны и сожжены королевским палачом во дворе Дворца правосудия 5 марта 1774 года.

Однако возмущение общественного мнения, вызванное мемуарами, было настолько сильным, что суд не решился настаивать на выполнении первой части приговора, процедуре порицания осужденного. Традиционная формула: «Суд тебя порицает и объявляет бесчестным»,— которая должна была быть произнесена председателем суда над коленопреклоненным Бомарше, произнесена не была. Тем не менее приговор лишал Бомарше права отправлять общественные должности и тем самым окончательно закрывал перед ним путь к политической карьере. Но,

как это ни парадоксально, именно тут Бомарше прорывается наконец к политике.

Сначала к той политике, которая, как выражается Фигаро, все равно что интрига. Людовик XV поручает прославленному полемисту обезвредить некоего Тевено де Моранда, издавшего в Лондоне памфлет «Секретные записки публичной женщины», где предаются гласности некоторые пикантные подробности жизни королевской любовницы мадам Дюбарри. Бомарше удается выкупить памфлет и, как он пишет в одном из своих донесений, превратить его автора «из волка в преданную овчарку». Тогда он получает второе задание, еще более деликатное: нужно изъять у некоего шевалье д'Эона, бывшего французского дипломата, отказавшегося вернуться в Париж по требованию короля, секретную переписку. Речь идет о письмах французского короля, опубликование которых грозит международным скандалом, поскольку они свидетельствуют о нелояльном отношении Людовика XV к договору, заключенному в 1763 году между Англией и Францией. Шевалье д'Эон, покинувший французское посольство в Лондоне, шантажирует короля. Для удобства и полной безнаказанности шевалье д'Эон, в прошлом лихой драгун, награжденный орденом Святого Людовика за боевые заслуги, заявляет, что он вовсе не шевалье д'Эон, а — девица, слабая женщина, которая не может, разумеется, устоять перед очарованием блестящего де Бомарше. Королевский агент сталкивается с достойным противником. Галантный Бомарше, чувствительный Грандисон, в некоторой растерянности. Докладывая министру де Верженну о ходе своих переговоров с владельцем секретной переписки, беспокоящей французскую корону, он сетует на неловкость своего положения и на любовные домогательства девицы д'Эон, он умоляет французское правительство «пожалеть эту несчастную женщину». В конце концов он получает компрометирующую переписку в обмен на солидную пожизненную ренту девице д'Эон, которая дает обязательство (тут же нарушенное) появляться «только в платье, присущем ее полу». Кстати, медицинское освидетельствование, произведенное через тридцать лет, после смерти д'Эона, устанавливает, что «несчастная женщина» была нормальным мужчиной.

Едва дело с королевской перепиской окончено, возникает новое: в Лондоне появляется некто Анжелуччи, он же Аткинсон (реальное существование которого никогда, впрочем, не было доказано), который грозит наводнить Европу пасквилями, позорящими молодую французскую королеву. У Людовика XVI, вступившего на трон деда, нет потомства. Нравы «Австриячки» и физиологические особенности ее супруга — завидная пища для скабрезных политических спекуляций. Этим и занимается автор «Предуведомления испанской ветви о том, что она имеет право на французскую корону в связи с отсутствием наследника». Бомарше берется выкупить памфлет. Он успешно проводит операцию,

сжигает подлинник и тираж. Но пройдоха Анжелуччи-Аткинсон (или их двое?) утаивает одну копию и намерен издать ее в Голландии. Бомарше гонится за ним. Под именем Ронака (анаграмма его фамилии — Карон) он перебирается через Ла-Манш. Ронак героически сражается с разбойниками, подосланными Анжелуччи. Он прибывает в Вену, где добивается аудиенции у императрицы Марии-Терезии, матери французской королевы, чью честь он столь героически защищает. Однако австрийский канцлер Кауниц не склонен поверить в сей рыцарски-плутовской роман. Уж не сам ли Бомарше — автор мемуаров против Гезмана, посмевший высмеять королевский суд,— написал и этот позорящий трон памфлет? И вместо благодарности Пьер-Огюстен Карон, уже знакомый с тюремщиками Фор-л'Эвека, знакомится теперь с австрийскими полицейскими, которые в течение месяца держат его под домашним арестом.

Однако за головокружительными приключениями тайного агента кроется нечто гораздо более серьезное. Бомарше вторгается наконец в область большой политики, той самой, вынужденный отказ от занятий которой он так горько оплакивал в письме к герцогу де Ноайю.

В Лондоне он возобновляет знакомство с лордом Рошфором, в свое время английским послом в Мадриде, охотно музицировавшим в ту пору с блестящим французским дворянином де Бомарше. Ныне лорд Рошфор — британский министр иностранных дел. Лорд Рошфор любит поболтать с остроумным собеседником, а Бомарше и его французский корреспондент министр Верженн в этом весьма заинтересованы. Бомарше близко сходится также с представителем оппозиции, мэром Лондона Уилки, который видит в авторе мемуаров против Гезмана непревзойденного памфлетиста, защитника демократических принципов, достойного противника феодального судопроизводства. Уилки тоже не прочь поговорить. Информация, которую Бомарше посылает из Лондона в Париж, неоценима. Однако он не удовлетворяется ролью пассивного осведомителя. Он выступает со своими предложениями. Он дает политические и дипломатические советы министрам. Он спорит, когда его предложения не принимаются. Он позволяет себе настойчивость даже в письмах к самому королю: «Если Ваше величество отвергает какой-нибудь проект, долг каждого, кто к нему причастен, от него отказаться. Но бывают проекты, коих природа и значимость столь жизненно важны для блага королевства, что самый ревностный слуга может счесть себя вправе настойчиво предлагать их вновь и вновь Вашему вниманию из опасения, что с первого раза они не были достаточно благожелательно поняты».

Плебейскую кровь Бомарше, его ум, воспитанный энциклопедистами, волнует борьба американцев за свободу от колониальной зависимости. Но, конечно, не этими доводами станет он убеждать христианнейшего короля Франции помочь американским демократам, протестантам

и бунтовщикам. Он выдвигает на первый план интересы короны, необходимость «унизить и ослабить» давнего врага и соперника — Великобританию. И почему бы не поучить венценосца «реальной политике», «практицизму», выработанному коммерческой деятельностью, почему бы и не преподать властелину Франции урока философии истории? Разве он, Бомарше, не провозгласил еще за полгода до того со сцены «Комеди Франсез» устами своего севильского цирюльника: «Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, много ли найдется господ, достойных быть слугами?»

Секретное послание Бомарше Людовику XVI от 7 декабря 1775 года дышит ощущением собственного превосходства, надменного превосходства умного слуги над недалеким господином. Не без скрытой издевки подкапывается автор послания под «благородные» принципы, якобы определяющие позиции Людовика в англо-американском конфликте: «И если Вы столь деликатны, что Вам претит содействие тому, что может нанести вред даже Вашим врагам, как же Вы терпите, Сир, чтобы Ваши подданные оспаривали у других европейцев завоевание стран, принадлежащих несчастным индейцам, африканцам, дикарям, караибам, которые никогда и ничем их не оскорбили? Как же Вы дозволяете, чтобы Ваши вассалы похищали силой и заставляли стенать в железах черных людей, коих природа создала свободными и кои несчастны потому только, что Вы сильны?» И тут же поучает короля: мораль-де, которая регулирует отношения «порядочных людей» между собой, неприменима в политике. Все государственные институты, внушает Бомарше Людовику, только потому и существуют, что люди не ангелы и нуждаются в «религии, чтобы их просвещать, законах, чтобы ими управлять, судьях, чтобы их сдерживать, солдатах, чтобы их подавлять... Откуда следует, что хотя принципы, на которые опирается сама политика, и несовершенны, на нее опираться все же необходимо, и короля, пожелавшего остаться справедливым среди злодеев и добрым среди волков, тотчас сожрали бы вместе с его паствой».

Нас поражает в Бомарше сочетание благородных принципов и наивного практицизма, но таков дух времени: ученик Вольтера и энциклопедистов пока что мирно уживается с негоциантом, памятующим прежде всего о доходе и прибыли. В оде «Оптимизм», навеянной вольтеровским «Кандидом», молодой Бомарше возмущался рабством, что не помешало ему добиваться от испанского правительства концессии на торговлю черным товаром. Впрочем, чего требовать от Бомарше, если ни американские, ни французские революционеры не отменили рабства. Свобода и Равенство в век Просвещения имели свои пределы.

Бомарше рад был бы торжеству справедливости, но, «поскольку люди не ангелы», следует применяться к реальному положению вещей, а если можно извлечь из него выгоду, то почему бы не извлечь ее именно

ему, Бомарше, к вящему преумножению богатств отечества. Ведь страна богатеет благодаря негоциантам. «Счастье быть человеком, нужным родине, удел негоцианта»,— гордо заявлял лионский купец Орелли, герой пьесы «Два друга», и под этим мог бы подписаться его создатель.

В заметках Бомарше не раз встречается апология третьего сословия, как активной, инициативной, созидающей части нации.

«Все выдающиеся люди выходят из третьего сословия. В империи, где существуют только великие и малые, нет никого, кроме наглых господ и гнусных рабов. Одно третье сословие, занимающее промежуточное положение между знатью и чернью, рождает искусства, просвещение и все великие идеи, полезные человечеству».

И тут он тоже сын века, уже готового сбросить обветшалую мишуру дворянских привилегий и заявить устами Сийеса в январе 1789 года:

«Что такое третье сословие? В с е.

Чем оно было до сих пор в политической жизни? Н и ч е м.

Чего оно требует? С т а т ь ч е м - н и б у д ь».

Сын века, провозгласившего в «Декларации прав человека и гражданина», что «люди рождаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе», и исключившего из числа «активных граждан» — то есть равных в правах — всех, кто не платит «в любом месте королевства прямой налог в размере не меньшем, чем стоимость трех рабочих дней», или «находится у кого-нибудь в услужении».

Французской революции понадобятся годы бурного развития, чтобы «общая польза» побудила ее отказаться от имущественного критерия в определении гражданских прав. И так далеко Бомарше за ней уже не пойдет. Для него народ всегда останется слепой массой, которую обманывают, в которой разжигают дурные страсти. Об этом красноречиво свидетельствует его отношение к событиям 10 августа 1792 года и якобинскому террору.

Однако в годы, предшествующие революции, это осознание значимости третьего сословия как истинной опоры нации, творца ее богатства и культуры, несет в себе разрушительную силу, духовно подготавливает низвержение феодальной системы. Оно пронизывает лучшие комедии Бомарше — «Севильский цирюльник» (1773) и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1778).

Подобно «Евгении», в сюжетной ситуации «Севильского цирюльника» не было ничего нового. Французская сцена так же, как испанская и итальянская, несчетное число раз видела уже и скупых влюбленных стариков, и благородных юношей, отбивавших у недостойных опекунов прелестных воспитанниц с помощью продувных и расторопных слуг. Однако в «Севильском цирюльнике» традиционные комические типы,

восходящие еще к античности, затем канонизированные итальянской комедией дель-арте, преображенные Мольером, переживают еще одну метаморфозу. В особенности это касается Бартоло и Фигаро.

Прежние опекуны были прежде всего глупы и непрестанно попадали впросак. Бартоло умен, хитер, проницателен. И бойкому Фигаро, при всей его ловкости, не так-то легко провести старика. Он сталкивается с противником равным, опасным, который едва не одерживает победу и над любовной прытью графа, и над лукавой находчивостью цирюльника.

Доктор Бартоло и цирюльник Фигаро — антиподы. Цепкий, ворчливый, подозрительный ум Бартоло — это ум консерватора, знающего цену своему положению хозяина. Он настороженно отвергает все, что может нанести урон его социальному положению. «Я ваш хозяин, следовательно, я всегда прав»,— кричит он на слуг. В Розине он видит свою собственность — ее деньги для Бартоло не менее соблазнительны, чем ее юные прелести,— и он готов на что угодно, чтобы удержать воспитанницу. А освобождению Розины способствует все — и любовь Альмавивы, и активное сочувствие Фигаро, и ее собственная жажда вырваться из докторского дома, и, в конечном итоге, сам век с его «всякого рода глупостями» — от вольномыслия и веротерпимости до оспопрививания, энциклопедии и мещанских драм.

Если доктор стоит на страже всего устоявшегося, то Фигаро, напротив, посягает на то, чтобы все переиначить, он обещает графу одним взмахом волшебной палочки «сбить с толку ревность, вверх дном перевернуть все козни и опрокинуть все преграды». И выполняет свое обещание. Уже в «Севильском цирюльнике» — в «Женитьбе Фигаро» эти качества будут еще усилены — Фигаро не просто комический слуга, он человек определенного жизненного опыта и самосознания, его поступки продиктованы не феодальной преданностью господину. Он помогает Альмавиве потому, что за это будет щедро заплачено, и потому, что любовь графа к Розине трогает его сердце. Подобно своему создателю, севильский цирюльник нераздельно совмещает в себе человека делового и чувствительного.

Во второй пьесе трилогии Фигаро превращается из случайного помощника Альмавивы в его слугу и домоправителя. Но, скрепив эти социальные узы, он отнюдь не теряет самостоятельности и чувства собственного достоинства. Напротив, слуга и господин здесь соперники и противники, они равноправны: именно в этом революционный дух «Безумного дня».

О революционности комедий Бомарше, о революционности Фигаро до сих пор не существует единого мнения. С одной стороны, до нас дошли высказывания современников писателя, знавших толк в этом вопросе. «Если быть последовательным, то, допустив постановку этой пьесы, нужно разрушить Бастилию»,— заявляет взбешенный Людовик

XVI, прослушав знаменитый монолог Фигаро; «Фигаро покончил с аристократией»,— подтверждает в разгар борьбы трибун революции Дантон; «Женитьба Фигаро» — это «революция уже в действии»,— оценивает комедию Наполеон, озирая прошлое с острова Святой Елены.

С другой стороны, позднейшие французские исследователи, утверждая, что комедии Бомарше ни на что не посягали, ссылаются на факты, казалось бы достаточно весомые. Создатель Фигаро, говорят они, сам был финансовый воротила, миллионщик (в 1785 г. состояние его превысило два миллиона ливров), королевский агент, нувориш, приобретший дворянство. Ему было совсем не плохо при старом режиме, и он ничуть не стремился к его ниспровержению. Да и кто, как не аристократы, помогли Бомарше добиться постановки «Женитьбы Фигаро», кто, как не они, бешено аплодировали дерзостям веселого слуги, от души смеясь его победе над знатным противником? И разве в представлении народа создатель Фигаро не был плоть от плоти старого режима? Не потому ли в годы революции зрители утратили интерес к его комедиям?

Филипп ван Тигем, автор одной из последних работ о Бомарше, утверждает, что аристократы встретили «Безумный день» горячим одобрением, поскольку понимали, что «автор забавляется и отнюдь не стремится лишить их дворянских привилегий», что «классовый дух ему совершенно чужд». «Фигаро изображает из себя ниспровергателя, но, в сущности, это человек порядка,— пишет другой французский исследователь Бомарше, Роже Помо,— он не поведет восставших крестьян на Агуас Фрескас. Хотя без всяких угрызений совести купит замок за бесценок».

Эти оценки свидетельствуют о плоском понимании самого понятия революционности. Да, Фигаро не призывает громить замок Альмавивы, и мудрено бы было провозглашать подобные призывы со сцены столичного театра за пять лет до разгрома Бастилии. Да, Бомарше остался умеренным и на определенном этапе революции не принял ее радикализма, насилия, террора. Но революция — в самой идее обветшалости и бесчеловечности дворянских привилегий, которая пронизывает «Безумный день», в торжествующем осмеянии графа Альмавивы, хозяина жизни, за которым автор отрицает *нравственное* право на власть, потому что по высокому счету чувства и разума Альмавива стоит ниже и Фигаро, и Сюзанны, и графини. «Женитьба Фигаро» потому «революция уже в действии», что власть Альмавивы для Бомарше — это уже вчерашний день,— не случайно борьба в пьесе идет вокруг средневекового права первой ночи, которое и в XVIII веке вспоминается как нелепый и постыдный анахронизм. В «Безумном дне» духовное раскрепощение уже свершилось, уже не осталось никаких внутренних тормозов, могущих остановить революцию, то есть изменение социальных, политических, законодательных основ общества. «Бомарше влечет на сцену, раздевает

донага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным,— замечает Пушкин. И продолжает: — Общество созрело для великого разрушения»[1]. От дерзких реплик Фигаро до «Декларации прав человека и гражданина» остался один шаг. И самый смех Бомарше, которому вторит аристократическая публика («Старая монархия хохочет и рукоплещет»,— как говорит Пушкин),— самый этот непочтительный, легкий, задорный смех свидетельствует, что настал час гибели изжившей себя исторической формы: «История действует основательно и проходит через множество фазисов, когда уносит в могилу устаревшую форму жизни. Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия. Богам Греции, которые были уже раз — в трагической форме — смертельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз — в комической форме — умереть в «Беседах» Лукиана. Почему таков ход истории? Это нужно для того, чтобы человечество *весело* расставалось со своим прошлым»[2].

В «Безумном дне» Франция «весело расставалась» со старым режимом. И тут Людовик XVI — лицо явно заинтересованное — оказался читателем куда более чутким, чем член Французской Академии, историк Гайяр, который, будучи цензором «Женитьбы Фигаро», несколько легкомысленно заверял в своем отзыве, что «веселые люди не опасны, перевороты, заговоры, убийства и прочие ужасы, как учит нас история всех времен, были задуманы, разработаны и осуществлены людьми сдержанными, скучными и угрюмыми».

Буржуазные литературоведы вступают в противоречие с фактами, заявляя, что современники не видели в Фигаро революционера (куда деть таких сведущих и лицеприятных свидетелей, как король, которого ждала гильотина, или вождь революции, который его на эту гильотину послал?). Но в их утверждении, что последующими поколениями критический и революционный смысл комедии воспринимался едва ли не более остро, чем в момент ее постановки, есть доля истины. Мятежный дух этой пьесы направлен не против того или иного злоупотребления, характерного для семидесятых годов XVIII века (хотя в тексте комедии и содержались прямые политические намеки, и, к примеру, реплика Фигаро о том, что ремесло придворного сводится к формуле «получать, брать и просить», не могла не напомнить залу о безудержном расточительстве двора). «Женитьба Фигаро» направлена не только против феодального общества, она отрицает любой произвол, любое попрание человеческого достоинства, она издевается над любыми претензиями власти, если они идут вразрез с правами разума и чувства. «Все решает ум один»,— гла-

---

[1] А. С. Пушкин, Собр. соч., т. VI, Гослитиздат, М. 1936, стр. 236.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, Госполитиздат, М. 1955, стр. 418.

сят куплеты, заключающие «Безумный день»; «Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках».

Формальное новаторство «Женитьбы Фигаро» неотделимо от критической направленности комедии. Бомарше задает действию невиданный дотоле — ни у других, ни у него самого — темп. Если в «Евгении» приходилось на один акт в среднем сто тридцать шесть реплик, в «Лионском купце» — двести пять, в «Севильском цирюльнике» — двести девятнадцать, то в «Безумном дне» число их взлетает до трехсот. И дело тут не только в растущем мастерстве драматурга — в последней части трилогии темп снова падает: в «Преступной матери» на один акт приходится всего сто сорок одна реплика. Бешеный ритм «Женитьбы Фигаро» — это истинный ритм ума и сердца персонажей, это выражение их энергии, задора, боевого умонастроения. Водоворот интриги влечет графа Альмавиву — самого пассивного из героев комедии, сметает все устои. Эту взаимосвязь подмечает Герцен в короткой дневниковой записи 30 сентября 1842 года: «Нет сомнения, что «Свадьба Фигаро» — гениальное произведение и единственное на французской сцене. В ней все живо, все трепещет, пышет огнем, умом, критикой и, след., оппозицией» [1].

Бомарше ломает все нормы французской комедии. Для него не существует «правил». («Видан ли жанр, в котором правила рождали бы шедевр»,— писал он еще в своем «Опыте о серьезном драматическом жанре».) В эпизоде узнавания Марселины и Фигаро, который следует за одной из самых смешных и сатирически заостренных сцен «Безумного дня», автор неожиданно влагает в уста Марселины, «комической старухи», не пользовавшейся до сих пор никаким сочувствием зрителя, серьезные и даже патетические слова о положении женщины в современном обществе. Перед каскадом комедийных недоразумений финала пьесы Бомарше позволяет себе внезапно остановить действие, как коня на полном скаку, и предоставляет Фигаро слово для монолога, значительность социальных и даже философских обобщений которого поднимает комедийного героя на уровень передовых мыслителей эпохи.

Сложность интриги «Безумного дня» нередко сравнивали со сложностью часового механизма — благо такое сравнение подсказывала и биография автора. Но было бы ошибкой видеть в этом безукоризненно действующем хитросплетении цепляющих друг друга шестеренок мастерство чисто формальное. Роль «анкерного спуска», регулирующего взаимодействие всех интриг безумного дня, играет борьба за чувство и человеческое достоинство. Начинает ее Фигаро, потом вторгается Марселина, наконец, инициативу перехватывает графиня — но сочетаются воедино

[1] «Герцен об искусстве», «Искусство», М. 1954, стр. 71.

все эти линии только благодаря тому, что пружина у них одна: оскорбленная любовь Розины и оскорбленное чувство Фигаро и Сюзанны восстают против одного противника — против графа Альмавивы с его сословными претензиями, которые необходимо и возможно ниспровергнуть, унизить, высмеять. Социальный протест, откровенный в Фигаро и его невесте, скрытно движет и графиней, которой в замке Агуас Фрескас отведено столь же подчиненное и бесправное место, как и слугам. И даже линия Керубино, как будто лежащая в стороне от фабулы комедии, сплетается с ней, сообщая своею наивностью чувств, своим ребячеством дополнительный оттенок человечности всеобщему протесту против графского произвола. Граф, посрамленный женой и Сюзанной, проведенный хитроумным Фигаро, оказывается вовсе смешон и нелеп в своем необузданном и несоразмерном гневе против шаловливого, подетски непосредственного, по-юношески пылкого пажа.

Неудача последней части трилогии — «Преступная мать, или Второй Тартюф» (1791) — объяснялась тем, что, продолжая бороться за права и равноправие чувств, Бомарше утратил истинного их противника, нарушил сформулированный им самим принцип: «Ни высокой патетики, ни глубокой морали, ни истинного комизма в театре нельзя достичь без острых ситуаций, неизменно возникающих из социальных несоответствий в сюжете, к которому обращается автор».

Дидро заметил как-то, что «Мизантропа» нужно переписывать каждые пятьдесят лет. У Бомарше были все основания «переписать заново» «Тартюфа» после революции. Но если мольеровский Тартюф пользовался, как отмычкой, религиозным ханжеством, Бежарс,— «второй Тартюф», как характеризовал его заголовок пьесы,— должен был, очевидно, применить новое орудие. Бомарше был достаточно погружен в послереволюционную действительность, чтобы уловить методы новых Тартюфов, их псевдореволюционную демагогию, их умение прикрыть своекорыстные замыслы звонкой фразой. Эту социальную болезнь Бомарше подмечал. Тому свидетельством его мемуары последних лет, в частности, «Шесть этапов», публикуемые в настоящем томе; однако на этот раз жизненный опыт автора не отразился в пьесе. Бежарс — лицемерный злодей, и только. Он лишен черт времени, в нем нет общественной меткости, которая вызвала ненависть правящей камарильи к «Тартюфу» Мольера.

Психологически неубедительны в последней части трилогии Фигаро и Сюзанна. Они утратили действенность, критическое, дерзкое начало, превратились в преданных — на патриархальный манер — слуг графа Альмавивы. Интересней других в «Преступной матери» характер графини. Из всех образов трилогии только Розина остается верна себе. Молодая девушка, готовая на бегство с Линдором, потому что для нее любовь — залог свободы; графиня, страдающая в роскошных покоях замка,

оскорбленная в своем чувстве, но не позволяющая себе преступить законы морали; пожилая женщина, всей своей жизнью искупающая «грех» и готовая простить графу его супружескую неверность,— Розина всегда остается человеком чувства, и это делает ее в глазах Бомарше достойной симпатии, хотя она и «преступная мать». Прочие детали — бюст Вашингтона или выступления Леона в клубе — случайные вешки, расставленные в пьесе, чтобы напомнить, что дело происходит после революции. Но «феминизм» Бомарше — свидетельство еще не угасшего революционного духа: его отношение к равноправию женщины и через много лет после французской революции будет восприниматься буржуазным зрителем, как посягательство на устои.

Сам Бомарше очень любил «Преступную мать», ставя ее чуть ли не выше остальных своих творений. И, как ни парадоксально, он был пророком в своем отечестве, утверждая, что показывает своей «драмой интриги» «новый путь, которым должны следовать наши писатели»,— у «Преступной матери» оказалось обильное потомство, к ней восходит тот поток буржуазных мелодрам, который затопил французскую сцену во второй половине XIX века.

«Преступная мать» была написана Бомарше в старости, в годы спада его творческой и деловой активности, расцвет которой падает на десятилетие между «Севильским цирюльником» и постановкой «Женитьбы Фигаро».

Остается только поражаться тому, как много успел он сделать за это десятилетие. О масштабах и характере его финансовых операций можно судить по тому, что в его расчетных книгах за восемь лет — с 1776 по 1783 — записана внушительная цифра прихода — 21 092 515 ливров (расход, впрочем, не многим меньше — 21 044 191 ливр). Бомарше никогда не бросал дел, дорогих его душе, даже если они и оказывались убыточными. Одним из самых замечательных его начинаний было издание Полного собрания сочинений Вольтера, которого он всегда высоко ценил и у которого многому научился. После смерти философа Бомарше откупил у книгоиздателя Панекука за огромные деньги рукописи покойного — цена оказалась особенно высока, так как в качестве конкурента Бомарше выступила Екатерина II, также пожелавшая приобрести манускрипты своего прославленного корреспондента.

Действовал Бомарше, как всегда, с размахом: он купил в Англии самые лучшие шрифты, в Бельгии — две бумажные фабрики. И, поскольку ряд произведений Вольтера был во Франции под запретом, Бомарше, ради полноты издания, решил печатать его за границей. Он приобрел у маркграфа Баденского заброшенный форт Кель, где и оборудовал, по последнему слову техники, типографию.

Трудности начались сразу. Маркграф пожелал быть цензором издания, выходящего на его территории. Бомарше отбил атаку сиятельного

землевладельца с присущей ему изящной дерзостью, напомнив, что рукописи Вольтера были ему проданы на условии «не допускать вольного обращения с трудами великого человека» и что «Европа ждет их от нас во всей полноте. А буде мы, в угоду суждениям того или иного моралиста, станем выдирать у него то черные волосы, то седые,— он окажется лыс, а мы — обанкротимся».

Но в 1783 году, после выхода в свет первых же томов, у Бомарше обнаружился враг более серьезный. На него ополчилась церковь, особенно возмущенная тем, что наряду с роскошным подписным изданием, рассчитанным на богатых людей, Бомарше выпускает дешевое и тем самым «пытается отравить простой народ». Церковь требует запрещения кельского собрания сочинений. Об этом докладывают королю, который, воскликнув, как сообщает Гримм 11 июня 1785 года: «Опять этот Бомарше со своими штучками!» — приказывает прекратить во Франции продажу этого издания. И все же, вопреки запретам, пренебрегая убытками, Бомарше доводит дело до конца, до последнего — девяносто второго тома.

Еще большего упорства и самоотверженности потребовало от Бомарше самое крупное политико-коммерческое предприятие его жизни — снабжение оружием и амуницией американских инсургентов.

В 1776 году Бомарше удается сломить отвращение Людовика XVI к плану помощи американским мятежникам. Не решаясь пока действовать в открытую, король дает Бомарше 10 июня 1776 года, за месяц до провозглашения Американскими штатами независимости, миллион ливров и разрешение получить оружие из французских арсеналов (двадцать пять тысяч ружей, двести пушек, мортиры, снаряды, ядра, порох и т. д.). Бомарше создает фиктивный торговый дом «Родриго Горталес и компания», приобретает сорок кораблей, в том числе откупает у правительства трехпалубный, шестидесятипушечный бриг «Гиппопотам», который переименовывает в «Гордого Родриго». Нагрузив корабли всем необходимым для повстанческой армии, Бомарше направляет их в Америку. Кроме правительственного миллиона, он вкладывает в дело огромные собственные средства, рассчитывая получить из Нового Света в уплату за свое оружие виргинский табак, индиго и другие товары, которые можно перепродать в Европе. В его представлении, как всегда, благородные принципы не только не исключают, но и предполагают доходность предприятия. Письма Бомарше Конгрессу представляют собой, как метко выражается его биограф Ломени, «смесь духа патриотического и купеческого, в равной мере искреннего». И это немало способствует укреплению в американцах убеждения, что «Родриго Горталес и К°» — подставное лицо французского правительства, а все разговоры о возмещении пустая болтовня, на которую можно не обращать внимания. «Господа,— пишет «Родриго Горталес» Конгрессу, предъявляя счет на свои

товары,— рассматривайте мой торговый дом как главу всех операций в Европе, которые могут быть полезны Вашему делу, в моем лице Вы имеете самого ревностного поборника Вашей нации, душу Вашего успеха и человека, глубочайшим образом проникнутого к Вам почтительным уважением...»

К сентябрю 1777 года Бомарше отсылает товаров на пять миллионов ливров, так и не получив ни полушки в уплату. Американское правительство будет неоднократно возвращаться к обсуждению вопроса о своем долге Бомарше. Для расследования этого дела будут назначаться комиссии, но только в середине XIX века наследникам торгового дома «Родриго Горталес и К°» будет выплачена наконец некая сумма, намного меньшая, нежели ему причитается. Представляя себе американских республиканцев на манер благородных героев Плутарха, негоциант Бомарше недооценивал коммерческую хватку своих торговых корреспондентов.

В помощи «великому делу Свободы» немалую притягательность для Бомарше имела и чисто авантюрная сторона. Пока Франция не признала открыто Американских штатов,— кстати, текст будущей французской декларации в значительной степени подсказан запиской Бомарше от 26 октября 1777 года «Специальный мемуар министрам короля и Государственный манифест»,— французское правительство делает вид, что ему ничего не известно о поставках Бомарше, и не считает нужным защищать его корабли от английских корсаров. Более того, королевский канцлер Морепа, прекрасно зная, что к чему, берет с Бомарше слово, что его корабли не пристанут к Американскому континенту. Бомарше разрабатывает с точностью театральных мизансцен хитроумные проекты передачи товаров. Посылая, например, американцам одежду для солдат, одеяла, сто пушек и т. д., он пишет своему представителю в Америке Тевено де Франси (брату того самого Тевено, которого Бомарше обратил «из волка в преданную овчарку»): «Я долго все это обдумывал и пришел к выводу, что вы можете тайно договориться с тайным комитетом Конгресса, чтобы они срочно выслали одного или двух американских корсаров на широту Сан-Доминго... Когда мое судно будет выходить из порта, они устроят так, чтобы американский корсар под любым предлогом захватил его и увел. Мой капитан будет протестовать против насилия, составит протокол, угрожая принести жалобу Конгрессу. Судно будет приведено туда, где находитесь вы. Конгресс гласно осудит наглого корсара и вернет свободу судну... а тем временем вы успеете разгрузить корабль и, нагрузив его табаком, немедленно отошлете его ко мне...»

В конце восьмидесятых годов солнце популярности Бомарше начинает клониться к закату. Еще нашумят его мемуары против Корнмана и Бергаса (1786—1789), в которых Бомарше отстаивает женское равно-

правие, но суждения публики будут лишены единодушия, в Бомарше многие увидят защитника того самого режима, изобличения которого принесли ему славу. Еще пойдет с успехом опера «Тарар», написанная Сальери на либретто Бомарше (июнь 1788 г.). Реформаторский дух Бомарше коснется и этого жанра, он первым создаст оперу, где драматическая коллизия, драматический текст не заглушаются музыкой, не заслоняются дивертисментом. Еще станут рыдать и падать в обморок женщины при возобновлении в 1797 году «Преступной матери» (в 1792 г., на премьере, пьеса провалилась). Но ничего равного своим шедеврам Бомарше уже не создаст.

После революции он некоторое время принимает участие в общественной жизни, его даже избирают членом городского самоуправления — Парижской коммуны. Однако в народе дремлет, а временами и прорывается глухое недоверие к этому богачу, воздвигшему себе прямо напротив Бастилии (незадолго до ее взятия народом) дом настолько пышный, что на него ходят смотреть, как на музей.

Дело о ружьях, купленных Бомарше для французского правительства в 1792 году и так и не доставленных во Францию, чрезвычайно осложняет его существование, он попадает в тюрьму; чудом избежав смерти, оказывается за границей, его объявляют эмигрантом, он влачит жалкое существование в Гамбурге, в полной изоляции: сторонники революции держат его на подозрении, поскольку он включен в проскрипционные списки; ее враги, истинные эмигранты, не желают с ним общаться, как с человеком, сочувствующим новому режиму.

Лишь после долгих хлопот жены Бомарше был вычеркнут из списков эмигрантов и смог 5 июля 1796 года вернуться в Париж. Здесь, в кругу семьи, провел он три последних и самых мирных года жизни, интересуясь политикой, покровительствуя изобретателям и пожиная плоды театральной славы. Умер Бомарше 18 мая 1799 года.

Последнее значительное произведение Бомарше — его мемуар, посвященный перипетиям «дела о ружьях»,— «Шесть этапов девяти самых тягостных месяцев моей жизни». Написан он в форме обращения к члену Конвента Лекуантру, обвинившему Бомарше перед Конвентом в государственной измене. Этот мемуар написан суше, сдержанней, чем мемуары против Гезмана. В нем нет ни комедийной сочности, ни заразительного жизнелюбия и оптимизма, переливавшегося через край в произведениях молодого Бомарше.

Лирический герой этих записок — стар и глух. Он ищет не только сочувствия читателя, но и его жалости. Однако автору не изменяет ни ясность ума, ни умение так выстроить факты, что читатель следит за поворотами дела о шестидесяти тысячах ружей с не меньшим изумле-

нием, чем за перипетиями «Безумного дня». Казалось бы, подозрения графа рассеяны — в туалетной комнате графини была Сюзанна,— но появляется Антонио с изобличительным горшком сломанных левкоев, и пружина интриги вновь туго сжимается, чтобы распрямиться при мнимом признании Фигаро и снова сжаться в следующем эпизоде. Казалось бы, дело о ружьях решено — комитеты Национального собрания поддержали Бомарше, министр готов выполнить обязательства, банковское требование выписано, но внезапно возникает некто Провен, торговец подержанным товаром, с его протестом, или происходит смена кабинета, или Бомарше арестовывают по ложному доносу спекулянтов, желающих нагреть руки на его ружьях,— и все начинается сначала.

Не изменяет Бомарше и отвага. Смело говорит он о коррупции исполнительной власти, о продажности министерских канцелярий, где засели спекулянты и их пособники. И, как всегда, рассказав о своих мытарствах, о том, как ему, «честному негоцианту и патриоту», мешали выполнить свой долг и осуществить свою торговую операцию (одно неотделимо от другого), он,— не забудьте, что мемуары публикуются в момент революционного террора,— переходит к страстным обобщениям, свидетельствующим, что дух его не сломлен: «О моя отчизна, залитая слезами! — горестно и возмущенно восклицает он.— О горемычные французы! Что толку в том, что мы повергли в прах бастилии, если на их развалинах отплясывают бандиты, убивая нас всех? *Истинные друзья свободы!* Знайте, что главные наши палачи — распущенность и анархия. Поднимите голос вместе со мной, потребуем з а к о н о в от депутатов...» И со своей неизменной уверенностью, что несправедливость, содеянная в отношении его лично, губительна для всех, продолжает, обращаясь к Конвенту: «Если вы еще колеблетесь... я с болью говорю вам, французы, недолго нам осталось быть свободными; первая нация мира, закованная в железы, станет позором, гнусным срамом нашего века и пугалом для остальных наций».

«Шесть этапов» Бомарше любопытны, как образец документальной прозы XVIII века. С дотошностью и педантичностью негоцианта Бомарше подтверждает каждое свое слово перепиской с официальными инстанциями. Он не прочь заморочить голову министрам — и читателям — специальной терминологией, бесконечными ссылками на валютные операции, в которых и не профан может увязнуть. Но в остальном его проза ясна, увлекательна и доносит до нас сейчас, почти через два века, неповторимый дух эпохи, ее стиль, ее бытовой, деловой и декламационный язык. Великие события французской истории, деятели революции описаны здесь под углом зрения очень личным, подчас достаточно лицеприятным, но в этом пристрастном взгляде изнутри событий есть особая достоверность, которая представляет для нас немалый интерес.

* * *

В одном из черновиков Бомарше есть такая запись: «Я скажу вам, дорогие мои современники, что не знаю ни другого века, когда я предпочел бы родиться, ни другой Нации, к которой мне было бы приятней принадлежать. Не говоря уж о том, сколь любезно французское общество, я обнаруживаю в нас последние двадцать или тридцать лет единое стремление возвеличить мысль полезными изысканиями, добиться всеобщего счастья силами разума. Дух Нации переживает некий счастливый кризис: яркий, всепроникающий свет будит в каждом ощущение, что все доступно совершенствованию. Повсюду беспокойство, деятельность, поиски, реформы...»

Дух неугомонного обновления пронизывает все, что делал сам Бомарше. В нем — единство творчества этого писателя. В нем — секрет его смеха, легкого, непочтительного, искрящегося, как шампанское, и в то же время сокрушительного, уничтожающего. В нем та крепкая нить, которая связует нас сегодня с творцом Фигаро.

Л. ЗОНИНА

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

КОМЕДИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

И я, отец, там умереть не мог!
«Заира», действие II

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

СДЕРЖАННОЕ ПИСЬМО О ПРОВАЛЕ И О КРИТИКЕ «СЕВИЛЬСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА»

Скромно одетый автор с поклоном подносит читателю свою пьесу.

Милостивый государь!

Имею честь предложить вашему вниманию новую мою вещицу. Хорошо, если бы я попал к вам в одно из тех счастливых мгновений, когда, свободный от забот, довольный состоянием своего здоровья, состоянием своих дел, своею возлюбленною, своим обедом, своим желудком, вы могли бы доставить себе минутное удовольствие и прочитать моего *Севильского цирюльника,* так как без этих условий человек не способен быть любителем развлечений и снисходительным читателем.

Но если, паче чаяния, ваше здоровье подорвано, ваши дела запутаны, ваша красавица нарушила свои клятвы, ваш обед оказался невкусным, а пищеварение ваше расстроено,— о, тогда оставьте моего *Цирюльника,* вам сейчас не до него! Лучше подсчитайте свои расходы, изучите «дело» вашего недоброжелателя, перечтите предательскую записку, найденную вами у Розы, просмотрите образцовые труды Тиссо о воздержании или же размышляйте о политике, экономике, диете, философии и морали.

Если же состояние ваше таково, что вам непременно надо забыться, то сядьте поглубже в кресло, разверните буйонскую *энциклопедическую* газету, издающуюся *с дозволения и одобрения,* и часика два подремлите.

Разве произведение легкого жанра способно рассеять мрачные думы? В самом деле, что вам до того, ловко ли цирюльник Фигаро провел доктора Бартоло, помогая сопернику отбить у него возлюбленную? Не очень-то смешит чужое веселье, когда у самого на душе тяжело.

Точно так же не все ли вам равно, что этот испанец-цирюльник, приехав в Париж, испытал превратности судьбы и что моим досужим вымыслам могли придать слишком большое значение только благодаря тому, что Фигаро было запрещено заниматься своим ремеслом? Чужие дела возбуждают любопытство только в том случае, когда за свои собственные беспокоиться нечего.

Итак, все у вас благополучно? Вы можете кушать за двоих, у вас хороший повар, верная возлюбленная, а покой ваш ничем не нарушен? О, тогда поговорим, поговорим! Прошу вас, уделите внимание моему *Цирюльнику*.

Я прекрасно понимаю, милостивый государь, что прошли те времена, когда я, всюду таская с собой свою рукопись и напоминая прелестницу, часто отказывающую в том, на что она всегда горит желанием согласиться, скупо читал мой труд избранным лицам, а те полагали своею обязанностью платить за мою любезность высокопарною похвалой.

О счастливые дни! Время, место, доброжелательность слушателей — все мне благоприятствовало, очарование искусного чтения обеспечивало мне успех, я проглатывал слабые места и подчеркивал сильные, затем с горделивою скромностью, с полуопущенным взором принимал знаки одобрения и упивался торжеством, тем более отрадным, что три четверти его не доставались на долю мошенника актера.

Увы, какими жалкими представляются теперь все эти ухищрения! Теперь, когда нужны чудеса, чтобы покорить вас, когда один только жезл Моисея мог бы что-нибудь поделать, я лишен даже той силы, какою обладал посох Иакова: больше не существует ни фокусов, ни плутовства, ни кокетства, ни модуляций голоса, ни театральной иллюзии — ничего. На ваш суд я отдаю мое дарование таким, каково оно есть, без всяких прикрас.

Пусть же не удивляет вас, милостивый государь, что в выборе слога я считаюсь с моим положением и не беру примера с тех писателей, которые позволяют себе небрежно обращаться к вам: *читатель, друг читатель, дорогой читатель, благосклонный, любезный читатель* — или же дают вам какое-либо другое фамильярное, я бы даже сказал, неблагопристойное, название,

с помощью коего эти неосмотрительные люди пытаются стать на равную ногу со своим судьей, хотя ничего, кроме недоброжелательства, это в нем обыкновенно не вызывает. Не было случая на моей памяти, чтобы чванство кого-нибудь пленило,— добиться от гордого читателя известной снисходительности можно только скромностью.

Ах, еще ни один писатель так не нуждался в снисходительном отношении, как я! Тщетно стал бы я это скрывать; когда-то я имел неосторожность в разное время предложить вашему вниманию, милостивый государь, две печальные пьесы, два, как известно, чудовищных произведения, ибо теперь уже для всех ясно, что нечто среднее между трагедией и комедией не должно существовать; это вопрос решенный, все, от мала до велика, о том твердят. Я сам в этом до такой степени убежден, что если б я сейчас захотел вывести на сцену неутешную мать, обманутую супругу, безрассудную сестру, сына, лишенного наследства, и в благопристойном виде представить их публике, я бы прежде всего придумал для них дивное королевство на каком-нибудь архипелаге или же в каком-либо другом уголке мира, где бы они царствовали, как их душе угодно. Тогда я уже был бы уверен, что мне не только не поставят в упрек неправдоподобие интриги, невероятность событий, ходульность характеров, необъятность идей и напыщенность слога, но, напротив, именно это и обеспечит мне успех.

Изображать людей среднего сословия страдающими, в несчастье? Еще чего, их следует только высмеивать! Смешные подданные и несчастные короли — вот единственно существующий и единственно возможный театр. Я со своей стороны принял это к сведению — и кончено: больше я ни с кем ссориться не желаю.

Итак, милостивый государь, некогда я имел неосторожность написать пьесы, не принадлежащие к *хорошему жанру*,— я искренне в этом раскаиваюсь.

Затем, в силу некоторых обстоятельств, я рискнул выступить со злополучными *Мемуарами,* и недруги мои признали, что они не отличаются *хорошим слогом*,— меня за это жестоко мучает совесть.

Нынче я вам подсовываю презабавную комедию, которую кое-кто из законодателей мнений не считает произведением *хорошего тона*,— я в неутешном горе.

Быть может, в один прекрасный день я осмелюсь оскорбить ваш слух оперой, и люди, которые когда-то были молодыми, ска-

жут о ней, что в ней не чувствуется влияния *хорошей французской музыки,*— я заранее сгораю со стыда.

Так, то совершая ошибки, то прося прощения, то попадая впросак, то извиняясь, я до самой смерти буду стараться заслужить ваше снисхождение тем обезоруживающим простосердечием, с каким буду признавать свои ошибки и приносить свои извинения.

Что же касается *Севильского цирюльника,* то я принимаю сейчас почтительный тон не для того, чтобы вас подкупить, а потому, что меня клятвенно уверяли, будто автору, хотя бы и потрепанному, но все же одержавшему в театре победу, остается лишь на предмет стяжания всех литературных лавров заслужить ваше, милостивый государь, одобрение и быть изруганному на все корки в нескольких газетах. Таким образом, если только вы соизволите пожаловать мне лавровый венок вашей благосклонности, то слава мне обеспечена, ибо я не сомневаюсь, что некоторые из господ журналистов не откажут мне в венке своей неблагосклонности.

Один из них, обосновавшийся *с дозволения и одобрения* в Буйоне, уже оказал мне *энциклопедическую* честь, уверив своих подписчиков, что в пьесе моей нет ни плана, ни единства, ни характеров, что она нисколько не занимательна и не смешна.

Другой, еще более простодушный, который, впрочем, не имеет ни *дозволения,* ни *одобрения,* не имеет даже *энциклопедии,* попросту пересказывает мою пьесу своими словами и присовокупляет к лавровому венку своей критики следующую лестную похвалу моей особе: «Репутация г-на Бомарше сильно пошатнулась. Порядочные люди поняли наконец, что когда из него повыдергают павлиньи перья, то под ними окажется противная черная ворона, наглая и назойливая, как все вороны».

Так как я действительно имел наглость написать комедию *Севильский цирюльник,* то, дабы полностью оправдать данное мне определение, я буду настолько назойлив, что покорнейше попрошу вас, милостивый государь, судить меня самостоятельно, не обращая внимания на критиков бывших, настоящих и будущих: вы же знаете, что газетчикам часто бывает положено по штату враждовать с литераторами; я буду до того назойлив, что прямо заявлю вам: раз вы взялись за мое дело, то, хотите вы или не хотите, вы непременно должны быть моим судьей, ибо вы — мой читатель.

Вы прекрасно понимаете, милостивый государь, что, если бы вы, дабы не утруждать себя или же доказать мне, что я

неправильно рассуждаю, наотрез отказались меня прочесть, вы сами допустили бы логическую ошибку, недостойную такого просвещенного человека, как вы: не будучи моим читателем, вы уже не могли бы быть тем лицом, к коему обращена моя жалоба.

В самом деле, если бы, невзирая на то, что я вас известным образом обязал, вам во время чтения вздумалось швырнуть мою книгу, это, милостивый государь, было бы равносильно тому, что во время любого другого судебного разбирательства вас унесла бы из залы заседаний смерть или же какой угодно другой несчастный случай вывел бы вас из состава судей. Вы можете избежать суда надо мной, только превратившись в ничто, сделавшись отрицательной величиной, сойдя на нет, перестав существовать в качестве моего читателя.

Да и какой вам вред от того, что я ставлю вас над собой? После счастья повелевать людьми самая высшая честь — это судить их; ведь правда, милостивый государь?

Итак, мы с вами уговорились. Я не знаю никаких других судей, кроме вас, не исключая и господ зрителей, которые судят лишь в первой инстанции, а затем нередко убеждаются, что их приговор отменен вашим судом.

Первоначально мое дело слушалось в их присутствии в театре, и эти господа много смеялись, так что я уже начал было думать, что выиграл процесс. Не тут-то было: журналист, обосновавшийся в Буйоне, утверждает, что смеялись не над кем иным, как надо мной. Но это, милостивый государь, выражаясь языком судейских, всего лишь гнусная прокурорская ябеда. Моя цель была — позабавить зрителей, и если только они смеялись от души, значит, цель достигнута, все равно — смеялись они над моей пьесой или же надо мной самим. Вот почему я продолжаю думать, что выиграл процесс.

Тот же самый журналист уверяет, или, во всяком случае, намекает, что, желая заручиться поддержкой некоторых зрителей, я устраивал для них чтения в частных домах и этим особым почетом заранее их подкупал. Но и это, милостивый государь, есть лишь навет немецкого публициста. Совершенно очевидно, что я ставил себе только одну задачу: ознакомить их с пьесой; я устраивал нечто вроде совещаний по существу дела. Если же мои советчики, высказав свое мнение, впоследствии попали в число моих судей, то, как вы сами понимаете, милостивый государь, я тут ни при чем: раз они чувствовали, что неравнодушны к моему цирюльнику-андалусцу, им из деликатности следовало от этого уклониться.

Ах, если б они продолжали оставаться хоть немного неравнодушными к этому юному чужестранцу! Нам бы с ним легче было тогда переносить мимолетную нашу невзгоду. Таковы люди: вы пользуетесь успехом — вас принимают с распростертыми объятиями, от вас не отходят, за вами ухаживают, вами гордятся. Но бойтесь оступиться. Помните, друзья мои: малейшая неудача — и друзей у вас как не бывало.

Это-то самое и случилось с нами сейчас же после того наизлополучнейшего вечера. Надо было видеть, как малодушные друзья цирюльника старались замешаться в толпу, отворачивались или же убегали. Женщины, всегда такие смелые, когда они что-либо поощряют, тут надвигали чуть не до бровей капюшоны и в смущении опускали глаза. Мужчины спешили побывать друг у друга, принести покаяние в том, что они хвалили мою пьесу, и объяснить моею проклятою манерою чтения то обманчивое удовольствие, которое они испытывали. Это было повальное отступничество, истинное бедствие.

Одни, да простит им господь, как только замечали, что я показался справа, сейчас же направляли лорнеты налево и притворялись, что не видят меня. Другие, более отважные, удостоверившись, что никто на них не смотрит, тащили меня в угол и говорили:

— Как же это вам так удалось обмануть нас? Ведь, сказать по совести, любезный друг, ваша пьеса — это нечто в высшей степени пошлое.

— Увы, господа, я действительно читал эту пошлость так же пошло, как написал ее. Но если уж вы так добры, что разговариваете со мной после моего провала, то вот вам мой совет: чтобы и второй ваш приговор не был опорочен, не допускайте новой постановки моей пьесы на сцене. А вдруг, как на грех, ее сыграют так, как я ее читал? Чего доброго, вы снова дадитесь в обман и еще, сохрани бог, рассердитесь на меня, потому что окончательно запутаетесь в том, когда же вы были правы, а когда ошибались.

Мне не поверили. Пьеса моя была играна снова, и на сей раз я оказался пророком в своем отечестве. Бедный Фигаро, *выпоротый* завистниками в качестве *тругня* и почти погребенный в пятницу, поступил не так, как Кандид: набравшись храбрости, мой герой восстал в воскресенье, и ни строгий пост, ни усталость после семнадцати публичных выступлений не отразились на жизненной его силе. Но кто знает, как долго это продлится? Я не поручусь за то, что через пять-шесть столетий о

нем будут еще помнить,— до такой степени наша нация непостоянна и легкомысленна!

Драматические произведения, милостивый государь, подобны детям. От них, зачатых в миг наслаждения, выношенных с трудом, рожденных в муках и редко живущих столько времени, чтобы успеть отблагодарить родителей за их заботы,— от них больше горя, чем радости. Проследите за их судьбой: стоит им увидеть свет, как под предлогом удаления опухолей их подвергают цензуре,— из-за этого многие из них остались недоразвитыми. Вместо того чтобы осторожно играть с ними, жестокий партер толкает их и валит с ног. Нередко актер, качая колыбель, их калечит. Стоит вам на мгновение потерять их из виду, и,— о, ужас! — растерзанные, изуродованные, испещренные помарками, покрытые замечаниями, они уже бог знает куда забрели. Если же им и удается, избежав стольких несчастий, на краткий миг блеснуть в свете, то самое большое несчастье их все-таки постигает: их убивает забвение. Они умирают и, вновь погрузившись в небытие, теряются навсегда в неисчислимом множестве книг.

Я спросил одного человека, чем объясняются эти битвы, эта ожесточенная война между партером и автором на первом представлении даже таких пьес, которые впоследствии будут нравиться зрителям. «Разве вы не знаете,— ответил он,— что Софокл и престарелый Дионис умерли от радости, когда их в театре наградили за стихи? Мы очень любим наших авторов, и мы не можем допустить, чтобы радостное волнение оказалось для них слишком сильным и отняло их у нас. Вот почему, стремясь уберечь их, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы их торжество никогда не было полным и чтобы они не могли умереть от счастья».

Каковы бы ни были причины подобной суровости, плод моего досуга, юный невинный цирюльник, встреченный таким презрением в первый день, но далекий от мысли по прошествии нескольких дней воспользоваться своим торжеством и отомстить критикам, приложил только еще больше стараний, чтобы обезоружить их веселостью своего нрава.

Это, милостивый государь, случай редкий и поразительный в наш век мелочных дрязг, когда рассчитано все, вплоть до смеха, когда малейшее различие во мнениях вызывает вечную ненависть, когда любая шутка превращается в войну, когда брань, давая отпор брани, сама получает в ответ брань, тотчас же посылает другую, которая затмевает предыдущую и порождает новую, а та, в свою очередь, плодит еще и еще, и так обиды мно-

жатся до бесконечности, вызывая у самого язвительного читателя сначала смех, потом пресыщение, затем отвращение и в конце концов негодование.

Я же, милостивый государь, если только это правда, что все люди — братья (а ведь мысль-то сама по себе прекрасная!), я бы хотел уговорить наших братьев литераторов помириться на том, что к заносчивому и резкому тону в спорах будут прибегать только наши братья пасквилянты, которые отлично умеют не оставаться в долгу, а к брани — наши братья сутяги, которые тоже в высшей степени обладают этим уменьем. Больше же всего мне бы хотелось уговорить наших братьев журналистов отказаться от того поучающего и наставительного тона, которым они распекают Аполлоновых питомцев и вызывают смех у глупости наперекор рассудку.

Разверните газету. Не создается ли у вас впечатления, что вы видите перед собой строгого наставника, который замахивается линейкою или же розгою на нерадивых школяров и обращается с ними, как с невольниками, за малейшее уклонение от их обязанностей? Кстати, об обязанностях, братья мои: литература — это отдых от обязанностей, это приятное времяпрепровождение.

Во всяком случае, мой-то ум вы уж не надейтесь подчинить в этих играх своей указке: он неисправим, и, как только обязательный урок кончился, он становится крайне легкомысленным и шаловливым и может только резвиться. Будто волан, отскакивающий от ракетки, он взвивается, вновь опускается, снова, веселя мой взор, устремляется вверх, перекувыркивается и, наконец, возвращается обратно. Если какой-нибудь искусный игрок изъявляет желание принять участие в игре и начать перекидываться со мною легким воланом моих мыслей, я бываю рад от всей души; если он отбивает изящно и легко, я втягиваюсь в игру, и начинается увлекательная партия. Тогда вы можете видеть, как удары посылаются, отражаются, принимаются, возвращаются, учащаются, становятся проворнее, даже, если хотите, задорнее, и вся игра ведется с такой быстротою и ловкостью, которая способна и повеселить зрителей, и вдохновить актеров.

Вот, собственно говоря, милостивый государь, какою должна быть критика, и таким я всегда представлял себе спор между благовоспитанными людьми, которые занимаются литературой.

А теперь давайте посмотрим, сохранил ли в своей критике буйонский журналист тот любезный, а главное, искренний тон, который я только что отстаивал.

Моя пьеса — не то фарс, не то фарш,— заявил он.

Не будем спорить против кличек. Неудачные названия, которые повар-иностранец дает французским блюдам, ничуть не меняют их вкуса: они становятся хуже только после того, как пройдут через его руки. Давайте разберем буйонский фарш.

В пьесе отсутствует план,— заявляет журналист.

Может быть, мой план слишком прост и потому именно ускользает от проницательных взоров этого молодого критического дарования?

Влюбленный старик собирается завтра жениться на своей воспитаннице. Юный ее поклонник, как более ловкий, опережает его и в тот же день сочетается с нею законным браком под самым носом опекуна, у него же в доме. Вот основа моего произведения: на ней с одинаковым успехом можно было бы построить трагедию, комедию, драму, оперу и так далее. Не на этом ли построен *Скупой* Мольера? Не на этом ли построен *Великий Митридат?* Жанр пьесы, как и всякого действия вообще, зависит не столько от положения вещей, сколько от характеров, которые и приводят их в движение.

Я же лично не собирался делать из этого плана ничего иного, кроме забавной, неутомительной пьесы, своего рода *imbroglio* [1], моим воображением владела отнюдь не серьезная пьеса, но превеселая комедия, потому-то в качестве лица, ведущего интригу, мне понадобился не мрачный злодей, а малый себе на уме, человек беспечный, который посмеивается и над успехом и над провалом своих предприятий. И только благодаря тому, что опекун у меня не так глуп, как все те, кого обыкновенно надувают на сцене, в пьесе появилось много движения, а главное, пришлось сделать более яркими других действующих лиц.

Если б я, вместо того чтобы остаться в пределах комедийной простоты, пожелал усложнить, развить и раздуть мой план на трагический или драматический лад, то неужели же я упустил бы возможности, заключенные в том самом происшествии, из которого я взял для сцены как раз все наименее потрясающее?

В самом деле, теперь ни для кого уже не является тайной, что в ту историческую минуту, когда пьеса у меня весело заканчивается, ссора между доктором и Фигаро из-за ста экю начинает принимать серьезный характер уже, так сказать, за опущенным занавесом. Перебранка превращается в драку. Фигаро

---

[1] Путаницы *(итал.)*.

бросается на доктора с кулаками, доктор, отбиваясь, срывает с цирюльника сетку, и все с удивлением обнаруживают, что на его бритой голове выжжен шпатель. Слушайте меня внимательно, милостивый государь, прошу вас.

При виде этого доктор, как сильно ни был он избит, восторженно восклицает: «Мой сын! Боже, мой сын! Мой милый сын!..» Однако же Фигаро не слышит этих слов — он с удвоенной силой лупит своего дорогого папашу. Это и в самом деле его отец.

Фигаро, вся семья которого в давнопрошедшие времена состояла из одной лишь матери, является побочным сыном Бартоло. Доктор в молодости прижил этого ребенка с чьей-то служанкой; служанка из-за последствий своего легкомыслия лишилась места и оказалась в самом беспомощном положении.

Однако ж, прежде чем их покинуть, огорченный Бартоло, в то время подлекарь, накалил свой шпатель и наложил клеймо на затылок сына, чтобы узнать его, если судьба когда-нибудь их сведет. Мать и сын стойко переносили лишения, а шесть лет спустя некий потомок Луки Горика, предводитель цыган, который кочевал со своим табором по Андалусии и которого мать Фигаро попросила предсказать судьбу ее сыну, похитил у нее ребенка, а взамен оставил в письменном виде следующее предсказание:

Кровь матери своей он пролил бессердечно,
Злосчастного отца он поразил потом,
Но ранил собственным себя он острием
И вдруг законным стал и счастлив бесконечно![1]

Изменив, сам того не подозревая, свое общественное положение, злосчастный юноша, сам того не желая, изменил и свое имя: он вступил в зрелый возраст под именем Фигаро; он не погиб. Его мать — это та самая Марселина, которая уже успела состариться и теперь ведает хозяйством у доктора; потеряв сына, она нашла утешение в ужасном этом предсказании. И вот ныне оно сбывается.

Пустив Марселине кровь из ноги, как это видно из моей пьесы, или, вернее, как это из нее не видно, Фигаро тем самым оправдывает первый стих:

Кровь матери своей он пролил бессердечно.

---

[1] Стихи в комедии «Севильский цирюльник» и в предисловии к ней переведены Т. Л. Щепкиной-Куперник.— *Ред.*

Когда, после закрытия занавеса, он, не ведая, что творит, колотит доктора, он тем самым подтверждает правильность второй части предсказания:

Злосчастного отца он поразил потом.

Вслед за тем наступает трогательнейший момент: доктор, старуха и Фигаро узнают друг друга. «Это вы! Это он! Это ты! Это я!» Какая эффектная сцена! Однако ж сын, придя в отчаяние от простодушной своей вспыльчивости, заливается слезами и, согласно третьему стиху, хватается за бритву:

Но ранил собственным себя он острием.

Какая картина! Не подлежит сомнению, что, если бы я не пояснил, собирается ли Фигаро перерезать себе горло или всего только побриться, у пьесы получился бы необыкновенно сильный конец. В заключение доктор женится на старухе, и Фигаро, в соответствии с последним прорицанием,

...вдруг законным стал и счастлив бесконечно!

Какая развязка! Для этого мне пришлось бы написать шестой акт. И какой шестой акт! Еще ни одна трагедия во французском театре... Довольно! Возьмем пьесу в том виде, в каком она была играна и подвергнута критике. Раз меня бичуют за то, что я сделал, нечего расхваливать то, что я мог бы сделать.

В пьесе неправдоподобен самый ход событий,— замечает все тот же газетчик, *с дозволения и одобрения* обосновавшийся в Буйоне.

Неправдоподобен? Что ж, давайте от нечего делать разберемся и в этом.

Его сиятельство граф Альмавива, коего близким другом я имею честь быть с давних пор, представляет собой юного вельможу, вернее сказать, он когда-то был таковым, ибо возраст и видные должности превратили его, как и меня, в человека весьма степенного. Итак, его сиятельство был юным испанским вельможей, страстным и пылким, как и все влюбленные испанцы,— испанцы ведь совсем не холодны, как принято думать, а только ленивы.

В Мадриде он мельком увидел некую прелестную особу; вскоре после этого опекун увез ее обратно на родину, а он тайно от всех поехал следом за ней. Целую неделю расхаживал он под ее окнами в Севилье, пытаясь обратить на себя ее внимание, и вот однажды утром случай привел туда же цирюльника

Фигаро. «Ага, случай! — скажет мой критик.— А если бы случай не привел в тот же день и на то же место цирюльника, что сталось бы с пьесой?» — «Она началась бы в какое-нибудь иное время, брат мой».— «Это невозможно, в пьесе ясно сказано, что опекун должен был жениться на своей воспитаннице на другой день».— «Тогда, значит, не было бы и всей пьесы, или если бы она и была написана, брат мой, то уже по-другому. Разве событие становится неправдоподобным только оттого, что оно могло произойти иначе? Право же, вы придираетесь. Кардинал де Ретц преспокойно сообщает нам: «Однажды мне необходим был один человек. В сущности говоря, я желал невозможного: мне хотелось, чтобы он был внуком Генриха Великого, чтобы у него были длинные белокурые волосы, чтобы он был красив, хорошо сложен, чтобы он был сорвиголова, чтобы он умел пользоваться языком рынка и любил рынки; и вот случай сводит меня в Париже с господином де Бофором, бежавшим из королевской тюрьмы; он оказался именно таким человеком, который был мне нужен». Так вот, кому же придет в голову, читая этот рассказ, возразить коадъютору: «Ага, случай! А если бы вы не встретили господина де Бофора? А если бы то, а если бы другое?..»

Итак, случай привел туда же цирюльника Фигаро, краснобая, кропателя стишков, отважного певца, неутомимого гитариста, бывшего графского камердинера. Проживая в Севилье, он с успехом брил бороды, сочинял романсы и устраивал браки, с одинаковым искусством владел и ланцетом хирурга, и аптекарским пестиком, являл собою грозу мужей и любимчика жен,— словом, он оказался именно таким человеком, который был нам нужен. А так как то, что обыкновенно называется страстью, есть не что иное, как желание, при стремлении к чему-либо воспламеняющееся от преград, то юный поклонник, который, повстречай он эту красавицу в свете, быть может, испытал бы лишь минутное увлечение, влюбился в нее именно потому, что ее держат взаперти, влюбился до такой степени, что готов сделать все возможное и невозможное, только бы на ней жениться.

Впрочем, милостивый государь, подробно излагать вам здесь содержание моей пьесы значило бы выказать недоверие к вашей догадливости, значило бы предположить, что вы не сумеете сразу же уловить замысел автора и в слегка запутанном лабиринте потеряете из виду нить интриги. Будучи не столь проницательным, как буйонская газета, *с дозволения и одобрения* неправильно представляющая себе весь ход пьесы, вы, однако ж, увидите, «что все усилия любовника направлены» *не на*

то, чтобы «просто-напросто передать письмо»: письмо — это лишь незначительная частность в развитии интриги, а, уж конечно, на то, чтобы проникнуть в крепость, которую защищают бдительность и недоверчивость; главное же — на то, чтобы обмануть человека, который все время разгадывает хитрости противника и вынуждает его довольно-таки ловко изворачиваться под угрозой с первых же шагов быть выбитым из седла.

Когда же вы увидите, что вся прелесть развязки состоит в том, что опекун запер дверь, а ключ отдал Базилю, чтобы только он да нотариус могли войти и заключить его брачный договор, то вас, конечно, удивит, что столь справедливый критик, то ли сознательно злоупотребляя доверием читателя, то ли искренне заблуждаясь, пишет, да еще в Буйоне, такие вещи: «Графу для чего-то пришлось вместе с Фигаро лезть на балкон по лестнице, хотя дверь была не заперта».

Наконец, когда вы увидите, что бедняга опекун, обманутый несмотря на все меры предосторожности, которые он принял, чтобы избежать этого, в итоге вынужден подписать брачный договор графа и дать согласие на то, чего он не сумел предотвратить, вы уж предоставьте критику решить, такой ли «болван» опекун, что не разгадал интриги, тщательно от него скрывавшейся, если сам критик, от которого ровно ничего не скрывали, разгадал ее не лучше, чем опекун.

В самом деле, если бы критик постиг ее, мог ли бы он не похвалить все удачные места в пьесе?

Что он проглядел, как уже в первом действии намечаются и весело раскрываются характеры действующих лиц, это еще можно ему простить.

Что он не заметил некоторого комизма в большой сцене второго действия, где, невзирая на недоверие и ярость ревнивца, воспитаннице удается ввести его в заблуждение по поводу письма, переданного ей в его присутствии, и заставить его на коленях просить прощения за проявленную им подозрительность, это мне еще понятно.

Что он ни единым словом не обмолвился о сцене недоумения Базиля в третьем действии, сцене, которая представляет собой нечто совершенно новое для нашего театра и которая так смешила зрителей, это меня нисколько не удивляет.

Пусть от него ускользнуло то затруднительное положение, в какое автор добровольно поставил себя в последнем действии, вынудив воспитанницу признаться опекуну, что граф похитил ключ от жалюзи, и как потом автор, не тратя много слов, выпутывается из этого положения и обращает в шутку ту новую тре-

вогу, которую он вселил в умы зрителей. В сущности, это не так важно.

Положим, он просто упустил из виду, что в пьесе, одной из самых веселых, которые когда-либо шли на сцене, нельзя найти ни малейшей двусмысленности, ни единого намека, ни единого слова, которые могли бы оскорбить стыдливость даже посетителей маленьких лож, а ведь это, милостивый государь, чего-нибудь да стоит в наш век, когда лицемерная благопристойность зашла почти так же далеко, как и порча нравов. Очень может быть, что он это упустил из виду. Конечно, такому важному критику все это могло показаться не заслуживающим внимания.

Но как же он не оценил того, на что все порядочные люди не могли смотреть без слез умиления и радости? Я разумею сыновнюю нежность этого славного Фигаро, который никак не может забыть свою мать!

«Так ты знаешь ее опекуна?» — спрашивает его граф в первом действии. «Как свою родную мать»,— отвечает Фигаро. Скупец сказал бы: «Как свои собственные карманы». Франт ответил бы: «Как самого себя». Честолюбец: «Как дорогу в Версаль», а буйонский журналист: «Как моего издателя»,— сравнения всегда черпаются из той области, которая нас особенно занимает. «Как свою родную мать»,— сказал любящий и почтительный сын.

В другом месте опекун ему говорит: «Вы просто очаровательны!» И этот славный, этот честный малый, вместо того чтобы шутки ради сравнить эту любезность с любезностями, которые он слышал от своих возлюбленных, снова возвращается мыслью к своей дорогой матушке и на слова: «Вы просто очаровательны!» — отвечает так: «По правде сказать, сударь, в былое время моя матушка мне тоже это говорила». А буйонская газета проходит мимо таких штрихов! Только люди с совершенно высохшим мозгом и очерствевшим сердцем могут этого не видеть и не чувствовать.

Я уже не говорю о множестве художественных тонкостей, щедрою рукой рассыпанных в моем произведении. Так, например, известно, что амплуа у актеров развелось до бесконечности: существуют амплуа первой, второй и третьей любовницы; амплуа первого, второго и третьего лакея; амплуа простака, важного господина, нищего, крестьянина, письмоводителя, даже уличного зеваки, но амплуа зевающего еще, как известно, не установлено. Что же сделал автор, чтобы обучить артиста, еще не развившего в себе дар разевать рот на сцене? Автор постарался собрать для актера в одной фразе все зевательные зву-

косочетания: *«едва... объявил он, что я захворал»*. В самом деле, эти звукосочетания вызвали бы зевоту у мертвеца и самое зависть заставили бы разжать зубы!

А это изумительное место, где цирюльник, осыпаемый упреками опекуна, который кричит: «А что вы скажете тому несчастному, который все время зевает и стоя спит? И другому, который чихает три часа подряд, да так, что, кажется, вот-вот лопнет? Что вы им скажете?» — наивно отвечает: «Я им скажу... А, черт! Чихающему я скажу: «Будьте здоровы»,— а зевающему: «Приятного сна». Ответ, в самом деле, до того точен, до того незлобив и до того очарователен, что один из тех гордых критиков, которым уготовано место в раю, не мог воздержаться от восклицания: «Черт возьми! Автор, наверное, целую неделю просидел над этой репликой!»

А буйонский газетчик, вместо того чтобы восхищаться этими бесчисленными красотами, пользуется типографской краской и бумагой, *дозволением и одобрением* для того, чтобы объявить, что мое произведение ниже всякой критики! Пусть мне отсекут голову, милостивый государь, но молчать я не стану.

Ведь до чего он, изверг, договорился: «Чтобы этот самый цирюльник не умер для театра, пришлось его искалечить, переделать, переплавить, подрезать, ужать до четырех действий и очистить от великого множества колкостей, каламбуров, от игры слов, коротко говоря, от шутовства»!

По тому, как он рубит сплеча, сейчас видно, что он ни единого слова не слыхал из того произведения, которое он разбирает. Смею уверить этого журналиста, а вместе с ним и того молодого человека, который оттачивает ему перья и слог, что автор не только не очистил пьесу от каламбуров, игры слов и т. д., повредивших ей на первом представлении, но даже ввел потом в действия, сохранившиеся на сцене, все, что только можно было взять из действия, оставшегося у него в портфеле; так расчетливый плотник ищет среди щепок, валяющихся в мастерской, все, что только может ему пригодиться, чтобы заткнуть и заделать в своей работе мельчайшие дыры.

Можем ли мы обойти молчанием жестокий упрек, который он бросает молодой девушке,— упрек в том, что она будто бы «страдает всеми недостатками дурно воспитанной девицы»? Правда, чтобы уклониться от ответственности за подобное обвинение, он пытается спрятаться за других, будто это не он его выдвинул, и употребляет следующее пошлое выражение: «Находят, что молодая особа...» — и т. д. Находят!

Как же, по его мнению, ей следовало поступить? Значит, наше прелестное дитя, вместо того чтобы ответить взаимностью очаровательному юному поклоннику, да к тому же еще и знатному, должно было выйти замуж за старого подагрика-лекаря? Славно же он устраивает ее судьбу! И только потому, что вы не разделяете мнения этого господина, у вас оказываются «все недостатки дурно воспитанной девицы»!

Может статься, буйонская газета благодаря справедливости и искренности своих критиков и приобретает себе друзей во Франции, зато нужно сказать прямо, что по ту сторону Пиренеев друзей у нее будет гораздо меньше, а главное, что она слишком сурова к испанским дамам.

Кто знает, а вдруг ее сиятельство графиня Альмавива, пример для женщин ее круга, ангел в семейной жизни, хотя мужа своего она уже разлюбила, в один прекрасный день припомнит те вольности, которые *с дозволения и одобрения* говорят о ней в Буйоне?

Подумал ли непредусмотрительный журналист хотя бы о том, что графиня, пользующаяся благодаря положению своего мужа огромным влиянием в высоких сферах, могла бы выхлопотать для него пособие от испанской газеты, а может быть, даже и право на издание испанской газеты, и что избранный им род занятий требует от него бережного отношения к знатным дамам? Всякий поймет, что это я для него стараюсь,— мне-то, собственно, все равно.

Пора, однако ж, оставить в покое этого моего противника, хотя это он, главным образом, утверждает, будто, чувствуя, что моей пьесе, разделенной на пять действий, не удержаться на сцене, я, чтобы привлечь зрителей, сократил ее до четырех. А если бы даже и так? Не лучше ли в трудную минуту пожертвовать пятою частью своего имущества, нежели отдать его целиком на разграбление?

Но не впадайте, дорогой читатель (то есть я хотел сказать — милостивый государь), не впадайте, пожалуйста, в распространенную ошибку, это очень отразилось бы на правильности вашего суждения.

Моя пьеса только кажется четырехактною, в действительности же и на самом деле она состоит из пяти актов: первого, второго, третьего, четвертого и пятого, как обыкновенно.

Правда, в день сражения, видя, что враги неистовствуют, партер бурлит, бушует и глухо ропщет, как морские валы, и, слишком хорошо зная, что этот неясный гул, предвестник бурь,

вызвал уже не одно кораблекрушение, я пришел к выводу, что многие пьесы, тоже состоящие из пяти действий, как и моя, вдобавок так же превосходно написанные, как и моя, не пошли бы целиком к черту, как пошла бы и моя, если бы авторы не приняли смелого решения, какое принял я.

Убедившись, что бог завистников разгневан, я твердо сказал актерам:

О дети, жертва здесь необходима!

Сделав уступку дьяволу и разорвав рукопись, я воскликнул: «Бог свистящих, сморкающихся, плюющих, кашляющих и бесчинствующих, ты жаждешь крови? Так пей же мое четвертое действие, и да утихнет твой гнев!»

И вот, поверите ли, адский шум, от которого бледнели и терялись актеры, в то же мгновение начал ослабевать, утихать, спадать, его сменили рукоплескания, и дружное *браво* вырвалось из глубин партера и, ширясь, поднялось до самых верхних скамеек райка.

Из всего вышесказанного, милостивый государь, следует, что в моей пьесе осталось пять действий: первое, второе и третье — на сцене, четвертое — у дьявола, а пятое — там же, где и первые три. Сам автор ручается вам, что от этого четвертого действия, которое не показывают, пьеса больше всего выигрывает именно потому, что его не показывают.

Пусть люди злословят как угодно, с меня довольно того, что я высказал свой взгляд; с меня довольно того, что, написав пять действий, я тем самым принес дань уважения Аристотелю, Горацию, Обиньяку, а также современным писателям и вступился за честь правил в искусстве.

Черт с ней, с переделкой,— моя колесница и без пятого колеса катится не хуже: публика довольна, я тоже. Почему же недовольна буйонская газета? Почему? Да потому, что трудно угодить людям, которые по самому роду своих занятий обязаны веселые вещи всегда признавать недостаточно серьезными, а серьезные — недостаточно игривыми.

Льщу себя надеждой, милостивый государь, что я рассуждаю разумно и что вы довольны моим силлогизмом.

Мне остается ответить на замечания, коими некоторые лица почтили эту наименее значительную из всех пьес, осмелившихся в наш век появиться на сцене.

Я оставляю в стороне письма без подписи, которые посылались и актерам и мне и которые обыкновенно называются анонимными; видимо, судя по их резкости, корреспонденты,

мало что смыслящие в критике, не вполне отдают себе отчет в том, что скверная пьеса — это еще не скверный поступок и что брань, допустимая по отношению к плохому человеку, всегда неуместна по отношению к плохому писателю. Перейдем к другим.

Знатоки находили, что я сделал ошибку, заставив севильского шутника критиковать в Севилье французские обычаи, меж тем как правдоподобие требовало, дескать, чтобы он держался испанских нравов. Это верно, я и сам был того же мнения и для большего правдоподобия вначале собирался написать и поставить пьесу на испанском языке, но один человек со вкусом в разговоре со мной заметил, что тогда она, пожалуй, утратит для парижской публики некоторую долю своей веселости,— именно этот довод и заставил меня написать ее по-французски. Таким образом, я, как видите, многим пожертвовал ради веселья, но так и не мог развеселить буйонскую газету.

Другой театрал, выбрав момент, когда в фойе было много народа, самым серьезным тоном бросил мне упрек в том, что моя пьеса напоминает *Во всем все равно не разберешься*. «Напоминает, сударь? Я утверждаю, что моя пьеса и есть *Во всем все равно не разберешься*».— «Как так?» — «Да ведь в моей пьесе так до сих пор и не разобрались». Театрал осекся, а все кругом засмеялись, главным образом, потому, что тот, кто упрекал мою пьесу в сходстве с пьесой *Во всем все равно не разберешься*, сам положительно ни в чем не разбирался.

Несколько дней спустя (это уже серьезнее) в доме у одной больной дамы некий представительный господин, весь в черном, с пышной прической, опираясь на палку с изогнутой ручкой, чуть дотрагивался до запястья дамы и в вежливой форме высказывал сомнения в справедливости моих сатирических замечаний по поводу врачей. «А у вас, сударь, есть друзья среди докторов? — спросил я.— Мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы мои шалости...» — «Не в этом дело, сейчас видно, что вы меня не знаете. Я человек беспристрастный, в данном случае я имею в виду всю корпорацию в целом». По его словам очень трудно было догадаться, кто бы это мог быть! «Знаете, сударь,— возразил я,— в шутках не то важно, соответствуют ли они истине, а хороши они или нет».— «А если мы с этой стороны взглянем на вашу пьесу, то много ли вы выиграете?» — «Браво, доктор! — воскликнула дама.— Этакое чудовище! Чего доброго, он еще и нас, женщин, очернил! Давайте заключим против него единый союз».

При слове *доктор* я начал догадываться, что дама говорит со своим врачом.

— Милостивая государыня и милостивый государь,— скромно заговорил я,— я действительно допустил в этом отношении некоторые промахи, но я не придавал им никакого значения, оттого что они совершенно безвредны.

Да и кто посмел бы пойти против этих двух могущественных корпораций, владычество которых распространяется на всю вселенную и которые поделили между собою мир? Назло завистникам красавицы будут царить до тех пор, пока существует наслаждение, а доктора — пока существует страдание. Крепкое здоровье так же неизбежно приводит нас к любви, как болезнь отдает нас во власть медицины.

Впрочем, если взвесить преимущества и той и другой стороны,— кто знает, может статься, искусство врачевания до некоторой степени превзойдет красоту. Красавицы часто отсылают нас к врачам, но еще чаще врачи берут нас под свое наблюдение и уже не отсылают к красавицам.

Таким образом, когда шутишь, то, пожалуй, не мешает принимать в соображение разницу в последствиях нанесенной обиды: во-первых, красавицы мстят тем, что покидают нас, а это является злом отрицательного свойства, в отличие от врачей, которые мстят тем, что завладевают нами, а это уже зло чисто положительное.

Во-вторых, когда мы в руках врачей, они делают с нами все, что хотят, красавицы же, будь то красавицы писаные, делают с нами только то, что могут.

В-третьих, чем чаще мы видимся с красавицами, тем менее необходимыми становятся они для нас, тогда как, раз прибегнув к врачам, мы потом уже не можем без них обойтись.

Наконец, владычество одних существует, очевидно, только для того, чтобы упрочить владычество других, ибо чем больше румяная юность предается любви, тем вернее бледная старость подпадает под иго медицины.

Засим, милостивая государыня и милостивый государь, раз вы заключили против меня единый союз, значит, я поступил правильно, что представил свои оправдания заодно вам обоим. Верьте же мне, что мой обычай — поклоняться красавицам и опасаться врачей и что если я и говорю что-либо дурное о красоте, то только в шутку, равно как не без трепета посмеиваюсь я над медициной.

У вас, милостивые государыни, нет оснований сомневаться в моей искренности: самые ярые мои враги вынуждены были

признать, что в порыве раздражения, когда моя досада на одну красотку легко могла распространиться на всех прочих, я мгновенно остановился на двадцать пятом куплете и, внезапно раскаявшись, принес в двадцать шестом повинную разгневанным красавицам:

Красавицы! Вы не должны
Моим смущаться осужденьем,
Что не всегда любви верны,—
Зато верны вы наслажденьям.
Пускай на яд шутливых стрел
Прекрасный пол не негодует:
Ведь тот их слабости бичует,
Кто с ними б их делить хотел!

Что же касается вас, господин доктор, то ведь известно, что Мольер...

— Я в отчаянии,— сказал он, вставая,— что не могу долее наслаждаться вашим просвещенным обществом, но человечество не должно страдать из-за моих удовольствий.

Ей-богу, я так и остался с открытым ртом, не докончив своей мысли.

— Не знаю, прощу ли вас я,— сказала со смехом больная красавица,— но я вижу ясно, что наш доктор вас не прощает.

— Наш, сударыня? Он никогда не будет моим.

— Но почему же?

— Не знаю. Боюсь, как бы он не оказался ниже своего звания, раз он не выше тех шуток, которые можно себе позволить над его званием.

Этот доктор не для меня. Человек, искушенный в своем искусстве и в силу этого чистосердечно признающий, что оно не безупречно, человек остроумный и потому готовый посмеяться вместе со мной над теми, кто считает его непогрешимым,— таков мой врач. Окружая меня своими попечениями,— а попечения у них называются визитами,— давая мне советы, которые у них называются предписаниями, он достойно и не пуская пыли в глаза исполняет благороднейший долг души просвещенной и чувствительной. Как человек более умный, чем его собратья, он принимает в соображение наибольшее количество симптомов, а ведь к этому только и можно стремиться в искусстве, столь же полезном, сколь и неточном. Он беседует со мной, утешает меня, руководит мной, а природа довершает остальное. Вот почему он не только никогда не обижается на шутку, но, напротив, сам прибегает к шутке в разговорах с педантами. Самовлюбленному лекарю, который с важным ви-

дом говорит ему: «Из восьмидесяти больных пневмонией, прошедших этой осенью через мои руки, умер только один»,— мой врач с улыбкой отвечает: «А я лечил этой зимой более ста человек,— увы, мне удалось спасти только одного». Таков мой милый доктор.

— Я его знаю.

— Позвольте мне не менять его на вашего. Я столько же доверяю педантам, когда я болен, сколько оказываю внимания недотрогам, когда я здоров. Однако ж я сглупил. Вместо того чтобы читать вам мою повинную прекрасному полу, мне надо было пропеть доктору куплет о недотроге,— это прямо про него написано:

В усердье авторском моем
Ища веселые сюжеты,
Люблю набрасывать пером
Эскизы только — не портреты.
Но кто ж себя в них узнает?
Умна — так не подаст и виду!
А та, что выскажет обиду,—
Себя лишь этим выдает!

— Кстати о песенках,— сказала дама.— Как это было с вашей стороны любезно ставить свою пьесу во Французском театре, когда у меня ложа в Итальянском! Почему вы не сделали из нее комической оперы? Говорят, сначала вы именно так и хотели. Жанр вашей пьесы таков, что я бы на вашем месте непременно внесла в нее музыку.

— Не знаю, как бы она это перенесла,— думаю, что мой первоначальный план был ошибочен. Из всех доводов, заставивших меня переменить мое намерение, я приведу вам, сударыня, только один, и он объяснит вам все.

Драматическая наша музыка еще мало чем отличается от нашей музыки песенной, поэтому от нее нельзя ожидать подлинной увлекательности и настоящего веселья. Ее можно будет серьезно начать применять в театре лишь тогда, когда у нас поймут, что на сцене пение только заменяет разговор, когда наши композиторы приблизятся к природе, а главное, перестанут навязывать нелепый закон, требующий постоянного возвращения к первой части арии после того, как вторая уже исполнена. Разве в драме существуют репризы и рондо? Это несносное топтание на месте убивает всякий интерес и обличает нестерпимую скудость мыслей.

Я всегда любил музыку, любил без измен и даже без мимолетных увлечений, и все же, когда я смотрю пьесы, особенно

меня занимающие, я часто ловлю себя на том, что пожимаю плечами и недовольно шепчу: «Ах, музыка, музыка! К чему эти вечные повторения? Разве ты и так не достаточно медлительна? Вместо того чтобы вести живой рассказ, ты твердишь одно и то же, вместо того чтобы изображать страсть, ты цепляешься за слова! Поэт бьется над тем, чтобы укоротить развязку, а ты ее растягиваешь! Зачем он добивается наибольшей выразительности и сжатости языка, если никому не нужные трели пускают насмарку все его усилия? Раз ты так бесплодно плодовита, так и оставайся со своими песнями, и да будут они единственной твоей пищей, пока ты не познаешь бурного и возвышенного языка страстей».

В самом деле, если декламация есть уже превышение законов сценической речи, то пение, представляющее собой превышение законов декламации, есть, следовательно, превышение двойное. Прибавьте к этому повторение фраз, и вы увидите, как это в конце концов занимательно получается. Коренной порок все более и более бросается в глаза, занимательность между тем ослабевает, действие становится вялым; мне чего-то недостает; внимание мое рассеивается; мне скучно; если же я пытаюсь угадать, чего бы мне хотелось, то чаще всего оказывается, что я хочу, чтобы спектакль поскорее кончился.

Существует еще одно подражательное искусство; вообще говоря, оно еще менее совершенно, чем музыка, но в данном случае, пожалуй, оно может служить ей примером. По одному своему разнообразию возвышенный танец уже является образцом для пения.

Посмотрите, как величественный Вестрис или гордый Оберваль начинает характерный танец. Он еще не танцует, но стоит ему показаться вдали, как его свободная, непринужденная манера держаться уже заставляет зрителей поднять головы. Он подчиняет вас себе и в то же время обещает наслаждение. Он начал... Музыкант двадцать раз повторяет одни и те же фразы, одни и те же движения, меж тем как танцовщик в своих движениях разнообразен бесконечно.

Смотрите, как легко он приближается небольшими прыжками, как затем большими шагами отступает,— расчетливою своею небрежностью он заставляет забыть, что это труднейшее мастерство. Вот он, на одной ноге, искуснейшим образом поддерживая равновесие, на несколько тактов застывает в этой позе,— как изумляет, как поражает он тогда своею неподвижностью! А то вдруг, словно пожалев о времени, потраченном

на отдых, стрелою летит в глубину сцены и тут же возвращается, делая такие быстрые пируэты, что глаз устает за ними следить.

Музыка может сколько угодно начинать сызнова, твердить одно и то же, повторяться, топтаться на одном месте, зато он не повторяется! Выставляя напоказ мужественную красоту своего гибкого и могучего тела, он изображает сильные движения взволнованной своей души: он бросает на вас страстный взгляд, выразительность которого усиливается тем, что он простирает вам нежные объятия, и вдруг, точно ему наскучило пленять вас, с презрительным видом приподнимается на носках, а затем внезапно ускользает от следящего за ним взора, и тогда кажется, что сладчайшее упоение вызвало и породило необычайно пылкую страсть. Бурный, мятежный, он выражает такой яростный и такой подлинный гнев, что я невольно срываюсь с места и хмурю брови. Еще мгновение — и его жест и взгляд снова дышат спокойствием сладострастья, он небрежно скользит по сцене, а в изящных и мягких его движениях разлита такая нега, что в зрительном зале слышится столько же возгласов одобрения, сколько взоров прикована к волшебному его танцу.

Композиторы! Пойте так, как он танцует, и вместо опер у нас будут мелодрамы.

Но тут я слышу голос постоянного моего критика (не знаю, из Буйона он или откуда-нибудь еще):

— Что вы хотите сказать этим описанием? Я вижу необыкновенный талант, а не танец вообще. Для сравнения нужно брать заурядные произведения искусства, но не его вершины. Разве нет у нас...

Но тут уж я прерываю его:

— Что такое? Если я хочу описать скакуна и составить себе точное представление о благородном этом животном, неужели я стану искать старую клячу, которая еле тащит экипаж или же трусит под понукание возчика? Нет, я пойду на конный завод и выберу там гордого жеребца, сильного, хороших статей, с горящими глазами, такого, чтоб он бил копытом землю, чтоб из ноздрей у него вылетало пламя, чтоб он взвивался на дыбы от обуревающих его желаний и от нетерпения, чтоб он рассекал наэлектризованный им воздух и чтоб от внезапного его ржания человеку становилось весело, а все местные кобылы вздрагивали. Таков мой танцовщик.

Словом, когда я описываю какое-нибудь искусство, я ищу образцы у величайших его мастеров. Все усилия гения... Однако

я слишком отклонился от моего предмета, возвратимся к *Севильскому цирюльнику*... вернее, милостивый государь, не возвратимся. Для такой безделицы довольно и этого. Иначе я незаметно для себя допущу ошибку, которую нам, французам, с полным основанием ставят на вид,— что-де, мол, о важных вещах мы обыкновенно слагаем коротенькие песенки, о вещах же не важных пишем длинные сочинения.

С глубочайшим почтением честь имею быть, милостивый государь, вашим преданнейшим и покорнейшим слугою.

Автор

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Альмавива, испанский гранд, тайный поклонник Розины.

Бартоло, доктор, опекун Розины.

Розина, юная особа благородного происхождения, воспитанница Бартоло.

Фигаро, севильский цирюльник.

Дон Базиль, органист, дающий Розине уроки пения.

Весна, престарелый слуга Бартоло.

Начеку, другой слуга Бартоло, малый придурковатый и вечно сонный.

Нотариус.

Алькальд, блюститель закона.

Альгуасилы и слуги с факелами.

КОСТЮМЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАРИННЫМ ИСПАНСКИМ

Граф Альмавива. В первом действии появляется в атласном камзоле и в атласных коротких штанах; сверху на нем широкий темный испанский плащ; шляпа черная, с опущенными полями, вокруг тульи цветная лента. Во втором действии он в кавалерийской форме, в сапогах и с усами. В третьем действии он одет бакалавром: волосы в кружок, высокий воротник, камзол, короткие штаны, чулки, плащ, как у аббата. В четвертом действии на нем великолепный испанский костюм, часть которого составляет роскошный плащ; сверху на нем его обычный плащ, широкий и темный.

Бартоло. Короткополый, наглухо застегнутый черный костюм, большой парик, брыжи и отложные манжеты, черный пояс; когда он выходит из дому, то надевает длинный ярко-красный плащ.

Р о з и н а. Одета, как испанка.

Ф и г а р о. На нем костюм испанского щеголя. На голове сетка; шляпа белая с цветной лентой вокруг тульи; на шее свободно повязанный шелковый галстук; жилет и короткие атласные штаны на пуговицах, с петлями, обшитыми серебряной бахромой; широкий шелковый пояс; на подвязках кисти; яркий камзол с большими отворотами одного цвета с жилетом, белые чулки и серые туфли.

Д о н Б а з и л ь. Черная шляпа с опущенными полями, сутана без брыжей и манжет, длинный плащ.

В е с н а и Н а ч е к у. Оба в галисийских костюмах, волосы заплетены в косичку, на обоих светло-желтые жилеты, широкие кожаные пояса с пряжками, синие штаны и такие же куртки, рукава которых, с разрезами для рук возле плеч, откинуты за спину.

А л ь к а л ь д. В руке у него длинный белый жезл.

Действие происходит в Севилье; первый акт — на улице, под окнами Розины, остальные — в доме доктора Бартоло.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет улицу в Севилье; во всех домах окна забраны решеткой.

Граф, в широком темном плаще и шляпе с опущенными полями, прохаживаясь по сцене, вынимает часы.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Граф один.

Граф. Я думал, сейчас больше. До той поры, когда она имеет обыкновение показываться в окне, ждать еще долго. Ну, ничего: лучше явиться раньше времени, чем упустить возможность увидеть ее. Если б какому-нибудь придворному любезнику могло прийти в голову, что я, в ста лье от Мадрида, каждое утро стою под окнами женщины, с которой ни разу словом не перемолвился, он принял бы меня за испанца времен королевы Изабеллы. А что в этом такого? Все охотятся за счастьем. Мое счастье заключено в сердце Розины. Но как же так? Подстерегать женщину в Севилье, когда в столице и при дворе сколько угодно вполне доступных наслаждений? Вот их-то я и избегаю. Я устал от побед, беспрерывно доставляемых нам корыстью, обычаем или же тщеславием. Это так отрадно, когда тебя любят ради тебя самого! И если бы с помощью этого переодевания я мог убедиться... Кого-то черт несет! *(Прячется.)*

Появляется Фигаро; он весело напевает; за спиной у него гитара на широкой ленте, в руках бумага и карандаш.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Фигаро, граф.

Фигаро.

Прогоним грусть: она
Нас заедает!
Без песен и вина
Жизнь даром пропадает!
И каждый — если он
На скуку обречен —
Исчахнет от забот
И дураком умрет!

Пока что, право, недурно.

И дураком умрет.
Лень и вино — мои две страсти:
Они мне сердце рвут на части...

Да нет, они его не рвут, они обе мирно уживаются в нем...

И спорят в сердце из-за власти...

А разве говорят: «спорят в сердце»? Ах, боже мой, наши сочинители комических опер в такие тонкости не входят! В наше время чего не следовало бы говорить, то поется. *(Поет.)*

Лень и вино — мои две страсти:
Обеим предан я равно...

Мне бы хотелось в заключение придумать что-нибудь необыкновенное, блестящее, сверкающее, содержащее в себе определенную мысль. *(Становится на одно колено и пишет, напевая.)*

Обеим предан я равно:
Лень для меня источник счастья,
А радость мне дает вино.

Э, нет, это плоско! Не то... Здесь требуется противопоставление, антитеза:

У лени я всегда во власти,
Вино же...

Ага, канальство, вот оно!..

Вино же — верный мой слуга!

Молодец, Фигаро!.. *(Записывает, напевая.)*

Вино и лень — мои две страсти,
И дружба их мне дорога:
У лени я всегда во власти,
Вино же — верный мой слуга!
Вино же — верный мой слуга!
Вино же — верный мой слуга!

Так, так, а если к этому еще аккомпанемент, то мы тогда посмотрим, господа завистники, правда ли, будто я сам не понимаю, что пишу... *(Замечает графа.)* Я где-то видел этого аббата. *(Встает.)*

Граф *(в сторону)*. Лицо этого человека мне знакомо.

Фигаро. Да нет, это не аббат! Эта горделивая благородная осанка...

Граф. Эти ухватки...

Фигаро. Я не ошибся: это граф Альмавива.

Граф. Мне кажется, это плут Фигаро.

Фигаро. Он самый, ваше сиятельство.

Граф. Негодяй! Если ты скажешь хоть одно слово...

Фигаро. Да, я узнаю вас, узнаю по лестным определениям, которыми вы всегда меня награждали.

Граф. Зато я тебя не узнаю. Ты так растолстел, раздобрел...

Фигаро. Ничего не поделаешь, ваше сиятельство,— нужда.

Граф. Бедняжка! Однако чем ты занимаешься в Севилье? Ведь я же дал тебе рекомендацию в министерство и просил, чтобы тебе подыскали место.

Фигаро. Я его и получил, ваше сиятельство, и моя признательность...

Граф. Зови меня Линдором. Разве ты не видишь по этому моему маскараду, что я хочу остаться неузнанным?

Фигаро. Я удаляюсь.

Граф. Ни в коем случае. Я здесь кое-кого поджидаю, а два болтающих человека внушают меньше подозрений, чем один гуляющий. Итак, давай болтать. Какое же тебе предоставили место?

Фигаро. Министр, приняв в соображение рекомендацию вашего сиятельства, немедленно распорядился назначить меня аптекарским помощником.

Граф. В какой-нибудь военный госпиталь?

Фигаро. Нет, при андалусском конном заводе.

Граф *(со смехом)*. Для начала недурно!

Фигаро. Место оказалось приличное: в моем ведении находились все перевязочные и лечебные средства, и я частенько продавал людям хорошие лошадиные снадобья...

Граф. Которые убивали подданных короля!

Фигаро. Увы! Всеисцеляющего средства не существует. Все-таки они иной раз помогали кое-кому из галисийцев, каталонцев, овернцев.

Граф. Почему же ты ушел с должности?

Фигаро. Я ушел? Она от меня ушла. На меня наговорили начальству.

О зависть бледная с когтистыми руками!..

Граф. Помилосердствуй, помилосердствуй, друг мой! Неужели и ты сочиняешь стихи? Я видел, как ты, стоя на коленях, что-то царапал и ни свет ни заря распевал.

Фигаро. В этом-то вся моя и беда, ваше сиятельство. Когда министру донесли, что я сочиняю любовные стишки, и, смею думать, довольно изящные, что я посылаю в газеты загадки, что мои мадригалы ходят по рукам, словом, когда министр узнал, что мои сочинения с пылу, с жару попадают в печать, он взглянул на дело серьезно и распорядился отрешить меня от должности под тем предлогом, что любовь к изящной словесности несовместима с усердием к делам службы.

Граф. Здраво рассудил! И ты не возразил ему на это...

Фигаро. Я был счастлив тем, что обо мне забыли: по моему разумению, если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо.

Граф. Ты чего-то не договариваешь. Помнится, когда ты служил у меня, ты был изрядным сорванцом...

Фигаро. Ах, боже мой, ваше сиятельство, у бедняка не должно быть ни единого недостатка — это общее мнение!

Граф. Шалопаем, сумасбродом...

Фигаро. Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли, ваше сиятельство, найдется господ, достойных быть слугами?

Граф *(со смехом)*. Неглупо сказано. Так ты переехал сюда?

Фигаро. Не сразу...

Граф *(прерывает его)*. Одну секунду... Мне показалось, что это она... Продолжай, я слушаю.

Фигаро. Я вернулся в Мадрид и решил еще раз блеснуть своими литературными способностями. Театр показался мне достойным поприщем...

Граф. Боже милосердный!

Во время следующей реплики Фигаро граф не сводит глаз с окна.

Фигаро. Откровенно говоря, мне непонятно, почему я не имел большого успеха: ведь я наводнил партер прекрасными работниками,— руки у них... как вальки. Я запретил перчатки, трости, все, что мешает рукоплесканиям. И даю вам честное слово, перед началом представления я проникся уверенностью, что завсегдатаи кофейной относятся ко мне в высшей степени благожелательно. Однако ж происки завистников...

Граф. Ага, завистники! Значит, автор провалился.

Фигаро. Как и всякий другой. Что же в этом особенного? Они меня освистали. Но если бы мне еще раз удалось заставить их собраться в зрительном зале...

Граф. То скука бы им за тебя как следует отомстила?

Фигаро. О, черт, как же я их ненавижу!

Граф. Ты все еще бранишься! А знаешь ли ты, что в суде предоставляют не более двадцати четырех часов для того, чтобы ругать судей?

Фигаро. А в театре — двадцать четыре года. Всей жизни не хватит, чтобы излить мою досаду.

Граф. Мне нравится твоя забавная ярость. Но ты мне так и не сказал, что побудило тебя расстаться с Мадридом.

Фигаро. Мой ангел-хранитель, ваше сиятельство: я счастлив, что свиделся с прежним моим господином. В Мадриде я убедился, что республика литераторов — это республика волков, всегда готовых перегрызть друг другу горло, и что, заслужив всеобщее презрение смехотворным своим неистовством, все букашки, мошки, комары, москиты, критики, завистники, борзописцы, книготорговцы, цензоры, всё, что присасывается к коже несчастных литераторов,— все это раздирает их на части и вытягивает из них последние соки. Мне опротивело сочинительство, я надоел самому себе, все окружающие мне опостылели, я запутался в долгах, а в карманах у меня гулял ветер. Наконец, рассудив, что ощутительный доход от бритвы лучше суетной славы пера, я оставил Мадрид. Котомку за плечи, и вот, как заправский философ, стал я обходить обе Кастилии, Ламанчу, Эстремадуру, Сьерра-Морену, Андалусию; в одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в тюрьму, я же ко всему относился спокойно. Одни меня хвалили,

другие порицали, я радовался хорошей погоде, не сетовал на дурную, издевался над глупцами, не клонил головы перед злыми, смеялся над своей бедностью, брил всех подряд и в конце концов поселился в Севилье, а теперь я снова готов к услугам вашего сиятельства,— приказывайте все, что вам заблагорассудится.

Граф. Кто тебя научил такой веселой философии?

Фигаро. Привычка к несчастью. Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы не пришлось заплакать. Что это вы все поглядываете в ту сторону?

Граф. Спрячемся.

Фигаро. Зачем?

Граф. Да иди же ты, несносный! Ты меня погубишь!

Прячутся.

Жалюзи в первом этаже открываются, и в окне показываются Бартоло и Розина.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Бартоло, Розина.

Розина. Как приятно дышать свежим воздухом!.. Жалюзи так редко открываются...

Бартоло. Что это у вас за листок?

Розина. Это куплеты из *Тщетной предосторожности,*— мне их дал вчера учитель пения.

Бартоло. Что это еще за *Тщетная предосторожность?*

Розина. Это новая пьеса.

Бартоло. Опять какая-нибудь мещанская драма! Какая-нибудь глупость в новом вкусе! [1]

Розина. Не знаю.

Бартоло. Ну, ничего, ничего, газеты и правительство избавят нас от всего этого. Век варварства!

Розина. Вечно вы браните наш бедный век.

Бартоло. Прошу простить мою дерзость, но что он дал нам такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякого рода глупости: вольномыслие, всемирное тяготение, электричество, веротерпимость, оспопрививание, хину, энциклопедию и мещанские драмы...

Лист бумаги выскальзывает у Розины из рук и падает на улицу.

---

[1] Бартоло не любил пьес. Быть может, в молодые годы ему довелось сочинить трагедию.

Розина. Ах, моя песенка! Я вас заслушалась и уронила песенку. Бегите, бегите же, сударь, а то моя песенка потеряется!

Бартоло. А, черт, держали бы как следует! *(Отходит от окна.)*

Розина *(смотрит ему вслед и подает знак на улицу)*. Пст, пст!

Появляется граф.

Скорей поднимите и — бегом!

Граф мгновенно поднимает с земли лист бумаги и скрывается.

Бартоло *(выходит из дома и начинает искать)*. Где же она? Я не вижу.

Розина. Под окном, у самой стены.

Бартоло. Нечего сказать, приятное поручение! Наверно, здесь кто-нибудь проходил?

Розина. Я никого не видела.

Бартоло *(сам с собой)*. А я-то стараюсь, ищу! Бартоло, мой друг, вы болван, и больше ничего. Вот вам урок: в другой раз не станете открывать окна, которые выходят на улицу. *(Входит в дом.)*

Розина *(у окна)*. Оправданием служит мне моя горькая доля: я одинока, сижу взаперти, меня преследует постылый человек, так разве же это преступление — попытаться выйти на волю?

Бартоло *(появляется у окна)*. Отойдите от окна, сеньора. Это моя оплошность, что вы потеряли песенку, но подобное несчастье больше с вами не повторится, ручаюсь вам. *(Запирает жалюзи на ключ.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Граф и Фигаро крадучись входят.

Граф. Они ушли, теперь давай посмотрим, что это за песня: в ней, уж верно, кроется тайна. Это записка!

Фигаро. А он-то еще спрашивал, что такое *Тщетная предосторожность!*

Граф *(быстро читает)*. «Ваша настойчивость возбуждает мое любопытство. Как только уйдет мой опекун, вы с безучастным видом спойте на известный мотив этих куплетов что-нибудь такое, что мне открыло бы наконец имя, звание и наме-

рения человека, который, по-видимому, столь упорно стремится обратить на себя внимание злосчастной Розины».

Фигаро *(передразнивая Розину)*. «Моя песенка, моя песенка упала. Бегите, бегите же!» *(Хохочет.)* Ха-ха-ха! Ох уж эти женщины! Если вам нужно, чтобы самая из них простодушная научилась лукавить,— заприте ее.

Граф. Дорогая моя Розина!

Фигаро. Ваше сиятельство! Теперь мне уже ясна цель вашего маскарада: вы ухаживаете на расстоянии.

Граф. Ты угадал. Но если ты проболтаешься...

Фигаро. Я, да вдруг проболтаюсь! Чтобы вас разуверить, я не стану прибегать к трескучим фразам о чести и преданности, которыми у нас нынче так злоупотребляют. Я скажу лишь, что мне выгодно служить вам. Взвесьте все на этих весах, и вы...

Граф. Отлично. Так вот, да будет тебе известно, что полгода назад случай свел меня на Прадо с молодой девушкой, да такой красавицей!.. Ты ее сейчас видел. Напрасно я потом искал ее по всему Мадриду. Только совсем недавно мне удалось узнать, что ее зовут Розиной, что она благородного происхождения, сирота и замужем за старым севильским врачом, неким Бартоло.

Фигаро. По чести скажу, славная птичка, да только трудно вытащить ее из гнезда! А кто вам сказал, что она замужем за доктором?

Граф. Все говорят.

Фигаро. Эту небылицу он сам сочинил по приезде из Мадрида для того, чтобы ввести в заблуждение и отвадить поклонников. Пока она всего лишь его воспитанница, однако в скором времени...

Граф *(живо)*. Никогда! Ах, какая новость! Я готов был пойти на все, чтобы выразить ей соболезнование, а она, оказывается, свободна. Нельзя терять ни минуты, нужно добиться ее взаимности и спасти ее от тех недостойных уз, которые ей готовятся. Так ты знаешь ее опекуна?

Фигаро. Как свою родную мать.

Граф. Что это за человек?

Фигаро *(живо)*. Это крепенький, приземистый, толстенький, серый в яблоках, старичок, гладко выбритый, молодящийся, но уже не мастак, отнюдь не простак, за всем следит, в оба глядит, ворчит и охает одновременно.

Граф *(нетерпеливо)*. Да я же его видел! А вот какого он нрава?

Фигаро. Груб, прижимист, влюблен в свою воспитанницу и бешено ее ревнует, а та ненавидит его смертельной ненавистью.

Граф. Следовательно, данных у него, чтобы понравиться...

Фигаро. Никаких.

Граф. Тем лучше. Насколько он честен?

Фигаро. Ровно настолько, чтобы не быть повешенным.

Граф. Тем лучше. Составить свое счастье, наказав мошенника...

Фигаро. ...значит принести пользу и обществу, и самому себе. Честное слово, ваше сиятельство, это высшая мораль!

Граф. Ты говоришь, что он держит дверь на запоре от поклонников?

Фигаро. От всех на свете. Если б он мог ее замуровать...

Граф. А, черт, это уже хуже! Ну, а тебя-то он пускает?

Фигаро. Еще бы не пускать! *Primo* [1], я живу в доме, хозяином которого является доктор, и он предоставляет мне помещение *gratis*...[2]

Граф. Вот оно что!

Фигаро. А я в благодарность обещаю ему платить десять пистолей золотом в год, и тоже *gratis*...

Граф *(в нетерпении)*. Так ты его жилец?

Фигаро. Не только: я его цирюльник, хирург, аптекарь. Когда ему требуется бритва, ланцет или же клистир, он никому не позволяет к ним прикоснуться, кроме вашего покорного слуги.

Граф *(обнимает его)*. Ах, Фигаро, друг мой, ты будешь моим ангелом-хранителем, моим спасителем!

Фигаро. Дьявольщина! Как быстро выгода заставила вас перешагнуть разделяющую нас границу! Вот что делает страсть!

Граф. Счастливец Фигаро! Ты увидишь мою Розину, ты ее увидишь! Сознаешь ли ты свое блаженство?

Фигаро. Я слышу речь влюбленного! Да разве я по ней вздыхаю? Вот бы нам поменяться местами!

Граф. Ах, если б можно было устранить всех сторожей!

Фигаро. Я об этом думал.

Граф. Хотя бы на полсуток!

Фигаро. Если занять людей их собственным делом, то в чужие дела они уже не сунут носа.

---

[1] Во-первых *(лат.)*.

[2] Бесплатно *(лат.)*.

Граф. Конечно. Ну, дальше?

Фигаро *(в раздумье)*. Я соображаю, располагает ли аптека такими невинными средствами...

Граф. Злодей!

Фигаро. Разве я собираюсь причинить им зло? Они все нуждаются в моей помощи. Вопрос только в том, чтобы полечить их всех сразу.

Граф. Но у доктора может закрасться подозрение.

Фигаро. Нужно так быстро действовать, чтобы подозрение не успело возникнуть. Я надумал: в наш город прибывает полк наследника.

Граф. Командир полка — мой приятель.

Фигаро. Прекрасно. Нарядитесь солдатом и с ордером на постой заявитесь к доктору. Он вынужден будет вас принять, а все остальное я беру на себя.

Граф. Превосходно!

Фигаро. Было бы недурно, если бы вы вдобавок сделали вид, что вы под хмельком...

Граф. Это зачем?

Фигаро. И, пользуясь своим невменяемым состоянием, держали себя с ним поразвязнее.

Граф. Да зачем?

Фигаро. Чтобы он вас ни в чем не заподозрил, чтобы у него было такое впечатление, что вам хочется спать, а вовсе не заводить шашни у него в доме.

Граф. Необычайно предусмотрительно! А почему бы тебе не отправиться к нему?

Фигаро. Да, как раз! Хорошо, если он вас-то не узнает, хотя с вами он никогда раньше и не встречался. Да и под каким предлогом введешь потом к нему вас?

Граф. Твоя правда.

Фигаро. Вот только вам, пожалуй, не под силу сыграть такую трудную роль. Солдат... да еще захмелевший...

Граф. Ты смеешься! *(Изображая пьяного.)* Эй, дружище! Это, что ли, дом доктора Бартоло?

Фигаро. По правде сказать, недурно. Только на ногах вы должны быть не так тверды. *(Более пьяным тоном.)* Это, что ли, дом...

Граф. Фу! У тебя получается простонародный хмель.

Фигаро. Он-то и есть хороший хмель, потому что веселый.

Граф. Дверь отворяется.

Фигаро. Это доктор. Спрячемся, пока он уйдет.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф и Фигаро прячутся. Бартоло.

Бартоло *(выходя из дома)*. Я сейчас приду, никого ко мне не пускать. Как это глупо было с моей стороны, что я вышел тогда на улицу! Стала она меня просить, вот бы мне сразу и догадаться, что это неспроста... А тут еще Базиль не идет! Он должен был все устроить так, чтобы завтра тайно от всех могла состояться моя свадьба, а от него ни слуху ни духу! Пойду узнаю, что за причина.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Граф, Фигаро.

Граф. Что я слышу? Завтра он тайно женится на Розине!

Фигаро. Чем труднее добиться успеха, ваше сиятельство, тем решительнее надо приниматься за дело.

Граф. Кто этот Базиль, который полез в устроители его свадьбы?

Фигаро. Голодранец, дающий уроки музыки его воспитаннице, помешанный на своем искусстве, жуликоватый, бедствующий, удавится за грош — с ним сладить будет нетрудно, ваше сиятельство... *(Смотрит на жалюзи.)* Вон она, вон она!

Граф. Да кто?

Фигаро. За жалюзи, она, она! Не смотрите, да ну, не смотрите!

Граф. Почему?

Фигаро. Ведь она же вам ясно написала: «Пойте с безучастным видом!» То есть пойте так, как будто вы поете... только чтобы что-нибудь петь. Ага! Вон она! Вон она!

Граф. Раз она, не зная меня, мною заинтересовалась, то я предпочитаю сохранить за собою имя Линдора,— тем слаще будет победа. *(Развертывает листок бумаги, который обронила Розина.)* Но что я буду петь на этот мотив? Я не умею сочинять стихи.

Фигаро. Что бы вам ни заблагорассудилось, ваше сиятельство, все будет чудесно. Когда речь идет о любви, сердце становится снисходительным к плодам умственных занятий... Возьмите-ка мою гитару.

Граф. А что я с ней буду делать? Я же очень плохо играю!

Фигаро. Разве такой человек, как вы, может чего-нибудь не уметь? А ну-ка, тыльной стороной руки, дрын-дрын-дрын!..

В Севилье петь без гитары — этак вас мигом узнают, ей-богу, мигом накроют! *(Прижимается к стене под окном.)*

Граф
(прохаживается и поет, аккомпанируя себе на гитаре)

Сказать вам, кто я, вы мне приказали.
Неведомый — я обожать вас смел;
Узнав меня, вы сжалитесь едва ли...
Но вам повиноваться — мой удел!

Фигаро *(тихо)*. Здорово, черт возьми! Смелей, ваше сиятельство!

Граф

Я ваш Линдор, я бакалавр безвестный.
Мечты мои смиренно к вам летят...
О, если б я был знатен и богат,
Чтоб кинуть все к ногам моей прелестной!

Фигаро. А, прах меня возьми! Мне самому так не сочинить, а уж на что я, кажется, в стихах собаку съел!

Граф

Здесь буду петь я утром в ранний час,
Как страсть меня терзает беспощадно...
Отрадно будет мне хоть видеть вас —
Пусть будет слышать вам меня отрадно!

Фигаро. Ну, уж за этот куплет, честное слово... *(Подходит и целует полу графского плаща.)*

Граф. Фигаро!

Фигаро. Что угодно, ваше сиятельство?

Граф. Как ты думаешь, меня там слышали?

Розина
(в доме, поет)

Все говорит мне, как хорош Линдор;
Его любить — удел мой с этих пор!

Окно с громким стуком захлопывается.

Фигаро. Ну, а теперь вы-то сами как думаете, слышали вас или нет?

Граф. Она закрыла окно, должно быть, кто-то к ней вошел.

Фигаро. Ах, бедняжка, с каким трепетом она пела! Она поймана, ваше сиятельство.

Граф. Она прибегла к тому же самому способу, который указала мне. «Все говорит мне, как хорош Линдор». Сколько изящества! Сколько ума!

Фигаро. Сколько лукавства! Сколько любви!

Граф. Как ты думаешь, Фигаро, она согласна быть моей?

Фигаро. Она постарается пройти сквозь жалюзи, только бы не упустить вас.

Граф. Все кончено, мое сердце принадлежит Розине... навеки.

Фигаро. Вы забываете, ваше сиятельство, что она вас уже не слышит.

Граф. Одно могу сказать вам, господин Фигаро: она будет моей женой, и если только вы поможете осуществить мой замысел, скрыв от нее мое имя... ты меня понимаешь, ты меня знаешь...

Фигаро. Весь к вашим услугам. Ну, брат Фигаро, желаю тебе удачи!

Граф. Уйдем отсюда, иначе мы навлечем на себя подозрение.

Фигаро *(живо)*. Я войду в этот дом и с помощью моего искусства одним взмахом волшебной палочки усыплю бдительность, пробужу любовь, собью с толку ревность, вверх дном переверну все козни и опрокину все преграды. А вы, ваше сиятельство,— ко мне! Военная форма, ордер на постой, в карманах — золото.

Граф. Для кого золото?

Фигаро *(живо)*. Золота, боже мой, золота! Это нерв интриги.

Граф. Не сердись, Фигаро, я захвачу побольше.

Фигаро *(уходя)*. Я скоро вернусь.

Граф. Фигаро!

Фигаро. Что вам угодно?

Граф. А гитара?

Фигаро *(возвращается)*. Забыть гитару! Я совсем рехнулся! *(Уходит.)*

Граф. Да где же ты живешь, ветрогон?

Фигаро *(возвращается)*. А ведь у меня и правда ум за разум зашел! Мое заведение в двух шагах отсюда, выкрашено в голубой цвет, разрисованные стекла, три тазика в воздухе, глаз на руке, *consilio manuque* [1], Фигаро. *(Убегает.)*

---

[1] [Помогаю] советом и делом *(лат.)*.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена представляет комнату Розины. Окно в глубине закрывают решетчатые жалюзи.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Розина одна, с подсвечником в руке. Берет на столе бумагу и садится писать.

Розина. Марселина больна, люди все заняты,— никто не увидит, что я пишу. То ли у этих стен есть глаза и уши, то ли некий злобный гений своевременно извещает обо всем моего Аргуса, но только я не успеваю слово сказать, шагу ступить, как он уже угадывает мое намерение... Ах, Линдор! *(Запечатывает письмо.)* Письмо все же надо запечатать, хотя я и не представляю себе, когда и как я могла бы его передать. Сквозь жалюзи я видела, что он долго беседовал с цирюльником Фигаро. Фигаро — малый славный, он несколько раз выражал мне сочувствие. Вот бы мне с ним поговорить!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Розина, Фигаро.

Розина *(в изумлении)*. Ах, господин Фигаро! Как я рада вас видеть!

Фигаро. Как вы себя чувствуете, сударыня?

Розина. Неважно, господин Фигаро. Я умираю от скуки.

Фигаро. Верю. Жиреют от нее только глупцы.

Розина. С кем это вы так оживленно беседовали? Слов я не могла разобрать, но...

Фигаро. С моим родственником, молодым бакалавром, подающим большие надежды: умен, чувствителен, даровит, весьма приятной наружности.

Розина. О, весьма приятной, можете мне поверить! Как его зовут?

Фигаро. Линдором. У него ничего нет, но если бы он не покинул внезапно Мадрид, он мог бы там найти хорошее место.

Розина *(беспечно)*. Он найдет себе место, господин Фигаро, непременно найдет. Если этот молодой человек действительно таков, как вы его описываете, то он не создан прозябать в безвестности.

Фигаро *(в сторону)*. Великолепно! *(Розине.)* Но у него есть один большой недостаток, который всегда будет препятствовать его продвижению по службе.

Розина. Так у него есть недостаток, господин Фигаро? Недостаток? Вы в этом уверены?

Фигаро. Он влюблен.

Розина. Влюблен! И вы считаете это недостатком?

Фигаро. Откровенно говоря, это можно считать недостатком только потому, что он беден.

Розина. Ах, как несправедлива судьба! А он вам назвал имя той, которую он любит? Я страх как любопытна...

Фигаро. Ставить об этом в известность вас, сударыня, меньше всего входит в мои расчеты.

Розина *(живо)*. Почему же, господин Фигаро? Я не болтлива. Этот молодой человек вам близок, меня он до крайности занимает... Ну, говорите!

Фигаро *(лукаво смотрит на нее)*. Вообразите себе прехорошенькое существо, милое, нежное, приветливое, юное, обворожительное: крохотная ножка, тонкий, стройный стан, полные ручки, алый ротик, а уж пальчики! Щечки! Зубки! Глазки!..

Розина. Она живет в нашем городе?

Фигаро. Даже в этом квартале.

Розина. Может быть, на нашей улице?

Фигаро. В двух шагах от меня.

Розина. Ах, как это хорошо... для вашего родственника! А как ее...

Фигаро. Разве я ее не назвал?

Розина *(живо)*. Только это вы и забыли сказать, господин Фигаро. Скажите же, скажите скорей,— кто-нибудь войдет, и я так и не узнаю...

Фигаро. Вам непременно надо это знать, сударыня? Ну так вот, это... воспитанница вашего опекуна.

Розина. Воспитанница...

Фигаро. Да, сударыня, воспитанница доктора Бартоло.

Розина *(в волнении)*. Ах, господин Фигаро!.. Право, мне что-то не верится.

Фигаро. И он горит желанием убедить вас в этом лично.

Розина. Я трепещу, господин Фигаро!

Фигаро. Фу, сударыня, трепетать — это последнее дело! Когда поддаешься страху перед злом, то уже начинаешь чувствовать зло страха. К тому же я до завтра освободил вас от всех надзирателей.

Розина. Если он меня любит, пусть он это докажет тем, что будет сохранять полнейшее спокойствие.

Фигаро. Ах, сударыня, могут ли покой и любовь ужиться в одном сердце? Бедная молодежь в наше время до того несчастна, что ей остается лишь один ужасный выбор: любовь без покоя или покой без любви.

Розина *(опускает глаза)*. Покой без любви... вероятно...

Фигаро. О да, это очень скучно! Зато любовь без покоя, по-моему, гораздо заманчивее, так что, будь я женщиной...

Розина *(в замешательстве)*. Конечно, молодая девушка не может запретить порядочному человеку относиться к ней с уважением.

Фигаро. Вот именно, мой родственник вас глубоко уважает.

Розина. Но, господин Фигаро, малейшая с его стороны неосторожность — и мы погибли.

Фигаро *(в сторону)*. Мы уж и так погибли! *(Розине.)* Вот если бы вы написали ему письмецо и строго-настрого запретили... Письмо имеет большое значение.

Розина *(подает ему письмо, которое она только что написала)*. Переписывать мне недосуг, но когда вы будете ему передавать, скажите... непременно скажите... *(Прислушивается.)*

Фигаро. Никого, сударыня.

Розина. Что все это я делаю единственно из дружбы.

Фигаро. Само собою разумеется. Как же можно! У любви совсем другой ношиб.

Розина. Единственно из дружбы, слышите? Боюсь только, как бы он, придя в уныние от стольких преград...

Фигаро. Еще сильнее не воспламенился? Помните, что ветер, задувающий свечу, раздувает огонь в жаровне, а мы с вами и есть эта жаровня. Стоит ему об этом заговорить, и от него так и пышет жаром;[1] он и меня чуть было не распалил, а ведь я всего-навсего зритель!

Розина. Силы небесные! Идет мой опекун. Если он вас застанет здесь... Пройдите через ту комнату, где клавесин, и как можно тише выйдите на улицу.

Фигаро. Будьте спокойны. *(Показывая на письмо, про себя.)* Это стоит всех моих наблюдений. *(Уходит в соседнюю комнату.)*

---

[1] Выражение «пышет жаром» во французском языке более не употребляется,— у литературных пуритан оно вызвало глубокое возмущение; светским людям я бы не советовал им пользоваться, но г-н Фигаро!..

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Розина одна.

Розина. Я не успокоюсь до тех пор, пока он не выйдет на улицу... Как я люблю этого славного Фигаро! Он очень порядочный человек и заботливый родственник. А вот и мой тиран — надо приниматься за работу. *(Гасит свечу и садится за пяльцы.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Бартоло, Розина.

Бартоло *(в гневе)*. О, проклятие! Сумасшедший, злодей, разбойник Фигаро! Нельзя ни на минуту оставить дом...

Розина. Что вас так разгневало, сударь?

Бартоло. Окаянный цирюльник разом свалил с ног всех моих домочадцев: Начеку дал снотворного, Весне — чихательного, пустил кровь из ноги Марселине, даже мула моего не пощадил... Несчастной слепой животине поставил на глаза припарки! Должен мне сто экю и спешит отработать. Нет того, чтобы принести наличными!.. В передней ни души, кто хочет — иди прямо сюда: не дом, а проходной двор.

Розина. Кто же, кроме вас, сударь, может сюда войти?

Бартоло. По мне, лучше излишняя предосторожность, чем упущение. Кругом все народ предприимчивый, дерзкий... Не далее как сегодня утром кто-то ухитрился подобрать вашу песенку, пока я шел ее искать. О, я...

Розина. Вольно же вам всякому пустяку придавать значение! Бумажку мог унести ветер... В конце концов, любой прохожий!

Бартоло. Ветер, любой прохожий!.. На свете, сударыня, не бывает ни ветра, ни любого прохожего — всегда кто-нибудь торчит нарочно, чтобы подобрать бумажку, которую женщина роняет якобы нечаянно.

Розина. Якобы нечаянно, сударь?

Бартоло. Да, сударыня, якобы нечаянно.

Розина *(в сторону)*. О, старый черт!

Бартоло. Но больше этого не случится: я велю наглухо заделать решетку.

Розина. Уж лучше совсем замуруйте окна, между тюрьмой и казематом разница не велика!

Бартоло. Что касается окон, выходящих на улицу, то это было бы совсем не так глупо... По крайней мере, цирюльник к вам не заходил?

Розина. Он вам тоже внушает опасения?

Бартоло. Как и всякий другой.

Розина. Как это красиво с вашей стороны!

Бартоло. Попробуйте только доверять всем и каждому — и скоро у вас в доме ваша верная жена станет вас обманывать, ваши верные друзья будут стараться отбить ее, а ваши верные слуги будут им помогать.

Розина. Неужели же вы не допускаете, что строгие правила уберегут женщину от обольщений господина Фигаро?

Бартоло. В женских причудах сам черт ничего не поймет! Видал я этих добродетельных женщин с правилами!

Розина *(вспылив)*. Позвольте, сударь: если для того, чтобы нам понравиться, достаточно быть мужчиной, почему же вы мне так не нравитесь?

Бартоло *(растерянно)*. Почему?.. Почему?.. Вы не отвечаете на мой вопрос о цирюльнике.

Розина *(вне себя)*. Ну так знайте же, что этот мужчина приходил ко мне, я его видела, я с ним говорила. Не скрою от вас и того, что он произвел на меня очень приятное впечатление. Можете теперь хоть лопнуть с досады! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Бартоло один.

Бартоло. Ах, они жиды, ах, они собаки, а не слуги! Весна! Начеку! Начеку, будь ты проклят!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Бартоло, Начеку.

Начеку *(входит заспанный и зевает.)* А-а, а-а, а-а...

Бартоло. Где ты был, сонная тетеря, когда сюда приходил цирюльник?

Начеку. Я, сударь... а-а, а-а, а-а...

Бартоло. Наверно, обделывал свои делишки? Что ж, ты так и не видел цирюльника?

Начеку. Как же не видел! Он мне еще сказал, что я совсем болен. И, верно, так оно и есть, потому как у меня во всем

теле началась ломота, едва объявил он, что я за-ахвора-ал... А-а, а-а...

Бартоло *(передразнивает его)*. За-ахвора-ал!.. А где же этот проказник Весна? Без моего предписания напичкать малого лекарством! Тут что-то нечисто.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Весна; он входит, по-стариковски опираясь на палку, имеющую вид костыля, и несколько раз подряд чихает.

Начеку *(по-прежнему зевая)*. Весна, что с тобой?

Бартоло. Прочихаешься в воскресенье.

Весна. Вот уж больше пятидесяти... пятидесяти раз... в минуту! *(Чихает.)* Сил моих нет.

Бартоло. Что же это такое? Я вас обоих спрашиваю, не приходил ли кто-нибудь к Розине, и вы мне не говорите, что цирюльник...

Начеку *(продолжая зевать)*. Да разве господин Фигаро — «кто-нибудь»? А-а, а-а...

Бартоло. Бьюсь об заклад, что этот плут с ним в заговоре.

Начеку *(зевает)*. Я... в заговоре!..

Весна *(чихает)*. Да что вы, сударь, где же... где же справедливость?

Бартоло. Справедливость! Это вы между собой, холопы, толкуйте о справедливости! А я — ваш хозяин, следовательно, я всегда прав.

Весна *(чихая)*. Ну, а если это все-таки правильно?..

Бартоло. Если правильно! Если я не хочу, чтобы это было правильно, так я всегда настою на том, что это не правильно. Попробуй только признать, что эти нахалы правы,— посмотрим, что тогда будет с правительством.

Весна *(чихая)*. Когда так, пожалуйте расчет. Проклятая служба, ни минуты покоя!

Начеку *(плача)*. С честным бедняком обращаются, как с последним негодяем.

Бартоло. Ну так убирайся отсюда вон, честный бедняк! *(Передразнивает их.)* Апчхи, а-а! Один чихает мне в нос, другой зевает.

Весна. Ах, сударь, верное слово, если б не барышня, ни за что бы... ни за что бы не остался у вас в доме. *(Уходит, чихая.)*

Бартоло. Что с ними сделал Фигаро! Я догадываюсь: этот мошенник хочет вернуть мне свой долг, не уплатив ни гроша...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Бартоло, дон Базиль. Фигаро время от времени выглядывает из соседней комнаты и подслушивает.

Бартоло. А, дон Базиль! Вы что же, пришли дать урок музыки?

Базиль. Это дело совсем не спешное.

Бартоло. Я был у вас, но не застал.

Базиль. Я ходил по вашим делам. Должен вам сообщить весьма неприятную новость.

Бартоло. Для вас?

Базиль. Нет, для вас. В наш город приехал граф Альмавива.

Бартоло. Говорите тише. Тот самый, который искал Розину по всему Мадриду?

Базиль. Он живет на Большой площади и ежедневно выходит из дому переодетый.

Бартоло. Сомнений нет: это касается непосредственно меня. Что же мне делать?

Базиль. Будь это простой смертный, устранить его ничего бы не стоило.

Бартоло. Вооружиться, облечься в доспехи, устроить ему вечерком засаду...

Базиль. *Bone Deus!* [1] И попасть в затруднительное положение! Нет, втянуть его самого в какое-нибудь грязное дело — вот это пожалуйста. И, пока заваривается каша, опутать его клеветой — *concedo* [2].

Бартоло. Странный способ отделаться от человека!

Базиль. Клевета, сударь! Вы сами не понимаете, чем собираетесь пренебречь. Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила. Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!.. Сперва чуть слышный шум, едва касающийся земли, будто ласточка перед грозой, *pianissimo* [3], шелестящий, быстролетный, сеющий ядовитые семена. Чей-нибудь рот подхватит семя и, *piano* [4], *piano,* ловким образом су-

---

[1] Боже милостивый! *(лат.)*
[2] Согласен *(лат.)*.
[3] Очень тихо *(итал.)*.
[4] Тихо *(итал.)*.

нет вам в ухо. Зло сделано — оно прорастает, ползет вверх, движется — и, *rinforzando*[1], пошла гулять по свету чертовщина! И вот уже, неведомо отчего, клевета выпрямляется, свистит, раздувается, растет у вас на глазах. Она бросается вперед, ширит полет свой, клубится, окружает со всех сторон, срывает с места, увлекает за собой, сверкает, гремит и, наконец, хвала небесам, превращается во всеобщий крик, в *crescendo*[2] всего общества, в дружный хор ненависти и хулы. Сам черт перед этим не устоит!

Бартоло. Что вы мне голову морочите, Базиль? Какое отношение может иметь ваше *piano-crescendo* к моим обстоятельствам?

Базиль. То есть как какое отношение? Что делают всюду, дабы устранить противника, то надо делать и нам, дабы воспрепятствовать вашему противнику подойти на близкое расстояние.

Бартоло. Подойти на близкое расстояние? Я рассчитываю жениться на Розине, прежде чем она узнает о существовании графа.

Базиль. В таком случае, нельзя терять ни минуты.

Бартоло. А за чем же дело стало, Базиль? Я всецело положился на вас.

Базиль. Да, но вы скупитесь на расходы, а между тем неравный брак, неправильное решение суда, явная несправедливость, все это диссонансы в гармонии порядка,— диссонансы, которые способно подготовить и сгладить одно только стройное созвучие золота.

Бартоло *(дает ему денег)*. Действуйте, как вам заблагорассудится, но только скорее.

Базиль. Это другой разговор. Завтра все будет кончено. От вас требуется лишь не допустить, чтобы сегодня ваша воспитанница получила какие-либо сведения.

Бартоло. Можете быть уверены. Вы придете вечером, Базиль?

Базиль. Особенно не ждите. Весь день у меня уйдет на ваши свадебные дела. Особенно не ждите.

Бартоло *(провожает его)*. Всего наилучшего.

Базиль. Не беспокойтесь, доктор, не беспокойтесь.

Бартоло. Да нет, я хочу запереть за вами дверь на улицу.

---

[1] Сильнее *(итал.)*.

[2] Все усиливающийся шум *(итал.)*.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Фигаро один, выходит из соседней комнаты.

Фигаро. О благоразумная предосторожность! Запирай, запирай дверь на улицу, а я, уходя, отопру ее графу. Этот Базиль — изрядный мерзавец! К счастью, глупости в нем еще больше, чем подлости. Для того чтобы твоя клевета произвела впечатление в обществе, нужно быть из хорошей семьи, благородного звания, иметь имя, занимать определенное положение, словом, иметь вес. А тут какой-то Базиль! Его сплетням никто не поверит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Розина вбегает, Фигаро.

Розина. Как, вы еще здесь, господин Фигаро?

Фигаро. К великому для вас счастью, сударыня. Ваш опекун и ваш учитель пения, полагая, что они здесь одни, говорили между собой начистоту...

Розина. А вы подслушивали, господин Фигаро? Вы же знаете, что это очень дурно!

Фигаро. Подслушивать? Между тем когда вам нужно что-нибудь явственно услышать, то это наилучшее средство. Было бы вам известно, что завтра ваш опекун намерен на вас жениться.

Розина. Боже милосердный!

Фигаро. Не бойтесь, мы ему наделаем столько хлопот, что ему некогда будет об этом думать.

Розина. Вот он идет, спуститесь по маленькой лестнице. Я из-за вас умру от страха.

Фигаро убегает.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Розина, Бартоло.

Розина. С вами здесь кто-то был, сударь?

Бартоло. Дон Базиль. Я его проводил до входной двери, у меня есть на то основания. Вы, конечно, предпочли бы, чтобы это был господин Фигаро?

Розина. Мне это совершенно безразлично, уверяю вас.

Бартоло. Любопытно мне знать, какой такой важный разговор мог быть у цирюльника с вами?

Розина. Вы меня серьезно спрашиваете? Он мне сооб-

щил о здоровье Марселины; по его словам, она себя еще очень неважно чувствует.

Бартоло. Сообщил о здоровье? Бьюсь об заклад, что ему было поручено передать вам письмо.

Розина. От кого бы это, позвольте узнать?

Бартоло. От кого? От того, чье имя женщины никогда не называют. Почем я знаю? Может быть, ответ на бумажку, выпавшую из окна.

Розина *(в сторону)*. Всякий раз попадает в точку. *(К Бартоло.)* Вы этого, право, заслуживаете.

Бартоло *(смотрит Розине на руки)*. Так оно и есть. Вы писали.

Розина *(в замешательстве)*. Вам, должно быть, так хочется меня уличить, что это даже становится забавным.

Бартоло *(берет ее за правую руку)*. Совсем не хочется, но вот пальчик-то у вас в чернилах! Что, хитрая сеньора?

Розина *(в сторону)*. Проклятый!

Бартоло *(все еще держит ее руку)*. Когда женщина одна, ей кажется, что все будет шито-крыто.

Розина. Ну конечно... Веское доказательство!.. Перестаньте, сударь, вы мне вывихнете руку. Я перебирала вещи возле самой свечи и обожглась, а мне давно говорили, что обожженное место надо помазать чернилами,— я так и сделала.

Бартоло. Вы так и сделали? Посмотрим, подтвердит ли второй свидетель показания первого. Мне точно известно, что в этой пачке шесть листов бумаги,— я их пересчитываю каждое утро, и еще сегодня пересчитывал.

Розина *(в сторону)*. Ах, болван!..

Бартоло *(считает)*. Три, четыре, пять...

Розина. Шесть...

Бартоло. Шестого-то как раз и нет.

Розина *(опустив глаза)*. Шестого? Из шестого я сделала пакетик для конфет и послала их дочурке Фигаро.

Бартоло. Дочурке Фигаро? А почему же совсем новенькое перо в чернилах? Вы что же, надписывали этим пером адрес дочурки Фигаро?

Розина *(в сторону)*. У этого ревнивца особый нюх!.. *(К Бартоло.)* Я им подрисовала стершийся цветок на камзоле, который я вам вышиваю.

Бартоло. Как это похвально! Чтобы можно было вам поверить, дитя мое, вам не следовало краснеть всякий раз, как вы пытались утаить истину, но именно этого-то вы еще и не умеете.

Розина. Ах, сударь, покраснеешь тут, когда из самых невинных поступков делаются такие злостные выводы!

Бартоло. Понятно, я не прав. Обжечь себе палец, намазать его чернилами, сделать пакетик для конфет дочурке Фигаро и подрисовать цветок на моем камзоле,— что может быть невиннее? И тем не менее, сколько лжи для того, чтобы скрыть одно истинное происшествие!.. «Я одна, меня никто не видит, после я могу лгать сколько душе угодно». Но кончик пальца в чернилах, перо запачкано, бумаги не хватает! Всего не предусмотришь. Смею вас уверить, сеньора, что отныне, когда я буду уходить в город, за вас мне будет отвечать двойной поворот ключа.

Входит граф в форме кавалериста и, делая вид, что он навеселе, напевает «Разбудим ее».

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Розина, Бартоло, граф.

Бартоло. Что ему надо? Какой-то солдат! Идите к себе, сеньора.

Граф *(напевая «Разбудим ее», направляется к Розине)*. Кто из вас двух, сударыни, зовется доктором Чепухартоло? *(Розине, тихо.)* Я — Линдор.

Бартоло. Бартоло!

Розина *(в сторону)*. Он произнес имя Линдор!

Граф. Чепухартоло он или Олухартоло, я на это плевать хотел. Мне важно знать, которая из вас... *(Розине, показывая записку.)* Вот вам письмо.

Бартоло. Которая! Вы же видите, что это я! Которая! Уйдите, Розина, он, как видно, пьян.

Розина. Потому-то я и останусь, сударь, ведь вы один. Присутствие женщины иногда действует.

Бартоло. Идите, идите, я не из робких.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Бартоло, граф.

Граф. А я вас сразу узнал по приметам!

Бартоло *(графу, который прячет письмо)*. Что это вы прячете в карман?

Граф. Я для того и прячу в карман, чтобы вы не знали, что это такое.

Бартоло. По приметам! Вы не с солдатом разговариваете.

Граф. А вы думаете, что так трудно описать ваши приметы?

С трясучей лысой головою,
С фигурой грузной и кривою
И с тусклым взглядом пескаря;
Нога — точь-в-точь медвежья лапа,
Лицо темней, чем у арапа,
На вид свирепей дикаря.
Одно плечо другого выше;
Нос — точно острый выступ крыши;
Ворчливый, хриплый звук речей.
Рот — на манер звериной пасти...
У всех дурных страстей во власти:
Ну, словом, перл среди врачей!

Бартоло. Что это значит? Вы пришли меня оскорблять? Вон отсюда сию минуту!

Граф. Вон отсюда! Ай-ай, как невежливо! Вы человек грамотный, доктор... Бородартоло?

Бартоло. Не задавайте мне дурацких вопросов.

Граф. О, это вас не должно обижать! Я ведь тоже доктор и, уж во всяком случае, не хуже вашего умею...

Бартоло. Это каким же образом?

Граф. Да я же врач полковых лошадей! Потому-то меня и назначили на постой к собрату.

Бартоло. Смеют равнять коновала...

Граф
(говорит)

Простите, доктор, виноват:
Вы и отец ваш Гиппократ
Гораздо выше нас, быть может!
(Поет.)
Наука ваша, милый друг,
Куда существенней поможет:
Не уничтожит злой недуг,
Зато больного уничтожит!

Ну разве это для вас не похвала?

Бартоло. Таким невежественным знахарям, как вы, вполне пристало унижать первейшее, величайшее и полезнейшее из искусств!..

Граф. Особенно полезное для тех, кто им занимается.

Бартоло. Такое искусство, успехи которого почитает за честь озарять само солнце!

Граф. И чьи оплошности спешит укрыть земля.

Бартоло. Сейчас видно, неуч, что вы привыкли разговаривать с лошадьми.

Граф. Разговаривать с лошадьми? Ай, доктор, а еще умный человек! Неужели вам не известно, что коновал лечит своих больных, ни о чем с ними не говоря, меж тем как врач подолгу с ними говорит...

Бартоло. Не леча их? Вы это хотите сказать?

Граф. Это вы сказали, а не я.

Бартоло. Кой черт принес сюда этого треклятого пьянчугу?

Граф. Душа моя! Вы, кажется, отпускаете на мой счет шуточки?

Бартоло. В конце концов, что вам угодно? Что вам нужно?

Граф *(делая вид, что очень рассердился)*. Вот тебе раз! Что мне угодно! Да вы что, сами не видите?

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Розина, граф, Бартоло.

Розина *(вбегает)*. Господин солдат! Не гневайтесь, прошу вас! *(К Бартоло.)* Говорите с ним помягче, сударь: человек не в полном рассудке...

Граф. Вы здраво рассуждаете: он не в полном рассудке, но ведь мы-то с вами люди рассудительные! Я — человек учтивый, вы — красивы... Вот и весь сказ. Одним словом, в этом доме я признаю только вас.

Розина. Чем могу служить, господин солдат?

Граф. Сущей безделицей, дитя мое. Но только, может быть, я выражаюсь не совсем ясно...

Розина. Я догадаюсь.

Граф *(показывает ей письмо)*. Вчитайтесь получше, как можно лучше. Все дело в том... Скажу вам напрямик: позвольте мне у вас переночевать.

Бартоло. Только и всего?

Граф. Больше ничего. Вот вам записка от нашего квартирмейстера.

Бартоло. Посмотрим.

Граф прячет письмо и подает ему другую бумагу.

(Читает.) «Доктору Бартоло предлагается приютить, накормить, напоить и спать уложить...»

Граф *(подчеркивает.)* Спать уложить.

Бартоло. «...только на одну ночь некоего Линдора, по прозванию Школяр, кавалериста полка...»

Розина. Это он, он самый!..

Бартоло *(Розине, живо)*. Что такое?

Граф. Ну что ж, разве я вам солгал, доктор Балдартоло?

Бартоло. Можно подумать, что этому человеку доставляет какую-то злобную радость на все лады коверкать мою фамилию. Убирайтесь вы к черту с вашим Балдартоло, Бородартоло и скажите вашему нахалу квартирмейстеру, что, после того как я съездил в Мадрид, меня освободили от постоя.

Граф *(в сторону)*. Ах ты господи, вот досада!

Бартоло. Ага, приятель, это вам не по вкусу? Даже хмель соскочил! А ну, убирайтесь отсюда подобру-поздорову, живо!

Граф *(в сторону)*. Чуть было себя не выдал. *(К Бартоло.)* Убираться подобру-поздорову? Если вас освободили от постоя, то, надеюсь, не освободили от обязанности быть вежливым? Убираться! Покажите мне ваше свидетельство об освобождении. Хоть я и не грамотен, а все-таки разберу.

Бартоло. Сделайте одолжение. Оно у меня тут, в бюро.

Граф *(не сходя с места, в то время как Бартоло направляется к бюро)*. Ах, моя прелестная Розина!

Розина. Так вы — Линдор?

Граф. Возьмите же скорей письмо.

Розина. Осторожнее, за нами следят.

Граф. Достаньте платок, я уроню письмо. *(Приближается к ней.)*

Бартоло. Но-но, сеньор солдат! Я не люблю, чтобы так близко подходили к моей жене.

Граф. Разве это ваша жена?

Бартоло. А что же тут такого?

Граф. Я вас принимал за ее предка не то с отцовской, не то с материнской, вернее, с праматеринской стороны,— между ней и вами, по крайней мере, три поколения.

Бартоло *(читает бумагу)*. «На основании точных и достоверных сведений, полученных нами...»

Граф *(снизу ударяет рукой по бумаге, и она взлетает под потолок)*. На что мне вся эта белиберда?

Бартоло. Знаете что, солдат? Я сейчас кликну слуг, и они вам покажут.

Граф. Сражение? Извольте! Сражаться — это мое ремесло *(показывает на пистолет за поясом)*, они у меня отведают пороху. Вы, сударыня, вероятно, никогда не видели сражения?

Розина. И видеть не хочу.

Граф. А между тем нет ничего веселее сражения. Прежде всего вообразите *(наступает на доктора)*, что неприятель по ту сторону оврага, а наши — по эту. *(Розине, показывая письмо.)* Достаньте платок. *(Плюет на пол.)* Положим, это овраг.

Розина вынимает платок, граф роняет письмо с таким расчетом, что оно падает между ним и ею.

Бартоло *(нагибаясь)*. Ага!..

Граф *(поднимая письмо)*. Вот так так! А я еще собирался открыть вам тайны моего ремесла... На вид такая скромная женщина! А что как не любовная записка выпала у нее сейчас из кармана?

Бартоло. Дайте, дайте!

Граф. *Dulciter*[1], папаша. Кому что! А если б у вас выпал рецепт слабительного?

Розина *(протягивает руку)*. Ах, господин солдат, я знаю, что это такое! *(Берет письмо и прячет в карманчик своего передника.)*

Бартоло. Уйдете вы или нет?

Граф. Ну что ж, уйду. Прощайте, доктор, не поминайте лихом. Еще два слова, радость моя: попросите смерть, чтобы она на несколько походов забыла обо мне,— никогда еще я так не дорожил своей жизнью, как теперь.

Бартоло. Ступайте, ступайте. Если бы я имел влияние на смерть...

Граф. Если бы? Да ведь вы же доктор! Вы столько сделали для смерти, что она ни в чем не откажет вам. *(Уходит.)*

---

[1] Легче *(лат.)*.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Бартоло, Розина.

Бартоло *(смотрит ему вслед)*. Наконец-то ушел! *(В сторону.)* Притворюсь.

Розина. Согласитесь, однако ж, сударь, что этот молодой солдат — большой забавник! Хоть он и выпил лишнее, а все-таки сейчас скажешь, что он неглуп и недурно воспитан.

Бартоло. Какое счастье, душенька, что нам удалось от него отделаться! А тебе не хотелось бы прочитать вместе со мной ту бумажку, которую он тебе передал?

Розина. Какую бумажку?

Бартоло. Ту, которую он будто бы поднял для того, чтобы вручить тебе.

Розина. Ах да, это письмо от моего двоюродного брата, офицера, оно выпало у меня из кармана.

Бартоло. А я склонен думать, что он достал его из своего кармана.

Розина. Я сразу узнала это письмо.

Бартоло. Что тебе стоит на него взглянуть?

Розина. Я только не помню, куда его дела.

Бартоло *(показывает на карманчик ее передника)*. Ты положила его сюда.

Розина. Ах, это я по рассеянности!

Бартоло. Ну, понятно! Вот ты увидишь, что это какая-нибудь чепуха.

Розина *(в сторону)*. Если его не разозлить, то никак нельзя будет отказать ему.

Бартоло. Дай же записку, дружочек!

Розина. Но почему вы так настаиваете, сударь? Опять какое-нибудь подозрение?

Бартоло. А какое у вас основание не показывать записки?

Розина. Повторяю, сударь, что это всего лишь письмо от моего двоюродного брата, которое вы мне вчера отдали распечатанным. И раз уж зашла о нем речь, то я вам скажу прямо, что подобная бесцеремонность мне очень не нравится.

Бартоло. Я вас не понимаю.

Розина. Разве я когда-нибудь просматриваю ваши письма? Почему же вы позволяете себе вскрывать письма, адресо-

ванные мне? Если это ревность, то она меня оскорбляет, если же злоупотребление своею властью надо мной, то меня это возмущает еще больше.

Бартоло. Вот как? Возмущает? Вы так никогда еще со мной не говорили.

Розина. Если я до сих пор пересиливала себя, то не для того, чтобы дать вам право безнаказанно меня оскорблять.

Бартоло. При чем тут оскорбление?

Розина. При том, что это вещь неслыханная — читать чужие письма.

Бартоло. Письма жены?

Розина. Я вам еще не жена. И почему именно жена обладает таким преимуществом, что муж вправе делать ей гадости, которых он никому другому не сделает?

Бартоло. Вы стараетесь забить мне голову и отвлечь мое внимание от записки, а между тем для меня несомненно, что это послание какого-нибудь поклонника. И все-таки я его увижу, можете мне поверить.

Розина. Нет, не увидите. Если вы ко мне подойдете, я убегу из дому и попрошу убежища у первого встречного.

Бартоло. Никто вас к себе не пустит.

Розина. Это мы там посмотрим.

Бартоло. Мы не во Франции, где женщины всегда оказываются правы. А чтобы вы эту блажь выкинули из головы, я еще пойду запру дверь.

Розина *(пока Бартоло нет на сцене)*. Боже мой, что же мне делать? Положу-ка я скорей вместо того письма письмо двоюродного брата,— пусть себе берет на здоровье. *(Меняет письма местами и кладет письмо двоюродного брата в карман передника таким образом, что кончик его виден.)*

Бартоло *(возвращается)*. Ну, теперь, надеюсь, я увижу письмо.

Розина. А по какому праву, позвольте вас спросить?

Бартоло. По наиболее общепризнанному — по праву сильного.

Розина. Вы скорей убьете меня, чем получите письмо.

Бартоло *(топает ногой)*. Сударыня! Сударыня!..

Розина *(падает в кресло, делая вид, что ей дурно)*. Ах, какая подлость!..

Бартоло. Дайте письмо, иначе я за себя не ручаюсь.

Розина *(запрокинув голову)*. Злосчастная Розина!

Бартоло. Что с вами?

Розина. Какая ужасная судьба!

Бартоло. Розина!

Розина. Меня душит гнев!

Бартоло. Ей дурно!

Розина. Силы покидают меня, я умираю.

Бартоло *(щупает ей пульс; про себя)*. Праведные боги! Письмо! Прочту, благо она не видит. *(Продолжая щупать ей пульс, берет письмо и, повернувшись к ней боком, пытается прочитать его.)*

Розина *(все так же запрокинув голову)*. Что я за несчастная!..

Бартоло *(отпускает ее руку; про себя)*. Как мучительно хочется человеку узнать то, в чем ему страшно удостовериться!

Розина. Ах, бедная Розина!

Бартоло. Употребление духов... вот что вызывает эти спазматические явления. *(Щупает ей пульс и читает письмо, стоя за креслом.)*

Розина приподнимается, лукаво смотрит на него, кивает головой и снова молча откидывается на спинку кресла.

(Про себя.) Силы небесные! Это письмо двоюродного брата. Проклятая мнительность! Как же теперь успокоить Розину? Пусть, по крайней мере, не подозревает, что я прочел письмо! *(Делает вид, что поддерживает Розину, а сам в это время кладет письмо в карманчик ее передника.)*

Розина *(вздыхает)*. Ах!..

Бартоло. Полно, дитя мое, это все пустое! Легкое головокружение, только и всего. Пульс у тебя очень хороший. *(Направляется к столику за пузырьком.)*

Розина *(про себя)*. Он положил письмо на место! Отлично!

Бартоло. Милая Розина, понюхайте спирту!

Розина. Ничего не хочу от вас принимать. Оставьте меня.

Бартоло. Я признаю, что немного погорячился из-за письма.

Розина. Дело не только в письме. Меня возмущает ваша манера требовать.

Бартоло *(на коленях)*. Прости! Я скоро понял свою вину. Ты видишь, что я у твоих ног, что я готов ее загладить.

Розина. Да, простить вас! А сами думаете, что письмо не от двоюродного брата.

Бартоло. От него ли, от кого-нибудь еще,— я не прошу у тебя объяснений.

Розина *(протягивает ему письмо)*. Вы видите, что добром от меня всего можно добиться. Читайте.

Бартоло. Если б, на мое несчастье, у меня оставались еще какие-нибудь подозрения, то твой честный поступок рассеял бы их окончательно.

Розина. Читайте же, сударь!

Бартоло *(отступает)*. Чтобы я стал так оскорблять тебя? Да боже сохрани!

Розина. Своим отказом вы меня только обидите.

Бартоло. Зато вот тебе знак полного моего доверия: я пойду навещу бедную Марселину, которой неизвестно для чего Фигаро пустил кровь из ноги. Может быть, и ты составишь мне компанию?

Розина. Я сейчас приду.

Бартоло. Раз уж мир заключен, дай мне, детка, твою ручку. Если б ты могла меня полюбить, ах, как бы ты была счастлива!

Розина *(потупившись)*. Если бы вы могли мне понравиться, ах, как бы я вас любила!

Бартоло. Я тебе понравлюсь, я тебе понравлюсь, уж я знаю, что понравлюсь! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Розина одна.

Розина *(смотрит ему вслед)*. Ах, Линдор! Опекун меня уверяет, что он мне понравится!.. Прочту-ка я наконец это письмо, которое чуть было не причинило мне столько горя. *(Читает и вскрикивает.)* Ах!.. Я слишком поздно прочла. Он советует мне пойти на открытую ссору с опекуном, а я только что упустила такой чудный случай! Когда я взяла письмо, я почувствовала, что краснею до корней волос. Да, мой опекун прав: он часто говорит, что мне недостает светскости, благодаря которой женщины не теряются в любых обстоятельствах! Однако несправедливый мужчина самое невинность умудрится превратить в обманщицу.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Бартоло один.

Бартоло *(в унынии)*. Ну и нрав! Ну и нрав! Ведь только как будто бы успокоилась... Скажите на милость, какого черта она отказалась заниматься с доном Базилем? Она знает, что он устраивает мои свадебные дела...

Стучат в дверь.

Вы можете вывернуться наизнанку, чтобы понравиться женщинам, но если вы упустите какую-нибудь малость... какую-нибудь безделицу...

Опять стучат.

Кто это еще?

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Бартоло, граф, одетый бакалавром.

Граф. Мир и радость всем, в этом доме живущим!

Бартоло. Пожелание как нельзя более уместное. Что вам угодно?

Граф. Сударь! Я — Алонсо, бакалавр и лиценциат...

Бартоло. Я в домашних наставниках не нуждаюсь.

Граф. ...ученик дона Базиля, монастырского органиста, имеющего честь обучать музыке вашу...

Бартоло. Да, да, Базиль, органист, имеющий честь,— все это мне известно. К делу!

Граф *(в сторону)*. Ну и человек! *(К Бартоло.)* Внезапный недуг удерживает его в постели...

Бартоло. Удерживает в постели? Базиля? Хорошо сделал, что сообщил. Сейчас же иду к нему.

Граф *(в сторону)*. А, черт! *(К Бартоло.)* Под словом «постель» я разумею комнату.

Бартоло. Пусть даже легкое недомогание. Идите вперед, я за вами.

Граф *(в замешательстве)*. Сударь! Мне было поручено... Нас никто не слышит?

Бартоло *(в сторону)*. Должно быть, мошенник... *(Графу.)* Нет, загадочный незнакомец, что вы! Говорите, не стесняясь, если можете.

Граф *(в сторону)*. Проклятый старикашка! *(К Бартоло.)* Дон Базиль просил передать вам...

Бартоло. Говорите громче, я плохо слышу на одно ухо.

Граф *(возвысив голос)*. А, с удовольствием! Граф Альмавива, который проживал на Большой площади...

Бартоло *(в испуге)*. Говорите тише, говорите тише!

Граф *(еще громче)*. ...сегодня утром оттуда съехал. Так как это я сказал Базилю, что граф Альмавива...

Бартоло. Тише, пожалуйста, тише!

Граф *(все так же)*. ...живет в нашем городе, и так как именно я обнаружил, что сеньора Розина ему писала...

Бартоло. Она ему писала? Дорогой мой! Говорите тише, умоляю вас! Присаживайтесь, давайте поговорим по душам. Стало быть, вам удалось обнаружить, что Розина...

Граф *(с достоинством)*. Несомненно. Базиль, узнав об этой переписке, встревожился за вас и попросил меня показать вам письмо, но вы так со мной обошлись...

Бартоло. Ах, боже мой, я с вами обошелся совсем не плохо! Только неужели нельзя говорить тише?

Граф. Вы же сами сказали, что на одно ухо глухи.

Бартоло. Простите, сеньор Алонсо, простите мне мою подозрительность и суровость, но меня преследуют враги, строят мне козни... да и потом, ваша манера держать себя, ваш возраст, ваша наружность... Простите, простите! Значит, письмо при вас?

Граф. Давно бы так, сударь! Но только я боюсь, что нас подслушивают.

Бартоло. А кому подслушивать? Мои слуги спят без задних ног! Розина со злости заперлась! Все у меня в доме вверх дном. Пойду на всякий случай проверю... *(Тихонько приоткрывает дверь в комнату Розины.)*

Граф *(в сторону)*. С досады я сам испортил себе все дело. Как же теперь, не оставить письма? Придется бежать. А тогда не стоило и приходить... Показать письмо?.. Если б только я мог предупредить Розину, это было бы бесподобно.

Бартоло *(возвращается на цыпочках)*. Сидит у окна, спиной к двери, и перечитывает письмо своего двоюродного брата, офицера, которое я распечатал... Посмотрим, что пишет она.

Граф *(передает ему письмо Розины)*. Вот оно. *(В сторону.)* Она перечитывает мое письмо.

Бартоло *(читает)*. «С тех пор как вы сообщили мне свое имя и звание...» А, изменница! Это ее почерк.

Граф *(в испуге)*. Говорите и вы потише!

Бартоло. Вот одолжили, милейший!..

Граф. Когда все будет кончено, вы меня, если найдете нужным, отблагодарите. Судя по тем переговорам, которые ведет сейчас дон Базиль с одним юристом...

Бартоло. С юристом? По поводу моей женитьбы?

Граф. А зачем же я к вам пришел? Он просил передать вам, что к завтраму все будет готово. Вот тогда-то, если она воспротивится...

Бартоло. Она воспротивится.

Граф хочет взять у него письмо. Бартоло не отдает.

Граф. Вот когда я могу быть вам полезен: мы покажем ей письмо, и в случае чего *(таинственно)* я не постесняюсь ей сказать, что получил его от одной женщины, а что той его передал граф. Вы понимаете, что смятение, стыд, досада могут довести ее до того, что она тотчас же...

Бартоло *(со смехом)*. Вот она, клевета! Теперь я вижу, милейший, что вас действительно прислал Базиль! А чтобы она не подумала, что все это подстроено заранее, не лучше ли вам познакомиться с ней теперь же?

Граф *(сдерживая порыв восторга)*. Дон Базиль тоже считает, что так лучше. Но как это сделать? Ведь уж поздно... Времени осталось немного.

Бартоло. Я скажу, что вы вместо Базиля. Ведь вы могли бы дать ей урок?

Граф. Для вас я готов на все. Но только будьте осторожны: истории с мнимыми учителями — это старо, это мы двадцать раз видели в театре... Что, если она заподозрит...

Бартоло. Я сам вас представлю,— это ли не правдоподобно? Вы скорей напоминаете переодетого любовника, чем услужливого друга.

Граф. Правда? Вы думаете, что моя наружность ее обманет?

Бартоло. Ни один черт не догадается. Она сегодня ужасно не в духе. Но только она на вас взглянет... Клавесин в соседней комнате. Пока что вот вам развлечение, а я во что бы то ни стало ее приведу.

Граф. Смотрите же, ничего не говорите ей о письме!

Бартоло. Не говорить до решительной минуты? Конечно, иначе оно не произведет никакого впечатления. Я не из таких, чтобы мне надо было повторять одно и то же, я не из таких. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Граф один.

Граф. Я спасен! Ух! С этим чертом не так-то легко справиться! Фигаро хорошо его изучил. Чувствую, что завираюсь, и оттого мямлю, мнусь, а у него, я вам доложу, глаз!.. По чести, если бы в последнюю минуту я не сообразил насчет письма, меня, конечно, спустили бы с лестницы. Боже! Там идет борьба. Что, если она заупрямится и не придет сюда? Послушаем... Она отказывается выйти из своей комнаты,— значит, вся моя хитрость насмарку. *(Снова прислушивается.)* Идет. Не надо ей показываться раньше времени. *(Уходит в соседнюю комнату.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Граф, Розина, Бартоло.

Розина *(с напускным раздражением)*. Толковать со мной об этом бесполезно, сударь. Мое слово свято. Я и слышать не желаю о музыке.

Бартоло. Дай же мне договорить, дитя мое! Это дон Алонсо, ученик и приятель дона Базиля,— дон Базиль предлагает его в качестве свидетеля на нашей свадьбе. Музыка тебя успокоит, поверь!

Розина. Ну уж это извините! Чтоб я еще стала петь сегодня!.. Где этот самый учитель, которого вы стесняетесь выпроводить? Я мигом с ним разделаюсь, а заодно и с Базилем. *(Узнав своего возлюбленного, вскрикивает.)* Ах!

Бартоло. Что с вами?

Розина *(схватившись за сердце, в сильном волнении)*. Ах, боже мой, сударь!.. Ах, боже мой, сударь!..

Бартоло. Она снова теряет сознание!.. Сеньор Алонсо!

Розина. Нет, я не теряю сознания... Но когда я повернулась... Ай!

Граф. У вас нога подвернулась, сударыня?

Розина. Да, да, нога подвернулась. Ужасно больно.

Граф. Я сразу заметил.

Розина *(глядит на графа)*. Боль отдалась в сердце.

Бартоло. Надо скорей сесть, надо скорей сесть. Да где же кресло? *(Уходит за креслом.)*

Граф. Ах, Розина!

Розина. Как вы неосторожны!

Граф. Мне столько нужно сказать вам!

Розина. Он все равно не даст.

Граф. Нас выручит Фигаро.

Бартоло *(приносит кресло)*. Вот, деточка, садись. Как видите, бакалавр, сегодня ей уж не до урока. Как-нибудь в другой раз. Прощайте.

Розина *(графу)*. Нет, постойте. Мне немножко легче. *(К Бартоло.)* Я чувствую, что виновата перед вами, сударь, и, следуя вашему примеру, хочу немедленно загладить...

Бартоло. Вот оно, женское сердечко! Однако, дитя мое, после такого потрясения тебе необходим полный покой. Прощайте, бакалавр, прощайте!

Розина *(графу)*. Ради бога, одну минуту! *(К Бартоло.)* Если вы, сударь, не позволите мне взять урок и доказать на деле, что я раскаиваюсь, я буду думать, что вы не хотите сделать мне приятное.

Граф *(к Бартоло, тихо)*. Я вам советую не противоречить ей.

Бартоло. Ну, как хочешь, моя ненаглядная. В угоду тебе я даже буду присутствовать на уроке.

Розина. Не стоит, сударь. Ведь вы же не охотник до музыки.

Бартоло. Уверяю тебя, что сегодня я буду слушать с наслаждением.

Розина *(графу, тихо)*. Что за мученье!

Граф *(берет с пюпитра ноты)*. Вы это желаете петь, сударыня?

Розина. Да, это премилый отрывок из *Тщетной предосторожности.*

Бартоло. Опять *Тщетная предосторожность!*

Граф. Это последняя новинка. Картина весны, и при этом довольно яркая. Попробуйте, сударыня...

Розина *(глядя на графа)*. С большим удовольствием. Я люблю весну, это юность природы. С концом зимы сердце становится как-то особенно чувствительным. Его можно сравнить с невольником: долгие годы проведя в заточении, невольник с неизведанной силой ощущает прелесть возвращенной ему свободы.

Бартоло *(графу, тихо)*. Вечно у нее в голове какие-то бредни.

Граф *(тихо)*. Понимаете, что за ними кроется?

Бартоло. Как не понять! *(Садится в кресло, где сидела Розина.)*

Розина
(поет) [1]

Когда, и светла и ясна,
На бархат зеленого луга,
В долину вернулась весна,
Влюбленных подруга,—
Она озарила кругом
Своим животворным огнем
Цветы на лугах,
Цветы у влюбленных в сердцах.
В сияющий день
Со всех деревень
За стадом сбирается стадо,
Простору весеннему радо.
Столпились... бегут... разбрелись...
Ягнятам привольно на травке пастись!
Кругом все цветет,
Все буйно растет,
Все сладкий струит аромат.
Резвых ягнят
Верные псы сторожат.
Но цветы не милы для Линдора,
Не влечет его сердца весна:
Младая пастушка одна —
Отрада влюбленного взора!
Дома оставивши мать,
Младая пастушка
С песней пошла погулять
Лесною опушкой.
Поет и не знает о том,
Что опасности всюду кругом:
Цветы на лугах,

---

[1] Эта ариетка в испанском вкусе была исполнена в день первой постановки пьесы в Париже под гиканье, ропот и гам партера, который обыкновенно всегда так ведет себя в решающие и боевые дни. Застенчивость актрисы не позволила ей на последующих спектаклях повторить ее, и молодые театральные ригористы очень ее за это хвалили. Однако следует признать, что если «Комеди Франсез» что-нибудь от этого и выиграла, то *Севильский цирюльник* много потерял. Вот почему мы предлагаем всем директорам театров ее восстановить (в том случае, если этот небольшой музыкальный номер не представит особых трудностей), всем актрисам ее спеть, всем зрителям ее послушать, а всем критикам — нам ее простить, снизойдя к жанру пьесы и приняв в рассуждение удовольствие, которое они от этой ариетки получат.

Щебетание пташек в кустах,
Звуки свирели,
Их нежные трели —
Все это головку кружит,
От сладких предчувствий бедняжка дрожит...
Кругом все цветет,
Все буйно растет...
Вдруг навстречу Линдор из кустов!
Ей путь преграждает,
Ее обнимает,
Отдать свою жизнь ей готов!
Но его она гонит притворно —
Затем чтоб излишний свой пыл
Мольбою смиренно-покорной
Загладить Линдор поспешил!
(Краткая реприза.)
Вздохи, моленья,
Страстные взоры,
Клятвы, укоры —
Все обольщенья
Пущены в ход.
Он шутит так нежно... и вот
Она уж не сердится боле
И в сладкой неволе
Любви отдается тайком
С любезным своим пастушком.
Но ревнивец напрасно за ними следит:
Они равнодушный делают вид
И боятся выдать случайно
Восторги любви своей.
Ведь любви — только сладостна тайна,
Придает она прелести ей!

Бартоло, слушая пение, начинает дремать. Во время краткой репризы граф, осмелев, берет руку Розины и покрывает ее поцелуями. Розина от волнения поет медленнее, голос ее звучит глуше и, наконец, на середине каденции, после слова «случайно» прерывается. Оркестр, вторя душевным движениям певицы, играет тише и вместе с ней умолкает. Наступившая тишина будит Бартоло. Граф встает, Розина и оркестр мгновенно возобновляют арию.

Граф. Действительно, чудесная вещица, и вы, сударыня, так мастерски ее исполняете...

Розина. Вы льстите мне, сударь,— заслуга всецело принадлежит учителю.

Бартоло *(зевая)*. А я, кажется, вздремнул во время этой чудесной вещицы. Ведь у меня столько больных! Целый день бегаешь, носишься точно угорелый, а как присядешь, тут-то бедные ноги и... *(Встает и отодвигает кресло.)*

Розина *(графу, тихо)*. Фигаро не идет!

Граф. Надо выиграть время.

Бартоло. Знаете, бакалавр, я уже говорил старику Базилю, чтобы он ей давал разучивать что-нибудь повеселее этих длинных арий, которые нужно тянуть то вверх, то вниз: и-о-а-а-а-а,— точь-в-точь похоронное пение. Дал бы он ей каких-нибудь песенок из тех, что певали во дни моей юности,— они были доступны каждому. Я и сам когда-то знал их... Вот, например... *(Во время вступления Бартоло, почесывая голову, вспоминает, а затем, прищелкивая пальцами и по-стариковски приплясывая одними коленями, начинает петь.)*

Розинетта, мой дружок!
Купишь муженька на славу?
Правда, я не пастушок...

(Графу, со смехом.) В песне — Фаншонетта, ну, а я заменил ее Розинеттой, чтобы доставить ей удовольствие и чтобы больше подходило к случаю. Ха-ха-ха-ха! Здорово! Правда?

Граф *(смеется)*. Ха-ха-ха! Да, на что же лучше!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Фигаро в глубине сцены, Розина, Бартоло, граф.

Бартоло
(поет)

Розинетта, мой дружок!
Купишь муженька на славу?
Правда, я не пастушок,
Не Тирсис кудрявый,
Но впотьмах не хуже я,
Чем другие кавалеры...
Право, милая моя,
По ночам все кошки серы!
(Танцуя, повторяет припев.)

Фигаро у него за спиной передразнивает его.

(Увидев Фигаро.) А, пожалуйте, господин цирюльник, пожалуйте сюда, вы просто очаровательны!

Фигаро *(кланяется)*. По правде сказать, сударь, в былое время моя матушка мне тоже это говорила, но с тех пор я немного изменился. *(Графу, тихо.)* Браво, ваше сиятельство!

В продолжение всей этой сцены граф усиленно пытается переговорить с Розиной, однако неспокойный и бдительный взор опекуна всякий раз его останавливает. Таким образом, между всеми актерами идет немая игра, хотя граф и Розина не участвуют в словопрении между доктором и Фигаро.

Бартоло. Вы опять пришли ставить клистиры, пускать кровь, пичкать лекарствами, чтобы у меня тут все с ног свалились?

Фигаро. Бывают такие дни, сударь. По крайности, вы могли удостовериться, сударь, что мое усердие не ждет особых распоряжений, когда помимо обычных услуг требуется еще...

Бартоло. Ваше усердие не ждет! А что вы скажете, усердный молодой человек, тому несчастному, который все время зевает и стоя спит? И другому, который чихает три часа подряд, да так, что, кажется, вот-вот лопнет? Что вы им скажете?

Фигаро. Что я им скажу?

Бартоло. Да.

Фигаро. Я им скажу... А, черт! Чихающему я скажу: «Будьте здоровы»,— а зевающему: «Приятного сна». Это, сударь, не увеличит моего счета.

Бартоло. Понятно, нет. А вот кровопускания и лекарства увеличили бы его, если б только я на это пошел. А это вы тоже в порыве усердия забинтовали мулу глаза? Вы уверены, что ваши припарки вернут ему зрение?

Фигаро. Если они и не вернут ему зрения, то, во всяком случае, хуже он от них видеть не будет.

Бартоло. Не вздумайте поставить мне в счет и эти припарки! Не на такого напали!

Фигаро. По чести, сударь, люди вольны выбирать только между глупостью и безумством, вот почему там, где я не усматриваю для себя никакой выгоды, я хочу получить, по крайней мере, удовольствие, и да здравствует веселье! Почем я знаю: может, через три недели наступит конец света?

Бартоло. Лучше бы вы, господин резонер, без дальних слов отдали мне сто экю с процентами,— мое дело предупредить.

Фигаро. Вы сомневаетесь в моей честности, сударь? Какие-нибудь сто экю! Да я предпочту быть вашим должником всю жизнь, чем отказаться от этого долга хотя бы на мгновение.

Бартоло. А скажите, пожалуйста, понравились вашей дочурке конфеты, которые вы ей принесли?

Фигаро. Какие конфеты? О чем вы говорите?

Бартоло. Да, конфеты в пакетике, сделанном сегодня утром из почтовой бумаги.

Фигаро. Пусть меня черти унесут, если я...

Розина *(прерывает его)*. Надеюсь, господин Фигаро, вы не забыли ей сказать, что они от меня? Я же вас просила.

Фигаро. Ах да! Конфеты, нынче утром? Ну и дурак же я, совсем из головы вон... Как же, сударыня, дивные, изумительные!

Бартоло. Дивные! Изумительные! Да-с, господин цирюльник, что и говорить: ловко вывернулись! Почтенное занятие нашли вы себе, сударь!

Фигаро. А что такое, сударь?

Бартоло. Блестящую репутацию оно создаст вам, сударь!

Фигаро. Я буду поддерживать ее, сударь.

Бартоло. Да, это будет нелегкое бремя для вас, сударь.

Фигаро. Это уж мое дело, сударь.

Бартоло. Уж больно вы нос дерете, сударь! Было бы вам известно, что я имею обыкновение в споре с нахалом никогда не уступать.

Фигаро *(поворачивается к нему спиной)*. В этом мы с вами не сходимся, сударь: я, напротив, уступаю ему всегда.

Бартоло. Ого! Бакалавр! Что это он говорит?

Фигаро. Вы, верно, думаете, что имеете дело с каким-нибудь деревенским цирюльником, который только и умеет, что брить? Да будет вам известно, сударь, что в Мадриде я зарабатывал на хлеб пером, и если бы не завистники...

Бартоло. Почему же вы там не остались, а, переменив занятие, явились сюда?

Фигаро. Каждый поступает, как может. Побывали бы вы в моей шкуре!

Бартоло. В вашей шкуре? Дьявольщина! Каких бы я глупостей наговорил!

Фигаро. А вы уже подаете надежды, сударь,— ваш собрат, который вон там все мечтает, вам это подтвердит.

Граф *(встрепенувшись)*. Я... я не собрат доктора.

Фигаро. Вот как? А я видел, что вы с доктором совещались, ну и подумал, что и вы занимаетесь тем же.

Бартоло *(в сердцах)*. В конце концов, что вам здесь нужно? Передать еще одно письмо Розине? Так бы и говорили — я тогда уйду.

Фигаро. Стыдно вам обижать бедных людей! Ей-богу, сударь, я пришел вас побрить — только и всего. Ведь сегодня ваш день.

Бартоло. Зайдите в другой раз.

Фигаро. Да, в другой раз! Завтра утром принимает лекарство весь гарнизон, а я по знакомству получил на это подряд. Есть у меня время ходить к вам по нескольку раз! Не угодно ли вам, сударь, пройти к себе?

Бартоло. Нет, сударю не угодно пройти к себе. Постойте, постойте!.. А почему бы, собственно, мне не побриться здесь?

Розина *(презрительно)*. Как вы прекрасно воспитаны! Уж тогда не лучше ли в моей комнате?

Бартоло. Ты сердишься? Прости, дитя мое, ведь урок у тебя еще не кончился, а я ни на минуту не хочу лишать себя удовольствия тебя послушать.

Фигаро *(графу, тихо)*. Его отсюда не вытащишь! *(Громко.)* Эй, Начеку, Весна! Тазик воды, все, что нужно господину Бартоло для бритья!

Бартоло. Зовите, зовите! Сами же их утомили, измучили, довели до изнеможения,— как было их не уложить!

Фигаро. Ладно, я сам принесу! Прибор у вас в комнате? *(Графу, тихо.)* Я его вытяну отсюда.

Бартоло *(отвязывает связку ключей; немного подумав)*. Нет, нет, я сам. *(Уходя, графу, тихо.)* Смотрите за ними, пожалуйста!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Фигаро, граф, Розина.

Фигаро. Ах, какая досада! Он хотел было дать мне связку. Не там ли и ключ от жалюзи?

Розина. Это самый новенький ключик.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Бартоло, Фигаро, граф, Розина.

Бартоло *(возвращается; про себя)*. Хорош я, нечего сказать! Оставить здесь этого проклятого пирюльника! *(К Фигаро.)* Нате. *(Протягивает ему связку.)* У меня в кабинете, под столом. Только ничего не трогайте.

Фигаро. Ну вот еще! У такого подозрительного человека, как вы! *(Направляется к выходу; про себя.)* Небо всегда покровительствует невинности!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Бартоло, граф, Розина.

Бартоло *(графу, тихо)*. Вот этот самый пройдоха и передал от нее письмо графу.

Граф *(тихо)*. По всему видно, плут.

Бартоло. Теперь уж он меня не проведет.

Граф. По-моему, самые необходимые меры приняты.

Бартоло. Все взвесив, я решил, что благоразумнее послать его ко мне в комнату, нежели оставлять с ней.

Граф. Я бы все равно не дал им поговорить наедине.

Розина. Куда как вежливо, господа, все время шептаться! А урок?

Слышен звон бьющейся посуды.

Бартоло *(с воплем)*. Это еще что такое! Наверно, мерзкий цирюльник все разронял на лестнице! Ай-ай-ай, лучшие вещи из моего прибора!.. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Граф, Розина.

Граф. Воспользуемся мгновением, которое нам предоставила находчивость Фигаро. Умоляю вас, сударыня, назначьте мне сегодня вечером свидание,— оно вас избавит от грозящей вам неволи.

Розина. Ах, Линдор!

Граф. Я поднимусь к вашему окну. А что касается письма, которое я получил от вас утром, то я вынужден был...

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Розина, Бартоло, Фигаро, граф.

Бартоло. Я не ошибся: все разбито, перебито...

Фигаро. Много шума из ничего! На лестнице тьма кромешная. *(Показывает графу ключ.)* По дороге я зацепил ключом...

Бартоло. Надо осторожнее. Зацепил ключом! Вот нескладный!

Фигаро. Что ж, сударь, ищите себе кого-нибудь более юркого.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же и дон Базиль.

Розина *(испуганная, в сторону)*. Дон Базиль!

Граф *(в сторону)*. Боже правый!

Фигаро *(в сторону)*. Вот черт!

Бартоло *(идет ему навстречу)*. А, Базиль, друг мой, с выздоровлением вас! Значит, у вас все прошло? По правде сказать, сеньор Алонсо здорово меня напугал. Спросите его, я хотел вас навестить, и если б он меня не отговорил...

Базиль *(в недоумении)*. Сеньор Алонсо?

Фигаро *(топает ногой)*. Ну вот, опять задержка, битых два часа на одну бороденку... К свиньям такую клиентуру!

Базиль *(оглядывает всех)*. Скажите, пожалуйста, господа...

Фигаро. Говорите с ним, я уйду.

Базиль. Но все-таки нужно же...

Граф. Вам нужно молчать, Базиль. Господин Бартоло все уже знает. Ничего нового вы ему сообщить не можете. Я ему сказал, что вы поручили мне дать урок пения вместо вас.

Базиль *(в изумлении)*. Урок пения!.. Алонсо!..

Розина *(Базилю, тихо)*. Молчите вы!

Базиль. И она туда же!

Граф *(к Бартоло, тихо)*. Скажите же ему на ухо, что мы с вами уговорились.

Бартоло *(к Базилю, тихо)*. Не выдавайте нас, Базиль: если вы не подтвердите, что он ваш ученик, вы нам все дело испортите.

Базиль. Что? Что?

Бартоло *(громко)*. В самом деле, Базиль, ваш ученик на редкость талантлив.

Базиль *(поражен)*. Мой ученик?.. *(Тихо.)* Я пришел сказать вам, что граф переехал.

Бартоло *(тихо)*. Я знаю, молчите!

Базиль *(тихо)*. Кто вам сказал?

Бартоло *(тихо)*. Он, понятно!

Граф *(тихо)*. Конечно, я. Да вы слушайте!

Розина *(Базилю, тихо)*. Неужели трудно помолчать?

Фигаро *(Базилю, тихо)*. Ты что, верзила, оглох?

Базиль *(в сторону)*. Что за черт! Кто кого здесь проводит за нос? Все в заговоре!

Бартоло *(громко)*. Ну, Базиль, а как же ваш юрист?

Фигаро. Чтобы толковать о юристе, у вас впереди целый вечер.

Бартоло *(Базилю)*. Только одно слово. Скажите, вы довольны юристом?

Базиль *(озадачен)*. Юристом?

Граф *(с улыбкой)*. Вы разве не виделись с юристом?

Базиль *(в нетерпении)*. Да нет же, никакого юриста я не видел!

Граф *(к Бартоло, тихо)*. Вы что же, хотите, чтобы он все рассказал при ней? Выпроводите его.

Бартоло *(графу, тихо)*. Ваша правда. *(Базилю.)* Чем это вы так внезапно заболели?

Базиль *(в бешенстве)*. Я не понимаю вашего вопроса.

Граф *(незаметно вкладывает ему в руку кошелек)*. Ну да! Доктор спрашивает, зачем вы пришли, раз вам нездоровится.

Фигаро. Вы бледны, как смерть!

Базиль. А, понимаю...

Граф. Идите и ложитесь, дорогой Базиль! Вы плохо себя чувствуете, и мы за вас страшно боимся. Идите и ложитесь!

Фигаро. На вас лица нет. Идите и ложитесь!

Бартоло. В самом деле, от вас так и пышет жаром. Идите и ложитесь!

Розина. И зачем вы только вышли? Говорят, что это заразно. Идите и ложитесь!

Базиль *(в полном изумлении)*. Ложиться?

Все. Ну конечно!

Базиль *(оглядывая всех)*. Кажется, господа, мне и правда лучше уйти, я чувствую себя здесь не в своей тарелке.

Бартоло. До завтра, если только вам станет легче.

Граф. Я приду к вам, Базиль, рано утром.

Фигаро. Послушайтесь моего совета: как можно теплее укройтесь.

Розина. Прощайте, господин Базиль!

Базиль *(в сторону)*. Ни черта не понимаю! И если бы не кошелек...

Все. Прощайте, Базиль, прощайте!

Базиль *(уходя)*. Ну что ж, прощайте так прощайте!

Все со смехом провожают его.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же, кроме Базиля.

Бартоло *(важно)*. Вид его внушает мне тревогу. У него блуждающий взгляд.

Граф. Верно, простудился.

Фигаро. Вы заметили, что он разговаривал сам с собой? Да, все на свете бывает! *(К Бартоло.)* Ну что ж, теперь-то наконец можно? *(Ставит ему кресло подальше от графа и подает полотенце.)*

Граф. Прежде чем кончить наш урок, сударыня, мне бы хотелось сказать несколько слов о том, что́ я считаю необходимым для вашего усовершенствования в искусстве, которое я имею честь преподавать вам. *(Подходит к ней и что-то шепчет на ухо.)*

Бартоло *(к Фигаро)*. Те-те-те! Это вы, должно быть, нарочно стали у меня перед глазами, чтобы я не мог видеть...

Граф *(Розине, тихо)*. Ключ от жалюзи у нас, мы будем здесь в полночь.

Фигаро *(повязывает Бартоло полотенцем)*. А что видеть-то? Будь это урок танцев, вам любопытно было бы посмотреть, но пения!.. Ай, ай!

Бартоло. Что такое?

Фигаро. Что-то попало в глаз. *(Наклоняется к нему.)*

Бартоло. Не надо тереть!

Фигаро. В левый. Будьте добры, подуйте в него посильней.

Бартоло берет Фигаро за голову, смотрит поверх нее, затем вдруг отталкивает его и крадется к влюбленным, чтобы подслушать их разговор.

Граф *(Розине, тихо)*. Что касается вашего письма, то я не знал тогда, что придумать, лишь бы остаться здесь...

Фигаро *(издали, предупреждая их)*. Гм!.. гм!..

Граф. Я был в отчаянии, что мое переодевание ни к чему не привело...

Бартоло *(становится между ними)*. Ваше переодевание ни к чему не привело!

Розина *(в испуге)*. Ах!

Бартоло. Так, так, сударыня, не смущайтесь. Нет, каково! Меня смеют оскорблять в моем присутствии, у меня на глазах!

Граф. Что с вами, сеньор?

Бартоло. Коварный Алонсо!

Граф. Я, сеньор Бартоло, являюсь случайным свидетелем вашей дикой выходки, и если они у вас бывают часто, то нет ничего удивительного, что сеньора не стремится выйти за вас замуж.

Розина. Чтобы я вышла за него замуж! Чтобы я всю жизнь прожила с этим ревнивым стариком, который вместо счастья сулит моей юности одни лишь гнусные цепи рабства!

Бартоло. А! Что я слышу?

Розина. Да, я объявляю во всеуслышание! Я отдам руку и сердце тому, кто вызволит меня из мрачной этой темницы, в которой совершенно незаконно держат и меня самое, и мое состояние. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Бартоло, Фигаро, граф.

Бартоло. Меня душит злоба.

Граф. Правда, сеньор, трудно заставить молодую женщину...

Фигаро. Да, присутствие молодой женщины и преклонный возраст — вот отчего у стариков заходит ум за разум.

Бартоло. При чем тут это? Я же их застал на месте преступления! Ах, окаянный цирюльник! Так бы, кажется...

Фигаро. Я ухожу — он рехнулся.

Граф. Я тоже ухожу. Он в самом деле рехнулся.

Фигаро. Рехнулся, рехнулся...

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Бартоло один, кричит им вслед.

Бартоло. Я рехнулся! Ах вы мерзкие соблазнители, слуги дьявола, творящие волю его в моем доме, чтоб он же вас всех и побрал!.. Я рехнулся!.. Да я же видел, как вижу сейчас этот пюпитр, что они... И еще имеют наглость отрицать!.. Ах, только Базиль может мне на все это пролить свет! Да, пошлю-ка я за ним! Эй, кто-нибудь!.. Ах, я и забыл, что никого нет... Все равно, кто-нибудь: сосед, первый встречный... Есть от чего потерять голову! Есть от чего потерять голову!

Во время антракта на сцене постепенно темнеет, оркестр изображает грозу.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

На сцене темно.

Бартоло, дон Базиль держит в руке бумажный фонарик.

Бартоло. То есть как, Базиль, вы его не знаете? Подумайте, что вы говорите!

Базиль. Спрашивайте меня хоть сто раз,— я вам буду отвечать одно и то же. Если он вам передал письмо Розины, значит, вне всякого сомнения, это кто-нибудь из присных графа. Однако, если принять в соображение щедрость подарка, который он мне сделал, весьма вероятно, что это сам граф.

Бартоло. Да что вы? А вот, кстати, о подарке: зачем же вы его приняли?

Базиль. Мне показалось, что вы ничего не имеете против. Я был сбит с толку, а в затруднительных случаях золото всякий раз представляется мне доводом неопровержимым. Да и потом, как говорится: «На чужой каравай...»

Бартоло. Да, да, это я знаю: «рот...»

Базиль. «...разевай».

Бартоло *(в изумлении)*. Вот так так!

Базиль. Да, да, я эдаким манером переиначил несколько таких поговорочек. Однако ж к делу. К какому решению вы пришли?

Бартоло. Будь вы на моем месте, Базиль, разве вы бы не напрягли последних усилий для того, чтобы обладать ею?

Базиль. По чести, доктор, скажу: нет. Обладание всякого рода благами — это еще не все. Получать наслаждение от обладания ими — вот в чем состоит счастье. Я полагаю, что жениться на женщине, которая тебя не любит,— значит подвергнуть себя...

Бартоло. Вы опасаетесь тяжелых сцен?

Базиль. Ох, ох, сударь... в этом году их уже было немало. Я бы не стал учинять насилия над ее сердцем.

Бартоло. Шутить изволите, Базиль. Пусть лучше она плачет от того, что я ее муж, чем мне умереть от того, что она не моя жена.

Базиль. Речь идет о жизни и смерти? Ну, тогда женитесь, доктор, женитесь.

Бартоло. Так я и сделаю, и притом нынче же ночью.

Базиль. Ну, прощайте. Да, в разговорах с вашей возлюб-

ленной непременно старайтесь изобразить всех мужчин черпее самих прислужников ада.

Бартоло. Это хороший совет.

Базиль. Побольше клеветы, доктор, клеветы! Первое средство.

Бартоло. Вот письмо Розины, которое мне передал этот Алонсо. Сам того не желая, он подсказал мне, как я должен себя с ней держать.

Базиль. Прощайте! Мы все будем у вас в четыре часа утра.

Бартоло. А почему не раньше?

Базиль. Нельзя. Нотариус занят.

Бартоло. Бракосочетание?

Базиль. Да, у цирюльника Фигаро: он выдает замуж племянницу.

Бартоло. Племянницу? У него нет племянницы.

Базиль. Так, по крайней мере, они сказали нотариусу.

Бартоло. Этот проныра тоже в заговоре! Что за черт!..

Базиль. Вы, значит, думаете...

Бартоло. Ах, боже мой, это такой шустрый народ! Послушайте, мой друг, у меня сердце не на месте. Сходите к нотариусу и приведите его сюда немедленно.

Базиль. На улице дождь, погода отвратительная, но ради вас я готов на все. Куда же вы?

Бартоло. Я вас провожу — с помощью Фигаро они искалечили всех моих домочадцев! Я совершенно один.

Базиль. У меня фонарь.

Бартоло. Вот вам, Базиль, мой ключ от всех дверей. Я вас жду, я буду настороже. Кто бы ни пришел,— нынче ночью, кроме вас и нотариуса, я никого не впущу.

Базиль. При таких мерах предосторожности вам бояться нечего.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Розина одна, выходит из своей комнаты.

Розина. Мне послышалось, будто здесь разговаривают. Уж полночь, а Линдор все не идет! Ненастная погода для него как раз очень кстати. Он может быть уверен, что никого не встретит... Ах, Линдор, неужели вы меня обманули?.. Чьи это шаги?.. Боже, это мой опекун! Уйду к себе.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Розина, Бартоло.

Бартоло *(входит со свечой)*. А, Розина! Вы еще не ушли к себе. В таком случае...

Розина. Я иду.

Бартоло. Эта ужасная погода все равно не даст вам заснуть, а мне нужно сказать вам очень важную вещь.

Розина. Что вы от меня хотите, сударь? Вам мало дня, чтобы меня мучить?

Бартоло. Выслушайте меня, Розина.

Розина. Я выслушаю вас завтра.

Бартоло. Одну минуту, умоляю вас!

Розина *(в сторону)*. Что, если он придет?

Бартоло *(показывает ей ее письмо)*. Вам известно это письмо?

Розина *(узнает его)*. Боже милосердный!

Бартоло. Я не собираюсь упрекать вас, Розина: в ваши годы простительно ошибаться, но я вам друг, выслушайте меня.

Розина. Это выше моих сил.

Бартоло. Вы написали это письмо графу Альмавиве...

Розина *(с удивлением)*. Графу Альмавиве?

Бартоло. Видите, какой ужасный человек этот граф. Как только он получил письмо, так сейчас же начал им хвастаться. Оно попало ко мне от одной женщины, которой он его преподнес.

Розина. Граф Альмавива!

Бартоло. Вам тяжело убеждаться в подобной низости. Неопытность — вот, Розина, источник женской доверчивости и легковерия, но теперь вы понимаете, какие вам готовились силки. Эта женщина рассказала мне обо всем, по-видимому, для того, чтобы освободиться от столь опасной соперницы, как вы... Я трепещу! Чудовищный заговор Альмавивы, Фигаро и этого Алонсо,— хотя на самом деле он не Алонсо и не ученик Базиля, а просто-напросто подлый графский прихвостень,— едва не столкнул вас в бездну, откуда уж никакая сила не могла бы вас вызволить.

Розина *(удручена)*. Какой ужас!.. Как! Линдор!.. Как, этот молодой человек...

Бартоло *(в сторону)*. Ах, это Линдор!

Розина. Это он для графа Альмавивы... это он для другого...

Бартоло. Так, по крайней мере, мне сказали, передавая ваше письмо.

Розина *(вне себя)*. Ах, какая низость!.. Он будет наказан. Сударь! Вы хотели на мне жениться?

Бартоло. Пылкость чувств моих тебе известна.

Розина. Если они еще не остыли, то я ваша.

Бартоло. Отлично! Нотариус придет сегодня ночью.

Розина. Это еще не все. Боже, как меня оскорбили!.. Знайте, что некоторое время спустя коварный осмелится проникнуть сюда через окно,— они ухитрились стащить у вас ключ от жалюзи.

Бартоло *(рассматривая связку ключей)*. Ах, мерзавцы! Дитя мое! Я от тебя не отойду!

Розина *(в испуге)*. Ах, сударь! Что, если они вооружены?

Бартоло. Твоя правда, тогда моя месть не удастся. Пойди к Марселине и как можно лучше запрись. Я схожу за подмогой и буду ждать его возле дома. Когда мы поймаем его, как вора, это будет для нас два удовольствия сразу: мы и за себя отомстим, и избавимся от него. А ты уж будь спокойна: моя любовь тебя вознаградит...

Розина *(в отчаянии)*. Только бы вы забыли мой проступок! *(Про себя.)* Ах, я достаточно строго себя наказала!

Бартоло *(уходя)*. Пойду устраивать засаду. Наконец-то она моя! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Розина одна.

Розина. Его любовь меня вознаградит!.. Несчастная!.. *(Достает платок и заливается слезами.)* Как быть?.. Линдор сейчас придет. Останусь и поведу с ним игру: увижу своими глазами, как низко может пасть человек. Гнусность его поступка послужит мне защитой... А я в ней так нуждаюсь! Благородное лицо, ласковый взгляд, такой нежный голос!.. А на самом деле это не кто иной, как подлый приспешник соблазнителя! Ах, несчастная, несчастная! Боже!.. Открывают жалюзи! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф; Фигаро, закутанный в плащ, появляется в окне.

Фигаро *(обращаясь за кулисы)*. Кто-то убежал. Входить?

Граф *(за сценой)*. Мужчина?

Фигаро. Нет.

Граф. Это Розина — твоя страшная рожа обратила ее в бегство.

Фигаро *(спрыгивает с подоконника в комнату)*. А ведь пожалуй, что так... Ну, вот мы и у цели, несмотря на дождь, молнию и гром.

Граф *(закутан в длинный плащ)*. Дай руку. *(Спрыгивает.)* Победа за нами!

Фигаро *(сбрасывает плащ)*. Промокли до нитки. Чудная погода — как раз для того, чтобы искать счастья! Как вам нравится, ваше сиятельство, такая ночка?

Граф. Для влюбленного она великолепна.

Фигаро. Хорошо, а для наперсника? Что, если нас с вами здесь накроют?

Граф. Ведь я же с тобой! Меня беспокоит другое: решится ли Розина немедленно покинуть дом опекуна?

Фигаро. Вашими сообщниками являются три чувства, имеющие безграничное влияние на прекрасный пол: любовь, ненависть и страх.

Граф *(вглядываясь в темноту)*. Можно ли ей сразу же объявить, что нотариус ждет ее у тебя для того, чтобы сочетать нас браком? Мой план покажется ей слишком смелым — она назовет меня дерзким.

Фигаро. Она назовет вас дерзким, а вы назовите ее жестокой. Женщины очень любят, когда их называют жестокими. Кроме того, если она действительно любит вас так, как вам хочется, то вы ей скажете, кто вы такой, и она уже не будет сомневаться в искренности ваших чувств.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Граф, Розина, Фигаро.

Фигаро зажигает на столе все свечи.

Граф. Вот она. Прелестная Розина!..

Розина *(очень неестественным тоном)*. Сударь! Я уже начала бояться, что вы не придете.

Граф. Очаровательное беспокойство!.. Сударыня! Мне не к лицу злоупотреблять обстоятельствами и предлагать вам разделить жребий бедняка, но какое бы пристанище вы ни избрали, клянусь честью, я...

Розина. Сударь! Если бы сейчас же после того, как я отдала вам свое сердце, я не должна была бы отдать вам и руку, вас бы здесь не было. Пусть же необходимость оправдает в ваших глазах все неприличие нашего свидания.

Граф. Как, Розина? Вы — подруга неудачника, неимущего, незнатного!..

Розина. Знатность, имущество! Не будем говорить об этих случайных дарах судьбы, и если вы меня уверите в чистоте ваших намерений...

Граф *(у ее ног)*. Ах, Розина! Я обожаю вас!..

Розина *(с возмущением)*. Перестаньте, низкий вы человек!.. Вы смеете осквернять... Ты меня обожаешь!.. Нет, теперь ты мне уже не опасен! Я ждала этого слова, чтобы сказать, что я тебя ненавижу. Но прежде чем тебя начнут мучить угрызения совести *(плачет)*, узнай, что я тебя любила, узнай, что я почитала за счастье разделить горькую твою судьбу. Презренный Линдор! Я готова была бросить все и пойти за тобой, но то недостойное злоупотребление моей любовью, которое ты допустил, а также низость этого ужасного графа Альмавивы, которому ты собирался меня продать, вернули мне вещественное доказательство моей слабости. Тебе известно это письмо?

Граф *(живо)*. Которое вам передал ваш опекун?

Розина *(гордо)*. Да, и я ему за это очень признательна.

Граф. Боже, как я счастлив! Письмо отдал ему я. Вчера я попал в такое отчаянное положение, что мне пришлось воспользоваться этим письмом как средством заслужить его доверие, но я так и не улучил минутки, чтобы вам об этом сказать. Ах, Розина, теперь я вижу, что вы меня любите по-настоящему!

Фигаро. Ваше сиятельство! Вы искали женщину, которая вас полюбила бы ради вас самого...

Розина. «Ваше сиятельство»?.. Что это значит?

Граф сбрасывает плащ, под ним оказывается роскошный наряд.

Граф. О моя любимая! Теперь уже не к чему обманывать вас: счастливец, которого вы видите у своих ног,— не Линдор. Я — граф Альмавива, который умирал от любви и тщетно разыскивал вас целых полгода.

Розина *(падает в объятия графа)*. Ах!..

Граф *(в испуге)*. Фигаро! Что с ней?

Фигаро. Не беспокойтесь, ваше сиятельство: приятное волнение радости никогда не влечет за собой опасных последствий. Вот, вот она уже приходит в себя. Черт побери, до чего же она хороша!

Розина. Ах, Линдор!.. Ах, сударь, как я виновата! Ведь я собиралась сегодня ночью стать женой моего опекуна.

Граф. И вы могли, Розина...

Розина. Представляете себе, как бы я была наказана? Я бы вас презирала до конца моих дней. Ах, Линдор, что может быть ужаснее этой пытки — ненавидеть и сознавать в то же время, что ты создана для любви!

Фигаро *(смотрит в окно)*. Ваше сиятельство! Путь отрезан — лестницу убрали.

Граф. Убрали?

Розина *(в волнении)*. Да, это моя вина... это доктор... Вот плоды моего легковерия. Он меня обманул. Я во всем созналась, все рассказала. Он знает, что вы здесь, и сейчас придет сюда с подмогой.

Фигаро *(снова заглядывает в окно)*. Ваше сиятельство! Отпирают входную дверь!

Розина *(в испуге бросается в объятия графа)*. Ах, Линдор!..

Граф *(твердо)*. Розина! Вы меня любите! Я никого не боюсь, и вы будете моей женой. Значит, я могу позволить себе роскошь как следует проучить мерзкого старикашку!..

Розина. Нет, нет, пощадите его, дорогой Линдор! Мое сердце так полно, что в нем нет места для мщения.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, нотариус и дон Базиль.

Фигаро. Ваше сиятельство! Это наш нотариус.

Граф. А с ним наш приятель Базиль.

Базиль. А! Что я вижу?

Фигаро. Какими судьбами, приятель?..

Базиль. Каким образом, господа?..

Нотариус. Это и есть будущие супруги?..

Граф. Да, сударь. Вы должны были сочетать браком сеньору Розину и меня сегодня ночью у цирюльника Фигаро, но мы предпочли этот дом, а почему — это вы впоследствии узнаете. Наш свадебный договор при вас?

Нотариус. Так я имею честь говорить с его сиятельством графом Альмавивой?

Фигаро. Именно.

Базиль *(в сторону)*. Если доктор для этого дал мне свой ключ...

Нотариус. У меня, ваше сиятельство, не один, а два брачных договора. Как бы нам не спутать... Вот ваш, а это — сеньора Бартоло и сеньоры... тоже Розины? По-видимому, невесты — сестры, и у них одно и то же имя.

Граф. Давайте подпишем. Дон Базиль! Будьте любезны, подпишите в качестве второго свидетеля.

Начинается церемония подписи.

Базиль. Но, ваше сиятельство... я не понимаю...

Граф. Любой пустяк приводит вас в замешательство, маэстро Базиль, и все решительно вас удивляет.

Базиль. Ваше сиятельство... Но если доктор...

Граф *(бросает ему кошелек)*. Что за ребячество! Скорее подписывайте!

Базиль *(в изумлении)*. Вот тебе раз!

Фигаро. Неужели так трудно подписать?

Базиль *(встряхивая кошелек на ладони)*. Уже нетрудно. Но дело в том, что если я дал слово другому, то нужны крайне веские доводы... *(Подписывает.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Бартоло, алькальд, альгуасилы и слуги с факелами.

Бартоло *(видя, что граф целует у Розины руку, а Фигаро потехи ради обнимает дона Базиля, хватает нотариуса за горло)*. Розина в руках у разбойников! Задержите всех! Одного я поймал за шиворот.

Нотариус. Я — ваш нотариус.

Базиль. Это наш нотариус. Опомнитесь, что с вами?

Бартоло. А, дон Базиль! Почему вы здесь?

Базиль. Вас-то почему здесь нет, вот что удивительно!

Алькальд *(показывая на Фигаро)*. Одну минутку! Этого я знаю. Зачем ты сюда явился в непоказанное время?

Фигаро. В непоказанное? Сейчас действительно, сударь, ни то ни се: не утро, не вечер. Но ведь я пришел сюда не один, а вместе с его сиятельством графом Альмавивой.

Бартоло. С Альмавивой?

Алькальд. Значит, это не воры?

Бартоло. Погодите!.. Везде, где угодно, граф, я — слуга вашего сиятельства, но вы сами понимаете, что здесь разница в общественном положении теряет свою силу. Покорнейше прошу вас удалиться.

Граф. Да, общественное положение здесь бессильно, но зато огромную силу имеет то обстоятельство, что сеньора Ро-

зина вам предпочла меня и добровольно согласилась выйти за меня замуж.

Бартоло. Розина! Что он говорит?

Розина. Он говорит правду. Что же вас тут удивляет? Вы знаете, что сегодня ночью я должна была отомстить обманщику. Вот я и отомстила.

Базиль. Не говорил ли я вам, доктор, что это был сам граф?

Бартоло. Это мне совершенно безразлично. Забавная, однако ж, свадьба! Где же свидетели?

Нотариус. Свидетели налицо. Вот эти два господина.

Бартоло. Как, Базиль? Вы тоже подписали?

Базиль. Что поделаешь! Это дьявол, а не человек: у него всегда полны карманы неопровержимыми доводами.

Бартоло. Плевать я хотел на его доводы. Я воспользуюсь моими правами.

Граф. Вы ими злоупотребили и потому утратили их.

Бартоло. Она несовершеннолетняя.

Фигаро. Она теперь самостоятельна.

Бартоло. А с тобой не разговаривают, мошенник ты этакий!

Граф. Сеньора Розина родовита и хороша собой, я знатен, молод, богат, она — моя жена, что делает честь нам обоим,— кто же после этого осмелится оспаривать ее у меня?

Бартоло. Я никому ее не отдам.

Граф. Вы уже не имеете над нею власти. Я укрываю ее под сенью закона, и тот же самый алькальд, которого вы сюда привели, защитит ее от ваших посягательств. Истинные блюстители закона — опора всех утесненных.

Алькальд. Разумеется. А напрасное сопротивление столь почтенному брачному союзу свидетельствует лишь о том, что он боится ответственности за дурное управление имуществом воспитанницы, отдать же в этом отчет он обязан.

Граф. А, лишь бы он согласился на наш брак — больше я ничего с него не потребую!

Фигаро. Кроме моей расписки в получении ста экю; дарить ему эти деньги было бы уже просто глупо.

Бартоло *(рассвирепев)*. Они все были против меня — я попал в осиное гнездо.

Базиль. Какое там осиное гнездо! Подумайте, доктор: жены вам, правда, не видать, но деньги-то остались у вас, и притом немалые!

Бартоло. Ах, Базиль, отстаньте вы от меня! У вас только деньги на уме. Очень они мне нужны! Ну, положим, я их оставлю себе, но неужели вы думаете, что именно это сломило мое упорство? *(Подписывает.)*

Фигаро *(смеется)*. Ха-ха-ха! Ваше сиятельство! Да это два сапога пара!

Нотариус. Позвольте, господа, я уже окончательно перестаю понимать. Разве тут не две девицы, носящие одно и то же имя?

Фигаро. Нет, сударь, их не две, а одна.

Бартоло *(в отчаянии)*. И я еще своими руками убрал лестницу, чтобы им же было удобнее заключать у меня в доме брачный договор! Ах, меня погубило собственное нерадение!

Фигаро. Недомыслие, доктор! Впрочем, будем справедливы: когда юность и любовь сговорятся обмануть старика, все его усилия им помешать могут быть с полным основанием названы *Тщетною предосторожностью.*

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО

КОМЕДИЯ
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Тут смешался глас рассудка
С блеском легкой болтовни.

Водевиль

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЖЕНИТЬБЕ ФИГАРО»

Я пишу это предисловие не ради бесплодных рассуждений о том, хороша или плоха пьеса, которую я поставил на сцене: время для подобных рассуждений прошло; моя цель — подвергнуть тщательному изучению вопрос (а это я обязан делать при всех обстоятельствах), не написал ли я вещи, достойной порицания.

Заставить кого бы то ни было сочинить комедию, похожую на все прочие, невозможно, и если я по причинам, которые мне лично представлялись важными, сошел с чересчур избитой дороги, то допустимо ли меня судить, как это делали иные, на основании правил, коих я не придерживаюсь? Допустимо ли печатать детскую болтовню о том, будто бы я вернул драматическое искусство в младенческое состояние, вернул единственно потому, что задумал проложить новую тропу для того самого искусства, основной и, быть может, единственный закон которого — развлекать, поучая? Но дело не в этом.

В большинстве случаев мы вслух браним пьесу не за то, за что браним ее в душе. Та или иная черта, которая произвела на нас неприятное впечатление, или отдельное слово, которое нас уязвило, остаются погребенными в нашем сердце, язык же в это время мстит тем, что осуждает почти все остальное; таким образом, в области театра можно считать установленным, что, упрекая автора, мы меньше всего говорим о том, что нас больше всего коробит.

Быть может, эту двойственность комедии не мешало бы сделать явной для всех; я же извлеку из моей комедии еще бо́льшую пользу, если, разбирая ее, сумею привлечь внимание

общества к тому, что́ следует разуметь под словами: *нравственность на сцене.*

Мы строим из себя придирчивых и тонких знатоков и, как мне уже приходилось указывать в другом месте, прикрываем личиной благопристойности падение нравов, вследствие чего мы превращаемся в ничтожества, не способные ни развлекаться, ни судить о том, что же нам нужно, превращаемся — не пора ли заявить об этом прямо? — в пресыщенных кривляк, которые сами не знают, чего они хотят и что́ им нужно любить, а что отвергать. Самые эти избитые понятия: *хороший тон, хорошее общество,* применяемые без разбора и обладающие такой растяжимостью, что неизвестно, где их точные границы, оказали пагубное действие на ту искреннюю, неподдельную веселость, какою отличается юмор нашего народа от всякого другого юмора.

Прибавьте к этому назойливое злоупотребление другими высокими понятиями, как, например, *благопристойность, чистота нравов,*— понятиями, которые придают такой вес, такую значительность суждениям наших театральных критиков, что они, эти критики, пришли бы в отчаяние, если б им было воспрещено применять подобное мерило ко всем драматическим произведениям, и вы будете иметь некоторое представление о том, что́ именно сковывает вдохновение, запугивает авторов и наносит смертельный удар искусству интриги; а между тем отнимите у комедии это искусство, и останутся лишь вымученные остроты, самая же комедия не продержится долго на сцене.

Наконец, к умножению несчастий, все решительно сословия добились того, что авторы уже не имеют права обличать их в своих драматических произведениях. Попробуйте только сыграть теперь Расиновых *Сутяг,* и вы непременно услышите, как Дандены, Бридуазоны и даже люди более просвещенные закричат, что нет уже более ни нравственности, ни уважения к властям.

Попробуйте только написать теперь *Тюркаре,* и на вас тотчас посыплются все виды сборов, поборов, податей, пошлин, налогов и обложений, на вас навалятся все, кому вменяется в обязанность таковые взимать. Впрочем, в наше время для Тюркаре не нашлось бы образцов. Но если даже придать Тюркаре другие черты, его все равно постарались бы не пропустить.

Попробуйте только вновь вывести на сцену Мольеровых *несносных,* Мольеровых *маркизов* и *должников,* и вы сразу вооружите против себя высшее и среднее, новое и старое дворянство. Мольеровы *Ученые женщины* возмутили бы наши кладези

женской премудрости. А какой искусный счетчик возьмется вычислить силу и длину рычага, который в наши дни мог бы поднять на высоту театральных подмостков великого *Тартюфа?* Вот почему автор комедий, призванный, казалось бы, *развлекать* или же *просвещать* публику, принужден, вместо того чтобы вести интригу по своему благоусмотрению, нанизывать одно невероятное происшествие на другое, паясничать, вместо того чтобы от души смеяться, и — из боязни нажить себе тьму врагов, ни одного из которых он в глаза не видит, пока трудится над жалким своим творением,— искать моделей за пределами общества.

Одним словом, я пришел к заключению, что если только какой-нибудь смельчак не стряхнет всей этой пыли, то в недалеком будущем французскому народу опротивеют скучные наши пьесы и он устремится к непристойной комической опере и даже еще дальше: на бульвары, к смрадному скопищу балаганов, этому позору для всех нас,— туда, где благопристойная вольность, изгнанная из французского театра, превращается в оголтелую разнузданность, где юношество набирается всяких бессмысленных грубостей и где оно вместе с нравственным чувством утрачивает вкус ко всему благопристойному, а заодно и к образцовым произведениям великих писателей. Таким смельчаком захотел быть я, и если в своих произведениях я большого таланта не обнаружил, то, во всяком случае, намерение мое сказывается всюду.

Я полагал, полагаю и теперь, что без острых положений в пьесе, положений, беспрестанно рождаемых социальною рознью, нельзя достигнуть на сцене ни высокой патетики, ни глубокой нравоучительности, ни истинного и благодетельного комизма. Автор трагедий свободен в выборе средств: он настолько смел, что допускает чудовищное преступление, заговоры, захват власти, убийство, отравление и кровосмешение в *Эдипе* и *Федре,* братоубийство в *Вандоме,* отцеубийство в *Магомете,* цареубийство в *Макбете* и т. д. и т. д. Менее отважная комедия не преувеличивает столкновений, так как рисуемые ею картины списаны с наших нравов, а ее сюжеты выхвачены прямо из жизни. Но можно ли заклеймить скупость, не выведя на сцену презренного скупца? Можно ли обличить лицемерие, не сорвав маски, как это сделал в *Тартюфе* Оргон, с отвратительного лицемера, который собирается жениться на его дочери и вместе с тем заглядывается на его жену? Или волокиту, не столкнув его с целым роем прелестниц? Или отчаянного игрока, не окружив

его мошенниками, если только, впрочем, он теперь уже сам не принадлежит к этой породе людей?

Все эти действующие лица далеко не добродетельны; автор и не выдает их за таковых: он никому из них не покровительствует, он живописует их пороки. Но неужели же только оттого, что лев свиреп, волк прожорлив и ненасытен, а лиса хитра и лукава, басня теряет свою назидательность? Если автор направляет ее против глупца, упоенного славословиями, то из клюва вороны сыр попадает прямо в пасть лисицы, и нравоучительный смысл басни не вызывает сомнений; обрати он ее против низкого льстеца, он закончил бы свою притчу так: «Лисица сыр схватила и проглотила, однако ж сыр отравлен был». Басня — это быстрая комедия, а всякая комедия есть не что иное, как длинная басня: разница между ними в том, что в басне животные наделены разумом, в комедии же нашей люди часто превращаются в животных, да притом еще в злых.

Когда Мольер, которого так донимали глупцы, награждает Скупого расточительным и порочным сыном, выкрадывающим у него шкатулку и бросающим ему в лицо оскорбления, то откуда же он выводит мораль — из добродетели или из порока? А какое ему, собственно, дело до этих отвлеченных понятий? Его задача — исправить вас. Правда, тогдашние литературные сплетники и доносчики поспешили разъяснить почтеннейшей публике, как все это ужасно. Всем известно также, что на него ополчились сановные завистники, или, вернее, завистливые сановники. Обратите внимание, как строгий Буало в послании к великому Расину мстит за своего покойного друга, вспоминая такие подробности:

Невежество и спесь с презреньем во взглядах,
В кафтанах бархатных и кружевных нарядах
Садились в первый ряд — мы все видали их,—
Презрительным кивком пороча каждый стих.
Там командор ворчал, что в пьесе нету такта,
И выбегал маркиз посередине акта,
А если о ханжах шла в этой пьесе речь,
Так нужно автора взять на костер и сжечь.
И, наконец, иной маркизик очень прыткий
За шутки над двором грозил им страшной пыткой [1].

Людовик XIV оказывал искусствам широкое покровительство; не обладай он столь просвещенным вкусом, наша сцена

[1] Стихи в комедии «Женитьба Фигаро» и в предисловии к ней переведены А. М. Арго.— *Ред.*

не увидела бы ни одного из шедевров Мольера, и все же в прошении на имя короля этот драматург-мыслитель горько жалуется, что разоблаченные им лицемеры в отместку всюду обзывают его печатно развратником, нечестивцем, безбожником, демоном во образе человеческом; и это печаталось *с дозволения и одобрения* покровительствовавшего ему короля, а ведь с тех пор ничто в этом отношении не изменилось к «худшему».

Но если действующие лица той или иной пьесы суть воплощения пороков, значит ли это, что их следует прогнать со сцены? Что же тогда бичевалось бы в театре? Странности и чудачества? Поистине достойный предмет! Ведь они же у нас подобны модам: от них не избавляются, их только меняют.

Пороки, злоупотребления — вот что не меняется, а надевает на себя всевозможные личины, подлаживаясь под общий тон; сорвать с пороков личины, выставить пороки во всей их наготе — такова благородная цель человека, посвятившего себя театру. Поучает ли он, смеясь, плачет ли, поучая, Гераклит он или же Демокрит,— это его единственный долг. Горе ему, если он уклонится от его исполнения! Исправить людей можно, только показав их такими, каковы они на самом деле. Комедия полезная и правдивая — это не лживое похвальное слово, не пустопорожняя академическая речь.

Однако мы ни в коем случае не должны смешивать критику общую, составляющую одну из благороднейших целей искусства, с гнусной сатирой, направленной против личностей: первая обладает тем преимуществом, что она исправляет, не оскорбляя. Заставьте справедливого человека, возмущенного чудовищным злоупотреблением его благодеяниями, сказать со сцены: «Все люди неблагодарны»,— никто не обидится, ибо у всех на уме будет приблизительно то же. Так как неблагодарный не может существовать без благодетеля, то самый этот упрек устанавливает равновесие между сердцами добрыми и злыми: все это чувствуют и все этим утешаются. Если же юморист заметит, что «благодетель порождает сотню неблагодарных», ему с полным основанием возразят, что, «вероятно, нет такого неблагодарного, который не был бы несколько раз благодетелем», и это опять-таки утешает. Таким образом, самая едкая критика благодаря обобщениям оказывается плодотворной и в то же время никого не оскорбляет, меж тем как сатира, направленная против личностей, сатира не просто бесплодная, но и тлетворная, всегда оскорбляет и не приносит никакой пользы. Последнюю я ненавижу в любом виде и считаю преступлением настолько важным, что я не раз официально взывал к бдительности властей с целью

не дать театру превратиться в арену для гладиаторов, где более сильный считает себя вправе мстить при помощи отравленных и, к сожалению, слишком захватанных перьев, открыто торгующих своею подлостью.

Неужели сильные мира сего не могут из тысячи одного газетного щелкопера, бумагомараки, вестовщика отобрать наихудших, а из этих наихудших отделить самого гадкого, который и поносил бы тех, кто их задевает? Столь незначительное зло терпят у нас потому, что оно не влечет за собой никаких последствий, потому что недолговечный паразит вызывает мгновенный зуд, а затем гибнет, но театр — это исполин, который смертельно ранит тех, на кого направлены его удары. Мощные эти удары следует приберегать для борьбы с злоупотреблениями и язвами общества.

Итак, не пороки сами по себе и не связанные с ними происшествия порождают безнравственность на сцене, но отсутствие уроков и назидательности. Пьеса становится двусмысленной, а то и вовсе порочной, только в том случае, если автор по причине своей беспомощности или же робости не осмеливается извлечь урок из сюжета пьесы.

Когда я поставил на сцене мою *Евгению* (поневоле приходится говорить о себе, потому что на меня нападают беспрестанно), когда я поставил на сцене *Евгению,* все наши присяжные защитники нравственности рвали и метали, как это я осмелился вывести распутного вельможу, который наряжает своих слуг священниками и который делает вид, что собирается жениться на молодой особе, а молодая особа выходит на сцену беременная, хотя она и не замужем.

Несмотря на их вой, пьеса была признана если и не лучшей, то, во всяком случае, самой нравственной из драм, постоянно шла во всех театрах и была переведена на все языки. Умные люди поняли, что нравоучительный смысл и занимательность этой пьесы зиждутся исключительно на том, что человек могущественный и порочный злоупотребляет своим именем и положением для того, чтобы мучить слабую, беззащитную, обманутую, добродетельную и покинутую девушку. Следовательно, это произведение всем, что есть в нем полезного и хорошего, обязано решимости автора, который отважился нарисовать в высшей степени смелую картину социального неравенства.

Затем я написал пьесу *Два друга,* в которой отец признается своей так называемой племяннице, что она его незаконная дочь. Эта драма тоже высоконравственна, ибо автор ее на примере жертв, которые приносит безупречнейшая дружба, стре-

мится показать, какие обязанности налагает на людей природа по отношению к плодам их старинной любви, в большинстве случаев совершенно беспомощным в силу неумолимой суровости светских приличий, вернее, в силу злоупотребления ими.

В числе различных отзывов о моей пьесе я слышал, как в соседней ложе один молодой придворный, посмеиваясь, говорил дамам: «Автор этой пьесы, вернее всего, старьевщик, для которого приказчик с фермы или же торговец тканями представляются сливками общества. В недрах лавок — вот где он отыскивает благородных друзей, а затем тащит их на французскую сцену». Тут я приблизился к нему и сказал: «Увы, милостивый государь, мне пришлось взять их из такой среды, где их существование нисколько не невероятно. Вас гораздо больше насмешил бы автор, если бы он двух истинных друзей извлек из зала «Бычий глаз» или же из кареты. Некоторое правдоподобие необходимо даже в изображении добрых дел».

После этого, верный веселому своему нраву, я попытался в *Севильском цирюльнике* вернуть театру его былую неподдельную веселость, сочетав ее с легкостью нашей современной шутки, но так как это уже само по себе явилось известного рода новшеством, то пьеса подверглась яростным нападкам. Казалось, я потряс основы государства: крайность принятых мер, а также крики, раздававшиеся по моему адресу, свидетельствовали прежде всего о том, до какой степени были напуганы некоторые безнравственные люди, когда увидели, что они разоблачены в пьесе. Пьеса четыре раза проходила цензуру, трижды снималась с репертуара перед самым спектаклем и даже обсуждалась на заседании тогдашнего парламента; я же, ошеломленный этой шумихой, продолжал, однако, настаивать, чтобы сами зрители вынесли приговор *Севильскому цирюльнику,* так как писал я эту пьесу для их развлечения.

Добился я этого только через три года; хула уступила место похвале, все шептали мне на ухо: «Давайте нам еще таких пьес — ведь только вы и осмеливаетесь смеяться открыто».

Автор, затравленный шайкой крикунов, вновь приободряется, когда видит, что его пьеса имеет успех; то же самое случилось и со мной. Драгоценной для отечества памяти покойный принц де Конти (произнося его имя, мы точно слышим звуки старинного слова *отчизна*) публично бросил мне вызов: поставить на сцене мое предисловие к *Цирюльнику,* еще более веселое, по его словам, чем сама пьеса, и вывести в нем семью Фигаро, о которой я в этом предисловии упоминал. «Ваша светлость! — отвечал я.— Если я вторично выведу это действующее

лицо на сцену, я принужден буду сделать его старше и, следовательно, несколько зрелее, значит, опять поднимется шум, и, кто знает, допустят ли его еще на сцену?» Однако из уважения к принцу де Конти я принял его вызов: я написал *Безумный день,* о котором теперь столько разговоров. Принц почтил своим присутствием первое же его представление. Это был большой человек, в полном смысле слова — принц, человек возвышенного и независимого образа мыслей. И знаете что? Он остался доволен пьесой.

Но увы, какую ловушку устроил я критикам, дав моей комедии ничего не говорящее название: *Безумный день!* Я хотел лишь показать, что ничего особенного она в себе не заключает, но я и не подозревал, как может сбить с толку изменение названия. По-настоящему ее следовало бы озаглавить *Муж-соблазнитель.* Но это был бы для моих врагов свежий след, тогда они погнались бы за мною иным путем. Между тем название *Безумный день* отбросило их от меня на сто миль: они увидели в пьесе лишь то, чего там никогда не было и не будет, так что это довольно резкое замечание относительно легкости попадания впросак имеет более широкий смысл, чем можно предполагать. Если бы Мольер назвал свою пьесу не *Жорж Данден,* а *Нелепость брака,* пьеса его принесла бы несравненно больше пользы; если бы Реньяр дал своему *Наследнику* название *Возмездие за безбрачие,* его пьеса заставила бы нас содрогнуться. Ему это не пришло в голову, я же это сделал умышленно. Прелюбопытный, однако же, труд можно было бы написать о том, что такое людские суждения и что такое мораль на сцене, а назвать его хорошо было бы: *О влиянии заглавия.*

Как бы то ни было, *Безумный день* пять лет пролежал в моем письменном столе. Наконец актеры узнали об его существовании и оторвали его у меня с руками. Будущее показало, к лучшему это для них вышло или же к худшему. То ли трудность воспроизведения этой пьесы на сцене пробудила в исполнителях дух соревнования, то ли они почувствовали, что, для того чтобы понравиться публике, необходимо напряжение всех сил, но только никогда еще столь трудная пьеса не была сыграна так дружно. И если автор в этой пьесе оказался (как говорят) ниже самого себя, зато одним участникам спектакля она создала имя, а других еще больше прославила и упрочила их положение. Но возвратимся к тому, как прошло чтение пьесы и как приняли ее актеры.

Благодаря преувеличенным их похвалам все круги общества пожелали с ней ознакомиться, и с той поры я только и де-

лал, что ссорился или же уступал всеобщей настойчивости. А тем временем заклятые враги автора не преминули распространить при дворе слух, будто бы автор в своем произведении, которое к тому же представляет собой не что иное, как нагромождение нелепостей, оскорбляет религию, правительство, все сословия и добрые нравы; будто бы, наконец, добродетель в моей пьесе наказана, а порок,— как и следовало ожидать, добавляли они,— торжествует. Если важные господа, которые так усердно это повторяли, соблаговолят прочитать мое предисловие, они, по крайней мере, убедятся, что я привожу их суждения слово в слово, и таким образом мещанская добросовестность, с какой я имею обыкновение цитировать, лишь резче оттенит их аристократическую неточность.

Итак, в *Севильском цирюльнике* я еще только потрясал основы государства, в новом же своем опыте, еще более гнусном и зловредном, я его ниспровергаю. Если дозволить эту пьесу к представлению, то ничего священного уже не останется. Ложными от первого до последнего слова доносами мои недоброжелатели пытались ввести в заблуждение власть, настраивали против меня влиятельные круги, запугивали робких дам, создавали мне врагов в церковном мире, я же боролся с низкой интригой в зависимости от того, кто и где против меня ополчался, неистощимым моим терпением, неизменною учтивостью, несокрушимою кротостью или же словом убеждения в тех случаях, когда кто-нибудь изъявлял желание меня выслушать.

Эта война длилась четыре года. Прибавьте к ним те пять лет, которые пьеса пролежала в моем письменном столе. Какие же намеки на дела наших дней тщатся в ней отыскать? Увы, когда она писалась, все то, что расцвело сегодня, еще и не пускало ростков: это был совершенно иной мир.

Во время четырехлетних споров я просил только об одном: чтобы мне дали цензора. Мне их дали не то пять, не то шесть. Что же нашли они в этом произведении, вызвавшем такую бешеную злобу? Самую что ни на есть забавную интригу. Испанский гранд влюблен в одну девушку и пытается ее соблазнить, между тем соединенные усилия девушки, того человека, за которого она собирается выйти замуж, и жены сеньора расстраивают замыслы этого властелина, которому его положение, состояние и его расточительность, казалось, могли бы обеспечить полный успех. Вот и все, больше ничего там нет. Пьеса перед вами.

Что же вызывает эти дикие вопли? А вот что: вместо того, чтобы заклеймить какой-нибудь один порочный характер,— ска-

жем, игрока, честолюбца, скупца, лицемера,— что́ вооружило бы против автора всего лишь один стан врагов, автор избрал способ свободного построения комедии, или, вернее, составил такой план, который дал ему возможность подвергнуть критике ряд злоупотреблений, пагубных для общества. Но так как в глазах цензора просвещенного это не является недостатком пьесы, то все мои цензоры, одобрив ее, требовали постановки ее на сцене. В конце концов пришлось уступить, и вот сильные мира сего к вящему своему негодованию увидели на сцене.

Ту пьесу, где слуга — на что это похоже! —
Не хочет дать взаймы свою жену вельможе.

(Гюден)

О, как я сожалею, что не воспользовался нравственным этим сюжетом для какой-нибудь страшной, кровавой трагедии! Вложив кинжал в руку оскорбленного жениха, которого я бы уж не назвал Фигаро, я заставил бы его в пылу ревности заколоть по всем правилам приличия высокопоставленного распутника. А так как он отмщал бы за свою честь в плавных и громозвучных стихах и так как мой ревнивец, по меньшей мере в генеральском чине, имел бы соперником своим какого-нибудь чудовищного тирана, который безжалостно угнетает свой несчастный народ, то все это, будучи весьма далеко от наших нравов, не задело бы, думается, никого. Все кричали бы: «Браво! Вот уж это правда нравоучительная пьеса!» И мы были бы спасены, я и мой дикарь Фигаро.

Но, желая лишь позабавить французов, а не исторгать потоки слез у их жен, я сделал моего преступного любовника юным вельможей того времени, расточительным, любящим поухаживать за дамами, даже несколько распутным, как почти все тогдашние вельможи. Но какой же еще упрек можно бросить со сцены вельможе, не оскорбив их всех разом, как не упрек в чрезмерном волокитстве? Не с указанием ли на этот их недостаток они примиряются легче всего? Я отсюда вижу, как многие из них стыдливо краснеют (и это с их стороны благородно!), признавая, что я прав.

Итак, намереваясь сделать моего вельможу лицом отрицательным, я, однако, из уважения и великодушия не приписал ему ни одного из пороков, свойственных черни. Вы скажете, что я и не мог этого сделать, что это нарушило бы всякое правдоподобие? Ну так, поскольку я этого не сделал, признайте же за моей пьесой хоть это достоинство.

Недостаток, которым я наделил сеньора, сам по себе не вызвал бы никакого комического движения, если бы я для пущего веселья не противопоставил ему наиболее смышленого человека своей нации, *истинного Фигаро,* который, защищая Сюзанну как свою собственность, издевается над замыслами своего господина и презабавно выражает свое возмущение, что тот осмеливается состязаться с ним в хитрости — с ним, непревзойденным мастером в такого рода фехтовании.

Таким образом, из довольно ожесточенной борьбы между злоупотреблением властью, забвением нравственных правил, расточительностью, удобным случаем, всем, что есть самого привлекательного в обольщении, с одной стороны, и душевным пылом, остроумием, всеми средствами, какие задетый за живое подчиненный способен противопоставить этому натиску,— с другой, в моей пьесе возникает забавное сплетение случайностей, в силу которого *муж-соблазнитель,* раздосадованный, усталый, измученный, то и дело терпящий крушение своих замыслов, принужден три раза в течение дня падать к ногам своей жены, а жена по своей доброте, снисходительности и чувствительности его прощает; так, впрочем, поступают все жены. Что же в этой морали достойно порицания, господа?

Быть может, вы находите, что она слишком легкомысленна и не оправдывает торжественности моего тона? В таком случае вот вам более строгая мораль, которая в моей пьесе бросается в глаза, хотя бы вы ее и не искали: сеньор, до такой степени порочный, что ради своих прихотей готов развратить всех ему подвластных и натешиться невинностью всех своих юных вассалок, в конце концов должен, подобно графу Альмавиве, стать посмешищем своих слуг. С особою отчетливостью это выражено автором в пятом действии, когда взбешенный Альмавива, желая надругаться над неверной женой, указывает садовнику на беседку и кричит: «Ступай туда, Антонио, и приведи бесчестную женщину, покрывшую меня позором, к ее судье»,— а тот ему отвечает: «А все-таки есть, черт подери, справедливость на свете: вы-то, ваше сиятельство, сами столько в наших краях набедокурили, что теперь следовало бы и вас...»

Этот глубокий нравоучительный смысл чувствуется во всем произведении, и если бы автор считал нужным доказать своим противникам, что, несмотря на всю суровость преподанного в пьесе урока, он все же выказал к виновному больше уважения, чем можно было ожидать от беспощадной его кисти, то он обратил бы их внимание, что, во всем терпя неудачу, граф Альмавива всегда оказывается посрамленным, но не униженным.

В самом деле, если бы графиня прибегала к уловкам, чтобы усыпить его ревность и изменить ему, то, сделавшись в силу этого лицом также отрицательным, она уже не могла бы заставить своего мужа пасть к ее ногам, не унизив его в наших глазах. Будь у супруги это порочное намерение — расторгнуть священные узы, автора справедливо упрекнули бы в том, что он изображает испорченные нравы: ведь мы судим о нравах только по тому, как ведут себя женщины, мужчин мы не так глубоко уважаем, а потому и не предъявляем к ним особых требований в этой щекотливой области. Но помимо того, что графиня далека от столь гнусного замысла, в пьесе совершенно ясно показано, что никто и не собирается обмануть графа,— каждый хочет лишь помешать ему обмануть всех. Честность побуждений — вот что исключает здесь всякую возможность упреков: одно то, что графиня желает лишь вернуть себе любовь мужа, всякий раз придает его душевному смятению смысл, конечно, глубоко нравственный, но отнюдь не сообщает ему ничего унизительного.

А чтобы эта истина выступила перед вами с особою наглядностью, автор противопоставил не весьма нежному мужу добродетельнейшую из женщин, добродетельную от природы и по убеждению.

При каких обстоятельствах впервые предстает перед вами эта покинутая своим слишком горячо любимым супругом женщина? В тот критический момент, когда ее влечение к очаровательному ребенку, ее крестнику, грозит превратиться в опасную привязанность, если только она поддастся подогревающему это влечение чувству обиды. Только для того, чтобы резче оттенить, как сильно в ней сознание долга, автор заставляет ее одну секунду колебаться между сознанием долга и зарождающимся влечением. О, как набросились на нас за этот легкий драматический штрих, скольким это дало повод для обвинения нас в безнравственности! В трагедиях все королевы и принцессы пылают страстью и с бóльшим или меньшим успехом с нею справляются,— это считается дозволенным, а вот в комедиях обыкновенной смертной нельзя, видите ли, бороться с малейшей слабостью! О могучее *влияние названия!* О обоснованность и последовательность мнений! В зависимости от жанра сегодня осуждается то, что еще вчера одобрялось. А между тем основа обоих жанров одна и та же: добродетели без жертвы не бывает.

Я осмеливаюсь обратиться к вам, юные несчастливицы, которых злая доля соединила с Альмавивами! Не заставляют ли вас ваши горести порою забывать о вашей добродетели — до тех пор, пока неодолимое влечение, именно потому, что оно слиш-

ком явно стремится их рассеять, не вынудит вас стать на ее защиту? В моей героине трогает не скорбь от сознания, что муж разлюбил ее. Этому горю, в существе своем эгоистическому, еще далеко до добродетели. Что действительно пленяет нас в графине, так это ее честная борьба и с зарождающимся в ее душе влечением, которое она осуждает, и с законным чувством обиды. Все те усилия, которые она потом делает над собой только ради того, чтобы неверный ее супруг к ней вернулся, и которые придают особую ценность принесенным ею мучительным жертвам, а жертвует она своею привязанностью и своим гневом,— все это нет надобности принимать в соображение для того, чтобы рукоплескать ее победе: она и без того образец добродетели, пример для всех остальных женщин и предмет, достойный любви мужчин.

Если все эти понятия о нравственной природе драматического искусства, если этот всеми признанный принцип нравственности на сцене не пришли на ум моим судьям во время представления, то мне незачем развивать мою мысль дальше и делать выводы: беззаконный суд не слушает оправданий подсудимого, которого ему приказано погубить, дело же моей графини не передано в верховный суд,— оно разбирается в особо учрежденной следственной комиссии.

Мы уже видели беглый очерк прелестного ее характера в очаровательной пьесе *К счастью*. Зарождающееся чувство молодой женщины к юному кузену-офицеру никому не показалось предосудительным, несмотря на то что оборот, какой приняли в пьесе события, заставлял предполагать, что вечер окончился бы иначе, если бы, как выражается автор, *к счастью,* не вернулся муж. Равным образом, *к счастью,* никому не пришло в голову клеветать на автора: все с живым и теплым участием следили за тем, как молодая женщина, целомудренная и чувствительная, подавляет в себе первый порыв страсти. Заметьте также, что муж в этой пьесе глуповат, но и только, у меня же выведен неверный супруг,— следовательно, заслуга моей графини больше.

Особое сочувствие поэтому в защищаемом мною произведении вызывает графиня, однако и все остальное изображено в том же духе.

Почему Сюзанна, остроумная, сметливая и веселая камеристка, также имеет право на наше сочувствие? Потому что, преследуемая могущественным соблазнителем, обладающим неограниченными возможностями для одержания победы над девушкой ее сословия, она, не колеблясь, сообщает о намерениях графа двум лицам, наиболее заинтересованным в неослабном над-

зоре над ее поведением: своей госпоже и своему жениху. Потому что во всей ее роли, едва ли не самой длинной в пьесе, нет ни одной фразы, ни одного слова, которое не дышало бы целомудрием и верностью своему долгу. Один-единственный раз она позволяет себе пуститься на хитрость, но это она делает ради своей госпожи, а она знает, что графиня ценит ее преданность и не сомневается в честности ее намерений.

Почему вольности, которые допускает Фигаро по отношению к своему господину, не возмущают, а забавляют меня? Потому что, в отличие от слуг, выводимых обыкновенно в комедиях, он, как всем известно, не является отрицательным типом: едва лишь становится ясно, что он хитрит со своим господином единственно для того, чтобы оградить любимую девушку и спасти свою собственность, то, видя, как он, вынуждаемый своим положением прибегать к уловкам, отводит от себя опасность бесчестья, ему прощаешь все.

Одним словом, за исключением графа и его приспешников, все в моей пьесе поступают примерно так, как им и надлежит поступать. Если же вы не считаете их за порядочных людей только на том основании, что они дурно отзываются друг о друге, то это глубоко неверно. Взгляните на порядочных людей нашего времени: они всю жизнь только этим и занимаются! У нас до того принято бранить на все корки отсутствующих, что я, постоянно их защищающий, очень часто слышу за спиной шепот: «Черт знает что такое! В нем сидит дух противоречия: он обо всех хорошо отзывается!»

Наконец, может быть, мой паж приводит вас в негодование? Уж не в этом ли второстепенном лице сосредоточена та безнравственность, которую пытаются усмотреть в самой основе моего произведения? О тонкие критики, неистощимые остряки, инквизиторы во имя нравственности, единым духом зачеркивающие то, что обдумывалось в течение пяти лет! Будьте хоть раз справедливы в противовес всем остальным! Тринадцатилетний ребенок, при первом же сердечном трепете готовый увлечься всем без разбора, боготворящий, что́ так свойственно его счастливому возрасту, создание, которое представляется ему созданием небесным и которое волею судеб оказалось его крестной матерью,— может ли он вызывать негодование? Всеобщий любимец в замке, живой, шаловливый, пылкий, как и все умные дети, он в силу крайней своей непоседливости несколько раз нечаянно расстраивает преступные замыслы графа. На что бы ни обратило свой взор это юное дитя природы, все не может не волновать его; быть может, он уже не ребенок, но он еще и не

мужчина,— я умышленно избрал этот период в его жизни, чтобы он, привлекая к себе внимание, в то же время никого не заставлял краснеть. Те невинные чувства, которые он испытывает, он столь же невинно внушает всем. Вы скажете, что его любят по-настоящему? Критики! Вы ошибаетесь. Вы люди просвещенные, и вы не можете не знать, что даже самая чистая любовь преследует какую-нибудь цель. Нет, его пока еще не любят: чувствуется лишь, что в один прекрасный день его полюбят. Именно эту мысль и выражает в шутливой форме автор устами Сюзанны, которая обращается к этому ребенку с такими словами: «О, я ручаюсь, что годика через три, через четыре из вас выйдет величайший плутишка на свете!..»

Чтобы яснее показать, что он еще совсем ребенок, мы заставляем Фигаро говорить ему «ты». Представьте себе, что он года на два старше,— какой слуга в замке позволил бы себе такую вольность? Посмотрите, каков он в конце пьесы: не успел надеть офицерский мундир, как уже хватается за шпагу при первой насмешке графа, когда происходит недоразумение с пощечиной. Со временем наш ветреник станет заносчив, но пока что это всего-навсего ребенок. Разве я не видел, как наши дамы в ложах влюблялись без памяти в моего Керубино? Что им было от него нужно? Право же, ничего; это было тоже влечение, но, как и у графини, чистое и наивное влечение,— влечение... без увлечения.

Но что же является причиной душевных мук сеньора всякий раз, когда автор сталкивает его с пажом: один вид Керубино или же собственная совесть графа? Не пренебрегайте этим беглым замечанием: оно может наставить вас на верный путь, оно может навести вас на мысль, что этот ребенок нужен был автору лишь для того, чтобы зрители могли вынести из моей пьесы еще один полезный урок, а именно: как только человек, являющийся полным хозяином у себя дома, ставит перед собой предосудительную цель, его может довести до исступления существо совершенно незначительное, больше всего на свете боящееся попасться ему на глаза.

Я совершу преступление лишь в том случае, если выведу на сцену пажа с его живым и пылким нравом, когда ему исполнится восемнадцать лет. Но какие же чувства он может вызвать теперь, когда ему всего лишь тринадцать? Он может вызвать лишь нечто сладостное и нежное, не дружбу и не любовь, а нечто среднее между тем и другим.

Мне было бы трудно заставить поверить в невинность этих ощущений, если бы мы жили в менее целомудренный век, если бы

мы жили в один из тех веков холодного расчета, когда вельможи, стремясь к тому, чтобы все созревало насколько возможно раньше, точь-в-точь как плоды в их теплицах, женили своих детей, едва им исполнялось двенадцать лет, и тем самым приносили в жертву подлейшим обычаям природу, нравственность и склонность: им важно было, чтобы от этих не успевших развиться существ как можно скорее произошли дети, хотя бы они были еще менее способны к развитию, но ведь об их счастье никто и не помышлял,— с ними были связаны лишь некоторые коммерческие расчеты, имевшие отношение не к ним самим, а только к их именам. К счастью, мы от этого ушли далеко, а потому и образ моего пажа, не имеющий самостоятельного значения, до известной степени приобретает его только в связи с графом: это замечает моралист, но это еще не бросилось в глаза подавляющему большинству наших судей.

Таким образом, каждая большая роль в моем произведении преследует нравственную цель. Только роль Марселины, на первый взгляд, представляет исключение.

По мнению некоторых, коль скоро она повинна в одном давнем увлечении, плодом коего явился Фигаро, то ей надлежало бы испытывать чувство стыда в тот момент, когда она узнаёт своего сына; по крайней мере, это послужило бы ей наказанием за совершенный некогда грех. Из всего этого автор мог бы извлечь более глубокую мораль: при тех нравах, которые он стремится исправить, в грехопадении девушки виноват бывает мужчина, а не она сама. Почему же автор не вывел этой морали?

Он вывел ее, разумные критики! Поразмыслите над следующей сценой, составлявшей пружину третьего акта и опущенной мною по просьбе исполнителей, которые опасались, что эта тяжелая сцена омрачит веселое действие.

Мольер в *Мизантропе,* достаточно унизив кокетку, или, вернее, просто мерзавку, публичным чтением ее писем ко всем ее любовникам, умышленно не дает ей оправиться от ударов, которые он ей нанес, и он прав: мог ли он поступить иначе? Вдову, безнравственную по натуре и по поведению, видавшую всякие виды, придворную даму, проступок которой не имеет никакого оправдания и которая становится бичом одного весьма порядочного человека, Мольер выставляет нам на осмеяние; такова его мораль. Я же, воспользовавшись простодушным признанием, вырывающимся из уст Марселины в тот момент, когда она узнает сына, постарался показать и эту униженную женщину, и Бартоло, отвергающего ее, и Фигаро, их сына, в таком

свете, чтобы внимание общества обратилось на истинных виновников разврата, в который безжалостно вовлекают миловидных девушек из народа.

Вот как развивается эта сцена:

Бридуазон *(имея в виду Фигаро, который только что узнал, что Марселина его мать)*. Теперь, ко-онечно, он на ней не женится.

Бартоло. Я тоже.

Марселина. Вы тоже! А ваш сын? Вы же мне клялись...

Бартоло. Я был глуп. Если бы подобные воспоминания к чему-нибудь обязывали, то пришлось бы переженпться решительно на всех.

Бридуазон. А если так ра-ассуждать, то ни-икто бы ни на ком не женился.

Бартоло. Обычные грешки! Беспутная молодость!

Марселина *(все более и более горячась)*. Да, беспутная, даже более беспутная, чем можно думать! Я от своих грехов не отрекаюсь — нынешний день их слишком явно разоблачил! Но до чего же тяжело искупать их после того, как тридцать лет проживешь скромно! Я добродетельною родилась, и я стала добродетельною, как скоро мне было позволено жить своим умом. Но в пору заблуждений, неопытности и нужды, когда от соблазнителей нет отбою, а нищета выматывает душу, может ли неопытная девушка справиться с подобным полчищем недругов? Кто нас сейчас так строго судит, тот, быть может, сам погубил десять несчастных.

Фигаро. Наиболее виновные — наименее великодушны, это общее правило.

Марселина *(живо)*. Вы, мужчины, более чем неблагодарны, вы убиваете своим пренебрежением игрушки ваших страстей, ваши жертвы, это вас надо карать за ошибки нашей юности, вас и поставленных вами судей, которые так гордятся тем, что имеют право судить нас, и в силу преступного своего недомыслия лишают нас всех честных средств к существованию! Неужели нельзя было оставить хоть какое-нибудь занятие для злосчастных девушек? Им принадлежало естественное право на изготовление всевозможных женских нарядов, но и для этого набрали бог знает сколько рабочих мужского пола.

Фигаро. Они и солдат заставляют вышивать!

Марселина *(в сильном волнении)*. Даже к женщинам из высшего общества вы выказываете уважение с оттенком

насмешливости. Мы окружены обманчивым почетом, меж тем как на самом деле мы — ваши рабыни, наши добрые дела ставятся ни во что, наши проступки караются незаслуженно строго. Ах, да что говорить! Вы обходитесь с нами до ужаса бесчеловечно.

Фигаро. Она права.

Граф *(в сторону)*. Более чем права.

Бридуазон. Она, е-ей-богу, права.

Марселина. Но что нам, сын мой, отказ бессовестного человека! Не смотри, откуда ты идешь, а смотри, куда ты идешь,— каждому только это и должно быть важно. Спустя несколько месяцев твоя невеста будет зависеть исключительно от себя самой; она за тебя пойдет, я ручаюсь, у тебя будут нежная супруга и нежная мать, они станут за тобою ухаживать наперебой. Будь снисходителен к ним, сын мой, будь удачлив во всем, что касается лично тебя, будь весел, независим и добр ко всем, и тогда твоей матери больше нечего будет желать.

Фигаро. Золотые слова, матушка, я с тобой совершенно согласен. В самом деле, как это глупо! Существование мира измеряется уже тысячелетиями, и чтобы я стал отравлять себе какие-нибудь жалкие тридцать лет, которые мне случайно удалось выловить в океане времени и которых назад не вернуть, чтобы я стал отравлять их себе попытками дознаться, кому я ими обязан! Нет уж, пусть такого рода вопросы волнуют кого-нибудь другого. Убивать жизнь на подобную чепуху — это все равно что просунуть голову в хомут и превратиться в одну из тех несчастных лошадей, которые тянут лямку по реке против течения и не отдыхают, даже когда останавливаются, тянут ее все время, даже стоя на месте. Нет, мы подождем.

Мне было очень жаль этого отрывка, и я склонен думать, что, если бы теперь, когда пьеса уже известна, у актеров хватило смелости исполнить мою просьбу и восстановить его, публика была бы им весьма признательна. Мне же не пришлось бы тогда, как это имело место на чтении пьесы, отвечать некоторым великосветским критикам, упрекавшим меня в том, что я пытаюсь возбудить в них участие к безнравственной женщине:

«Нет, господа, я не оправдываю ее безнравственности, я лишь хочу заставить вас краснеть за вашу нравственность, представляющую собой прямую угрозу устоям общества, краснеть за то, что *вы совращаете молодых девушек*. И я был прав, утверждая, что вы напрасно находите мою пьесу такой уж ве-

селой, потому что местами она очень мрачна. Все зависит от взгляда на вещи».— «Но ваш Фигаро — это какое-то огненное колесо, которое рассыпает искры и всем прожигает рукава».— «Всем — это преувеличение. Пусть мне, по крайней мере, скажут спасибо, что он не обжигает пальцы тем, которым покажется, что они узнают себя в нем,— в наше время такие случаи нередки в театре. Неужели мне подобает писать так, словно я только-только со школьной скамьи? Вечно смешить детей и никогда ничего не говорить взрослым? И не лучше ли было бы вам простить мне малую толику назидательности за мою веселость, как прощают французам некоторые сумасбродства за их остроумие?»

Если я подверг наши дурачества умеренной дозе шутливой критики, то это не значит, что я не способен на критику более строгую. Кто высказал в своем произведении все, что только ему известно, тот, разумеется, вложил в него больше, чем я в свое, но я приберегаю множество осаждающих меня мыслей для задуманного мною нового драматического произведения, самого нравственного, какое только можно себе представить,— для *Преступной матери.* И если только я сумею преодолеть в себе отвращение к сочинительству,— отвращение, которым меня переполнили до краев,— и когда-нибудь окончу свой труд, то, дабы исторгнуть слезы у всех чувствительных женщин, я заговорю в нем возвышенным слогом, как того требуют высокие мои замыслы, постараюсь пропитать его духом самой строгой нравственности и буду метать громы и молнии против пороков, к которым я до сего времени слишком был снисходителен. Готовьтесь же, милостивые государи, снова мучить меня! В душе у меня теснятся образы, и я исписал уже много бумаги,— вам будет на что излить свой гнев.

А вы, честные, но равнодушные зрительницы, всем довольные, но ничего не принимающие близко к сердцу, вы, юные особы, скромные и застенчивые, которым нравится мой *Безумный день* (кстати сказать, я взялся защищать его только для того, чтобы оправдать ваш вкус), когда вы встретите кого-нибудь из светских остряков и он в туманных выражениях станет при вас критиковать пьесу, бездоказательно все в ней порицать, главным же образом упрекать ее в безнравственности, то присмотритесь повнимательнее к этому господину, наведите справки об его звании, положении, нраве, и вы сейчас догадаетесь, какое именно место в пьесе задело его за живое.

Я говорю, разумеется, не о тех литературных лизоблюдах, которые продают свою стряпню по стольку-то лиаров за абзац.

Эти — все равно что Базиль: они могут клеветать как угодно; *пусть себе сплетничают, все равно им никто не поверит.*

И совсем уже я не имею в виду тех бесчестных пасквилянтов, которые не нашли иного способа утолить свою ярость (убийство ведь слишком опасно!), как во время представления разбрасывать по зрительным залам гнусные стишонки об авторе пьесы. Им известно, что я их знаю; если б я хотел назвать их имена, я бы это сделал в прокуратуре; они мучительно боялись, что я их назову, и это доставило мне удовлетворение. И, однако, невозможно себе представить, какие подозрения осмеливались они сеять в публике своими гадкими эпиграммами! Они напоминают мерзких шарлатанов с Нового моста, которые, чтобы прохожие больше верили их снадобьям, увешивают знаками отличия и орденскими лентами картинку, что служит им вывеской.

Нет, я имею в виду тех важных особ, которые, неизвестно почему оскорбясь рассеянными в моей пьесе критическими замечаниями, считают своим долгом отзываться о ней дурно, а сами, однако ж, продолжают исправно посещать *Женитьбу Фигаро.*

Право, получаешь живейшее удовольствие, наблюдая за ними из партера во время спектакля; они находятся в презабавном замешательстве и не осмеливаются выказать ни радости, ни гнева; вот они подходят к барьеру лож и, кажется, сейчас начнут издеваться над автором, но тут же отступают, дабы утаить от постороннего взора легкое раздражение; какая-то сцена невольно их захватила, но одно движение кисти моралиста — и они уже нахмурились; при малейшем порыве веселья они разыгрывают горестное изумление, неумело прикидываются скромниками и смотрят женщинам в глаза, как бы упрекая их в том, что они потворствуют такому безобразию; затем, когда гремят рукоплескания, они бросают на публику убийственный, уничтожающий взгляд, и с языка у них всегда готово сорваться то же, что кричал придворный, о котором рассказывает Мольер; возмущенный успехом его пьесы *Урок женам,* он вопил с балкона: «Смейся, публика, смейся!» В самом деле, это истинное удовольствие, и я испытал его неоднократно.

Оно напомнило мне другое. На первом представлении *Безумного дня* в фойе горячились даже честные плебеи по поводу того, что сами же они остроумно называли моей смелостью. Одному старичку, сухонькому и сердитому, надоели все эти крики; он стукнул палкой об пол и, уходя, сказал: «Наши французы —

что малые дети: вечно орут, когда их подтирают». Старичок был неглуп! Пожалуй, можно было изящнее выразиться, но чтобы можно было правильнее осмыслить происходящее — в этом я сомневаюсь.

Ясно, что, когда существует предвзятое намерение все разбранить, любая самая здравая мысль может быть истолкована в дурную сторону. Я сам двадцать раз слыхал, как в ложах поднимался ропот после следующей реплики Фигаро:

Граф. У тебя прескверная репутация!

Фигаро. А если я лучше своей репутации? Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?

Я утверждаю, что таких вельмож нет, что их и не могло быть, за весьма редким исключением. Человек безвестный или же мало известный может быть лучше своей репутации, которая представляет собою всего лишь чужое мнение. Но подобно тому как глупец, занимающий видное положение, кажется еще глупее, оттого что он ничего уже не в силах скрыть, так же точно облеченный властью вельможа, которого удача и происхождение вознесли высоко и который, вступая в свет, обладает всеми преимуществами,— этот вельможа неизбежно становится хуже своей репутации, если ему удастся ее испортить. Почему же такое простое и ничуть не насмешливое замечание возбудило ропот? Пусть оно неприятно тем важным особам, которые не очень-то заботятся о своем добром имени, но каким же образом оно может уколоть тех из них, кто заслуживает нашего уважения? Да и не придумаешь более справедливого изречения, которое, будучи произнесено со сцены, наложило бы еще более крепкую узду на сильных мира сего и послужило бы еще лучшим уроком для тех, которые нигде больше таких уроков не получают.

«Ни в коем случае не следует забывать,— сказал один строгий писатель, слова которого мне тем приятнее привести, что я держусь такого же мнения,— ни в коем случае не следует забывать, что мы обязаны отдавать должное высшим сословиям; напротив, преимущество, которое дается происхождением, должно быть оспариваемо меньше, чем какое-либо другое, и это совершенно правильно, во-первых, потому, что это наследственное даровое благо, соответствующее деяниям, заслугам и достоинствам предков, никак не может задеть самолюбие тех, кому в нем отказано, а во-вторых, потому, что при монархии нельзя упразднить промежуточные сословия, иначе между монархом и подданными вырастет слишком большое расстояние: вскоре остались бы только деспот и рабы; между тем в сохра-

нении постепенного перехода от пахаря к властелину заинтересованы решительно все сословия, и, быть может, это именно и составляет самую надежную опору монархического строя».

Но кто же этот автор, который так рассуждал? Кто высказывал подобный взгляд на дворянство,— взгляд, от которого я, как принято думать, столь далек? Это был *Пьер-Огюстен Карон де Бомарше,* в 1778 году отстаивавший в письменной форме свои права перед парламентом города Экса в большом и важном деле, по которому вскоре было вынесено решение, не затрагивавшее ни чести дворянина, ни его собственной чести. В том произведении, которое я защищаю сейчас, есть нападки не на общественное положение как таковое, а на злоупотребления любым положением; только люди, повинные в такого рода злоупотреблениях, заинтересованы в том, чтобы очернить мою пьесу. Вот вам и объяснение недоброжелательных толков. Но с каких это пор злоупотребления стали такими священными, что стоит напасть на одно из них, как сейчас же находится десятка два защитников?

Неужели знаменитый адвокат или уважаемый судья примут на свой счет защитительную речь какого-то Бартоло или приговор какого-то Бридуазона? Замечание Фигаро о недопустимом злоупотреблении защитительными речами, имеющем место в наше время («вы позорите благороднейшее звание защитника»), ясно показывает, какое значение я придаю этому почтенному занятию, а мое уважение к судейскому званию будет вне подозрений, едва лишь станет известно, какая школа во мне это уважение воспитала, и едва вы прочтете отрывок, взятый мною также у одного моралиста, который, имея в виду судей, говорит буквально следующее:

«Какой обеспеченный человек согласился бы за самое скромное вознаграждение вести столь суровый образ жизни: вставать в четыре часа, ежедневно ходить в суд и по установленной форме заниматься чужими делами, постоянно терпеть докучную назойливость, скуку прошений, болтливость тяжущихся, однообразие заседаний и томительность совещаний, напрягать все свои умственные силы при вынесении приговоров,— кто бы на все это пошел, не будучи убежден, что наградой за эту тяжелую и многотрудную жизнь являются почет и уважение общества? Иначе говоря — общественное мнение, тем более лестное для хороших судей, чем оно беспощаднее к дурным».

Но какому писателю обязан я подобными наставлениями? Вы, наверное, решили, что это все тот же Пьер-Огюстен? Вы

угадали, это он в 1773 году в четвертом своем мемуаре боролся до последней капли крови за свое жалкое существование, отражая нападки одного так называемого судьи. Следовательно, я во всеуслышание изъявляю свое уважение тому, что должен почитать каждый, и осуждаю то, что может причинить вред.

«Но в *Безумном дне* вы, вместо того чтобы бить по злоупотреблениям, позволяете себе вольности, совершенно недопустимые на сцене. Особенно это относится к монологу о людях обездоленных: тут уж вы временами переходите всякие границы».— «Да позвольте, господа! Неужели вы думаете, что у меня есть талисман, благодаря которому я сумел обмануть, обольстить и покорить цензуру и власть, когда я представил им на рассмотрение мой труд, и благодаря которому мне не пришлось защищать перед ними то, что я осмелился написать? Что вкладываю я в уста Фигаро, когда он рассуждает как человек потерпевший? Что «глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено». Неужели подобного рода истина может иметь опасные последствия? Если бы мы прекратили бессмысленные преследования, из-за которых всякий пустяк вырастает в нечто значительное, и позаимствовали у англичан мудрости, позволяющей им относиться ко всяким глупостям с убийственным презрением, эти глупости не выходили бы за пределы той навозной кучи, где они появились на свет, и не распространялись бы, а гнили на корню. Пасквили размножает малодушный страх перед ними, на торговлю глупостями подбивают те, кто имеет глупость их запрещать.

А к какому выводу приходит Фигаро? «Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна», и еще: «Только мелкие людишки боятся мелких статеек». Что это, предосудительные дерзости или тернии славы? Семена смуты или строго обдуманные изречения, столь же верные, сколь и ободряющие?

Предположите, что они — плод жизненного опыта. Если автор, удовлетворенный настоящим, критикует прошлое в интересах будущего, то какое мы имеем право на это сетовать? И если он, не называя ни времени, ни места, ни лиц, указывает со сцены путь к желательным преобразованиям, то не значит ли это, что такова прямая его задача?

Безумный день и является наглядным доказательством того, что в благополучные времена, в царствование справедливого короля и при умеренных министрах, писатель может наносить сокрушительные удары угнетателям, не боясь, что этим он кого-нибудь оскорбит. Истории дурных королей пишутся бес-

препятственно именно в царствование доброго государя; чем более мудрым и просвещенным является правительство, тем менее стеснена при нем свобода слова; где каждый честно исполняет свой долг, там некому бояться намеков; коль скоро всем лицам, облеченным властью, вменяется в обязанность уважать словесность, страха же перед ней они не испытывают, то никому у нас не приходит в голову ее угнетать, тем более что она составляет предмет нашей гордости за рубежом и что, по крайней мере, в этой области мы наконец достигли первенства, меж тем как в других областях мы этим похвалиться не можем.

Да и какие у нас для этого основания? Всякому народу дорога своя религия, всякий народ любит свое правительство. Мы оказались лишь смелее тех, кто потом, в свою очередь, побил нас. В наших нравах, более мягких, но отнюдь не безупречных, нет ничего такого, что возвышало бы нас над другими. Только наша словесность, снискавшая себе славу во всех государствах, расширяет владения французского языка и завоевывает нам явное расположение всей Европы — расположение, которое делает честь нашему правительству и оправдывает то внимание, с каким оно относится к отечественной словесности.

А так как всякий прежде всего добивается такого преимущества, в котором ему отказано природой, то в академиях наши придворные заседают теперь вместе с литераторами: личные дарования и наследственный почет оспаривают друг у друга это благородное поприще, академические же архивы наполняются почти в равной мере рукописями и дворянскими грамотами.

Возвратимся к *Безумному дню*.

Один человек, человек большого ума, но только чересчур экономно этот свой ум расходующий, сказал мне как-то раз на спектакле: «Объясните мне, пожалуйста, почему в вашей пьесе встречается столько небрежных фраз, и притом совсем не в вашем стиле?» — «Не в моем стиле? Если бы, на мое несчастье, у меня и был свой стиль, я постарался бы про него забыть, когда сочинял комедию: нет ничего противнее в театре комедий пресных и одноцветных, где все сплошь голубое или сплошь розовое, где всюду проглядывает автор, каков бы он ни был».

Как только сюжет у меня сложился, я вызываю действующих лиц и ставлю их в определенные положения: «Шевели мозгами, Фигаро! Сейчас твой господин догадается, что́ ты затеваешь».— «Спасайтесь, Керубино! Вы задеваете графа!» — «Ах, графиня! Как вы неосторожны! Ведь у вас такой вспыльчивый муж!» Что они будут говорить, это мне неизвестно; что они будут делать, вот что занимает меня. Затем, когда они как следу-

ст разойдутся, я начинаю писать под их быструю диктовку, и тут уж я могу быть уверен, что они не введут меня в заблуждение, что я сейчас узнаю их всех, так как Базиль не отличается остроумием, свойственным Фигаро, Фигаро чужд благородный тон графа, графу не свойственна чувствительность, характерная для графини, графине чужд веселый нрав Сюзанны, Сюзанна не способна на такие шалости, на какие способен паж, а главное, ни у кого из них нет той важности, какая присуща Бридуазону. Каждый в моей пьесе говорит своим языком, и да сохранит их бог естественности от языка чужого! Так будем же следить за их мыслями и не будем рассуждать о том, должны они говорить языком автора или не должны.

Иные недоброжелатели пытались придать дурной смысл следующей фразе Фигаро: «Да разве мы солдаты, которые убивают других и позволяют убивать самих себя ради неведомой цели? Я должен знать, из-за чего мне гневаться». Туманную, нечетко выраженную мысль они нарочно постарались понять так, будто бы я в самых черных красках изображаю тяжелую жизнь солдата, а есть, мол, такие вещи, о которых никогда не следует говорить. Вот к каким веским доводам прибегает злоба; остается только доказать ее глупость.

Если бы я сравнивал тяготы военной службы с незначительностью вознаграждения за нее или же разбирал какие-либо другие лишения, которые приходится терпеть военным, а воинскую славу всячески принижал и тем самым порочил это благороднейшее из всех ужасных занятий, то меня вправе были бы притянуть к ответу за неосторожно вырвавшееся слово. Но какой дурак из среды военных, от солдата до полковника (к генералам это не относится), стал бы требовать, чтобы правительство открыло ему свои тайны, ради которых он сражается? А ведь об этом только и говорит Фигаро. Если такой сумасброд существует, пусть он объявится,— мы пошлем его обучаться к философу Бабуку, а он весьма ловко растолковывает этот параграф устава военной службы.

Рассуждая о том, как в трудных случаях пользуется человек свободой действий, Фигаро мог бы с таким же успехом противопоставить своему положению любой род занятий, требующий беспрекословного повиновения: он мог бы противопоставить себе и усердного инока, долг которого — всему верить и никогда ни о чем не рассуждать, и доблестного воина, вся заслуга которого состоит лишь в том, чтобы, подчиняясь необоснованным приказаниям, смело идти вперед, «убивать других и позволять убивать самого себя ради неведомой цели». Следовательно,

слова Фигаро значат только то, что человек, свободный в своих поступках, должен действовать, исходя не из тех принципов, какими руководствуются люди, чей долг — слепое повиновение.

Боже мой! Что бы поднялось, если б я воспользовался изречением, приписываемым великому Конде и, насколько мне известно, превозносимым до небес теми же самыми умниками, которые мелют вздор по поводу моей фразы! А ведь послушать их, так великий Конде обнаружил верх благородства и мужества, остановив Людовика XIV, собиравшегося пуститься вплавь на коне через Рейн, и сказав своему государю: «Ваше величество! Неужели вы добиваетесь маршальского жезла?»

К счастью, никем не доказано, что этот великий человек сказал эту великую глупость. Это все равно как если бы он сказал королю в присутствии всего войска: «Что с вами, ваше величество? Чего ради вам бросаться в реку? Подвергать себя такой опасности можно только ради повышения по службе или ради состояния».

Выходит так, что мужественнейший человек, величайший полководец нашего времени не ставил ни во что честь, любовь к отечеству и славу! Презренный материальный расчет — вот будто бы, по его мнению, единственная пружина отваги! Если бы он в самом деле произнес эти слова, как бы это было ужасно! И если б я воспользовался их смыслом и вложил его в какую-нибудь свою фразу, я бы по праву заслужил тот самый упрек, который мне теперь бросают совершенно напрасно.

Предоставим же тем, у кого ветер в голове, хвалить и бранить наугад, не задумываясь, восхищаться глупостью, которая никогда и не могла быть сказана, и восставать против справедливого и простого слова, в котором нет ничего, кроме здравого смысла.

Другое довольно важное обвинение, которое мне так и не удалось от себя отвести, состоит в том, что в качестве убежища для графини я выбрал монастырь урсулинок. «Урсулинки!» — всплеснув руками, воскликнул некий сановник. «Урсулинки!» — воскликнула дама, падая от изумления в объятия молодого англичанина, находившегося в ее ложе. «Урсулинки! Ах, милорд, если б вы понимали по-французски!» — «Я чувствую, я очень хорошо это чувствую»,— краснея, заметил молодой человек. «Никогда еще этого не было, чтобы на сцене отправляли женщину к урсулинкам! Господин аббат! Скажите же нам! *(По-прежнему прижимаясь к англичанину.)* Господин аббат! Какого вы мнения об этих урсулинках?» — «Крайне непристойно»,— отвечал аббат, продолжая лорнировать Сюзанну. И весь высший

свет подхватил: «Урсулинки — это непристойно». Бедный автор! Говорят, по видимости, о тебе, на самом же деле каждый думает о своем. Тщетно пытался я доказывать, что по ходу действия чем меньше графиня желает удалиться в монастырь, тем больше она должна для виду на этом настаивать, чтобы убедить мужа, что место ее уединения уже выбрано,— высший свет все же изгнал моих урсулинок!

Когда страсти особенно разгорелись, я, чудак, не нашел ничего лучшего, как умолять одну из актрис, украсивших своим исполнением мою пьесу, чтобы она спросила у недовольных, в какой другой женский монастырь почитают они *пристойным* удалиться графине. Мне лично это было все равно, я поместил бы ее, куда им заблагорассудится: к августинкам, целестинкам, клереткам, визитандинкам, даже к малым кордельеркам,— я вовсе не питал особого пристрастия к урсулинкам. Однако высший свет был неумолим!

Ропот час от часу становился сильнее, и, чтобы уладить дело миром, я оставил слово *урсулинки* там, где оно у меня стояло; после этого все, довольные собой и тем благоразумием, какое они проявили, успокоились насчет урсулинок и заговорили о другом.

Как видите, я совсем не враг моих врагов. Наговорив много дурного обо мне, они ничего дурного не сделали моей пьесе; и если б только им доставляло такую же точно радость хулить мою пьесу, как мне приятно было ее сочинять, то обе стороны были бы удовлетворены. Вся беда в том, что они не смеются, а не смеются они в то время, когда смотрят мою пьесу, потому, что никто не смеется в то время, когда идут их пьесы. Я знаю таких театральных завсегдатаев, которые даже сильно похудели после успеха *Женитьбы Фигаро;* простим же им — они и так уже наказаны за свою злобу.

Назидательность произведения в целом и отдельных его мест в сочетании с духом несокрушимого веселья, разлитым в пьесе, довольно живой диалог, за непринужденностью которого не виден положенный на него труд, да если к этому прибавить еще хитросплетенную интригу, искусство которой искусно скрыто, которая без конца запутывается и распутывается, сопровождаясь множеством комических положений, занятных и разнообразных картин, держащих внимание зрителя в напряжении, но и не утомляющих его в течение всего спектакля, длящегося три с половиной часа (на такой опыт не отважился еще ни один писатель),— что же тут оставалось делать бедным злопыхателям, которых все это выводило из себя? Нападать на авто-

ра, преследовать его бранью устной, письменной и печатной, что́ неуклонно и осуществлялось на деле. Они не брезговали никакими средствами вплоть до клеветы, они старались погубить меня во мнении тех, от кого зависит во Франции спокойствие гражданина. К счастью, мое произведение находится перед глазами народа, который десять месяцев подряд смотрит его, судит и оценивает. Разрешить играть мою пьесу до тех пор, пока она будет доставлять удовольствие,— вот единственная месть, которую я себе позволил. Я пишу это вовсе не для современных читателей; повесть о слишком хорошо нам известном зле трогает мало, но лет через восемьдесят она принесет пользу. Будущие писатели сравнят свою участь с нашей, а наши дети узнают, какою ценой добивались возможности развлекать отцов.

Но к делу, ведь не это задевает за живое. Истинная причина, причина скрываемая, причина, порождающая в тайниках души всякие другие упреки, заключена в следующем четверостишии:

Чем Фигаро себя так проклинать заставил?
За что глупцы бранят его так горячо?
Иметь, и брать, и требовать еще —
Вот формула из трех заветных правил!

Говоря о ремесле царедворца, Фигаро действительно прибегает к резким выражениям. Это я не отрицаю. Но стоит ли к этому возвращаться? Если это дурно, то исправление только ухудшит дело: пришлось бы подробно разбирать то, чего я коснулся лишь мимоходом, и вновь доказывать, что по-французски слова *дворянин, придворный* и *царедворец* — отнюдь не синонимы.

Пришлось бы повторять, что слово *дворянин* указывает лишь на принадлежность к дворянскому сословию, что это слово означает человека родовитого, который по самому своему положению должен вести себя благородно и жить широко, и если у того или иного дворянина есть наклонность к добру и он любит его бескорыстно, если он не только никому не причинил вреда, но и заслужил уважение начальников, любовь равных ему и почтительное отношение всех остальных, то слово *дворянин* в таком случае выступает в своем первоначальном блеске; я лично знаю не одного такого дворянина, чье имя в случае надобности я с удовольствием мог бы назвать.

Пришлось бы разъяснить, что слово *придворный* указывает не столько на принадлежность к определенному сословию, сколько на то, что это человек ловкий, гибкий и непременно скрытный, что он всем пожимает руку, становясь при этом по-

перек дороги; что он ведет тонкую интригу с таким видом, будто он рад всем служить; что он не наживает себе врагов, но при случае не прочь подставить ножку лучшему другу, чтобы свалить его и стать на его место; что он считает предрассудком все, что может задержать его продвижение; что он улыбается, когда ему что-нибудь не по нраву, и критикует то, что ему по душе, в зависимости от собеседников; что он смотрит сквозь пальцы на связи своей жены или любовницы, если они ему выгодны; коротко говоря,

Брать все и делать все ничтожным —
Вот что дано дельцам вельможным.

(Лафонтен)

Это слово не имеет того неприятного оттенка, какой есть в слове *царедворец*, а царедворца-то и имеет в виду Фигаро.

Но если бы я стал подробно описывать *царедворца,* если бы я, постаравшись ничего не забыть, изобразил, как он двусмысленно себя держит, надменно и вместе раболепно, как горделиво он пресмыкается, какие у него громадные претензии, лишенные, однако ж, всякого основания, как он, только чтобы сделаться главою кружка, усваивает покровительственный тон, как он смешивает с грязью соперников, которые могли бы поколебать его положение, как он извлекает прибыль из того, что должно было бы доставить ему только почет и ничего более, как он уступает своему начальнику свою наложницу, с тем чтобы начальник потом оплатил полученное удовольствие, и так далее, и так далее до бесконечности,— если бы я за это взялся, мне пришлось бы вновь и вновь обращаться к двустишию:

Иметь, и брать, и требовать еще —
Вот формула из трех заветных правил!

Я лично таких царедворцев не знаю. Говорят, будто бы они были при Генрихе III и при других королях, но это дело историка, я же склонен думать, что безнравственные люди подобны святым: должно пройти сто лет, чтобы можно было их канонизировать. Однако раз я обещал дать критику моей пьесы, то нужно же в конце концов дать ее.

В общем, коренной ее недостаток заключается в том, что я «писал ее, совершенно не зная жизни, что она не имеет ничего общего с действительностью и не дает никакого представления о современном обществе, что изображаемые в ней нравы низменны, порочны, а главное, нимало не правдоподобны». Вот что мы читали недавно на страницах нашей печати в превосход-

ном рассуждении, принадлежащем перу одного почтенного человека, которому не хватает лишь крупицы ума, чтобы стать посредственным писателем. Но каков бы он ни был, а я — я никогда не прибегал к криводушным и вероломным повадкам сбира, который, делая вид, что не смотрит на вас, наносит вам удар стилетом в бок, и я присоединяюсь к его мнению. Я согласен с тем, что, по правде говоря, прошлое поколение очень походило на действующих лиц моей пьесы, что поколение грядущее также будет очень на них походить, но что нынешнее нисколько на них не похоже, что в жизни мне никогда не доводилось встречать ни мужа-соблазнителя, ни развратного вельможу, ни алчного придворного, ни невежественного или пристрастного судью, ни бранчливого адвоката, ни преуспевающих ничтожеств, ни мелкозавистливых сплетников. Если же чистые души, которые не находят между собой и действующими лицами моей пьесы решительно никакого сходства, все же восстают против нее и ругают ее на чем свет стоит, то единственно из уважения к своим дедушкам и из нежных чувств к своим внукам. Надеюсь, что после этого разъяснения меня оставят в покое. И на этом я заканчиваю.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Альмавива, великий коррехидор Андалусии.
Графиня, его жена.
Фигаро, графский камердинер и домоправитель.
Сюзанна, первая камеристка графини и невеста Фигаро.
Марселина, ключница.
Антонио, садовник, дядя Сюзанны и отец Фаншетты.
Фаншетта, дочь Антонио.
Керубино, первый паж графа.
Бартоло, севильский врач.
Базиль, учитель музыки, дающий уроки графине.
Дон Гусман Бридуазон, судья.
Дубльмен, секретарь суда.
Судебный пристав.
Грипсолейль, пастушок.
Молодая пастушка.
Педрильо, графский ловчий.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА БЕЗ РЕЧЕЙ

Слуги.
Крестьянки.
Крестьяне.

Действие происходит в замке Агуас Фрескас, в трех милях от Севильи.

ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ

Граф Альмавива преисполнен сознания собственного величия, но это сочетается у него с грацией и непринужденностью. Испорченная его натура не должна оказывать никакого

влияния на безукоризненность его манер. Мужчины из высшего общества смотрели на свои любовные похождения как на забаву,— это было вполне в обычаях того времени. Роль графа особенно трудно играть потому, что он неизменно оказывается в смешном положении, но когда в этой роли выступил превосходный актер (г-н Моле), то она оттенила все прочие роли и обеспечила пьесе успех.

В первом и втором действиях граф в охотничьем костюме и высоких сапогах, какие в старину носили в Испании. Начиная с третьего действия и до конца пьесы на нем великолепный испанский костюм.

Графиня, волнуемая двумя противоположными чувствами, должна быть осторожна в проявлениях своей чувствительности и крайне сдержанна в своем гневе; главное, в ней не должно быть ничего такого, что наносило бы в глазах зрителя ущерб ее обаянию и ее нравственности. В этой роли, одной из наиболее трудных в пьесе, обнаружилось во всем своем блеске огромное дарование г-жи Сен-Валь младшей.

В первом, втором и четвертом действиях на ней удобный пеньюар и никаких украшений на голове, она у себя дома и считается нездоровой. В пятом действии на ней костюм и головной убор Сюзанны.

Фигаро. Актеру, который будет исполнять эту роль, следует настоятельно порекомендовать возможно лучше проникнуться ее духом, как это сделал г-н Дазенкур. Если бы он усмотрел в Фигаро не ум в соединении с веселостью и острословием, а что-то другое, в особенности если бы он допустил малейший шарж, он бы эту роль провалил, а между тем первый комик театра г-н Превиль считал, что она может прославить любого актера, который сумеет уловить разнообразные ее оттенки и вместе с тем возвыситься до постижения цельности этого образа.

Костюм его тот же, что и в *Севильском цирюльнике.*

Сюзанна. Ловкая молодая особа, остроумная и жизнерадостная, свободная, однако же, от почти непристойной веселости развратных наших субреток; милый ее нрав обрисован в предисловии, и тем актрисам, которые не видели г-жи Конта и которые хотели бы как можно лучше изобразить Сюзанну на сцене, надлежит к этому предисловию и обратиться.

Костюм ее в первых четырех действиях состоит из очень изящного белого лифа с баской, такой же юбки и головного убора, который наши торговцы с тех пор именуют *а-ля Сюзанн.* В четвертом действии во время празднества граф надевает на нее головной убор с длинной фатой, плюмажем и белыми лентами.

В пятом действии на ней пеньюар графини и никаких украшений на голове.

Марселина — женщина неглупая, от природы довольно пылкая, однако ошибки молодости и опыт изменили ее характер. Если актриса, которая будет ее играть, сумеет с подобающим достоинством подняться на ту нравственную высоту, которой достигает Марселина после сцены узнания в третьем действии, то интерес публики к пьесе от этого только усилится.

Одета она, как испанская дуэнья: на ней неяркого цвета платье и черный чепец.

Антонио должен быть только навеселе, причем хмель у него постепенно проходит, так что в пятом действии он уже совершенно трезв.

Одет он, как испанский крестьянин: рукава его одежды откинуты за спину, он в шляпе и в белых туфлях.

Фаншетта — чрезвычайно наивное двенадцатилетнее дитя. Костюм ее состоит из темного лифа с серебряными пуговицами, яркого цвета юбки и черной шапочки с перьями. Так же одеты и все крестьянки на свадьбе.

Керубино. Роль Керубино может исполнять только молодая и красивая женщина, как это уже и было. В наших театрах нет очень молодых актеров, настолько сложившихся, чтобы почувствовать тонкости этой роли. В присутствии графини он до крайности несмел, обычно же это прелестный шалун; беспокойное и смутное желание — вот основа его характера. Он стремится к зрелости, но у него нет ни определенных намерений, ни сведений, любое событие способно его захватить; одним словом, он таков, каким всякая мать в глубине души, вероятно, желала бы видеть своего сына, хотя бы это и причинило ей немало страданий.

В первом и втором действиях на нем пышный белый, шитый серебром костюм придворного испанского пажа, через плечо перекинут легкий голубой плащ, на голове шляпа с множеством перьев. В четвертом действии на нем лиф, юбка и шапочка, такие же, как на крестьянках, которые его приводят. В пятом действии он в военной форме, в шляпе с кокардой и при шпаге.

Бартоло. Характер и костюм те же, что и в *Севильском цирюльнике*. Здесь это роль второстепенная.

Базиль. Характер и костюм те же, что и в *Севильском цирюльнике*. Это тоже роль второстепенная.

Бридуазон должен быть наделен тою простодушною и откровенною самоуверенностью, какою отличаются утратившие робость животные. Его заикание, едва заметное, должно придавать ему особую прелесть, так что актер, который именно в этом увидел

бы его смешную сторону, допустил бы грубую ошибку, и получилось бы у него совсем не то, что нужно. Весь комизм Бридуазона заключается в том, что важность его положения не соответствует потешному его характеру, и чем менее актер будет переигрывать, тем более выкажет он истинного дарования.

Костюм его составляет мантия испанского судьи, более просторная, нежели мантии наших прокуроров, и скорее напоминающая сутану, а также большой парик и испанские брыжи; в руке у него длинный белый жезл.

Дубльмен. Одет так же, как судья, но только белый жезл у него короче.

Судебный пристав, или альгуасил. Костюм, плащ и шпага Криспена, но висит она у него сбоку и не на кожаном поясе. На ногах у него не сапоги, а черные башмаки, на голове высокий и длинный белый парик с множеством буклей, в руке короткий белый жезл.

Грипсолейль. Одежда на нем крестьянская: рукава за спиной, яркого цвета куртка, белая шляпа.

Молодая пастушка. Костюм тот же, что и у Фаншетты.

Педрильо. Куртка, жилет, пояс, хлыст, дорожные сапоги, на голове сетка, шляпа, как у кучера почтовой кареты.

Действующие лица без речей. Одни в костюмах судей, другие в крестьянских костюмах, третьи в костюмах слуг.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет полупустую комнату; посредине большое кресло, так называемое кресло для больных. Фигаро аршином меряет пол. Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флердоранжа, именуемую шапочкой невесты.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Фигаро, Сюзанна.

Фигаро. Девятнадцать на двадцать шесть.

Сюзанна. Посмотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?

Фигаро *(берет ее за руку)*. Несравненно, душенька. О, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты!..

Сюзанна *(отстраняет его)*. Что ты там меряешь, мой мальчик?

Фигаро. Смотрю, моя крошка, поместится ли тут великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.

Сюзанна. В этой комнате?

Фигаро. Он предоставляет ее нам.

Сюзанна. А я на это не согласна.

Фигаро. Почему?

Сюзанна. Не согласна.

Фигаро. Нет, все-таки?

Сюзанна. Она мне не нравится.

Фигаро. Надо сказать причину.

Сюзанна. А если я не хочу говорить?

Фигаро. О, как эти женщины испытывают наше терпение!

Сюзанна. Доказывать, что у меня есть на то причины,— значит допустить, что у меня может и не быть их вовсе. Послушный ты раб моих желаний или нет?

Фигаро. Это самая удобная комната во всем замке: ведь она находится как раз между покоями графа и графини, а ты еще недовольна. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно, позвонит из той комнаты: раз-два, и готово, ты стоишь перед ней. Понадобится ли что-нибудь графу — пусть только позвонит из своей комнаты: гопля, в три прыжка я уже у него.

Сюзанна. Прекрасно! Но как-нибудь он позвонит утром и ушлет тебя надолго по какому-нибудь важному делу: раз-два, и готово, он уже у моих дверей, а затем — гопля, в три прыжка...

Фигаро. Что вы хотите этим сказать?

Сюзанна. Прошу не перебивать меня.

Фигаро. Боже мой, да в чем же дело?

Сюзанна. А вот в чем, дружок: его снятельству графу Альмавиве надоело волочиться за красотками по всей округе, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою жену, понимаешь? И рассчитывает, что для его целей эта комната вполне подходит. Вот об этом-то преданный Базиль, почтенный исполнитель его прихотей и мой уважаемый учитель пения, и твердит мне за каждым уроком.

Фигаро. Базиль? Ну, голубчик, если только пучок розог действительно обладает способностью выпрямлять позвоночник...

Сюзанна. А ты что же, чудак, думал, что приданое мне дают за твои заслуги?

Фигаро. Я имел право на это рассчитывать.

Сюзанна. До чего же глупы бывают умные люди!

Фигаро. Говорят.

Сюзанна. Да вот только не хотят этому верить.

Фигаро. Напрасно.

Сюзанна. Пойми: граф мне дает приданое за то, чтобы я тайно провела с ним наедине четверть часика по старинному праву сеньора... Ты знаешь, что это за милое право!

Фигаро. Я так хорошо его знаю, что если бы его снятельство по случаю своего бракосочетания не отменил постыдного этого права, я бы ни за что не женился на тебе в его владениях.

Сюзанна. Что ж, отменил, а потом пожалел. И сегодня он намерен тайком вновь приобрести это право у твоей невесты.

Фигаро *(потирая себе лоб)*. Голова кругом идет от такой неожиданности. Мой несчастный лоб...

Сюзанна. Да перестань ты его тереть!

Фигаро. А что от этого может быть?

Сюзанна *(со смехом)*. Еще, чего доброго, прыщик вскочит, а люди суеверные...

Фигаро. Тебе смешно, плутовка! Ах, если б удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему хорошую ловушку, а денежки его прибрать к рукам!

Сюзанна. Интрига и деньги — это твоя стихия.

Фигаро. Меня не стыд удерживает!

Сюзанна. А что же, страх?

Фигаро. Задумать какое-нибудь опасное предприятие — это не штука, надо суметь все проделать безнаказанно и добиться успеха. Проникнуть к кому-нибудь ночью, спеться с его женой, и чтобы тебя за твои же труды исполосовали хлыстом — это легче легкого: подобная участь постигала многих бестолковых негодяев. А вот...

Слышен звонок из внутренних покоев.

Сюзанна. Графиня проснулась. Она очень меня просила, чтобы в день моей свадьбы я первая пришла к ней.

Фигаро. За этим тоже что-нибудь кроется?

Сюзанна. Пастух говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фи-Фи-Фи-гаро! Подумай о нашем деле.

Фигаро. А ты поцелуй — тогда меня сразу осенит.

Сюзанна. Чтобы я целовала сегодня моего возлюбленного? Ишь ты! А что завтра скажет мой муж?

Фигаро обнимает ее.

Полно! Полно!

Фигаро. Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю.

Сюзанна *(оправляет платье)*. Когда наконец вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?

Фигаро *(с таинственным видом)*. Как только я получу возможность доказывать тебе это с вечера до утра.

Снова звонок.

Сюзанна *(издали посылая Фигаро воздушный поцелуй)*. Вот вам ваш поцелуй, сударь, теперь мы в расчете.

Фигаро *(бежит за ней)*. Э, нет, вы-то его получили не так!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Фигаро один.

Фигаро. Прелестная девушка! Всегда жизнерадостна, так и пышет молодостью, полна веселья, остроумия, любви и неги! Но и благонравна!.. *(Быстро ходит по комнате, потирая руки.)* Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф! Вам, оказывается... палец в рот не клади! Я-то терялся в догадках, почему это он не успел назначить меня домоправителем, как уже берет с собой в посольство и определяет на место курьера! Стало быть, ваше сиятельство, три назначения сразу: вы — посланник, я — дипломатический мальчишка на побегушках, Сюзон — штатная дама сердца, карманная посланница, и — в добрый час, курьер! Я поскачу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дражайшей половине! Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего! Какое трогательное единение! Но только, ваше сиятельство, вы слишком много на себя берете. Заниматься в Лондоне делами, которые вам поручил ваш повелитель, и одновременно делать дело за вашего слугу, представлять при иностранном дворе и короля и меня сразу — это уж чересчур, право, чересчур. А ты, Базиль, слабый подражатель моим проделкам, ты у меня запляшешь, ты у меня... Нет, лучше поведем с ними обоими тонкую игру, чтобы они друг другу подставили ножку! Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку! Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы — так-то оно будет вернее, устраните Марселину, которая в вас влюблена, как кошка, деньги и подарки припрячьте, обведите сластолюбивого графа вокруг пальца, задайте основательную трепку господину Базилю и...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Марселина, Бартоло, Фигаро.

Фигаро *(прерывая свою речь)*. Э-э-э, вот и толстяк доктор, его только здесь не хватало! Доброго здоровья, любезный доктор! Уж не на нашу ли с Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть в замок?

Бартоло *(презрительно)*. Ах, что вы, милейший, вовсе нет!

Фигаро. Это было бы с вашей стороны так великодушно!

Бартоло. Разумеется, и притом весьма глупо.

Фигаро. Ведь я имел несчастье расстроить вашу свадьбу!

Бартоло. Больше вам не о чем с нами говорить?

Фигаро. Кто-то теперь ухаживает за вашим мулом!

Бартоло *(в сердцах)*. Несносный болтун! Оставьте нас в покое!

Фигаро. Вы сердитесь, доктор? Какой же вы, лекари, безжалостный народ! Ни малейшего сострадания к бедным животным... как будто это в самом деле... как будто это люди! Прощайте, Марселина! Вы все еще намерены со мною судиться?

Пусть нет любви — зачем же ненавидеть?

Я полагаюсь на мнение доктора.

Бартоло. Что такое?

Фигаро. Она вам расскажет, еще и от себя прибавит. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Марселина, Бартоло.

Бартоло *(смотрит ему вслед)*. Этот плут верен себе! И если только с него не сдерут шкуру заживо, то я предсказываю, что умрет он в шкуре отчаянного нахала...

Марселина. Наконец-то вы здесь, вечный доктор! И, как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, пока дождешься от вас помощи, совсем как в былые времена, когда люди успели повенчаться, несмотря на принятые вами меры предосторожности!

Бартоло. А вы все такая же ехидная и язвительная! Да, но кому же здесь все-таки до меня нужда? Не случилось ли чего с графом?

Марселина. Нет, доктор.

Бартоло. Может статься, вероломная графиня Розина, дай-то господи, занемогла?

Марселина. Она тоскует.

Бартоло. О чем?

Марселина. Муж забыл ее.

Бартоло *(радостно)*. Ага! Достойный супруг мстит за меня!

Марселина. Графа не разберешь: он и ревнивец и повеса.

Бартоло. Повеса от скуки, ревнивец из самолюбия,— это ясно.

Марселина. Сегодня, например, он выдает Сюзанну за Фигаро и осыпает его по случаю этого бракосочетания...

Бартоло. Каковое сделалось необходимым по милости его сиятельства!

Марселина. Не совсем так, вернее: каковое понадобилось его сиятельству для того, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой...

Бартоло. Господина Фигаро? С ним такого рода сделка возможна.

Марселина. Базиль уверяет, что нет.

Бартоло. Как, и этот проходимец тоже здесь? Да это настоящий вертеп! Что же он тут делает?

Марселина. Всякие гадости, на какие только способен. Однако самое гадкое в нем — это, на мой взгляд, несносная страсть, которую он с давних пор питает ко мне.

Бартоло. Я бы на вашем месте двадцать раз сумел избавиться от его домогательств.

Марселина. Каким образом?

Бартоло. Выйдя за него замуж.

Марселина. Злой и пошлый насмешник! Почему бы вам не избавиться тою же ценой от моих домогательств? Это ли не ваш прямой долг? Где все ваши обещания? Как вы могли вычеркнуть из памяти нашего маленького Эммануэля, этот плод забытой любви, который должен был связать нас брачными узами?

Бартоло *(снимая шляпу)*. Не для того ли вы меня вызвали из Севильи, чтобы я выслушивал весь этот вздор? Этот ваш новый приступ брачной лихорадки...

Марселина. Ну, хорошо, не будем больше об этом говорить. Но если ничто не могло заставить вас прийти к единственно справедливому решению — жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти за другого.

Бартоло. А, вот это с удовольствием! Но кто же этот смертный, забытый богом и женщинами...

Марселина. Ах, доктор, кто же еще, как не красавчик, весельчак и сердцеед Фигаро?

Бартоло. Этот мошенник?

Марселина. Он не умеет сердиться, вечно в добром расположении духа, видит в настоящем одни только радости и так же мало помышляет о будущем, как и о прошлом; постоянно в движении, а уж благороден, благороден...

Бартоло. Как вор.

Марселина. Как сеньор. Словом, прелесть. Но вместе с тем и величайшее чудовище!

Бартоло. А как же его Сюзанна?

Марселина. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы, милый мой доктор, захотите мне помочь и заставите Фигаро выполнить его обязательство по отношению ко мне.

Бартоло. Это в самый-то день свадьбы?

Марселина. Свадьбу можно расстроить и во время венчания. Если б только я не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну...

Бартоло. Какие могут быть у женщин тайны от врача?

Марселина. Ах, вы отлично знаете, что от вас у меня нет тайн! Мы, женщины, пылки, но застенчивы; какие бы чары ни влекли нас к наслаждению, самая ветреная женщина всегда слышит внутренний голос, который ей шепчет: «Будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но чтоб молва о тебе была добрая: это уж непременно». Итак, коль скоро всякая женщина сознает необходимость доброй о себе молвы, давайте сначала припугнем Сюзанну: мы, мол, всему свету расскажем, какие вам делаются предложения.

Бартоло. К чему же это поведет?

Марселина. Она сгорит со стыда и, конечно, наотрез откажет его сиятельству, а тот в отместку поддержит меня в моем стремлении помешать их свадьбе, зато моя свадьба именно благодаря этому и устроится.

Бартоло. Она права. Черт возьми, а ведь это блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего в похищении моей невесты...

Марселина *(живо)*. И строящего свое счастье на крушении моих надежд...

Бартоло *(живо)*. И стащившего у меня когда-то сто экю, которых мне до сих пор жалко.

Марселина. О, какое наслаждение...

Бартоло. Наказать мерзавца...

Марселина. Стать его женой, доктор, стать его женой!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Марселина, Бартоло, Сюзанна.

Сюзанна *(держит чепец с широкой лентой, на руку у нее перекинуто платье графини)*. Стать женой? Стать женой? Чьей? Моего Фигаро?

Марселина *(ехидно)*. Хотя бы! Вот вы, например, выходите же за него.

Бартоло *(со смехом)*. Когда женщина сердится, здравого смысла в ее речах не ищи! Мы толкуем, прелестная Сюзон, о том, что вы составите счастье своего мужа.

Марселина. Не говоря уже о его сиятельстве — о нем мы умолчим.

Сюзанна *(приседает)*. Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышишь что-нибудь колкое.

Марселина *(приседает)*. Не стоит благодарности, сударыня. Да и где же тут колкость? Разве справедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он доставляет своим людям?

Сюзанна. Которую он доставляет?

Марселина. Да, сударыня.

Сюзанна. К счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.

Марселина. Они могли бы быть, пожалуй что, и неотъемлемыми, пойди я вашим, сударыня, путем.

Сюзанна. О сударыня, это путь всякой неглупой женщины!

Марселина. Скажите, какой ангелочек! Невинна, как старый судья!

Бартоло *(пытаясь увести Марселину)*. Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро!

Марселина *(приседает)*. И тайная суженая его сиятельства!

Сюзанна *(приседает)*. Которая вас глубоко уважает, сударыня.

Марселина *(приседает)*. В таком случае, сударыня, не удостоюсь ли я хотя бы в слабой степени и вашей любви?

Сюзанна *(приседает)*. Можете в этом не сомневаться, сударыня.

Марселина *(приседает)*. Вы такая обворожительная особа, сударыня!

Сюзанна *(приседает)*. Разумеется! Ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.

Марселина *(приседает)*. Главное, такая почтенная!

Сюзанна *(приседает)*. Это выражение более подходит к дуэньям.

Марселина *(вне себя)*. К дуэньям! К дуэньям!

Бартоло *(удерживая ее)*. Марселина!

Марселина. Идемте, доктор, а то я за себя не ручаюсь. Всех вам благ, сударыня. *(Приседает.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Сюзанна одна.

Сюзанна. Ступайте, сударыня! Ступайте, несносная женщина! Козней ваших я не боюсь, и намеки ваши мне не обидны. Вот старая ведьма! Когда-то чему-то училась, отравляла графине юные годы, а теперь на этом основании желает всем распоряжаться в замке! *(Бросает платье на стул.)* Вот уж я и забыла, за чем пришла.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Сюзанна, Керубино.

Керубино *(вбегает)*. Ах, Сюзон, два часа я ищу случая поговорить с тобой наедине! Увы! Ты выходишь замуж, а я уезжаю.

Сюзанна. Каким это образом моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства?

Керубино *(жалобно)*. Сюзанна, он меня отсылает!

Сюзанна *(в тон ему)*. Керубино, кто-то напроказил!

Керубино. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты: я ей помогал учить роль невинной девочки, которую она должна играть на сегодняшнем празднике. При виде меня он пришел в ярость. «Убирайтесь,— сказал он мне,— маленький...» Я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. «Убирайтесь, и чтоб завтра же вас не было в замке!» Если только графине, моей милой крестной матери, не удастся его смягчить, то все кончено, Сюзон: я навеки лишен счастья видеть тебя.

Сюзанна. Видеть меня? Так теперь моя очередь? Вы тайно вздыхаете уже не о графине?

Керубино. Ах, Сюзон, как она благородна и прекрасна! Но как же она неприступна!

Сюзанна. Выходит, что я не такая и что со мной можно позволить себе...

Керубино. Ты отлично знаешь, злюка, что я ничего не позволю себе позволить. Но какая же ты счастливая! Можешь постоянно видеть ее, говорить с ней, утром одеваешь ее, вечером раздеваешь, булавочка за булавочкой... Ах, Сюзон, я бы отдал... Что это у тебя в руках?

Сюзанна *(насмешливо)*. Увы! Это тот счастливый чепец и та удачливая лента, которые составляют ночной головной убор вашей чудной крестной...

Керубино *(живо)*. Ее лента! Душенька моя, отдай мне эту ленту!

Сюзанна *(отстраняет его)*. Ну уж нет! «Душенька моя»! Какая фамильярность! Впрочем, он же еще молокосос.

Керубино вырывает у нее ленту.

Ах, лента!

Керубино *(бегает вокруг кресла)*. Скажи, что ты ее куда-нибудь засунула, испортила, что ты ее потеряла. Скажи все, что придет в голову.

Сюзанна *(бежит за ним)*. О, я ручаюсь, что годика через три, через четыре из вас выйдет величайший плутишка на свете!.. Отдадите вы мне ленту или нет? *(Хочет отнять у него ленту.)*

Керубино *(достает из кармана романс)*. Не отнимай, ах, не отнимай ее у меня, Сюзон! Взамен я подарю тебе романс моего сочинения. Да будет тебе известно, что мысль о прекрасной твоей госпоже окутает печалью каждое мгновение моей жизни, меж тем как мысль о тебе явится единственным лучом, который озарит радостью мое сердце.

Сюзанна *(выхватывает у него романс)*. Озарит радостью ваше сердце, скверный мальчишка! Вы, вероятно, думаете, что говорите с Фаншеттой. Вас застают у нее, вздыхаете вы о графине, а любезничаете со мной.

Керубино *(в порыве восторга)*. Да, это так, клянусь честью! Я сам не понимаю, что со мной творится. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение, сердце начинает колотиться при одном виде женщины, слова *любовь* и *страсть* приводят его в трепет и наполняют тревогой. Потребность сказать кому-нибудь *я вас люблю* сделалась у меня такой властной, что я произношу эти слова один на один с самим собой, когда бегаю в парке, обращаюсь с ними к твоей госпоже, к тебе, к деревьям, к облакам, к ветру, и эти мои тщетные восклицания ветер вместе с облаками уносит вдаль. Вчера я встретил Марселину...

Сюзанна *(смеется)*. Ха-ха-ха!

Керубино. А что ж тут смешного? Она — женщина! Она — девушка! Девушка! Женщина! Ах, какие это упоительные слова! Сколько в них таинственного!

Сюзанна. Он помешался!

Керубино. Фаншетта — добрая: она, по крайней мере, не перебивает меня, а ты — недобрая, нет!

Сюзанна. Что поделаешь! Сударь, мне это, наконец, надоело! *(Хочет вырвать у него ленту.)*

Керубино *(бегает от нее вокруг кресла)*. Э, как бы не так! Ее можно отнять у меня только вместе с жизнью, вот что! Впрочем, если тебе этого мало, я могу еще прибавить тысячу поцелуев.

Теперь Керубино начинает гоняться за Сюзанной.

Сюзанна *(бегает от него вокруг кресла)*. Тысячу пощечин, если вы ко мне подойдете! Сейчас пойду пожалуюсь графине и не только не стану просить за вас, а еще сама скажу его сиятельству: «Хорошо сделали, ваше сиятельство, прогоните от нас этого воришку, отошлите к родителям этого маленького бездельника, который строит из себя влюбленного в графиню, а с поцелуями вечно пристает ко мне».

Керубино *(заметив входящего графа, в испуге прячется за кресло)*. Я пропал!

Сюзанна. С чего бы это вдруг такой страх?

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Сюзанна, граф, Керубино за креслом.

Сюзанна *(заметив графа)*. Ах!.. *(Подходит к креслу и загораживает собой Керубино.)*

Граф *(приближается к ней)*. Ты взволнована, Сюзон! Разговариваешь сама с собой, сердечко твое, как видно, сильно бьется... Впрочем, это понятно, сегодня у тебя особенный день.

Сюзанна *(в смущении)*. Что вам угодно, ваше сиятельство? Если б вас застали со мной...

Граф. Я был бы в отчаянии, если б сюда кто-нибудь вошел, но ведь ты же знаешь, что я к тебе неравнодушен. Базиль имел с тобою разговор о моих чувствах. У меня остается буквально одна секунда, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай. *(Садится в кресло.)*

Сюзанна *(живо)*. Ничего не стану слушать.

Граф *(берет ее за руку)*. Только одно слово! Тебе известно, что король назначил меня посланником в Лондон. Я беру с собой Фигаро: я нашел для него прекрасную должность, а так как жена обязана следовать за своим мужем...

Сюзанна. Ах, если б мне позволено было говорить!

Граф *(привлекает ее к себе)*. Говори, говори, милая, с сегодняшнего же дня начинай проявлять ту власть, которую ты будешь иметь надо мною всю жизнь.

Сюзанна *(испуганно)*. Не надо мне никакой власти, ваше сиятельство, не надо мне никакой власти. Оставьте меня, прошу вас!

Граф. Сначала скажи.

Сюзанна *(сердито)*. Я уж теперь не помню, что хотела сказать.

Граф. Относительно обязанности жены.

Сюзанна. Ах да! После того как вы, ваше сиятельство, похитили себе жену у доктора и женились на ней по любви, вы ради нее отменили это отвратительное право сеньора...

Граф *(весело)*. Которое так огорчало невест! Ах, Сюзетта, да это же чудное право! Если б ты в сумерках пришла в сад потолковать со мною о нем, то за это небольшое одолжение я бы так тебя отблагодарил...

Базиль *(за сценой)*. Его сиятельство не у себя.

Граф *(встает)*. Чей это голос?

Сюзанна. Вот несчастье!

Граф. Выйди навстречу, а то как бы сюда не вошли.

Сюзанна *(в смущении)*. А вы останетесь здесь?

Базиль *(кричит за сценой)*. Его сиятельство был у графини и ушел. Я сейчас посмотрю.

Граф. А спрятаться некуда!.. Ага! За кресло!.. Неудобно... Ну уж ты выпроводи его поскорей.

Сюзанна пытается загородить ему дорогу, граф осторожным движением отстраняет ее, она отступает и становится между ним и маленьким пажом, но граф только успевает нагнуться, чтобы спрятаться за кресло, как Керубино выбегает, в испуге забирается с ногами в кресло и свертывается клубком. Сюзанна покрывает Керубино платьем, которое она принесла, и становится перед креслом.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Граф и Керубино, спрятавшиеся, Сюзанна, Базиль.

Базиль. Вы не видели его сиятельство, сударыня?

Сюзанна *(резко)*. А почему я должна его видеть? Отстаньте!

Базиль *(подходит ближе)*. Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Графа ищет Фигаро.

Сюзанна. Значит, он ищет человека, который после вас является самым большим его недоброжелателем.

Граф *(в сторону)*. Посмотрим кстати, как-то мне предан Базиль.

Базиль. Разве желать добра жене значит желать зла ее мужу?

Сюзанна. По вашим мерзким нравственным правилам, пособник разврата, выходит, что нет.

Базиль. Разве от вас требуют больше того, чем вы собираетесь одарить другого? Благодаря приятному обряду то, что вчера вам было запрещено, будет завтра вменено вам в обязанность.

Сюзанна. Низкий человек!

Базиль. Из всех серьезных дел самое шуточное — это брак, а потому я думал...

Сюзанна *(вспылив)*. Вы думали о всяких гадостях. Как вы смели сюда войти?

Базиль. Ну-ну, негодница! Успокойтесь! Все будет, как вы захотите. Но только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький паж...

Сюзанна *(нерешительно)*. Дон Керубино?

Базиль *(передразнивает ее)*. *Cherubino di amore* [1], тот самый, который все время за вами увивается и который еще нынче утром здесь слонялся, чтобы прошмыгнуть к вам, как только я уйду. Скажите, разве это не правда?

Сюзанна. Какая ложь! Уходите, злой человек!

Базиль. Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен и тот романс, который он прячет от всех?

Сюзанна *(гневно)*. Ну конечно, мне!

Базиль. Если только, впрочем, он сочинил его не для графини. В самом деле, я слышал, что когда он прислуживает ей за столом, то смотрит на нее таким взглядом!.. Но только, черт возьми, пусть поостережется: его сиятельство на этот счет человек строгий.

Сюзанна *(в негодовании)*. А вы человек зловредный, если распускаете подобные сплетни; ведь вы можете окончательно погубить бедного мальчика, который и так уже впал в немилость у своего господина.

Базиль. Да я, что ли, это выдумал? Об этом все говорят в один голос.

Граф *(встает)*. То есть как все говорят?

Сюзанна. О боже!

Базиль. Вот тебе раз!

Граф. Бегите, Базиль, и чтоб духу Керубино здесь не было!

Базиль. Ах, зачем только я сюда вошел!

Сюзанна *(в волнении)*. Боже мой! Боже мой!

Граф *(Базилю)*. Ей дурно. Усадим ее в кресло.

---

[1] Херувим любви *(итал.)*.

Сюзанна *(быстрым движением отстраняет его)*. Я вовсе не хочу сидеть. Стыдно вам входить ко мне с такой бесцеремонностью.

Граф. Кроме нас двоих, здесь никого нет, моя дорогая. Ты в полной безопасности!

Базиль. Мне очень неприятно, что вы слышали, как я прошелся насчет пажа, но я только хотел выведать ее сердечные тайны, ибо, в сущности говоря...

Граф. Дать ему пятьдесят пистолей, коня — и марш к родителям!

Базиль. Ваше сиятельство! Ведь это же была шутка!

Граф. Это маленький распутник — вчера я застал его с дочкой садовника.

Базиль. С Фаншеттой?

Граф. Да, и у нее в комнате.

Сюзанна *(злобно)*. Куда вы, ваше сиятельство, заглянули тоже, вероятно, по делу?

Граф *(весело)*. Люблю такие остроумные замечания.

Базиль. И это добрый знак.

Граф *(весело)*. Нет, нет, мне нужно было отдать распоряжения твоему дяде, а моему вечно пьяному садовнику Антонио. Стучу — долго никто не отворяет; у твоей двоюродной сестры растерянный вид; мне это кажется подозрительным, я с ней заговариваю, а сам в это время оглядываю комнату. За дверью у них висит какая-то занавеска, а под ней что-то вроде вешалки для платья. Я как будто нечаянно подхожу, тихонечко-тихонечко приподнимаю занавеску *(для пущей наглядности приподнимает с кресла платье)* и вижу... *(Замечает пажа.)* Ах!

Базиль. Вот тебе раз!

Граф. Одно другого стоит.

Базиль. Это еще почище.

Граф *(Сюзанне)*. Великолепно, сударыня! Еще только невеста — и уже начинаете проказничать? Значит, вам так хотелось остаться одной единственно для того, чтобы принять моего пажа? А вы, сударь, вы неисправимы: забыв всякое уважение к вашей крестной матери, вы подъезжаете к ее первой камеристке и жене вашего приятеля,— этого только не хватало! Но я, со своей стороны, не потерплю, чтобы Фигаро, человек, которого я люблю и уважаю, оказался жертвой подобного обмана. Керубино вошел вместе с вами, Базиль?

Сюзанна *(сердито)*. Никакого тут нет обмана и никаких жертв. Когда вы со мной разговаривали, Керубино был уже здесь.

Граф *(запальчиво)*. Уж лучше бы солгала! Злейший враг Керубино не пожелал бы ему такой беды.

Сюзанна. Он просил меня поговорить с графиней, чтоб она заступилась за него перед вами. Когда вы вошли, он до того растерялся, что кинулся к этому креслу.

Граф *(в гневе)*. Адские уловки! Как только я вошел в комнату, я тотчас же сел в кресло.

Керубино. Осмелюсь доложить, ваше сиятельство, что я, весь дрожа, прятался сзади.

Граф. Опять вранье! Потом я сам занял это место.

Керубино. Прошу прощения, ваше сиятельство, но тогда-то я и свернулся клубочком в кресле.

Граф *(вне себя)*. Да он ужом вьется, этот... змееныш! Он нас подслушивал!

Керубино. Напротив, ваше сиятельство, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.

Граф. Какое коварство! *(Сюзанне.)* Ты не выйдешь за Фигаро.

Базиль. Успокойтесь, ваше сиятельство, сюда идут.

Граф *(стаскивает Керубино с кресла и ставит его на ноги)*. Ты еще перед целым светом будешь тут рассиживаться!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Сюзанна, Керубино, граф, Базиль, графиня, Фигаро, Фаншетта, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых во все белое.

Фигаро *(держа в руках женский головной убор с белыми перьями и лентами, обращается к графине)*. Ваше сиятельство! Вы одна можете добиться для нас этой милости.

Графиня. Видите, граф, они приписывают мне влияние, каким на самом деле я не пользуюсь, но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...

Граф *(в замешательстве)*. Надо, чтобы она была вполне благоразумна.

Фигаро *(Сюзанне, тихо)*. Поддержи меня!

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Это бесполезно.

Фигаро *(тихо)*. А все-таки попытайся!

Граф *(к Фигаро)*. Чего же вы хотите?

Фигаро. Ваше сиятельство! Ваши вассалы, благодарные вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право...

Граф. Ну да, этого права уже не существует, что же дальше?

Фигаро *(лукаво)*. Так пусть наконец восстанет добродетель такого достойного господина! Сегодня я особенно ее оценил, и мне бы хотелось прославить ее первому на моей свадьбе.

Граф *(в крайнем замешательстве)*. Полно, друг мой! Отмена постыдного права — это дело чести. Испанец может стремиться пленить красавицу настойчивыми ухаживаниями, но требовать от нее первых, наиболее сладостных ласк как некоей рабской дани,— о, это тирания, достойная вандала, а не законное право благородного кастильца!

Фигаро *(берет Сюзанну за руку)*. Позвольте же юному этому существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, символ чистоты ваших намерений. Соблаговолите установить этот обряд для всех брачущихся, и пусть стихотворение, которое мы споем хором, навеки запечатлеет в памяти...

Граф *(в замешательстве)*. Если б я не знал, что влюбленным наравне со стихотворцами и музыкантами прощаются всяческие сумасбродства...

Фигаро. Друзья, поддержите меня!

Все. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!

Сюзанна *(графу)*. Зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?

Граф *(в сторону)*. Коварная!

Фигаро. Взгляните на нее, ваше сиятельство: такая красивая невеста — это лучшее доказательство величия вашей жертвы.

Сюзанна. Оставьте в покое мою наружность — не будем восхвалять ничего, кроме добродетели его сиятельства.

Граф *(в сторону)*. Все разыграно, как по нотам.

Графиня. Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог, оттого что своим возникновением он обязан той нежной любви, какою вы некогда любили меня.

Граф. И какою я люблю вас ныне. Только ради нее я изъявляю свое согласие.

Все. Виват!

Граф *(в сторону)*. Я попался. *(Вслух.)* Я бы только хотел для пущей торжественности отложить празднество до вечера. *(В сторону.)* Скорей послать за Марселиной!

Фигаро *(к Керубино)*. А что же ты, шалунишка, не радуешься?

Сюзанна. Он в отчаянии: граф отсылает его.

Графиня. Граф! Простите его!

Граф. Он этого не заслуживает.

Графиня. Ах, он еще так молод!

Граф. Вовсе не так молод, как вам кажется.

Керубино *(дрожа)*. Я не думаю, чтобы вы, ваше сиятельство, женившись на графине, упразднили право сеньора — великодушно прощать.

Графиня. Граф упразднил только то право, которое составляло несчастье всех ему подвластных.

Сюзанна. Если бы даже его сиятельство и лишил себя права миловать, то затем он, конечно, именно его в первую голову пожелал бы тайно восстановить.

Граф *(в замешательстве)*. Разумеется.

Графиня. Почему?

Керубино *(графу)*. Это правда, ваше сиятельство, поведение мое было легкомысленно, но чтобы я когда-нибудь проговорился...

Граф *(в замешательстве)*. Ну-ну, довольно...

Фигаро. О чем это он?

Граф *(поспешно)*. Довольно, довольно! Раз все просят, чтобы я его простил, то я согласен, и даже больше: я произвожу его в офицеры моего полка.

Все. Виват!

Граф. С условием, однако ж, что он немедленно отправится к месту его расположения — в Каталонию.

Фигаро. Ах, ваше сиятельство, нельзя ли до завтра?

Граф *(настойчиво)*. Я так хочу.

Керубино. Слушаюсь.

Граф. Проститесь с вашей крестной и попросите у нее благословения.

Керубино становится перед графиней на одно колено и не может выговорить ни слова.

Графиня *(в волнении)*. Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вас ожидают новые обязанности, исполняйте же их добросовестно. Покажите, что вы достойны чести, которую вам оказал ваш благодетель. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Будьте послушным, честным и храбрым. Мы обещаем вам следить за вашими успехами.

Керубино встает и возвращается на прежнее место.

Граф. Вы очень взволнованы, графиня!

Графиня. Не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще? Он мой родственник и к тому же крестник.

Граф *(в сторону)*. Я вижу, что Базиль был прав. *(Вслух.)* Молодой человек! Поцелуйте Сюзанну... в последний раз.

Фигаро. Почему же в последний, ваше сиятельство? Он будет приезжать сюда на побывку. Поцелуй же и меня, капитан! *(Целуется с ним.)* Прощай, мой маленький Керубино! Теперь для тебя, малыш, начнется совсем другая жизнь. Да, брат, теперь тебе уже не сновать по целым дням на женской половине, конец пышкам, пирожным с кремом, конец прятках и жмуркам. Дьявольщина! Вместо этого бравые солдаты, загорелые, оборванные, большое, тяжеленное ружье: на-пра-во, нале-во, марш вперед к славе, да гляди, не споткнись дорогой, а то один меткий выстрел — и как раз...

Сюзанна. Да перестань! Какой ужас!

Графиня. Хорошее напутствие!

Граф. Где же Марселина? Странно, что она не с вами.

Фаншетта. Она, ваше сиятельство, пошла проселочной дорогой, мимо фермы, в деревню.

Граф. Когда же она вернется?

Базиль. Это уж как бог даст.

Фигаро. Если б только он дал, чтоб он никогда этого не дал!..

Фаншетта. Она шла под руку с господином доктором.

Граф *(живо)*. А доктор разве здесь?

Базиль. Она в него тотчас же вцепилась...

Граф *(в сторону)*. Он как нельзя более кстати.

Фаншетта. Она, как видно, была чем-то очень недовольна: идет, а сама громко-громко говорит, потом остановится и давай размахивать руками, вот так... а господин доктор вот так на нее ладонью: успокойтесь, мол... Должно быть, уж очень она рассердилась. Все поминала моего двоюродного братца Фигаро.

Граф *(берет ее за подбородок)*. Будущего... двоюродного братца.

Фаншетта *(указывая на Керубино)*. Ваше сиятельство, а вы простили нас за вчерашнее?

Граф *(прерывая ее)*. Ступай, ступай, малышка!

Фигаро. Это все проклятая любовь мутит Марселину — как бы она не испортила нам праздника!

Граф *(в сторону)*. Еще как испортит, будь спокоен! *(Вслух.)* Мы можем идти, графиня. Базиль! Зайдите ко мне.

Сюзанна *(к Фигаро)*. Ты заглянешь ко мне, мой мальчик?

Фигаро *(Сюзанне, тихо)*. Ну что, поддели мы его на удочку?

Сюзанна *(тихо)*. Молодчина!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Керубино, Фигаро, Базиль.

Все расходятся. Фигаро останавливает Керубино и Базиля и возвращается с ними на сцену.

Фигаро. Ну, братцы, обряд установлен, прямым его следствием должен явиться мой вечерний праздник. Нам только нужно обо всем хорошенько уговориться: не будем брать пример с тех актеров, которые из рук вон скверно играют, как раз когда критика особенно против них предубеждена. К тому же мы играем только один раз: завтра уже дела не поправить. Поэтому сегодня мы должны знать наши роли назубок.

Базиль *(лукаво)*. Моя роль труднее, чем ты думаешь.

Фигаро *(незаметно для Базиля делает вид, что колотит его)*. Зато ты не знаешь, какая награда тебя ожидает.

Керубино. Друг мой! Ты забыл, что я уезжаю.

Фигаро. А тебе очень бы хотелось остаться?

Керубино. Конечно! Еще бы!

Фигаро. Нужно ухитриться. Никакого шума при твоем отъезде. Дорожный плащ через плечо, при всех уложи свои вещи, и чтоб все видели твоего коня у ограды, затем галопом на ферму — и задворками, пешком, обратно. Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Смотри только, не попадайся ему на глаза, а после свадьбы я берусь умилостивить его.

Керубино. А Фаншетта не знает своей роли!

Базиль. Да ведь вы целую неделю вертелись около нее, чему же вы ее, черт возьми, учили?

Фигаро *(к Керубино)*. Тебе сегодня нечего делать, так вот, будь любезен, дай ей урок.

Базиль. Осторожней, молодой человек, осторожней! Отец Фаншетты не в восторге от ваших занятий: он уже задал ей взбучку. Не делом вы с ней занимаетесь. Керубино, Керубино, наплачется она из-за вас! *Повадился кувшин по воду ходить...*

Фигаро. Ну, теперь пойдет дурак сыпать пословицами столетней давности! Так что же, ученый сухарь, говорит дальше народная мудрость? *Повадился кувшин по воду ходить, там ему и...*

Базиль. Полным быть.

Фигаро *(уходя)*. А ведь не глупо, ей-ей, не глупо!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена представляет роскошную спальню; в алькове, на возвышении, большая кровать. В третьей кулисе, направо входная дверь; налево, в первой кулисе, дверь в туалетную комнату графини. Прямо дверь на женскую половину. Сбоку окно.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сюзанна и графиня входят в дверь направо.

Графиня *(опускаясь в глубокое кресло)*. Затвори дверь, Сюзанна, и все мне расскажи как можно обстоятельнее.

Сюзанна. Я, сударыня, ничего от вас не утаю.

Графиня. Как, Сюзон, он хотел тебя обольстить?

Сюзанна. Нет, что вы! Его сиятельство не станет разводить церемонии со служанкой: он хотел меня просто купить.

Графиня. И при этом присутствовал маленький паж?

Сюзанна. То есть он прятался за креслом. Он приходил поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.

Графиня. А почему же он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы отказать ему, Сюзон?

Сюзанна. Я ему то же самое пыталась внушить, но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать и особенно расставаться с вами: «Ах, Сюзон, как она благородна и прекрасна! Но как же она неприступна!»

Графиня. Разве у меня в самом деле, Сюзон, такой неприступный вид? Ведь я всегда оказывала ему покровительство.

Сюзанна. Потом он увидал у меня в руках ленту от вашего чепчика, да как схватит ее...

Графиня *(улыбаясь)*. Мою ленту?.. Ребячество!

Сюзанна. Я было хотела отнять, но ведь это же сущий лев, сударыня: глаза горят... «Ее можно отнять у меня только вместе с жизнью»,— сказал он, напрягая свой нежный и звонкий голосок.

Графиня *(мечтательно)*. Ну, а дальше, Сюзон?

Сюзанна. А дальше, сударыня,— что прикажете делать с таким бесенком? Крестная само собой, а я, мол, и с другой не прочь полюбезничать. А так как он никогда не посмеет прикоснуться устами даже к краю вашего платья, то пристает с поцелуями ко мне.

Графиня *(мечтательно)*. Оставим... оставим эти глупости... Итак, милая моя Сюзанна, что же тебе в конце концов сказал мой муж?

Сюзанна. Что, если я буду упорствовать, он примет сторону Марселины.

Графиня *(встает и начинает ходить по комнате, усиленно обмахиваясь веером)*. Он меня совсем не любит.

Сюзанна. Почему же он вас так ревнует?

Графиня. Как и все мужья, милочка,— только из самолюбия! Ах, я слишком горячо его любила! Мои ласки ему наскучили, а любовь моя стала ему несносна — вот моя единственная вина перед ним. Однако ж будь спокойна: чистосердечное твое признание тебе не повредит, и ты будешь женою Фигаро. Только он один и может нам помочь. Он сюда придет?

Сюзанна. Как скоро граф выедет на охоту.

Графиня *(обмахиваясь веером)*. Отвори окно в сад. Здесь так душно!..

Сюзанна. Это вас бросило в жар от разговора и от хождения по комнате. *(Отворяет окно.)*

Графиня *(после продолжительного молчания)*. Если б он так упорно меня не избегал... Нет, во всем виноваты мужчины!

Сюзанна *(у окна)*. А, вот как раз его сиятельство едет верхом через сад! С ним Педрильо и две... три... четыре борзые.

Графиня. У нас довольно времени впереди. *(Садится.)* Стучат, Сюзон!

Сюзанна *(бежит к двери, напевая)*. А, это мой Фигаро! А, это мой Фигаро!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сюзанна, графиня сидит, Фигаро.

Сюзанна. Иди скорей, дружок! Ее сиятельство сгорает от нетерпения!..

Фигаро. А ты, моя маленькая Сюзанна? У ее сиятельства нет никаких оснований для тревоги. В сущности говоря, что произошло? Ничего особенного. Графу приглянулась вот эта девушка, он намерен сделать ее своей любовницей,— все это вполне естественно.

Сюзанна. Естественно?

Фигаро. Затем он дал мне место дипломатического курьера, а Сюзон назначил советником посольства. Это с его стороны весьма предусмотрительно.

Сюзанна. Да перестанешь ты?

Фигаро. А так как Сюзанна, моя невеста, от этого назначения уклонилась, то он решил оказать поддержку Марселине,— опять-таки что может быть проще этого? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать, в свою очередь, их карты,— так поступают все, и так надлежит поступить и нам. Ну вот пока и все!

Графиня. Как вы можете, Фигаро, так легко относиться к замыслу, который всем нам сулит несчастье?

Фигаро. А почему вы так думаете, сударыня?

Сюзанна. Чем бы посочувствовать нашему горю...

Фигаро. Вашим-то горем и заняты мои мысли, разве этого не достаточно? Итак, будем действовать с не меньшею последовательностью, чем его сиятельство; прежде всего умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что и на его собственность посягают.

Графиня. Это хорошо сказано, но как это осуществить?

Фигаро. Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню...

Графиня. На меня? Вы с ума сошли.

Фигаро. Нет, пусть уж сойдет с ума его сиятельство.

Графиня. Такому ревнивцу!

Фигаро. Тем лучше. Чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках, нужно лишь слегка взволновать ему кровь — женщины умеют это делать изумительно! Вот он уже доведен до белого каления, тут сейчас небольшая интрижка — и делайте с ним, что хотите: в Гуадалквивир кинется не задумываясь. Я передал Базилю через одного человека анонимную записку, в которой его сиятельство уведомляется, что некий поклонник будет сегодня во время бала искать свидания с вами.

Графиня. И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?

Фигаро. Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю: боюсь попасть в точку.

Графиня. Благодарю за лестное мнение.

Фигаро. А разве вам не представляется заманчивым — устроить графу такой денек, чтобы он вместо приятного времяпрепровождения с моей женой вынужден был, проклиная все

на свете, ходить по пятам за своею собственной? Он уже и сейчас сбит с толку. Помчаться за той? Выслеживать эту? Глядите, глядите: вон он, в расстройстве чувств, несется по полю и травит ни в чем не повинного зайца. Между тем час нашей свадьбы приближается с неумолимой быстротой, за это время никаких шагов против нас ему предпринять не удастся, а в присутствии графини он ни за что не отважится помешать нашему бракосочетанию.

Сюзанна. Он — нет, но умница Марселина отважится непременно.

Фигаро. Гм! Вот этого я действительно опасаюсь. Дай знать его сиятельству, что вечером ты выйдешь к нему в сад.

Сюзанна. Вот ты на что рассчитываешь?

Фигаро. Ну, а как же! Поверьте мне, что люди, которые ничего ни из чего не желают сделать, ничего не достигают и ничего не стоят. Вот мое мнение.

Сюзанна. Остроумно!

Графиня. Так же, как и его план. Вы отпустите ее на свидание к графу?

Фигаро. Ничуть не бывало: я кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны. Графа мы застанем врасплох, и увильнуть ему не удастся.

Сюзанна. Кого же ты нарядишь?

Фигаро. Керубино.

Графиня. Он уехал.

Фигаро. Только не для меня. Предоставляете мне свободу действий?

Сюзанна. Уж по части интриг на него смело можно положиться.

Фигаро. Две, три, четыре интриги зараз, и пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем.

Сюзанна. Говорят, это такое трудное ремесло!

Фигаро. Получать, брать и просить — в этих трех словах заключена вся его тайна.

Графиня. Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться этой уверенностью.

Фигаро. Такова моя цель.

Сюзанна. Значит, как же ты говоришь?..

Фигаро. Говорю, что пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю Керубино,— причешите его, приоденьте, я его спрячу, дам ему наставление, а там уж, ваше сиятельство, вы запляшете под мою дудку. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Сюзанна, графиня сидит.

Графиня *(берет коробочку с мушками)*. Боже мой, Сюзон, какой у меня вид!.. Сейчас сюда войдет этот юноша...

Сюзанна. Верно, сударыня, вам хочется, чтоб он все так же млел, глядя на вас?

Графиня *(мечтательно смотрится в зеркальце)*. Мне? Вот посмотришь, как я буду его журить.

Сюзанна. Заставим его спеть романс. *(Кладет ноты графине на колени.)*

Графиня. Нет, правда, волосы у меня в таком беспорядке...

Сюзанна *(со смехом)*. Я подберу эти два локона, только и всего... Так вам будет удобнее его журить.

Графиня *(выйдя из задумчивости)*. Что такое вы говорите, моя милая?

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Керубино со смущенным видом, Сюзанна, графиня сидит.

Сюзанна. Войдите, господин офицер, принимают!

Керубино *(приближается, дрожа)*. Ах, сударыня, как я не люблю, когда меня так называют! Это мне напоминает, что я должен уехать из замка... уехать от моей крестной мамы, такой... доброй!..

Сюзанна. И такой прекрасной!

Керубино *(со вздохом)*. О да!

Сюзанна *(передразнивает его)*. «О да!» Благонравный юноша с такими длинными лукавыми ресницами! А ну-ка, певчая птичка, спойте графине романс!

Графиня *(раскрывает ноты)*. Кто же... кто же его сочинил?

Сюзанна. Смотрите, он себя выдал: покраснел, как маков цвет.

Керубино. Разве запрещено... обожать?

Сюзанна *(подносит к его носу кулак)*. Сейчас все расскажу, плутишка!

Графиня. Может быть... он нам споет?

Керубино. Ах, сударыня, я так взволнован!..

Сюзанна *(со смехом)*. Тю-тю-тю! Уж раз ее сиятельству хочется послушать, значит, скромный автор, я прямо начинаю вам аккомпанировать.

Графиня. Возьми мою гитару.

Графиня сидя следит по нотам. Сюзанна, стоя за креслом и заглядывая в ноты через плечо графини, играет вступление. Маленький паж с опущенными глазами стоит перед графиней. Вся картина должна напоминать прелестную гравюру Ванлоо «Беседа испанцев».

РОМАНС

На мотив «Мальбрук в поход собрался»

1

Мой конь летит на воле
(А сердце сжалось от боли),
Я еду в чистом поле,
Поводья опустив...

2

Поводья опустив
И голову склонив,
В душе и тоска и жалость
(А сердце от боли сжалось).
И сладко мне мечталось
О крестной о моей!

3

О крестной о моей
Я плакал все сильней,
И на коре древесной
(А сердцу в груди так тесно)
Владычицы чудесной
Я имя начертил,
А тут король проходил...

4

Король тут проходил
И взор ко мне обратил,
И королева в шутку
(А сердцу стало так жутко)
Спросила: «Мой паж, малютка!
Ты плачешь в тишине —

5

Ты плачешь в тишине,
О чем, поведай мне?»
Я ей в ответ уныло
(А сердце сдержать нет силы):
«Ничто, ничто мне не мило,
Я крестную люблю!

6

Я крестную люблю
И горько слезы лью».
Она мне в ответ: «Пустое
(А сердце плачет и ноет),
Об этом плакать не стоит,
Берусь я тебе помочь!

7

Берусь я тебе помочь.
Возьми полковника дочь —
Елену молодую
(А сердце бьется, тоскуя).
Ее тебе даю я
И сватаю тебя.

8

Я сватаю тебя».
Но я в ответ, скорбя:
«Жениться мне не придется
(А сердце так сильно бьется),
Пусть сердце разорвется,
Погибну я, любя!..»

Графиня. Тут есть непосредственность... даже настоящее чувство.

Сюзанна *(кладет гитару на кресло)*. О, что касается чувства, то этот юноша... Да, кстати, господин офицер, известно ли вам, что мы намерены как можно веселее провести нынешний вечер и поэтому желаем знать заранее, подойдет ли вам одно из моих платьев?

Графиня. Боюсь, что нет.

Сюзанна *(становится рядом с ним)*. Мы одного роста. Прежде всего долой плащ. *(Расстегивает ему плащ.)*

Графиня. А вдруг кто-нибудь войдет?

Сюзанна. Да разве мы делаем что-нибудь дурное? Я сейчас запру дверь. *(Бежит к двери.)* Теперь надо подумать о головном уборе.

Графиня. Там, на туалетном столике, мой чепец.

Сюзанна идет в туалетную комнату, дверь в которую находится в первой кулисе.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Керубино, графиня сидит.

Графиня. До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока составлялся приказ о вашем назначении в полк, нам пришло в голову...

Керубино *(показывает ей бумагу)*. Увы, ваше сиятельство, приказ — вот он: граф передал мне его через Базиля.

Графиня. Уже! Лишней минутки не дадут побыть. *(Читает приказ.)* Они так торопились, что забыли поставить печать. *(Возвращает ему бумагу.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Керубино, графиня, Сюзанна.

Сюзанна *(входит с большим чепцом в руках)*. Печать? На чем?

Графиня. На его приказе.

Сюзанна. Уже есть приказ?

Графиня. В том-то и дело. Это мой чепец?

Сюзанна *(садится подле графини)*. Да, самый красивый. *(Напевает, держа во рту булавки.)*

То так, то сяк, то вверх, то вниз,
А ну, дружок мой, повернись...

Керубино становится перед ней на колени; она его причесывает.

Сударыня! До чего же он мил!

Графиня. Поправь ему воротничок, чтобы больше было похоже на женский.

Сюзанна *(поправляет воротничок)*. Вот... Посмотрите-ка на этого молокососа, какая из него вышла хорошенькая девушка! Я просто завидую! *(Берет его за подбородок.)* Сделайте милость, перестаньте быть таким хорошеньким!

Графиня. Сумасбродка! Нужно засучить рукава, чтобы лучше сидели манжеты. *(Подбирает ему рукава.)* Что это у него на руке? Лента?

Сюзанна. Да еще ваша. Очень рада, что вы ее увидели. Я его предупреждала, что возьму да все вам и расскажу! О, если бы не вошел его сиятельство, я бы у него ленту отняла: ведь у нас с ним силы почти одинаковые.

Графиня. На ней кровь! *(Снимает ленту.)*

Керубино *(сконфужен)*. Сегодня утром, собираясь ехать, я взнуздывал коня, конь мотнул головой и трензелем оцарапал мне руку.

Графиня. Кто же перевязывает лентой...

Сюзанна. Да еще и краденой. Ну-ка, посмотрим, что этот трензель-вензель, или как его там... ничего я не понимаю в этих названиях... Ах, какая у него белая рука! Совсем как женская! Еще белее моей! Посмотрите, сударыня. *(Сравнивает его руку со своей.)*

Графиня *(холодно)*. Лучше принесите из туалетной комнаты пластырь.

Сюзанна, смеясь, толкает Керубино в затылок, Керубино падает на обе руки. Сюзанна уходит в туалетную комнату.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Графиня сидит, Керубино на коленях.
Графиня некоторое время молча рассматривает ленту. Керубино не сводит с нее глаз.

Графиня. Из-за этой ленты, сударь... так как это мой любимый цвет... мне было очень досадно, что она пропала.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Графиня сидит, Керубино на коленях, Сюзанна.

Сюзанна *(входя)*. Перевязать ему руку? *(Подает графине пластырь и ножницы.)*

Графиня. Пойдешь ему за платьем, принеси заодно ленту от другого чепца.

Сюзанна уходит в среднюю дверь и уносит плащ Керубино.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Керубино на коленях, графиня сидит.

Керубино *(опустив глаза)*. Та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.

Графиня. Каким же образом? *(Показывает ему пластырь.)* Вот это будет вернее.

Керубино *(запинаясь)*. Лента, которой... которой были перевязаны волосы... или которая касалась кожи человека...

Графиня. Человека совершенно постороннего, и вдруг, оказывается, она залечивает раны? Не знала я такого свойства. Чтобы проверить, я эту ленту, которою была перевязана ваша рука, оставлю у себя. При первой же царапине... у кого-нибудь из моих служанок... я подвергну ее испытанию.

Керубино *(с глубокой грустью)*. Лента останется у вас, а я уезжаю.

Графиня. Не навсегда же.

Керубино. Я так несчастен!

Графиня *(растрогана)*. Да он плачет! А все противный Фигаро со своим напутствием!

Керубино *(горячо)*. О, как бы я желал, чтобы скорей наступило то роковое мгновение, которое он мне пророчил! Если б я знал наверное, что вот сейчас умру, уста мои, быть может, дерзнули бы...

Графиня *(утирая ему слезы платком, прерывает его)*. Молчите, молчите, дитя! Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла.

Стук в дверь.

(Громко.) Кто это ко мне стучится?

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Графиня, Керубино, граф за сценой.

Граф *(за сценой)*. Почему вы заперлись?

Графиня *(в смятении встает)*. Это мой муж! Боже милосердный! *(К Керубино, который тоже встает.)* Вы без плаща, с голыми руками и голой шеей, наедине со мной, в таком виде, а тут еще анонимное письмо, его ревность!..

Граф *(за сценой)*. Что же вы не отпираете?

Графиня. Дело в том, что... я здесь одна.

Граф *(за сценой)*. Одна? С кем же вы разговариваете?

Графиня *(не сразу)*. С вами, разумеется.

Керубино *(в сторону)*. После того, что произошло вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте! *(Бежит в туалетную комнату и затворяет за собой дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Графиня одна, вынимает из этой двери ключ и бежит отпереть графу.

Графиня. Ах, какая неосторожность! Какая неосторожность!

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Граф, графиня.

Граф *(несколько раздраженным тоном)*. Прежде вы не имели обыкновения запираться!

Графиня *(в смущении)*. Я... я разбирала... да, я разбирала с Сюзанной платья. Она только что ушла к себе.

Граф *(испытующе на нее смотрит)*. Ваш вид, ваш голос — все свидетельствует о том, что вы в сильнейшем беспокойстве.

Графиня. Тут нет ничего удивительного... совершенно ничего удивительного... поверьте... мы говорили о вас... Сюзанна, повторяю, только что вышла.

Граф. Вы говорили обо мне?.. Я возвратился с охоты, потому что меня встревожило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, а все же... она меня расстроила.

Графиня. Что такое, граф?.. Какая записка?

Граф. Должно сознаться, графиня, что или вы, или я... что мы окружены людьми... очень злыми! Меня уведомляют, что в течение дня некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидания с вами.

Графиня. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы для этого проникнуть сюда: ведь я решила весь день никуда из моей комнаты не выходить.

Граф. А вечером на свадьбу Сюзанны?

Графиня. Никуда решительно, мне очень нездоровится.

Граф. К счастью, доктор здесь.

Керубино в туалетной комнате опрокидывает стул.

Что это за стук?

Графиня *(окончательно растерявшись)*. Какой стук?

Граф. Там кто-то опрокинул стул.

Графиня. Я... я ничего не слыхала.

Граф. Видимо, вы чем-то страшно озабочены.

Графиня. Озабочена? Чем же?

Граф. В туалетной комнате кто-то есть.

Графиня. Ну, а... кто же там может быть?

Граф. Об этом я вас и спрашиваю. Я только что вошел.

Графиня. Кто, кто... наверно, Сюзанна убирает.

Граф. Вы сами сказали, что она прошла к себе!

Графиня. Прошла к себе, а может быть, туда... не знаю.

Граф. Если Сюзанна, то почему же вы в таком смятении?

Графиня. В смятении из-за моей камеристки?

Граф. Не знаю, из-за камеристки ли, но что вы смущены, так это несомненно.

Графиня. Эта девушка, несомненно, смущает вас, граф, и мысли ваши заняты ею гораздо больше, чем мной.

Граф *(гневно)*. Мои мысли заняты ею до такой степени, что я хочу ее видеть немедленно.

Графиня. Я вполне допускаю, что вы часто этого хотите, но уж подозрения ваши имеют под собой так мало оснований...

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Граф, графиня, Сюзанна входит с платьем и затворяет за собой среднюю дверь.

Граф. Тем легче будет их рассеять! *(Кричит в сторону туалетной комнаты.)* Выходите, Сюзон, я вам приказываю!

Сюзанна останавливается подле алькова.

Графиня. Она почти раздета, граф. Разве можно так врываться к женщинам? Она примеряла платья, которые я ей дарю к свадьбе, услыхала, что вы идете, и убежала.

Граф. Если она так боится показаться, то говорить-то ей, во всяком случае, можно. *(Поворачивается лицом к туалетной комнате.)* Отвечайте, Сюзанна, вы в туалетной?

Сюзанна, стоявшая в глубине комнаты, при этих словах бросается в альков и там прячется.

Графиня *(живо повернувшись лицом к туалетной)*. Сюзон! Я запрещаю вам отвечать. *(Графу.)* Неслыханное тиранство!

Граф *(бросается к туалетной)*. Хорошо же! Одета она или не одета, а раз она молчит, я должен ее увидеть.

Графиня *(становится между ним и дверью)*. В любом другом месте я бессильна вам помешать, но я надеюсь, что в моей комнате...

Граф. А я надеюсь сейчас же узнать, что это за таинственная Сюзанна. Просить у вас ключ, по-видимому, бесполезно, но выломать эту легкую дверь ничего не стоит. Эй, ко мне!

Графиня. По одному только подозрению созывать слуг, поднимать шум! Да ведь мы же себя опозорим в глазах всего замка!

Граф. Вы совершенно правы, графиня. В самом деле, я и один справлюсь. Сейчас я только принесу все, что нужно... *(Направляется к выходу и возвращается.)* Однако тут все должно оставаться как есть, а потому не угодно ли вам без скандала и шума, которых вы так не любите, пойти со мной? Надеюсь, в таком пустяке вы уж мне не откажете?

Графиня *(в смущении)*. Что вы, граф, я и не собираюсь идти вам наперекор!

Граф. Ах да, я и забыл про дверь на женскую половину! Нужно и ее запереть, тогда вы будете передо мной совершенно чисты. *(Запирает среднюю дверь и вынимает ключ.)*

Графиня *(в сторону)*. Боже! Непоправимая оплошность!

Граф *(возвращаясь)*. Итак, комната заперта, теперь позвольте предложить вам руку. *(Громко.)* Ну, а та Сюзанна, которая находится в туалетной, пусть потрудится подождать меня. Когда же я вернусь, то самым слабым ей наказанием...

Графиня. Сказать по совести, граф, все это до того возмутительно...

Граф уводит ее и запирает за собой дверь.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Сюзанна, Керубино.

Сюзанна *(выходит из алькова, подбегает к туалетной комнате и говорит в замочную скважину)*. Отворите, Керубино, скорее отворите, это Сюзанна, отворите и выходите!

Керубино *(выходит)*. Ах, Сюзон, какое ужасное происшествие!

Сюзанна. Уходите отсюда сию же минуту.

Керубино *(растерян)*. А куда же уходить?

Сюзанна. Это ваше дело, только уходите.

Керубино. А если некуда?

Сюзанна. После той встречи он и вас в порошок сотрет, и нам несдобровать. Бегите к Фигаро и все расскажите...

Керубино. Быть может, окно в сад не так уж высоко. *(Подбегает и смотрит.)*

Сюзанна *(в ужасе)*. Целый этаж! Немыслимо! Ах, бедная графиня! А моя свадьба? Боже!

Керубино *(возвращается)*. Окно выходит в цветник — одну-две клумбы придется испортить.

Сюзанна *(удерживает его)*. Вы разобьетесь!

Керубино *(восторженно)*. В пылающую бездну — и туда, Сюзон, бросился бы я, лишь бы ничем не повредить ей... А вот этот поцелуй принесет мне счастье. *(Целует ее и прыгает в окно.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Сюзанна одна.

Сюзанна *(в ужасе)*. Ах! *(Падает в кресло. Пересилив себя, подходит к окну и сейчас же возвращается.)* И след простыл. Ах, сорванец! Так же ловок, как и красив! Вот уж сердцеед-то будет... А ну-ка скорей на его место! *(Входя в туалетную.)* Теперь, ваше сиятельство, можете ломать перегородку, если вам это доставляет удовольствие, а уж я как воды в рот наберу. *(Запирается.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Граф и графиня входят в комнату.

Граф *(бросает на кресло клещи)*. Все как было. Прежде чем я стану ломать дверь, подумайте, графиня, о последствиях. Еще раз вам предлагаю: отоприте дверь сами.

Графиня. Ах, граф, как это ужасно, когда отношения между мужем и женой портятся из-за какого-то каприза! Если б ваши дикие выходки объяснялись любовью ко мне, несмотря на все их безумие, я бы вам простила их. Ради вызвавшей их причины я могла бы, пожалуй, забыть все, что в них есть для меня оскорбительного. Но как может воспитанный человек доходить до такого исступления только из ложного самолюбия?

Граф. Любовь или ложное самолюбие, а дверь вы отопрете, иначе я немедленно...

Графиня *(не пускает его)*. Остановитесь, граф, прошу вас. Неужели вы думаете, что я способна забыть свой долг?

Граф. Говорите, сударыня, что вам угодно, а я все-таки увижу, кто прячется в той комнате!

Графиня *(растерянно)*. Хорошо, граф, вы увидите. Выслушайте меня... спокойно...

Граф. Значит, там не Сюзанна?

Графиня *(робко)*. Во всяком случае, этот человек... вам совсем не опасен... Мы было придумали одну шутку... право, очень невинную, для сегодняшнего вечера... и я вам клянусь...

Граф. Вы мне клянетесь?

Графиня. Что и он и я были далеки от мысли вас оскорбить.

Граф *(поспешно)*. «И он и я»! Значит, это мужчина?

Графиня. Мальчик, граф.

Граф. Кто же?

Графиня. Не решаюсь сказать!

Граф *(в бешенстве)*. Я его убью!

Графиня. Боже правый!

Граф. Говорите!

Графиня. Это маленький... Керубино...

Граф. Керубино? Наглец! Так вот она, разгадка моих подозрений и анонимной записки!

Графиня *(складывая руки)*. Ах, граф, только не думайте...

Граф *(топает ногой; про себя)*. Вечно этот проклятый паж! *(Вслух.)* Отоприте же, графиня, теперь я знаю все! Вы не были бы так взволнованы, прощаясь с ним утром, он уехал бы тогда, когда я ему приказал, вам не надо было бы придумывать разные небылицы про Сюзанну и его бы так тщательно не прятали, если бы во всем этом не было ничего преступного.

Графиня. Он боялся, что вы рассердитесь, когда его увидите.

Граф *(вне себя, кричит в сторону туалетной комнаты)*. Выходи же, скверный мальчишка!

Графиня *(берет графа за талию и пытается отвести в сторону)*. Граф, граф! Вы так разгневаны, что я трепещу за него. Не доверяйтесь напрасному подозрению, умоляю вас, и тот беспорядок в его одежде, который вы заметите...

Граф. Беспорядок в одежде?

Графиня. Увы, да! Он решил нарядиться женщиной: на голове — мой убор, в одной курточке, без плаща, шея открыта, рукава засучены. Он собирался примерить...

Граф. И вы хотели остаться с ним в одной комнате! Недостойная супруга! Ну так вы останетесь в ней... надолго. Однако прежде я должен выгнать оттуда наглеца, да так выгнать, чтобы он никогда больше не попадался мне на глаза.

Графиня *(подняв руки, падает на колени)*. Граф! Пощадите ребенка! Я себе не прощу, что послужила причиной...

Граф. Ваше смятение отягчает его вину.

Графиня. Он не виноват, он собирался ехать, это я его позвала.

Граф *(в бешенстве)*. Встаньте! Отойдите!.. Это слишком большая дерзость с вашей стороны — просить за другого!

Графиня. Хорошо, граф, я отойду, я встану, я отдам вам даже ключ от туалетной, но ради нашей любви...

Граф. Моей любви, коварная!

Графиня *(встает и отдает ему ключ)*. Обещайте мне, что мальчику вы ничего не сделаете; пусть вся ваша ярость обрушится на меня в том случае, если я не сумею перед вами оправдаться!..

Граф *(берет ключ)*. Я ничего больше не желаю слушать.

Графиня *(закрыв глаза платком, падает в кресло)*. Боже! Он погиб!

Граф *(отворяет дверь и сейчас же отступает)*. Сюзанна!

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Графиня, граф, Сюзанна.

Сюзанна *(выходит со смехом)*. «Я его убью, я его убью!» Ну так убивайте же этого несносного пажа!

Граф *(в сторону)*. Вот я и в дураках! *(Смотрит на графиню, которая все еще не может опомниться.)* А вы почему делаете вид, что изумлены?.. Быть может, она была там не одна. *(Уходит в туалетную комнату.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Графиня сидит, Сюзанна.

Сюзанна *(подбегает к графине)*. Успокойтесь, сударыня, его уже и след простыл, он выпрыгнул...

Графиня. Ах, Сюзон, я чуть жива!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Графиня сидит, Сюзанна, граф.

Граф *(сконфуженный, выходит из туалетной. После непродолжительного молчания)*. Никого нет, на сей раз я ошибся. Вы, сударыня... отлично сыграли свою роль.

Сюзанна *(весело)*. А я, ваше сиятельство?

Графиня, чтобы не выдать своего волнения, молчит, прикрыв рот платком.

Граф *(приближается к ней)*. Итак, графиня, вы просто дурачились?

Графиня *(постепенно овладевая собой)*. А почему бы и не подурачиться, граф?

Граф. Какая чудовищная шутка! И за что, скажите, пожалуйста?

Графиня. Разве ваши безумные выходки заслуживают снисхождения?

Граф. Когда дело идет о чести, это уже нельзя назвать выходками!

Графиня *(все более и более уверенным тоном)*. Неужели я стала вашей подругой жизни только для того, чтобы вечно терпеть холодность и ревность, которые только вы один и умеете в себе сочетать?

Граф. Ах, графиня, это жестоко!

Сюзанна. Хороши бы вы были, если б ее сиятельство не отговорила вас позвать слуг!

Граф. Это верно, беру все свои слова обратно... Виноват, мне так неловко...

Сюзанна. Сознайтесь, ваше сиятельство, что это вам, пожалуй, поделом.

Граф. А отчего ты, негодница, не выходила, когда я тебя звал?

Сюзанна. Я же в это время одевалась на скорую руку,— у меня все держится на булавках,— так что ее сиятельство была совершенно права, что запрещала мне выходить.

Граф. Чем напоминать мне мои промахи, лучше помирила бы меня с графиней.

Графиня. Нет, граф, подобные обиды не забываются. Я уйду в монастырь урсулинок — я вижу ясно, что мне пора это сделать.

Граф. И вы способны покинуть меня без малейшего сожаления?

Сюзанна *(графине)*. Я убеждена, что день вашего отъезда был бы для вас кануном обильных слез.

Графиня. Пусть так, Сюзон, но я предпочитаю о нем тосковать, чем по слабости душевной простить ему: он меня слишком горько обидел.

Граф. Розина!..

Графиня. Я уже не та Розина, которой вы так добивались! Я бедная графиня Альмавива, печальная, покинутая супруга, которую вы уже не любите.

Сюзанна. Сударыня!

Граф *(умоляюще)*. Сжальтесь!

Графиня. У вас ко мне жалости нет.

Граф. Но ведь тут еще эта записка... Она привела меня в ярость!

Графиня. Я была против этой записки.

Граф. Так вы о ней знали?

Графиня. Это легкомысленный Фигаро...

Граф. Что же он?

Графиня. Передал ее Базилю.

Граф. А Базиль мне сказал, что ему ее передал какой-то крестьянин. Ну, смотри, двоедушный певун, переметная сума, ты мне заплатишь за все!

Графиня. Сами просите прощения, а других не прощаете,— вот они, мужчины! Ах, если б я, приняв в соображение, что вас сбила с толку записка, и согласилась простить вас, то уж потребовала бы всеобщей амнистии!

Граф. Ну что ж, с великим удовольствием, графиня. Но только как исправить столь унизительную ошибку?

Графиня *(встает)*. Она была унизительна для нас обоих.

Граф. О нет, только для меня одного! Остается, однако, непостижимым, каким образом женщины так быстро принимают соответствующий вид и берут верный тон. Вы залились румянцем, вы плакали... на лице вашем было написано смятение... да, право, вы и сейчас еще смущены!

Графиня *(силясь улыбнуться)*. Я покраснела... от досады на ваши подозрения. Но разве мужчины бывают когда-нибудь настолько проницательны, чтобы суметь отличить негодование чистой, незаслуженно оскорбленной души от замешательства, вызванного обвинением справедливым?

Граф *(улыбаясь)*. Ну, а паж в неподобающем виде, полураздетый, в одной курточке...

Графиня *(указывая на Сюзанну)*. Вот он перед вами. Вы же от этого только выиграли, не правда ли? Вообще с этим именно пажом вы ведь как будто не избегаете встреч?

Граф *(сквозь смех)*. А мольбы, а притворные слезы...

Графиня. Вы меня смешите, а мне не очень хочется смеяться.

Граф. Мы-то воображали, что кое-что смыслим в дипломатии,— какое там: мы — сущие дети. Это вас, это вас, сударыня, король должен был бы назначить посланником в Лондон! По-видимому, прекрасный пол тщательно изучил искусство притворяться, иначе вам бы не достигнуть таких вершин!

Графиня. Вы же нас на это толкаете.

Сюзанна. Поверьте нам на слово и тогда увидите, честные мы люди или нет.

Графиня. Давайте с этим покончим, граф. Быть может, я зашла слишком далеко, но снисходительность, которую в таких важных обстоятельствах проявила я, во всяком случае, заслуживает, чтобы и вы ее проявили.

Граф. Скажите же еще раз, что вы меня прощаете.

Графиня. Разве я это говорила, Сюзон?

Сюзанна. Я не слыхала, сударыня.

Граф. Так произнесите же наконец это слово!

Графиня. Стоите ли вы этого, бессердечный человек?

Граф. Стою, потому что признал свою вину.

Сюзанна. Подозревать, что в туалетной комнате графини спрятан мужчина!

Граф. Она уже меня так строго за это наказала!

Сюзанна. Не верить ей, когда она говорит, что это ее камеристка!

Граф. Розина! Неужели вы неумолимы?

Графиня. Ах, Сюзон, какая я слабая женщина! Какой пример я подаю тебе! *(Протягивает графу руку.)* Вот и верь после этого женскому гневу!

Сюзанна. И то правда, сударыня, разве можно с мужчинами не помириться?

Граф горячо целует руку жене.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Сюзанна, Фигаро, графиня, граф.

Фигаро *(вбегает, запыхавшись)*. Мне сказали, что графиня больна. Я бежал сломя голову и с радостью вижу, что все благополучно.

Граф *(сухо)*. Вы необыкновенно внимательны.

Фигаро. Это мой долг. Но раз все благополучно, то осмелюсь доложить, ваше сиятельство, что молодые ваши вассалы

обоего пола собрались внизу со скрипками и волынками и ждут, когда вы мне позволите вести невесту...

Граф. А кто же останется в замке присматривать за графиней?

Фигаро. Присматривать? Да ведь графиня здорова.

Граф. Здорова-то здорова, а что, если незнакомый мужчина явится к ней на свидание?

Фигаро. Какой незнакомый мужчина?

Граф. Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.

Фигаро. Кто вам сказал?

Граф. Если б даже я ничего не знал об этом прежде, мошенник, то по твоей физиономии, которая тебя выдает, я бы сейчас догадался, что ты лжешь.

Фигаро. Значит, это не я лгу, а моя физиономия.

Сюзанна. Послушай, бедный мой Фигаро, не расточай ты попусту своего красноречия: мы рассказали все.

Фигаро. Да что все? Вы обходитесь со мной, точно с каким-нибудь Базилем.

Сюзанна. Рассказали, что ты написал записку для того, чтобы его спятельство, возвратившись с охоты, подумал, будто маленький паж находится в туалетной, где я в это время переодевалась.

Граф. Что ты можешь ей возразить?

Графиня. Запираться больше не для чего, Фигаро: шутка окончена.

Фигаро *(стараясь понять)*. Шутка... окончена?

Граф. Да, окончена. Что ты на это скажешь?

Фигаро. Что я могу сказать! Я скажу, что... я очень бы хотел, чтобы то же самое можно было сказать о моей свадьбе, и если вам угодно будет распорядиться...

Граф. Тем самым ты признаешь, что это ты написал записку?

Фигаро. Раз этого желает графиня, раз этого желает Сюзанна, раз этого желаете вы сами, то, значит, нужно, чтобы и я пожелал признаться, хотя, собственно говоря, ваше спятельство, я бы на вашем месте не поверил ни единому слову из того, что мы тут вам рассказывали.

Граф. Вечно лжет, несмотря на полную очевидность! В конце концов, мне это надоело.

Графиня *(со смехом)*. Бедный малый! Зачем же требовать от него, чтобы он на этот раз говорил правду?

Фигаро *(Сюзанне, тихо)*. Я предупредил его об опасности — это долг всякого порядочного человека.

Сюзанна *(тихо)*. Ты видел маленького пажа?

Фигаро *(тихо)*. Все никак не может опомниться.

Сюзанна *(тихо)*. Ах, бедняжка!

Графиня. Однако, граф, они сгорают от нетерпения отпраздновать свадьбу, это так естественно! Пойдемте, начнем торжество.

Граф *(в сторону)*. Но Марселина, Марселина... *(Вслух.)* Мне нужно хотя бы... переодеться.

Графиня. Ради слуг? Я ведь тоже не одета.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Фигаро, Сюзанна, графиня, граф, Антонио.

Антонио *(под хмельком, держит в руках горшок с помятыми левкоями)*. Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!

Граф. Что тебе, Антонио?

Антонио. Прикажите наконец забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую-то всячину, а нынче еще лучше: целого мужчину выбросили.

Граф. Из этих окон?

Антонио. Посмотрите, что с моими левкоями сделали!

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Выручай, Фигаро! Выручай!

Фигаро. Ваше сиятельство! Он с утра пьян.

Антонио. Ничуть не бывало, это еще остаток вчерашнего. Вот что значит... рубить сплеча.

Граф *(вскипев)*. Где же он, где же он, этот мужчина?

Антонио. Где он?

Граф. Да, где?

Антонио. Я про то и спрашиваю. Пусть мне его во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга, вы мне доверили ваш сад, туда упал мужчина, так что вы понимаете... тут задета моя честь.

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Мечи петли, мечи петли!

Фигаро. Ты что же, так все и будешь пить?

Антонио. Перестань я пить, я бешеный сделаюсь.

Графиня. Однако пить без всякого повода...

Антонио. Пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью — только этим, сударыня, мы и отличаемся от других животных.

Граф *(в сердцах)*. Отвечай же наконец, иначе я тебя выгоню вон.

Антонио. Да разве я уйду?

Граф. Что такое?

Антонио *(тычет себя в лоб)*. Ежели тут у вас так мало, что вы не дорожите добрым слугою, то я-то уж не так глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.

Граф *(в бешенстве трясет его)*. Ты говоришь, что в это окно выбросили мужчину?

Антонио. Да, ваше сиятельство, только что, в белой куртке, и задал же окаянный стрекача!..

Граф *(в нетерпении)*. Ну?

Антонио. Я было за ним, да так лихо приладился рукой об решетку, что до сих пор у меня вот этот палец ни туда ни сюда. *(Показывает палец.)*

Граф. А ты узнал бы этого мужчину?

Антонио. Еще бы!.. Ежели б только успел его разглядеть.

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Он его не видел.

Фигаро. Из-за горшка с цветами — и такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство! Не трудитесь искать: это я выпрыгнул.

Граф. То есть как ты?

Антонио. «Сколько тебе, плакса?» Стало быть, вы раздались за это время: давеча вы были щупленький и куда меньше ростом!

Фигаро. Ну, понятно: когда прыгаешь, всегда поджимаешься...

Антонио. А мне сдается, что скорей всего выскочил в окно... этот топкий, как петушья нога, паж.

Граф. Ты хочешь сказать — Керубино?

Фигаро. Вот-вот, он нарочно для этого приехал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.

Антонио. Ну нет, этого я не говорю, этого я не говорю: я не видел, чтобы выпрыгнул конь, иначе я бы так и сказал.

Граф. И терпение же с тобой нужно!

Фигаро. Я был на женской половине, в белой куртке: ведь сегодня такая жара!.. Я ждал Сюзанетту,— вдруг слышу голос его сиятельства, невероятный шум, и тут, сам не знаю почему, на меня напал страх из-за этой записки,— тогда я от великого ума прыгнул, нимало не медля, на клумбы и даже слегка ушиб правую ногу. *(Потирает ногу.)*

Антонио. Раз это были вы, стало быть, вам я и должен отдать клочок бумаги, который выпал у вас из куртки, когда вы падали.

Граф *(выхватывает у него из рук бумагу)*. Дай сюда. *(Развертывает бумагу и вновь складывает.)*

Фигаро *(в сторону)*. Попался!

Граф *(к Фигаро)*. Полагаю, что вы, однако ж, не были так напуганы, чтобы забыть, о чем в этой бумаге говорится и каким образом очутилась она в вашем кармане.

Фигаро *(в замешательстве роется у себя в карманах и вытаскивает оттуда разные бумаги)*. Разумеется, не забыл... но только у меня их так много! На каждую приходится отвечать... *(Просматривает одну из бумаг.)* Это что? А, это письмо от Марселины, на четырех страницах: чудесное письмецо!.. Не выронил ли я прошение того бедняги браконьера, которого посадили в тюрьму?.. Нет, вот оно... В другом кармане у меня была опись мебели малого замка...

Граф развертывает бумагу, которая у него в руках.

Графиня *(к Сюзанне, тихо)*. Боже мой, Сюзон! Это приказ о назначении Керубино!

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Все пропало — это приказ.

Граф *(складывает бумагу)*. Ну-с, так как же, мастер по части уверток, не можете припомнить?

Антонио *(подходит к Фигаро)*. Его сиятельство спрашивает, можете вы припомнить или нет.

Фигаро *(отталкивает его)*. Всякая дрянь будет тут еще бурчать у меня под носом!

Граф. Память вам не подсказывает, что бы это могло быть?

Фигаро. Ах-ах-ах, *povero!* [1] Да это же, наверно, приказ о назначении бедного нашего мальчугана: он мне его дал, а я забыл ему вернуть. Ах-ах-ах! Какой же я шалый! Что он будет делать без приказа? Надо скорей бежать...

Граф. Зачем же он вам его передал?

Фигаро *(в замешательстве)*. Он говорил... он говорил, что тут еще чего-то недостает.

Граф *(взглянув на бумагу)*. Здесь больше ничего не требуется.

Графиня *(к Сюзанне, тихо)*. Печать.

---

[1] Бедняга! *(итал.)*

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Печати не хватает.

Граф *(к Фигаро)*. Что же вы молчите?

Фигаро. Дело в том, что... дело в том, что тут действительно недостает самой малости. Но он все-таки говорил, что без этого нельзя.

Граф. Нельзя! Нельзя! Без чего нельзя?

Фигаро. Без печати с вашим гербом. Впрочем, может быть, это и не нужно.

Граф *(развертывает бумагу и в бешенстве комкает ее)*. Видно, мне так и не добиться истины. *(В сторону.)* Это все штучки Фигаро,— когда же я ему наконец отомщу? *(В порыве досады направляется к выходу.)*

Фигаро *(удерживает его)*. Вы уходите, не отдав никаких распоряжений насчет моей свадьбы?

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Базиль, Бартоло, Марселина, Фигаро, граф, Гриссолейль, графиня, Сюзанна, Антонио, слуги, крестьяне.

Марселина *(графу)*. Не отдавайте распоряжений, ваше сиятельство! Прежде чем оказывать ему милость, вы должны рассудить нас по справедливости. Он связан со мной некоторыми обязательствами.

Граф *(в сторону)*. Вот она, моя месть.

Фигаро. Обязательствами? Какого рода? Объяснитесь.

Марселина. Да, я сейчас объяснюсь, бесчестный человек!

Графиня садится в кресло, Сюзанна становится позади.

Граф. О чем идет речь, Марселина?

Марселина. О брачном обязательстве.

Фигаро. Расписка в том, что я взял у нее денег взаймы, только и всего.

Марселина. С условием на мне жениться. Вы, ваше сиятельство,— вельможа, верховный судья провинции...

Граф. Обратитесь в суд, я готов каждого рассудить по справедливости.

Базиль *(указывая на Марселину)*. В таком случае, ваше величие, позвольте и мне предъявить права на Марселину.

Граф *(в сторону)*. А, вот и другой мошенник, морочивший мне голову запиской!

Фигаро. Еще один такой же помешанный!

Граф *(Базилю, гневно)*. Предъявить права! Предъявить права! И у вас хватает совести с чем бы то ни было ко мне обращаться, олух царя небесного?

Антонио *(хлопая в ладоши)*. Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал — очень подходящее название!

Граф. Марселина! Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний, каковое рассмотрение явится предметом открытого судебного заседания в большой аудиенц-зале. А вы, почтенный Базиль, верный и надежный слуга, ступайте в село и созовите членов суда.

Базиль. Для разбора ее дела?

Граф. И заодно приведите крестьянина, от которого вы получили записку.

Базиль. Откуда я его знаю?

Граф. Вы отказываетесь?

Базиль. Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.

Граф. А для чего же?

Базиль. Я лучший местный органист, я учу ее сиятельство играть на клавесине, даю уроки пения ее камеристкам и уроки мандолины пажам, главная же моя обязанность — развлекать ваше общество игрою на гитаре, когда вам бывает угодно мне это приказать.

Грипсолейль *(выступая вперед)*. Пошлите меня, ваше сиятельство, я живо слетаю.

Граф. Как тебя зовут и кто ты такой?

Грипсолейль. Я, ваше вельможество,— Грипсолейль, подпасок: козочек, значит, пасу, а сюда меня вытребовали насчет потешных огней,— праздник ведь нынче у вас. А здешних судейских крючков я всех наперечет знаю.

Граф. Хвалю за усердие, ступай. А вы *(обращаясь к Базилю)* будете сопровождать этого господина и дорогой развлекать его игрой на гитаре и пением: он тоже принадлежит к моему обществу.

Грипсолейль *(радостно)*. Что? Я? К вашему...

Сюзанна дергает его за рукав и указывает на графиню.

Базиль *(в изумлении)*. Чтобы я сопровождал Грипсолейля и играл ему на гитаре?

Граф. Это ваша обязанность. Ступайте, не то я вас прогоню. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Те же, кроме графа.

Базиль *(сам с собой)*. Нет уж, с сильным не борись, куда уж мне...

Фигаро. Такому болвану.

Базиль *(в сторону)*. Чем хлопотать об их свадьбе, лучше-ка я устрою свою с Марселиной. *(К Фигаро.)* Послушайся ты моего совета: ничего не решай до моего возвращения. *(Направляется в глубину сцены, чтобы взять с кресла гитару.)*

Фигаро *(идет за ним)*. Решать? О нет, не бойся! Даже если б ты никогда не вернулся... Тебе, кажется, не очень хочется петь,— хочешь, я начну?.. А ну, давай весело, громко, ля-ми-ля — в честь моей невесты! *(Пятясь к двери, приплясывает и поет сегидилью; Базиль ему аккомпанирует; все идут следом за ними.)*

СЕГИДИЛЬЯ

Ни к чему мне богатство,
Милей приятство
Моей Сюзон,
Зон, зон, зон,
Зон, зон, зон,
Зон, зон, зон,
Зон, зон, зон!
С ней мне ввек не расстаться,
В ней сомневаться
Мне не резон,
Зон, зон, зон,
Зон, зон, зон,
Зон, зон, зон,
Зон, зон, зон!

Шум удаляется; конца песни не слышно.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Сюзанна, графиня.

Графиня *(в кресле)*. Видишь, Сюзанна, какую чудную сцену мне пришлось вынести из-за твоего сумасброда с его анонимной запиской.

Сюзанна. Ах, сударыня, если бы вы видели свое лицо в то время, когда я вышла из туалетной! Вы вдруг помертвели, но это длилось мгновение, а затем начали краснеть, краснеть, краснеть!

Графиня. Итак, он выпрыгнул в окно?

Сюзанна. Не задумываясь. Прелестный мальчик! И легкий, как пчелка!

Графиня. А тут еще этот злосчастный садовник! Все это меня до такой степени взволновало, что я никак не могла собраться с мыслями.

Сюзанна. Ах, что вы, сударыня, напротив! Только теперь я поняла, что значит светское воспитание: дамы из высшего общества научаются лгать с такой легкостью, что это у них получается совершенно незаметно.

Графиня. Ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке?

Сюзанна. Пойду скажу, чтоб его так спрятали...

Графиня. Пусть лучше уезжает. Ты понимаешь, после всего того, что произошло, я не намерена посылать его вместо тебя в сад.

Сюзанна. Я, конечно, тоже не пойду. Вот моя свадьба опять и...

Графиня *(встает)*. Погоди... Что, если бы вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?

Сюзанна. Вы, сударыня?

Графиня. Никаких третьих лиц... Тогда уж графу не отпереться... Проучить его за ревность и уличить в неверности, это было бы... Решено: счастливо окончившийся первый случай придает мне смелости попытать счастья еще раз. Сейчас же дай ему знать, что выйдешь в сад. Но только чтобы никто...

Сюзанна. А Фигаро?

Графиня. Нет, нет. Иначе он тут тоже захочет приложить руку... Подай мне мою бархатную маску и трость,— я пойду на террасу и все обдумаю.

Сюзанна уходит в туалетную.

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Графиня одна.

Графиня. Затея довольно дерзкая! *(Оборачивается.)* Ах, лента, моя милая лента, я про тебя и забыла! *(Берет с кресла ленту и свертывает ее.)* Больше я с тобой не расстанусь... Ты мне будешь напоминать этот случай, когда бедный мальчик... Ах, граф, что вы только наделали!.. А я? Что сейчас делаю я?

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Графиня, Сюзанна.

Графиня украдкой прячет ленту на груди.

Сюзанна. Вот трость и полумаска.

Графиня. Помни: Фигаро — ни полслова, я тебе это запрещаю.

Сюзанна *(в восторге)*. Сударыня! Ваш замысел великолепен! Я его оценила вполне. Он все примиряет, все завершает, все собою обнимает. Теперь, что бы ни было, моя свадьба состоится. *(Целует руку графине.)*

Обе уходят.

Во время антракта слуги приготовляют для заседания аудиенц-залу: приносят две скамьи со спинками, предназначенные для адвокатов, и ставят их по обеим сторонам сцены так, что позади каждой из них остается проход. Посреди сцены, в глубине, ставится помост, на который ведут две ступеньки; на помосте — кресло для графа. Ближе к зрителям, сбоку — стол и табурет для секретаря; по обеим сторонам помоста стулья для Бридуазона и других судей.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена представляет залу в замке, так называемую тронную, которая служит аудиенц-залой; сбоку, под балдахином, портрет короля.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Граф, Педрильо в куртке, в сапогах, держит запечатанный пакет.

Граф *(быстро)*. Ты меня хорошо понял?

Педрильо. Понял, ваше сиятельство. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Граф один.

Граф *(кричит)*. Педрильо!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Граф, Педрильо возвращается.

Педрильо. Что прикажете, ваше сиятельство?

Граф. Тебя никто не видел?

Педрильо. Ни одна живая душа.

Граф. Возьми арабского скакуна.

Педрильо. Конь возле садовой ограды, уже оседлан.

Граф. Вихрем — в Севилью!

Педрильо. До Севильи не больше трех миль, но уж зато верных.

Граф. Как приедешь, узнай, прибыл ли паж.

Педрильо. В гостинице узнать?

Граф. Да. Главное, узнай, когда именно.

Педрильо. Слушаю-с.

Граф. Отдай ему приказ и поскорей возвращайся.

Педрильо. А если его там нет?

Граф. Возвращайся еще скорее и доложи мне. Ступай.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Граф один, задумчиво ходит по комнате.

Граф. Удалив Базиля, я сделал неверный шаг!.. Гнев до добра не доводит. Базиль передает мне записку, в которой меня предупреждают, что кто-то имеет виды на графиню; при моем появлении камеристка запирается в туалетной; ее госпожа охвачена страхом, то ли деланным, то ли непритворным; какой-то мужчина прыгает в окно, а потом другой признается... а может быть, хочет так изобразить дело... что это будто бы он... Нить от меня ускользает. Что-то во всем этом есть неясное... Одно дело вольности, которые себе позволяют мои вассалы,— что мне до этого сорта людей? Но графиня! Вдруг какой-нибудь наглец покушается... Однако до чего же я договорился! Когда кровь бросается в голову, тут уж самое трезвое воображение и впрямь становится безумным, как бред! Она просто-напросто забавлялась: этот приглушенный смех, эта плохо скрытая радость! Нет, она блюдет свое доброе имя. Ну, а моя честь... О ней, черт возьми, позабыли? С другой стороны, я-то в каком положении? А вдруг плутовка Сюзанна выдала мою тайну?.. Благо она сама еще не является ее участницей?.. И зачем только я держусь за эту прихоть? Двадцать раз я пытался от нее отказаться... Странная нерешительность!

Если б это не стоило мне борьбы, я бы к этому совсем не так стремился. Однако Фигаро заставляет себя ждать! Надо осторожно навести его на разговор

В глубине сцены появляется Фигаро и останавливается.

и постараться всеми правдами и неправдами выведать у него, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф, Фигаро.

Фигаро *(в сторону)*. Как раз вовремя.

Граф. Если только она ему проговорилась...

Фигаро *(в сторону)*. Уж не без этого.

Граф. Я женю его на старухе.

Фигаро *(в сторону)*. На той самой, к которой пылает любовью господин Базиль?

Граф. И тогда посмотрим, как нам поступить с молодой.

Фигаро *(в сторону)*. С моей женой, будьте добры!

Граф *(оборачивается)*. А? Что? Что такое?

Фигаро *(подходит к нему)*. Я к вашим услугам.

Граф. А что ты сказал?

Фигаро. Я ничего не говорил.

Граф *(повторяет)*. «С моей женой, будьте добры».

Фигаро. Это... конец моей фразы: «Об этом поговорите с моей женой, будьте добры».

Граф *(ходит по сцене)*. С его женой!.. А позвольте узнать, сударь, почему вы так долго не являетесь, когда вас зовут?

Фигаро *(делает вид, что оправляет на себе платье)*. Я ведь упал на клумбы, ну и перепачкался. Пришлось переодеться.

Граф. На это нужен час?

Фигаро. Час не час, а время нужно.

Граф. Слуги в этом доме... одеваются дольше господ!

Фигаро. У них нет лакеев, которые могли бы им помочь.

Граф. Я не совсем понял, что вынудило вас зря подвергаться опасности и выбрасываться...

Фигаро. Подумаешь, опасность! Как будто я живьем закопался в землю...

Граф. Вы пытаетесь строить из меня дурачка и при этом сами прикидываетесь дурачком, неверный слуга! Вы прекрасно понимаете, что меня волнует не самая опасность, а причина.

Фигаро. Из-за ложного доноса вы в ярости возвращаетесь с охоты и, точно горный поток в Сьерре Морене, все опрокидываете на своем пути. Вы ищете мужчину, подай вам мужчину, не то вы сейчас высадите двери, проломите стены! Случайно я оказываюсь тут. А ну как вы в запальчивости...

Граф *(прерывает его)*. Вы могли спуститься по лестнице.

Фигаро. А вы нагнали бы меня в коридоре.

Граф *(в бешенстве)*. В коридоре! *(В сторону.)* Я теряю самообладание, а это дурно: так мне ничего не удастся узнать.

Фигаро *(в сторону)*. Он взял себя в руки, будем осторожны!

Граф *(пересилив себя)*. Я не то хотел сказать, довольно об этом. У меня... да, у меня было намерение взять тебя в Лондон в качестве дипломатического курьера... однако по зрелом размышлении...

Фигаро. Ваше сиятельство изволили передумать?

Граф. Во-первых, ты не знаешь английского языка.

Фигаро. Я знаю *god-dam* [1].

Граф. Не понимаю.

Фигаро. Я говорю, что знаю *god-dam*.

Граф. Ну?

Фигаро. Дьявольщина, до чего же хорош английский язык! Знать его надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить *god-dam*, тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать хорошей жирной курочки? Зайдите в любую харчевню, сделайте слуге вот этак *(показывает, как вращают вертел)*, *god-dam*, и вам приносят кусок солонины без хлеба. Изумительно! Вам хочется выпить стаканчик превосходного бургонского или же кларета? Сделайте так, и больше ничего. *(Показывает, как откупоривают бутылку.)* *God-dam*, вам подают пива в отличной жестяной кружке с пеной до краев. Какая прелесть! Вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локти назад и слегка покачивая бедрами? Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. Ах, *god-dam!* Она вам даст звонкую затрещину,— значит, поняла. Правда, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, однако нетрудно убедиться, что *god-dam* составляет основу их языка. И если у вашего сиятельства нет других причин оставлять меня в Испании...

Граф *(в сторону)*. Ему хочется в Лондон. Она ничего ему не сказала.

---

[1] Черт возьми *(англ.)*.

Фигаро *(в сторону)*. Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из заблуждения.

Граф. Что это вздумалось графине сыграть со мной такую шутку?

Фигаро. Честное слово, ваше сиятельство, вы это знаете лучше меня.

Граф. Я предугадываю малейшие ее желания и осыпаю подарками.

Фигаро. Вы осыпаете ее подарками, но вы ей не верны. Если вас лишают необходимого, станете ли вы благодарить за роскошь?

Граф. Прежде ты говорил мне все.

Фигаро. Я и теперь ничего от вас не таю.

Граф. Сколько тебе заплатила графиня за участие в этом прелестном заговоре?

Фигаро. А сколько мне заплатили вы за то, что я вырвал ее из рук доктора? Право, ваше сиятельство, не стоит оскорблять преданного вам человека, а то как бы из него не вышло дурного слуги.

Граф. Почему во всех твоих действиях всегда есть что-то подозрительное?

Фигаро. Потому что когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.

Граф. У тебя прескверная репутация!

Фигаро. А если я лучше своей репутации? Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?

Граф. Сто раз ты на моих глазах добивался благосостояния и никогда не шел к нему прямо.

Фигаро. Ничего не поделаешь, слишком много соискателей: каждому хочется добежать первому, все теснятся, толкаются, оттирают, опрокидывают друг друга,— кто половчей, тот свое возьмет, остальных передавят. Словом, с меня довольно, я отступаюсь.

Граф. От благосостояния? *(В сторону.)* Это новость.

Фигаро *(в сторону)*. Теперь моя очередь. *(Вслух.)* Вы, ваше сиятельство, изволили произвести меня в правители замка,— это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато, блаженствуя с женой в андалусской глуши...

Граф. Кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?

Фигаро. Пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы не поздоровилось.

Граф. С твоим умом и характером ты мог бы продвинуться по службе.

Фигаро. С умом, и вдруг — продвинуться? Шутить изволите, ваше сиятельство. Раболепная посредственность — вот кто всего добивается.

Граф. Тебе надо было бы только заняться под моим руководством политикой.

Фигаро. Да я ее знаю.

Граф. Так же, как английский язык,— основу!

Фигаро. Да, только уж здесь нечем хвастаться. Прикидываться, что не знаешь того, что известно всем, и что тебе известно то, чего никто не знает; прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем; главное, прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя; часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет; запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя, что называется, ветер гуляет; худо ли, хорошо ли разыгрывать персону, плодить наушников и прикармливать изменников, растапливать сургучные печати, перехватывать письма и стараться важностью цели оправдать убожество средств. Вот вам и вся политика, не сойти мне с этого места.

Граф. Э, да это интрига, а не политика!

Фигаро. Политика, интрига,— называйте, как хотите. На мой взгляд, они друг дружке несколько сродни, а потому пусть их величают, как кому нравится. «А мне милей моя красотка», как поется в песенке о добром короле.

Граф *(в сторону)*. Он хочет остаться. Все ясно... Сюзанна меня выдала.

Фигаро *(в сторону)*. Я поддеваю его на удочку и плачу ему той же монетой.

Граф. Так ты надеешься выиграть дело с Марселиной?

Фигаро. Неужели вы станете вменять мне в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как ваше сиятельство отбивает у нас одну молоденькую за другой?

Граф *(насмешливо)*. Суд не считается ни с чем, кроме закона...

Фигаро. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым.

Граф. Ты думаешь, я шучу?

Фигаро. Кто вас знает, ваше сиятельство! Время — честный человек, как говорят итальянцы, а они всегда говорят

правду,— вот время-то мне и покажет, кто желает мне зла, а кто добра.

Граф *(в сторону)*. По-видимому, он знает все. Придется женить его на дуэнье.

Фигаро *(в сторону)*. Он вел со мной тонкую игру — много ли удалось ему выведать?

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Граф, слуга, Фигаро.

Слуга *(докладывает)*. Дон Гусман Бридуазон.

Граф. Бридуазон?

Фигаро. Ну да! Это же здешний судья, товарищ председателя судебной палаты, непременный член вашего суда.

Граф. Пусть подождет.

Слуга уходит.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Граф, Фигаро.

Фигаро *(некоторое время молча смотрит на графа, погруженного в раздумье)*. Так это все, что было угодно вашему сиятельству?

Граф *(очнувшись)*. Мне?.. Я велел приготовить эту залу для открытого судебного заседания.

Фигаро. А разве тут чего-нибудь недостает? Вот большое кресло для вас, крепкие стулья для членов суда, табурет для секретаря, две скамейки для адвокатов, пол для чистой публики, а всякий сброд сзади. Пойду отпущу полотеров. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Граф один.

Граф. Этот пакостник сбил меня с толку! В споре он берет над всеми верх, теснит, окружает со всех сторон... Так вот оно что, плут и плутовка, вы сговорились оставить меня в дураках! Будьте друзьями, будьте дружком и подружкой, будьте чем вам угодно,— я на все согласен, но, черт возьми, мужем и женой...

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Сюзанна, граф.

Сюзанна *(запыхавшись)*. Ваше сиятельство!.. Простите, ваше сиятельство!

Граф *(сердито)*. Что случилось, сударыня?

Сюзанна. Вы гневаетесь?

Граф. Вам, по-видимому, что-то от меня нужно?

Сюзанна *(робко)*. У графини болит голова. Я побежала попросить у вас флакон с эфиром. Я вам сейчас же его отдам.

Граф *(протягивает ей флакон)*. Нет, не надо, оставьте его у себя. Скоро он понадобится и вам.

Сюзанна. Разве у девушек нашего звания бывают расстроенные нервы? Это болезнь господская: ее можно подхватить только в будуарах.

Граф. Влюбленная невеста, теряющая своего жениха...

Сюзанна. Если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали...

Граф. Я вам обещал?

Сюзанна *(опустив глаза)*. Мне думается, я не ослышалась, ваше сиятельство.

Граф. Не ослышались, однако ж надо, чтобы вы меня еще и послушались.

Сюзанна *(все так же опустив глаза)*. Мой долг — повиноваться вашему сиятельству.

Граф. Ну что бы раньше мне об этом сказать, жестокая девчонка?

Сюзанна. Правду никогда не поздно сказать.

Граф. Как смеркнется, выйдешь в сад?

Сюзанна. Я там всегда гуляю по вечерам.

Граф. Ты была со мной так сурова!

Сюзанна. Утром? А паж за креслом?

Граф. Верно, я и забыл. Но почему же ты так упорно отказывалась, когда Базиль от моего имени...

Сюзанна. Очень мне нужно, чтобы какой-то Базиль...

Граф. И то правда. Однако есть еще некто Фигаро, и вот я боюсь, что ему ты рассказала все!

Сюзанна. Ну, а как же, конечно, все... кроме того, о чем ему знать не положено.

Граф *(со смехом)*. Ах ты, моя прелесть! Так ты даешь мне слово? Если обманешь, то вот уговор, моя ненаглядная: без свидания не будет ни приданого, ни свадьбы.

Сюзанна *(приседая)*. А не будет свадьбы, так не будет и права сеньора, ваше сиятельство.

Граф. Откуда это у нее берется? Честное слово, я от нее без ума!.. Однако твоя госпожа дожидается флакона...

Сюзанна *(смеясь, возвращает флакон)*. Не могу же я с вами говорить без всякого предлога!

Граф *(пытается обнять ее)*. Дивное создание!

Сюзанна *(вырывается)*. Кто-то идет.

Граф *(в сторону)*. Она моя! *(Убегает.)*

Сюзанна. Пойти все рассказать графине!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Сюзанна, Фигаро.

Фигаро. Сюзанна! Сюзанна! Куда ты так мчишься после разговора с его сиятельством?

Сюзанна. Теперь можешь судиться, сколько душе угодно: ты уже выиграл дело. *(Убегает.)*

Фигаро *(бежит за нею)*. Да нет, ты скажи...

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Граф один, возвращается.

Граф. «Ты уже выиграл дело»! Меня обвели вокруг пальца! Ну, мои милые наглецы, я же вас и проучу... Приговор будет вынесен с соблюдением всех формальностей... Но если он все-таки уплатит дуэнье... Чем?.. Если уплатит... Ба-ба-ба, а на что же честолюбивый Антонио? Его благородная гордость не допустит, чтобы такая темная личность, как Фигаро, женился на его племяннице. Если начать раздувать в нем эту блажь... А почему бы нет? На обширном поле интриги надлежит уметь взращивать все, вплоть до чванливости глупца. *(Зовет.)* Анто... *(Заметив, что идет Марселина и прочие, уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Бартоло, Марселина, Бридуазон.

Марселина *(Бридуазону)*. Милостивый государь! Позвольте ознакомить вас с моим делом.

Бридуазон *(в судейской мантии, слегка заикаясь)*. Ну что ж, выслушаем сло-овесное показание.

Бартоло. Речь идет о брачном обязательстве.

Марселина. И о долговой расписке.

Бридуазон. По-онимаю, и прочее. Дальше?

Марселина. Нет, милостивый государь, никаких «и прочее».

Бридуазон. По-онимаю. Денежная сумма вам вручена?

Марселина. Нет, милостивый государь, это я дала ее взаймы.

Бридуазон. Так, так, по-онимаю, вы требуете, чтобы вам ее во-озвратили?

Марселина. Нет, милостивый государь, я требую, чтоб он на мне женился.

Бридуазон. Ах вот как, по-онимаю, по-онимаю. А он-то хочет на вас жениться?

Марселина. Нет, милостивый государь, в этом-то все и дело.

Бридуазон. А вы думаете, я не по-онимаю, в чем состоит ваше дело?

Марселина. Не понимаете, милостивый государь. *(К Бартоло.)* Что же это такое? *(Бридуазону.)* Это вы будете судить нас?

Бридуазон. А для чего же я покупал эту должность?

Марселина *(со вздохом)*. Как это дурно, что должности у нас продаются!

Бридуазон. Конечно, ку-уда лучше, если б нам их раздавали бесплатно. С кем же вы су-удитесь?

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Бартоло, Марселина, Бридуазон, Фигаро входит, потирая руки.

Марселина *(указывая на Фигаро)*. Вот с этим бесчестным человеком, милостивый государь.

Фигаро *(Марселине, очень весело)*. Я вам не помешал? Господин судья! Его сиятельство должен сейчас прийти.

Бридуазон. Где-то я видел этого ма-алого.

Фигаро. У вашей супруги, в Севилье, господин судья,— я был вызван к ней для услуг.

Бридуазон. Ко-огда именно?

Фигаро. Меньше чем за год до рождения вашего младшего сынка. Прехорошенький мальчик, я им просто горжусь.

Бридуазон. Да, он у меня са-амый красивый. А ты, говорят, здесь о-озорничаешь?

Фигаро. Вы очень ко мне внимательны, сударь. Да нет, так, пустяки.

Бридуазон. Брачное обязательство! Ах, ду-уралей!

Фигаро. Сударь!..

Бридуазон. Ты видел моего по-омощника? Славный малый!

Фигаро. Дубльмена, секретаря суда?

Бридуазон. Да, он своего не у-упустит.

Фигаро. Какое там упустит, так прямо обе лапы и запускает! Я его видел на деле, когда приходил к нему за выпиской и, как водится, еще и за дополнением к выписке.

Бридуазон. Формальности соблюдать ну-ужно.

Фигаро. Разумеется, милостивый государь; известно, что суть дела — это область самих тяжущихся, меж тем как форма — это достояние судей.

Бридуазон. Этот малый вовсе не так глу-уп, как мне показалось сначала. Ну что ж, милый друг, раз ты все так хорошо знаешь, то мы разберем твое дело до то-онкости.

Фигаро. Я, милостивый государь, всецело полагаюсь на ваше беспристрастие, невзирая на то, что вы у нас отправляете одну из судебных должностей.

Бридуазон. Что?.. Да, я отправляю су-удебную должность. Но если ты все-таки взял вза-аймы и не платишь...

Фигаро. Это, милостивый государь, все равно что я ничего не брал.

Бридуазон. Пра-авильно. Постой, постой, что ты сказал?

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Бартоло, Марселина, граф, Бридуазон, Фигаро, судебный пристав.

Судебный пристав *(входит раньше графа и объявляет)*. Господа! Его сиятельство!

Граф. Господин Бридуазон! Да вы в мантии! Ведь это же дело домашнее. Обычное городское платье и то было бы сейчас слишком торжественным.

Бридуазон. А вот вы, ва-аше сиятельство, слишком добры. Но дело в том, что я всегда так одет — фо-орма, знаете ли, фо-орма! Над судьей в кургузом кафтанчике, может, кто

и посмеется, а уж при одном виде прокурора в мантии невольно в дрожь бросит. Фо-орма, фо-орма!

Граф *(судебному приставу)*. Отворите двери.

Судебный пристав *(отворяя дверь, пискливым голосом)*. Суд идет!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же, Антонио, слуги, крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах.

Граф садится в большое кресло; Бридуазон — рядом, на стул; секретарь — на табурет, за свой стол; члены суда и адвокаты занимают места на скамьях; Марселина садится рядом с Бартоло, Фигаро на другой скамейке, крестьяне и слуги стоят сзади всех.

Бридуазон *(Дубльмену)*. Дубльмен, огласите дела.

Дубльмен *(читает по бумаге)*. «Благородный, высокоблагородный и наиблагороднейший дон Педро Жорж, идальго, барон де Лос Альтос, Монтес Фьерос и прочих Монтес, возбуждает дело против Алонсо Кальдерона, юного драматического поэта. Тяжба возникла из-за одной мертворожденной комедии: оба от нее отказываются, каждый утверждает, что это не он написал, а другой».

Граф. Обе стороны правы. Рассмотрению не подлежит. Буде же они напишут вдвоем еще одно произведение, то, чтобы на него обратили внимание свыше, пусть вельможа поставит под ним свое имя, а поэт вложит в него свой талант.

Дубльмен *(читает другое дело)*. «Андре Петруччо, хлебопашец, возбуждает дело против местного сборщика податей. Истец обвиняет ответчика в незаконном обложении налогом».

Граф. Это дело не входит в круг моего ведения. Я принесу больше пользы моим вассалам, защищая их интересы перед королем. Дальше!

Дубльмен берет третье дело. Бартоло и Фигаро встают.

Дубльмен. «Барб-Агар-Рааб-Мадлен-Николь-Марселина де Верт-Аллюр, старшая дочь,

Марселина встает и кланяется.

возбуждает дело против Фигаро...» Имя, данное при крещении, отсутствует.

Фигаро. Аноним.

Бридуазон. А-аноним? Ра-азве есть такой святой?

Фигаро. Да, это мой святой.

Дубльмен *(пишет)*. «Против Анонима Фигаро». Звание?

Фигаро. Дворянин.

Граф. Вы дворянин?

Секретарь записывает.

Фигаро. Была бы на то воля божья, я мог бы быть и сыном принца.

Граф *(секретарю)*. Продолжайте.

Судебный пристав *(пискливо)*. Тише, господа!

Дубльмен *(читает)*. «...возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутою Верт-Аллюр. Защитником истицы выступит доктор Бартоло, вышеупомянутый же Фигаро, буде на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя — в нарушение обычая и судебных установлений».

Фигаро. Обычай, господин Дубльмен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, всегда знает свое дело лучше иных адвокатов: адвокаты из кожи вон лезут и надрываются до хрипоты, лишь бы показать свою осведомленность решительно во всем, кроме, впрочем, самого дела, но вместе с тем их весьма мало трогает то обстоятельство, что они разорили клиента, надоели слушателям и усыпили судей, по окончании же речи они важничают так, как будто это они сочинили *Речь в защиту Мурены*. Между тем я изложу дело в немногих словах. Господа!..

Дубльмен. А уже наговорили много лишних; вы не истец, ваша задача — только защищаться. Доктор! Подойдите и огласите обязательство.

Фигаро. Да, прочтите обязательство.

Бартоло *(надевая очки)*. Оно недвусмысленно.

Бридуазон. Необходимо с ним о-ознакомиться.

Дубльмен. Да тише, господа!

Судебный пристав *(пискливо)*. Тише!

Бартоло *(читает)*. «Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы... и так далее, и так далее... Марселины де Верт-Аллюр в замке Агуас Фрескас две тысячи пиастров наличными, каковую сумму обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее, все равно, требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность жениться на ней...» и так далее. Подписано просто-напросто «Фигаро». Мое заключение сводится к следующему: ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и исполнить данное им обещание, судебные же издержки взять на себя. *(Начинает речь.)* Господа!.. Никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Начиная с

Александра Македонского, который дал обещание жениться на прекрасной Фалестриде...

Граф *(прерывает его)*. Прежде чем слушать дальше речь защитника, следует установить подлинность документа.

Бридуазон *(к Фигаро)*. Ка-акие у вас имеются замечания по существу документа?

Фигаро. Я должен заметить, господа, что то ли предумышленно, то ли по ошибке, то ли по рассеянности текст был прочитан неверно, ибо в писанном тексте не сказано: «каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней», а сказано: «каковую сумму обязуюсь возвратить ей *или* жениться на ней», что совсем не одно и то же.

Граф. В документе стоит *и* или же *или*?

Бартоло. *И*.

Фигаро. *Или*.

Бридуазон. Ду-убльмен! Прочтите вы.

Дубльмен *(берет бумагу)*. Это будет вернее, ибо стороны нередко искажают текст при чтении. *(Читает.)* «М-м-м-м... девица м-м-м-м... де Верт-Аллюр м-м-м-м...» Ага! «Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее, все равно, требованию ли, простому напоминанию ли... *и... или... и... или...*» Очень неразборчиво написано... тут клякса.

Бридуазон. Кля-акса? Знаем мы, какие бывают кляаксы!..

Бартоло *(продолжая речь)*. Я утверждаю, что это соединительный союз *и*, связывающий соотносительные члены предложения: я уплачу девице *и* женюсь на ней.

Фигаро *(продолжая свою речь)*. А я утверждаю, что это разделительный союз *или*, упомянутые члены разъединяющий: я уплачу девице *или* женюсь на ней. Нашла коса на камень: он меня станет глушить латынью, а я его греческим допеку.

Граф. Как в таком случае поступить?

Бартоло. Чтобы разом покончить с этим, господа, и больше не цепляться за слово, порешим на том, что в документе стоит *или*.

Фигаро. Требую занесения этого в протокол.

Бартоло *(поспешно)*. Не возражаем. Столь дешевый прием не спасет ответчика. Текст ясен. *(Читает.)* «Каковую сумму обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее, все равно, требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность жениться на ней...»

Фигаро *(поспешно)*. В тексте стоит: «По ее, все равно, требованию ли, простому напоминанию ли, *или* в благодарность

жениться на ней...» Вы второе *ли* нарочно проглатываете, и у вас получается *и*. Неужели вы думаете, господин Бартоло, что я разучился читать? Да и с каких это пор человек, который женится, обязан еще и долг отдавать невесте?

Бартоло *(поспешно)*. Обязан. По нашим законам имущество супругов раздельно.

Фигаро *(поспешно)*. А по нашим законам и плоть супругов должна быть не единой, а раздельной, коль скоро брак — это всего лишь расписка.

Члены суда встают и шепотом совещаются.

Бартоло. Нечего сказать, добросовестное выполнение обязательства!

Дубльмен. Тише, господа!

Судебный пристав *(пискливо)*. Тише!

Бартоло. Каков мошенник! Это у него называется уплатить долг!

Фигаро. Вы по своему делу выступаете, адвокат?

Бартоло. Я защищаю интересы этой девицы.

Фигаро. Продолжайте нести чепуху, но перестаньте браниться. Если суды, опасаясь проявлений излишней горячности со стороны тяжущихся, допустили участие третьих лиц, то, разумеется, не для того, чтобы защитники, коим положено быть уравновешенными, безнаказанно превратились в привилегированных невеж. Вы позорите благороднейшее звание защитника.

Члены суда продолжают тихо совещаться.

Антонио *(Марселине, указывая на судей)*. О чем это они так долго шушукаются?

Марселина. Главного судью подкупили, он подкупает другого, и дело мое проиграно.

Бартоло *(тихо и мрачно)*. Боюсь, что так.

Фигаро *(весело)*. Марселина! Не унывайте!

Дубльмен *(встает; Марселине)*. Вы переходите всякие границы! Я вас изобличаю и, вступаясь за честь нашего суда, требую, чтобы, прежде чем рассмотреть дело о расписке, было вынесено решение по вашему делу.

Граф *(садится)*. Нет, господин секретарь, я не стану разбирать дело об оскорблении моей личности. Испанскому судье не подобает краснеть от выходки, возможной разве только в судах азиатских: с нас довольно всяких других непорядков. Один из таких непорядков я думаю устранить теперь же, обосновав мое решение, ибо всякий судья, который отказывается это сде-

лать, есть великий враг законов. Чего может требовать истица? Брака или платежа — одно исключает другое.

Дубльмен. Тише, господа!

Судебный пристав *(пискливо)*. Тише!

Граф. Что нам заявляет ответчик? Что жениться он не желает. В этом он волен.

Фигаро *(радостно)*. Я выиграл!

Граф. Но поскольку текст гласит: «Каковую сумму я уплачу по первому ее требованию или женюсь на ней» и так далее, суд постановляет: ответчику надлежит уплатить истице две тысячи пиастров наличными или сегодня же на ней жениться. *(Встает.)*

Фигаро *(оторопев)*. Я проиграл.

Антонио *(радостно)*. Великолепный приговор!

Фигаро. Чем же он великолепный?

Антонио. А тем, что ты теперь уж мне не зять. Покорнейше благодарю, ваше сиятельство.

Судебный пристав *(пискливо)*. Расходитесь, господа!

Народ уходит.

Антонио. Пойду все расскажу племяннице.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Марселина, Бартоло, Бридуазон, Фигаро, граф.
Граф ходит взад и вперед.

Марселина *(садится)*. Наконец-то я могу вздохнуть свободно!

Фигаро. А я, напротив, задыхаюсь.

Граф *(в сторону)*. По крайней мере, я отомстил — это утешительно.

Фигаро *(в сторону)*. Бедь Базиль же собирался выступить против брака Марселины и, как на грех, куда-то запропал!

Граф направляется к выходу.

Вы уходите, ваше сиятельство?

Граф. Все решено.

Фигаро *(Бридуазону)*. Уж этот мне пузан!..

Бридуазон. Кто, я пу-узан?

Фигаро. Кто же еще? А все-таки я на ней не женюсь — как-никак я дворянин.

Граф останавливается.

Бартоло. Вы на ней женитесь.

Фигаро. Без согласия моих благородных родителей?

Бартоло. Назовите их, укажите их.

Фигаро. Дайте срок, я с ними увижусь, я уже пятнадцать лет их разыскиваю.

Бартоло. Хвастун! Уж, верно, какой-нибудь подкидыш!

Фигаро. Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян, точнее сказать, меня украли.

Граф *(подходит ближе)*. Украли, потеряли — докажите! А то потом станете кричать, что вас тут оскорбляют.

Фигаро. Если кружевные пеленки, ваше сиятельство, вышитые покрывала и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения, то отличительные знаки на моем теле непреложно свидетельствуют о том, как дорог был я моим предусмотрительным отцу и матери. Вот этот знак на руке... *(Хочет обнажить правую руку.)*

Марселина *(поспешно встает)*. У тебя на правой руке шпатель?

Фигаро. Откуда это вам известно?

Марселина. Боже, это он!

Фигаро. Да, это я.

Бартоло *(Марселине)*. Кто он?

Марселина *(живо)*. Эммануэль!

Бартоло *(к Фигаро)*. Тебя утащили цыгане?

Фигаро *(в сильном волнении)*. Около какого-то замка. Милый доктор! Возьмите, что хотите, но только верните меня в лоно моей знатной семьи: мои благородные родители осыплют вас золотом.

Бартоло *(указывая на Марселину)*. Вот твоя мать.

Фигаро. То есть кормилица?

Бартоло. Твоя родная мать.

Граф. Его мать?

Фигаро. Говорите толком.

Марселина *(указывая на Бартоло)*. Вот твой отец.

Фигаро *(в отчаянии)*. О, о, о! Что же я за несчастный!

Марселина. Неужели сама природа не подсказывала тебе этого тысячу раз?

Фигаро. Никогда!

Граф *(в сторону)*. Она его мать!

Бридуазон. Теперь, ко-онечно, он на ней не женится.

Бартоло. Я тоже.

Марселина. Вы тоже! А ваш сын? Вы же мне клялись...

Бартоло. Я был глуп. Если бы подобные воспоминания к чему-нибудь обязывали, то пришлось бы переженпться решительно на всех.

Бридуазон. А если так ра-ассуждать, то ни-икто бы ни на ком не женился.

Бартоло. Обычные грешки! Беспутная молодость!

Марселина *(все более и более горячась)*. Да, беспутная, я бы сказала — чересчур беспутная! Я от своих грехов не отрекаюсь — нынешний день их слишком явно разоблачил! Но до чего же тяжело искупать их после того, как тридцать лет проживешь скромно! Я добродетельною родилась, и я стала добродетельною, как скоро начала жить своим умом. Но в пору заблуждений, неопытности и нужды, когда от соблазнителей нет отбою, а нищета выматывает душу, может ли неопытная девушка справиться с подобным полчищем недругов? Кто нас сейчас так строго судит, тот, быть может, сам погубил десять несчастных.

Фигаро. Наиболее виновные — наименее великодушны, это общее правило.

Марселина *(живо)*. Вы, мужчины, более чем неблагодарны, вы убиваете своим пренебрежением игрушки ваших страстей, ваши жертвы, это вас надо карать за ошибки нашей юности, вас и поставленных вами судей, которые так гордятся тем, что имеют право судить нас, и в силу преступного своего недомыслия лишают нас всех честных средств к существованию! Неужели нельзя было оставить хоть какое-нибудь занятие для злосчастных девушек! Им принадлежало естественное право на изготовление всевозможных женских нарядов, но и для этого набрали бог знает сколько рабочих мужского пола.

Фигаро *(запальчиво)*. Они и солдат заставляют вышивать!

Марселина *(в сильном волнении)*. Даже к женщинам из высшего общества вы выказываете уважение с оттенком насмешливости. Мы окружены обманчивым почетом, меж тем как на самом деле мы — ваши рабыни, наши добрые дела ставятся ни во что, наши проступки караются незаслуженно строго. Ах, да что говорить! Вы обходитесь с нами до ужаса бесчеловечно.

Фигаро. Она права.

Граф *(в сторону)*. Более чем права.

Бридуазон. Она, е-ей-богу, права.

Марселина. Но что нам, сын мой, отказ бессовестного человека! Не смотри, откуда ты идешь, а смотри, куда ты

идешь,— каждому только это и должно быть важно. Спустя несколько месяцев твоя невеста будет зависеть исключительно от себя самой; она за тебя пойдет, я ручаюсь, у тебя будут нежная супруга и нежная мать, они станут за тобою ухаживать наперебой. Будь снисходителен к ним, сын мой, будь удачлив во всем, что касается лично тебя, будь весел, независим и добр ко всем, и тогда твоей матери больше нечего будет желать.

Фигаро. Золотые слова, матушка, я с тобой совершенно согласен. В самом деле, как это глупо! Существование мира измеряется уже тысячелетиями, и чтобы я стал отравлять себе какие-нибудь жалкие тридцать лет, которые мне случайно удалось выловить в океане времени и которых назад не вернуть, чтобы я стал отравлять их себе попытками доискаться, кому я ими обязан! Нет уж, пусть такого рода вопросы волнуют кого-нибудь другого. Убивать жизнь на подобную чепуху — это все равно что просунуть голову в хомут и превратиться в одну из тех несчастных лошадей, которые тянут лямку по реке против течения и не отдыхают, даже когда останавливаются, тянут ее все время, даже стоя на месте. Нет, мы подождем.

Граф *(в сторону)*. Это нелепое происшествие путает мне все карты!

Бридуазон *(к Фигаро)*. А что же ваше дворянское происхождение и замок? Вы ввели правосудие в заблу-ждение.

Фигаро. По милости вашего правосудия я чуть было не свалял такого дурака! Двадцать раз из-за проклятой сотни экю я готов был отправить на тот свет этого господина, который оказался моим отцом! Но так как провидение избавило мою душу от тяжкого греха, то я прошу вас, батюшка, принять мои извинения... А вы, матушка, обнимите меня... со всей материнской нежностью, на какую вы только способны.

Марселина бросается ему на шею.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Бартоло, Фигаро, Марселина, Бридуазон, Сюзанна, Антонио, граф.

Сюзанна *(вбегает с кошельком в руке)*. Помедлите, ваше сиятельство: не надо их женить — я уплачу этой даме из того приданого, которое мне пожаловала моя госпожа.

Граф *(в сторону)*. Черт бы взял твою госпожу! Все точно в заговоре против меня. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Бартоло, Антонио, Сюзанна, Фигаро, Марселина, Бридуазон.

Антонио *(Сюзанне, видя, что Фигаро обнимает свою мать)*. Что ж, плати, плати! А они вон что!

Сюзанна *(отворачивается)*. С меня довольно. Идем, дядюшка!

Фигаро *(останавливает ее)*. Нет уж, подождите, пожалуйста. Что такое ты увидала?

Сюзанна. Свою собственную глупость да твою подлость.

Фигаро. Ничего похожего.

Сюзанна *(гневно)*. И что ты женишься на ней добровольно, раз ты ее ласкаешь.

Фигаро *(весело)*. Я ее ласкаю, но не женюсь на ней.

Сюзанна хочет уйти, Фигаро ее удерживает; Сюзанна дает ему пощечину.

Сюзанна. Как ты смеешь, наглец, меня удерживать?

Фигаро *(к присутствующим)*. Это ли не любовь?.. Прошу тебя, прежде чем уходить, вглядись получше в эту милую женщину.

Сюзанна. Ну?

Фигаро. Как ты ее находишь?

Сюзанна. Нахожу, что она отвратительна.

Фигаро. Да здравствует ревность! Ревность за словом в карман не лезет.

Марселина *(раскрыв объятия)*. Обними свою мать, прелестная моя Сюзанетта! Вот этот негодник, который тебя дразнит,— это мой сын.

Сюзанна *(бежит к ней)*. Вы его мать!

Бросаются друг к другу в объятия.

Антонио. С сегодняшнего дня?

Фигаро. С сегодняшнего дня мне стало об этом известно.

Марселина *(в сильном волнении)*. Когда моя душа рвалась к нему, она не сознавала одного: побудительной причины. Во мне говорила кровь.

Фигаро. А во мне, матушка,— голос рассудка, и это он заменял мне инстинкт, когда я отвечал вам отказом, потому что ненависти к вам я никогда не испытывал, доказательство — деньги...

Марселина *(передает ему бумагу)*. Они твои. Возьми свою расписку,— это тебе будет вместо приданого.

Сюзанна *(бросает ему кошелек)*. Возьми и это.

Фигаро. Большое спасибо.

Марселина *(в сильном волнении)*. В девушках я была не очень-то удачлива, потом чуть было не стала самой злосчастной супругой в мире, а теперь я самая благополучная из всех матерей на свете! Обнимите меня, детки мои,— на вас я перенесу всю мою нежность. Я счастлива бесконечно, и как же я вас, дети мои, буду любить!

Фигаро *(растроган; с живостью)*. Остановись, милая матушка, остановись, иначе глаза мои утонут в слезах — первых слезах в моей жизни! Впрочем, это слезы радости. Но ведь этакая глупость: я чуть было не устыдился их. Я же чувствовал, как они текли у меня между пальцев,— взгляни *(показывает расставленные пальцы)* — и сдуру удерживал их! Прочь, ложный стыд! Мне хочется и смеяться и плакать,— такие минуты в жизни не повторяются. *(Обнимает мать и Сюзанну.)*

Марселина. Милый мой!

Сюзанна. Ненаглядный мой!

Бридуазон *(вытирая глаза платком)*. Стало быть, я тоже ду-урак!

Фигаро *(горячо)*. Печаль! Теперь я решаюсь бросить тебе вызов. Попробуй овладеть мной в то время, как я нахожусь среди этих дорогих моему сердцу женщин.

Антонио *(к Фигаро)*. Будет тебе телячьи нежности-то разводить! В хороших семьях так заведено, чтоб сперва под венец — мать и отец, поняли? Ваши-то отец с матерью отдали друг дружке руку?

Бартоло. Руку! Да пусть моя рука отсохнет и отвалится, если я когда-нибудь ее отдам матери такого негодяя!

Антонио *(к Бартоло)*. Стало быть, вы не отец, а вроде как мачеха? *(К Фигаро.)* Тогда, красавец, дело у нас с тобой не выйдет.

Сюзанна. Ах, дядюшка...

Антонио. Как он есть ничей ребенок, стану я отдавать за него ребенка моей сестры!

Бридуазон. Статочное ли это дело, бо-олван? Всякий человек — че-ей-нибудь да ребенок.

Антонио. Слыхали мы!.. Не получит он ее, и все тут. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Бартоло, Сюзанна, Фигаро, Марселина, Бридуазон.

Бартоло *(к Фигаро)*. Теперь ищи кого-нибудь, кто бы тебя усыновил. *(Хочет уйти.)*

Марселина *(бежит за ним и, обняв его за талию, не пускает)*. Погодите, доктор, не уходите!

Фигаро *(про себя)*. Нет, кажется, все андалусские дураки сговорились помешать моей злополучной свадьбе!

Сюзанна *(к Бартоло)*. Милый папочка! Это ваш сын...

Марселина *(к Бартоло)*. Который пошел в вас умом, талантом, лицом!

Фигаро *(к Бартоло)*. И при этом не стоил вам ни единого гроша.

Бартоло. А те сто экю, что ты у меня взял?

Марселина *(лаская его)*. Мы будем так о вас заботиться, папа!

Сюзанна *(лаская его)*. Мы будем так вас любить, папенька!

Бартоло *(смягчившись)*. Папа, милый папочка, папенька! Видно, я еще глупее этого господина *(указывает на Бридуазона)*. Распустил нюни, как мальчишка.

Марселина и Сюзанна обнимают его.

Э, погодите, я еще не дал согласия! *(Оборачивается.)* А где же его сиятельство?

Фигаро. Бежим к нему, вырвем у него последнее слово. А то, если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.

Все. Бежим, бежим! *(Увлекают за собою Бартоло.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Бридуазон один.

Бридуазон. «Еще глу-упее этого господина!» Та-акие вещи можно говорить самому себе, но... Не о-очень-то они тут у-учтивы, как я погляжу. *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена представляет галерею, освещенную канделябрами и люстрами и украшенную букетами и гирляндами цветов,— одним словом, убранную по-праздничному. Впереди, с правой стороны, стол и на нем чернильница, позади стола — кресло.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Фигаро, Сюзанна.

Фигаро *(обняв Сюзанну за талию)*. Ну что, моя бесценная, ты довольна? Матушка благодаря своему бойкому, золотому язычку сумела умаслить доктора! Поломался-поломался, а все-таки жепится, и твоему дядюшке-брюзге теперь уже рот замазан. Только его снятельство все еще бесится: ведь их бракосочетание — залог того, что и мы свою свадьбу отпразднуем. Порадуйся же такому счастливому исходу.

Сюзанна. Что-то уж очень чудно́!

Фигаро. Скорее, уж очень забавно. Мы мечтали лишь о том, чтобы выцарапать приданое у его снятельства, и вот теперь в наших руках целых два приданых, но получили мы их не из его рук. Тебя преследовала разъяренная соперница, меня изводила фурия, и вдруг она превратилась для нас обоих в нежнейшую мать. Вчера еще я был один, как перст, а теперь у меня есть и отец и мать, правда, не такие почтенные, какими я их себе рисовал в моем воображении, но для нас с тобой они сойдут: ведь мы же свободны от тщеславия, присущего богачам.

Сюзанна. Однако, дружочек, все вышло не так, как ты предполагал, и не так, как мы с тобой ожидали!

Фигаро. Случай распорядился мудрее, чем мы все, вместе взятые, моя крошка. И так всегда в жизни: мы-то стараемся, строим планы, готовимся к одному, а судьба преподносит нам совсем другое. Начиная с ненасытного завоевателя, который способен проглотить весь мир, и кончая смиренным слепцом, которого ведет собака, все мы — игрушки ее прихотей. И, пожалуй, слепец, который идет за собакой, следует более верным путем и реже бывает обманут в своих ожиданиях, чем тот, первый слепец со всей его свитой. Что же касается милейшего слепца, которого величают Амуром... *(Снова нежно обнимает Сюзанну.)*

Сюзанна. Право, меня только этот слепец и занимает!

Фигаро. Позволь же мне выкинуть такую штуку: я, как

верный пес, подведу его к твоей хорошенькой маленькой дверце, и будем мы там жить до самой смерти.

Сюзанна *(со смехом)*. Амур и ты?

Фигаро. Я и Амур.

Сюзанна. А вы не приметесь искать себе другого пристанища?

Фигаро. Если ты меня в этом уличишь, то пусть тысяча миллионов кавалеров...

Сюзанна. Это уж ты хватил. Скажи чистую правду.

Фигаро. Моя правда — самая истинная!

Сюзанна. Фу, противный! Разве бывает несколько правд?

Фигаро. Ну да! Как только было замечено, что с течением времени старые бредни становятся мудростью, а старые маленькие небылицы, довольно небрежно сплетенные, порождают большие-пребольшие истины, на земле сразу развелось видимо-невидимо правд. Есть такая правда, которую все знают, но о которой умалчивают, потому что не всякую правду можно говорить. Есть такая правда, которую все расхваливают, да не от чистого сердца, потому что не всякой правде можно верить. А клятвы влюбленных, угрозы матерей, зароки пьянчуг, обещания власть имущих, последнее слово купцов? И так до бесконечности! Есть только одна правда без подвоха — это моя любовь к Сюзон.

Сюзанна. Я довольна, что ты так радуешься,— ты вне себя от радости, значит, ты счастлив. Теперь поговорим о свидании с графом.

Фигаро. Лучше давай совсем не говорить о нем: из-за него я чуть было не лишился Сюзанны.

Сюзанна. Так ты решительно против свидания?

Фигаро. Если ты меня любишь, Сюзанна, то дай честное слово, что не пойдешь: пусть-ка он напрасно тебя прождет, вперед наука.

Сюзанна. Мне трудно было назначить ему свидание, а не прийти — легче легкого. Нечего больше об этом и говорить.

Фигаро. Это истинная правда?

Сюзанна. Я — не то что ваши разумники: у меня только одна правда.

Фигаро. И ты будешь меня любить хоть немножко?

Сюзанна. Очень.

Фигаро. Это не бог весть что.

Сюзанна. А чего же тебе надо?

Фигаро. Видишь ли, в любви всякое «чересчур» еще недостаточно.

Сюзанна. Я этих тонкостей не понимаю, а вот любить я буду только моего мужа.

Фигаро. Сдержи свое слово, и ты явишься блестящим исключением из общего правила. *(Хочет обнять ее.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Фигаро, Сюзанна, графиня.

Графиня. А ведь я была права: где один из вас, там непременно и другой. Послушайте, Фигаро, вы обкрадываете свое будущее, свое супружество, самого себя тем, что ловите на лету свидания с невестой. Вас ждут с нетерпением!

Фигаро. Совершенно верно, сударыня, я увлекся. Пойду покажу им мое оправдание. *(Хочет увести с собой Сюзанну.)*

Графиня *(удерживает ее)*. Она вас догонит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Сюзанна, графиня.

Графиня. У тебя все готово, чтобы нам поменяться платьями?

Сюзанна. Ничего и не нужно, сударыня: свидание не состоится.

Графиня. Как, вы раздумали?

Сюзанна. Это Фигаро.

Графиня. Вы меня обманываете.

Сюзанна. Боже милосердный!

Графиня. Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.

Сюзанна. Сударыня! В чем же вы меня подозреваете?

Графиня. В том, что вы в конце концов сговорились с графом, и теперь вам досадно, что вы открыли мне его намерения. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня. *(Хочет уйти.)*

Сюзанна *(бросается на колени)*. Бог с вами, сударыня! Вы даже не представляете себе, какая это обида для Сюзанны! После ваших бесконечных благодеяний, после того, как вы дали мне приданое...

Графиня *(поднимает ее с колен)*. В самом деле... я сама не знаю, что говорю! Ведь ты же, моя дорогая, сама не идешь

на свидание, а предоставляешь идти мне. Ты сдержишь слово, данное своему супругу, и этим поможешь мне вернуть моего.

Сюзанна. Как вы меня огорчили!

Графиня. Я стала такая взбалмошная! *(Целует ее в лоб.)* Где у вас назначено свидание?

Сюзанна *(целует ей руку)*. Мне запомнилось только слово «сад».

Графиня *(показывает на стол)*. Возьми перо, сейчас мы придумаем место.

Сюзанна. Чтобы я ему написала?

Графиня. Это необходимо.

Сюзанна. Сударыня! Уж лучше вы...

Графиня. Я все беру на себя.

Сюзанна садится.

(Диктует.) Новая песенка на мотив: «Как чудно вечерком в тени густых каштанов...» «Как чудно вечерком...»

Сюзанна *(пишет)*. «...в тени густых каштанов...» Дальше?

Графиня. Ты думаешь, он не догадается?

Сюзанна *(перечитывает)*. Все ясно. *(Складывает записку.)* Чем бы запечатать?

Графиня. Булавку, скорее! Она и послужит ответом. Напиши на обороте: «Верните мне печать».

Сюзанна *(пишет, смеясь)*. А-а, печать!.. Ну, эта печать, сударыня, будет повеселее той, что на приказе.

Графиня *(вспоминая о чем-то для нее тяжелом)*. Ах!

Сюзанна *(ищет у себя булавку)*. Булавки-то у меня и нет!

Графиня *(вынимает булавку из своего платья)*. Держи.

Лента пажа падает на пол.

Ах, моя лента!

Сюзанна *(поднимает ленту)*. Это лента маленького воришки! Вы были так жестоки...

Графиня. Что же, я должна была оставить ее у него на руке? Красивый бы это имело вид! Дай сюда!

Сюзанна. Вы больше не будете ее носить, сударыня, на ней кровь этого мальчика.

Графиня *(берет ленту)*. Чудная лента для Фаншетты... За первый же букет, который она мне принесет...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сюзанна, графиня, молодая пастушка, Керубино в женском платье, Фаншетта и другие девушки, одетые, как она, с букетами в руках.

Фаншетта. Сударыня! Деревенские девушки принесли вам цветов.

Графиня *(быстро прячет ленту)*. Прелестные цветы! Жаль, мои милые, что не все из вас мне знакомы. *(Указывая на Керубино.)* Кто эта обворожительная девочка, что так несмело себя держит?

Пастушка. Это, сударыня, моя двоюродная сестра, она здесь по случаю свадьбы.

Графиня. Прехорошенькая! Мне так много букетов все равно в руках не удержать, а потому окажем предпочтение гостье. *(Берет у Керубино букет и целует его в лоб.)* Покраснела! *(Сюзанне.)* Не кажется ли тебе, Сюзон... что она на кого-то похожа?

Сюзанна. Вылитый портрет.

Керубино *(прижимает руки к сердцу; про себя)*. Ах, этот поцелуй предназначался не мне!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Сюзанна, графиня, девушки, Керубино среди них, Фаншетта, Антонио, граф.

Антонио. А я вам говорю, ваше спятельство, он здесь. Они его наряжали у моей дочки: все его вещи так там и остались, а вот его офицерская шляпа,— я ее вытащил из узла. *(Выступает вперед, окидывает взглядом девушек и, узнав Керубино, срывает с него чепчик; в то же мгновение длинные локоны пажа, заплетенные в косичку, рассыпаются по плечам. Антонио надевает на него офицерскую шляпу.)* Ах ты, чтоб тебя, вот он где, наш офицер!

Графиня *(отшатывается)*. О боже!

Сюзанна. Каков плутишка!

Антонио. Ведь я когда еще говорил, что это он...

Граф *(в гневе)*. Итак, графиня?

Графиня. Итак, граф, я поражена еще больше, чем вы, и, во всяком случае, в равной мере возмущена.

Граф. Так, а утром?

Графиня. В самом деле, нехорошо было бы с моей стороны, если б я продолжала отрицать. Он пришел ко мне. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов и сыграли. Вы застали нас в то время, когда мы были заняты его костюмом. Вы так вспылили! Он скрылся, я смутилась, общий испуг все довершил.

Граф *(к Керубино, с досадой)*. Почему вы не уехали?

Керубино *(поспешно снимая шляпу)*. Ваше сиятельство!..

Граф. Я тебя накажу за непослушание.

Фаншетта *(не задумываясь)*. Ах, ваше сиятельство, выслушайте меня! Помните, что вы мне говорите всякий раз, когда меня целуете? «Если ты меня полюбишь, маленькая моя Фаншетта, я сделаю для тебя все, что захочешь».

Граф *(покраснев)*. Разве я это говорил?

Фаншетта. Говорили, ваше сиятельство. Так вот, не наказывайте Керубино, а лучше жените его на мне, и за это я вас буду любить без памяти.

Граф *(в сторону)*. Мальчишка-паж провел меня за нос!

Графиня. Теперь моя очередь спросить: итак, граф? Признание этого ребенка, такое же простодушное, как и мое, свидетельствует о двух непреложных вещах: если я у вас и вызываю какие-либо подозрения, то всегда невольно, вы же делаете все для того, чтобы усилить мои подозрения и доказать, что они не напрасны.

Антонио. И вы туда же, ваше сиятельство? Ну, погоди ж она у меня, я ее поучу, как все равно ее покойную мать, царство ей небесное... Тут, правда, еще ничего такого нет, но ведь знаете, сударыня, когда девчонки подрастают...

Граф *(растерян; в сторону)*. Какой-то злой гений все здесь обращает против меня!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Сюзанна, графиня, девушки, Керубино, Антонио, граф, Фигаро.

Фигаро. Ваше сиятельство! Отпустите девушек, без них нельзя начать ни празднества, ни танцев.

Граф. Вы хотите танцевать? Да бог с вами! Это после утреннего-то падения, когда вы себе вывихнули ногу!

Фигаро *(покачивая ногой)*. Немножко еще побаливает, ну да ничего, пройдет. *(Девушкам.)* Идемте, красавицы, идемте!

Граф *(поворачивает его к себе лицом)*. Ваше счастье, что вы упали как раз на клумбы, а на клумбах земля рыхлая!

Фигаро. Великое счастье, конечно, иначе...

Антонио *(поворачивает его лицом к себе)*. И до чего ж это он скорчился, когда падал!

Фигаро. Другой, половчее меня, так прямо в воздухе бы и остался. *(Девушкам.)* Идемте, сударыни?

Антонио *(поворачивает его)*. А в это самое время маленький паж скакал на коне в Севилью?

Фигаро. Может, скакал, может, ехал шагом...

Граф *(поворачивает его)*. А приказ об его назначении был у вас в кармане?

Фигаро *(слегка удивлен)*. Бесспорно, но к чему этот допрос? *(Девушкам.)* Идемте же, девушки!

Антонио *(выводит за руку Керубино)*. А вот эта девушка уверяет, что мой будущий зятек — врун, каких мало.

Фигаро *(поражен)*. Керубино!.. *(В сторону.)* Нелегкая возьми этого маленького повесу!

Антонио. Понял теперь?

Фигаро *(старалсь вывернуться)*. Понял... понял... А что он поет?

Граф *(сухо)*. Он ничего не поет, он говорит, что это он прыгнул на левкои.

Фигаро *(задумчиво)*. Ну, если он сам говорит... тогда это возможно! Не берусь судить о том, чего не знаю.

Граф. Так, значит, и вы и он...

Фигаро. А что ж тут особенного? Охота прыгать заразительна. Вспомните Панургово стадо. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов очертя голову...

Граф. Как же так: два человека сразу?

Фигаро. Тут не то что два, а и двадцать два выпрыгнут. Да и что за беда, ваше сиятельство, раз никто не пострадал? *(Девушкам.)* Да ну же, идете вы или нет?

Граф *(теряя самообладание)*. Мы, кажется, комедию разыгрываем?

Слышны звуки фанфар.

Фигаро. Вот и знак к началу торжественного шествия. По местам, красавицы, по местам! Сюзанна! Скорее дай мне руку!

Толпа разбегается; остается один Керубино с опущенной головой.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Керубино, граф, графиня.

Граф *(провожая Фигаро взглядом)*. Нет, какова наглость! *(Пажу.)* А вы, господин притворщик, прикидывающийся смущенным, извольте немедленно переодеться, и чтобы сегодня же вечером вы больше нигде мне не встретились!

Графиня. Он будет очень скучать.

Керубино *(в порыве восторга)*. Скучать! О нет! На моем лбу я унесу такое блаженство, которое могло бы мне скрасить сто лет заключения! *(Надевает шляпу и убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Граф, графиня.

Графиня, не говоря ни слова, усиленно обмахивается веером.

Граф. Какое это еще блаженство у него на лбу?

Графиня *(в замешательстве)*. Наверное... его первая офицерская шляпа. Детям все — игрушка. *(Хочет уйти.)*

Граф. Вы не останетесь с нами, графиня?

Графиня. Вы же знаете, что я плохо себя чувствую.

Граф. Ну на одну секунду, ради вашей любимицы, а то я буду думать, что вы сердитесь!

Графиня. Вот и две пары брачущихся. Сядем же и примем их, как подобает.

Граф *(в сторону)*. Брачущиеся! Раз нельзя помешать, приходится терпеть.

Граф и графиня садятся у одной из стен галереи.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Граф и графиня сидят.

Музыка играет «Испанские безумства» в ритме марша.

Шествие

Лесничие с ружьями на плечах.

Альгуасил, члены суда, Бридуазон.

Крестьяне и крестьянки в праздничных одеждах.

Две девушки несут головной убор невесты, украшенный белыми перьями.

Две девушки несут белую фату.

Две девушки несут перчатки и букет.

Антонио в качестве посаженого отца ведет за руку Сюзанну. Другие девушки несут такой же, как у Сюзанны, головной убор, фату и букет белых цветов для Марселины.

Фигаро ведет за руку Марселину, так как это он должен будет препоручить ее доктору, доктор же, с большим букетом на груди, замыкает шествие.

Девушки проходят мимо графа и передают его слугам всевозможные предметы, которые нужны будут Сюзанне и Марселине для венчания.

Крестьяне и крестьянки сначала выстраиваются в два ряда по обе стороны галереи, потом танцуют фанданго с кастаньетами; затем музыка играет вступление к дуэту, и тут Антонио подводит Сюзанну к графу; Сюзанна становится перед графом на колени. Граф надевает на нее убор, фату и передает ей цветы, а в это время девушки поют следующий дуэт:

Воздай хвалу тому, невеста молодая,
Кому неведомы ни ненависть, ни месть,
Кто, навсегда разврат и похоть изгоняя,
Супругу твоему твою вручает честь!

При последнем стихе Сюзанна, продолжая стоять на коленях, дергает графа за плащ и показывает ему, что в руке у нее записка, затем подносит руку к голове; граф делает вид, что поправляет ей убор, а она в это время передает ему записку. Граф незаметно прячет записку на груди; дуэт оканчивается, невеста встает и делает графу глубокий реверанс. Фигаро принимает Сюзанну из рук графа и отходит с ней на противоположную сторону галереи, к Марселине.

В течение этого времени музыка снова играет фанданго. Графу не терпится; он выходит на авансцену и достает записку, но при этом делает такое движение, которое дает понять, что он сильно уколол себе палец; он трясет его, надавливает, сосет и глядит на бумажку, заколотую булавкой. Во время последующих реплик графа и Фигаро оркестр играет пианиссимо.

Граф. Черт бы побрал этих женщин, всюду втыкают булавки! *(Бросает булавку на пол, читает записку и целует ее.)*

Фигаро *(за ним следивший, обращаясь к матери и Сюзанне)*. Какая-то девчонка мимоходом сунула ему любовную записку. Записка была сколота булавкой, и его спятельство здорово укололся.

Танцы возобновляются. Граф, прочитав записку, переворачивает ее и читает на обратной стороне, что ему предлагается вместо ответа возвратить булавку. Он ищет булавку на полу, наконец находит и прикалывает себе к рукаву.

(Сюзанне и Марселине.) От любимой все дорого. Смотрите-ка, он подымает булавку. Этакий сумасброд!

Между тем Сюзанна и графиня обмениваются знаками. Танец окончен, вновь начинается вступление к дуэту. Фигаро подводит Марселину к графу, так же, как до этого к нему подводили Сюзанну, граф берет в руки головной убор, и уже начинается дуэт, как вдруг раздаются крики.

Судебный пристав *(кричит в дверях)*. Стойте, господа, всем сюда нельзя! Эй, стража, стража!

Стража поспешно идет к двери.

Граф *(встает)*. Что случилось?

Судебный пристав. Это господин Базиль, ваше сиятельство, и с ним все село: привлек своим пением.

Граф. Пусть войдет один.

Графиня. Позвольте мне уйти.

Граф. Я не забуду вашей любезности.

Графиня. Сюзанна!.. Она сейчас вернется. *(Сюзанне, тихо.)* Пойдем обменяемся платьями. *(Уходит с Сюзанной.)*

Марселина. Вечно этот Базиль не вовремя!

Фигаро. Ничего, я сумею его осадить.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, кроме графини и Сюзанны; Базиль с гитарой, Грипсолейль.

Базиль
(входит и поет на мотив заключительного водевиля)

Те, кто грустны, те, кто хмуры,
Тех, кто ветрен,— не хули!
Переменчивость натуры —
Уж таков закон земли!
Для чего крыла Амуру?
Чтоб они его несли!
Чтоб они его несли!
Чтоб они его несли!

Фигаро *(приближается к нему)*. Да, крылья у него за спиной как раз для этой цели. Но что означает, дружище, ваша музыка?

Базиль *(указывая на Грипсолейля)*. То, что я доказал его сиятельству мою покорность и позабавил этого принадлежащего к его обществу господина, а теперь взываю к его правосудию.

Грипсолейль. Какое там позабавил, ваше сиятельство! У него такие дрянные песни...

Граф. Чего же вы хотите, Базиль?

Базиль. Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство, то есть руки Марселины. И я решительно возражаю...

Фигаро *(подходит к нему)*. Милостивый государь! Как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?

Базиль. Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.

Фигаро. Если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте же в них заодно вывод, который вам надлежит сделать из моего предупреждения. Попробуйте только подойти к этой даме...

Бартоло *(со смехом)*. Да отчего же? Дай ему сказать.

Бридуазон *(становится между Базилем и Фигаро)*. Стоит ли дру-узьям...

Фигаро. Хорошенькие друзья!

Базиль. Какое заблуждение!

Фигаро *(поспешно)*. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора?

Базиль *(поспешно)*. Дружить с этим плоским рифмачом?

Фигаро *(поспешно)*. Кабацкий музыкантишка!

Базиль *(поспешно)*. Газетный борзописец!

Фигаро *(поспешно)*. Мучитель нашего слуха!

Базиль *(поспешно)*. Дипломатический лизоблюд!

Граф *(сидя)*. Оба вы хороши!

Базиль. Он на каждом шагу роняет мое достоинство!

Фигаро. Я бы вас самого уронил с удовольствием!

Базиль. Всюду говорит, что я глуп!

Фигаро. Вы, значит, думаете, что я — эхо?

Базиль. Между тем сколькие певцы благодаря моему таланту блеснули...

Фигаро. Ужаснули...

Базиль. Опять!

Фигаро. А почему же не сказать, если это правда? Что ты за принц, чтоб тебя надо было только по шерстке гладить? Терпи правду, мерзавец, раз тебе нечем подкупить лжеца, а если тебе боязно услышать ее из наших уст, то зачем же ты явился мешать нашей свадьбе?

Базиль *(Марселине)*. Обещали вы или нет оказать мне предпочтение в том случае, если по прошествии четырех лет вы еще не будете пристроены?

М а р с е л и н а. С каким условием я это обещала?

Б а з и л ь. С условием, что если вы отыщете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю.

В с е. Он нашелся!

Б а з и л ь. За мной дело не станет!

В с е *(указывая на Фигаро)*. Вот он!

Б а з и л ь *(в ужасе пятится)*. Черт знает что такое!

Б р и д у а з о н *(Базилю)*. Так вы отказываетесь от его мамаши?

Б а з и л ь. Что может быть ужаснее — считаться отцом негодяя?

Ф и г а р о. Чтобы я считался сыном негодяя? Да ты в уме?

Б а з и л ь *(указывая на Фигаро)*. Раз тут замешан этот господин, то я уж в это не вмешиваюсь. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, кроме Базиля.

Б а р т о л о *(хохочет)*. Ха-ха-ха-ха!

Ф и г а р о *(подпрыгивая от восторга)*. Наконец-то у меня будет жена!

Г р а ф *(в сторону)*. А у меня любовница! *(Встает.)*

Б р и д у а з о н *(Марселине)*. И все у-удовлетворены.

Г р а ф. Пусть составят два брачных договора — я подпишу.

В с е. Виват! *(Уходят.)*

Г р а ф. Мне необходимо с часок отдохнуть. *(Хочет уйти вместе со всеми.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Г р и п с о л е й л ь, Ф и г а р о, М а р с е л и н а, г р а ф.

Г р и п с о л е й л ь *(к Фигаро)*. А я пойду к большим капитанам, подсобить насчет потешных огней,— говорили, нынче их там будут устраивать.

Г р а ф *(поспешно возвращаясь)*. Какой дурак отдал такое распоряжение?

Ф и г а р о. А что же тут плохого?

Г р а ф *(живо)*. Графине нездоровится — откуда же она будет смотреть потешные огни? На террасе — вот где их надо устроить, как раз напротив ее покоев.

Ф и г а р о. Слышишь, Гриндолейль? На террасе!

Г р а ф. Под большими каштанами! Вот так придумали! *(Направляясь к выходу, про себя.)* Чуть было мне свидание не спалили!

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Фигаро, Марселина.

Ф и г а р о. С чего это он стал таким внимательным к своей супруге? *(Хочет уйти.)*

М а р с е л и н а *(останавливает его)*. Два слова, сынок. Я хочу тебе покаяться: под влиянием дурного чувства я была несправедлива к твоей обворожительной жене. Хотя Базиль и говорил мне, что она всякий раз отклоняла предложения графа, а все-таки мне казалось, что она с ним заодно.

Ф и г а р о. Вы плохо знаете своего сына, если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать. Ручаюсь, что самая лукавая женщина ничего не сумела бы напеть мне в уши.

М а р с е л и н а. Слава богу, что ты так в себе уверен, сын мой. Ревность...

Ф и г а р о. ...это неразумное дитя гордости или же припадок буйного помешательства. О, у меня, матушка, на сей предмет философия... несокрушимая! И если Сюзанна когда-нибудь меня обманет, я ее прощаю заранее: ведь ей столько для этого придется потрудиться!.. *(Оборачивается и замечает Фаншетту, которая кого-то ищет.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Фигаро, Фаншетта, Марселина.

Ф и г а р о. Э-э-э-э!.. Моя маленькая сестренка нас подслушивает!

Ф а н ш е т т а. Ну уж нет! Это, говорят, нечестно!

Ф и г а р о. Верно, но так как это полезно, то ради пользы поступаются честью.

Ф а н ш е т т а. Я смотрела, нет ли тут кое-кого.

Ф и г а р о. Уже научилась хитрить, плутовка! Вы отлично знаете, что здесь его не может быть.

Ф а н ш е т т а. Кого его?

Ф и г а р о. Керубино.

Ф а н ш е т т а. А я вовсе и не его ищу, я хорошо знаю, где он, я ищу мою сестру Сюзанну.

Ф и г а р о. А что от нее надо моей сестренке?

Фаншетта. Вам-то, братец, я уж, так и быть, скажу. Мне бы... мне бы только булавку ей передать.

Фигаро *(живо)*. Булавку! Булавку!.. А от кого, негодница? С этих пор уже заним... *(спохватывается; более мягким тоном)* ...уже занимаетесь добросовестно всяким делом, за какое только возьметесь. Моя хорошенькая сестренка до того услужлива...

Фаншетта. Чего же вы сердитесь? Я сейчас уйду.

Фигаро *(останавливает ее)*. Нет, нет, я шучу. Послушай: эту булавочку его сиятельство велел тебе передать Сюзанне, и ею же была сколота записочка, которую он читал. Ты видишь, мне все известно.

Фаншетта. Чего же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете?

Фигаро *(обдумывая ответ)*. А мне любопытно знать, какое именно дал тебе граф поручение.

Фаншетта *(простодушно)*. Да ведь вы уже угадали. Он сказал: «Возьми эту булавку, малышка Фаншетта, отдай ее твоей прелестной сестре и скажи ей только, что это печать от больших каштанов».

Фигаро. От больших?..

Фаншетта. Каштанов. Правда, он еще прибавил: «Смотри, чтоб никто тебя не видел».

Фигаро. Надо быть послушной, сестренка. К счастью, вас никто не видел. Исполняйте же как можно лучше данное вам поручение и не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что приказал его сиятельство.

Фаншетта. А что же мне еще говорить? Вы уж, братец, совсем меня за ребенка считаете. *(Уходит вприпрыжку.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Фигаро, Марселина.

Фигаро. Что, матушка?

Марселина. Что, сынок?

Фигаро *(тяжело дыша)*. Вот это уж... Бывают же, однако, дела на свете!..

Марселина. Бывают дела! А что, собственно, произошло?

Фигаро *(хватаясь за грудь)*. То, что я сейчас услышал, матушка, это вот тут, как свинец.

Марселина *(со смехом)*. Оказывается, это сердце, исполненное уверенности, всего лишь надутый пузырь? Один булавочный укол — и весь воздух выпущен!

Фигаро *(в ярости)*. Но ведь эту булавку, матушка, он подобрал с пола!..

Марселина *(напоминает ему его же слова)*. «Ревность? О, у меня, матушка, на сей предмет философия... несокрушимая! И если Сюзанна оставит меня когда-нибудь в дураках, я ей это прощаю...»

Фигаро *(живо)*. Ах, матушка, говорят, что чувствуют! Заставьте самого беспристрастного судью разбирать свое собственное дело и посмотрите, как он начнет толковать законы! Теперь мне понятно, почему так разозлили графа потешные огни! Что же касается, матушка, нашей очаровательной охотницы до булавок, то она просчиталась со своими каштанами! Если мой брак — дело настолько решенное, что гнев мой может быть признан законным, то, с другой стороны, это дело еще не настолько решенное, чтобы я не мог бросить Сюзанну и жениться на другой...

Марселина. Это называется — рассудил! По одному только подозрению все насмарку. Да почем ты знаешь, скажи мне на милость, кого она дурачит: тебя или графа? Ты что же, подверг ее сперва строгому допросу, что выносишь теперь окончательный приговор? Тебе точно известно, что она явится на свидание? С какой целью туда пойдет? Что будет говорить? Что будет делать? Я думала, ты благоразумнее.

Фигаро *(с жаром целует ей руки)*. Вы правы, матушка, вы правы, правы, вы всегда правы! Но только давайте, мама, отнесем кое-что за счет человеческой природы вообще. Итак, в самом деле, прежде чем обвинять и действовать, лучше сначала расследуем. Я знаю, где у них свидание. Прощайте, матушка! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Марселина одна.

Марселина. Прощай! Я тоже знаю, где у них свидание. Теперь, когда мы его удержали, проследим за Сюзанной, или, лучше, предостережем ее: она такое прелестное создание! Ах, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все, как одна, готовы защищать наш бедный, угнетенный пол от гордых, ужасных... *(со смехом)* и вместе с тем недалеких мужчин! *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Сцена представляет площадку под каштанами в парке; слева и справа — нечто вроде двух павильонов, беседок или садовых храмов; в глубине разукрашенная лужайка, впереди скамья из дерна. На сцене темно.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Фаншетта одна, держит в одной руке два бисквита и апельсин, в другой зажженный бумажный фонарик.

Фаншетта. Он сказал — в левой беседке. Вот тут... Если он теперь не придет, то моя роль... Противные лакеи! Каких-нибудь два бисквита и апельсин — и того не хотели мне дать! «Для кого это, сударыня?» — «Для одного человека».— «Знаем мы, для кого!» — «А хотя бы и так? Не умирать же ему с голоду только потому, что его сиятельство не желает его видеть?» Пришлось все-таки позволить чмокнуть меня в щеку!.. Ну, ничего, он мне еще заплатит за этот поцелуй! *(Замечает Фигаро, который пристально смотрит на нее, и вскрикивает.)* Ах!.. *(Убегает в левую беседку.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Фигаро в длинном плаще и широкополой, низко надвинутой шляпе, Базиль, Антонио, Бартоло, Бридуазон, Грипсолейль, слуги и работники.

Фигаро *(сначала один)*. Это Фаншетта! *(Осматривает по очереди каждого входящего, а затем неприветливо обращается к ним.)* Здравствуйте, господа, добрый вечер, все ли вы в сборе?

Базиль. Все, кого ты сюда притащил.

Фигаро. Который теперь приблизительно час?

Антонио *(глядя на небо)*. Луна, должно быть, уже взошла.

Бартоло. Что за таинственные приготовления? У тебя вид заговорщика.

Фигаро *(волнуясь)*. Ведь вы собрались в замок на свадьбу, не правда ли?

Бридуазон. Ко-онечно.

Антонио. Мы шли туда, в парк, ждать сигнала к началу свадебного торжества.

Фигаро. Не ходите дальше, господа! Здесь, под этими каштанами, должны мы прославить добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее для себя.

Базиль *(припомнив события дня)*. А! Так, так, понимаю, в чем дело. Послушайтесь, господа, моего совета: удалимся отсюда. Тут речь идет об одном свидании — я вам все расскажу где-нибудь поблизости.

Бридуазон *(к Фигаро)*. Мы ве-ернемся.

Фигаро. Как только услышите, что я вас зову, немедленно сбегайтесь, и если вашим глазам не представится кое-что весьма любопытное, то ругайте тогда Фигаро сколько влезет.

Бартоло. Помни, что умный человек никогда не станет связываться с сильным.

Фигаро. Помню.

Бартоло. Пользуясь своим положением, они нас, как хочешь, обставят.

Фигаро. Для этого у них сметки не хватит — вот что вы упускаете из виду. И еще помните, что робким человеком помыкает любой проходимец...

Бартоло. Это верно.

Фигаро. ...и что я ношу имя Верт-Аллюр, имя досточтимого покровителя моей матери.

Бартоло. В тебя бес вселился.

Бридуазон. Все-елился.

Базиль *(в сторону)*. Так, значит, граф и Сюзанна спелись без меня? Впрочем, я на них не в обиде.

Фигаро *(слугам)*. А вам, мошенники, я уже отдал распоряжение, извольте же осветить мне эту местность, а не то худо вам придется: как схвачу... *(Хватает за руку Грипсолейля.)*

Грипсолейль *(убегает с криком и плачем)*. Ай-ай! Ой-ой! Экая скотина!

Базиль *(уходя)*. Счастливо оставаться, господин женишок!

Все, кроме Фигаро, уходят.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Фигаро один, в самом мрачном расположении духа, расхаживает впотьмах.

Фигаро. О женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое и коварное!.. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту, неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать?.. Отказаться наотрез, когда я сам ее об этом молил в присутствии графини, а затем, во время церемонии, давая обет верности... Он посмеивался, когда читал, злодей, а я-то, как дурачок... Нет, ваше сиятельство, вы ее не получите... вы ее не получите. Думаете, что если вы — сильный мира сего, так уж, значит, и разумом тоже сильны?.. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от всего этого не мудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы еще хотите со мною тягаться... Кто-то идет... Это она... Нет, мне послышалось. Темно, хоть глаз выколи, а я вот тут исполняй дурацкую обязанность мужа, хоть я и муж-то всего только наполовину! *(Садится на скамью.)* Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли! Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным: очертя голову устремился к театру. Лучше бы уж я повесил себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. В ту же секунду некий посланник... черт его знает чей... приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную Порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевства: Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. И вот мою комедию сожгли в угоду магометанским владыкам,

ни один из которых, я уверен, не умеет читать и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают: «Вот вам, христианские собаки!» Ум невозможно унизить, так ему отмщают тем, что гонят его. Я пал духом, развязка была близка: мне так и чудилась гнусная рожа судебного пристава с неизменным пером за ухом. Трепеща, я собираю всю свою решимость. Тут начались споры о происхождении богатств, а так как для того, чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть его обладателем, то я, без гроша в кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они приносят. Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем, у входа в этот замок, меня оставили надежда и свобода. *(Встает.)* Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры,— очутился тогда, когда грозная опала поубавит в нем спеси! Я бы ему сказал... что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. *(Снова садится.)* Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны, а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай расспрашивать всех и каждого, что́ в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что, пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение,— обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров. Охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы, я печатаю объявление о новом повременном издании и для пущей оригинальности придумываю ему такое название: *Бесполезная газета.* Что тут поднялось! На меня ополчился легион газетных щелкоперов, меня закрывают, и вот я опять без всякого дела. Я был на краю отчаяния, мне сосватали было одно местечко, но, к несчастью, я вполне к нему подходил. Требовался счетчик, и посему на это место взяли танцора. Оставалось идти воровать. Я пошел в банкометы. И вот тут-то, изволите ли видеть, со мной начинают носиться, и так называемые *порядочные* люди гостеприимно

открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако ж, в свою пользу три четверти барышей. Я мог бы отлично опериться, я уже начал понимать, что для того, чтобы нажить состояние, не нужно проходить курс наук, а нужно развить в себе ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, то пришлось погибать вторично. На сей раз я вознамерился покинуть здешний мир, и двадцать футов воды уже готовы были отделить меня от него, когда некий добрый дух призвал меня к первоначальной моей деятельности. Я снова взял в руки бритвенный прибор и английский ремень и, предоставив дым тщеславия глупцам, которые только им и дышат, а стыд бросив посреди дороги, как слишком большую обузу для пешехода, заделался бродячим цирюльником и зажил беспечною жизнью. В один прекрасный день в Севилью прибыл некий вельможа, он меня узнал, я его женил, и вот теперь, в благодарность за то, что я ему добыл жену, он вздумал перехватить мою! Завязывается интрига, подымается буря. Я на волосок от гибели, едва не женюсь на собственной матери, но в это самое время один за другим передо мной появляются мои родители. *(Встает; в сильном возбуждении.)* Заспорили: это вы, это он, это я, это ты. Нет, это не мы. Ну так кто же, наконец? *(Снова садится.)* Вот необычайное стечение обстоятельств! Как все это произошло? Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой сойду, сам того не желая, и я усыпáл ее цветами настолько, насколько мне это позволяла моя веселость. Я говорю: *моя* веселость, а между тем в точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное, и что такое, наконец, «я», которому уделяется мною так много внимания: смесь не поддающихся определению частиц, жалкий несмышленыш, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска хлеба не брезгающий никаким ремеслом, сегодня господин, завтра слуга — в зависимости от прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и ленивый... до самозабвения! В минуту опасности — оратор, когда хочется отдохнуть — поэт, при случае — музыкант, порой — безумно влюбленный. Я все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся, и, совершенно разуверившись... Разуверившись!.. Сюзон, Сюзон, Сюзон, как я из-за тебя страдаю! Я слышу шаги... Сюда идут. Сейчас все решится. *(Отходит к первой правой кулисе.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Фигаро, графиня в платье Сюзанны, Сюзанна в платье графини, Марселина.

Сюзанна *(графине, тихо)*. Марселина мне сказала, что Фигаро должен сюда прийти.

Марселина. Он, верно, уже здесь. Говори тише.

Сюзанна. Значит, один будет нас подслушивать, а другой явится ко мне на свидание. Начнем.

Марселина. А я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни единого слова. *(Входит в беседку, в которую еще раньше вошла Фаншетта.)*

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Фигаро, графиня, Сюзанна.

Сюзанна *(громко)*. Вы дрожите, сударыня? Вам холодно?

Графиня *(громко)*. Вечер прохладный, я пойду в замок.

Сюзанна *(громко)*. Если я вам не нужна, сударыня, то я немного подышу воздухом — вот здесь, под деревьями.

Графиня *(громко)*. Сильная роса — не простудись.

Сюзанна *(громко)*. Я росы не боюсь.

Фигаро *(в сторону)*. Знаем мы, какая это роса!

Сюзанна отходит к кулисе, противоположной той, около которой находится Фигаро.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Фигаро, Керубино, граф, графиня, Сюзанна.
Фигаро и Сюзанна — на противоположных сторонах авансцены.

Керубино *(в форме офицера, входит, весело напевая свой романс)*. Ла, ла, ла!

Ничто, ничто мне не мило,
Я крестную люблю!

Графиня *(в сторону)*. Маленький паж!

Керубино *(останавливается)*. Здесь кто-то прогуливается. Скорее в убежище, туда, где Фаншетта... Да это женщина!

Графиня *(прислушивается)*. Боже милосердный!

Керубино *(вглядываясь, пригибается)*. Что это, или я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна: вон там, вдали, на темном фоне вырисовывается ее головной убор с плюмажем.

Графиня *(в сторону)*. Что, если граф придет!..

В глубине сцены появляется граф.

Керубино подходит к графине и берет ее за руку, графиня пытается высвободить ее.

Керубино. Да, это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть эта нежная ручка, ее легкая дрожь, а главное — биение моего сердца?

Хочет прижать к сердцу руку графини, та отдергивает ее.

Графиня *(тихо)*. Уйдите!

Керубино. Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...

Графиня. Сейчас придет Фигаро.

Граф *(приближается; про себя)*. Кажется, это Сюзанна?

Керубино *(графине)*. Фигаро я нисколько не боюсь: ты не его ждешь.

Графиня. А кого же?

Граф *(про себя)*. Она не одна.

Керубино. Не кто другой, как его сиятельство, сегодня утром, когда я прятался за креслом, просил, чтобы ты, плутовка, пришла к нему на свидание.

Граф *(про себя, со злобой)*. Опять этот проклятый паж!

Фигаро *(про себя)*. А еще говорят, что нехорошо подслушивать!

Сюзанна *(про себя)*. Болтунишка!

Графиня *(к Керубино)*. Пожалуйста, уйдите!

Керубино. Я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.

Графиня *(в испуге)*. Вы хотите...

Керубино *(с жаром)*. Сперва двадцать поцелуев за тебя, а затем сто поцелуев за твою прекрасную госпожу.

Графиня. И вы осмелитесь...

Керубино. Еще как осмелюсь! Ты займешь ее место при графе, а я — место графа при тебе, один только Фигаро не у дел.

Фигаро *(про себя)*. Экий разбойник!

Сюзанна *(про себя)*. Дерзок, как всякий паж.

Керубино хочет поцеловать графиню, граф становится между ними, и поцелуй достается ему.

Графиня *(отстраняясь)*. О боже!

Фигаро *(услышав звук поцелуя, про себя)*. Ну и выбрал же я себе невесту! *(Прислушивается.)*

Керубино *(ощупывает платье графа; про себя)*. Это граф! *(Скрывается в беседке, где находятся Фаншетта и Марселина.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Фигаро, графиня, Сюзанна, граф.

Фигаро *(подходит)*. Я хочу...

Граф *(принимая его за пажа)*. Так как вы больше меня пока не целуете... *(Дает Фигаро пощечину, предназначенную Керубино.)*

Фигаро. Ай!

Граф. ...то вот вам плата за первый поцелуй.

Фигаро *(отбегает, потирая себе щеку; про себя)*. Подслушивать тоже, однако, бывает накладно.

Сюзанна *(на противоположной стороне сцены, громко хохочет)*. Ха-ха-ха-ха!

Граф *(графине, принимая ее за Сюзанну)*. Вот поймите этого пажа! Получает звонкую пощечину и убегает с хохотом.

Фигаро *(про себя)*. А чего ему плакать!

Граф. Я просто шагу не могу ступить... *(Графине.)* Впрочем, оставим этот вздор, я не желаю отравлять себе удовольствие встречи с тобой.

Графиня *(подражая голосу Сюзанны)*. А вы были уверены, что она состоится?

Граф. Как же не быть уверенным после хитроумной твоей записки? *(Берет ее за руку.)* Ты дрожишь?

Графиня. Я очень боялась.

Граф. Я не хочу лишать тебя поцелуя, который вместо тебя достался мне. *(Целует ее в лоб.)*

Графиня. Какие вольности!

Фигаро *(в сторону)*. До чего же она отвратительна!

Сюзанна *(в сторону)*. До чего же она обворожительна!

Граф *(берет жену за руку)*. Какая тонкая и нежная кожа! Ах, если бы у графини была такая же прелестная ручка!

Графиня *(в сторону)*. Вот что значит предубеждение!

Граф. Разве у нее такая же налитая, округлая рука? Такие же хорошенькие пальчики, изящные и шаловливые?

Графиня *(голосом Сюзанны)*. Значит, любовь...

Граф. Любовь... это всего лишь роман сердца. Содержанием его является наслаждение, оно-то и привело меня к твоим ногам.

Графиня. Вы уже не любите графиню?

Граф. Я очень ее люблю, но три года супружества придали нашему союзу что-то уж слишком добродетельное!

Графиня. Чего же недостает вашей жене?

Граф *(лаская ее)*. Того, что я нахожу в тебе, моя прелесть...

Графиня. А именно?

Граф. Не знаю. В тебе, быть может, меньше однообразия, больше задора в обращении, какое-то особое обаяние, иной раз, пожалуй, и неуступчивость. Наши жены думают, что если они нас любят, то это уже все. Вбили это себе в голову и уж так любят, так любят (в том случае, если действительно любят) и до того предупредительны, так всегда услужливы, неизменно и при любых обстоятельствах, что в один прекрасный вечер, к вящему своему изумлению, вместо того чтобы вновь ощутить блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.

Графиня *(в сторону)*. Ах, какой урок!

Граф. В самом деле, Сюзон, мне часто приходило в голову, что если мы ищем на стороне того наслаждения, которого не находим у себя дома, то это потому, что наши жены не владеют в достаточной мере искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз по-новому, оживлять, если можно так выразиться, прелесть обладания прелестью разнообразия.

Графиня *(уязвлена)*. Значит, женщины должны всё...

Граф *(со смехом)*. А мужчины — ничего? Но разве мы властны изменить закон природы? Наше дело — добиваться взаимности, а дело женщин...

Графиня. А дело женщин?

Граф. Уметь нас удерживать. Об этом-то как раз слишком часто забывают.

Графиня. Я-то уж не забуду.

Граф. Я тоже.

Фигаро *(в сторону)*. Я тоже.

Сюзанна *(в сторону)*. Я тоже.

Граф *(берет жену за руку)*. Здесь очень сильное эхо — будем говорить тише. Так вот, тебе об этом думать не надо: Амур создал тебя такой живой и такой хорошенькой! Чуть-чуть своенравия — и ты будешь самой обольстительной любовницей в мире. *(Целует ее в лоб.)* Сюзанна! Кастильцы верны своему слову. Вот обещанное золото в уплату за утраченное мною право воспользоваться теми упоительными мгновениями, которые ты мне даришь. А так как милость, которую ты соблаговолила мне оказать, не имеет цены, то к золоту я присоединяю кольцо с бриллиантом, и ты будешь его носить в знак любви ко мне.

Графиня *(приседает)*. Сюзанна все принимает с благодарностью.

Фигаро *(в сторону)*. Ну и мерзавка!

Сюзанна *(в сторону)*. Вот это нам подарок так подарок!

Граф *(в сторону)*. Она корыстолюбива. Тем лучше.

Графиня *(глядя в глубину сцены)*. Я вижу факелы.

Граф. Это всё приготовления к твоей свадьбе. Пока они пройдут, зайдем на минутку в одну из этих беседок?

Графиня. Ведь там же темно?

Граф *(осторожным движением увлекает ее за собой)*. К чему нам свет? Мы же читать не собираемся.

Фигаро *(в сторону)*. А ведь пошла! Не ожидал. *(Приближается к ним.)*

Граф *(обернувшись, возвышает голос)*. Кто здесь ходит?

Фигаро *(гневно)*. Не ходит, а нарочно подходит!

Граф *(графине, тихо)*. Это Фигаро!.. *(Убегает.)*

Графиня. Я за вами. *(Входит в беседку направо.)*

Граф скрывается за деревьями, в глубине сцены.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Фигаро, Сюзанна в темноте.

Фигаро *(старается разглядеть, куда ушли граф и графиня, которую он принимает за Сюзанну)*. Ничего не слышно; они вошли в беседку; все ясно. *(Взволнованно.)* Эй вы, мужья-ротозеи! Вы держите наемных соглядатаев, месяцами ходите

вокруг да около и все никак не можете поймать с поличным,— берите-ка пример с меня! С первых же дней я слежу и подслушиваю за моей невестой, и вот сразу все приведено в ясность. Прелестно! Никаких сомнений! По крайней мере, знаешь, как поступить. *(Быстро ходит по сцене.)* К счастью, теперь мне это безразлично, ее измена меня нисколько не волнует. Наконец я их накрыл!

Сюзанна *(осторожно подкрадывается в темноте; про себя)*. Ты мне заплатишь за все твои миленькие подозрения. *(Голосом графини.)* Кто это?

Фигаро *(сам не свой)*. Кто? Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения...

Сюзанна *(голосом графини)*. Ба, да это Фигаро!

Фигаро *(вглядевшись, с живостью)*. Ваше сиятельство!

Сюзанна. Говорите тише.

Фигаро *(быстро)*. Ах, сударыня, само небо привело вас сюда! Как бы вы думали, где теперь граф?

Сюзанна. Что мне за дело до этого бессердечного человека? Скажите...

Фигаро *(еще быстрее)*. А как бы вы думали, где теперь моя невеста Сюзанна?

Сюзанна. Да тише вы!

Фигаро *(очень быстро)*. Эта самая Сюзон, которую все считали такой добродетельной, которая корчила из себя такую неприступную!.. Они заперлись вон там. Я их сейчас позову.

Сюзанна *(закрывает ему рот рукой; забыв изменить голос)*. Не надо!

Фигаро *(в сторону)*. Это же Сюзон! *God-dam!*

Сюзанна *(голосом графини)*. Вы словно встревожены?

Фигаро *(в сторону)*. Изменница! Вздумала меня провести!

Сюзанна. Мы с вами, Фигаро, должны отомстить.

Фигаро. Вам очень этого хочется?

Сюзанна. Иначе я не была бы женщиной! А у мужчин для этого столько способов!

Фигаро *(таинственно)*. Сударыня! Мы здесь одни. Средство женщины... стоит всех наших!

Сюзанна *(в сторону)*. Каких пощечин я бы ему надавала!

Фигаро *(в сторону)*. Недурно было бы еще до свадьбы...

Сюзанна. Что же это за месть, которая не содержит в себе ни капли любви?

Фигаро. Всякий раз, когда вам покажется, что любви нет, это будет лишь означать, что она скрыта под маской уважения.

Сюзанна *(уязвлена)*. Не знаю, действительно ли вы так думаете, но в словах ваших не чувствуется искренности.

Фигаро *(на коленях, с комическим пылом)*. Ах, сударыня, я обожаю вас! Примите в рассуждение время, место, обстоятельства, и пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.

Сюзанна *(в сторону)*. Как чешется рука!

Фигаро *(в сторону)*. Как бьется сердце!

Сюзанна. Но, сударь, вы подумали о том...

Фигаро. Да, сударыня, да, я все обдумал.

Сюзанна. ...что ни гнев, ни любовь...

Фигаро. ...не терпят отлагательств, иначе все погибло. Вашу руку, сударыня!

Сюзанна *(дает ему пощечину; своим обычным голосом)*. Вот *она!*

Фигаро. А, *demonio!* [1] Вот так пощечина!

Сюзанна *(дает ему другую)*. Вот так пощечина! Ну, а эта?

Фигаро. Э, да кто же это? Черт возьми! Да что нынче, день оплеух?

Сюзанна *(бьет его, приговаривая)*. Что? Кто же это? Сюзанна, вот кто! Вот тебе за твои подозрения, вот тебе за месть и за измену, за твои уловки, за твои замыслы. А ну-ка, повтори теперь, что говорил нынче утром: «Это ли не любовь?»

Фигаро *(встает и хохочет)*. *Santa Barbara!* [2] Да, это ли не любовь! О счастье, о радость, о стократ блаженный Фигаро! Бей, моя любимая, без устали! Но как только у меня не останется живого места, тогда уж ты, Сюзон, взгляни благосклонно на счастливейшего из мужчин, которых когда-либо колотила женщина.

Сюзанна. «Счастливейшего из мужчин»! И тем не менее, плут вы этакий, вы обольщали графиню, да так искусно, что я, право, забыла, что это я, и чуть было не сдалась от ее имени.

---

[1] Черт! *(исп.)*

[2] Святая Варвара! *(исп.)*

Фигаро. Да разве милый твой голосок мог ввести меня в заблуждение?

Сюзанна *(со смехом)*. Так ты меня узнал? Ух, я же тебе и отомщу!

Фигаро. Отколотить человека, да на него же еще и сердиться,— вот черта поистине женская! Скажи мне, однако ж, по какой счастливой случайности ты оказалась здесь, меж тем как я полагал, что ты с ним, и каким образом этот наряд, который сначала сбил меня с толку, доказывает теперь, что ты невинна...

Сюзанна. Сам-то ты святая невинность, коли попал в западню, приготовленную для другого! Наша ли это вина, если мы, намереваясь загнать одну лису, поймали двух сразу?

Фигаро. А кто приманил другого зверька?

Сюзанна. Его жена.

Фигаро. Его жена?

Сюзанна. Его жена.

Фигаро *(хохочет, как сумасшедший)*. Ну, Фигаро, лучше удавись! Какого же ты дал маху! Его жена? Вот она, прославленная женская хитрость! Значит, поцелуи здесь, в парке...

Сюзанна. Достались графине.

Фигаро. А поцелуй пажа?

Сюзанна *(со смехом)*. Графу.

Фигаро. А тогда, за креслом?

Сюзанна. Никому.

Фигаро. Ты уверена?

Сюзанна *(со смехом)*. Пощечины нынче сыплются градом, Фигаро!

Фигаро *(целует ей руку)*. Твои пощечины — это так, одно удовольствие. А вот графская — нечего сказать, увесистая.

Сюзанна. А ну-ка, гордец, проси прощения!

Фигаро *(исполняет все, что говорит)*. Верно! На колени, кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе!

Сюзанна *(со смехом)*. Ах, бедный граф! Сколько усилий...

Фигаро *(хочет подняться с колен)*. ...для того, чтобы обольстить свою же собственную жену!

В глубине сцены показывается граф и идет к беседке направо.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Фигаро, Сюзанна, граф.

Граф *(сам с собой)*. Напрасно обыскал весь парк. Может статься, она вошла сюда.

Сюзанна *(к Фигаро, тихо)*. Это он.

Граф *(отворяя дверь в беседку)*. Сюзон! Ты здесь?

Фигаро *(тихо)*. Он ищет ее, а я думал...

Сюзанна *(тихо)*. Он ее не узнал.

Фигаро. Хочешь, доконаем его? *(Целует ей руку.)*

Граф *(оборачивается)*. Мужчина у ног графини!.. Ах, зачем я не захватил с собою оружия! *(Подходит ближе.)*

Фигаро *(поднимается с колен; изменив голос)*. Простите, сударыня: я упустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества...

Граф *(в сторону)*. Это тот самый мужчина, который сегодня утром прятался у нее в туалетной. *(Ударяет себя по лбу.)*

Фигаро *(продолжает)*. ...но столь ничтожное препятствие, разумеется, не должно помешать утехам нашей любви.

Граф *(в сторону)*. Черт, дьявол, сатана!

Фигаро *(ведет Сюзанну в беседку; тихо)*. Он бранится. *(Громко.)* Поспешим же, сударыня, и вознаградим себя за те неприятности, которые у нас были утром, когда мне пришлось выпрыгнуть в окно.

Граф *(в сторону)*. А, наконец-то все открывается!

Сюзанна *(возле правой беседки)*. Прежде чем войти, посмотрите, не следит ли кто за нами.

Фигаро целует ее в лоб.

Граф *(кричит)*. Мщение!

Сюзанна скрывается в той беседке, куда вошли Фаншетта, Марселина и Керубино.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Граф, Фигаро.

Фигаро *(разыгрывая крайний испуг)*. Это граф!

Граф *(узнает его)*. А, негодяй, это ты! Эй, кто-нибудь!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Педрильо в сапогах, граф, Фигаро.

Педрильо. Насилу отыскал вас, ваше сиятельство.

Граф. Это ты, Педрильо? Отлично. Ты один?

Педрильо. Только что из Севильи, коня совсем загнал.

Граф. Подойди ко мне и кричи как можно громче!

Педрильо *(кричит во всю мочь)*. Никакого пажа там нет и в помине! Вот пакет!

Граф *(толкает его)*. Экая скотина!

Педрильо. Сами же вы, ваше сиятельство, велели кричать.

Граф *(все еще не отпуская Фигаро)*. Надо было звать. Эй, кто-нибудь! Ко мне! Сюда!

Педрильо. Нас тут двое: Фигаро и я,— что же с вами может случиться?

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же, Бридуазон, Бартоло, Базиль, Антонио, Грипсолейль и все гости с факелами.

Бартоло *(к Фигаро)*. Видишь, по первому твоему зову...

Граф *(указывая на левую беседку)*. Педрильо! Стань у этой двери.

Педрильо идет туда.

Базиль *(к Фигаро, тихо)*. Ты застал его с Сюзанной?

Граф *(указывая на Фигаро)*. А вы, мои вассалы, станьте вокруг этого человека,— вы мне отвечаете за него головой.

Базиль. Вот тебе раз!

Граф *(в бешенстве)*. Молчать! *(К Фигаро, убийственно холодным тоном.)* Угодно вам, сударь, отвечать на мои вопросы?

Фигаро *(сухо)*. Кто же может меня от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.

Граф *(сдерживаясь)*. Только не самим собой!

Антонио. Ловко ввернул!

Граф *(снова вспылив)*. Нет, если что может довести меня до белого каления, так это его невозмутимый вид!

Фигаро. Да разве мы солдаты, которые убивают других и дозволяют убивать самих себя ради неведомой цели? Я должен знать, из-за чего мне гневаться.

Граф *(вне себя)*. Я в исступлении! *(Сдерживаясь.)* Послушайте, достопочтенный: хоть вы и притворяетесь, что знать ничего не знаете, а быть может, все-таки потрудитесь нам сказать, кто эта дама, которую вы только что увели в беседку?

Фигаро *(нарочно указывая на другую беседку)*. Вот в ту?

Граф *(поспешно)*. Нет, в эту.

Фигаро *(холодно)*. Это разница. Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особого расположения.

Базиль *(удивленно)*. Вот тебе раз!

Граф *(поспешно)*. Вы слышите, господа?

Бартоло *(удивленно)*. Слышим.

Граф *(к Фигаро)*. А не связана ли эта молодая особа другим обязательством, которое вам известно?

Фигаро *(холодно)*. Мне известно, что некий вельможа одно время был к ней неравнодушен, но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше, сегодня она оказывает предпочтение мне.

Граф *(живо)*. Предп... *(Сдерживаясь.)* По крайней мере, он чистосердечен: то, в чем он признается, я слышал,— клянусь вам, господа,— из уст его сообщницы!

Бридуазон *(в полном изумлении)*. Сообщницы!

Граф *(в бешенстве)*. Так вот, коль скоро оскорбление нанесено публично, то и мщение должно совершиться на глазах у всех. *(Входит в беседку.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же, кроме графа.

Антонио. И то правда.

Бридуазон *(к Фигаро)*. Кто же у кого о-отнял жену?

Фигаро *(со смехом)*. Этого удовольствия никто себе не доставил.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Те же, граф и Керубино.

Граф *(в беседке, вытаскивая оттуда кого-то, кто пока еще не виден)*. Все ваши усилия напрасны, вы погибли, сударыня, ваш час настал! *(Выходит, не оборачиваясь.)* Какое счастье, что наш с вами постылый союз не оставил никакого залога!..

Фигаро *(вскрикивает)*. Керубино!

Граф. Мой паж?

Базиль. Вот тебе раз!

Граф *(в сторону, вне себя)*. Вечно этот чертов паж! *(К Керубино.)* Что вы там делали?

Керубино *(робко)*. Скрывался по вашему приказанию.

Педрильо. Стоило загонять коня!

Граф. Ступай туда, Антонио, и приведи бесчестную женщину, покрывшую меня позором, к ее судье.

Бридуазон. Это вы там гра-афиню разыскиваете?

Антонио. А все-таки есть, черт подери, справедливость на свете: вы-то, ваше сиятельство, сами столько в наших краях набедокурили, что теперь следовало бы и вас...

Граф *(в бешенстве)*. Ступай же!

Антонио входит в беседку.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Те же, кроме Антонио.

Граф. Сейчас вы убедитесь, господа, что паж был в беседке не один.

Керубино *(робко)*. Моя участь была бы слишком печальна, когда бы некая добрая душа не усладила ее горечи.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Те же, Антонио и Фаншетта.

Антонио *(тащит за руку кого-то, кто пока еще не виден)*. Пожалуйте, сударыня. Раз все знают, что вы туда вошли, стало быть, и выходите без стеснения.

Фигаро *(вскрикивает)*. Сестренка!

Базиль. Вот тебе раз!

Граф. Фаншетта!

Антонио *(оборачивается и вскрикивает)*. А, прах его возьми! Да вы что, ваше сиятельство, нарочно меня туда послали, чтобы добрые люди увидели, что вся эта каша заварилась из-за моей дочки?

Граф *(со злостью)*. Да кто же знал, что она там? *(Хочет войти в беседку.)*

Бартоло *(выступает вперед)*. Позвольте, ваше спятельство, тут что-то не так. Я человек более хладнокровный. *(Входит в беседку.)*

Бридуазон. Это дело тоже о-очень запутанное.

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Марселина.

Бартоло *(говорит кому-то в беседке, а затем выходит)*. Не бойтесь, сударыня, вам ничего дурного не сделают. Я вам за это отвечаю. *(Оборачивается и вскрикивает.)* Марселина!..

Базиль. Вот тебе раз!

Фигаро *(со смехом)*. Что за притча! И матушка оказалась там?

Антонио. Час от часу не легче!

Граф *(со злостью)*. Меня это не касается! Графиня...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Сюзанна, закрывающая лицо веером.

Граф. А, вот и она! *(Резким движением берет ее за руку.)* Господа! Чего, по-вашему, заслуживает презренная...

Сюзанна, опустив голову, бросается на колени.

Нет, нет!

Фигаро бросается на колени с другой стороны.

(Еще более решительно.) Нет, нет!

Марселина бросается перед ним на колени.

(Еще более решительно.) Нет, нет!

Все, за исключением Бридуазона, становятся на колени.

(Вне себя.) Будь вас хоть целая сотня!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и графиня выходит из другой беседки.

Графиня *(бросается на колени)*. И я еще в придачу!

Граф *(смотрит на графиню и Сюзанну)*. А, что я вижу!

Бридуазон *(хохочет)*. Ей-богу, это гра-афиня!

Граф *(хочет поднять графиню)*. Как, это были вы, графиня? *(Умоляющим тоном.)* Только великодушное прощение...

Графиня *(со смехом)*. На моем месте вы бы сказали: «Нет, нет!» — а я, уже в третий раз за сегодняшний день, прощаю вас без всяких условий. *(Встает.)*

Сюзанна *(встает)*. Я тоже.

Марселина *(встает)*. Я тоже.

Фигаро *(встает)*. Я тоже. Здесь очень сильное эхо!

Все встают.

Граф. Эхо! Я хотел их перехитрить, а они проучили меня, как мальчишку!

Графиня *(со смехом)*. Не жалейте об этом, граф.

Фигаро *(вытирая колени шляпой)*. Такой денек, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата!

Граф *(Сюзанне)*. А как же записка, сколотая булавкой?..

Сюзанна. Ее продиктовала графиня.

Граф. В таком случае и ответ относится к ней. *(Целует графине руку.)*

Графиня. Каждый получает то, что ему полагается. *(Протягивает Фигаро кошелек, а Сюзанне кольцо с брильянтом.)*

Сюзанна *(к Фигаро)*. Еще одно приданое!

Фигаро *(потряхивая кошельком)*. Всего от трех лиц. Особенно трудно было добиться последнего.

Сюзанна. Так же трудно, как и нашей свадьбы.

Грипсолейль. А как бы нам получить подвязку новобрачной?

Графиня *(выхватывает ленту, которую она хранила на груди, и бросает ее на землю)*. Подвязку? Она была вместе с ее платьем. Вот она.

Мальчики из числа гостей, приглашенных на свадьбу, бросаются поднимать ленту.

Керубино *(более проворный, схватывает ленту)*. Пусть только попробуют отнять ее у меня!

Граф *(пажу, со смехом)*. Вы такой обидчивый! Что же вас так насмешило, когда вам дали затрещину?

Керубино *(отступая, обнажает до половины свою шпагу)*. Мне — затрещину, господин полковник?

Фигаро *(с напускной досадой)*. Эта затрещина пришлась не по его, а по моей щеке,— вот оно, правосудие вельможи!

Граф *(со смехом)*. По твоей щеке? Ха-ха-ха! Как вам это нравится, дорогая графиня?

Графиня *(внезапно выходит из задумчивости; с чувством)*. Да, да, дорогой граф, на всю жизнь, безраздельно, клянусь вам!

Граф *(хлопнув судью по плечу)*. А вы какого мнения, дон Бридуазон?

Бридуазон. Относительно того, что происходит на моих гла-азах, ваше сиятельство?.. Пра-аво, не знаю, что вам на это сказать,— вот ка-аков мой взгляд на вещи.

Все. Ну и рассудил!

Фигаро. Я был беден — меня презирали. Я выказал не совсем заурядный ум — родилась ненависть. Красивая жена и состояние...

Бартоло *(со смехом)*. Привлекут к тебе все сердца.

Фигаро. Так ли?

Бартоло. Я человеческие сердца знаю.

Фигаро *(кланяясь зрителям)*. Если привлекут не ради моей жены и моего имущества, то это будет для меня и особая честь, и особое удовольствие.

Музыка играет вступление к водевилю.

ВОДЕВИЛЬ

Базиль

Первый куплет

И с приданым и с невестой!
Что за чудный оборот!
Ну, а ревность неуместна.
Графы и пажи не в счет —
Поговорка всем известна:
Ловкачу всегда везет

Фигаро

Знаю!

(Поет.)

Счастлив высший свет!

Базиль

Нет!

(Поет.)

А без денег счастья нет!

Сюзанна

Второй куплет

Если муж неверен будет —
Это шалость и пустяк,
А жена когда пошутит,
Ей никак уж не простят!
Где же правда? Пусть рассудят!
Правда там, увы и ах,
Где у сильных власть в руках. *(2 раза.)*

Фигаро

Третий куплет

Друг Жанно за святость брака!
Чтоб с женой не вышло зла,
Им огромная собака
Приобретена была.
Нынче ночью шум и драка —
Еле ноги этот пес
От любовника унес! *(2 раза.)*

Графиня

Четвертый куплет

Те верны на самом деле,
Хоть вздыхают тяжело,
А иные и хотели
Изменить, да не прошло!
Всех, конечно, ближе к цели
Те, что клятвы не дают,
Но очаг свой берегут. *(2 раза.)*

Граф

Пятый куплет

Коль супруга всему свету
Кажет святость-простоту,
Не ценю я даму эту —
Я другую предпочту,
Что похожа на монету:
Образ мужа пусть хранит,
А друзей пусть веселит! *(2 раза.)*

Марселина

Шестой куплет

Каждый знает, что от мамы
Он рожден на белый свет,
Но со срамом иль без срама —
Разбираться проку нет.

Фигаро
(заканчивая)

Но зато скажу вам прямо:
Нахождение сынка
Лучше золота мешка. *(2 раза.)*

Седьмой куплет

В жизни есть закон могучий:
Кто пастух — кто господин!
Но рожденье — это случай,
Все решает ум один.
Повелитель сверхмогучий
Обращается во прах,
А Вольтер живет в веках. *(2 раза.)*

Керубино

Восьмой куплет

Пол прекрасный, пол бесценный,
Ради ваших милых глаз
Лезем мы порой на стены,
А прожить нельзя без вас.
Вы, как зритель наш почтенный,—
Мы всегда его корим,
А расстаться не хотим. *(2 раза.)*

Сюзанна

Девятый куплет

Наша мысль и наша шутка,—
Милый зритель, уясни,
Тут смешался глас рассудка
С блеском легкой болтовни!
Так сама природа чутко
От забав и от проказ
Прямо в жизнь выводит нас! *(2 раза.)*

Бридуазон

Десятый куплет

В тех пье-есах, что даются
Каждый час, ка-аждый миг,
Зри-и-ители смеются,
Видя в них себя самих,
Бу-унтуют, де-ерутся,
Столько шуток, сколько бед,
А под занавес — куплет! *(2 раза.)*

Балет.

ПРЕСТУПНАЯ МАТЬ, ИЛИ ВТОРОЙ ТАРТЮФ

НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ ДРАМА
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

Изгнать из семьи негодяя — это великое счастье.

Заключительные слова пьесы

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПРЕСТУПНОЙ МАТЕРИ»

Во время долгого моего изгнания заботливые друзья напечатали эту пьесу с единственною целью не допустить незаконной подделки, одной из тех грубых подделок, которые стряпаются обыкновенно тайком и наспех, прямо в театре, пока идет пьеса. Однако те же самые друзья во избежание преследований, которым они подверглись бы со стороны агентов террора, если бы за действующими лицами, пусть даже испанцами (тогда все было опасно), были сохранены их настоящие титулы, рассудили за благо переиначить их звания, изменить даже их язык и изуродовать некоторые сцены.

По прошествии четырех тяжелых для меня лет я был с честью возвращен на родину, а так как прежние знаменитые и высокоталантливые артисты Французского театра пожелали сыграть мою пьесу, то я ее и восстанавливаю полностью, в первоначальном ее виде. За это издание я отвечаю.

Я одобряю намерение артистов в течение трех спектаклей подряд развернуть перед зрителями всю историю семьи Альмавива. Правда, две первые части с их легким весельем имеют, казалось бы, мало общего с глубокой и трогательной нравоучительностью третьей, и тем не менее, по замыслу автора, между ними существует тесная внутренняя связь, способная вызвать самый живой интерес к представлениям *Преступной матери.*

Словом, я вместе с актерами полагал, что мы могли бы сказать зрителям: «Вволю посмеявшись в первый день на *Севильском цирюльнике* над бурною молодостью графа Альмавивы, в общем такою же, как и у всех мужчин; на другой день с веселым чувством поглядев в *Женитьбе Фигаро* на ошибки его зрелого возраста,— ошибки, которые так часто допускаем и мы, приходите теперь на *Преступную мать,* и, увидев картину его старости, вы вместе с нами убедитесь, что каждый человек, если только он не чудовищный злодей, в конце концов, к тому

времени, когда страсти уже остыли и особенно когда он вкусил умилительную радость отцовства, непременно становится добродетельным. Таков нравоучительный смысл пьесы. Другие ее идеи будут видны из ее частностей».

Я же, автор, прибавлю здесь от себя: приходите судить *Преступную мать* с тою же самою благожелательностью, какая руководила автором, когда он ее писал. Если вам будет приятно поплакать над горестями, над искренним раскаянием несчастной женщины, если ее слезы исторгнут слезы и у вас, то не удерживайте их. Слезы, проливаемые в театре над страданиями вымышленными, не столь мучительными, как те, которыми изобилует жестокая действительность,— это слезы сладостные. Когда человек плачет, он становится лучше. Пожалеешь кого-нибудь — и после этого чувствуешь себя таким добрым!

Если же рядом с этой трогательной картиной я нашел нужным выставить перед вами интригана, ужасного человека, терзающего несчастную семью, то, уверяю вас, единственно потому, что видел такого в жизни,— выдумать его я бы не мог. Тартюф Мольера — это *лицемер, прикидывающийся богобоязненным;* вот почему из всей семьи Оргона он надул только ее бестолкового главу. Мой Тартюф гораздо более опасен: это *лицемер, прикидывающийся безукоризненно честным,* он владеет несравненным искусством завоевывать почтительное доверие целой семьи, которую он обворовывает. Его-то и следовало разоблачить. Именно для того, чтобы оградить вас от сетей, расставляемых такими чудовищами (а их везде много), я безжалостно вывел его на французскую сцену. Простите мне этот грех за то, что в конце пьесы злодей наказан. Пятое действие далось мне нелегко, но я считал бы, что я еще хуже Бежарса, если бы позволил ему воспользоваться малейшим плодом его злодеяний, если бы после сильных волнений я вас не успокоил.

Быть может, я слишком медлил с окончанием этой мучительной вещи, надрывавшей мне душу; ее надо было писать в расцвете сил. С давних пор не давала она мне покоя. Две мои испанские комедии были задуманы лишь как вступление к ней. Затем, состарившись, я начал колебаться: я боялся, что у меня не хватит сил. Быть может, у меня тогда их, и правда, уже не было! Так или иначе, принявшись за эту вещь, я преследовал прямую и благородную цель; я обладал в то время холодным рассудком мужчины и пламенным сердцем женщины — говорят, именно так творил Ж.-Ж. Руссо. Между прочим, я заметил, что это сочетание, этот духовный гермафродитизм не так редко встречается, как принято думать.

Как бы то ни было, *Преступная мать* не играет на руку никаким партиям, никаким сектам,— это картина внутренних распрей, раздирающих многие семьи, распрей, которых, к несчастью, не прекращает и развод, в иных случаях очень полезный. При всех условиях развод, вместо того чтобы зарубцовывать эти скрытые раны, только еще больше их растравляет. Чувство отцовства, добросердечие, прощение — таковы единственные средства от этой болезни. Это-то мне и хотелось выразить и запечатлеть в умах зрителей.

Литераторы, посвятившие себя театру, при разборе этой пьесы обнаружат, что комедийная интрига в ней растворена в возвышенном стиле драмы. Иные предубежденные ценители относились к этому жанру с излишним презрением: им казалось, что эти два элемента несовместимы. Интрига, рассуждали они, составляет принадлежность веселых сюжетов, это нерв комедии; возвышенным же элементом восполняют несложное развитие драмы для того, чтобы придать силу ее слабости. Однако необоснованные эти положения на деле отпадают, в чем сможет убедиться всякий, кто станет упражняться в обоих жанрах. Более или менее удачное выполнение подчеркнет достоинства каждого из них, так что умелое сочетание этих двух драматургических приемов и искусное их применение могут произвести весьма сильное действие на публику. Мой опыт заключался в следующем.

Опираясь на предшествующие, уже известные события (а это очень большое преимущество), я завязал теперь волнующую драму между графом Альмавивой, графиней и двумя детьми. Если бы я перенес действие пьесы в прошлое, в ту неустойчивую пору жизни моих героев, когда они совершали ошибки, то получилось бы вот что.

Прежде всего драма должна была бы называться не *Преступная мать*, а *Неверная супруга*, или *Преступные супруги*. Ее интерес был бы основан на другом: пришлось бы ввести любовную интригу, ревность, сильные страсти, какие-то совершенно иные события; нравственный же урок, который мне хотелось извлечь из того положения, что честная жена слишком далеко зашла в забвении своего долга, этот нравственный урок, окутанный покровом заблуждений молодости, пропал бы даром, прошел бы незамеченным.

Между тем действие моей пьесы происходит спустя двадцать лет после того, как ошибки были совершены, то есть когда страсти уже прошли, когда самих предметов страсти уже не существует и лишь следы почти забытых душевных потрясений

все еще тяготеют над супружеской жизнью и над судьбой двух несчастных детей, которые понятия не имеют о семейной драме и в то же время являются ее жертвами. Именно в этих чрезвычайных обстоятельствах и черпает всю свою силу мораль: она является предостережением для тех юных особ из благородных семей, которые редко заглядывают в будущее и которым угрожает не столько порок, сколько нравственное заблуждение. Вот какова цель моей драмы.

Далее, злодею противопоставлен наш проницательный Фигаро, старый преданный слуга, единственное существо во всем доме, которое мошенник не сумел провести,— завязывающаяся между ними интрига всему придает особый характер.

Встревоженный злодей говорит себе: «Напрасно я владею здесь всеми тайнами, напрасно я спешу извлечь из этого выгоду,— если мне не удастся прогнать отсюда этого лакея, со мной может стрястись беда!»

С другой стороны, я слышу, как рассуждает сам с собой Фигаро: «Если я не ухитрюсь накрыть это чудовище, сорвать с него маску, то погибло все: благосостояние, честь, счастье семьи».

Сюзанна, поставленная между двумя противниками, является в этой пьесе всего лишь хрупким орудием, которым каждый из них стремится воспользоваться, дабы ускорить падение другого.

Таким образом, *комедия интриги,* поддерживая интерес зрителей, проходит через всю драму: она способствует развитию действия, но не разбивает внимания, всецело сосредоточенного на *матери.* Что касается детей, то зрители прекрасно сознают, что серьезной опасности им не грозит. Ни у кого не остается сомнений, что, если только злодей будет изгнан, они поженятся: ведь в пьесе совершенно ясно показано, что между ними нет никаких родственных уз, что они друг другу чужие. В глубине души это отлично знают и граф, и графиня, и злодей, и Сюзанна, и Фигаро — все посвященные в тайну действующие лица, а равно и публика, от которой мы ничего не скрыли.

Лицемер употребляет все свое искусство, разрывающее сердца отца и матери, на то, чтобы запугать молодых людей, оторвать их друг от друга, внушив им, что они дети одного отца,— вот основа его интриги. Так развивается двойной план пьесы, и план этот нельзя не признать сложным.

Подобный драматургический прием применим к любому времени и к любому месту действия, где только великие черты природы, а также черты, характеризующие сердце человека и его тайны, не находятся в полном пренебрежении.

Дидро, сравнивая творения Ричардсона с теми романами, которые мы называем историческими, выражает свой восторг перед этим правдивым и глубоким писателем в следующем восклицании: «Живописец сердца человеческого! Ты один никогда не лжешь!» Как это прекрасно сказано! Я тоже все еще стараюсь быть живописцем человеческого сердца, но мою палитру иссушили годы и превратности судьбы. И это не могло не сказаться на *Преступной матери!*

Если неважное выполнение и вредит занимательности моего замысла, то выдвинутое мною положение все же остается в силе. Моя попытка может вдохновить других на произведения более зрелые. Пусть за это возьмется какой-нибудь пылкий художник и одним взмахом кисти объединит *интригу* и *патетику;* пусть он умелой рукой разотрет и смешает яркие краски и того и другого жанра; пусть он широкими мазками напишет нам человека, живущего в определенном обществе, его положение, его страсти, пороки, достоинства, ошибки и несчастья, с той потрясающей силой, которой не знает даже преувеличение, придающее блеск другим жанрам, но не всегда способное до такой степени верно изображать жизнь,— и мы, растроганные, захваченные, умудренные, мы уже не скажем, что драма — это бесцветный жанр, порожденный бессилием создать трагедию или комедию. Искусство станет на верный путь, оно шагнет вперед.

О мои сограждане, вы, на чей суд я представляю этот опыт! Если вы признáете его слабым или неудачным, то критикуйте его, но не браните меня. Когда я написал две другие пьесы, меня долго ругали за то, что я осмелился вывести на сцену того самого молодого Фигаро, которого впоследствии вы полюбили. Я тоже тогда был молод, и я над этим смеялся. С возрастом расположение духа становится все более мрачным, характер портится. Несмотря на все усилия, я теперь уже не смеюсь, когда злодей или мошенник, разбирая мои произведения, оскорбляет мою личность,— тут уж ничего не поделаешь.

Критикуйте пьесу, пожалуйста! Если даже автор слишком стар, чтобы извлечь из этого пользу, ваши наставления пригодятся другим. Никому не приносит пользы только брань — это, если хотите, манера дурного тона. С подобным замечанием я смело обращаюсь к народу, который исстари славился своею учтивостью, служил в этом отношении образцом для других и доныне еще являет собою пример высокого мужества.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Альмавива, испанский вельможа, благородно-гордый, но не надменный.

Графиня Альмавива, женщина глубоко несчастная и притом ангельской кротости.

Кавалер Леон, их сын, молодой человек, свободолюбивый, как и все пылкие души нового времени.

Флорестина, воспитанница и крестница графа Альмавивы; в высшей степени чувствительная молодая девушка.

Господин Бежарс, ирландец, майор испанской пехоты, исполнявший обязанности секретаря при графе, когда тот был послом; весьма низкой души человек, великий интриган, искусно сеющий раздоры.

Фигаро, камердинер, лекарь и доверенное лицо графа; человек, обладающий большим жизненным опытом.

Сюзанна, первая камеристка графини, жена Фигаро; прекрасная женщина, преданная своей госпоже, свободная от иллюзий молодости.

Господин Фаль, нотариус, человек верный и глубоко порядочный.

Вильгельм, немец, слуга майора Бежарса, слишком большой простак для такого господина.

Действие происходит в Париже, в доме, который занимает граф со своей семьей, в конце 1790 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Богато убранная гостиная.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сюзанна одна, составляет букет из темных цветов.

Сюзанна. Теперь графиня может просыпаться и звонить — печальный мой труд окончен. *(В изнеможении садится.)* Еще и девяти нет, а я уже так устала... Последнее ее распоряжение перед сном отравило мне всю ночь... «Завтра чуть свет, Сюзанна, вели принести побольше цветов и укрась мои комнаты». Привратнику: «Весь день никого ко мне не впускайте». «Сделай мне букет из черных и темно-красных цветов с одной белой гвоздикой посредине...» Вот и букет. Бедная графиня! Как она плакала! Для кого все эти приготовления? Ах да, живи мы в Испании, сегодня были бы именины ее сына Леона... *(таинственно)* и еще одного человека, которого уже нет на свете! *(Рассматривает букет.)* Цветá крови и траура! *(Вздыхает.)* Раны на ее сердце не затянутся никогда! Перевяжем букет черным крепом, раз уж такова печальная ее причуда. *(Перевязывает букет.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сюзанна, Фигаро заглядывает с таинственным видом. Вся эта сцена должна идти с подъемом.

Сюзанна. Входи же, Фигаро! У тебя вид счастливого любовника твоей жены.

Фигаро. Можно говорить, не стесняясь?

Сюзанна. Да, если не затворять дверь.

Фигаро. А к чему такая предосторожность?

Сюзанна. Дело в том, что известный тебе человек может войти с минуты на минуту.

Фигаро *(с расстановкой)*. Оноре-Тартюф Бежарс?

Сюзанна. Да, наша встреча была назначена заранее. Послушай, отвыкай ты прибавлять к его имени разные словечки: это может до него дойти и помешать нашим замыслам.

Фигаро. Его же зовут Оноре!

Сюзанна. Но не Тартюф.

Фигаро. А, да ну его к черту!

Сюзанна. Ты как будто чем-то удручен?

Фигаро. Я взбешен.

Сюзанна встает.

Где же наш с тобой уговор? Помогаешь ли ты мне, Сюзанна, верой и правдой предотвратить большую неприятность? Неужели ты позволишь этому злобному существу еще раз обвести себя вокруг пальца?

Сюзанна. Нет, но, по-моему, я вышла у него из доверия: он ничего больше мне не сообщает. Право, я боюсь, как бы он не подумал, что мы с тобой помирились.

Фигаро. Будем по-прежнему делать вид, что мы в ссоре.

Сюзанна. Но почему же ты так расстроен? Узнал что-нибудь новое?

Фигаро. Сначала припомним самое главное. С тех пор как мы переехали в Париж и с тех пор как господин Альмавива... Поневоле приходится называть его по фамилии, раз он строго-настрого запретил называть его *ваше сиятельство...*

Сюзанна *(с досадой)*. Прелестно! А графиня выезжает без ливрейных лакеев. Мы теперь, совсем как простые смертные!

Фигаро. Словом, ты знаешь сама, что с тех пор как беспутный старший сын графа погиб, поссорившись из-за карт, все у нас в доме совершенно переменилось! Каким хмурым, каким угрюмым стал за последнее время граф!

Сюзанна. Ну, положим, и ты глядишь букой!

Фигаро. Как ненавидит он теперь второго сына!

Сюзанна. Ужас!

Фигаро. Как несчастна графиня!

Сюзанна. Это великий грех на его душе.

Фигаро. Как возросла его нежность к воспитаннице Флоретине! А главное, как спешит он произвести обмен своих владений!

Сюзанна. Знаешь, мой милый Фигаро, ведь это пустая болтовня. Мне же все известно, так зачем ты со мной об этом толкуешь?

Фигаро. Не мешает лишний раз все привести в ясность — для большей уверенности, что мы понимаем друг друга. Разве для нас с тобой может быть еще какое-то сомнение, что бич этой семьи, коварный ирландец, который состоял при графе секретарем в нескольких посольствах, овладел всеми семейными тайнами? Что мерзкий этот интриган сумел заманить графа Альмавиву из тихой и мирной Испании в эту страну, где все перевернуто вверх дном,— сумел заманить в надежде, что здесь ему легче будет, воспользовавшись неладами между мужем и женой, разлучить их, жениться на воспитаннице и прибрать к рукам состояние распадающейся семьи?

Сюзанна. Ну, а я-то чем могу быть здесь полезна?

Фигаро. Ни на секунду не выпускай его из поля зрения, уведомляй меня обо всех его предприятиях...

Сюзанна. Да я и так передаю тебе все, что он говорит.

Фигаро. Гм! Все, что он говорит... это лишь то, что он находит нужным сказать! Нет, надо ловить каждое слово, которое у него невзначай срывается с языка, малейшее его движение, выражение лица,— вот где сквозит тайна души! Он обделывает здесь какое-то темное дело. В успехе он, по-видимому, уверен, так как, на мой взгляд, он стал еще... еще лживей, вероломней, наглей,— так нагло держат себя все здешние дураки, которые торжествуют, еще ничего не достигнув. Так вот, не можешь ли ты быть столь же вероломна, как он? Задабривать его, ласкать надеждой? Ни в чем ему не отказывать?

Сюзанна. Не слишком ли это?

Фигаро. Все будет хорошо, и все пойдет на лад, если только меня своевременно извещать.

Сюзанна. И если только я извещу графиню?

Фигаро. Еще рано. Он их всех поработил,— тебе все равно никто не поверит. Ты и нас погубишь, и их не спасешь. Следуй за ним, как тень... а я подсматриваю за ним вне дома...

Сюзанна. Друг мой! Я же тебе сказала, что он мне не доверяет, и если он еще застанет нас вместе... Вот он спускается!.. А ну-ка!.. Сделаем вид, что у нас крупная ссора. *(Кладет букет на стол.)*

Фигаро *(громко)*. Я этого не потерплю! В другой раз поймаю...

Сюзанна *(громко)*. Вот еще!.. Боюсь я тебя, как же!

Фигаро *(делает вид, что дает ей пощечину)*. А, ты не боишься!.. Так вот же тебе, дерзкая!

Сюзанна *(делает вид, что получила пощечину)*. Бить меня... в комнате графини!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Бежарс, Фигаро, Сюзанна.

Бежарс *(в военной форме, с черной перевязью на рукаве)*. Что за шум? Ко мне уже целый час доносятся громкие голоса...

Фигаро *(в сторону)*. Целый час!

Бежарс. Я вхожу, вижу заплаканную женщину...

Сюзанна *(с притворным плачем)*. Злодей поднял на меня руку!

Бежарс. Ах, это отвратительно, господин Фигаро! Позволит ли себе благовоспитанный человек ударить существо другого пола?

Фигаро *(резко)*. К черту! Милостивый государь, оставьте нас в покое! Я человек вовсе не *благовоспитанный,* а эта женщина — не *существо другого пола:* она просто моя жена, наглая особа, интриганка, полагающая, что может со мной не считаться, так как здесь у нее нашлись покровители. Ну да уж я за нее возьмусь...

Бежарс. Как вам не стыдно быть таким грубым!

Фигаро. Милостивый государь! Если мне понадобится третейский судья для разбора моих отношений с женой, то я позову кого угодно, только не вас, и вы сами прекрасно знаете почему.

Бежарс. Милостивый государь! Вы меня оскорбляете, я пожалуюсь вашему господину.

Фигаро *(насмешливо)*. Я вас оскорбляю? Разве можно вас оскорбить? *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Бежарс, Сюзанна.

Бежарс. Дитя мое! Я все еще не могу опомниться. Из-за чего он так вспылил?

Сюзанна. Он нарочно пришел сюда, чтобы со мной поссориться, наболтал мне про вас всяких мерзостей. Запретил встречаться с вами, даже говорить. Я за вас заступилась, вспых-

нула ссора и окончилась пощечиной... Правда, это он впервые, но все-таки я хочу с ним расстаться. Вы сами видели...

Бежарс. Оставим это. Одно время легкое облачко омрачило мое к тебе доверие, но после этого крупного разговора оно рассеялось.

Сюзанна. Так вы этим-то меня утешаете?

Бежарс. Не беспокойся, я за тебя отомщу! Мне давно пора отплатить тебе услугой за услугу, милая моя Сюзанна! Прежде всего сообщаю тебе великую тайну... Однако хорошо ли заперта дверь?

Сюзанна идет проверить.

(Про себя.) Ах, если бы мне всего лишь на три минуты ларец с двойным дном, который я заказывал для графини и где хранятся важные эти письма...

Сюзанна *(возвращается)*. Что же это за великая тайна?

Бежарс. Оказывай своему другу услуги — тебя ожидает блестящая будущность. Я женюсь на Флорестине, это решено, ее отец очень этого хочет.

Сюзанна. А кто ее отец?

Бежарс. Да ты с луны свалилась? Общее правило, дитя мое: когда какая-нибудь сирота появляется в доме на правах воспитанницы или же крестницы, значит, это дочь мужа. *(Вполне серьезно.)* Словом, я могу на ней жениться при том условии, если ты ее уговоришь.

Сюзанна. Да, но ее же без памяти любит Леон!

Бежарс. Их сын? *(Холодно.)* Я его отвлеку.

Сюзанна *(с удивлением)*. Да ведь... она тоже от него без ума!

Бежарс. От него?

Сюзанна. Да.

Бежарс *(холодно)*. Я ее излечу.

Сюзанна *(в изумлении)*. Но ведь... но ведь... графиня об этом знает и благословляет их брак.

Бежарс *(холодно)*. Мы заставим ее изменить мнение.

Сюзанна *(в полном недоумении)*. И ее?.. Но, насколько я понимаю, Фигаро — наперсник Леона.

Бежарс. Это меня меньше всего беспокоит. Разве тебе так трудно его устранить?

Сюзанна. Если только ему от этого не будет никакого вреда...

Бежарс. Что ты! Одна мысль об этом оскорбительна для человека строгих правил. Когда они все окончательно

убедятся в том, что это для их же блага, они сами изменят мнение.

Сюзанна *(недоверчиво)*. Если вы этого добьетесь, сударь...

Бежарс *(твердо)*. Добьюсь. Ты, конечно, понимаешь, что любовь не имеет никакого отношения к этой сделке. *(С ласковым видом.)* По-настоящему я никогда никого не любил, кроме тебя.

Сюзанна *(недоверчиво)*. Ну, а если бы графиня захотела...

Бежарс. Я бы, разумеется, ее утешил, но она же мною пренебрегла!.. Графиня удалится в монастырь — такова воля графа.

Сюзанна *(живо)*. Я ни за что не сделаю ей ничего дурного.

Бежарс. Черт возьми, но ведь это совершенно в ее вкусе! Я от тебя только и слышу: «Ах, она ангел во плоти!»

Сюзанна *(гневно)*. Так что ж, поэтому и надо ее мучить?

Бежарс *(со смехом)*. Мучить не надо, а вот приблизить ее к отчизне ангелов — небу, откуда она к нам некогда слетела, во всяком случае необходимо!.. А так как по новым чудесным законам развод допускается...

Сюзанна *(живо)*. Граф намерен с ней развестись?

Бежарс. Если удастся.

Сюзанна *(гневно)*. Ах, злодеи мужчины! Передушить бы их всех...

Бежарс. Надеюсь, для меня ты сделаешь исключение.

Сюзанна. Ну, как сказать!

Бежарс *(со смехом)*. Люблю я твой непритворный гнев: в нем сказывается твое доброе сердце! Что же касается влюбленного кавалера Леона, то граф отправляет его путешествовать... надолго. Фигаро — человек опытный; он будет его благоразумным руководителем. *(Берет Сюзанну за руку.)* Теперь — как обстоит дело у нас с тобой. Граф, Флорестина и я, мы будем жить вместе, а дорогая наша Сюзанна, облеченная полным доверием, возьмет на себя обязанности нашей домоправительницы, станет распоряжаться прислугой, будет вести весь дом. Нет больше мужа, нет больше пощечин, нет больше грубого спорщика — потекут дни, сотканные из золота и шелка, настанет безоблачно счастливая жизнь...

Сюзанна. Вы меня так ублажаете, как видно, для того, чтобы я замолвила за вас словечко Флорестине?

Бежарс *(ласково)*. Откровенно говоря, я рассчитывал, что ты для меня постараешься. Ты всегда была чудной женщиной! Все остальное в моих руках, в твоих — только это. *(Живо.)* Вот, например, сегодня ты можешь оказать нам с графом чрезвычайной важности услугу...

Сюзанна пристально на него смотрит, Бежарс спохватывается.

Я говорю — *чрезвычайной важности*, потому что этому придает особое значение граф. *(Равнодушно.)* А в сущности говоря, это, право, такой пустяк! Графу пришла фантазия... при подписании брачного договора подарить дочери драгоценную вещь, такую же точно, как у графини. Но только он хочет, чтобы никто об этом не знал.

Сюзанна *(с удивлением)*. Вот как!

Бежарс. Мысль счастливая! Хорошие бриллианты всегда могут пригодиться! Возможно, он попросит тебя принести ларец с драгоценностями его жены, чтобы сравнить с рисунками, которые выполнил его ювелир...

Сюзанна. Почему же непременно такую, как у графини? Это что-то странно.

Бежарс. Ему хочется подарить дочери вещь не менее великолепную... Мне, ты понимаешь, это совершенно безразлично! А вот и он сам.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Граф, Сюзанна, Бежарс.

Граф. Я вас искал, господин Бежарс.

Бежарс. Прежде чем идти к вам, граф, я хотел предупредить Сюзанну, что вы собираетесь попросить у нее ларец...

Сюзанна. По крайней мере, ваше сиятельство, вы понимаете...

Граф. Оставь ты это *ваше сиятельство!* Ведь я же велел по приезде во Францию...

Сюзанна. Я нахожу, ваше сиятельство, что это роняет наше достоинство.

Граф. Это потому, что тебе более доступно тщеславие, нежели истинная гордость. Надо считаться с предрассудками той страны, в которой ты хочешь жить.

Сюзанна. Так вот, сударь, по крайней мере, вы мне дадите слово...

Граф *(гордо)*. С каких это пор мне не доверяют?

Сюзанна. Так я вам его сейчас принесу. *(В сторону.)* Ничего не поделаешь! Фигаро велел ни в чем не отказывать...

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Граф, Бежарс.

Граф. Видимо, это обстоятельство ее смущало, и я нарочно заговорил с ней в таком решительном тоне.

Бежарс. Меня больше смущает еще одно обстоятельство. Но вы, я вижу, чем-то удручены.

Граф. Сказать ли тебе, друг мой? Я думал, что более сильного горя, чем потеря сына, у меня быть не может,— оказывается, есть еще более лютая скорбь, от которой начинает кровоточить моя рана и от которой жизнь моя становится невыносимой.

Бежарс. Если б вы не воспретили мне вступать с вами в споры по этому поводу, я бы вам сказал, что ваш второй сын...

Граф *(живо)*. Мой второй сын! У меня его нет.

Бежарс. Успокойтесь, граф. Давайте обсудим. Вы потеряли любимого сына, но из этого не следует, что вы должны быть несправедливы к другому сыну, к вашей жене, к самому себе. Разве можно судить о подобных вещах по догадкам?

Граф. По догадкам? О, я слишком в этом уверен! Отсутствие явных доказательств — вот что меня огорчает. Пока мой бедный сын был жив, я не придавал этому почти никакого значения. Он являлся наследником моего имени, моего положения, моего состояния... Что мне было до этого другого существа? Холод моего презрения, другое имя, Мальтийский крест и постоянное денежное пособие отомстили бы за меня его матери и ему самому. Но можешь ли ты представить себе мое отчаяние при мысли о том, что обожаемого сына у меня нет, а какой-то посторонний человек наследует его положение, титулы и вечно бередит мне рану ненавистным обращением *отец!*

Бежарс. Боюсь, что я еще больше расстрою вас, вместо того чтобы успокоить, но добродетель вашей супруги...

Граф *(гневно)*. А, ее добродетель — это только еще одно преступление! Сделать мне такое зло и утаить его под личиной примерной жизни! В течение двадцати лет слыть за женщину высоконравственную, ревнительницу благочестия, пользоваться поэтому всеобщим уважением и почетом и в силу этого своего двуличия навлекать на меня одного все обвинения, вызываемые моим будто бы легкомыслием... Моя ненависть к жене и к этому человеку только усиливается.

Бежарс. А что же ей, по-вашему, было делать? Положим даже, она виновна, но есть ли такой проступок, который нельзя было бы совершенно искупить двадцатилетним раская-

нием? Уж так ли сами-то вы безупречны? А юная Флорестина? Вы называете ее воспитанницей, но ведь на самом деле она вам ближе...

Граф. Пусть же она послужит орудием моей мести! Я произведу обмен всех моих владений и передам их ей. Три миллиона золотом, которые я уже получил из Веракруса, составят ее приданое, но я их дарю тебе. Помоги мне только набросить на этот дар непроницаемый покров. Деньги от меня прими, проси ее руки и делай при этом вид, что получил наследство от какого-нибудь дальнего родственника.

Бежарс *(показывает на черную перевязь на рукаве)*. Видите: по вашему приказанию я уже надел траур.

Граф. Как только король разрешит мне произвести обмен всех моих земель в Испании на равноценные имения здесь, во Франции, я найду способ ввести во владение ими вас обоих.

Бежарс *(живо)*. Я от них отказываюсь. Неужели вы думаете, что по одному только подозрению... может быть, еще недостаточно обоснованному, я стану участвовать в ограблении наследника вашего имени, достойнейшего молодого человека? Ведь нельзя не признать, что достоинств у него...

Граф *(в раздражении)*. Вы хотите сказать, больше, чем у моего сына? Все такого же мнения,— потому-то он меня так и бесит!..

Бежарс. Если ваша воспитанница согласится выйти за меня замуж и вы из вашего огромного состояния дадите ей в приданое те три миллиона золотом, которые вам прислали из Мексики, то взять их себе я откажусь наотрез и приму их только с тем условием, чтобы в брачном договоре они значились как дар моего любящего сердца вашей воспитаннице.

Граф *(обнимает его)*. Верный и преданный друг! Какого супруга выбрал я для моей дочери!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Сюзанна, граф, Бежарс.

Сюзанна. Сударь! Вот ларец с драгоценностями. Только, пожалуйста, не очень долго,— мне нужно поставить его на место до того, как графиня встанет.

Граф. Скажи, Сюзанна, чтобы без моего звонка никто сюда не входил.

Сюзанна *(про себя)*. Сейчас же дадим об этом знать Фигаро. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Граф, Бежарс.

Бежарс. Для чего вам понадобилось осмотреть ларец?

Граф *(вынимает из кармана браслет, осыпанный брильянтами)*. Я не хочу больше скрывать от тебя подробности нанесенного мне бесчестья. Слушай. Некто Леон Асторга, бывший мой паж, по прозвищу Керубино...

Бежарс. Я знал его. Мы с ним служили в одном полку, в том самом, где я благодаря вам был произведен в майоры. Но ведь он погиб двадцать лет назад.

Граф. На этом-то и основываются мои подозрения. Он имел дерзость полюбить графиню. Мне казалось, что она тоже увлечена им. Я удалил его из Андалусии и определил в мой полк. Через год после рождения сына... которого у меня отнял этот проклятый поединок *(закрывает глаза рукой)*, я был назначен вице-королем в Мексику. И вот, как ты думаешь, друг мой, где же решила поселиться моя супруга: в Мадриде, в моем севильском замке или, наконец, в великолепном замке Агуас Фрескас? Она избрала скверный замок Асторга, захудалое именье, которое я приобрел у родителей пажа. Вот где решила она пробыть те три года, которые мне надлежало провести в отсутствии, вот где произвела она на свет — то ли через девять, то ли через десять месяцев — этого дрянного мальчишку, который так похож на коварного пажа! В давнопрошедшие времена художник, писавший с меня портрет для браслета графини, нашел, что паж очень красив, и изъявил желание написать его; это одна из лучших картин в моем кабинете.

Бежарс. Да... *(Опустив глаза.)* Портрет так хорош, что ваша супруга...

Граф *(живо)*. Никогда на него не смотрит? Так вот, с того портрета я заказал этот, для такого же точно браслета, как у нее, работы ее постоянного ювелира. Сейчас я подложу ей вместо браслета с моим изображением браслет с изображением пажа. Ты понимаешь, что если она промолчит, то доказательство у меня налицо. Как бы она со мной ни заговорила, неприятное объяснение мгновенно прольет свет на мой позор.

Бежарс. Если вы хотите знать мое мнение, то я против вашего плана.

Граф. Почему?

Бежарс. Честь не позволяет прибегать к подобным средствам. Вот если бы случай, счастливый или же несчастный, доставил вам какие-либо факты и вы отнеслись бы к ним с осо-

бым вниманием, я бы вас понял. Но расставлять ловушки! Нападать из-за угла! Всякий хоть сколько-нибудь щепетильный человек отказался бы от такого преимущества перед самым заклятым своим врагом!

Граф. Отступать поздно: браслет готов, портрет пажа в него вставлен...

Бежарс *(берет ларец)*. Честью вас прошу...

Граф *(вынув браслет из ларца)*. А, милый мой портрет, ты у меня в руках! По крайней мере, мне будет приятно украсить им руку моей дочери, в сто раз более достойной носить его! *(Кладет в ларец другой браслет.)*

Бежарс делает вид, что хочет этому помешать. Каждый тянет ларец к себе. Бежарс ловким движением открывает потайное отделение.

Бежарс *(сердито)*. Ну вот, ларец сломался!

Граф *(рассматривает ларец)*. Нет, это один секрет перестал быть таковым благодаря нашему спору. Потайное отделение полно бумаг!

Бежарс *(вступает в борьбу с графом)*. Надеюсь, вы не станете злоупотреблять...

Граф *(в нетерпении)*. Ты мне только что сказал: «Если бы счастливый случай доставил вам какие-либо факты и вы отнеслись бы к ним с особым вниманием, я бы вас понял...» Случай мне их доставил, и я намерен последовать твоему совету. *(Вырывает бумаги.)*

Бежарс *(с жаром)*. Клянусь счастьем всей моей жизни, я не желаю быть соучастником подобного преступления! Положите бумаги на место, граф, иначе я удалюсь! *(Отходит.)*

Граф читает бумаги. Бежарс искоса на него поглядывает и незаметно для графа выражает свое удовлетворение.

Граф *(в бешенстве)*. Больше мне ничего не нужно. Остальные положи на место, а эту я возьму себе.

Бежарс. Нет, что бы в ней ни было, человек таких высоких понятий о чести, как вы, не совершит...

Граф *(гордо)*. Чего?.. Не смущайтесь, договаривайте, я вас слушаю.

Бежарс *(сгибаясь перед ним)*. Благодетель мой, простите! Мне слишком тяжело,— только этим можно объяснить всю непристойность моего упрека.

Граф. Я не только на тебя не в обиде, но, напротив, еще больше тебя ценю. *(Опускается в кресло.)* Ах, вероломная Розина!.. Ведь, несмотря на всю мою ветреность, я к ней одной

питал... Других женщин я порабощал! О, по одному тому, как я сейчас зол, можно судить, насколько эта недостойная страсть... Я ненавижу себя за то, что я ее любил!

Бежарс. Ради бога, положите на место злополучную эту бумагу!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Фигаро, граф, Бежарс.

Граф *(встает)*. Что вам нужно, несносный человек?

Фигаро. Я вошел, потому что был звонок.

Граф *(гневно)*. Я звонил? Любопытный лакей!

Фигаро. Спросите ювелира, он тоже слышал.

Граф. Ювелира? Что ему от меня надо?

Фигаро. Он говорит, что ему велели прийти по поводу браслета.

Бежарс, заметив, что Фигаро силится рассмотреть на столе ларец, всячески пытается загородить его собою.

Граф. А-а!.. Как-нибудь в другой раз.

Фигаро *(лукаво)*. А не лучше ли, сударь, заодно, благо вы уж открыли ларец графини...

Граф *(гневно)*. Убирайтесь, господин следователь! И если только у вас сорвется с языка хотя бы одно слово...

Фигаро. Одно слово? Мне слишком много надо бы сказать, а останавливаться на полдороге — не в моих правилах. *(Внимательно смотрит на ларец, на письмо, которое держит граф, бросает гордый взгляд на Бежарса и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Граф, Бежарс.

Граф. Закроем предательский ларец. Теперь у меня есть доказательство. Оно у меня в руках, и я схожу с ума. Зачем только я его нашел! О боже! Читайте, читайте, господин Бежарс!

Бежарс *(отстраняет от себя письмо)*. Стать причастным к такого рода тайнам! Нет, нет, избави бог!

Граф. Какая же это дружба, если она избегает моих признаний? Видно, люди сочувствуют только тем несчастьям, которые постигали их самих.

Бежарс. Как! Только потому, что я отказался прочитать эту бумагу!.. *(Живо.)* Спрячьте ее, Сюзанна идет. *(Поспешно закрывает потайное отделение ларца.)*

Граф прячет письмо во внутренний карман камзола.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Сюзанна, граф, Бежарс.

Граф удручен.

Сюзанна *(вбегает)*. Ларец! Ларец! Графиня звонит!

Бежарс *(протягивает ей ларец)*. Вы видите, Сюзанна, что все в нем в полном порядке.

Сюзанна. Что с графом? На нем лица нет!

Бежарс. Он слегка рассердился на вашего нескромного мужа, который вошел сюда, невзирая на его распоряжение.

Сюзанна *(лукаво)*. Между тем я передала это распоряжение так, чтобы меня поняли правильно. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Леон, граф, Бежарс.

Граф *(хочет уйти и видит входящего Леона)*. Теперь еще этот!

Леон *(хочет поцеловать графа; робко)*. Доброе утро, отец! Как вы спали?

Граф *(сухо, отстраняя его)*. Где вы были, сударь, вчера вечером?

Леон. Меня, отец, пригласили в одно почтенное собрание...

Граф. И вы там читали?

Леон. Меня попросили прочитать мое сочинение о злоупотреблении монашескими обетами и о праве от них отрекаться.

Граф *(с горечью)*. В том числе и от обетов рыцарских?

Бежарс. Говорят, вы имели большой успех?

Леон. Слушатели выказали снисхождение к моему возрасту.

Граф. Итак, вместо того чтобы готовиться к морскому путешествию, стараться быть достойным рыцарского поприща, вы наживаете себе врагов? Вы занимаетесь сочинительством, пишете в современном духе... Скоро нельзя будет отличить дворянина от ученого!

Л е о н *(робко)*. Зато, отец, легче будет отличить невежду от человека просвещенного и человека свободного от раба.

Г р а ф. Речи восторженного юнца! Вижу, вижу, какую дорожку вы себе избрали. *(Хочет уйти.)*

Л е о н. Отец!..

Г р а ф *(презрительно)*. Только мастеровые употребляют такие пошлые выражения. Люди нашего круга говорят языком более возвышенным. Вы слыхали, сударь, чтобы кто-нибудь из придворных говорил *отец?* Называйте меня *сударь*. Вы заразились от простонародья! *Отец!.. (Направляется к выходу.)*

Леон следует за ним и смотрит на Бежарса,— тот жестом выражает ему сочувствие.

Идемте, господин Бежарс, идемте!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Библиотека графа.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г р а ф один.

Г р а ф. Наконец я один; прочтем же удивительное это послание, которое попало мне в руки благодаря почти непостижимой случайности. *(Вынимает из внутреннего кармана письмо, найденное в ларце, и читает, взвешивая каждое слово.)* «Несчастный безумец! Участь наша решена. Ваше неожиданное и дерзкое вторжение ко мне в ночное время, в замке, где Вы росли и где Вам были известны все тайные ходы, последовавшая за этим борьба, наконец Ваше преступление и мое... *(останавливается)* и мое несут заслуженную кару. Сегодня, в день святого Леона, покровителя здешнего края и Вашего святого, я, к своему позору и на горе себе, родила сына. Благодаря печальным предосторожностям честь спасена, но добродетель утрачена. Отныне я обречена лить нескончаемые слезы, и все же я сознаю, что ими не смыть преступления... плод которого существует. Вы не должны меня более видеть: таково непреклонное решение несчастной Розины... которая теперь уже не смеет назвать свою фамилию». *(Прикладывает руки с письмом ко лбу и начинает ходить по комнате.)* Которая теперь уже не смеет назвать свою фамилию!.. Ах, Розина, где то время... Но ты себя

обесчестила!.. *(В волнении.)* И все же безнравственные женщины так не пишут! Подлый соблазнитель!.. Прочтем, однако ж, ответ на оборотной стороне письма. *(Читает.)* «Так как мне нельзя больше видеться с Вами, то жизнь мне постыла, и я с радостью покончу с нею все счеты: я добровольцем приму участие во взятии крепости, которую предполагается захватить стремительным приступом. Посылаю Вам обратно Ваше письмо, полное упреков, Ваш портрет моей работы и прядь волос, что я у Вас похитил. Все это, когда меня уже не станет, Вам передаст мой испытанный друг. Он видел, в каком я был отчаянии. Если смерть обездоленного возбудит в Вас хоть каплю жалости, то я надеюсь, что имя Леона среди тех имен, что будут даны наследнику... более счастливого человека... порою напомнит Вам о несчастном... который умирает, обожая Вас, и в последний раз подписывается: Керубино Леон Асторга»... Затем приписано кровью: «Смертельно раненный, я распечатываю письмо и своею кровью пишу Вам это скорбное последнее «прости». Не забывайте...» Дальше все смыто слезами... *(В волнении.)* Безнравственный мужчина так тоже не напишет! Пагубное заблуждение... *(Садится и погружается в раздумье.)* О, как мне больно!

Входит Бежарс, останавливается, смотрит на графа и с таинственным видом прикладывает палец к губам.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Бежарс, граф.

Граф. А, дорогой друг, входите же!.. Я в таком тяжелом состоянии духа...

Бежарс. В ужасном состоянии, граф. Я не решался к вам подойти.

Граф. Я только что прочел послание. Нет, это не злодеи, не чудовища,— это всего лишь несчастные безумцы, как они сами себя называют...

Бежарс. Я так и думал.

Граф *(встает и начинает ходить по комнате)*. Бедные женщины, совершая падение, не отдают себе отчета, сколько горя это влечет за собой!.. Их жизнь идет, как и шла... обиды между тем накопляются... а несправедливый и легкомысленный свет обвиняет отца, который страдает молча, украдкой от всех!.. Его упрекают в черствости, потому что он не проявляет нежности к плоду преступной связи!.. Наши измены не отнимают

у женщин почти ничего. Во всяком случае, они не могут лишить их уверенности в том, что они — матери, лишить их высшей радости — радости материнства! Между тем малейшая их причуда, прихоть, легкое увлечение разрушают счастье мужчины... счастье всей его жизни, лишают его уверенности в том, что он — отец. О, недаром женской верности придавали такое огромное значение! Общественное благо, общественное зло связано с их поведением. Рай или ад в семье вызываются исключительно той молвой, какая идет про женщин, а зависит молва только от них самих.

Бежарс. Успокойтесь, вот ваша дочь.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Флорестина, граф, Бежарс.

Флорестина *(с букетом у пояса)*. Я слышала, что вы очень заняты, сударь, и все не решалась пойти к вам поздороваться.

Граф. Занят тобой, дитя мое! Дочь моя! Мне доставляет огромную радость так называть тебя: ведь я стал заботиться о тебе, когда ты была еще маленькая. Дела мужа твоей матери были сильно расстроены: после смерти он не оставил ей ничего. Она же, умирая, поручила тебя моему попечению. Я дал ей слово, и я сдержу его, дочь моя: я нашел для тебя достойного супруга. Я буду говорить с тобой, не таясь, ведь господин Бежарс — наш любящий друг. Посмотри вокруг себя, выбирай! Нет ли здесь человека, которому ты могла бы доверить свое сердце?

Флорестина *(целует ему руку)*. Оно всецело принадлежит вам. И если вам хотелось бы знать мое мнение, то я скажу, что свое счастье я полагаю в том, чтобы в моей жизни не было никаких перемен. Когда ваш сын женится,— а теперь он, разумеется, выйдет из Мальтийского ордена,— когда ваш сын женится, то, вероятно, он уже не будет жить вместе с отцом. Так позвольте же мне покоить вашу старость! Этот долг, сударь, я исполню с радостью.

Граф. Оставь, оставь слово «сударь»,— от него веет равнодушием. Никто решительно не удивится, если столь признательное дитя будет называть меня более ласковым именем. Зови меня отцом.

Бежарс. Скажу по чести, она заслужила полное ваше доверие... Обнимите, сударыня, вашего доброго, вашего нежно-

го покровителя. Вы даже не представляете себе, сколь многим вы ему обязаны... Опека над вами — это его долг. Он был другом... тайным другом вашей матери... одним словом...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Фигаро, графиня в пеньюаре, граф, Флорестина, Бежарс.

Фигаро *(докладывает)*. Ее сиятельство!

Бежарс *(бросает бешеный взгляд на Фигаро. Про себя)*. Черт бы побрал этого мерзавца!

Графиня *(графу)*. Фигаро мне сказал, что вы плохо себя чувствуете. Я испугалась, прибежала и вижу...

Граф. ...что этот услужливый человек вам снова сплел небылицу.

Фигаро. Сударь! Когда вы шли в эту комнату, у вас был такой расстроенный вид... К счастью, все, по-видимому, прошло.

Бежарс испытующе на него смотрит.

Графиня. Здравствуйте, господин Бежарс!.. А, и ты здесь, Флорестина? Ты чему-то очень рада... Нет, в самом деле, посмотрите, как она свежа и прекрасна! Если бы господь послал мне дочь, я бы хотела, чтобы она была похожа на тебя и лицом и нравом... Ты непременно должна заменить мне дочь. Согласна, Флорестина?

Флорестина *(целует ей руку)*. Ах, сударыня!

Графиня. Кто это тебя с раннего утра украсил цветами?

Флорестина *(радостно)*. Меня никто не украшал, сударыня, я сама делала букеты. Ведь сегодня день святого Леона.

Графиня. Прелестное дитя, все-то она помнит! *(Целует ее в лоб.)*

У графа вырывается гневное движение. Бежарс удерживает его.

(К Фигаро.) Раз мы все в сборе, то скажите моему сыну, что пить шоколад мы будем здесь.

Флорестина. Крестный! Говорят, у вас есть чудный бюст Вашингтона, так вот, пока будут приготовлять шоколад, покажите нам его.

Граф. Я не знаю, кто мне его прислал. Я, по крайней мере, никого не просил. Вернее всего, это для Леона. Он в самом деле хорош, я поставил его у себя в кабинете. Пойдемте.

Бежарс уходит последним; он дважды оборачивается и бросает испытующий взгляд на Фигаро; тот смотрит на него. В глазах у обоих безмолвная угроза.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Фигаро один.

Фигаро *(накрывает на стол и расставляет чашки для шоколада)*. Змея, ехидна, впивайся в меня глазами, бросай на меня злобные взгляды! А вот мои взгляды тебя убьют!.. Через кого же он все-таки получает письма? С почты к нам на дом ничего не поступает на его имя! Неужели он вылез из преисподней в единственном числе? Должен же какой-нибудь другой черт с ним сноситься!.. А мне все не удается его накрыть...

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Фигаро, Сюзанна.

Сюзанна *(вбегает, оглядывается по сторонам и очень быстро начинает шептать на ухо Фигаро)*. Воспитанница выходит за него. Он получил обещание от графа. Он излечит Леона от любви. Привлечет к себе сердце Флорестины. Добьется согласия графини. Тебя выгонит из дома. Пока, до развода, упрячет графиню в монастырь. Постарается лишить Леона наследства и сделать меня полной хозяйкой. Вот и все новости. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Фигаро один.

Фигаро. Нет уж, извините, господин майор, сначала вам придется иметь дело со мной. Вы у меня узнаете, как легко дураку достается победа. По милости Ариадны-Сюзон нить лабиринта у меня в руках, и минотавр окружен... Я опутаю тебя твоими же сетями и разоблачу!.. Но что за настоятельная необходимость принуждает подобное существо вступать в заговоры и разжимает ему зубы? Чувствует ли он себя достаточно уверенным, чтобы... Глупость и тщеславие вечно идут рука об руку! Мой дипломат становится доверчивым и проговаривается! Он оплошал! *Допущена ошибка!*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Вильгельм, Фигаро.

Вильгельм *(с письмом)*. Каспатин Пешарс!.. Я видит: он тут нет.

Фигаро *(приготовляя завтрак)*. Подожди, он сейчас придет.

Вильгельм *(пятится к двери)*. Майн гот! Мне, сутарь, ошитать в ваше обшество есть нефосмошно. Мой каспатин никак не шелайт, клянусь шестью.

Фигаро. Он тебе запрещает? А ну-ка, давай сюда письмо. Когда придет, я ему передам.

Вильгельм *(продолжает пятиться)*. А письма — тем полее! О шорт! Он меня будет прогоняйт в три шея!

Фигаро *(в сторону)*. Подцепим-ка на удочку этого остолопа! *(Вильгельму.)* Ты, я вижу... был на почте?

Вильгельм. А, шорт побери! Я не биль на пошта!

Фигаро. Должно полагать, это деловое письмо от... его родственника-ирландца, от которого он получил наследство? Ты, верно, знаешь, дружище Вильгельм?

Вильгельм *(с глупым смехом)*. Письмо от спокойника, сутарь? Што ви, што ви! Нет, я не тумайт, што от нево! Бистрей фсего, от тругого! Наверно, от кого-то из тех... нетофольних... там, там, за граница.

Фигаро. Ты говоришь — из недовольных?

Вильгельм. Да, но я не уферен...

Фигаро *(в сторону)*. Очень может быть, его и на это станет. *(Вильгельму.)* Можно посмотреть штемпель, проверить...

Вильгельм. Проверить я не стану, зашем? Письма ходят к каспатин О'Коннор, а какой штемпель — этого я не снаю.

Фигаро *(живо)*. О'Коннор? Банкир-ирландец?

Вильгельм. О да!

Фигаро *(подходит к нему; равнодушным тоном)*. Близко отсюда, за нашим домом?

Вильгельм. Ошень кароши том, шестное слово! Слуги, смею скасать, ошень... прекрасни, таки вешливи... *(Отходит от Фигаро.)*

Фигаро *(про себя)*. Вот это удача! Вот это счастье!

Вильгельм *(подходит к Фигаро)*. Ты никому не скаши про тот банкир, понимайт? Я не тольшен биль... Тойфель! *(Топает ногой.)*

Фигаро. Да ну что ты, ни под каким видом! Не беспокойся!

Вильгельм. Мой каспатин, сутарь, говорит, што ви все сдесь умни, а я нет... Што ш, он немношко прав... Мошет, зря я вам проговориль...

Фигаро. Почему же?

Вильгельм. Не снаю. Слуга всегда мошет претать... А это есть большой грех, дурной грех... прьямо ребьяшество...

Фигаро. Это верно, но ты же ничего не сказал.

Вильгельм *(в отчаянии)*. Поше мой! Поше мой! Не снаю... што скасать... а што не скасать... *(Отходит, вздыхая.)* Ах! *(С дурацким видом рассматривает книги из библиотеки графа.)*

Фигаро *(в сторону)*. Вот так открытие! Случай, приветствую тебя! *(Ищет свою записную книжку.)* Не мешает, однако ж, выяснить, почему этот чрезвычайно скрытный человек пользуется услугами такого болвана... И то сказать: разбойники боятся яркого света... Да, но глупец — это все равно что фонарь: он пропускает свет через себя. *(Записывает в свою книжку.)* О'Коннор, банкир-ирландец. Вот за кем мне придется установить тайную слежку. Правда, этот способ не слишком благороден, *ma, per Dio!* [1] Зато польза! К тому же у меня перед глазами пример! *(Пишет.)* Четыре или пять луидоров слуге, ведающему почтой, за то, чтобы он вскрывал в любом кабачке все письма, надписанные почерком Оноре-Тартюфа Бежарса... Досточтимый лицемер! В конце концов мы с вас сбросим маску! Некая божественная сила навела меня на ваш след. *(Сжимает в руке записную книжку.)* Случай! Неведомый бог! Древние называли тебя Роком. В наше время тебя называют иначе...

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Графиня, граф, Флорестина, Бежарс, Фигаро, Вильгельм.

Бежарс *(увидев Вильгельма, берет у него письмо; с досадой)*. Неужели ты не мог передать письмо не здесь, а у меня?

Вильгельм. Я тумаль, это письмо зофсем такой ше... *(Уходит.)*

Графиня *(графу)*. Дивный бюст. Ваш сын его видел?

Бежарс *(вскрыв письмо)*. А, письмо из Мадрида! От секретаря министра!.. Тут кое-что относится к вам. *(Читает.)* «Передайте графу Альмавиве, что с завтрашней почтой мы посылаем ему королевскую грамоту, разрешающую произвести обмен всех его владений».

Фигаро внимательно слушает и молча кивает головой в знак того, что он все понял.

Графиня. Фигаро! Скажите же моему сыну, что мы завтракаем здесь.

Фигаро. Сейчас доложу. *(Уходит.)*

---

[1] Да черт с ним, наплевать! *(итал.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Графиня, граф, Флорестина, Бежарс.

Граф *(Бежарсу)*. Я тотчас же уведомлю моего покупателя. Скажите, чтобы мне подали чай в кабинет.

Флорестина. Я вам сама принесу, папочка.

Граф *(Флорестине, тихо)*. Думай много о том немногом, что я тебе сказал. *(Целует ее в лоб и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Леон, графиня, Флорестина, Бежарс.

Леон *(с грустью)*. Как только я вхожу, отец уходит! Сегодня он был со мной так суров...

Графиня. Полно, сын мой, что ты говоришь! Вы оба несправедливы друг к другу, а вечно страдаю от этого я! Твоему отцу нужно написать тому человеку, который производит обмен его земель.

Флорестина *(весело)*. Вам жаль, что ваш отец ушел? Нам тоже очень жаль. Но зато по случаю ваших именин он поручил мне передать вам, сударь, вот этот букет. *(Низко приседает, а затем вставляет ему букет в петлицу.)*

Леон. Оттого, что он поручил это именно вам, его внимание становится мне еще дороже... *(Обнимает ее.)*

Флорестина *(вырываясь)*. Вот видите, сударыня, с ним шутить невозможно, он сейчас же этим пользуется.

Графиня *(с улыбкой)*. Дитя мое! Ради дня ангела можно быть к нему немножко снисходительнее.

Флорестина *(опустив глаза)*. В наказание заставьте его, сударыня, прочитать ту речь, которая, говорят, имела вчера большой успех в собрании.

Леон. Если мама находит, что я не прав, я сейчас же доставлю наложенное на меня взыскание.

Флорестина. Ах, сударыня, прикажите ему!

Графиня. Принеси свою речь, сын мой. А я пойду принесу какую-нибудь работу, чтобы не рассеивалось внимание.

Флорестина *(весело)*. Упрямец! Вот и хорошо: теперь я услышу вашу речь, несмотря на ваше нежелание.

Леон *(с нежностью)*. Могу ли я не желать, раз вы приказываете? Ах, Флорестина, как вы заблуждаетесь!

Графиня и Леон уходят в разные двери.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Флорестина, Бежарс.

Бежарс. Ну так как же, сударыня, догадались вы, за кого хотят вас выдать замуж?

Флорестина *(радостно)*. Дорогой господин Бежарс! Вы такой близкий наш друг, что я могу позволить себе думать вслух вместе с вами. На ком мне остановить свой взгляд? Крестный ясно сказал: «Посмотри вокруг себя, выбирай». Вот где сказалась безграничная его доброта: это может быть только Леон. Но ведь у меня ничего нет, так могу ли я злоупотреблять...

Бежарс *(в неистовстве)*. Кто? Леон? Его сын? Ваш брат?

Флорестина *(с болезненным криком)*. Ах, господин Бежарс!..

Бежарс. Ведь он же вам сказал: «Зови меня отцом»! Проснитесь, милое дитя! Отгоните от себя обманчивое сновидение, оно может оказаться для вас пагубным.

Флорестина. Ах да! Пагубным для нас обоих!

Бежарс. Вы, конечно, понимаете, что такого рода тайна должна быть погребена у вас в душе. *(Идет к выходу, не спуская глаз с Флорестины.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Флорестина одна, плачет.

Флорестина. О боже! Он мой брат, а я осмелилась питать к нему... Какое ужасное прозрение! Какое жестокое пробуждение после такого сна! *(В изнеможении падает в кресло.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Леон с рукописью, Флорестина.

Леон *(довольный, в сторону)*. Мама еще не вернулась, а господин Бежарс вышел,— воспользуемся удобным случаем. *(Флорестине.)* Флорестина! Вы сегодня необыкновенно красивы, впрочем, вы всегда такая, но сегодня вы до того жизнерадостны, до того веселы и приветливы, что надежды мои возродились.

Флорестина *(в отчаянии)*. Ах, Леон! *(Снова опускается в кресло.)*

Леон. Боже! Глаза у вас полны слез, вид расстроенный,— верно, случилось большое несчастье?

Флорестина. Несчастье? Ах, Леон, несчастье случилось только со мной!

Леон. Вы разлюбили меня, Флорестина? А между тем мое чувство к вам...

Флорестина *(решительно)*. Ваше чувство? Никогда больше не говорите мне о нем.

Леон. Что? Нельзя говорить о моей любви, чище которой...

Флорестина *(в отчаянии)*. Прекратите эти жестокие речи, иначе я от вас убегу.

Леон. Боже правый! Что же случилось? Вы говорили с господином Бежарсом. Я хочу знать, что вам сказал Бежарс.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Графиня, Флорестина, Леон.

Леон. Мама! Помогите мне. Я в отчаянии: Флорестина меня разлюбила!

Флорестина *(плачет)*. Я его разлюбила! Крестный, вы и он — вот для кого я живу.

Графиня. Я в этом не сомневаюсь, дитя мое. Порукой тому чудное твое сердце. Но что же так огорчило Леона?

Леон. Мама! Ведь вы ничего не имеете против моей пламенной любви к ней?

Флорестина *(бросается в объятия к графине)*. Прикажите ему замолчать! *(Плачет.)* Иначе я умру от горя!

Графиня. Я тебя не понимаю, дитя мое. Я удивлена не меньше, чем он... Да ты вся дрожишь! Чем он мог тебя так обидеть?

Флорестина *(склоняется к ней на грудь)*. Ничем он меня не обидел. Я люблю и уважаю его, как брата, но большего пусть он не требует.

Леон. Мама! Вы слышите? Бесчеловечное существо! Говорите все, что у вас на душе!

Флорестина. Оставьте меня! Оставьте меня! Вы сведете меня в могилу!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Графиня, Флорестина, Леон, Фигаро приносит чай, Сюзанна появляется с другой стороны с вышиванием.

Графиня. Отнеси все назад, Сюзанна: ни завтрака, ни чтения не будет. Вы, Фигаро, подайте чай графу,— он у себя в кабинете. А мы с тобой, Флорестина, пойдем ко мне: ведь мы друзья, и ты рассеешь мои сомнения. Милые мои дети! Я вас люблю всей душой! Почему же вы оба безжалостно терзаете мою душу? Что-то есть во всем этом неясное, и я во что бы то ни стало должна понять, где же истина. *(Уходит с Флорестиной.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Леон, Фигаро, Сюзанна.

Сюзанна *(к Фигаро)*. Я не знаю толком, в чем дело, но могу ручаться, что тут замешан Бежарс. Надо непременно предостеречь графиню.

Фигаро. Пока подожди, дай мне побольше выведать, а вечером сговоримся. Я сделал такое открытие...

Сюзанна. Тогда скажешь какое? *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Фигаро, Леон.

Леон *(в полном отчаянии)*. Боже мой!

Фигаро. Да что же такое приключилось, сударь?

Леон. Увы, я сам не могу понять! Никогда еще не видел я Флорестину в таком прекрасном расположении духа, как сегодня утром; сколько мне известно, у нее был разговор с моим отцом. Я оставляю ее на минуту с господином Бежарсом, затем возвращаюсь, застаю ее одну, всю в слезах, и она мне говорит, чтобы я покинул ее навсегда. Что же он мог ей сказать?

Фигаро. Не бойся я вашей вспыльчивости, я бы сообщил нечто для вас важное. Но в том-то и дело, что нам надлежит быть крайне осмотрительными: довольно одного вашего неосторожного слова, чтобы погубить плод десятилетних моих наблюдений.

Леон. О, если от меня требуется только осмотрительность!.. Как ты думаешь, что же он ей сказал?

Фигаро. Что она должна согласиться на брак с Оноре Бежарсом, что так-де условлено между ним и вашим отцом.

Леон. Между ним и моим отцом! Скорее этот негодяй лишит меня жизни!

Фигаро. Если вы так будете вести себя, сударь, то негодяй лишит вас не жизни, а вашей возлюбленной вместе с вашим состоянием.

Леон. Ну, прости меня, друг мой. Научи, как мне нужно действовать.

Фигаро. Отгадайте загадку сфинкса, иначе он вас проглотит. Другими словами, нужно держать себя в руках: говорить будет он, а вы помалкивайте.

Леон *(в ярости)*. Держать себя в руках! Да, я буду держать себя в руках. Но в душе у меня клокочет бешенство! Отнять у меня Флорестину! А, вот и он. Я с ним объяснюсь... спокойно.

Фигаро. Смотрите: выйдете из себя — все погибло.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Бежарс, Фигаро, Леон.

Леон *(с трудом сдерживая себя)*. Милостивый государь, милостивый государь, только одно слово! Для вашего же спокойствия важно, чтобы вы мне ответили прямо. Флорестина в отчаянии. Что вы сказали Флорестине?

Бежарс *(ледяным тоном)*. А кто вам сказал, что я с ней разговаривал? Разве я непременно должен быть повинен во всех ее огорчениях?

Леон *(живо)*. Довольно увертoк, милостивый государь! Она была в отличном расположении духа — после разговора с вами слезы льются у нее ручьем. Чем бы это ни было вызвано, сердце мое разделяет ее горести. Вы мне откроете их причину или же за них ответите.

Бежарс. Менее повелительным тоном от меня можно добиться всего — угрозами со мной ничего нельзя поделать.

Леон *(в ярости)*. Ну так защищайся же, вероломный! Один из нас должен пасть! *(Хватается за шпагу.)*

Фигаро *(удерживает их)*. Господин Бежарс! На сына вашего друга! У него в доме! Где вам оказали гостеприимство!

Бежарс *(овладев собой)*. Я и без вас знаю, как себя вести... Я с ним объяснюсь, но только без свидетелей. Уйдите, оставьте нас с глазу на глаз.

Леон. Иди, милый Фигаро. Ты видишь, ему не вывернуться. Никаких отговорок мы не допустим.

Фигаро *(про себя)*. Скорей предупредить отца! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Леон, Бежарс.

Леон *(загораживает дверь)*. Быть может, вы все-таки предпочтете не разговаривать, а драться? Выбирайте любое, но уж третьего я не допущу.

Бежарс *(холодно)*. Леон! Честный человек не может быть убийцей сына своего друга. Но подобало ли мне объясняться в присутствии презренного лакея, наглость которого доходит до того, что он почти помыкает своим господином?

Леон *(садится)*. К делу, милостивый государь, я жду...

Бежарс. О, как вы будете жалеть, что дали волю безрассудному своему гневу!

Леон. Это мы еще увидим.

Бежарс *(разыгрывая оскорбленное достоинство)*. Леон! Вы любите Флорестину, я давно это замечаю... Пока ваш брат был жив, я считал бесполезным содействовать несчастной любви, которая все равно ни к чему бы не привела. Но когда роковой поединок лишил его жизни, а вас поставил на его место, у меня явилась дерзновенная мысль, что под моим влиянием ваш батюшка соединит вас с той, которую вы любите. Я всячески пытался на него воздействовать — все мои усилия разбивались о несокрушимое его упорство. В отчаянии от того, что он отвергает план, который, по моим представлениям, должен был все устроить к общему благополучию... Простите, юный мой друг, я принужден огорчить вас, но сейчас это необходимо, зато я вас спасу от неизбывного горя. Призовите на помощь все свое благоразумие: оно вам понадобится. Я заставил вашего отца нарушить молчание и поведать мне его тайну. «О друг мой,— сказал мне наконец граф,— я знаю о любви моего сына, но разве я могу женить его на Флорестине? Она только считается моей воспитанницей... на самом деле она моя дочь, а ему она сестра».

Леон *(отшатывается)*. Флорестина!.. Моя сестра!..

Бежарс. Это и есть то слово, которое суровый долг... Ах, я не мог не сказать его вам обоим! Мое молчание погубило бы вас. Ну что же, Леон, хотите вы со мною драться?

Леон. Мой благородный друг! Я — бессердечный, я — чудовище! Забудьте мою дикую выходку...

Бежарс *(с видом крайнего лицемерия)*. С условием, однако ж, что эта роковая тайна никогда не будет разглашена... Выставить на позор отца — это было бы такое преступление...

Леон *(бросается к нему в объятия)*. О, никогда!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Граф, Фигаро, Леон, Бежарс.

Фигаро *(вбегает)*. Вот они, вот они!

Граф. В объятиях друг у друга. Да вы с ума сошли!

Фигаро *(ошеломлен)*. Право, сударь... тут недолго сойти с ума.

Граф *(к Фигаро)*. Может быть, вы мне разгадаете эту загадку?

Леон *(дрожа)*. Ах, отец, это я должен ее разгадать! Простите! Я готов умереть от стыда! По ничтожному, в сущности, поводу я... бог знает как вспылил. Однако господин Бежарс был так великодушен, что не только меня образумил, но еще по своей доброте нашел оправдание моей вспышке и простил меня. Когда вы вошли, я как раз выражал ему свою благодарность.

Граф. Вам и за многое другое следует быть ему благодарным. Впрочем, мы все перед ним в долгу.

Фигаро молча бьет себя по лбу. Бежарс смотрит на него в упор и улыбается.

(Леону.) Уйдите отсюда. Только ваше чистосердечное признание заставляет меня сдержаться.

Бежарс. Ах, сударь, все уже забыто!

Граф *(Леону)*. Идите и кайтесь, что оскорбили моего друга, вашего друга, самого добродетельного человека...

Леон *(уходя)*. Я в отчаянии!

Фигаро *(про себя, гневно)*. Легион бесов сидит в этой шкуре!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Граф, Бежарс, Фигаро.

Граф *(Бежарсу)*. Друг мой! Давайте окончим то, что мы с вами начали. *(К Фигаро.)* А вы, шалый господин, мастер на остроумные догадки, принесите мне три миллиона золотом, которые вы привезли из Кадиса в шестидесяти векселях на предъявителя. Я вас просил перенумеровать их.

Фигаро. Я это сделал.

Граф. Принесите их сюда.

Фигаро. Что? Три миллиона золотом?

Граф. Ну да. Что же вы медлите?

Фигаро *(смиренно)*. Что я медлю, сударь?.. У меня их больше нет.

Бежарс. То есть как у вас их больше нет?

Фигаро *(гордо)*. Нет, сударь.

Бежарс *(живо)*. Куда вы их дели?

Фигаро. Когда меня спрашивает мой господин, я обязан отдавать ему отчет в моих действиях, а вы мне не указ.

Граф *(в бешенстве)*. Наглец! Куда вы их дели?

Фигаро *(холодно)*. Я отнес их на хранение господину Фалю, вашему нотариусу.

Бежарс. Кто вам дал такой совет?

Фигаро *(гордо)*. Я сам себе посоветовал. Признаюсь, я всегда следую моим собственным советам.

Бежарс. Готов держать пари, что это не так.

Фигаро. Боюсь, как бы вы не проиграли,— у меня есть расписка.

Бежарс. Если нотариус действительно принял векселя, то не иначе как в спекулятивных целях. У этих господ рука руку моет.

Фигаро. Не мешало бы вам получше отзываться о человеке, который оказал вам услугу.

Бежарс. Я ничем ему не обязан.

Фигаро. Очень может быть. Когда получаешь в наследство *сорок тысяч дублонов восемь*...

Граф *(в сердцах)*. Вы намерены и по этому поводу сделать нам какое-нибудь замечание?

Фигаро. Кто, сударь, я? У меня на этот счет не может быть никаких сомнений, тем более что я прекрасно знал родственника господина наследника. Это был довольно распущенный молодой человек, игрок, мот, задира, необузданный, безнравственный, бесхарактерный, у которого не было ничего своего, за исключением пороков, в конце концов его и погубивших; тот самый молодой человек, которого в высшей степени неудачный поединок...

Граф топает ногой.

Бежарс *(злобно)*. Скажете вы нам наконец, для чего вы сдали на хранение золото?

Фигаро. Право, сударь, только для того, чтобы не быть за него в ответе. Не ровен час — украдут. Мало ли отъявленных мошенников втирается в порядочные дома.

Бежарс *(злобно)*. Тем не менее граф желает, чтобы эти деньги были ему доставлены.

Фигаро. Граф волен за ними послать.

Бежарс. Но разве нотариус выдаст их без предъявления его расписки?

Фигаро. Расписку я передам графу. Свой долг я исполнил, и если теперь что-нибудь случится с золотом, то граф уже не вправе будет с меня спрашивать.

Граф. Я буду ждать расписку у себя в кабинете.

Фигаро *(графу)*. Предупреждаю вас, что господин Фаль выдаст деньги только под вашу расписку,— это я ему так посоветовал. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Граф, Бежарс.

Бежарс *(злобно)*. Избаловали вы этого мерзавца,— вот теперь полюбуйтесь, какую он волю забрал! В самом деле, долг дружбы заставляет меня предостеречь вас: вы становитесь слишком доверчивым. Он знает все наши тайны. Лакея, цирюльника, лекаря вы сделали своим казначеем, секретарем, своего рода фактотумом. Всем известно, что этот господин отлично на вас нагревает руки.

Граф. Ну, насчет честности он безукоризнен, а вот что он заважничал — это верно...

Бежарс. У вас есть возможность избавиться от него таким образом, что и он не останется в накладе.

Граф. Я давно об этом подумываю.

Бежарс *(доверительно)*. Вам, разумеется, хотелось бы, чтобы Леона сопровождал на Мальту какой-нибудь надежный человек? Ну так Фигаро будет весьма польщен столь почетным назначением и, конечно, согласится,— вот вы от него и отделаетесь надолго.

Граф. И то правда, друг мой. Тем более, я слышал, что он очень не ладит с женой. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Бежарс один.

Бежарс. Еще один шаг сделан!.. А, благородный сыщик, краса и гордость всех пройдох, в этом доме играющий роль преданного слуги! Вы хотите вырвать у меня из-под носа приданое, вы даете мне имена комических героев? Погодите: Оноре-Тартюф приложит все старания, чтобы вы не перенесли морского путешествия и свои наблюдения надо мной прекратили навеки.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната графини, вся в цветах.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Графиня, Сюзанна.

Графиня. Ничего не могла я добиться от девочки. Все только плачет, рыдает!.. Считает себя передо мной виноватой, без конца просит прощения, хочет идти в монастырь. Если при этом вспомнить ее отношение к моему сыну, то остается предположить вот что: она считает себя неподходящей для него партией и теперь раскаивается, что выслушивала его признания, поддерживала в нем надежду. Эта ее щепетильность просто обворожительна! Эта чересчур строгая ее добродетель просто очаровательна! По-видимому, угрызения совести начались у нее после разговора с господином Бежарсом: в вопросах чести он необычайно требователен и щепетилен, иной раз даже чересчур, и ему мерещатся всякие страхи там, где другие ровно ничего не видят.

Сюзанна. Ума не приложу, что это за напасть, но только у нас творятся очень странные вещи! Точно какой-то демон исподтишка раздувает огонь. Наш господин мрачнее тучи: никого к себе не допускает, вы беспрестанно плачете, госпожа Флорестина рыдает, ваш сын в отчаянии!.. Только господин Бежарс невозмутим, как некое божество, его словно ничто не волнует, на все ваши горести он взирает безучастно...

Графиня. Дитя мое! Сердцем он их разделяет. Этот утешитель льет бальзам на наши раны, его мудрость нас поддерживает, сглаживает острые углы, успокаивает моего раздражительного мужа,— ах, без него мы были бы во много раз несчастнее!

Сюзанна. Желаю вам, сударыня, чтобы вы не обманулись.

Графиня. Прежде ты была к нему справедливее.

Сюзанна опускает глаза.

Словом, он один может рассеять тревогу, которую мне внушила Флорестина. Скажи, что я прошу его прийти.

Сюзанна. А вот и он, легок на помине. Я причешу вас после. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Графиня, Бежарс.

Графиня *(сокрушенно)*. Ах, дорогой майор, что здесь у нас происходит? Или грянул наконец гром, которого я так давно боялась и который все приближался и приближался? Неприязнь графа к несчастному моему сыну растет с каждым днем. Верно, до него дошла какая-нибудь роковая весть!

Бежарс. Я этого не думаю, сударыня.

Графиня. С тех пор как небо покарало меня смертью старшего сына, граф совершенно переменился: вместо того чтобы, заручившись поддержкой нашего посла в Риме, хлопотать о снятии с Леона рыцарского обета, он упорно посылает его на Мальту. Этого мало, господин Бежарс: мне известно, что он производит обмен владений и собирается покинуть Испанию навсегда и поселиться здесь. Недавно за обедом в присутствии тридцати человек он так говорил о разводе, что я пришла в ужас.

Бежарс. Я был при этом. Как же, отлично помню!

Графиня *(в слезах)*. Простите, мой истинный друг! При вас мне не стыдно плакать.

Бежарс. Да будет мое чувствительное сердце приютом для ваших печалей!

Графиня. Наконец, вы или граф заставили страдать Флорестину? Я смотрела на нее как на невесту моего сына. Она бедна, это правда, но зато из хорошей семьи, красива, благонравна, выросла среди нас, а мой сын теперь наследник, неужели же этого наследства не хватит на двоих?

Бежарс. Может быть, даже с избытком. Вот где корень зла.

Графиня. Но все точно сговорились разбить мои надежды, как будто небо так долго выжидало только для того, чтобы тем строже наказать меня теперь за проступок, который я горько оплакивала. Мой муж ненавидит моего сына... Флорестина от него отказывается. Что-то ее взволновало, и она собирается с ним порвать. А он, несчастный, этого не перенесет,— вот что для меня несомненно. *(Молитвенно складывает руки.)* О карающее небо! Я целых двадцать лет провела в слезах и в покаянии, за что же теперь ты посылаешь мне эту муку — муку разоблаченной преступницы? О, пусть я одна буду несчастна! Боже! Я не стану роптать! Но пусть мой сын не страдает за грех, которого он не совершал! Научите же меня, господин Бежарс, как избавиться от стольких бед!

Бежарс. Я вас научу, достойная женщина, я затем и пришел, чтобы рассеять мучительные ваши страхи. Когда чего-нибудь опасаешься, то не можешь отвести глаза от пугающего предмета: что бы вокруг ни говорилось, что бы ни делалось, страх отравляет все! Ключ от этих загадок наконец у меня в руках. Вы еще будете счастливы.

Графиня. Можно ли быть счастливой, когда душу томит раскаяние?

Бежарс. Ваш супруг вовсе не избегает Леона,— тайна рождения вашего сына ему неизвестна.

Графиня *(живо)*. Господин Бежарс!

Бежарс. Причиною же душевных движений, которые вы принимаете за ненависть, является то, что у него самого не чиста совесть. О, сейчас я сниму с души вашей тяжесть!

Графиня *(с чувством)*. Дорогой господин Бежарс!

Бежарс. Но только сохраните навеки в успокоенном сердце вашем то чрезвычайной важности сообщение, которое вам предстоит от меня услышать. Ваша тайна — это рождение Леона, его тайна — это рождение Флорестины. *(Понизив голос.)* Он ее опекун и... отец.

Графиня *(молитвенно складывает руки)*. Боже всемогущий! Ты сжалился надо мной!

Бежарс. Представляете себе, каков был его ужас, когда он увидел, что дети любят друг друга? Он не мог открыть свою тайну и вместе с тем не мог допустить, чтобы следствием его молчания явилась их взаимная склонность,— вот почему он сделался так мрачен, так не похож на себя. Удалить же сына он задумал единственно в надежде на то, что разлука и служение на рыцарском поприще, может статься, заставят Леона забыть эту несчастную любовь, благословить которую граф не в состоянии.

Графиня *(на коленях, горячо молится)*. О вечный источник щедрот! Господь мой! Ты сделал так, что я могу хотя бы частично искупить тот невольный грех, который я совершила по вине безумца! Теперь и мне есть что простить мужу, честь которого я запятнала! О граф Альмавива! Мое иссохшее сердце, наглухо закрывшееся после двадцатилетних страданий, ныне вновь открывается для тебя! Флорестина — твоя дочь; она стала мне так же дорога, как если бы я сама произвела ее на свет. Простим же молча друг друга! Ах, господин Бежарс, говорите все!

Бежарс *(поднимает ее)*. Мой друг! Я не хочу мешать первым порывам вашего доброго сердца: радостное волнение, в

отличие от волнения горестного, нисколько не опасно, однако во имя вашего спокойствия выслушайте меня до конца.

Графиня. Говорите, мой благородный друг, вам я обязана всем, говорите.

Бежарс. Ваш супруг, стремясь оградить Флорестину от кровосмесительного, по его мнению, союза, предложил мне жениться на ней. Но, независимо от глубокого и мучительного чувства, которое мое преклонение перед вашими страданиями...

Графиня *(горько)*. Ах, друг мой, из жалости ко мне...

Бежарс. Не будем об этом говорить. По некоторым туманным намекам, которые можно было понять и так и этак, Флорестина решила, что речь идет о Леоне. Юное ее сердце уже затрепетало от восторга, но тут как раз доложили о вашем приходе. После я ничего не говорил ей о намерениях отца, но одно мое слово навело Флорестину на ужасную для нее мысль о братских узах,— оно-то и вызвало эту бурю, этот священный ужас, причину которого ни ваш сын, ни вы не могли себе уяснить.

Графиня. Бедный мой мальчик! Он ничего не подозревал!

Бежарс. Теперь причина вам известна — так как же, будем мы претворять в жизнь идею этого брака, коль скоро он может поправить все?

Графиня *(живо)*. Да, мой друг, придется на этом остановиться,— мне это внушают и сердце и разум, и я беру на себя уговорить Флорестину. Благодаря этому наши тайны будут сохранены, никто из посторонних не выведает их. После двадцатилетних страданий мы заживем счастливо, и этим счастьем моя семья будет обязана вам, истинный друг мой.

Бежарс *(возвысив голос)*. А дабы ничто более не омрачало вашего счастья, нужна еще одна жертва, и вы, мой друг, найдете в себе силы ее принести.

Графиня. О, я готова на любые жертвы!

Бежарс *(внушительно)*. Все письма, все бумаги того несчастного человека, которого уже нет в живых, необходимо сжечь дотла.

Графиня *(с душевной болью)*. О боже!

Бежарс. Когда мой друг, умирая, поручал мне передать их вам, последнее, что он мне приказал, это спасти вашу честь и не оставить ничего такого, что могло бы бросить на нее тень.

Графиня. Боже! Боже!

Бежарс. В течение двадцати лет я не мог добиться, чтобы эта печальная пища вечной вашей скорби исчезла с глаз долой. Но, независимо от того, что она причиняет вам боль, подумайте, какой вы подвергаете себя опасности!

Графиня. Чего же мне бояться?

Бежарс *(убедившись, что никто их не слышит, тихо)*. У меня нет никаких оснований подозревать Сюзанну, а все-таки кто может поручиться, что горничная, осведомленная об этих бумагах, в один прекрасный день не сделает из них статью дохода? Стоит передать вашему супругу хотя бы одно письмо,— а он, конечно, за ценой бы не постоял,— и вот вы уже в пучине бедствий.

Графиня. Нет, у Сюзанны слишком доброе сердце...

Бежарс *(громко и весьма твердо)*. Мой глубокоуважаемый друг! Вы отдали дань и нежности и скорби, вы исполнили все возложенные на вас обязанности, и если вы довольны поведением вашего друга, то я прошу у вас награды. Нужно сжечь все бумаги, истребить все воспоминания о грехе, уже давно искупленном! А чтобы никогда больше не возвращаться к столь мучительному предмету, я требую немедленного принесения жертвы.

Графиня *(трепеща)*. Мне кажется, я слышу голос бога! Он повелевает мне забыть его, сбросить тот печальный траур, в который облекла мою жизнь его кончина. Да, господи! Я послушаюсь друга, которого ты мне послал! *(Звонит.)* То, чего он требует от меня твоим именем, мне давно советовала моя совесть, но по своей слабости я этому противилась.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Сюзанна, графиня, Бежарс.

Графиня. Сюзанна! Принеси мне ларец с драгоценностями. Нет, постой, я сама, ты не найдешь ключа...

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сюзанна, Бежарс.

Сюзанна *(несколько растерянна)*. Что же это такое, господин Бежарс? Все потеряли голову! Просто сумасшедший дом! Графиня плачет, девочка рыдает, господин Леон грозит утопиться, граф заперся, никого не желает видеть. И почему это вдруг ларец с драгоценностями так всем понадобился?

Бежарс *(с таинственным видом приставляет палец к губам)*. Тсс! Здесь — никаких расспросов! Скоро узнаешь... Все обстоит отлично, все обстоит как нельзя лучше... За такой день можно отдать... Тсс!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Графиня, Бежарс, Сюзанна.

Графиня *(в руках у нее ларец с драгоценностями)*. Сюзанна! Принеси нам из будуара огня в жаровне.

Сюзанна. Если это для того, чтобы сжечь бумаги, так можно взять ночник, он еще не погашен. *(Подает ночник.)*

Графиня. Постереги у дверей, а то как бы кто-нибудь не вошел.

Сюзанна *(уходит; про себя)*. Прежде всего сообщим Фигаро!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Графиня, Бежарс.

Бежарс. Я так хотел, чтобы для вас как можно скорее настал этот миг!

Графиня *(задыхаясь от волнения)*. О друг мой! Какой день избираем мы для того, чтобы совершить жертвоприношение! День рождения моего несчастного сына! Все это время я каждый год посвящала этот день им обоим, просила у бога прощения и обливалась слезами, перечитывая грустные эти письма. По крайней мере, я убеждалась, что нами было совершено не столько преступление, сколько ошибка. Ах, неужели надо сжечь все, что мне от него осталось?

Бежарс. Да ведь вы же не уничтожаете сына, который вам напоминает о нем! Хотя бы для сына принесите эту жертву — она избавит его от многих ужасных бед. Вы должны принести ее ради себя самой: быть может, безопасность всей вашей жизни зависит от этого решительного шага! *(Открывает потайное отделение и достает письма.)*

Графиня *(в изумлении)*. Господин Бежарс! Вы открываете ларец лучше меня!.. Позвольте мне еще раз их перечесть!

Бежарс *(строго)*. Нет, я вам этого не разрешу.

Графиня. Только последнее, в котором он начертал скорбное «прости» своею кровью, пролитою из-за меня, и показал мне пример мужества, а мне оно сейчас так необходимо!

Бежарс *(не дает ей письмо)*. Если вы прочтете хотя бы одно слово, мы не сожжем ничего. Принесите небу полную жертву, смелую, добровольную, свободную от человеческих слабостей. Если же вы не отважитесь ее принести, то я окажусь сильнее вас. Скорее в огонь! *(Бросает сверток в огонь.)*

Графиня *(живо)*. Господин Бежарс! Жестокий друг! Вы сжигаете мою жизнь! Пусть у меня останется хоть один клочок.

Хочет броситься к горящим письмам. Бежарс обхватывает ее за талию.

Бежарс. Пепел я развею по ветру.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Сюзанна, граф, Фигаро, графиня, Бежарс.

Сюзанна *(вбегает)*. Следом за мной идет граф, но его привел Фигаро.

Граф *(застает их в той же позе)*. Сударыня! Что я вижу? Что все это значит? К чему здесь огонь, ларец, бумаги? Из-за чего спор и слезы?

Бежарс и графиня смущены.

Вы молчите?

Бежарс *(овладевает собой; с усилием)*. Надеюсь, граф, вы не потребуете объяснения в присутствии слуг. Я не знаю, что, собственно, побудило вас неожиданно войти к графине. Я же остаюсь верен себе и скажу вам всю правду, какова бы она ни была.

Граф *(к Фигаро и Сюзанне)*. Уйдите оба.

Фигаро. Хорошо, сударь, но только я вас прошу обелить меня: подтвердите, что я вручил вам расписку нотариуса на ту крупную сумму, о которой у нас сегодня был разговор.

Граф. С удовольствием, всегда приятно восстановить справедливость. *(Бежарсу.)* Можете быть спокойны: вот расписка. *(Кладет ее в карман.)*

Фигаро и Сюзанна расходятся в разные стороны.

Фигаро *(уходя, Сюзанне, тихо)*. Пусть попробует увильнуть от объяснения!..

Сюзанна *(тихо)*. Уж больно он увертлив!

Фигаро *(тихо)*. Я его уничтожил!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Графиня, граф, Бежарс.

Граф *(строго)*. Сударыня! Мы одни.

Бежарс *(все еще взволнован)*. Говорить буду я. Я готов подвергнуться допросу. Милостивый государь! Был ли когда-нибудь при вас такой случай, чтобы я изменил истине?

Граф *(сухо)*. Я, милостивый государь... этого не говорю.

Бежарс *(вполне овладев собой)*. Хотя я далеко не одобряю этого малопристойного дознания, моя честь, однако ж, принуждает меня повторить то, что я говорил графине, просившей у меня совета: «Всякий хранящий тайну не должен беречь бумаги, которые могут бросить тень на умершего друга, доверившего их ему. Как бы ни было горько с ними расстаться и какой бы интерес ни представляло их сохранить,— благоговейное чувство к памяти усопших должно возобладать над всем». *(Указывая на графа.)* Разве непредвиденный случай не может передать их в руки противника?

Граф дергает его за рукав, чтобы он прекратил объяснения.

Или вы со мной не согласны, милостивый государь? Кто просит совета в некрасивом деле, кто взывает о помощи в минуту постыдной слабости, тот не должен обращаться ко мне! Вы оба знаете это по опыту, а особенно хорошо — вы, ваше сиятельство!

Граф делает ему знак.

Так вот что побудило меня, не допытываясь, что именно заключают в себе бумаги, дать графине совет, когда она обратилась ко мне, однако ж мне стало ясно, что для исполнения этого сурового долга у нее недостает решимости. Тогда я, не колеблясь, призвал на помощь всю свою решимость и преодолел безрассудную ее медлительность. Вот из-за чего шла у нас борьба, и, что бы обо мне ни думали, я никогда не буду раскаиваться ни в своих словах, ни в своих поступках. *(Воздевает руки.)* Священная дружба! Ты всего лишь пустой звук, если не исполняются строгие твои веления! Позвольте мне удалиться.

Граф *(в восторге)*. О лучший из людей! Нет, вы нас не покинете. Графиня! Скоро он станет нам еще ближе: я отдаю ему Флорестину.

Графиня *(с живостью)*. Более достойно, граф, вы не могли бы употребить ту власть, которую закон предоставляет вам над нею. Если вам хотелось бы знать мое мнение, то я вполне согласна. И чем скорее, тем лучше.

Граф *(нерешительно)*. Ну что ж... нынче же вечером... без всякой огласки... ваш духовник...

Графиня *(с воодушевлением)*. А я заменяю ей мать, и я подготовлю ее к священному обряду. Неужели вы допустите, чтобы только ваш друг проявил великодушие к этой прелестной девушке? Льщу себя надеждой, что нет.

Граф *(смущенно)*. Ах, графиня... поверьте...

Графиня *(радостно)*. Да, граф, я вам верю. Сегодня день рождения моего сына, и отныне, благодаря совпадению двух событий, день этот будет мне еще дороже. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Граф, Бежарс.

Граф *(смотрит ей вслед)*. Я не могу прийти в себя от изумления. Я ожидал споров, бесконечных возражений, а она оказалась такой справедливой, доброй, великодушной к моей девочке! «Я заменяю ей мать»,— сказала она. Нет, это не безнравственная женщина! Я невольно преисполняюсь уважения к тому душевному величию, которое сквозит в ее действиях... хочу осыпать ее упреками, но ее тон меня обезоруживает. Я сам виноват, друг мой, что выразил изумление при виде горящих писем.

Бежарс. А я этому нисколько не удивился, я же видел, с кем вы идете. Эта гадина вам прошипела, что я здесь выдаю ваши тайны! Столь низкие обвинения не могут задеть человека, который стоит на такой нравственной высоте, как я,— они ползают где-то там, далеко. Со всем тем, сударь, что вам так дались эти бумаги? Ведь вы же меня не послушались и взяли те, которые вам хотелось сохранить. О, если б небу угодно было, чтобы графиня обратилась ко мне за советом раньше, вы бы теперь не располагали против нее неопровержимыми уликами!

Граф *(горько)*. Да, неопровержимыми! *(В сильном волнении.)* Подальше от моей груди — они ее жгут! *(Выхватывает спрятанное на груди письмо и опускает в карман.)*

Бежарс *(мягко)*. Теперь я, думается, с бóльшим успехом вступлюсь за права законного сына; в конце концов не ответствен же он за горькую свою судьбу, которая толкнула его в ваши отеческие объятия.

Граф *(снова вспылив)*. Отеческие? Никогда!

Бежарс. Не виноват он также, что любит Флорестину. И все-таки, пока он подле нее, могу ли я соединиться с этой девушкой? Быть может, она увлечена сама и согласится только из уважения к вам. Оскорбленная кротость...

Граф. Я тебя понимаю, мой друг. Твои соображения столь убедительны, что я решаюсь отослать его немедленно. Да, мне легче будет жить на свете, когда злополучное это существо перестанет оскорблять мой взор. Но как заговорить об этом с гра-

финей? Захочет ли она с ним расстаться? Значит, придется прибегнуть к крайней мере?

Бежарс. К крайней?.. Нет... Но воспользоваться для данной цели разводом вы можете: у отчаянных французов это принято.

Граф. Чтобы я предал огласке мой позор! Правда, некоторые жалкие людишки так именно и поступили, но ведь это последняя степень падения современных нравов. Пусть бесчестье явится уделом, во-первых, тех, кто идет на такой срам, а во-вторых, мерзавцев, повинных в этом сраме!

Бежарс. Я поступил по отношению к графине и по отношению к вам так, как мне подсказывала честь. Я отнюдь не являюсь сторонником насильственных мер, особенно если речь идет о сыне...

Граф. Нет, не о сыне, а о *постороннем человеке,* отъезд которого я ускорю.

Бежарс. Не забудьте и о дерзком слуге.

Граф. Да, он мне надоел. Вот тебе моя расписка, мой друг, беги к нотариусу и получи три миллиона золотом. Теперь у тебя будут все основания проявить великодушие при заключении брачного договора, с которым нам во что бы то ни стало надо покончить сегодня же... теперь у тебя целое состояние... *(Передает ему расписку, берет его под руку, и они оба направляются к выходу.)* Сегодня в полночь, без приглашенных, в часовне графини... *(Последних его слов не слышно.)*

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена представляет ту же комнату графини.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Фигаро один, в волнении оглядывается по сторонам.

Фигаро. Она мне сказала: «Приходи в шесть часов сюда: это самое удобное место для разговора...» Я мигом слетал по разным делам и весь в поту вернулся домой. Где же она? *(Ходит по комнате и вытирает лицо.)* А, черт, я же не сумасшедший! Я же видел, как граф выходил отсюда с ним под руку!.. Так что же, из-за одного шаха бросать партию?.. Какой оратор малодушно покинет трибуну только потому, что один из его аргументов выбит из рук? Но что за гнусный обманщик! *(Живо.)*

Вырвать у графини согласие на истребление писем только для того, чтобы она не обнаружила, что одно письмо пропало, а затем уклониться от объяснения!.. Это исчадье ада, такого ада, каким нам изобразил его Мильтон! *(Шутливым тоном.)* Хорошо я сказал про него недавно, когда был уж очень зол: «Оноре Бежарс — это тот самый дьявол, о котором евреи говорили, что имя ему легион. Кто приглядится к нему повнимательнее, тот заметит, что у этого беса раздвоенные копыта — единственная часть тела, которую, как уверяла моя матушка, черти не могут скрыть». *(Смеется.)* Ха-ха-ха! Я снова в веселом расположении духа, прежде всего потому, что мексиканское золото я отдал на сохранение Фалю,— так мы выиграем время. *(Хлопает себя по руке запиской.)* А затем... слушай, ты, лицемер из лицемеров, перед коим прислужник сатаны — Тартюф — просто мальчишка! Благодаря всесильному случаю, благодаря моей тактике, благодаря нескольким луидорам, которые я кое-кому сунул, мне обещано твое письмо, где, как говорят, ты превосходнейшим образом сбрасываешь маску! *(Раскрывает записку и читает.)* Мерзавец, который его читал, просит за него пятьдесят луидоров... Ну что ж, он их получит, ежели письмо того стоит. Если мне в самом деле удастся вывести из заблуждения моего господина, которому мы с Сюзанной стольким обязаны, то я буду считать, что мое годовое жалованье истрачено не зря... Но где же ты, Сюзанна? Как бы мы с тобой посмеялись! *O che piacere!..*[1] Выходит дело, до завтра! Не думаю, чтобы нам грозила опасность нынче вечером... А впрочем, к чему терять время?.. Я всегда в этом раскаивался... *(Очень живо.)* Никаких отсрочек, побежим за разрывным снарядом, на ночь положим его под подушку, утро вечера мудренее, а там посмотрим, кто из нас двоих завтра взлетит на воздух.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Бежарс, Фигаро.

Бежарс *(насмешливо)*. А-а, господин Фигаро? Приятное место — я опять встречаюсь здесь с вами, милостивый государь.

Фигаро *(так же)*. Хотя бы потому приятное, что можно доставить себе удовольствие еще раз выгнать меня отсюда.

Бежарс. Из-за такой безделицы вы все еще на меня обижаетесь? Спасибо за память! Впрочем, у всякого свои странности.

---

[1] О, какая радость!.. *(итал.)*

Фигаро. А ваша странность заключается в том, что вы защищаетесь только при закрытых дверях.

Бежарс *(хлопает его по плечу)*. Умному человеку нет смысла слушать все подряд, он и так догадается.

Фигаро. Это уж у кого какие способности.

Бежарс. А много ли рассчитывает выиграть *интриган* с помощью тех способностей, какие он тут перед нами выказывает?

Фигаро. Не поставив никакой ставки, я выиграю все... если сумею обыграть другого интригана.

Бежарс *(задет за живое)*. Посмотрим, как вы будете играть, милостивый государь.

Фигаро. Я не стану бить на эффект только ради того, чтобы потрясти раек. *(С видом простака.)* Впрочем, каждый за себя, бог за всех, как сказал царь Соломон.

Бежарс *(с улыбкой)*. Прекрасное изречение! Но ведь это он же сказал, что солнце светит для всех?

Фигаро *(гордо)*. Да, и при этом освещает змею, которая собирается ужалить руку неосторожного своего благодетеля! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Бежарс один, смотрит ему вслед.

Бежарс. Он уже не таит своих замыслов! Однако этот господин заносчив! Тем лучше, он ничего не знает о моих замыслах. Воображаю, как вытянулась бы у него физиономия, если б до его сведения дошло, что в полночь... *(Поспешно роется в карманах.)* Куда же я дел бумагу? Вот она. *(Читает.)* «Получил от нотариуса, господина Фаля, три миллиона золотом, обозначенные в при сем прилагаемой описи. Париж, такого-то числа, Альмавива». Отлично! И воспитанница и денежки у меня в руках! Но это еще не все: граф слабоволен, остающуюся у него часть состояния он ни на что употребить не решится. Графиня имеет на него влияние, он ее побаивается, он все еще любит ее... Она не уйдет в монастырь, если я их не стравлю и не подобью его затеять с ней разговор... крупный разговор. *(Прохаживается.)* Нет, черт возьми, сегодня еще не следует спешить со столь опасной развязкой! Тише едешь — дальше будешь! Лучше завтра: завтра сладостные священные узы, которые прикуют это семейство ко мне, будут еще прочнее! *(Прикладывает руки к груди.)* Что же ты, проклятая радость, теснишь мое сердце? Никак не можешь себя сдержать?.. Ты

такая бурная, что если тебя не унять, пока здесь никого нет, то я в конце концов задохнусь или же выдам себя, как дурак. Святая и кроткая простота! Ты меня наградила великолепным приданым! Ты же, бледная богиня ночи, скоро пошлешь мне равнодушную супругу. *(Потирает руки от удовольствия.)* Бежарс, счастливец Бежарс!.. Почему вы зовете его Бежарсом? Разве он теперь уже не больше чем наполовину граф Альмавива? *(Зловеще.)* Еще один шаг, Бежарс, и ты достигнешь всего! Прежде, однако ж, необходимо... Этот Фигаро стоит мне поперек дороги! Ведь это он привел графа!.. Малейшее замешательство меня погубит... Этот лакей может меня утопить... Такая хитрая бестия!.. А ну, убирайся отсюда вон вместе со своим странствующим рыцарем!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Бежарс, Сюзанна.

Сюзанна *(вбегает и, увидев, что это не Фигаро, а Бежарс, удивленно вскрикивает).* Ах! *(В сторону.)* Это не он!

Бежарс. Отчего ты так изумлена? Кого ты ожидала увидеть?

Сюзанна *(овладев собой).* Никого. Я думала, что здесь ни души...

Бежарс. Раз уж мы с тобой встретились, два слова о заседании комитета.

Сюзанна. Какого комитета? Право, за последние два года я разучилась понимать французский язык.

Бежарс *(злобно смеется).* Ха-ха! *(С самодовольным видом берет из табакерки щепотку табаку.)* Комитет, моя дорогая,— это переговоры между графиней, ее сыном, юной воспитанницей и мной об одном известном тебе важном деле.

Сюзанна. И вы все еще питаете надежду после того объяснения, которое я застала?

Бежарс *(пренагло).* Питаю надежду?.. Нет. Я просто-напросто... женюсь на Флорестине сегодня вечером.

Сюзанна *(живо).* Несмотря на ее чувство к Леону?

Бежарс. Одна добрая женщина мне говорила: «Если вам это удастся...»

Сюзанна. Да, но кто бы мог подумать?

Бежарс *(берет одну за другой несколько щепоток табаку).* Ну, а кто и что об этом говорит? Ведь ты же у них свой человек, тебе доверяют,— хорошего ли мнения они обо мне? Это чрезвычайно важно.

Сюзанна. А мне важно знать, каким талисманом вы пользуетесь для того, чтобы всех пленить? Граф от вас в полном восторге, графиня превозносит вас до небес, у сына вся надежда на вас, девочка перед вами благоговеет!..

Бежарс *(стряхивает с жабо табак; пренагло)*. А ты, Сюзанна, что можешь сказать обо мне?

Сюзанна. По чести, сударь, я вами любуюсь! Вы вносите в семью невообразимое смятение, а сами остаетесь спокойны и хладнокровны. Можно подумать, что это некий гений всем здесь распоряжается, как хочет.

Бежарс *(пренагло)*. Все это объясняется очень просто, дитя мое. Прежде всего, в мире существует только две оси, на которых все и вращается: нравственность и политика. Нравственность — вещь довольно плоская: суть ее заключается в том, что надо быть искренним и справедливым. Про нее говорят, что она представляет собою ключ от нескольких отживших добродетелей.

Сюзанна. Ну, а политика?

Бежарс *(с жаром, как бы отвечая самому себе)*. О, это — искусство создавать факты, шутя подчинять себе события и людей! Выгода — ее цель, интрига — средство. Широкие и роскошные ее замыслы, неизменно далекие от истины, можно сравнить с ослепляющей призмой. Не менее глубокая, чем Этна, она долго пылает и клокочет, пока наконец не произойдет извержение, и тогда уже ничто перед ней не устоит. Она требует большого дарования. Повредить ей может только порядочность. *(Со смехом.)* А это уже частное дело договаривающихся сторон.

Сюзанна. Нравственность вас, как видно, не вдохновляет, зато при слове «политика» вы так весь и загораетесь!

Бежарс *(настораживается и овладевает собой)*. Нет... политика тут ни при чем... Это ты, твое сравнение с гением... Идет Леон, оставь нас одних.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Леон, Бежарс.

Леон. Господин Бежарс! Я в отчаянии.

Бежарс *(покровительственно)*. Что случилось, юный мой друг?

Леон. Отец приказал мне — и как строго! — в течение двух дней закончить все приготовления к отъезду на Мальту. Вся моя свита, по его словам, будет состоять из Фигаро и одного слуги, который выедет раньше нас.

Бежарс. Его поведение может показаться странным тому, кто не знает его тайны, мы же с вами о ней осведомлены, и нам остается только пожалеть его. Ваш отъезд вызван вполне простительными опасениями. Мальта и ваш рыцарский обет — это только предлог, истинная причина — ваша любовь, вот что его страшит.

Леон *(горько)*. Но ведь вы, мой друг, женитесь на Флорестине?

Бежарс *(доверительно)*. Если бы вам хотелось отменить этот тягостный для вас отъезд... то я не вижу иного средства...

Леон. Ах, мой друг, скажите!

Бежарс. Надо, чтобы ваша матушка превозмогла ту робость, которая мешает ей высказывать при муже собственное мнение: ведь ее кротость причиняет вам больше вреда, чем мог бы причинить самый непреклонный нрав. Положим, до вашего отца дошли неверные сведения,— кто же, как не мать, имеет право воззвать к его благоразумию? Уговорите ее попытаться... но только не сегодня, а завтра, и пусть она будет с ним потверже.

Леон. Ваша правда, мой друг: истинная причина — страх. Конечно, только матушка может переубедить его. А вот и она идет вместе с той... которую я уже не смею обожать. *(Горько.)* О мой друг! Сделайте так, чтобы она была счастлива!

Бежарс *(ласково)*. Я буду все время говорить с ней об ее брате.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Графиня, Флорестина, Бежарс, Сюзанна, Леон.

Графиня *(причесанная, нарядно одетая; платье на ней красное с черным; букет, который она держит в руке, составлен тоже из красных и черных цветов)*. Сюзанна! Принеси мне мои драгоценности.

Сюзанна идет за ними.

Бежарс *(принимая подчеркнуто достойный вид)*. Графиня, а также и вы, сударыня! Я оставляю вас с моим другом: я заранее одобряю все, что он вам скажет. О, не думайте о моем счастье, которое я полагаю лишь в том, чтобы принадлежать всему вашему семейству! Вы должны заботиться только о своем спокойствии, я же буду вам в этом содействовать лишь в той форме, которая вам покажется наиболее приемлемой. Но независимо от того, примете вы, сударыня, мое предложение или

нет, я считаю нужным объявить, что от состояния, которое я недавно получил в наследство, я отказываюсь в вашу пользу — то ли путем договора, то ли путем завещания. Я отдам распоряжение составить документы, а вы, сударыня, выберете сами. Теперь позвольте мне удалиться — мое присутствие может вас стеснять, сударыня, между тем ваше решение должно быть совершенно добровольным. Каково бы оно ни было, знайте, друзья мои, что оно для меня священно: я принимаю его безоговорочно. *(Низко кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Графиня, Леон, Флорестина.

Графиня *(смотрит вслед Бежарсу)*. Это ангел, ниспосланный с неба, чтобы помогать нам во всех наших несчастьях.

Леон *(со жгучей скорбью)*. Ах, Флорестина, нам надо покориться! В первом порыве скорби мы с вами поклялись, что раз мы не можем принадлежать друг другу, то не будем принадлежать никому,— я исполню этот обет за нас обоих. Это не значит, что я вас теряю совсем: я обретаю сестру в лице той, которою надеялся обладать как супруг. У нас еще есть возможность любить друг друга.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Графиня, Леон, Флорестина, Сюзанна приносит ларец.

Графиня *(не глядя, надевает серьги, кольца и браслет)*. Флорестина! Выходи замуж за Бежарса: он это заслужил. Ваш брачный союз составит счастье твоего крестного, поэтому его надо заключить сегодня же.

Сюзанна уходит и уносит ларец.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Графиня, Леон, Флорестина.

Графиня *(Леону)*. Сын мой! Что нам не положено знать, то пусть и останется для нас тайной. Флорестина! Ты плачешь?

Флорестина *(плачет)*. Пожалейте меня, сударыня! Легко ли перенести столько потрясений в один день? Только что я узнала, кто я такая, а теперь еще должна переломить себя и вверить свою судьбу... я не помню себя от горя и ужаса. Я ни-

чего не имею против господина Бежарса, но у меня сердце замирает при одной мысли, что он может стать... И все же так надо, надо пожертвовать собой для блага любимого брата, ради его счастья, которое я уже не могу составить. Вы спрашиваете, плачу ли я? Ах, я сейчас делаю для него больше, чем если бы отдала за него жизнь! Мама, пожалейте нас! Благословите ваших детей! Они так несчастны!

Падает на колени, вслед за нею Леон.

Графиня *(возлагает на них руки)*. Благословляю вас, дорогие мои. Флорестина! Отныне ты моя дочь. Если бы ты знала, как ты мне дорога! Ты будешь счастлива, дочь моя, сознанием, что ты сделала доброе дело; оно способно заменить всякое другое счастье.

Флорестина и Леон встают.

Флорестина. А вы уверены, сударыня, что мое самопожертвование вернет Леону его отца? Ведь не будем же мы закрывать глаза: несправедливое отношение к нему графа временами доходит до ненависти.

Графиня. Я надеюсь, милая моя дочка.

Леон. Господин Бежарс тоже надеется, он мне об этом говорил, но, правда, прибавил, что сотворить это чудо способна только матушка. Итак, вы не откажетесь поговорить с отцом обо мне?

Графиня. Я несколько раз пыталась, сын мой, но, по-видимому, безуспешно.

Леон. О моя добрая мама! Мне вредила ваша кротость. Вы боялись противоречить ему, и это вам мешало употребить всю силу своего влияния, а между тем право на такое влияние вам дают ваши душевные качества, а также то глубокое уважение, которое к вам питают все окружающие. Поговорите с ним твердо, и он сдастся.

Графиня. Ты так думаешь, сын мой? Я попробую поговорить с ним при тебе. Твои упреки огорчают меня почти так же, как его несправедливость. А чтобы я могла хвалить тебя без всякого стеснения, выйди в соседнюю комнату. Тебе будет слышно оттуда, как я буду отстаивать правое дело: после этого ты уже не обвинишь твою мать, что она недостаточно стойко защищает сына! *(Звонит.)* Флорестина! Тебе не подобает здесь оставаться. Поди к себе и помолись богу, чтобы он мне помог и водворил наконец мир в злосчастной моей семье.

Флорестина уходит.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Сюзанна, графиня, Леон.

Сюзанна. Вы звонили, сударыня? Что вам угодно?

Графиня. Скажи графу, что я прошу его зайти ко мне на минутку.

Сюзанна *(в испуге)*. Сударыня! Вы меня пугаете!.. Господи, что же это будет? Ведь граф никогда не приходит... без...

Графиня. Делай то, что тебе говорят, Сюзанна, а об остальном не беспокойся.

Сюзанна, в ужасе воздев руки, уходит.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Графиня, Леон.

Графиня. Сейчас ты увидишь, сын мой, проявляет ли слабость твоя мать, когда дело касается тебя! Только дай мне сосредоточиться, дай мне помолиться перед той чрезвычайно важной защитительной речью, которую мне предстоит произнести.

Леон уходит в соседнюю комнату.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Графиня одна, становится одним коленом на кресло.

Графиня. Приближающееся мгновение представляется мне таким же грозным, как Страшный суд! Кровь леденеет в жилах... О боже! Пошли мне силу достучаться до сердца моего супруга! *(Понизив голос.)* Тебе одному известно, отчего на устах моих лежала печать! Ты знаешь, господи, что, если бы речь шла не о счастье моего сына, а обо мне, я не посмела бы сказать ни единого слова. Но если правду говорит мудрый мой друг, что ты по своему милосердию отпустил мне грех, который я оплакивала в течение двадцати лет, то пошли же мне, господи, силу достучаться до сердца моего супруга!

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Графиня, граф, Леон за сценой.

Граф *(сухо)*. Мне сказали, что вы, графиня, просили меня прийти.

Графиня *(робко)*. Я думала, граф, что тут нам будет удобнее, чем у вас.

Граф. Я пришел, графиня, говорите.

Графиня *(дрожащим голосом)*. Садитесь, граф, умоляю вас, и выслушайте меня внимательно.

Граф *(в нетерпении)*. Нет, я буду слушать стоя. Вы знаете, что во время разговора я не могу сидеть на месте.

Графиня *(со вздохом опускается в кресло; тихо)*. Речь идет, граф... о моем сыне.

Граф *(резко)*. О вашем сыне, графиня?

Графиня. А что же иное могло принудить меня начать беседу с человеком, который явно не желает со мной разговаривать? Мне больно смотреть на сына: он сам не свой, у него разрывается сердце при одной мысли о том, что вы приказали ему уехать немедленно, а главное, его огорчил тот суровый тон, каким вы отдали приказ об его изгнании. Чем же он навлек на себя немилость... такого справедливого человека? С тех пор как проклятый поединок отнял у нас другого сына...

Граф *(закрывает лицо руками; сокрушенно)*. А!..

Графиня. ...Леон, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, усилил заботы и внимание, стремясь облегчить тяжесть нашего горя!

Граф *(медленно ходит по комнате)*. А!..

Графиня. Пылкий нрав старшего сына, его непостоянство, его пристрастия, его беспорядочное поведение — все это часто причиняло нам жестокие страдания. Суровые, но мудрые в своих велениях небеса, лишив нас этого ребенка, быть может, избавили нас от еще больших мучений в будущем.

Граф *(сокрушенно)*. А!.. А!..

Графиня. И разве тот, который у нас остался, хоть когда-нибудь изменил своему долгу? Можно ли его хоть в чем-нибудь упрекнуть? Он — образец для своих сверстников, он пользуется всеобщим уважением, все его любят, все ищут знакомства с ним, все с ним советуются. Один лишь... естественный его покрови-

тель, мой супруг, как будто бы закрывает глаза на необыкновенные его достоинства, которые поражают всех.

Граф начинает ходить быстрее, но молчит по-прежнему. Графиня, ободренная его молчанием, продолжает более уверенно и постепенно возвышает голос.

Во всяком другом деле, граф, я за великую для себя честь почла бы присоединиться к вашему мнению, согласовать мои чувства, мое скромное суждение с вашим, но речь идет о... сыне...

Граф в волнении ходит по комнате.

Пока был жив его старший брат, славное и громкое имя, которое он носит, обрекало его на безбрачие, Мальтийский орден был его неизбежным уделом. В то время казалось, что предрассудок прикрывает несправедливость такого различия в судьбе обоих братьев... *(робко)* с одинаковыми правами.

Граф *(сдавленным от волнения голосом, в сторону)*. С одинаковыми правами!..

Графиня *(еще громче)*. Но разве не странно, что прошло уже два года, как благодаря роковой случайности он получил все права... а вы все еще ничего не предприняли, чтобы снять с него обеты? Ни для кого не является тайной, что вы уехали из Испании только для того, чтобы продать или же обменять свои владения. Если это делается с целью лишить владений Леона, то это уже высшая степень ненависти! Затем вы гоните его от себя и как будто бы закрываете для него двери дома... вашего дома! Позвольте вам заметить, что такому отношению нельзя найти разумного объяснения. Что он такое сделал?

Граф *(останавливается; грозно)*. Что он сделал?

Графиня *(в испуге)*. Граф! Я не хотела вас обидеть!

Граф *(еще более грозно)*. Что он сделал, графиня? И вы еще спрашиваете?

Графиня *(в замешательстве)*. Граф, граф, вы меня пугаете!

Граф *(в ярости)*. Вы сами вызвали вспышку гнева, который сдерживала лишь простая жалость, так выслушайте же приговор и самой себе, и ему.

Графиня *(в смятении)*. Граф! Граф!..

Граф. Вы спрашиваете, что он сделал?

Графиня *(поднимая руки)*. Нет, граф, не говорите!

Граф *(вне себя)*. Вспомните, изменница, что сделали вы! Вспомните, как вы нарушили супружескую верность и как вы затем ввели ко мне в дом чужого ребенка, которого вы смеете называть моим сыном!

Графиня *(в отчаянии, хочет встать)*. Я вас прошу, позвольте мне уйти!

Граф *(не пускает ее)*. Нет, вы не уйдете, вы не убежите от вещественного доказательства, которое вас выдает с головой. *(Показывает ей письмо.)* Узнаете это послание? Оно написано вашей преступной рукой! А эти кровавые буквы, которые служат ответом...

Графиня *(подавлена)*. Я сейчас умру! Я сейчас умру!

Граф *(кричит)*. Нет, нет! Вы услышите строки, которые я подчеркнул! *(Читает в исступлении.)* «Несчастный безумец! Участь наша решена... Ваше преступление и мое несут заслуженную кару. Сегодня, в день святого Леона, покровителя здешнего края и Вашего святого, я, к своему позору и на горе себе, родила сына...» Итак, этот ребенок родился в день святого Леона, больше чем через десять месяцев после моего отъезда в Веракрус!

В то время как граф громко читает, графиня, точно в бреду, произносит бессвязные слова.

Графиня *(молитвенно сложив руки)*. Боже милосердный! Значит, ты не можешь допустить, чтобы даже сокровеннейшее из всех преступлений осталось безнаказанным!

Граф. А затем рукою соблазнителя *(читает)*: «Все это, когда меня уже не станет, Вам передаст мой испытанный друг».

Графиня *(молитвенно)*. Порази меня, господи! Я это заслужила.

Граф *(читает)*. «Если смерть обездоленного возбудит в Вас хоть каплю жалости...»

Графиня *(молится)*. Прими этот страшный для меня час во искупление моего греха!

Граф *(читает)*. «...то я надеюсь, что имя Леона...» И этого сына зовут Леоном!

Графиня *(в самозабвении, закрыв глаза)*. Господи! Велико же было мое преступление, если оно равно наказанию! Да будет воля твоя!

Граф *(кричит)*. И, покрыв себя таким позором, вы еще осмеливаетесь допрашивать меня, почему я испытываю к нему неприязнь!

Графиня *(молится)*. Как могу я не покориться, когда на мне отяготела десница твоя?

Граф. И в то самое время, когда вы заступались за сына этого презренного человека, на руке у вас был мой портрет!

Графиня *(снимает браслет и смотрит на него)*. Граф,

граф, я возвращу вам его. Я знаю, что я его недостойна. *(В полном самозабвении.)* Господи! Что же это со мной! Ах, я теряю рассудок! Помраченное мое сознание рождает призраки! Я еще при жизни осуждена на вечную муку! Я вижу то, чего нет... Это уже не вы, это он: он делает знак, чтобы я следовала за ним, чтобы я сошла к нему в могилу!

Граф *(в испуге)*. Что с вами? Да нет же, это не...

Графиня *(бредит)*. Зловещая тень! Удались!

Граф *(болезненно вскрикивает)*. Это вам чудится!

Графиня *(бросает на пол браслет)*. Сейчас!.. Да, я повинуюсь тебе...

Граф *(в сильном волнении)*. Графиня! Выслушайте меня...

Графиня. Я иду... Я повинуюсь тебе... Я умираю... *(Теряет сознание.)*

Граф *(испуганный, поднимает браслет)*. Я вышел из границ... Ей дурно... О боже! Скорее позвать на помощь! *(Убегает.)*

Графиня в конвульсиях соскальзывает с кресла на пол.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Леон вбегает, графиня без сознания.

Леон *(кричит)*. О матушка!.. Матушка! Это я убил тебя! *(Поднимает ее и сажает в кресло; она все еще в беспамятстве.)* Мне надо было покориться своей участи и уехать! Тогда бы не произошло этой ужасной сцены!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Граф, Сюзанна, Леон, графиня без сознания.

Граф *(войдя, восклицает)*. Ее сын!

Леон *(не помня себя)*. Она умерла! О, я этого не переживу! *(С воплем отчаяния обнимает ее.)*

Граф *(в испуге)*. Принесите сюда соли! Соли! Сюзанна! Миллион за ее спасение!

Леон. О несчастная мать!

Сюзанна. Сударыня! Понюхайте! Поддержите ее, сударь, я попытаюсь распустить шнуровку.

Граф *(не помня себя)*. Рви все! Срывай все! Ах, зачем я не пощадил ее!

Леон *(в исступлении)*. Она умерла! Она умерла!

Вбегает Фигаро.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Графиня без сознания, граф, Сюзанна, Леон, Фигаро.

Фигаро. Кто умер? Графиня? Да не кричите! Так она скорее умрет. *(Берет ее руку.)* Нет, она жива, это только удушье, от сильного прилива крови. Ей необходимо сейчас же оказать помощь. Пойду принесу все, что нужно.

Граф *(вне себя)*. Лети, Фигаро! Получишь все мое состояние.

Фигаро *(живо)*. Мне не до ваших обещаний — графиня в опасности! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Граф, Леон, Сюзанна, графиня без сознания.

Леон *(подносит к лицу графини флакон)*. Если бы вернуть ей дыхание! О боже! Возврати мне мою несчастную мать!.. Вот, вот она приходит в себя...

Сюзанна *(плачет)*. Сударыня! Очнитесь, сударыня!..

Графиня *(приходит в себя)*. Ах, как тяжело умирать!

Леон *(в исступлении)*. Нет, мама, вы не умрете!

Графиня *(в исступлении)*. Боже мой! Перед лицом двух моих судей! Перед лицом мужа и сына! Все известно, и я преступница по отношению к ним обоим... *(Бросается к их ногам.)* Мстите за себя оба! Для меня нет больше прощения! *(С ужасом.)* Преступная мать! Недостойная супруга! Одно мгновение погубило нас всех! Я внесла смуту в мою семью! Из-за меня вспыхнула война между отцом и детьми! Боже правый! Мое преступление должно было открыться! Пусть же смерть моя искупит мое злодеяние!

Граф *(в отчаянии)*. Полно, придите в себя! Ваши страдания терзают мне душу! Усадим ее в кресла! Леон! Сын мой!

Леон в полном изумлении.

Сюзанна! Усадим ее!

Граф и Сюзанна сажают ее в кресло.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Те же и Фигаро.

Фигаро. Она очнулась?

Сюзанна. Господи! Мне тоже дурно. *(Распускает шнуровку.)*

Граф *(кричит)*. Фигаро! Помогите же!

Фигаро *(запыхавшись)*. Одну минуту! Успокойтесь. Графиня вне опасности. Боже ты мой, и надо же было мне уйти из дому! Вовремя вернулся! Графиня очень меня напугала! Полноте, сударыня, возьмите себя в руки!

Графиня *(молится, откинувшись на спинку кресла)*. Боже милостивый, пошли мне смерть!

Леон *(усаживает ее поудобнее)*. Нет, мама, вы не умрете, мы исправим все наши ошибки. Граф! Больше я уже не оскорблю вас другим обращением. Возьмите назад ваши титулы, ваши владения,— я не имею на них никакого права. К сожалению, я этого не знал. Но будьте великодушны и не отдавайте на поругание эту несчастную, которая была вашей... Неужели грех, омытый двадцатью годами слез, все еще остается преступлением, которое ждет своей кары? Мы с матерью удалимся из вашего дома.

Граф *(горячо)*. Ни за что! Вы не уйдете отсюда!

Леон. Ее убежищем будет монастырь, а я под именем Леона, без пышных титулов, в одежде простого солдата буду защищать свободу нового нашего отечества. Безвестный, я умру за него или же буду ему служить как ревностный гражданин.

В одном углу сцены плачет Сюзанна. Фигаро, в другом углу, погружен в раздумье.

Графиня *(пересиливая себя)*. Леон! Милое мое дитя! Твое мужество возвращает мне жизнь. Я еще могу жить на свете — мой сын так великодушен, что не презирает свою мать. Присущая тебе гордость в несчастье — вот оно, твое честное достояние. Граф женился на мне без приданого, так не будем же и мы чего-либо от него требовать. Своим трудом буду я поддерживать угасающую мою жизнь, а ты служи государству.

Граф *(в отчаянии)*. Нет, Розина, ни за что! Истинный виновник — это я! Скольких добродетелей лишил я горькую мою старость!..

Графиня. Вы будете окружены ими. У вас остаются Флорестина и Бежарс. Флореста, ваша дочь, обожаемое ваше дитя...

Граф *(в изумлении)*. Что такое?.. Откуда вы знаете? Кто вам сказал?..

Графиня. Граф! Отдайте ей все свое состояние — мы с моим сыном не станем этому препятствовать: нас вознаградит сознание, что она счастлива. Однако, прежде чем нам расстаться, сделайте мне, по крайней мере, одно одолжение! Скажите мне, как к вам попало злополучное это письмо? Я была уверена, что сожгла его вместе с другими. Кто-нибудь похитил его у меня?

Фигаро *(громко кричит)*. Да, похитил! Этот подлец Бежарс! Я видел, как он передавал письмо графу.

Граф *(быстро)*. Нет, я обязан этим простой случайности. Сегодня утром мы с ним совсем с иной целью рассматривали ваш ларец, и сначала нам в голову не могло прийти, что он с двойным дном. Затем мы стали тянуть ларец каждый к себе. Бежарс нечаянно нажал — и, к великому его изумлению, секрет внезапно обнаружился. Он было подумал, что ларец сломался!

Фигаро *(кричит еще громче)*. Его удивил секрет! Чудовище! Да он же сам и заказывал ларец!

Граф. Что?

Графиня. Это истинная правда!

Граф. Нам бросились в глаза письма, он не подозревал об их существовании. Когда же я предложил прочитать их вслух, он отказался даже взглянуть на них.

Сюзанна *(кричит)*. Да ведь он сотни раз читал их вместе с графиней!

Граф. Это верно? Он знал об этих письмах?

Графиня. Он же мне их и передал: он привез их из армии после смерти этого несчастного человека.

Граф. Он, этот испытанный друг, которому я так доверял?

Фигаро, графиня, Сюзанна *(вместе, громко)*. Да, он!

Граф. Адское злодейство! Как же ловко он меня опутал! Теперь я знаю все!

Фигаро. Напрасно вы так думаете!

Граф. Мне понятен гнусный его замысел, но для большей ясности давайте сорвем все покровы. Кто вам сказал про Флорестину?

Графиня *(быстро)*. Я знаю об этом только от него.

Л е о н *(быстро)*. Он мне это сообщил по секрету.

С ю з а н н а *(быстро)*. Мне он тоже об этом говорил.

Г р а ф *(в ужасе)*. Чудовище! А я хотел выдать за него Флорестину! Передать ему все мое состояние!

Ф и г а р о *(живо)*. Более трети перешло бы уже к нему в руки, если бы я без вашего ведома не отдал три миллиона золотом на сохранение господину Фалю. Чуть-чуть было он не наложил на них лапу. К счастью, я сообразил. Я передал вам расписку...

Г р а ф *(живо)*. Негодяй только что взял у меня расписку и пошел за деньгами.

Ф и г а р о *(в полном отчаянии)*. Что же я за несчастный! Если деньги выданы, то все мои труды пропали даром! Бегу к господину Фалю. Может, бог даст, успею!

Г р а ф *(к Фигаро)*. Злодей не мог так быстро туда дойти.

Ф и г а р о. Если он упустил время, мы его поймаем. Бегу! *(Хочет идти.)*

Г р а ф *(быстрым движением останавливает его)*. Но только смотри, Фигаро: роковая тайна, которую ты сейчас узнал, должна быть погребена в твоей груди!

Ф и г а р о *(с глубоким чувством)*. Мой господин! Она уже двадцать лет в моей груди, и вот уже десять лет, как я стараюсь помешать чудовищу воспользоваться ею для его низких целей. А теперь самое главное: ждите моего возвращения и не предпринимайте пока ничего.

Г р а ф *(живо)*. Неужели он станет оправдываться?

Ф и г а р о. Непременно попытается *(достает из кармана письмо)*, но вот противоядие. Прочтите это ужасное письмо: в нем заключена адская тайна. Вы еще будете меня благодарить за то, что я из кожи вон вылез, а все-таки его достал. *(Передает графу письмо Бежарса.)* Сюзанна! Дай графине капель. Ты знаешь, как нужно их принимать. *(Протягивает Сюзанне пузырек.)* Положите графиню на кушетку и — полный покой. Не вздумайте, сударь, начать все сызнова — это ее убьет!

Г р а ф *(горячо)*. Начать сызнова? Я перестал бы себя уважать!

Ф и г а р о *(графине)*. Вы слышите, сударыня? В этом весь он! Узнаю своего господина. Ах, я всегда говорил: гнев добрых людей — это не что иное, как настоятельная потребность прощать! *(Стремительно убегает.)*

Граф и Леон берут графиню под руки; все уходят.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Большая гостиная первого действия.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Граф, графиня, Леон, Сюзанна.

Графиня не нарумянена, ее туалет в полном беспорядке.

Леон *(поддерживая мать)*. Во внутренних покоях слишком жарко, мама. Сюзанна! Пододвинь кресло.

Графиню сажают в кресло.

Граф *(растроганный, поправляет подушки)*. Вам удобно сидеть? Как, опять слезы?

Графиня *(удручена)*. Ах, эти слезы облегчают мне душу! Я чувствую себя совсем разбитой после этих страшных рассказов! Особенно это гнусное письмо.

Граф *(в неистовстве)*. У него жена в Ирландии, а он сватался за мою дочь! И на те деньги, которые я поместил в Лондонский банк, он завел бы настоящий разбойничий вертеп и еще пережил бы всех нас!.. Да и потом, одному богу известно, какие способы...

Графиня. Бедный вы мой, успокойтесь! Надо скорее позвать Флорестину: она так боялась этого брака! Пойди за ней, Сюзанна, но только ничего ей не говори.

Граф *(торжественно)*. Сюзанна! То, что я сказал Фигаро, в равной мере относится к вам.

Сюзанна. Сударь! Графиня в течение двадцати лет плакала и молилась на моих глазах, и чтобы еще я стала ее огорчать, я, которая столько за нее перестрадала,— это вещь невозможная! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Граф, графиня, Леон.

Граф *(пылко)*. О Розина! Осушите слезы! И да будет проклят тот, кто причинит вам зло!

Графиня. Сын мой! Обними колени великодушного своего покровителя и поблагодари его за твою мать.

Леон хочет стать на колени.

Граф *(поднимает его)*. Забудем прошлое, Леон. Умолчим о нем и не будем больше волновать вашу матушку. Фигаро говорит, что ей нужен полный покой. А главное, пощадим молодость Флорестины и тщательно скроем от нее, чем вызвано это происшествие.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, Флорестина и Сюзанна.

Флорестина *(вбегает)*. Боже мой! Мама! Что у вас такое?

Графиня. Ничего, кроме приятных для тебя новостей,— твой крестный сейчас их тебе сообщит.

Граф. Ах, Флорестина! Я трепещу при одной мысли о том, какой опасности я чуть было не подверг твою молодость! Но господь все тайное делает явным, и, хвала ему, ты не выйдешь замуж за Бежарса! Нет, ты не будешь женою величайшего негодяя...

Флорестина. Силы небесные! Леон!..

Леон. Сестра! Он всех нас провел!

Флорестина *(графу)*. Я — сестра Леона?

Граф. Бежарс нас обманывал. Обманывал одних при посредстве других, и ты являлась целью его гнусных козней. Я выгоню его из дома.

Графиня. Твой инстинктивный страх оказался мудрее нашей опытности. Возблагодари же бога, милое дитя, за то, что он избавил тебя от такой опасности.

Леон. Сестра! Он всех нас провел!

Флорестина *(графу)*. Почему он называет меня сестрой?

Графиня *(восторженно)*. Да, Флореста, ты нам родная. Это наша драгоценная тайна. Вот твой отец, вот твой брат, а я навеки твоя мать. Смотри же, не забывай этого никогда! *(Протягивает руку графу.)* Альмавива! Ведь правда же, она — *моя дочь?*

Граф *(восторженно)*. А он — *мой сын.* Оба они — наши дети.

Все поочередно заключают друг друга в объятия.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же Фигаро и г-н Фаль, нотариус.

Фигаро *(вбегает и сбрасывает плащ)*. Проклятье! Деньги у него. Злодей вышел с ними от господина Фаля, как раз когда я к нему входил.

Граф. Ах, господин Фаль, вы поторопились!

Г-н Фаль *(живо)*. Нет, сударь, напротив. Он пробыл у меня больше часа, потребовал, чтобы я при нем составил брачный договор и включил в него пункт об его даре. Затем вручил мне мою расписку — там, внизу, ведь и вы расписались,— и сказал, что это его деньги, что он получил их в наследство, что он давал их вам на хранение...

Граф. А, злодей! Ничего не забыл!

Фигаро. Сколько еще впереди волнений!

Г-н Фаль. После того как он мне это объяснил, как же я мог не выдать денег? Это векселя на предъявителя. Если вы расторгнете брачный договор, а он пожелает оставить деньги у себя, то тут почти ничего нельзя будет сделать.

Граф *(горячо)*. Да погибнет все золото мира, лишь бы мне избавиться от Бежарса!

Фигаро *(бросает шляпу на кресло)*. Пусть меня повесят, если у него останется хоть один обол! *(Сюзанне.)* Пойди покарауль, Сюзанна.

Сюзанна уходит.

Г-н Фаль. Вы могли бы заставить его признаться в присутствии надежных свидетелей, что он получил эту сумму от графа? В противном случае вряд ли вам удастся отобрать у него деньги.

Фигаро. Если он узнает от своего немца, что́ здесь происходит, мы только его и видели.

Граф *(живо)*. Тем лучше! Этого мне и надо. А деньги пусть берет себе.

Фигаро *(живо)*. В порыве досады оставить ему наследство ваших детей? Это не доблесть, это слабость.

Леон *(сердито)*. Фигаро!

Фигаро *(решительно)*. Я на этом не помирюсь. *(Графу.)* Какой же награды может ожидать от вас преданность, если вы так оплачиваете вероломство?

Граф *(в сердцах)*. Предпринять попытку с негодными средствами,— значит, дать ему возможность торжествовать...

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Сюзанна.

Сюзанна *(в дверях, кричит)*. Господин Бежарс идет! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, кроме Сюзанны.

Все крайне взволнованны.

Граф *(вне себя)*. А, злодей!

Фигаро *(очень быстро)*. Совещаться некогда, но если вы меня послушаетесь и вслед за мной будете делать вид, что ровно ничего не произошло, то я головой ручаюсь за успех.

Г-н Фаль. Вы заведете с ним разговор о деньгах и о брачном договоре?

Фигаро *(очень быстро)*. Нет, он слишком хорошо знает все тонкости,— так, с налета, его не возьмешь. Нужно начать издалека, с тем чтобы в конце концов он добровольно признался. *(Графу.)* Как будто бы вы хотите выгнать меня.

Граф *(растерянно)*. Но... но... за что?

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, Сюзанна и Бежарс.

Сюзанна *(вбегает)*. Господин Бежа-а-а-а-а-арс! *(Становится подле графини.)*

Бежарс выражает крайнее изумление.

Фигаро *(при виде его восклицает)*. Господин Бежарс! *(Смиренно.)* Что ж, одним унижением больше. Так как вы обещаете меня простить, если я раскаюсь в моих проступках, то я надеюсь, что и господин Бежарс будет столь же великодушен.

Бежарс *(с удивлением)*. Что случилось? Для чего вы все здесь собрались?

Граф *(резко)*. Для того, чтобы изгнать недостойное существо.

Бежарс *(увидев нотариуса, с возрастающим удивлением)*. И господин Фаль!

Г-н Фаль *(показывает ему брачный договор)*. Вы видите, мы времени не теряем,— здесь всё и вся идет вам навстречу.

Бежарс *(изумлен)*. О! О!..

Граф *(к Фигаро, в нетерпении)*. Что же вы? Мне это надоело.

В продолжение этой сцены Бежарс весьма внимательно следит за ними обоими.

Фигаро *(с умоляющим видом обращается к графу)*. Я вижу, что притворяться бесполезно, а потому пора окончить

горестные мои признания. Да, я еще раз вынужден со стыдом повторить, что, дабы повредить господину Бежарсу, я за ним подсматривал, выслеживал его и мешал ему во всем. Вы, сударь, и не думали звонить, когда я к вам вошел, а вошел я только для того, чтобы узнать, зачем вам принесли ларец с драгоценностями графини, и увидел, что потайное его отделение открыто.

Бежарс. Да, да, к великому моему огорчению, оно открылось!

Граф *(делает нетерпеливый жест; про себя)*. Вот наглость!

Фигаро *(дергает графа за камзол)*. Ни слова более!

Г-н Фаль *(в испуге)*. Сударь!

Бежарс *(графу, тихо)*. Сдержите себя, иначе мы ничего не узнаем.

Граф топает ногой; Бежарс испытующе на него смотрит.

Фигаро *(вздохнув, обращается к графу)*. По той же самой причине, зная, что графиня заперлась с господином Бежарсом для того, чтобы сжечь некоторые, сколько мне было известно, важные бумаги, я неожиданно привел вас.

Бежарс *(графу)*. А что я вам говорил?

Граф в бешенстве кусает платок.

Сюзанна *(подходит сзади к Фигаро; тихо)*. Скорей, скорей!

Фигаро. Наконец, я должен сознаться вот в чем: видя, что вас не поссорить, я сделал все возможное и невозможное для того, чтобы вызвать между графиней и вами бурное объяснение... однако оно окончилось не так, как я ожидал...

Граф *(к Фигаро, гневно)*. Скоро вы прекратите свои оправдания?

Фигаро *(весьма смиренно)*. Увы, мне больше нечего сказать, так как именно после этого объяснения последовал вызов господина Фаля с целью закончить составление брачного договора здесь. Счастливая звезда господина Бежарса восторжествовала над всеми моими ухищрениями... Мой господин! В уважение к тридцатилетней моей...

Граф *(с раздражением)*. Я тут не судья. *(Быстро ходит по комнате.)*

Фигаро. Господин Бежарс!

Бежарс *(к которому вернулась его самоуверенность, насмешливо)*. Кто? Я? Милый друг! Я и не подозревал, что стольким обязан вам! *(Повышенным тоном.)* Итак, счастье мое ускорено преступными усилиями, направленными к тому, чтобы у меня его похитить! *(Леону и Флорестине.)* О молодые люди!

Какой урок! Пойдем же с чистою душою по стезе добродетели. Вы сами видите, что интрига рано или поздно губит того, кто ее начал.

Фигаро. О да!

Бежарс *(графу)*. Граф! Простите его на этот раз, и пусть он отправляется!

Граф *(Бежарсу, сурово)*. Таков ваш приговор?.. Я под ним подписываюсь.

Фигаро *(горячо)*. Я вам очень благодарен, господин Бежарс! Но я вижу, что господин Фаль спешит покончить с договором...

Граф *(резко)*. Мне известны все пункты.

Г-н Фаль. Кроме одного. Я вам сейчас прочту, какой дар господин Бежарс... *(Ищет соответствующее место.)* М-м-м... «Мессир Джемс Оноре Бежарс...» Ага! *(Читает.)* «А чтобы у будущей его супруги было явное доказательство его привязанности к ней, вышеупомянутый будущий ее супруг передает в ее полную собственность все свое большое состояние, исчисляющееся на сей день *(с расстановкой)*, согласно его заявлению, в три миллиона золотом в векселях на предъявителя, каковые векселя он нам, нижеподписавшимся нотариусам, представил и каковые к договору сему прилагаются». *(Читая, протягивает руку.)*

Бежарс. Они здесь, в бумажнике. *(Передает бумажник г-ну Фалю.)* Не хватает только двух тысяч луидоров — я их взял на свадебные расходы.

Фигаро *(поспешно, указывая на графа)*. Граф решил все расходы взять на себя — я получил от него такое распоряжение.

Бежарс *(достает из кармана векселя и вручает их нотариусу)*. В таком случае включите их. Пусть будет налицо весь дар!

Фигаро отворачивается и, чтобы не расхохотаться, закрывает рукою рот. Г-н Фаль открывает бумажник и прячет векселя.

Г-н Фаль *(указывая на Фигаро)*. Мы покончим с договором, а тем временем господин Фигаро все подсчитает. *(Протягивает раскрытый бумажник Фигаро.)*

Фигаро *(глядя на векселя, в восторге)*. Я вижу, что чистосердечное раскаяние ничем не отличается от любого хорошего поступка: оно тоже приносит награду.

Бежарс. Что такое?

Фигаро. Мне отрадно удостовериться, что среди нас находится не один великодушный человек. Да хранит господь

двух таких примерных друзей! Нам ничего не нужно писать. *(Графу.)* Это ваши векселя на предъявителя. Да, сударь, я их узнал. Между господином Бежарсом и вами идет поединок великодушия: один дарит свое состояние жениху, а жених дарит его своей нареченной! *(Молодым людям.)* Сударь, сударыня! Смотрите, какой щедрый покровитель! Вы будете боготворить его!.. Но, кажется, я что-то не то сказал? Уж не допустил ли я от восторга обидной нескромности?

Все молчат.

Бежарс *(слегка озадачен, затем, оправившись от смущения, решительно)*. Ваша нескромность ни для кого не может быть обидна, если только мой друг не выступит с опровержением и если он ради моего удовольствия разрешит мне признать, что я действительно получил эти векселя от него. У кого доброе сердце, того благодарность не тяготит, и вот, после того как я сделал это признание, я чувствую себя вполне удовлетворенным. *(Указывая на графа.)* Ему я обязан счастьем и богатством, и, деля их с его глубокоуважаемой дочерью, я лишь возвращаю то, что принадлежит ему по праву. Дайте мне бумажник, я хочу только иметь честь положить его к ее ногам при подписании нашего счастливого брачного договора. *(Хочет взять бумажник.)*

Фигаро *(прыгая от радости)*. Господа! Вы слышали? В случае надобности вы будете свидетелями. Мой господин! Вот ваши векселя, отдайте их бывшему их держателю, если сердце ваше считает его достойным. *(Вручает графу бумажник.)*

Граф *(встает; Бежарсу)*. Боже милостивый! Отдать их ему! Жестокий человек, покиньте мой дом! Не так страшен самый ад, как страшны вы. Благодаря моему доброму старому слуге ошибка моя исправлена. Уходите отсюда немедленно!

Бежарс. О друг мой! Вы снова обмануты!

Граф *(вне себя, подносит к его глазам письмо)*. А это письмо, чудовище? Я и ему не должен верить?

Бежарс *(увидев письмо, с яростью выхватывает его у графа, и тут он уже срывает с себя маску)*. А!.. Меня провели! Ну уж этого я не спущу!

Леон. Оставьте в покое нашу семью, вы и так слишком много причинили нам зла.

Бежарс *(в бешенстве)*. А, шалый юнец! Ты мне заплатишь за все, я тебя вызываю на дуэль!

Леон *(быстро)*. Я готов.

Граф *(быстро)*. Леон!

Графиня *(быстро)*. Сын мой!

Флорестина *(быстро)*. Мой брат!

Граф. Леон! Я запрещаю вам... *(Бежарсу.)* Вы недостойны той чести, которой вы требуете: не так должны кончать свою жизнь люди, подобные вам.

Бежарс молча выражает свое бешенство.

Фигаро *(удерживает Леона; живо)*. Нет, молодой человек, ни шагу дальше. Ваш батюшка прав. К тому же общество по-иному смотрит теперь на этот отвратительный вид помешательства: отныне во Франции будут сражаться только с врагами отечества. Пусть он себе беснуется. Вот если он осмелится на вас напасть, тогда и защищайтесь, как от убийцы. Убить бешеное животное где угодно считается делом полезным. Но он не посмеет: человек, способный на такие низости, уж верно, так же труслив, как и подл!

Бежарс *(не помня себя)*. Негодяй!

Граф *(топает ногой)*. Оставите вы нас наконец? Пытка на вас смотреть!

Графиня испугана; Флорестина и Сюзанна ее поддерживают; Леон подходит им помочь.

Бежарс *(стиснув зубы)*. Хорошо, черт возьми, я от вас уйду, но у меня в руках доказательство вашей черной измены! Вы просили разрешения его величества на обмен ваших испанских владений только для того, чтобы безнаказанно возбуждать недовольство по ту сторону Пиренеев.

Граф. Чудовище! Что он сказал?

Бежарс. Я донесу об этом в Мадрид. Я добьюсь конфискации всего вашего имущества хотя бы на том основании, что в кабинете у вас находится бюст Вашингтона.

Фигаро *(кричит)*. Еще бы! Ведь доносчику — треть!

Бежарс. А чтобы вы не успели обменять владения, я поспешу к испанскому послу и попрошу его задержать грамоту его величества, которую должен привезти дипломатический курьер.

Фигаро *(вынимая из кармана пакет)*. Королевскую грамоту? Вот она! Я предвидел удар. В секретариате посольства я только что получил на ваше имя пакет. Курьер из Испании уже прибыл!

Граф поспешно берет пакет.

Бежарс *(в бешенстве ударяет себя по лбу, затем направляется к выходу и, сделав несколько шагов, оборачивается)*.

Прощай, безнравственное и бесчестное семейство! Сейчас вы без зазрения совести заключите омерзительный брачный союз между братом и сестрою, но ваша низость станет всеобщим достоянием! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, кроме Бежарса.

Фигаро *(обезумев от радости)*. Пусть строчит доносы — это последнее средство, к которому прибегают подлецы! Теперь он уже не опасен: он окончательно разоблачен, положение у него безвыходное, ни впереди, ни позади у него ничего нет! Ах, господин Фаль, я бы закололся, если бы у него остались те две тысячи, которые он вытащил из кармана! *(Вновь принимает серьезный тон.)* Впрочем, он знает лучше, чем кто-либо, что и по рождению и по закону этих молодых людей нельзя считать родственниками, что они друг другу чужие.

Граф *(обнимает его)*. О Фигаро!.. Графиня! Он прав!

Леон *(торопливо)*. Боже! Магушка! Значит, есть падежда!

Флорестина *(графу)*. Как? Разве вы не...

Граф *(в полном восторге)*. Мы к этому еще вернемся, дети мои, и, сохраняя инкогнито, посоветуемся с надежными, образованными и безукоризненно честными юристами. Да, дети мои, в определенном возрасте порядочные люди прощают друг другу ошибки и прежние слабости, бурные же страсти, которые проводили между ними резкую грань, уступают место нежной привязанности. Розина,— ваш супруг снова будет так называть вас,— пойдемте, отдохнем от треволнений нынешнего дня. Господин Фаль! Оставайтесь с нами. Дети мои! Пойдемте! Сюзанна! Поцелуй своего мужа! И пусть у нас никогда больше не будет поводов для ссор! *(К Фигаро.)* Ты получишь от меня особую, вполне тобой заслуженную награду, а пока что я дарю тебе те две тысячи, которые Бежарс взял из общей суммы.

Фигаро *(живо)*. Мне, сударь? Нет, пожалуйста, не надо. Чтобы я стал портить презренным металлом услугу, оказанную от чистого сердца? Умереть в вашем доме — вот моя награда. В молодости я часто заблуждался, так пусть же этот день послужит оправданием моей жизни! О моя старость! Прости мою молодость — она тобою гордится! За один день как у нас все изменилось! Нет больше деспота, наглого лицемера! Каждый честно исполнил свой долг. Не будем сетовать на несколько тревожных мгновений: изгнать из семьи негодяя — это великое счастье.

БОМАРШЕ — ЛЕКУАНТРУ, СВОЕМУ ОБВИНИТЕЛЮ. ШЕСТЬ ЭТАПОВ ДЕВЯТИ САМЫХ ТЯГОСТНЫХ МЕСЯЦЕВ МОЕЙ ЖИЗНИ

ПЕРЕВОД Л. ЗОНИНОЙ

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ДЕВЯТИ САМЫХ ТЯГОСТНЫХ МЕСЯЦЕВ МОЕЙ ЖИЗНИ

Старик *Ламот-Удар* выходил как-то вечером из *Оперы,* поддерживаемый своим слугой, и нечаянно наступил на ногу молодому человеку, который отвесил ему пощечину. *Ламот-Удар* ответил на это со сдержанностью, поразившей зрителей: *«Ах, сударь, до чего же неловко вам станет, когда вы узнаете, что я слеп!»* Наш молодой человек, в отчаянии от своей необдуманной грубости, бросился к ногам старца, попросил у него перед всеми прощения и проводил домой. С того дня он оказывал *Ламот-Удару* знаки самой почтительной дружбы.

Итак, выслушайте меня теперь, *Лекуантр.* Пока я был в Голландии, служа родине, вы, хоть я ничем вас не обидел, нанесли мне публичное оскорбление, по меньшей мере столь же чувствительное, как и то, что было нанесено *Ламот-Удару.* Я поступлю, как он; я не стану гневаться на вас за легкомыслие, надеюсь невольное, и удовольствуюсь тем, что покажу вам и всей Франции, сколь безупречно мое поведение и каков тот старец, которого вы оскорбили! Пусть Национальный конвент, выслушав обе стороны, решит, кто из нас двоих лучше выполнил свой долг: я — обелив гражданина, которого оклеветали, или вы, выразив ему свои сожаления легковерного обвинителя.

Предупреждаю вас еще об одном. С огорчением наблюдая последние четыре года, как повсеместно злоупотребляют пышными словами, подменяя ими в делах самых значительных точные доказательства и здравую логику, которые одни могут просветить судей и удовлетворить положительный ум, я сознательно отказываюсь от всяких ухищрений стиля, от всяких красот, к которым прибегают, чтобы пустить пыль в глаза, а

частенько — и обмануть. Я хочу быть простым, ясным, точным. Самими фактами я развею наветы тех, чье корыстолюбие разбилось о мое чересчур достойное поведение.

Дело это по своей сути отчасти торговое, отчасти — административное, и если я, со своей стороны, внес в него большой патриотический вклад, а все, кто меня обвиняет, забыли о патриотизме и пошли на поводу у самых низменных интересов, это покажут факты.

И не станем начинать, как то слишком часто бывает, с вынесения приговора четырнадцати министрам, которые перебрасывали меня с рук на руки в течение девяти месяцев (и подумать только, что эту муку принял я, поклявшийся никогда не связываться ни с одним министром!). Остережемся, главное, выносить наш приговор в зависимости от того, что одни из них были назначены *королем*, а другие — *Национальным собранием!* Такой подход порочен! Мы будем судить их по делам, как хотели бы мы, чтобы судили и нас. В ту пору, по конституции, обе эти власти были законными. Вынужденный иметь дело поочередно со всеми, кто был назначаем на соответственные посты, по мере того как они занимали свои должности, я мог судить не о взглядах этих людей, которыми никто из них со мной не делился, но только об их поступках, которые в деле с ружьями либо способствовали общественному благу, либо наносили ему вред. Я воздам каждому по справедливости.

Вот четырнадцать министров, исполнявших свои обязанности одновременно или последовательно,— это господа *де Грав, Лакост, Дюмурье, Серван, Клавьер, Лажар, Шамбонас, Д'Абанкур, Дюбушаж, Сент-Круа;* затем вторично *Серван* и *Клавьер;* затем *Лебрен* (ах, *Лебрен!*) и, наконец, *Паш.*

Будь они все даже безупречно справедливы,— судите сами, сколь утомительно было поспевать за молниеносно сменявшимися персонажами волшебного фонаря, будучи вынужденным, подобно мне, осведомлять их, по мере появления, о вещах, уже предпринятых, но оставшихся где-то позади. *И лишь немногие из них соглашались меня хотя бы выслушать.* Судите, каково мне было, если, еще не выслушав, они уже были настроены против меня моими недоброжелателями. Отсюда наши нескончаемые споры, словопрения, свидетельствующие об их неосведомленности и беспринципности; дурацкие конфликты, пагубные для общественного блага, непрерывные несправедливости, превосходящие всё, что может снести человек, с чем должен смириться гражданин свободной страны; нетерпение и возмущение, ежеминутно выводившие меня из себя, и, в итоге, срыв

важнейшего дела по вине тех, кто в первую очередь должен был бы его поддержать! Вот та отвратительная картина, на которую я обязан пролить беспощадный свет. Преодолеем отвращение и проглотим лекарство.

Давно уже уйдя на покой и желая отдохнуть от трудов перед смертью, я отклонял все предложения, крупные и пустячные, хотя, в силу долголетней привычки, они всё еще стекались в мой бездействующий кабинет. В начале марта прошлого года я получил письмо от некоего иностранца, просившего меня, *именем моего патриотизма,* о свидании ради дела, как он утверждал, *крайне важного для Франции;* он настоял на своем, явился ко мне и сказал:

— У меня есть шестьдесят тысяч ружей, и я могу, не пройдет и полугода, добыть для вас еще двести тысяч. Мне известно, что ваша страна в них весьма нуждается.

— Объясните мне,— сказал я ему,— каким образом вы, частное лицо, можете обладать таким количеством оружия?

— Сударь,— сказал он,— во время последних волнений в Брабанте я, будучи сторонником партии императора, понес большие потери, мое достояние было сожжено; после объединения император *Леопольд* даровал мне в качестве возмещения убытков лицензию и исключительное право на закупку всего оружия брабантцев, обусловив это одним лишь требованием — вывезти его из страны, где оно внушало императору опасения. Для начала я собрал все, что было вывезено из арсеналов *Малина* и *Намюра* и продано императором одному голландскому негоцианту, который уже запродал эти ружья другим, но, поскольку они *еще не были оплачены,* согласился уступить их мне; я же приобрел их единственно с целью осуществить крупную операцию, коль скоро у меня была лицензия и на все остальное оружие, имеющееся в Брабанте. Чтобы купить эти ружья, я, не располагая достаточными средствами, решил продать часть уже имеющегося у меня оружия, положив тем самым начало обороту. Однако французские разбойники, которые взяли у меня тридцать пять — сорок тысяч ружей, меня надули; они выдали мне расписки, *но не расплатились по ним.* После долгих мытарств я все-таки вернул ружья, и мне посоветовали обратиться к вам, предложив вам самое малое двести тысяч штук, которые у меня уж имеются или будут в ближайшее время, если вы согласитесь взять всё и дадите мне тем самым возможность постепенно рассчитаться за них; одно условие: вы не должны говорить, что оружие предназначается для Франции, ибо, если об этом узнают, я

немедленно лишусь лицензии на закупку ружей и, поскольку ходят слухи о войне между Францией и императором, могу впасть в немилость и даже поплатиться жизнью, ибо всем известно, что от одного меня зависит уступить солидную часть этого оружия за хорошую цену французским эмигрантам, которые об этом просят.

Я сопротивлялся, я отказался. Уходя, он заявил, что окажет на меня давление через людей весьма уважаемых, ибо ему сказали, что я единственный человек, который может заключить оптовую сделку и у которого достанет патриотизма осуществить ее без обмана.

Три дня спустя и получил дружескую записку от министра *Нарбона*, с которым я не видался с тех пор, как он возглавил *военное министерство;* он просил меня зайти к нему, так как он должен — говорил он — что-то мне сообщить.

Догадываясь, что речь идет об этих двухстах тысячах ружей, я решительно отказался пойти в военное министерство, и так до сих пор и не знаю, шла ли речь об этих ружьях или о чем-либо другом.

Господин *де Нарбон* получил отставку; ему на смену пришел г-н *де Грав*. Мой фламандец возобновил свои настойчивые просьбы. Один из моих друзей, знавший этого брюсселька, заверил меня, что он человек порядочный, и убеждал не отвергать его предложения, тем более что, если вследствие моего отказа эта крупная партия оружия попадает в руки врагов отечества и об этом станет известно, меня сочтут весьма дурным гражданином. Этот довод меня поколебал. Друг привел ко мне брабантца, которому я сказал:

— Можете ли вы, прежде чем я приму решение, со всей искренностью обещать мне две вещи? Подтверждение, заверенное юристом, что оружие действительно принадлежит вам, и торжественное обязательство, гарантированное самой значительной денежной пеней, *что ни одно из этих ружей не будет использовано в интересах наших врагов, какую бы цену вам ни предложили?*

— Да, сударь,— ответил он тотчас,— если вы обязуетесь забрать у меня все оружие для Франции.

Я должен отдать справедливость этому человеку,— брюссельскому книготорговцу, с которым мой кельский типограф уже имел дело в связи с огромным изданием Вольтера,— он, не колеблясь, дал мне требуемые подтверждения и обязательство.

— Ну что ж! — сказал я ему,— отклоняйте все предложения, которые будут вам делать эмигранты или иные наши вра-

ги; я же, пока мне не удастся обсудить все с господином де Гравом, закрепляю ружья за собой, *не покупая их*, и обязуюсь уплатить возмещение, если какое-либо препятствие помешает сделке. Сколько вы хотите за ваше оружие?

— Если вы берете все оптом,— сказал он,— в таком виде, как я закупил, оплачиваете ремонт, расходы по хранению, погрузке, перевозке, таможенный сбор и так далее, вы получите их по пять флоринов за штуку.

— Я не хочу покупать ваши ружья оптом,— сказал я,— потому что не могу сам ни продать, ни поставить их оптом. Нам необходимо, напротив, отобрать годное оружие.

— В таком случае,— сказал он мне,— согласны ли вы заплатить за них дороже? Мне ведь нужно, чтобы те ружья, которые я продам, окупили стоимость тех, которые останутся у меня, и, сверх того, я должен получить доход со всех; я ведь много потерял, сударь.

— Я не хочу платить ни дороже, ни дешевле,— сказал я ему,— я стараюсь, насколько могу, сочетать собственный интерес с интересами тех, кто имеет со мной дело. Вот мое предложение: если я покупаю, я великодушно и без придирок покрываю все ранее сделанные расходы, должные или уже выплаченные наценки, и даже неустойки, необходимые, чтобы покончить дело с лицами, уже сделавшими вам предложения; если вы уже завязали с кем-либо отношения, я ради успеха нашей сделки возмещу все предстоящие расходы, буде такие возникнут или уже обусловлены, вне зависимости от того, носит ли договоренность гласный или тайный характер. Затем мы поделим доход на три части: две из них будут поровну распределены между нами; одна будет платой за ваши хлопоты за границей, другая — за мои труды во Франции; третья часть пойдет на авансы, протори, накладные расходы, справедливое вознаграждение тем, кому я буду обязан за содействие успеху дела, ибо лично меня гораздо больше волнует польза, которую я могу принести отечеству, нежели возможные доходы, в которых я нисколько не нуждаюсь.

Тут я показал ему проект купчей, принятый им полностью и впоследствии *нотариально оформленный* без единого изменения.

Прочтите же ее, Лекуантр, прежде чем перейти к деталям, касающимся г-на де Грава, и пусть это чтение похерит лживые наветы, что *я или мой поставщик* когда-либо помышляли передать это оружие врагам государства; и когда вы внимательно ее прочтете, мы обсудим, как положено между благород-

ными негоциантами, вопрос о том, ограбил ли я и намеревался ли я ограбить мою страну.

Теперь, Лекуантр, когда вы хорошо изучили эту купчую, не кажется ли вам несколько неожиданным, что вы обнаружили в ней не мое обязательство оплатить ружья по *шесть франков за штуку* (как *утверждали* вы, не зная дела и полагаясь на чужие слова), а, напротив, обязательства *оплатить* поставщику, или *по его доверенности, все ружья по той цене, по какой они были им приобретены, а также возместить ему все его расходы; оплатить ему, сверх того, транспортные и иные затраты; затраты по ремонту, хранению, упаковке и т. д.,* какими бы они ни оказались, при условии, однако, что, *по продаже отобранного оружия,* я смогу получить законную прибыль с оружия, *закупленного оптом,* хотя некоторая, заранее не определимая, его часть может не пойти в дело и составить потери?

Не вступает ли ваш *столь изобличительный* доклад в противоречие со следующими словами моего соглашения о покупке оружия: «Г-н *де Бомарше,* обязующийся не продавать и не уступать вышеуказанное оружие никому, кроме французского правительства, и для употребления во благо нации на дело защиты ее свободы, один имеет право заключать... и т. д.»? Таким образом, если бы я проявил злой умысел и пожелал продать это оружие кому-либо, кроме французов, каждый был бы вправе, подняв у нотариуса эту в высшей степени патриотическую купчую, назвать меня изменником родины и обречь тем самым на все мытарства, которые я претерпел за то, что показал себя, *наперекор всем* (как это будет слишком ясно из дальнейшего), почти единственным истинным патриотом в деле с этими ружьями.

И не досадуете ли вы на себя, *Лекуантр,* когда в другом параграфе читаете следующие слова, написанные мной от лица г-на *Лаэйя,* моего поставщика: «И он воспрещает себе, под угрозой полной потери своей части прибыли в этом деле, продать или поставить хотя бы одно ружье или иное оружие какой-либо иной державе, кроме как французской нации, в интересах которой г-н де Бомарше намеревается использовать всю партию оружия полностью»?

Утешьтесь, *Лекуантр,* вы причинили мне горе невольно, вас запутали, как в темном лесу.

Теперь — относительно качества оружия! «Г-н де Лаэй принимает на себя и обязуется перед г-ном де Бомарше приобре-

тать только оружие хорошего качества и пригодное для военных целей, под угрозой...» О! Под самой суровой, и т. д.

Что еще мог сделать я, французский патриот, которому в Брабант пути заказаны, как не оговорить полную потерю моим поставщиком средств, потраченных на плохо отобранное оружие?

Поверьте мне, Лекуантр, самое чистосердечное рвение может привести к досадным результатам, в особенности при исполнении столь высокочтимых обязанностей, каковыми являются ваши,— ежели не остерегаться подсказки жуликов! Милейший молодой человек *Ламот-Удара* был, как и вы, в отчаянии, что дал пощечину этому ни в чем не повинному старцу! И старец его простил.

Теперь, когда вопрос о приобретении мною оружия достаточно ясен, перейдем к моим переговорам с министром *де Гравом*.

Купчая была еще только в черновом проекте, когда я отправился к де Граву; ибо, если наш народ не нуждался в оружии, мне не к чему было хлопотать о том, чтобы добыть его в таком количестве, и, главное, не к чему было брать на себя положительные обязательства, прежде чем будет дано согласие министра; и, поскольку не подлежало сомнению, что такая огромная партия ружей может заинтересовать только либо Францию, либо ее смертельных врагов, необходимо было получить от министра точный ответ: «они мне нужны» или «они мне не нужны» — прежде чем нотариально оформлять купчую, и ответ этот необходим был в письменном виде, чтобы, в случае отказа министра, я тотчас порвал сделку, которую заключил только в наших общих интересах, а вовсе не потому, что рассчитывал перепродать оружие кому-либо другому (поступок, между. прочим, обличающий патриота, а отнюдь не своекорыстного негоцианта), чтобы, повторяю, в случае отказа министра, я мог бы доказать недоброжелателям *(а в них, как видите, нет недостатка)*, что совершил покупку из патриотического рвения, а вовсе не «приобрел это оружие с целью обогащения наших врагов в ущерб нам, чем предал свою страну, делая вид, что ей служит», как тявкали всякие шавки. Вы убедитесь, что в доказательствах моего патриотизма нет недостатка.

Господин *де Грав* (следует это отметить) принял мое предложение, как истый патриот, каким он и являлся.

— Вы спрашиваете, нужно ли нам это оружие? — сказал мне он.— Вот, почитайте, сударь; вот требования на оружие

общей стоимостью на двадцать один миллион, а мы за последний год не смогли приобрести ни одного ружья либо в силу обстоятельств, либо в результате неразберихи и недобросовестности тех, кто вел с нами переговоры; что касается вас, то, если вы даете мне обещание, я доверяю ему полностью. Но хороши ли ваши ружья?

— Я их не видал,— сказал я ему.— Я предъявил поставщику неукоснительные требования, чтобы ружья были годны к употреблению. Это отнюдь не оружие последнего образца, им ведь пользовались во время волнений в Нидерландах; поэтому оно и обойдется вам дешевле, чем новое.

— Сколько оно вам стоит? — сказал он.

— Клянусь вам, не знаю, поскольку, покупая ружья *оптом* и поставляя вам их только *после сортировки,* я должен буду определить цену не за *всю партию,* но *поштучно,* а это не легко сделать. Я внес пока только задаток. Просили за них по пять флоринов, при условии, что я возьму всю партию оптом, приняв на себя все последующие расходы. Но я не хочу брать всё, я хотел бы, напротив, чтобы доходы поставщика были исчислены в зависимости от наших и чтобы ему было выгодно поставить нам оружие наилучшего качества. Но если я настаиваю на сортировке, он просит за них дороже. Вот примерные образцы, которые он мне показал; шестьдесят тысяч уже приготовлено; через три-четыре месяца после этой партии будет получено еще двести тысяч. Это не какая-нибудь темная сделка, я предлагаю вам договор о крупной торговой операции; но я предупреждаю вас, сударь, что, если мне придется иметь дело *с вашими канцеляриями,* я тут же отказываюсь. Прежде всего, оружие обойдется вам слишком дорого, так как найдутся любители погреть руки на этом деле, и мы утонем в кляузах.

— Хорошо! — сказал мне г-н де Грав,— остается решить только вопрос о цене. Я дам по двадцать два ливра в ассигнациях за штуку.

— Сударь,— ответил я ему,— забудьте об ассигнациях, иначе мы не договоримся. Если бы речь шла о французском товаре, то, поскольку ассигнации имеют в стране принудительный курс, мы знали бы, с чем имеем дело; но расплатиться в Голландии за ружья в этой валюте невозможно, там нужны флорины. Нельзя будет даже установить курс флорина в ваших ассигнациях, поскольку я должен буду платить за ружья только через два или три месяца после их доставки, а ни вы, ни я не можем себе представить, какова будет тогда стоимость ас-

сигнации, которая уже сейчас на тридцать пять процентов ниже стоимости наших экю, да еще мы теряем при обмене экю на флорины; совершенно неизвестно,— сказал я,— насколько упадут ассигнации по отношению к флорину в тот день, когда вы будете рассчитываться со мной за ружья. Не захотите же вы, если через три месяца ассигнации упадут в цене на девяносто процентов, заплатить мне сорок тысяч луидоров, которые на самом деле будут стоить сорок тысяч франков.

— Нет, разумеется,— сказал мне он.

— В таком случае, сударь, прошу вас, оставим в покое ассигнации и заключим сделку во флоринах; и поскольку я отлично знаю, что, в конечном итоге, вы не сможете мне предложить ничего, кроме ассигнаций, пусть будет установлено, что я обязан принять их в уплату, исходя из курса по отношению к флорину на тот день, когда вы будете со мной рассчитываться.

— Право же,— сказал мне, смеясь, г-н де Грав,— я ровным счетом ничего не понимаю во всех этих обменных курсах и флоринах.

— Я вас обучил бы,— сказал я,— но вы, должно быть, не доверяете мне, поскольку меня можно заподозрить в том, что мои интересы расходятся с вашими. Есть ли у вас какой-нибудь банкир, которому вы доверяете? Попросите его зайти к вам, я повторю свой вопрос при нем.

Министр вызвал г-на *Перго,* который и явился. Я задал в его присутствии вопрос о флоринах, точно так, как это было мною только что описано, добавив, что речь идет пока не о более или менее высокой плате за ружья, но лишь о том, как наилучшим образом осуществить расчет в определенный момент, независимо от цены, на которой мы сойдемся.

— Я хотел бы,— сказал я ему,— чтобы министр понял, что я не должен пострадать от того, понизится или повысится к моменту расчета стоимость ассигнаций: это, можно сказать, *доля дьявола* в сделке; ибо от этих потерь не выигрывает ни покупатель, ни поставщик, и груз их ложится полностью на сделку, как таковую. Совершенно ясно, что мне придется платить за границей по самому высокому курсу в полновесных банковских флоринах, стоимость которых признаётся повсюду; меж тем ассигнации, предлагаемые мне министром, имеют за границей лишь фиктивную ценность, подвластную всем переменам буйных политических ветров.

Господин Перго согласился, что я был прав, требуя установления цены в твердой валюте, и решительно посоветовал

нам заключить сделку, на какой бы мы сумме ни сошлись. Когда он ушел, министр сказал мне, что не может взять на себя подобное отклонение от установленных правил, *однако обсудит его с Комитетом по военным делам Национального собрания.*

— В таком случае, сударь, я предлагаю вам два возможных решения: либо я назначаю точную цену во флоринах, выплачиваемую мне по курсу ассигнаций, либо, если вы предпочитаете, возьмите на себя весь риск, все расходы, которые могут возникнуть в будущем, наряду с теми, по которым я произведу расчет сейчас. Дайте должным образом заработать, в соответствии с его требованиями, моему поставщику; и дайте мне тоже приличные комиссионные; выбор я предоставляю полностью на ваше усмотрение [1].

Он отправился консультироваться в Комитет по военным делам. (Итак, консультации с комитетами по поводу этого оружия уже начались. Ни одна из перипетий этого серьезного дела не обойдется без такого рода консультаций.) Затем он послал за мной, чтобы сказать, что *Комитет считает скорее возможным* накинуть цену на ружья, чем взять на себя вероятные расходы в будущем или рассчитываться со мной во флоринах; что, в конечном итоге, *он может вести переговоры только в ассигнациях.*

— Прекрасно, сударь,— сказал я ему,— в добрый час, *в ассигнациях так в ассигнациях;* но установим, по крайней мере, их твердую стоимость по сегодняшнему курсу; только так мы можем знать, что́ делаем; иначе вы заставите меня, продавая вам эти ружья, впутаться в *чудовищную авантюру,* и один бог ведает, до какой степени вздуется цена этих ружей при подобном риске и неопределенности дня оплаты: учтите при этом разницу, возникающую от того, что я *вынужден покупать* шестьдесят тысяч ружей *оптом,* а продавать их вам *после сортировки,* не зная заранее, сколько придется выкинуть. Я не могу, сударь, подвергать себя одновременно стольким случайностям и возможностям потерь, если цена, которую вы дадите, не покроет полностью разного рода риск, не поддающийся заранее оценке. Я предложил вам взять риск на себя, сам же готов был удовлетвориться комиссионными, куда вошел бы и заработок моего поставщика; но вам угодно рассчитываться только на свой манер. Давайте поищем еще какую-нибудь форму.

---

[1] Я передал министру секретную памятную записку для представления комитетам. Я покажу ее г-ну Лекуантру.

Позавчера вы подняли продажную цену ваших новых ружей с двадцати четырех ливров *в экю,* как она была установлена, до двадцати шести ливров серебром, чтобы ничего не терять на них. Установим справедливое соотношение между новыми ружьями и моими, хотя, как мне говорили, часть их выпущена прекрасным Кулембургским заводом, и это совершенно новые ружья, которые стоят не меньше, чем ваше лучшее оружие.

Министр, разумеется, *проконсультировался в Комитете,* несколько раз вызывал меня и наконец предложил мне тридцать ливров в ассигнациях, на мой риск. Пересчитав на флорины, я увидел, что по существующему курсу это составляет восемь флоринов восемь су за ружье. Если бы эта цена оставалась твердой, то при том, что стоимость ружья с учетом всех расходов, которые мне предстояло покрыть, и всех случайностей, которые можно было предвидеть, а также приняв во внимание перевозку во Францию, составила бы в итоге от шести до шести с половиной флоринов, такая расценка, когда бы ни был произведен расчет, обеспечивала прибыль моему человеку и покрывала мой риск; короче, это была бы честная сделка. Но от меня добивались, чтобы я принял в уплату ассигнации по твердому курсу, без учета возможности их падения ко дню, когда мне заплатят; к чему мне было так рисковать и затевать столь крупную игру? Поэтому я удалился, сказав министру, что беру свое слово назад и изложу письменно историю наших переговоров, которую просил бы его любезно завизировать, дабы на все времена было подтверждено, что наша Франция упустила, а наши враги приобрели такую огромную партию оружия отнюдь не по недостатку у меня патриотизма.

— Я тем более удручен этим,— сказал я ему,— что крах нашей сделки повлечет за собой не только *абсолютную,* но также и *относительную* потерю; ибо эти ружья, сударь, не могут не быть проданы, и если они достаются не вам и я расторгаю купчую — а я ее расторгну,— мой поставщик вынужден вступить в переговоры с нашими врагами; он ведь купил, чтобы перепродать. Следственно, для нас это *на шестьдесят тысяч ружей меньше,* а для них — *на шестьдесят тысяч больше;* мы теряем таким образом сто двадцать тысяч солдатских ружей, не считая тех, которые мне обещаны; об этом стоит задуматься.

Я вернулся к министру с памятной запиской, излагавшей историю наших переговоров, но он отказался ее завизировать, сказав, что, если я опасаюсь народа только потому, что меня

могут заподозрить в нерадивом отношении к получению для нас этих ружей,— есть куда больше оснований придраться к нему за то, что он упустил партию оружия, имеющую столь важное значение; он, однако, был настолько порядочен, что спросил, не препятствует ли нашему соглашению еще что-либо, кроме упомянутой причины.

— Сударь,— сказал я ему,— если бы мы пришли к соглашению, я был бы вынужден взять в долг около пятисот тысяч франков в ассигнациях, получив таким образом меньше ста тысяч экю во флоринах, которые мне еще нужны здесь; и поскольку этот займ я могу осуществить, только дав в обеспечение мои облигации «тридцати женевских голов», одна лишь регистрация этой двойной экспроприации (поскольку я хочу только заложить их) влетит мне в тридцать тысяч франков, хотя при старом режиме эта операция обошлась бы самое большее в шестьсот ливров. К тому же, если оправдаются слухи о войне, залог, которого требует поставщик, из условия чисто торгового может превратиться в обстоятельство политическое и весьма досадное; не исключено при этом, что я не смогу воспользоваться *транзитными* льготами, распространявшимися на перевозку оружия из Брабанта в Голландию. Будучи в этом случае вынужденным избрать окольные торговые пути, я должен буду заплатить обложение на вывоз товаров местного производства, полтора флорина за штуку. И тогда не только не получу, при всех прочих равных условиях, дохода со сделки, но, напротив, окажусь в убытке.

Министр ответил мне:

— Что касается займа в пятьсот тысяч франков, передайте ваши контракты нам, и мы его вам предоставим как аванс,— правительство не станет препираться с вами о расходах.— Он был даже настолько любезен, что добавил: — Если бы я вел переговоры от своего имени, я счел бы, что вы вполне достойны получить аванс без залога; но я веду переговоры от имени нации; и поскольку она, в моем лице, берет на себя обязательства по отношению к вам, мне необходимо материальное обеспечение. Что же до слухов о войне, то все ружья будут ввезены раньше, чем эти слухи могут оправдаться; пусть господин де Лаог, раз уж он едет в Голландию для завершения операции с ружьями, приложит к этому все свое рвение и настойчивость. Он просит о военном ордене за свои заслуги в прошлом. Если он хорошо проведет это важнейшее дело, то по возвращении будет награжден; давайте покончим на цене, которую я назначил,— *на тридцати франках в ассигнациях.*

За два-три месяца их нынешняя стоимость не может претерпеть больших изменений; и *не забывайте, что мы не так уж несправедливы и очень нуждаемся в оружии.*

В чем мог я упрекнуть министра *де Грава?* Только в том, что при всей его любезности он был излишне робок. Я сдался; я надеялся, подобно ему, что не пройдет и двух месяцев, как шестьдесят тысяч ружей будут во Франции, что поспешными действиями можно упредить опасные события, уравновесить и даже уменьшить риск.

Итак, поскольку я пошел на условия, выдвинутые не мной, всякому здравомыслящему человеку ясно, что я мог выпутаться из этого дела, сократить и ослабить риск, только торопясь как на пожар, *я был в этом заинтересован.* Вот мой ответ всем безмозглым пустозвонам, которые, ничего не понимая и судя обо всем, кричат в канцеляриях и на площадях, *что я сделал все возможное, чтобы помешать доставке оружия.* О господин *Лекуантр!* Господин *Лекуантр!* По каким ужасным памятным запискам вы работали?

Мы заключили соглашение с г-ном де Гравом; но в последний момент он заявил мне, что не может его подписать, поскольку ему предложили те же шестьдесят тысяч ружей не по тридцать франков в ассигнациях, как он платит мне, а по двадцать восемь франков.

— Сударь,— сказал я ему,— я замечаю, что ваши канцелярии неплохо осведомлены; это всего лишь уловка, чтобы сорвать соглашение, но есть отличная возможность разобраться, что к чему. Вместо того чтобы порвать наше соглашение и заключить другое, из которого ничего не выйдет, поскольку ружья *после наших заключительных переговоров* безвозвратно переданы мне *нотариально оформленной купчей,* пойдите на обе сделки — на ту, что предложена вашей канцелярией, и на мою,— но обяжите поставщиков уплатить *неустойку в размере пятидесяти тысяч франков* в случае невыполнения условий договора. Вы понимаете, что один из двух поставщиков окажется не в состоянии выполнить обязательство, так как одни и те же ружья не могут быть одновременно проданы двумя поставщиками; таким образом вы выиграете одну из наших двух неустоек, или, вернее, увидите, как ваше предложение разгонит этих почтенных людей, подобно зимнему борею, сметающему сухие листья.

Министр улыбнулся и принял мое предложение. Я переписал акт, включив в него неустойку в размере пятидесяти тысяч франков, как и предлагал. Произошло именно то, что я

предвидел. При первом упоминании о неустойке моих порядочных людей в тот же день как водой смыло, а мы подписали соглашение.

Здесь я хочу обратить внимание на одно весьма важное обстоятельство, неоспоримо свидетельствующее о моей искренности и добросовестности при заключении этого соглашения. Взвесьте как следует это обстоятельство, *Лекуантр,* мой следователь! Оно даст вам ключ ко всем моим поступкам. Хотя я и получил от министра всего пятьсот тысяч франков *в ассигнациях*, я, зная, что у меня дома хранится пакет контрактов на шестьсот тысяч франков, сказал министру, подписывая наше соглашение, что оставлю у него в качестве залога не пятьсот тысяч ливров, а шестьсот: поскольку я договора порывать не собирался и все эти контракты должны были ко мне вернуться, мне было совершенно безразлично, хранится ли их у него на пять или на шесть тысяч франков.

Наш акт был подписан; но, собравшись отнести свои облигации, чтобы получить пятьсот тысяч франков, я обнаружил, что у меня нет пакета на шестьсот тысяч ливров, а есть только на семьсот пятьдесят тысяч. Поскольку я не хотел дробить его и поскольку мне, как я уже говорил, было совершенно безразлично, оставлять ли в обеспечение пятисот тысяч франков в ассигнациях денежные бумаги на пятьсот или шестьсот тысяч, я, испытывая полное доверие к порядочности министра и найдя у себя лишь пакет контрактов на семьсот пятьдесят тысяч франков, вручил его министру без всяких колебаний в обеспечение пятисот тысяч франков. Г-н *де Грав* был столь добросовестен, что сказал мне:

— Поскольку в нашем соглашении о ружьях не содержится ни требования, ни упоминания об этих лишних контрактах, то вы можете быть уверены, что найдете их здесь, если они вам понадобятся для получения новых средств, чтобы ускорить эту операцию.

— Надеюсь,— сказал я,— что в этом не будет нужды.

Я тем не менее поблагодарил его; ясно, однако, что ни мне, ни ему не приходило в голову, что мой добровольный вклад в размере двухсот пятидесяти тысяч франков, зиждущийся на доверии, а не на принуждении и сделанный мной в превышение выданного мне аванса, может быть оспорен и не выдан мне по первому требованию, в особенности если эти бумаги понадобятся для операции с ружьями. Мы увидим в свое время, какую несправедливость проявили другие министры, о которых пока не было речи, затеяв чудовищную игру, сорвавшую

операцию с ружьями, и отказав мне в моих собственных деньгах, необходимых для этого дела.

Министр иностранных дел *Дюмурье* вручил г-ну *де Лаогу* весьма важные депеши, и тот отбыл на следующий день. Я торопил его отъезд, опасаясь, как бы *канцелярии* (проведавшие о договоре, в чем я убедился по предложению, которое исходило от них и истинную цену которого мне удалось показать) не сыграли со мной злой шутки, если я упущу хотя бы одного курьера, и не послали своего, опередив меня, чтобы затруднить нашу сделку какими-нибудь кознями.

Как я, однако, ни торопил г-на де Лаога, как ни мчался он день и ночь, имея в своем бумажнике от семисот до восьмисот тысяч франков в переводных векселях, едва он, по прибытии в Брюссель, ввалился к одному моему другу и рассказал ему о не терпящей отлагательства цели своего путешествия, как к тому же другу явился видный деятель вражеской партии с вопросом, не знает ли он, *приехал ли уже некий г-н де Лаог, который должен прибыть к нему из Парижа?* Мой друг прикинулся удивленным и сказал, что не получал никакого уведомления.

— *Этот человек у нас на подозрении,*— сказал чересчур болтливый оратор,— *ему тут придется несладко.*

Тотчас после его ухода г-н де Лаог решил уехать в Роттердам, захватив с собой моего брюссельского друга, который и сообщил мне эти тревожные подробности в письме от 9 апреля, отправленном из Малина. *(Таким образом, враги уже приступили к действиям.)* Но сколь ни были проворны мои друзья, в Роттердаме они столкнулись с тем, что голландское правительство осведомлено о нашем парижском соглашении не хуже нас самих, точно так же, как и правительство Брабанта. Мне тотчас сообщили об этом. *«Браво!* — подумал я тогда,— *Честные парижские канцелярии! Ах, я был слишком прав, когда настаивал на том, чтобы держать вас в стороне».* Я ответил друзьям:

— Поторапливайтесь, спешите, как на пожар, интрига гонятся за нами по пятам.

Что же произошло? Да то, что война, вместо того чтобы разразиться не раньше чем через три-четыре месяца после заключения соглашения о ружьях, как то полагал г-н де Грав, была объявлена *20 апреля,* то есть через семнадцать дней после его подписания. *И тут начались трудности.*

Что произошло еще? Да то, что брюссельское правительство, зная, что эти ружья принадлежат такому ревностному

патриоту, как я, призвало голландское правительство ставить, если возможно, всяческие препоны передаче оружия в другие руки и его вывозу; вы увидите сейчас, как лихо взялись за это голландцы.

Что произошло еще? Да то, что мой бедный брюссельский поставщик потерял лицензию, данную ему императором на все остальные брабантские ружья; у него отняли даже уже собранную им партию в семь или восемь тысяч, и он написал мне с горечью, что весь доход, который он рассчитывал получить с двухсот тысяч ружей *(только потому, что он вступил в соглашение со мной,* то есть отдал ружья Франции), сведется к тому, что́ окажется возможным извлечь из шестидесяти тысяч, коих я являюсь обладателем. Тут я увидел, как он сожалеет, что согласился по моему требованию на *сортировку оружия,* вместо того чтобы продать мне ружья *оптом.* Я, как мог, утешил его, побранив и указав ему, что все это только лишний довод, чтобы любым способом ускорить доставку ружей во Францию, поскольку каждый день промедления увеличивает опасность потери на ассигнациях, не говоря уж о процентах, которые накапливаются на столь значительных денежных суммах. Какая была мне выгода оттягивать операцию? Я полагаю, мне дозволено задать такой вопрос моему изобличителю. Пусть ответит на него, если может!

Отсюда начинаются сцены препятствий, которые пришлось преодолевать в Голландии и которые привели к ужасным сценам *в Париже,* кои я извлеку из мрака, дабы устрашить ими французов! Но подытожим прежде всего вышесказанное.

Доказал ли я, по мнению моих читателей, что купил это оружие вовсе не для того, *чтобы перепродать его нашим врагам и попытаться отнять его у Франции,* но, напротив, с самого начала вступил в неукоснительное соглашение, которым это оружие безраздельно закреплялось за Францией, обусловив, что на моего поставщика будет наложена самая суровая пеня, если он продаст на сторону хотя бы одно ружье, хотя многие из них и не годились к употреблению?

Доказал ли я, что не только не пытался снабдить Францию *ружьями плохого качества,* хотя и был вынужден выбирать их из единственной партии, бывшей в моем распоряжении, но, напротив, предусмотрел в соглашениях о купле и перепродаже *сортировку,* из-за чего, как ясно из вышеизложенного, поставщик повысил на них цену, поскольку, купив их оптом, он с полным основанием желал и продать их таким же

образом? Таков дух этой сделки, чего невежды не пожелали даже принять во внимание!

Доказал ли я, наконец, что министр де Грав, с его преувеличенной боязнью взять на себя ответственность, *так долго консультировался перед тем, как заключить со мной соглашение, с Комитетом по военным делам Законодательного собрания,* что затянул подписание до момента, когда цена на новые ружья, заказанные во Франции или Германии, была им самим повышена с двадцати четырех до двадцати шести ливров, в силу чего он обязан был платить мне *по меньшей мере сорок два ливра в ассигнациях за штуку;* что этот министр, говорю я, не мог и не должен был мне предлагать, не совершив несправедливости, меньше чем по восемь флоринов *(семнадцать франков)* за мои ружья, коль скоро я доказал ему, что Франция еще никогда не приобретала годного оружия по столь низкой цене, ибо сто пятьдесят тысяч ружей, заказанных в Англии, стоили нам (на месте) по тридцать шиллингов золотом штука, что составляет с учетом потерь при обмене *от шестидесяти до семидесяти двух ливров в ассигнациях за штуку,* а ружья, купленные в той же стране по случаю обходились нам тогда по двадцать шиллингов золотом или, в пересчете на ассигнации, от *сорока двух до сорока восьми ливров за штуку* (сейчас мы платим за них двадцать шесть шиллингов, или *от шестидесяти до шестидесяти четырех ливров ассигнациями за штуку)*; коль скоро я доказал ему также, что наряду с опасностью, связанной с сортировкой, которая ставит нас в зависимость от прихоти и большей или меньшей добросовестности того, кто ее осуществляет (опасность потерь, не поддающихся предварительному учету, которая грозит всякому оптовому покупателю), мы еще рискуем оказаться в таком положении, когда, будучи вынуждены вызволять это оружие из Голландии окольными торговыми путями и платить полтора флорина таможенной пошлины за ружье, я и мой поставщик понесем новые потери; не говоря уж о том, что есть все основания опасаться, буде даже ничего подобного не случится, что в силу одного только падения ассигнаций, из-за невыгодного для нас повышения валютных курсов, вся эта сделка *в целом* окажется для нас разорительной игрой; и все потому только, что мы уступили министру!

Ну вот! Именно так все и случилось. Слышите ли вы меня, Лекуантр? Да. Именно так все и случилось. Не засоряйте свой ум чепухой в угоду гнусным негодяям! И если вы наконец слышите меня, забудем оба, что вы меня изобличали, оскорб-

ляли, поносили. Ответьте на мой вопрос, как настоящий негоциант, если вы таковым являетесь!

1. Разве я плохо послужил родине, заключив договор на покупку шестидесяти тысяч ружей, покупку *вынужденно* оптовую,— *«вынужденно»,* вы слышите! (поскольку, не возьми я все ружья, Франция не получила бы ни одного),— заключив эту сделку, рискованную *именно потому, что она была оптовой,* и к тому же с самого начала отказавшись от свободного выбора покупателей, взаимная конкуренция которых позволяла рассчитывать на больший доход (но гражданские чувства этому воспрепятствовали)?

2. Разве я плохо послужил родине, взяв на себя обязательство *отобрать поштучно ружья,* купленные оптом, и тем самым подвергнув себя возможности потерь, заранее не поддающихся учету?

3. Разве я плохо послужил родине, согласившись получить в оплату за отсортированную партию оружия *нетвердые* ценности в *не установленный точно* срок, хотя, проявив столь странную уступчивость, я тем самым подверг себя опасности получить в один прекрасный день *за флорины, выплаченные мною по самому высокому курсу,* ассигнации, валютный курс которых, в силу любого поворота событий или волнений в Париже, может упасть к моменту, когда я их получу, на девяносто процентов *(сейчас он упал в Англии на пятьдесят два процента)?*

4. Разве я плохо послужил родине, пойдя сверх того на риск, что мне не повезет и что, лишившись возможности воспользоваться преимуществами транзита, я буду вынужден, как я уже говорил, вывезти это оружие из Голландии окольными торговыми путями, заплатив в этом случае по *полтора флорина пошлины на ружье, независимо, годное или негодное,* как на товар местного производства, хотя в действительности эти ружья были в Голландию ввезены? Могли ли бы вы, Лекуантр, человек, как говорят, справедливый и к суду которого я взываю, высчитать, по какой цене *за штуку* следовало бы продать эти ружья, чтобы наверняка не потерпеть на них убытка? Вот что вам надлежало проверить и выяснить, прежде чем обвинять и оскорблять достойного гражданина, который старался на благо родины!

И разве можете вы сказать, что мы ограбили Францию, ежели в обстоятельствах, столь чреватых риском, *министр, Комитет и негоциант-патриот* принимают свидетельствующее об умеренности решение — установить на мои ружья цену в сем-

надцать ливров при том, что за новые немецкие или французские ружья платили по двадцать шесть франков, и при том, что значительную часть моей партии оружия составляли также *совершенно новые* ружья Кулембургского завода, которых вам сейчас не получить и по *шесть крон или тридцать шесть франков* за штуку в *полноценных экю и за наличный расчет?!*

После того, в особенности, как вы заплатили,— я уже упоминал об этом,— по тридцать шиллингов золотом, или по *семьдесят два ливра ассигнациями,* штука за все те *новые ружья,* которые оказалось возможным получить от английских оружейников; а впоследствии не чинили никаких препятствий для уплаты сначала по двадцать шиллингов чистым золотом, или по сорок восемь ливров ассигнациями, за старые ружья, извлеченные из недр Лондонской башни, и теперь платите за них по двадцать шесть шиллингов, или по шестьдесят ливров ассигнациями; не приложима ли к вам старая поговорка: dat veniam corvis! [1]

И если всякие Константини, Массоны, Сан... и прочие любимцы наших *граждан министров* всучают вам ружья, совершенно негодные к употреблению, по цене (но не будем забегать вперед, всему свое время... повторим лишь в их адрес dat veniam corvis)... дают ли мои ружья, проданные после сортировки по цене семнадцать франков, или тридцать ливров ассигнациями, штука, основание считать министра — *преступником,* Комитет — *сообщником,* а поставщика — *взяточником?* Даю вам время подумать об этом, Лекуантр.

Итак, повторяю еще раз, я претерпел все потери, *вероятность которых мог предвидеть;* и вот уже более девяти нескончаемых месяцев мои несчастные средства вложены в это дело, а я страдаю, как мученик!

Следовательно, вы не изобличили меня, господин Лекуантр, в *предполагаемом намерении закупить оружие с целью отнять его у Франции и снабдить им ее врагов?* Вы оказались бы человеком слишком несправедливым, если бы осмелились выдвинуть подобное обвинение! Противное доказано столь очевидно!

Вы, разумеется, не изобличили меня также в *воображаемом замысле поставить Франции сомнительное оружие (подобно упомянутым мной молодчикам);* предосторожности, принятые мною, дабы обеспечить противоположное, сделали бы подобное обвинение чудовищным, а вы ведь порядочный человек.

---

[1] «Во́ронам милостив суд, [но он угнетает голубок]» *(лат.).*

Вы, конечно, не изобличили меня также и в том, что я *продал эти ружья по слишком дорогой цене или намеревался нажиться, ибо я уступил их, вопреки своему желанию, по восемь флоринов за штуку, несмотря на весь риск и вероятность потерь!* Вы погрешили бы против собственного разума, ибо, изобличая меня, вы не хуже меня самого знали все то, что я сейчас сообщил другим.

И все же я *обвинен,* хотя пока меня не в чем упрекнуть; но, быть может, мое поведение в дальнейшем дает основание для *обвинений?* Нам с вами надлежит это рассмотреть. И все же *я обвинен!* Я предусмотрел все случайности, но не избег ни одной из них из-за вероломства людей, более чем кто-либо обязанных поддержать меня в сем достойном предприятии!

Посмотрим, не был ли скован мой патриотизм и мое горячее рвение! Следуйте же за мной, Лекуантр, и будьте взыскательны, *ибо это вас стремлюсь я убедить.*

И пусть моя записка не блещет красноречием,— во всяком случае, она совершенно необходима, дабы показать нашим согражданам, каким опасностям подвергали бы нас повседневно злодеи, если бы отважные люди, в свою очередь, не изобличали их перед общественным мнением! Именно этим я и займусь во второй части моей записки.

ВТОРОЙ ЭТАП

Я начал эту записку предупреждением, что министров, с коими имел дело, я отнюдь не намерен судить, как человек, принадлежащий к определенной партии и слепо осуждающий все в людях, которые придерживаются иных, чем он, взглядов, и в то же время снисходительно закрывающий глаза на ошибки тех, кого он считает своими единомышленниками. Их надлежит судить по делам, как я хотел бы, чтобы судили и меня. Мы предстанем вместе — они и я — перед Национальным конвентом, более того — перед всей Францией. Не время что-либо утаивать. Тот, *кто предает родину, должен заплатить головой за действия, столь бесчестные!*

Когда я представляю себе, однако, несчетные хлопоты и страдания, о которых должен дать отчет, холодный пот покрывает мой лоб. Не слушая моего обвинителя, вы, граждане, встретили аплодисментами на скамьях оскорбительный декрет, который обрекал меня на смерть, если бы моим трусливым врагам удалось меня схватить; вы содрогнетесь от собственной

жестокости, все как один. Обвинять мы горячи! Хватит ли только у вас терпения прочесть меня? И, однако, все, друзья и враги, должны это сделать; одни — чтобы поздравить себя с тем, что сохранили ко мне уважение; другие — чтобы найти в моей записке улики против предателя и вынести мне приговор, если я виновен, если факты не оправдывают меня полностью.

Не прошло и двенадцати дней после отъезда Лаога в Голландию, когда он, испуганный трудностями, на которые натолкнулся в Зеландии после подачи первого требования, отправил курьера, не отдыхавшего ни днем, ни ночью, с депешей, сообщавшей мне, что еще до объявления войны между Францией и Австрийским императорским домом Мидльбургское адмиралтейство *(мои ружья находились в Зеландии)* сочло необходимым потребовать от меня залога в размере *трехкратной стоимости моего груза оружия,* как условия для выдачи разрешения на его погрузку в Тервере и в качестве, как нам заявили, гарантии того, что эти ружья *пойдут* в Америку и не будут использованы французской армией. Таков был ответ, полученный от адмиралтейства, на *нашу первую просьбу дать разрешение на вывоз!*

Но что за дело было Голландии до ящиков с товарами, находившихся там *транзитом* и *оплаченных по таксе?* Разумеется, голландцы не имели права ни на какую политическую инспекцию, куда бы я, *французский гражданин,* ни намеревался этот груз отправить; и поскольку Голландия была к тому же дружественной державой, это требование, нелепое, не будь оно столь гнусным, не могло быть и не было в действительности (как показали последующие события) ничем иным, как злонамеренной препоной, объяснявшейся желанием выслужиться перед Австрией, у которой было не больше прав, чем у Голландии, на это оружие, коль скоро голландский покупщик, получивший его от императора, уже *расплатился сполна наличными.* От него потребовали залога в сумме *пятидесяти тысяч немецких флоринов* в обеспечение того, что ружья пойдут в Америку. Он этот залог дал. И в случае, если он не подтверждал залоговой *распиской с пометкой о доставке* или квитанцией о *выгрузке,* что оружие туда прибыло, он отвечал этим залогом: *терял пятьдесят тысяч флоринов.* На этом кончались права императора.

Этот покупщик, *удержав свою долю прибыли,* продал оружие иностранным покупщикам, которые, не оплатив ему это оружие, перепродали его, *в свою очередь с прибылью,* моему брюссельскому книготорговцу, а он, также не оплатив, продал

его мне в надежде на хорошую прибыль; и я, которому это оружие было нужно только для того, чтобы вооружить наших граждан в Америке или любом другом месте, в зависимости от наших насущных надобностей, я, возмещая все эти надбавки на перепродажу и расплачиваясь с первым покупщиком — единственным, кто раскрыл свой кошелек,— получал те же права, что и все остальные, и *прежде всего права голландца.* И ему одному должен был я возместить внесенный залог. Он один имел право потребовать от меня такое коммерческое обязательство при сделке, поскольку он сам уже его выполнил. Но ни Голландия, ни, в еще меньшей степени, Австрия, с которой полностью рассчитались, никакого права на это оружие не имела; тем не менее последняя могла *влиять,* а первая — *угождать.* Вот как, господин Лекуантр, надлежит ставить вопрос. Его-то мы и поставим на обсуждение, а отнюдь не права, на которые якобы претендует Провен или кто-либо иной, как вы заявили в вашей изобличительной речи, где что ни слово, то *фактическая* ошибка. Что касается ошибок в умозаключениях, то я не намерен здесь заниматься педагогикой.

Этот несчастный Провен, никогда не плативший по своим векселям, не ставил и не мог ставить никаких препон вывозу нашего оружия; его бы подняли на смех! Так что он поостерегся это делать. Но вы узнáете от меня, чтó его понудили сделать в Париже *(а вовсе не в Голландии),* чтобы воспрепятствовать прибытию ружей в наши порты. Вы устыдитесь, что по своей доброте и послушливости проявили легковерие!

Прочтите прежде всего, чтобы в этом убедиться, первое прошение, поданное Лаэйем от нашего общего имени, в Мидльбургское адмиралтейство,— вы увидите, кто тут прав, кто не прав, и имеют ли к этому какое-либо касательство все те порядочные люди, о которых вы говорили!

Двадцатого апреля, получив почту, уведомлявшую меня о вероломном намерении Голландии нанести нам вред, я поспешил написать *министру иностранных дел Дюмурье* следующее письмо в форме памятной записки.

«Господину Дюмурье, министру иностранных дел.

Париж, сего 21 апреля 1792 года.

Сударь!

Почта, полученная из Гааги, вынуждает меня прибегнуть к Вашей помощи. Вот что случилось:

Я купил в Голландии от пятидесяти до шестидесяти тысяч ружей и пистолетов. Я заплатил за них; мой поставщик передает мне их в Тервере, в Зеландии, где стоят два корабля, готовых к погрузке; однако адмиралтейство намерено потребовать от меня в момент отплытия залога в сумме *тройной стоимости этого оружия,* чтобы быть уверенным, как оно заявляет, что эта партия оружия предназначается мной для Америки, а не для Европы.

Сие препятствие, учиненное французскому негоцианту дружественной Франции державой, побудило моего корреспондента срочно послать мне нарочного. *Никому лучше Вас не известно, сударь, что часть этих ружей предназначена для наших Антильских островов,* так как я уведомил об этом французскую администрацию, полагая, что это обрадует ее, поскольку избавит от необходимости посылать туда оружие из Франции; остальные ружья предназначались мною для Американского континента, который вооружается против дикарей; принимая все это во внимание, я умоляю Вас, сударь, соблаговолите написать Вашему поверенному в делах при Генеральных штатах, дабы устранить помеху, препятствующую двум кораблям отойти от причала и замораживающую значительные средства.

Голландская нация не находится с нами в отношениях, кои могли бы затруднить справедливый подход к решению вопроса о моей собственности, о котором я прошу, если только вы будете столь любезны, что поддержите меня, защищая интересы французского негоцианта, чья добросовестность общеизвестна. Вы весьма обяжете тем самым, сударь, остающегося Вашим преданным слугой и т. д.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

Дюмурье вложил в свой ответ все благорасположение давней и искренней дружбы; вот он:

«Париж, сего 21 апреля 1792 года.

Я неуловим, по меньшей мере, в той же степени, в какой Вы глухи, мой дорогой Бомарше. Но я люблю Вас слушать, в особенности, когда Вы можете рассказать что-нибудь интересное. Будьте же завтра в десять часов у меня, поскольку несчастье быть министром из нас двоих выпало мне. Обнимаю Вас.

Подпись: *Дюмурье».*

Я явился к нему на следующее утро. Когда я все объяснил, он попросил меня составить *официальную записку,* дабы обсудить ее с другими министрами. Я составил одну, потом другую, я составил пять различных записок на протяжении этого дня, так как ни одна из них, по мнению этих господ, не была написана в должной форме. Все это казалось мне весьма странным.

На следующее утро, 23 апреля, я послал министру Дюмурье пятую записку, составленную мною накануне.

Вот она:

«Париж, сего 23 апреля 1792 года.

Сударь!

Я имею честь направить Вам, уже не как человеку доброжелательному, а как министру нации и короля, возглавляющему ведомство иностранных дел, памятную записку, в пятой — со вчерашнего утра — редакции, и просить Вас, сударь, соблаговолить избавить меня от голландских притеснений, из-за которых в порту Тервер задержаны шестьдесят тысяч ружей, купленных мною и запрещенных к вывозу адмиралтейством под позорным предлогом, что я обязан внести неслыханный залог в размере тройной стоимости оружия единственно в качестве гарантии, как мне говорят, что это оружие будет отправлено в Америку.

Я весьма сожалею, что мне приходится вновь Вас беспокоить; однако, какова бы ни была форма, в которой Вы, сударь, сочтете возможным просить о справедливости по отношению к французскому негоцианту, подвергшемуся притеснениям,— желательно сообщить этой форме достаточно настойчивости, чтобы Вы могли льстить себя надеждой на снятие эмбарго; в противном случае я, частное лицо, не обладающее ни в какой мере силой, необходимой для преодоления такого рода трудностей, не смогу поставить это оружие *военному министру в срок, предусмотренный моим с ним соглашением.*

Соблаговолите также подумать, сударь, о том, что не токмо нация окажется лишенной сего оружия во времена, когда оно ей насущно необходимо, но что и я *лично вынужден буду оправдываться перед высокими инстанциями от обвинения в недобросовестности, которое не преминут выдвинуть против меня в связи с не-поставкой оружия, зависящей в действительности не от меня,* а от недоброжелательства иностранной державы, от коей лишь министр той державы, которой я имею честь быть подданным, может потребовать признания моих прав.

Я прошу, таким образом, не о личной услуге, сударь, но о справедливости, имеющей значение для Франции по двум причинам: потому, что попрано международное право, и потому, что это оружие, ей принадлежащее и несправедливо задерживаемое в Тервере, ей крайне необходимо.

С искренним уважением, сударь, преданный Вам и т. д.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

Никакого результата. Дважды в день я посещал министерство иностранных дел, а от моего дома до него не меньше мили,— министр был занят другими делами. Слова, вырванные на бегу, ничего мне не давали, и мой нарочный огорчался, что я заставляю его терять время. Из Голландии прибывали другие письма, весьма настойчивые; министр попросил меня напомнить ему обстоятельства дела. 6 мая, посылая ему новую, сугубо настоятельную записку, я приложил к ней следующее письмо:

«6 мая 1792 г. Вам лично.

Необходимо учесть три важных обстоятельства: наши внутренние недоброжелатели льстят себя надеждой, что Вам не удастся снять эмбарго с оружия. Они рассчитывают обвинить Вас в этом перед французской нацией.

1. Поскольку все зло в Голландии идет от *парижских* мародеров, чему у нас есть доказательства, важно, чтобы о предмете моих ходатайств не стало, по возможности, известно *в канцеляриях военного министерства;* это тотчас дойдет до Гааги.

2. Важно, чтобы мой нарочный выехал настолько быстро по принятии решения, чтобы об его отъезде нельзя было предупредить по почте; *канцелярии не преминут это сделать.*

3. Вы поймете уместность и справедливость содержания моей записки, если учтете, что, поскольку препятствие национального масштаба, которое не в силах устранить ни одно частное лицо, мешает мне передать Вам оружие в Гавре, я *передам* Вам его в *Тервере;* в этом случае все меры предосторожности, необходимые для его доставки, лягут на плечи самого французского правительства; я же беру на себя только устранить *с помощью горсти дукатов* препятствия, чинимые низшими чиновниками.

Macte animo [1]. Вы вчера были грустны, это удручило меня.

[1] Вознесись духом *(лат.).*

Мужайтесь, мой старый друг! Располагайте мной в интересах общественного блага. Я готов на все ради спасения отечества. Разногласия отвратительны — сущность дела прекрасна.

Подпись: *Бомарше».*

Никакого ответа. Три дня спустя, 9 мая, я, настаивая на своем, вновь посылаю господам *де Граву, Лакосту* и *Дюмурье* записку под названием «Важный и секретный вопрос, подлежащий обсуждению и решению господ министров — военного, морского флота и иностранных дел». (Вручена трем министрам 9 мая 1792 г.) Она имеется в трех архивах; я покажу вам ее, *Лекуантр;* полагаю, что она не была напечатана.

Никакого ответа, не отправлена и моя почта. Мне показалось, что деятельная доброжелательность г-на Дюмурье каким-то образом скована. Не помня себя от гнева, я четыре дня спустя, 13 мая, написал ему следующее письмо, возможно, несколько чересчур суровое, чтобы быть оглашенным в Комитете.

«Бомарше господину Дюмурье.

Сего 13 мая 1792 года.

Сударь!

Соблаговолите вспомнить, как часто Вы, я и многие другие вздыхали, с грустью глядя в Версале на бывших королевских министров, которые льстили себя надеждой, что выиграли дело, потеряв неделю; *слишком рано, слишком поздно,*— было их излюбленным ответом по всякому поводу, так как пять шестых времени, которое они должны были уделять делам, уходило у них на то, чтобы сохранить за собой место. Увы! Болезнь, именуемая «упущенное время», как мне кажется, вновь поразила наших министров. У прежних виной всему было чистое *нерадение,* у Ваших виной, разумеется, *перегруженность*; но от этого не легче.

Вот уже три месяца, сударь, как в деле, рассматриваемом как чрезвычайно важное, я спотыкаюсь о всякого рода нерешительность, которая сводит к нулю предприимчивость людей самых деятельных. По этому нескончаемому делу я *осаждаю уже третьего министра, ответственного за военное ведомство.*

Сударь, нам не хватает ружей, у нас их требуют громогласно.

В распоряжении министра шестьдесят тысяч ружей, приобретенных мною; столько золота, столько золота, вложенного

мною в дело; два корабля, простаивающие в Голландии вот уже три месяца; четыре или пять человек, пустившихся ради этого в путешествие; куча записок, поданных мною, одна за другой; тщетные просьбы о минутном свидании, чтобы доказать, сколь *ничтожны препятствия;* нарочный, который вот уже двадцать дней томится у моего очага и портит себе кровь, расстраиваясь вынужденным бездействием; и я, в котором она закипает из-за невозможности получить ответ и наконец отправить курьера; с другой стороны, грозящее мне отовсюду *обвинение в предательстве, точно я по злому умыслу задерживаю в Голландии оружие, меж тем как я горю желанием ввезти его во Францию,*— все эти расходы и противоречия наносят урон и моему состоянию, и моему здоровью.

Если бы речь шла о клиенте, который просит оказания милости, я сказал бы Вам: *пошлите его подальше!* Но ведь перед вами гражданин, исполненный рвения, который видит, как гибнет важное дело из-за того только, что на протяжении десяти дней он не может добиться пятнадцатиминутного свидания и обсудить это дело по существу с тремя министрами — военным, морского флота и иностранных дел. Перед Вами крупный негоциант, пошедший на огромные жертвы, чтобы уладить все торговые трудности, не получая при этом *никакой поддержки в преодолении трудностей политических, которые могут быть устранены только при содействии министров!*

Каково бы ни было, однако, ваше решение, господа, не следует ли мне знать его, дабы действовать в согласии с ним? И независимо от того, договорились ли вы содействовать или противодействовать успеху дела, разве могут пребывать в неопределенном положении вещи столь важные? В такие времена, как наши, чем дольше откладывается решение, тем больше накапливается помех. Я меж тем обязан оправдать в глазах всей нации мои бесплодные усилия, если не хочу увидеть свой дом в огне в самое ближайшее время. Разве наш народ внемлет голосу разума, когда бандиты горячат ему головы? Вот какая угроза висит надо мной.

Во имя моей *безопасности (а возможно, и Вашей),* назначьте мне, сударь, встречу, о которой я прошу: десять минут, употребленных с толком, могут предотвратить множество несчастий. Главное, они могут дать нашим министрам возможность удовлетворить требования на оружие, доставка которого в Гавр через четыре дня зависит только от них, *да, только от них.*

Подпись: *Карон де Бомарше».*

Господин *де Грав* получил отставку; г-н *Серван* занял его место. С одной стороны, нового министра необходимо было ввести в курс дела; с другой, в комитете министров стал уже ощущаться дух внутреннего недоброжелательства. 14-го я направил г-ну *Сервану* письмо, которое привожу ниже. Я настоятельно просил г-на *Го* вручить это письмо министру и пользуюсь случаем, чтобы удостоверить, что на протяжении всего этого дела я не мог нахвалиться чистосердечной прямотой и добросовестным отношением к своим обязанностям г-на Го. Он более не служит в министерстве, и мне нет никакой корысти выделять его среди прочих сотрудников того, что я именую канцеляриями.

«Господину Сервану, военному министру.

Сударь!

Тяжкий груз военного министерства, коий возложен на Ваши плечи Вашим патриотизмом, обрекает Вас на утомительные приставания. Я не хотел бы увеличивать собой число тех, кто Вас терзает; но настоятельная необходимость в Вашем решении по поводу задержки шестидесяти тысяч ружей, *принадлежащих Вам,* которые находятся в Зеландии и которые голландцы не выпускают из порта, где два корабля ждут уже в течение трех месяцев, заставляет меня просить Вас оказать мне честь и милость, предоставив десятиминутную аудиенцию; не нужно ни минутой больше, чтобы полностью разрешить это дело. Но то, в каком свете недоброжелательство начинает представлять его, требует от Вас самого пристального внимания.

Вот уже двадцать дней, сударь, как мое положение еще осложняется тем, что курьер, прибывший из Гааги, томится в Париже и не может уехать, поскольку нет письма, которое он мог бы повезти. Вот уже десять дней, как я тщетно добиваюсь, чтобы Вы и еще два министра меня выслушали: ибо я один могу осведомить Вас об опасности, каковую влечет за собой дальнейшее отсутствие решения по делу, *толкуемому превратно врагами государства в намерении повредить мне и министру, занимающему сейчас этот пост.* Я прошу у Вас поэтому со всей настойчивостью встревоженного гражданина короткой и безотлагательной встречи. Быть может, я еще могу все уладить; но я, безусловно, не могу этого сделать, сударь, не сообщив Вам своего мнения. Соблаговолите передать Ваш ответ через г-на Го, который вручит Вам, по моей просьбе, это прошение. Примите заверение в совершенном почтении преданного Вам

Бомарше».

Никакого ответа. Посылаю 17-го копию моего письма; наконец добиваюсь встречи на 18-е вечером,— но без всякой пользы. Г-н Серван заявил мне напрямик, что, *поскольку это дело вне его компетенции, он не намерен писать ни слова, чтобы внести в него какие бы то ни было изменения;* что, кроме того, он поговорит обо всем с г-ном Дюмурье и уведомит меня об ответе.

Никакого ответа. Я много раз возвращаюсь в военное министерство,— двери неизменно закрыты. Наконец 22 мая я узнаю, что министры собрались у министра внутренних дел. Бегу туда, прошу, чтобы меня допустили. Горько жалуюсь на пренебрежение, с которым меня отталкивают в течение месяца, так что я не могу ни от кого добиться, что́ я должен ответить в Голландию по поводу препятствий, чинимых вывозу ружей голландцами. Между г-ном Клавьером и мной разгорается спор, но он заходит так далеко в вопросе о залоге, что я, выведенный из себя, почитаю за благо уйти.

Не владея уже собой после сорока потерянных попусту дней, и в довершение всего с курьером на руках, я пишу 30 мая г-ну Сервану и копию посылаю г-ну Дюмурье.

(Умоляю вас во имя справедливости, Лекуантр, прочтите это письмо внимательно. Я был в отчаянии, и мое расстройство неприкрыто излилось в нем; я скажу вам потом, к чему оно привело.)

Письмо г-ну Сервану:

«Сего 30 мая 1792 года.

Сударь!

Ежели бы я мог молчать еще хоть день, не подвергая себя опасности, я не стал бы докучать Вам тем делом о шестидесяти тысячах ружей, задержанных в Голландии, *подлинный смысл которого мне так и не удалось донести до Вас.* Вас обманывают, сударь, если заставляют думать, что этим делом *можно пренебречь, ничем не рискуя, поскольку это якобы мое частное дело!*

Это дело до такой степени посторонне мне, что если я и продолжаю заниматься им, сударь, то только из-за жертв, мною уже принесенных, а также из любви к отечеству, коя одна только на них меня и подвигла: это дело *истинно национальное,* именно так я гляжу на него, именно поэтому, не будь я одушевлен горячим рвением к общему благу, которому мы служим каждый в меру своих сил, я бы давно уже продал это оружие за границу с огромной прибылью, а ею не пренебрегает ни

один негоциант. Но я употребил весь мой патриотизм на то, чтобы перебороть пакости, на которые наталкивалась повсюду моя жажда помочь родине оружием, *столь ей необходимым*; вот все, что относится ко мне лично.

Сегодня, 30 мая, истекает срок добровольно взятого мною на себя обязательства поставить Франции в Гавре шестьдесят тысяч ружей, купленных мною для нее, оплаченных золотом, *обмен которого на ассигнации* делает эту операцию убыточной, если рассматривать ее под углом зрения коммерции.

Кроме того, вот уже три с половиной месяца два корабля стоят у причала в ожидании погрузки, как только будут устранены препятствия.

Я уже предлагал *(и именно Вам, сударь, я сделал это предложение)* потратить еще до ста тысяч франков, чтобы, не прибегая к политическому нажиму, попытаться устранить эти препятствия, внеся денежный залог, необходимость в котором обусловлена войной; мне, однако, никакими логическими доводами не удалось убедить Ваше министерство *в целесообразности этого и отсутствии риска.*

Я, таким образом, принес уже все жертвы и не могу больше ничего сделать. Вынужденный обелить себя от возведенного на меня чудовищного обвинения в том, что я сам создаю препятствия, делая, как утверждают, вид, будто бьюсь здесь, а в действительности предав родину и поставив противнику оружие, в котором так нуждается Франция,— я должен буду в ближайшее время обнародовать все, что я сделал, что я сказал, сколько денег авансировал на покупку этого оружия, *так и не получив — увы! — ни от кого поддержки, о которой просил повсюду, хотя ее легко было мне оказать.*

Оскорбленный недоброжелательством одних (г-н Клавьер), обескураженный бездействием других (г-н Дюмурье); совершенно упав духом от того, что Вы с отвращением отказались принять какое-либо участие в деле, начатом и оформленном Вашим предшественником *(вот в чем секрет)*, точно речь шла о разбое или мелком барышничестве, я обязан, сударь, отчаявшись добиться толка у Вас и министра иностранных дел, во всеуслышанье оправдать мои намерения и действия. *Пусть нация судит, кто перед ней виновен. (Время пришло, я это делаю.)*

Нет, невозможно поверить, что к делу столь важному министерство отнеслось с таким небрежением и легкомыслием! После свидания с Вами я вновь говорил с Вашим коллегой Дюмурье, который, как мне показалось, проникся наконец пониманием, насколько чревато неприятностями оглашение оправ-

дательного документа, касающегося этих странных трудностей, и которому я неопровержимо доказал, что мало-мальски сведущим министрам *легко найти выход из столь ничтожных затруднений.*

Но как бы ни был он одушевлен добрыми намерениями, действовать он может лишь с Вашего согласия; именно с Вами я вел переговоры об этом деле, поскольку военный министр Вы. *В милостях, дарованных Вашим предшественником, Вы вправе отказать, коли не находите их справедливыми,* но должны ли страдать от смены министров государственные дела, *если только не доказано, что имела место интрига или нанесение ущерба?* Когда это дело разъяснится, я, возможно, и понесу убытки *как негоциант,* но как гражданин и патриот буду вознесен на недосягаемую высоту.

Во избежание неприятностей, которым так легко помешать, я умоляю Вас назначить мне встречу в присутствии г-на Дюмурье. Дело, не сдвигающееся с места в течение полугода из-за недоброжелательства, может быть разрешено в полминуты.

Повсюду слышатся яростные крики, требующие оружия. Судите сами, сударь, во что они превратятся, когда станет известно, сколь ничтожно препятствие, лишающее нас шестидесяти тысяч ружей, на получение которых не понадобилось бы и десяти дней. Все мои друзья, тревожась за меня, настаивают, чтобы я обелил себя, возложив вину на кого следует, но я хочу принести пользу, а в тот день, когда я заговорю, это станет невозможно.

Поэтому я прошу Вас во имя отчизны, во имя подлинных интересов родины и опасностей, коими грозит ей это бездействие, преодолеть Ваше отвращение и назначить мне встречу, договорившись предварительно с г-ном Дюмурье.

Примите заверения в совершенном почтении, коего Вы достойны.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

В течение трех дней я жду ответа. 2 июня получаю от г-на Сервана следующее письмо (почерк секретарский):

«Париж, 2 июля 1792, 4-го года Свободы.

Вы понимаете, сударь, что, поскольку Ваше дело подверглось зрелому рассмотрению в Королевском совете, как я Вас уже предуведомил (предуведомил?? О чем? Очевидно, о том,

что оно будет рассмотрено), *я лишен возможности что-либо изменить.* Вы просите, *чтобы я переговорил с Вами в присутствии г-на Дюмурье на эту тему; я охотно приду на встречу, которую этот министр соблаговолит Вам назначить.*

Военный министр.

Подпись: *Серван».*

Что хотел этим сказать г-н Серван? Хотел ли он дать мне понять словами «Королевский совет», что *король лично* воспротивился принятию мер, могущих ускорить доставку оружия? Мной овладели новые тревоги. У меня помутился рассудок, и я отослал курьера в Голландию, написав моему другу, что недоброжелательство достигло предела, и я жду от него совета, каким образом попытаться все же доставить наши ружья, пусть он проконсультируется с послом, не стоит ли прибегнуть к фиктивной продаже оружия *голландским негоциантам или отправить его в Сан-Доминго,* чтобы найти ему соответствующее применение, когда настанут лучшие времена. По письму было видно, в каком я бедственном положении; мой друг пришел от него в ужас.

Я старался взять себя в руки, когда 4 июня, в довершение несчастий, *Франсуа Шабо,* не знаю уж по чьему наущению, решил донести на меня Национальному собранию, как на человека, который прячет в подвалах своего дома шестьдесят тысяч ружей, полученных из Брабанта, о чем,— сказал он,— *отлично осведомлен муниципалитет.* «Неужто все силы ада спущены с цепи против этих несчастных ружей? — подумал я.— Была ли когда-нибудь видана подобная глупость и подлость! А ведь меня могут растерзать!»

Я тут же хватаю перо и пишу г-ну Сервану. Вот копия моего письма:

«Париж, понедельник вечером, 4 июня 1792 года.

Сударь!

Имею честь предуведомить Вас, что на меня только что *донесли, наконец, Национальному собранию,* как на человека, доставившего в Париж из Брабанта шестьдесят тысяч ружей, которые я, как говорят, прячу в подозрительном месте.

Надеюсь, Вы понимаете, сударь, что подобное обвинение, *превращающее меня в члена австрийского комитета, задевает короля, подозреваемого в том, что он является главой этого ко-*

митета, и, следственно, Вам, не более, чем мне, следует попустительствовать распространению слухов такого рода?

После всех моих стараний добиться, как от Вас, так и от других министров, помощи в деле снабжения моей родины оружием, стараний, оказавшихся тщетными, и, добавлю с горечью, после того, как я *натолкнулся на невероятное равнодушие нынешнего министра, пренебрегшего моими патриотическими усилиями, я был бы обязан перед королем и перед самим собой во всеуслышанье обелить себя,* если бы мой патриотизм все еще не сдерживал меня, поскольку с момента, когда я предам дело гласности, *ворота Франции окажутся закрытыми для этого оружия.*

Только эта мысль одерживает пока верх над *мыслями о моей личной безопасности, которой угрожает народное волнение, заметное вокруг моего дома.* Однако, сударь, такое положение не может продолжаться сутки; и от Вас, *как от министра, я жду ответа, как я должен поступить в связи с этим обвинением (Шабо).* Прошу Вас еще раз, сударь, назначьте мне на сегодня встречу вместе с г-ном Дюмурье, если он еще министр. Вы слишком умны, чтобы не предвидеть последствий задержки.

Мой слуга получил приказ ждать письменного ответа, который Вам угодно будет ему вручить. Есть некая доблесть, сударь, в том, как я себя веду, *несмотря на ужас всего моего семейства;* но общественное благо превыше всего.

Уважающий вас и т. д.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

Переписывая это сейчас, я принужден сдерживать себя, гнев до сих пор душит меня, я покрываюсь крупными каплями пота, и это здесь, в холодном краю, 6 января.

Наконец на следующий день г-н Серван присылает мне ответ, впервые написанный его *собственной рукой:*

«Вторник, 5 июня.

Не знаю, сударь, в котором часу г-н Дюмурье будет свободен, чтобы Вас принять; но повторяю, как только Вы окажетесь у него и он меня об этом уведомит, я поспешу прийти: либо утром до трех часов, либо вечером с семи до девяти часов.

Я буду весьма раздосадован, если у Вас будут неприятности из-за ружей, задержанных в Тервере по приказу императора.

Военный министр.

Подпись: *Жозеф Серван».*

Следовательно, о Лекуантр! это оружие задерживалось в Тервере не по вине обанкротившегося торговца подержанным товаром и не по моей недобросовестности? И ни Провен, упоминаемый вами, ни какое-либо иное частное лицо не могло подразумеваться г-ном Серваном, когда он говорил о приказе императора, задерживающем наше оружие. Какими же дьявольскими памятными записками вы руководствовались, когда заклеймили меня?

— Ну вот,— сказал я, читая записку г-на Сервана,— первые пристойные слова, которые я получил по поводу этого странного дела, с тех пор как г-н Серван занял пост министра! Нет сомнений, что раньше он уступал постороннему нажиму.

Поскольку он соглашается переговорить со мной и своим коллегой Дюмурье, *не требуя присутствия некоего другого министра,* я начинаю думать, что его можно будет убедить.

Однако это совещание, о котором я настойчиво просил с 4-го числа, состоялось лишь 8-го, в девять вечера, и у г-на Сервана четыре дня было потеряно. Я повторил дело ab ovo; [1] возможно, потому, что я говорил о нем с горечью, с жаром по отношению к отчизне, я обрел то, что можно было бы назвать вдохновением момента; бесспорно одно, министры, тронутые всеми выпавшими на мою долю мытарствами, согласились на том, что Дюмурье напишет господам Огеру и Гранду, амстердамским банкирам, чтобы они, законно или нет это требование залога, внесли его за меня голландскому правительству; правда, в размере не трехкратной стоимости груза, как требовали голландцы, но однократной; что хотя и было столь же несправедливо, но тем не менее необходимо.

Пока г-н Дюмурье все это записывал, я сказал: *«Однократная* или трехкратная стоимость — это дела не меняет, поскольку в конечном итоге, когда будет возвращена залоговая расписка с пометкой о выгрузке, расход сведется к сумме банковского комиссионного сбора, а ружья будут уже на месте».

Господин Серван согласился выдать мне сверх полученных мною пятисот тысяч франков ассигнациями еще *сто пятьдесят тысяч ливров* под обеспечение моих *двухсот пятидесяти тысяч,* хранившихся в качестве залога в его ведомстве.

Ибо некий министр тогда еще не говорил, что *семьсот пятьдесят тысяч ливров в девятипроцентных государственных контрактах* не являются достаточным обеспечением для получения *пятисот тысяч франков ассигнациями, не дающих никаких про-*

[1] С самого начала *(лат.).*

центов и теряющих пятьдесят процентов стоимости при обмене за границей. Но мы еще к этому вернемся, дело того стоит.

Господин Серван также все записал, а я сказал ему:

— *Располагая этим воспомоществованием, я, если понадобятся еще три-четыре тысячи луидоров, чтобы устранить в Голландии все прочие препятствия, пожертвую ими от чистого сердца.*

И мы расстались, весьма довольные друг другом.

Но 12 июня, то есть четыре дня спустя, не получая ни от одного из них известий, я написал (очень рассерженный) следующее письмо г-ну Сервану, министру:

«12 июня 1792 года.

Сударь!

На последнем совещании, когда Вы и г-н Дюмурье любезно согласились обсудить средства, с помощью которых можно высвободить наши шестьдесят тысяч ружей из Голландии, я имел честь повторить Вам, что сумма, необходимая, чтобы привлечь на нашу сторону окружение высокого сената этой страны, может достигнуть трех-четырех тысяч луидоров и что без этой суммы я обойтись не могу.

Готовый принести делу эту немалую жертву, я вновь просил Вас авансировать мне сумму, достаточную для обмена на сто тысяч ливров в голландских флоринах, под обеспечение денежными бумагами на *двести пятьдесят тысяч франков, которые были оставлены мною Вам в залог в превышение шестисот тысяч ливров,* предусмотренных нашим соглашением в качестве обеспечения аванса, выданного мне г-ном де Гравом, потому только, что у нас была дружеская договоренность о беспрепятственной выдаче мне дополнительных средств, буде они мне понадобятся (тогда я этого не предполагал). Вы сказали мне, сударь, что, посоветовавшись (о формальной стороне), Вы не замедлите сообщить мне Ваш ответ. Удобно ли Вам, чтобы я за ним явился, или Вы его мне передадите? Успех самых серьезных дел, что бы там ни происходило в стране, зависит от подобных мелочей; и *Вы сами видите, что — как бы одно ни противоречило другому — в тот самый момент, когда издаются декреты против взяточников, другим декретом г-ну Дюмурье ассигнуется шесть миллионов на осуществление подкупа в другом месте!*

Не вынуждайте меня, прошу Вас, приносить гигантские жертвы, изыскивая возможность раздобыть где-то деньги, в то время *как мои находятся у Вас.* Каково бы ни было, однако, Ваше решение по этому поводу, прошу Вас, главное, не застав-

ляйте меня ждать. Необходимо все пустить в ход одновременно: демарши нашего посланника в Гааге перед тамошним правительством, внесение залога и подкуп влиятельных лиц; дела делаются именно так, а наше слишком застоялось!

Остаюсь с уважением к Вам, сударь,
преданный Вам и т. д.
Подпись: *Карон де Бомарше»*

Как видите, *Лекуантр,* я не брезговал ничем. Если бы это делалось ради государственной измены, мне *следовало бы отрубить голову*; но я вижу, мои читатели восклицают: *«Предатели говорят в ином тоне!»* О мои читатели, наберитесь терпения: вам его понадобится слишком много, когда вы узнаете, что́ пришлось мне выстрадать! Ибо вы содрогнетесь от страха — не за меня, но за себя самих!

В тот же день, 12 июня, я получил следующую вежливую записку, начертанную *рукой г-на Сервана*:

«Жозеф Серван просит г-на де Бомарше соблаговолить связаться с г-ном Пашем, занимающим ныне пост г-на Го: он будет введен в курс дела, перед тем как г-н Бомарше его увидит.

12 июня».

«Наконец-то,— подумал я,— слава богу! Пришел конец моим бедам! Г-н Дюмурье, безусловно, написал господам Огеру и Гранду; я *получу пятьдесят тысяч экю,* из которых сто тысяч франков пошлю *Лаогу* на случай каких-либо затруднений, ружья прибудут, г-н Шабо увидит их, и народ, проклинавший меня, меня благословит!» Я радовался, как дитя.

В тот же вечер я написал в Голландию, чтобы утешить друзей и поделиться с ними своей радостью.

На следующее утро, 13 июня, я отправился в военное министерство переговорить с г-ном Пашем и получить от него такое же распоряжение, *какие получал раньше от г-на Го.*

Я захожу в его кабинет; ввожу его, как мне представляется, в курс принятых решений; он холодно меня выслушивает и говорит:

— Я не господин Паш; я временно исполняю его обязанности; ваше дело не может быть завершено: господин Серван сегодня утром покинул министерство; мне неизвестно, где ваши бумаги, я это выясню.

Точно громом пораженный, я поднимаюсь в артиллерийское управление; мне говорят, что г-н Серван забрал все бумаги с собой и что моих бумаг не нашли.

Отправляюсь в министерство иностранных дел; министра Дюмурье и след простыл, он *временно* принял на себя военное министерство. Возвращаюсь домой, чтобы написать ему; я полагаю, что мне достаточно будет получить у нотариуса военного ведомства копию выписки из акта о внесении мною залога в размере *семисот пятидесяти тысяч франков,* чтобы доказать г-ну Дюмурье, что в этом ведомстве действительно есть *двести пятьдесят тысяч франков, принадлежащих мне,* под обеспечение которых, как ему хорошо известно, г-н Серван обязался в его присутствии выдать мне дополнительную сумму в размере *пятидесяти тысяч экю.*

Четырнадцатого июня г-н *Дюмурье,* перегруженный множеством дел, сообщает мне через г-на *Ломюра,* своего адъютанта, что вручит мне *пятьдесят тысяч экю,* о которых договорено с г-ном *Серваном;* что он отлично это помнит и чтобы я зашел через день. «Благословен господь! — думаю я опять,— эта помеха всего лишь оттяжка!»

Радостный, отправляюсь туда 16 июня в полдень; это был час приема Дюмурье в военном министерстве, его нет; я жду. Вместо него в большую приемную является чиновник и оповещает всех, что г-н *Дюмурье только что оставил пост* военного министра и пока еще неизвестно, кто его заменяет. При этом известии я не удержался от горькой и презрительной улыбки; препятствия, неизменно вставшие на моем пути, поистине отличались печальной изобретательностью. Я решил подняться в канцелярию; все кабинеты были настежь открыты и пусты. В непередаваемом состоянии я невольно воскликнул:

— *О, бедная Франция! О, бедная Франция!* — и ушел домой, задыхаясь от боли в сердце.

Добило меня письмо от *Лаога,* полученное 23 июня, где он сообщал, что господа Огер и Гранд отказались внести залог ввиду того, что министр, пославший г-ну де Мольду, нашему послу в Гааге, распоряжение, чтобы он предложил им внести этот залог, *им самим об этом не написал.* (О, чудовищный хаос канцелярий! Ведь речь шла о чистых формальностях.) Но все это была только отговорка. Эти господа, нажившие столько денег, служа нашей Франции, тогда служили ее врагам — Голландии и Австрии. Все полетело к черту; и придется начинать сначала, когда появятся новые министры. Я кусал от отчаяния локти.

Но как мне ни худо, я должен воздать должное г-ну Дюмурье и поблагодарить его,— он был настолько внимателен, что, покидая министерство, осведомил обо всех моих трудностях

г-на *Лажара,* своего преемника в военном министерстве; это, вне всякого сомнения, расположило того отнестись внимательно к истории вопроса и к отчету обо всех препятствиях, встающих, точно по воле ада, на пути этих ружей,— к отчету, который я сделал с документами в руках.

— Все это тем более досадно,— сказал с грустью г-н *Лажар,*— что потребности наши огромны и мы просто теряемся. Вам следует,— сказал он мне,— повидаться с господином Шамбонасом (министром иностранных дел) и подумать, что́ можно сделать в связи с отказом, более чем бесчестным, банкиров Огера и Гранда. А я тем временем проверю, в каком положении находится вопрос о ваших *пятидесяти тысячах экю,* которые столько раз от вас ускользали.

Благожелательный тон г-на Лажара показался мне добрым предзнаменованием.

Он вызвал г-на *Вошеля,* начальника артиллерийского управления, который ему сказал, что действительно между обоими министрами было согласовано предоставление мне этой суммы *под залог моих денежных бумаг, имеющихся в министерстве.*

Господин *Лажар* честно ответил уже на следующий день, 19 июня, на просьбу, поданную мною ему *для порядка* в письменном виде, прислав мне следующее письмо, к которому был приложен ордер на получение *ста пятидесяти тысяч ливров* в национальном казначействе:

«19 июня 1792, 4-го года Свободы.

Господин Бомарше!

Вы просите меня, сударь, чтобы я дал Вам возможность вывезти из Зеландии шестьдесят тысяч солдатских ружей, которые Вы там достали в соответствии с соглашением, имеющимся у Вас с правительством, выдав Вам для этой цели новый аванс в счет оплаты данной поставки в размере пятисот тысяч ливров, что составит вместе с деньгами, уже полученными Вами, шестьсот пятьдесят тысяч ливров. Я нахожу тем менее возражений для предоставления Вам этого пособия, что Вы, как было Вами отмечено, оставили в обеспечение ценности, превышающие этот аванс. При сем прилагается ордер на получение ста пятидесяти тысяч ливров в национальном казначействе.

Военный министр.
Подпись: *А. Лажар».*

Я посылаю моего кассира получить указанную сумму, заставившую себя так чудовищно долго ждать! Ничтожная и странная придирка задерживает снова ее выплату.

Один из чиновников канцелярии военного министерства,— объясняют моему кассиру,— специально приходил напомнить, *чтобы мы не забыли у вас потребовать, как это положено перед выдачей денег поставщикам, предъявления патента.*

— Сударь,— говорит мой кассир,— господин де Бомарше вовсе не поставщик, это гражданин, который делает одолжение и, безусловно, себе в убыток. Он представляет некоего брабантца, отнюдь не имеющего патента во Франции; господину Бомарше уже было выдано пятьсот тысяч франков, и от него ничего подобного не требовали.

— Сударь,— отвечают ему,— мы получили приказ ничего не выплачивать без патента.

Выслушав его доклад, я сказал:

— Это последние вздохи испускающего дух недоброжелательства. Не будем терять десять дней на битву за деньги, так яростно оспариваемые и до такой степени необходимые; они хотят сделать из меня подрядчика, в то время как я думал, что оказываю стране весьма важную услугу. Сколько требуется заплатить за этот патент?

— С меня запросили полтораста ливров.

— Раз уж господа из этой канцелярии сговорились отбить у меня охоту в чем-либо идти им наперекор, скажем mea culpa [1], и вот вам полтораста ливров для них.

Это съело у нас два дня. Я убежден, что мои недоброжелатели злобно посмеялись. Наконец им предъявили мой патент оружейника. Но в ту минуту, когда должны были уже произвести выплату, является другой чиновник и угощает моего кассира новым запретом. Кассу закрывают; мой кассир возвращается с письмом министра; что же касается ордера на выплату, то его оставляют в казначействе. Кассир приходит и в испуге спрашивает, знаком ли мне некий Провен, который наложил запрет на выплату мне *военным министерством какой бы то ни было суммы;* поэтому-то мне ничего и не дали.

— Он мне знаком,— сказал я кассиру,— как раз настолько, чтобы не иметь желания с ним знакомиться.

Здесь настал момент объясниться относительно этого Провена, которого вы, *Лекуантр,* столь высоко прославили в вашем

---

[1] Виноват *(лат.).*

обвинении; как ни воротит меня от этого рвотного, нужно принять его и выблевать, чтобы не осталось никаких темных мест. Когда тебя ночью кусает насекомое, необходимо его утопить, ежели хочешь обрести покой.

Несколько дней спустя после подписания соглашения с г-ном *де Гравом* явился ко мне однажды поутру некий г-н *Роменвилье,* командир легиона Национальной гвардии, в прошлом уволенный из личной королевской охраны, игрок и темный делец, который всегда был по уши в долгах; он сообщил мне, что г-н Лаэй, по слухам продавший мне оружие для французского правительства, обманул одного бедного человека, задолжав ему восемьдесят тысяч франков *за ящики и ремонт части этого самого оружия,* в связи с чем он умоляет меня, какова бы ни была сделка, заключенная мною с этим Лаэйем, не отказаться принять от него протест. Этот человек, сказал он, некто Провен, честный труженик и отчасти торговец подержанными вещами, у которого много детей и для которого подобная денежная потеря будет полным разорением.

— Сударь,— сказал я ему,— нет нужды просить меня, я не могу отказаться принять протест, коли мне его принесли. Господин де Лаэй ничего мне не сказал об этом немалом долге; я побраню его за это; поскольку я не видел этого оружия, я не мог взять на себя обязательства заплатить за него наличными. Однако я достаточно заинтересовал господина Лаэйля, чтобы он вел дело честно, и ежели на наше предприятие не обрушатся великие бедствия, ваш человек отнюдь не потеряет того, что ему должны. Но какое участие принимаете вы в этом кредиторе Лаэйя?

— Не скрою от вас,— сказал он,— что, будучи сам несколько стесненным в средствах, я во времена господина Дюпортая хлопотал за него в канцелярии военного министерства, добиваясь, чтобы с ним заключили сделку на часть этого оружия. Ассигнации тогда почти не падали. Он исходил из расценки двадцати ливров за ружье, даже меньше, но не нашел вовремя денег, а ассигнации внезапно упали, и сделка рухнула, потому что *он пообещал слишком большой процент,* а те, кто предоставлял ему средства, полностью обанкротились. *Я сам был отчасти заинтересован* в этом деле *вместе с некоторыми господами из министерства.* Ах! Как ему не повезло, что он не подумал о вас!

— Не жалейте об этом, сударь,— сказал я ему,— я все равно не согласился бы на предложение, исходившее от француза:

мне слишком хорошо известны все их грязные делишки! Я считал эту операцию чистой, и мне весьма досадно, что я сталкиваюсь теперь с такого рода помехами. Как бы там ни было, я вам признателен за внимание, побудившее вас предупредить меня об этом протесте; я его принимаю и даю слово, что напишу о нем господину Лаэйю. Если им понадобится посредник для переговоров, я охотно возьму это на себя.

Протест был мне прислан, я его принял. Я написал Лаэйю, который ответил мне, *что ничего этому человеку не должен и что по поводу предметов, за которые тот требует платы, я могу написать г-ну де Лаогу и тот вышлет мне ответной почтой квитанции, удостоверяющие, что за все эти предметы за меня было уже оплачено в счет общей суммы. Тут я насторожился.*

Наконец, когда я увидел, что, кроме протеста, врученного мне, этого человека заставили подать на меня протест в военное министерство (на меня, который его видеть не видел и слышать не слышал), *я раскусил темную интригу, бывшую мне наказанием за то, что я совершил ошибку и, нарушив собственный покой, помешал этим барышникам.* Тогда я, предполагая, что кто-то, жаждущий раздуть расходы за его счет, принудил торговца подержанными вещами совершить этот неблаговидный поступок, встретился с ним в присутствии юриста. Однако, поскольку у этого Провена нет царя в голове, мы ничего от него не добились. Мы тотчас вызвали его в суд, он не явился, слушание многократно откладывалось, наконец он был осужден во всех инстанциях, однако, *пользуясь беспорядком,* он так долго тянул дело от одной инстанции до другой, что на все это ушло пять месяцев. С помощью незаконного протеста он помешал мне получить мои собственные пятьдесят тысяч экю. Я предложил военному ведомству удержать сумму, требуемую этим человеком, и, впредь до вынесения окончательного приговора, выдать мне остаток. Суровый г-н *Вошель* не пожелал *тогда* дать на это согласие; а я начал яснее разбираться в этом деле; и, отступившись от моих пятидесяти тысяч экю, до истечения тридцати отсрочек, с помощью которых, по воле неба, самый безденежный негодяй может остановить по новым законам на полгода любое национальное дело, я возложил на этого человека ответственность за все мои последующие убытки и прибег к весьма обременительному для меня займу. Но что такой приговор человеку, с которого нечего взять! Бесчестье — вот вся его расплата.

Мой адвокат принесет вам, *Лекуантр,* пять или шесть при-

говоров, вынесенных этому человеку; сейчас дело находится в суде первого округа, куда он подал жалобу на окончательный вердикт, вынесенный судом под председательством неподкупного *д'Ормессона,* который *трижды осуждал его.* Таковы Провен и компания.

Оставим эти пресные интриги; вы еще столкнетесь с другими, в которых будет куда больше перца! Ради того, чтобы сорвать это дело, ничем не брезговали, исходя из общеизвестного принципа: *нет и не будет поставщиков, кроме нас и наших друзей.*

ТРЕТИЙ ЭТАП

Я обязался, Лекуантр, осветить вам всесторонне мое поведение; я пообещал, что буду публично оправдан, отчитавшись перед нацией во всем мною сказанном, написанном или содеянном день за днем, на протяжении тягостных девяти месяцев; что в этом, доступном всем, докладе будет рассказано о моих поступках, совещаниях, письмах и заявлениях с такой точностью, что каждый здравый ум будет поражен их согласованностью, последовательностью и единообразием.

Обманутый изобличитель, неистовствующий на трибуне, может позволить себе не придерживаться метода столь строгого. Опираясь на всеобщую убежденность в его патриотизме, он может растекаться по древу и говорить что угодно, ничего не доказывая. Слушатели, положившись на него, не слишком следят за ходом его мысли, не замечают его ошибок, не протестуют против бранп и нередко принимают в конце концов решение либо из чистого доверия к его рвению, либо просто устав слушать обвинения, которые никем не опровергаются.

Но человек, который защищается, не может ни на минуту отклониться от своей цели: он должен четырежды доказать свою правоту, прежде чем за ним ее признáют хоть раз; ибо ему нужно преодолеть груз бессознательного предубеждения против обвиняемого и всегда свойственное судьям отвращение к отказу от уже высказанного мнения, от уже вынесенного приговора. Я обращаю на это ваше внимание, чтобы вооружить вас против себя. Следите за мной со всей суровостью, главное, ничего мне не спускайте. Я надеюсь силой очевидных доказательств привлечь справедливый взгляд *Конвента* к декрету,

осуждающему невинного человека и безупречного гражданина. И сверх того я поклялся сделать своим адвокатом вас, *моего обвинителя!* Следите же неусыпно за всем, что я скажу. Это ваше дело, не мое. Продолжаю изложение фактов.

После того как наши враги за пределами Франции преследовали г-на де Лаога, чтобы, сыграв с ним какую-нибудь злую шутку, повредить тем самым делу с ружьями, после того как они исчерпали все свои возможности в Голландии, так и не отбив у нас охоту заниматься этим делом, они, видя, что не могут ни вывести меня из терпения, ни подловить, решили, что единственный выход для них — попытаться со мной договориться подружески, предложив мне за оружие весьма заманчивую цену.

Разными способами, через разных людей они пытались разжечь во мне корыстолюбие. *Лаог* не однажды писал мне об этом, доказывая, что за нами охотятся и продавцы и покупатели. Эти люди, за пределами Франции, действовали хотя бы в соответствии с собственными интересами. Но противодействие наших людей, наших канцелярий, наших министров!.. Оно приводило меня в ярость. Об этом я и писал в ответ Лаогу.

Двадцать девятого июня я был весьма удивлен, увидев его у себя.

— Вы, должно быть, думаете,— сказал он,— что меня привело к вам дело с ружьями? Разумеется, о нем тоже пойдет речь; но оно сейчас на втором плане. Я прибыл как чрезвычайный курьер с депешами такой важности, что господин де Мольд, наш посол в Гааге, счел возможным положиться только на мою порядочность, на мою верность.

Ведя розыск, он получил неопровержимые сведения, что в Амстердаме существует *фабрика фальшивых ассигнаций.* Он мог пресечь это дело и мог рассчитывать на захват оборудования и людей, а возможно даже, если бы удалось застать их врасплох, и на находку в этом гнезде иных, весьма важных документов; однако,— осмелюсь ли сказать? — к нашему стыду, в то время как прочие послы в Гааге купаются в роскоши, я сам видел, что господину Мольду нечем было покрыть расходы на эти аресты; и фальшивомонетчики ускользнули бы, *не дай я ему в долг от вашего имени шесть тысяч флоринов!*

Эпизод с депешами, привезенными моим другом, бросил бы благоприятный свет на дело с ружьями, он воздал бы честь нашему гражданскому рвению, показал бы, какими чувствами были движимы все причастные к делу; но он затянул бы мой

рассказ; я предпочитаю отказаться от преимущества, которое мог бы из него извлечь. Оставляю его до другого случая [1].

Я рассказал г-ну де Лаогу о всех страхах, которых натерпелся, так и не продвинувшись ни на шаг в вопросе о вывозе наших ружей.

— Ах,— сказал мне он,— как ни прискорбно, но я вынужден повторить вам, что повсюду одно и то же,— вам необходимо как-нибудь избавиться от этого ужасающего дела. Недоброжелательство в Голландии, как и здесь, таково, что вы потратите все ваше состояние, но разрешения на вывоз из Тервера так и не добьетесь. *Франция вам вредит, а Голландия радеет Австрии!* Как же вам, в одиночку, выпутаться из этих сетей? Я привез вам пространную жалобу, написанную мною от вашего имени в ответ на ноту императорского посланника и поданную через господина де Мольда секретарю Голландских штатов, а также смехотворный ответ, полученный нами от этих Штатов; когда министры это прочтут, они поймут, каковы подлинные препятствия, задерживающие погрузку.

— Мой друг, они ничего не читают, ни на что не отвечают и не занимаются ничем, кроме внутрипартийных интриг, не имеющих никакого отношения к общественному благу. Здесь такой беспорядок, что душа содрогается! И таким путем они думают прийти к конституции? Клянусь, они не хотят ее! Но каков же был ответ Голландских штатов на жалобу?

— Невразумителен, пуст, лжив! Они ничем не брезгуют, *лишь бы выиграть время в борьбе с вами.* Я привез этот ответ. Ежели бы вы согласились уступить оружие на месте по самой высокой цене, вы покончили бы с затруднениями. Вы вернули бы свои деньги с гигантской прибылью; а самое главное, оружие забрали бы *оптом,* как вы его купили, без всякой *сортировки* и мороки. Господин де Мольд полностью в курсе предложений, сделанных нам; ибо ничто в этой стране не ускользает от его бдительного ока.

— Мне известно,— сказал я,— все, что писал об этом он, а также *то немногое, что ему ответили.* Я нашел здесь средство

---

[1] Эта записка была уже в печати, когда мне стало известно об обвинении, только что выдвинутом против меня в Якобинском клубе, будто я в Лондоне вместе с г-ном Калонном (который, кстати, находится в Мадриде) выпускал фальшивые ассигнации. Вы видите, граждане, как молниеносно одна клевета порождает другую! Не забывайте, что я дал взаймы деньги на арест голландских фальшивомонетчиков; попросите Лекуантра сообщить, какую услугу я вам оказал, потом судите о достойном человеке, который меня изобличает.

получать точные сведения; это обходится недешево; но коль скоро это необходимо для пользы дела, оно должно выдержать и этот расход. Для меня это уже не торговое предприятие, тут задеты моя честь и патриотизм, скажу больше — характер. Они поклялись, что ружья не будут доставлены, а я поклялся, что их не получит ни одна держава, кроме французского народа. Я руководствуюсь прежде всего нашей нуждой в них. Теперь у нас новые министры, поглядим, как они будут действовать; но какой бы они ни учинили вред прибытию ружей, бьюсь об заклад, им не удастся перещеголять тех, кто уступил им кресла.

Я попросил встречи; г-н *Шамбонас* ответил, что мы будем приняты им и г-ном *Лажаром* в министерстве в тот же вечер. Я отправился туда с решимостью выказать обоим новым министрам твердость, уже навлекшую на меня немилость г-на *Клавьера*.

Я захватил портфель с перепиской и весьма обстоятельно ознакомил с ней министров; они дали нам аудиенцию, не ограничивая ее временем, чего не делал ни разу ни один их предшественник.

— В конце концов, сударь,— сказали мне они,— подведите итог: чего вы хотите? Чего просите?

— Я уже не прошу, господа,— сказал им я,— чтобы мне помогли доставить эти ружья; я слишком хорошо понял, что этого не хотят. Я прошу одного, пусть мне скажут, что *ружья не нужны; что дело слишком щекотливое, дорогостоящее или затруднительное, пусть скажут что угодно,* но пусть скажут это в письменной форме, чтобы у меня был оправдательный документ. Я не переставал просить его у ваших предшественников: не потому, разумеется, что меня не огорчит, если Франция лишится этого оружия, но потому, что мне слишком хорошо известна суть дела; есть люди, которые хотят, чтобы я, сытый по горло всякого рода неприятностями, с досады продал ружья в Голландии и чтобы можно было потом кричать в Париже, *что мой патриотизм — химера, а помехи, в результате которых это оружие оказалось у наших врагов,* дело моих собственных рук. Когда вы, господа, вернете мне мое слово и мои ружья, я отправлюсь в *Национальное собрание,* подниму над головой документ, который вы мне дадите, и призову *Собрание* в свидетели того, что я сделал все, дабы добиться вашей помощи; и если *Национальное собрание* скажет, как и все прочие, *что нация в этом оружии не нуждается или его не хочет,* я распоряжусь им по собственному разумению.

— Мы отлично знаем, что́ вы с ним сделаете,— сказал, сме-

ясь, один из министров.— Вы продадите его за прекрасную звонкую монету наличными. Господин *де Мольд* пишет нам, что вы получили весьма соблазнительные предложения.

— Если он пишет обо всем, господа, он должен вам также сказать, с каким презрением я отверг эти предложения!

— Он сообщает и об этом,— сказал мне г-н Шамбонас,— в выражениях, не оставляющих сомнения.

— Да, сударь, мне делают такие предложения вот уже свыше двух месяцев. Я отнюдь не пытался поставить это себе в заслугу; но поскольку господин де Мольд пишет о них, не скрою, эти предложения таковы, что любой иной на моем месте уже десять раз принял бы их; я вернул бы мои деньги сторицею, но я прежде всего француз. Однако даже я не могу оставаться бесконечно в том бедственном положении, в котором меня держат и которое губит мой покой, состояние и здоровье, тогда как достаточно одного моего слова, чтобы все наладить!

Господин *Лажар* мне ответил:

— Мы, со своей стороны, не можем разорвать соглашение об оружии, *столь необходимом,* в момент, когда нам его не хватает, не проконсультировавшись предварительно на совместном заседании с тремя Комитетами — *дипломатическим, по военным делам и Комитетом двенадцати;* мы посоветуемся с ними и дадим вам ответ.

На следующий день г-н *Шамбонас* сказал нам, что приступил к обсуждению дела с членами Комитетов; что в связи с затруднениями, возникшими в Голландии, они склонны рассматривать соглашение, заключенное де Гравом, *как фактически разорванное*; но отнюдь не расположены заявить мне, что *более не заинтересованы в этом оружии,* а тем пуще *подписаться под подобным документом* при существующей крайней нужде в моих ружьях.

— Сударь, сударь,— ответил я министру,— либо вы заинтересованы в ружьях, либо не заинтересованы. Я не смогу занять ту или иную позицию в отношении предложений, получаемых мною, пока не будет ясного решения; я рассчитываю на вашу порядочность и жду такого решения, каким бы оно ни оказалось; но оно *мне необходимо в письменном виде.*

— Есть опасения,— сказал г-н Лажар *(глядя мне в глаза),*— что вы хотите воспользоваться предложениями, сделанными вам там, чтобы повысить здесь цену на оружие, установить выгодные для вас расценки!

— Сударь,— горячо ответил я,— если мне добросовестно помогут снять несправедливое эмбарго, наложенное голландца-

ми *(снабдив меня залогом, коего по праву требует поставщик)*, я даю честное слово, что в этом случае ни один покупщик, кроме Франции, для которой оружие мною предназначалось, не получит его, сколько бы мне ни предлагали. Я даю честное слово, что не повышу цену, предусмотренную при заключении первой сделки, хотя я могу немедленно взять за ружья по *двенадцати с лишком флоринов золотом*, вместо восьми, которые получу от вас в ассигнациях! *Хотите, я напишу заявление, чтобы вы могли показать его на совместном заседании трех Комитетов?* Я прошу только справедливости, пусть меня избавят от нестерпимой неясности, которая терзает меня на протяжении трех месяцев, относительно *возможной стоимости ассигнаций в неопределенный момент*; мне нередко даже приходило в голову, когда я сталкивался с *аполитичным, непатриотическим, несправедливым* поведением бывших министров, что они хотят затянуть дело до того времени, когда можно будет, воспользовавшись непомерным падением курса *ассигнаций*, сделать мне деловое предложение, потребовав от меня срочной поставки; я достаточно повидал на своем веку, чтобы опасаться такого достойного приема. И все это только потому, что мне не удалось преодолеть робость г-на де Грава и добиться справедливого соглашения во *флоринах*, которое шло вразрез с *обычаями высокомерных канцелярий военного ведомства*; у них меж тем есть тысячи возможностей покрыть свои убытки, тогда как я не ищу воспользоваться ни одной из них!

— Но кто нам даст гарантию,— сказал один из министров,— что, устав от трудностей, задерживающих это оружие в Зеландии, вы не продадите его другим, хотя и дали нам слово? Ибо, в конце концов, вы ведь негоциант и ведете крупные дела только для того, чтобы заработать много денег?

— Я понимаю ваше возражение, сударь; вы могли бы быть несколько любезней, но, как бы там ни было, я избавлю вас от всякого беспокойства по этому поводу. Если вы хотите быть уверены, что я не соблазнюсь никаким иным предложением, согласитесь на немедленную *передачу мной права владения и вручения оружия в Тервере* тому, кого вы сочтете для этого подходящим: вещь станет *вашей*, и вы одни будете вправе ею распоряжаться. Можете ли вы от меня требовать большего? Благоволите распорядиться, господа. Для того чтобы обелить мой патриотизм от подозрений, на него обрушенных, нет ничего, ничего, на что я не был бы готов!

По удивленным лицам министров я понял, что они были соответственно подготовлены.

— Как! Господин Бомарше, вы говорите серьезно? Как! Если мы поймаем вас на слове, у вас достанет мужества не пойти на попятный?

— Мужества, господа? Да я делаю это заявление и предложение по собственному желанию.

— Хорошо,— сказал мне г-н Лажар,— изложите нам все это письменно: мы серьезно проконсультируемся *на совместном заседании трех Комитетов.*

На следующий день, 9 июля, министры получили от меня ясное резюме. Вот оно:

«Бомарше
господам Лажару и Шамбонасу, военному министру и министру иностранных дел.

9 июля 1792 года.

Господа!

Вам известно, что любое дело следует упростить, чтобы в нем разобраться. Позвольте мне напомнить вам основные предложения, выдвинутые мною на вчерашнем совещании и как будто одобренные вами.— Как негоциант, сказал я, я ни в какой мере не нуждаюсь в том, чтобы французское правительство взяло на себя мои обязательства в деле с голландскими ружьями, если я разорву мое с ним соглашение *(избави бог!).* У вас в руках, господа, доказательство того, что я могу гораздо быстрее и проще покончить с этим делом к своей выгоде, буде ограничусь торговым к нему подходом, поскольку мне все время предлагают (со всяческими посулами и даже угрозами) немедленно расплатиться со мной за шестьдесят тысяч ружей, купленных мною в Голландии, *в золотых дукатах, по расценке, обеспечивающей мне прибыль, которую я сочту нужным обусловить: об этом вам пишет ваш посол.*

Я обсуждал, следовательно, этот вопрос с господами *Лажаром* и *Шамбонасом* отнюдь не как купец, не как спекулянт, а как французский патриот, думающий прежде всего о благе отечества, ставящий это благо превыше собственной выгоды. *Окажите мне справедливость не забывать об этом.*

Я предложил вам, господа, взять на себя мои обязательства, приняв от меня всю партию оружия в Тервере, поскольку в связи с внезапным объявлением войны у меня возникли непреодолимые препятствия для доставки ружей во Францию и поскольку французское министерство располагает средствами, у меня отсутствующими, чтобы добиться отмены несправедливого голландского эмбарго и доставить эти ружья в *Дюнкерк.* Я дал

вам понять, господа, что вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы помешать нашим врагам завладеть этим оружием силою, как мне сейчас угрожают, поскольку голландцы не рискнут посмотреть сквозь пальцы на акт, враждебный французскому правительству, тогда как акту, направленному против частного лица, они могут попустительствовать.

Объясняя вам все это, господа, я только повторял то, что *двадцать раз говорил министрам, вашим предшественникам.*

Не имея возможности доставить в Гавр груз оружия, задержанный в Зеландии в нарушение справедливости и международного права, я ставлю перед вами вопрос следующим образом:

Когда министерство торопило меня с покупкой этих ружей, необходимых Франции, *меня не остановили денежные жертвы*; вот уже три месяца как эти ружья у меня на складе, но на складе в Зеландии; и вам известно, что австрийское правительство обязало голландское воспрепятствовать их вывозу, не имея на это никакого благовидного предлога, единственно по праву силы, позволяющему безнаказанно совершать несправедливость по отношению к частному лицу. Таким образом, эти ружья находятся в *Тервере*. Они предназначены вам. И вот к чему сводится дилемма:

Нуждается ли Франция в этих ружьях? И, главное, заинтересованы ли вы в том, чтобы они не попали в руки наших врагов, которые добиваются их любой ценой, что *удвоило бы нашу потерю?* Тогда примите их от меня в Тервере, а не в Гавре, куда я не могу их доставить. Такова единственная поправка к нашему соглашению, которую я предлагаю; ибо я отнюдь не говорю вам: «Господа, расторгнем договор об этом оружии, заключенный между *де Гравом* и мною»; напротив, я предлагаю вам ускорить его выполнение и, чтобы *убедить* вас в том, что это возможно, предлагаю вам осуществить приемку оружия в порту, где оно все еще находится. В этом случае вы будете действовать как держава по отношению к державе и быстро добьетесь своего, потому что к вам отнесутся с уважением, тогда как мною пренебрегают.

Вы не желаете немедленно вступить во владение этим оружием, хотя, вероятно, это единственное средство помешать тому, чтобы его захватили силой, ежели я буду упорствовать в своем нежелании продать ружья на сторону? Тогда (я говорю это с величайшим сожалением) объявите мне, господа, *что вы более не нуждаетесь в оружии, что вы отказываетесь вступить во владение им, если поставка должна быть произведена в Тервере, и*

предоставляете мне право избавиться от него с наименьшими потерями и риском для меня.

Вынужденный отступить перед силой обстоятельств, я выложу на стол *Национального собрания* все купчие и письма, все обстоятельные доказательства моих патриотических усилий добыть оружие для Франции. И тогда я, с глубоким прискорбием, но будучи избавлен от необходимости продолжать далее тщетные попытки оказать эту услугу моей отчизне, меж тем как *ни один орган власти мне не содействует,* а мои собственные капиталы недосягаемы, связаны, заморожены с неисчислимыми потерями для меня,— я тогда напишу в Голландию: *«Уступите эти несчастные ружья на условиях, которые вам предлагают, это лучше, чем если они будут отняты силой, и нам, после всего сделанного, останется рассчитывать только на нескончаемый процесс против моего поставщика и Государства, по иску в насильственном изъятии, с одной стороны, и непоставке, с другой, из которого мне никогда не выпутаться».*

Не думайте, господа, что фиктивная передача вам оружия может вывести меня из затруднительного положения, в котором я нахожусь! Напротив, я таким образом пропущу время, *когда могу еще* изъять капиталы, так давно вложенные мною в это патриотическое предприятие. Она лишит меня последней возможности обменять на дукаты это оружие, в котором ваши враги нуждаются не менее вас, которого они не перестают добиваться, оскорбляясь моим неизменным отказом.

Что ждет нас, господа, если, воспользовавшись фиктивным договором, вы выступите на защиту моих прав в Голландии вместо того, чтобы отстаивать там ваши собственные, и не сможете переправить оружие в *Дюнкерк* к устраивающему вас сроку? Вы выиграете хотя бы то, что помешаете врагу воспользоваться им против вас в этой войне; я же, лишенный всех средств, получу в вознаграждение за мою службу отечеству *лишь чудовищное количество оружия, которое не смогу никому продать, поскольку оно уже никому не будет нужно!* Я буду разорен, уничтожен; вы, разумеется, этого не хотите.

Мне возражают, господа, что, расторгая договор, заключенный со мной г-ном *де Гравом,* вы берете на себя ответственность!

Да, вы понесете ответственность, если, расторгнув купчую, допустите продажу противникам оружия, купленного для вас. Но не в том случае, если вы заключите взамен бесповоротную сделку, гарантирующую вам, что оружие не достанется противнику; поскольку оно будет признано *национальным достоянием,*

голландцы уже не посмеют (если только они не объявят вам войны) открыто терпеть, чтобы вам на их территории было нанесено оскорбление столь серьезное, коего сообщниками они окажутся! Вот как должен быть поставлен вопрос об *ответственности министров* в этом деле.

Что касается вчерашнего совещания, то вот его краткое резюме. Я предложил вам, господа, поставить оружие — *в самом деле, а не фиктивно — в Тервере,* а не в *Гавре,* по мотивам, изложенным выше; в противном случае вы должны заявить, что расторгаете договор, заключенный *де Гравом, что не нуждаетесь более в оружии для Франции, предоставляете мне полную свободу вернуть себе вложенные средства, где, когда и как это окажется возможным, и выплачиваете должную неустойку!* Умоляю вас, господа, благоволите не задержать ответ; ибо я *подвергаюсь ужасным опасностям, которых вовсе не заслужил мой горячий патриотизм!* Вы были столь добры, что сами признали это вчера.

Примите, господа, заверение в искреннем уважении достойного и весьма удрученного гражданина.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

Три дня я не получал никаких сообщений. Я попросил г-на *де Лаога* зайти в *министерство иностранных дел.* В ответ он принес известие, что на тот же вечер назначена его встреча с тремя объединенными комитетами: дипломатическим, по военным делам и Комитетом двенадцати.

— Ну что ж! Поглядим,— сказал я ему,— насколько чистосердечны министры: комитеты ведь следят за ними не менее пристально, чем я.

Лаог отправился на заседание комитетов; он объяснил там (ко всеобщему удивлению), каковы препятствия — *французские и голландские,*— задерживающие ружья в Тервере. Содержание его речи (почерпнутое из моего письма министрам, из моего прошения голландскому правительству и жалкого ответа этого последнего, положенных на стол) ясно осветило дело и показало его неотложность; его выступление, его выводы сводились к следующему: что для меня, *как купца, гораздо выгоднее, чтобы мне вернули право распоряжаться моими ружьями*; что в этом случае я через неделю верну пятьсот тысяч франков ассигнациями, *которые мною были получены,* так как в течение четырех дней со мной рассчитаются наличными в дукатах *за всю партию оружия,* по ставке двенадцать с лишним флоринов за штуку. Он добавил, что ему самому предлагали тысячу луидо-

ров, и даже больше, чтобы он попытался меня к этому склонить. Но он заверил господ членов комитетов, что (как патриот) я предоставляю им решить, *нуждается ли Франция в этой партии оружия, исходя не из моих интересов,* но из интересов нации.

Можно ли было выразиться великодушнее от моего имени?

Затем г-н *де Лаог* выслушал чтение лестного для меня письма нашего посланника в *Гааге,* которое г-н *Шамбонас* имел справедливость направить трем комитетам. Да, *лестного для моего патриотизма!* И стяжавшего мне то горячее одобрение комитетов, о котором я упоминал в своей защитной петиции. Вот это письмо; я испросил его точную копию в *министерстве иностранных дел,* когда оно еще не относилось ко мне так *странно,* как это повелось с момента воцарения в нем г-на Лебрена.

«От господина де Мольда господину Дюмурье, министру иностранных дел.

Дано в Гааге, 2 июня 1792, 4-го года Свободы.

Сударь!

Сие письмо будет Вам вручено г-ном *де Лаогом,* компаньоном г-на *Бомарше* в деле покупки ружей, находящихся в Тервере. Все попытки получить разрешение на их вывоз, сделанные им до сих пор, были безуспешны, несмотря на проявленное им рвение. Но я обязан воздать должное его патриотизму, как и патриотизму г-на Бомарше, отметив, что они отвергли все предложения, чрезвычайно выгодные и позволявшие с прибылью покрыть затраченные капиталы, потому только, что эти предложения исходили от врагов нашего государства.

Я спешу воздать им справедливость, не сомневаясь, что Вы примете это во внимание, тем более что, страдая сами от оттяжки возврата затраченных ими средств, они своими неизменными отказами оказали неоценимую услугу нации, воспрепятствовав, по крайней мере, тому, чтобы это оружие попало в руки врагов.

Полномочный посланник Франции в Гааге.

Подпись: *Эмм. де Мольд».*

Я попросил также министерство иностранных дел передать мне письмо, которое министр *Шамбонас* направил председателю комитетов, посылая мою памятную записку; я привожу его здесь для полноты моей защиты, на Ваше усмотрение, *Лекуантр,* и без каких бы то ни было вымарок. *Вот оно:*

«Министр иностранных дел трем объединенным комитетам.

11 июля 1792 года.

Господин председатель!

В момент, когда три комитета — по военным делам, дипломатический и Комитет двенадцати — собрались, чтобы обсудить средства укрепления внутренних сил империи, мне представляется уместным предложить на их рассмотрение вопрос, в равной мере сложный и насущный, в отношении которого министр мог бы высказаться уверенней, *зная мнение о нем членов этих комитетов.*

Направляя Вам, господин председатель, ясную и краткую памятную записку, полученную г-ном Лажаром и мной от г-на Бомарше, негоцианта и собственника шестидесяти тысяч ружей, о которых в этой записке идет речь и вывоз которых весьма затруднен в связи с объявлением войны, *я полагаю, что могу не останавливаться на подробностях этого дела, заверив Вас только, что все патриотические усилия негоцианта, предпринимаемые на протяжении трех долгих месяцев, оказались совершенно безуспешными, хотя он сделал все, доступное частному лицу, принеся в жертву даже свои собственные интересы.*

Он имеет все основания требовать скорейшего решения: Вы поймете это, ознакомившись с запиской; чиновник, с которым я имею честь вам ее направить, один только может дать дополнительные разъяснения; они полностью удовлетворят три объединенных комитета. Этот чиновник сам вел в Голландии переговоры по делу от имени г-на Бомарше, его друга, как с поставщиком, правительством и адмиралтейством, *так и с нашим посланником в Гааге, на которого моим предшественником было специально возложено поручение востребовать это оружие, являющееся собственностью французского купца и незаконно задерживаемое в Голландии;* он настоятельно требовал восстановления попранных прав Франции. Это дело чрезвычайной важности, по двум причинам: во-первых, необходимо ввезти наконец во Францию оружие, *затребовав его, как перешедшее в собственность нации,* во-вторых, необходимо, главное, помешать тому, чтобы враги завладели им силой, каковая угроза возникнет, если оно пребудет и далее собственностью простого купца.

Я полагаю, что было бы опасно обсуждать этот вопрос в *Национальном собрании* из-за неизбежной огласки; но если Вы, господин председатель, *соблаговолите осведомить меня о мнении комитетов,* я немедленно отправлю г-на *де Лаога,* привез-

шего денеши нашего посланника в Гааге, с тем чтобы этот последний тотчас сделал все необходимое для пресечения несправедливости, которая *наносит нам такой ущерб.*

Подпись: *Шамбонас».*

Каков бы ни был этот министр, он не мог действовать достойнее.

Вечером я узнал от г-на *де Лаога,* что комитеты пришли к общему выводу о необходимости принять то, что было названо *«моими щедрыми предложениями»,* которые каждый расценивал в душе как выражение истинного патриотизма. Г-ну де Лаогу сказали, что обоим министрам будет направлено *«мнение трех объединенных комитетов».* Слушая его, я испустил вздох облегчения. «Благословен господь,— сказал я себе,— люди не всегда несправедливы и жестоки! И у Франции будут ружья».

Опасаясь, как бы дело не запамятовали, я тут же составил записку:

«Господам членам трех объединенных комитетов — по военным делам, дипломатического и Комитета двенадцати,— а также военному министру и министру иностранных дел.

16 июля 1792 года.

Господа!

Если вы считаете, что в деле с ружьями, задержанными в Голландии, я вел себя так, что любой из вас мог бы гордиться подобным поведением, прошу вас об одном вознаграждении: *не ставьте меня перед чудовищной необходимостью уступить требованиям врагов государства!*

Я умру от огорчения, если после всего, что я сделал, чтобы отнять у них эту возможность, ваше решение поставит меня перед позорной необходимостью позволить им завладеть оружием, *предназначенным для наших доблестных солдат.*

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы этому помешать; остальное в ваших руках.

Примите и пр.

Подпись: *Бомарше».*

На следующий вечер министры сказали мне, что мои предложения приняты объединенными комитетами *с большой благодарностью.* Они были столь порядочны, что ознакомили меня, по моей настоятельной просьбе, с *«Особым мнением трех объ-*

единенных комитетов», копию которого я умолял дать мне, дабы, внимательно ее изучив, действовать в согласии с ним, *так тронут я был тем, что меня наконец услышали.*

Вот оно:

«16 июля 1792 года.

Мнение Комитета двенадцати и объединенных комитетов.

1. Дабы соблюсти выгоду нации и сохранить возможность вывоза ружей; 2. дабы воздать по справедливости негоцианту, купчую с которым надлежит рассматривать как расторгнутую по не зависящим от него обстоятельствам, но который тем не менее не использует своих прав и отказывается от значительной прибыли, ради того чтобы сохранить это оружие для нации,

Было решено:

1. Что не следует приобретать, принимать в Тервере и востребовать затем, как национальную собственность, это оружие; что лучше предпринять решительные действия от имени нации, но в защиту негоцианта и потребовать возмещения убытков, причиненных ему нарушением международного права; *действуя при этом с предельной энергией и настойчивостью.*

2. *Признать юридически, предложив военному министру и министру иностранных дел оформить это должным образом,* что выполнение купчей, заключенной с г-ном де Гравом, и поставка оружия в Гавре неосуществимы *по не зависящим от поставщика причинам,* в связи с внезапным объявлением войны и нарушением международных прав частного лица, и, следственно, эта купчая должна считаться *фактически расторгнутой;* но, поскольку нации выгодно, *чтобы негоциант, который из патриотических побуждений предпочел пойти на риск, поставив под угрозу свое состояние, и не использовал преимуществ,* вытекающих из расторжения сделки,— средства, вложенные им в это дело и остающиеся в нем *только с его свободного согласия,* должны быть гарантированы вне зависимости от развития событий, дабы он не потерпел убытка.

3. Новое соглашение надлежит заключить безотлагательно, предусмотрев в нем *все возможности компенсации негоцианту, вне зависимости от обстоятельств,* ибо, в противном случае, он будет вынужден отдать оружие врагам и не может никоим образом быть принужден к выполнению купчей, заключенной с г-ном де Гравом.

4. Каким бы образом ни оставались *заморожены средства негоцианта, он вправе требовать,* как соответствующей компен-

сации за эти деньги, начисления *торгового или промышленного процента* с момента, когда, *по не зависящим от него обстоятельствам,* сделка оказалась неосуществимой и, *следовательно,* расторгнутой.

5. Надлежит заключить новую купчую: первую следует рассматривать как не имевшую места, *залог надлежит вернуть,* а с негоциантом вести переговоры, как с собственником оружия, находящегося в *Тервере,* которое он обязуется не продавать никому, кроме нации; обусловив, что нация *обязуется взять это оружие в любое время*; обусловив, что, если против нашей торговли будет вестись война и *достояние купца будет захвачено* на голландской территории, ущерб понесет нация; ибо только это может служить достаточным обеспечением вложенных им средств».

Такова, о гражданин *Лекуантр,* основа опороченного договора, который был заключен министрами.

— Теперь осталось одно,— сказали они мне,— придать этим пожеланиям форму нового договора. Но если предположить, что вы уже сейчас передаете нам право собственности на оружие, избавляя нас тем самым от опасений, что оно попадет в руки врага, согласитесь ли вы, чтобы в том же договоре было предусмотрено, что расчет будет произведен только тогда, когда окажется возможным доставить оружие во Францию, *считая за самый крайний срок момент окончания этой войны и прекращения всех военных действий?*

— Господа,— сказал я им,— извините меня: то, что вы предлагаете, ставит меня в зависимость от случайности еще более опасной, нежели возможное падение ассигнаций; ибо, продлись война десять лет, я окажусь на десять лет без торговых средств. Этого предложения я принять не могу; его не примет ни один негоциант.

— Но поскольку ваши деньги заморожены, вам будут выплачиваться,— сказали министры,— *в соответствии с «Мнением трех объединенных комитетов»,* проценты, *торговые или промышленные,* по вашему усмотрению, каждому понятно, что вы на это имеете право. Таково суждение всех этих господ, вы должны распорядиться.

— Не существует приемлемых процентов, господа, которыми можно было бы компенсировать негоцианту отсутствие средств на протяжении *неопределенного времени.* Какое право на эти ружья останется у меня после того, как я передам их

вам там, где это только и возможно? Они будут вашей собственностью. Почему вы предпочитаете выплачивать мне *промышленный процент, которого я у вас не прошу, вместо того чтобы действительно рассчитаться со мной, что справедливо и чего я прошу?*

— Ах, да потому,— сказали мне,— что соблазн получить деньги возможно раньше побудит вас не ослаблять усилий, чтобы вызволить их оттуда, как если бы эти ружья, которые мы востребуем как ваши, действительно еще вам принадлежали.

— Господа, все мои усилия тщетны, если вы не присоедините к ним ваших. И если вы желаете удержать мои средства после того, как я передам вам право собственности, ради того чтобы подогреть мое рвение (хотя после тех огромных жертв, на которые я пошел, в нем нет никаких оснований сомневаться), я пойду и на это; но я отказываюсь определять, каков должен быть *торговый процент* при такой странной и *глубоко мне отвратительной* мере предосторожности с вашей стороны. Вычислите его сами, вы или комитеты. Я ставлю лишь одно условие. Я претерпел такие утеснения, что опасаюсь оказаться, если вас сменят, во власти других министров, *таких, каких вдобавок я уже знавал*; в один прекрасный день они попросту откажут мне в моих правах, мне это испытание слишком знакомо: я уже хлебнул досыта!

Я прошу, чтобы тотчас по получении вами оружия в Тервере, когда вы окончательно убедитесь, что владеете им, и избавитесь от опасений, что я могу продать его когда-либо кому-нибудь другому,— деньги, предназначенные в уплату за него, были бы *положены на хранение у моего нотариуса,* чтобы гарантия была взаимной и чтобы меня не ждали в дальнейшем всякие пакости, вроде *запретов и патентов,* и, главное, чтобы мне не пришлось месяцами хлопотать о получении того, что мне причитается. Я прошу также, чтобы ваше право владения исчислялось с момента моего договора с г-ном *де Гравом,* поскольку я трачусь на проценты, складские расходы и всякие прочие выплаты,— именно с того момента. На этих условиях — я не возражаю.

Вновь было испрошено мнение комитетов. *Помещение денег на хранение было сочтено требованием справедливым, поскольку я передавал право владения,* и надлежащий акт был составлен в канцелярии этих министров. У меня есть его черновик с чернильными и карандашными *пометками* военного министра и одного из столоначальников на полях. *Лекуантр,* я вручу его вам, он у меня в портфеле. Этим-то портфелем, где

содержатся все мои доказательства, я и хочу вас обольстить и подкупить, *вас и Конвент,* пусть еще раз окажется прав некий великий *газетчик,* отлично известный вам всем!

В качестве лица, которое может принять оружие в Тервере, был предложен г-н *де Мольд, как генерал-майор, опытный в такого рода делах,*— на него уже столько раз возлагалась закупка оружия! Я принял предложение с удовольствием, хотя знал его только понаслышке, как человека сведущего.

Что касается вопроса о *торгово-промышленном проценте на мой замороженный капитал,* то он, как мне сказали, долго обсуждался в комитетах.

— Поскольку вы отказались говорить на эту тему и положились на их решение, вам предлагают,— сказал мне один из министров,— пятнадцать процентов; отвечайте напрямик: вы согласны?

— Господа,— сказал я им,— если это возмещение за мои денежные жертвы Франции, поскольку я отдаю вам мои ружья по первоначальной цене, хотя я и мог бы получить за них гораздо больше, то я на это *не согласен,* потому что предлагаемое возмещение никак не соразмеряется с жертвой, а также потому, что я не беру платы за поступок, совершенный по повелению гражданского чувства. Если же это *торговый процент* на мои деньги, удерживаемые вами вопреки моему желанию и *по непонятным для меня причинам,* то вы куда больше меня обяжете, если заплатите сразу по получении оружия и сбережете *ваши проценты,* которые для меня чистое разорение. Для дела нужны капиталы, проценты годятся одним бездельникам. Что касается расчета со мной только по окончании войны, то я и на это не могу согласиться, если вы не вернете мне часть денег и не дадите тем самым возможность продолжить главное дело, начатое мною помимо собственной воли. А лучше всего было бы, чтобы со мной просто расплатились без всяких процентов, предлагаемых вами в качестве возмещения убытков: ибо ни один заем из сделанных мною ради этого несчастного дела не обошелся мне, если учесть все расходы, в процент, до такой степени ничтожный, как предлагаемый вами за удержание моих денег *на неограниченное время.* Размер этой потери не поддается исчислению; спросите все купеческое сословие.

Господин *Вошель* из артиллерийского управления, который был докладчиком по делу, взял слово и сказал, что, если я соглашусь принять проценты, предлагаемые мне взамен задер-

живаемого *капитала,* то мне выплатят *сто тысяч флоринов наличными* в счет стоимости оружия, при условии, что я приму поручения к оплате на разные сроки.

После недолгого спора я, к сожалению, вынужден был уступить. Бланки акта были заполнены, и мы разошлись с тем, что будут подготовлены четыре одинаковых его экземпляра: один — для *военного ведомства,* другой — для *ведомства иностранных дел,* третий — для *архива трех объединенных комитетов,* и четвертый — для *меня.*

На следующий вечер мы вновь собрались в здании военного министерства — министры, господа Вошель, де Лаог и я,— чтобы со всем покончить.

Таковы были, Лекуантр, обстоятельства этих переговоров. Сильно ли я повлиял на решение, шедшее вразрез со всем, чего я хотел, и оставлявшее за мной одно преимущество — возможность гордиться понесенными жертвами? И поистине, следует сказать напрямик, что *если министры и были в чем-либо виноваты, то и три комитета были ничуть не более невинны.*

Итак, после долгих прений договор был наконец заключен. Вы увидите, о граждане, к чему впоследствии прибегли, чтобы, нарушив все его статьи, поставить меня перед трудностями, которые превосходили все, что я претерпел прежде.

Договор был прочитан, и мы уже должны были его подписать, когда г-ну Вошелю (мне редко доводилось встречать человека, который умел бы так ловко вставлять палки в колеса) пришло в голову, что на случай, если моему нотариусу вдруг понадобится крупная сумма и ему, в свою очередь, придет в голову похитить деньги, положенные на хранение, необходимо обусловить, на кого падет ущерб,— на нацию или на меня.

Я почувствовал, что это возражение может повлечь за собой целый месяц бесполезных словопрений во вред делу. Я разрешил это затруднение, сказав г-ну Вошелю, что ущерб не падет ни на кого, поскольку у нотариуса будут помещены на хранение не флорины, *которых у нас нет,* и даже не ассигнации по курсу флорина, но обмененные векселя на определенную сумму, которые будут рассчитаны *в присутствии министров по самому высокому курсу* (как это делается по английским законам); затем они будут переписаны на мое имя и положены у нотариуса, который, как вы видите, будет *лишен возможности злоупотреблять ими*; по истечении срока годности они будут обновляться с соблюдением тех же формальностей, и так вплоть до момента выплаты, как долго бы он ни оттягивался, когда будет произведен перерасчет с учетом *падения или повышения* курса. Как

видите, я забегал вперед, предупреждая все возможные трудности.

Все сочли это разумным. Тогда г-н Вошель, видя, что его прижали к стенке, обратился к министрам:

— Придется сказать господину Бомарше истинную причину затруднений. *Военное ведомство не располагает достаточными средствами, чтобы выпустить из своих рук такую огромную сумму задолго до ее выплаты.*

— В силу какой же извращенной идеи,— ответил я молниеносно,— вы хотите, чтобы я оставил в ваших руках мои средства, обрекая их на бездействие и произвол злого умысла, если *само французское правительство* не считает себя достаточно богатым, чтобы рискнуть на это? Господа, это кладет всему конец. Позвольте мне уйти.

Я поднялся. Вошель остановил меня, говоря, что я неправильно истолковал его намерения; что никто не хотел вырвать у меня согласие силой, поскольку вопрос о помещении денег на хранение у моего нотариуса *урегулирован с комитетами*; но что после того, как я уже стольким благородно пожертвовал, *мне не след рассматривать как жертву знак доверия к французскому правительству*; никто не хочет меня обманывать; мне будут бесконечно обязаны; для того чтобы побудить меня решиться, они готовы, если я хочу, дать мне сейчас на ведение дела *не сто тысяч флоринов*, а *двести*, при условии, что я соглашусь получить векселя на срок, с датами по договоренности, что соответственно уменьшит *торговый процент*, который, кажется, меня раздражает. Голова моя горела! Я молча метался по кабинету министра, куда то и дело входили люди,— я тщетно искал разгадку. Я был в ужасном замешательстве.

Что это? Ловушка? Истинное положение вещей? Оба министра, которые, я должен отдать им справедливость, были тут совершенно ни при чем и которых новое препятствие поразило не меньше меня, заверили, что доложат обо всем в точности *собранию комитетов* и что комитеты воздадут мне честь, как достойному гражданину.

Господин Вошель, считая дело заметанным, хотя никто о том не обмолвился ни словом, унес акты, чтобы их переделать к завтрашнему дню и, убрав слова *«деньги будут положены у моего нотариуса»*, вписать, что я получил *двести тысяч флоринов вместо ста.*

Что до меня, то я ушел в нестерпимом смятении. Я хотел писать министрам, умоляя их считать сделку несостоявшейся, прося их вернуть мне мое слово. Но ведь они вели себя так до-

стойно! Мое непреоборимое отвращение могло быть повернуто против меня, превратно истолковано как намерение, взяв назад данное слово, предпочесть вражеское золото благу отчизны.

Наконец, так ничего и не решив, я пошел на следующий вечер к г-ну *Лажару*. Г-н *Вошель* прочел новый акт, каждый из нас сверил свой экземпляр. Я, как мертвец, выкопанный из могилы, взирал на г-на Вошеля, ожидая, пока все будет кончено. Докладчик дал акт на подпись министрам; настал мой черед; я колебался; меня торопили; я молча подписал. Г-н *Вошель* засунул один из четырех экземпляров в карман; я попросил *ордера на получение денег;* сев за стол, г-н *Вошель внезапно вспомнил,* что ему вручен протест некоего господина Провена и что, пока его арест не снят, ни один министр,— сказал он,— не может выдать мне денежный ордер.

— Но, сударь,— сказал я горячо,— вы заставили меня признать в акте, что *я получил деньги наличными.*

— Это ничего не меняет,— сказал он,— необходимо только составить дополнение к акту, в котором будет сказано, что, *в связи с данным протестом, вы ничего не получите, пока он не будет снят.*

— Господа,— сказал я,— этому *Провену* дважды было отказано. У него не может быть ко мне претензий, я никогда не имел с ним дела: он просто орудие, которым воспользовались за неимением другого, чтобы любым путем мне помешать. Он требует восемьдесят тысяч франков с моего брабантского поставщика, который пишет, *что ничего ему не должен.* Но при чем тут мое дело, имеющее столь важное значение и затрагивающее государство и меня? Удержите, если хотите, сто тысяч франков или сто пятьдесят тысяч; но не губите сами то, в чем вы жизненно заинтересованы, ставя нас всех в зависимость от этого человека; он ведь до вынесения окончательного приговора, которым ему будет отказано, может воспользоваться по закону тысячью и одной отсрочкой.

— Сударь,— сказал мне г-н *Вошель,*— этого министр сделать не может; но добейтесь, чтобы опротестователь объяснился перед судом относительно максимальной суммы его претензий к вашему поставщику, независимо от того, обоснованны они или нет; возьмите о том выписку; тогда можно будет выполнить вашу просьбу.

— Нет, нет, сударь,— сказал я ему,— лучше расторгнем наши договоры, и пусть о них даже не вспоминают! Через неделю, самое позднее, вы получите *свои пятьсот тысяч ливров* и вернете мне мои денежные бумаги.

— *Акт, подписанный министром, не рвут,*— сказал г-н Вошель.— Эти отсрочки перед вынесением окончательного решения — дело двух недель; неужели из-за двухнедельной оттяжки вы хотите уничтожить акт, стоивший вам столько хлопот?

Тем временем он хладнокровно составлял дополнение к акту, подписанному нами всеми, где было сказано, что я *не получил никаких денег.* Вы увидите, граждане, как были впоследствии использованы *мои расписки в этом проклятом акте,* не говоря уж об *ограничительном дополнении,* которое отменяло действие акта. Вы содрогнетесь вместе со мной.

Меня заставили против моей воли подписать дополнение, и я, взбешенный, пошел домой размышлять *(слишком поздно)* о том, как следовало поступить, прихватив черновик первого акта с *пометками министра,* в котором помещение денег на хранение у моего нотариуса обусловлено как нечто решенное. Я вручу его вам, *Лекуантр.*

Это было 18 июля. По делу Провена уже вынесли решение; *мой адвокат утешал меня, говоря, как и Вошель: это дело двух недель!* О граждане, взгляните на ваши прекрасные законы! 1 декабря, через шесть месяцев после протеста, все еще не видно было конца отсрочкам судебного постановления; а когда они наконец истекли, когда Провена приговорили к возмещению мне всех *проторей и убытков,* его заставили обжаловать решение. Это тянется вот уже девять месяцев, и одному богу известно, когда кончится.

Мы впоследствии употребили все средства, чтобы заставить этого человека, *как советовал Вошель,* заявить перед судьей, в судебном заседании, к какой сумме *по самому высокому исчислению* сводятся его ложные претензии к брабантцу, моему поставщику, чтобы, воспользовавшись его заявлением, оставить эту сумму в национальном казначействе вплоть до окончательного приговора и просить о выдаче мне остальных денег. Но он был слишком хорошо натаскан! Этот человек не выходил за пределы невнятного и немотивированного *протеста.* И это мой обвинитель именует моим признанием прав Провена.

Разве мое стремление всеми средствами принудить государство произвести мне выплату, несмотря на этот иллюзорный протест, было признанием его правомочности? И мог ли я не уступить, если мне в этом отказывали, несмотря на подписанный всеми *акт,* где содержалась *моя расписка в получении сумм, которых я на самом деле вовсе не получал?* Что оставалось мне делать, будучи поставленным в такое положение, как не удостоверить, подписав ограничение, хотя бы то, что протест этого

человека, с которым меня ознакомили уже после подписания акта, *отказавшись этот акт расторгнуть,* помешал выплате мне денег, поскольку дополнение, подписанное всеми, не подтверждало противного, и сейчас, возможно, стали бы утверждать, что я эти деньги получил, раз *в акте содержится моя расписка?* Почему я не мог вновь получить в руки этот акт, чтобы разорвать его на тысячу кусков, когда у меня открылись глаза! Все чудовищно в этом деле...

Остановимся на этом! Я чувствую, что читатель устал. От возмущения, вновь закипевшего во мне, я и сам не в состоянии продолжать с должной умеренностью.

Что же я выиграл, *Лекуантр,* пожертвовав интересной для меня *продажей оружия за границу ради интереса, гораздо более властного,— послужить отчизне?* Ничего, если не считать уверенности, что королевские министры, как и объединенные комитеты, отнюдь не стремились нанести ущерб национальным интересам и что палки вставляла нам в колеса только *банда, взявшая тогда силу в канцеляриях, а также народные министры.*

Но я? До чего довели меня? Я потерял свою собственность и принес в жертву родине выгодные предложения, сделанные *мне со стороны,* не получив взамен даже уверенности, что со мной рассчитаются, ибо меня вынудили отказаться *от помещения денег на хранение у моего нотариуса* под тем предлогом, что я получу возмещение в виде процентов с капитала, о которых *я не просил и из которых не получил ни одного су* (хотя г-на Лекуантра заверили, что мне было выплачено *в качестве процентов в соответствии с истекшим сроком* шестьдесят пять тысяч ливров), и затем, воспользовавшись гнусными протестами, они нашли возможность ничего мне не заплатить, наложив арест на все: на проценты, на капиталы, наконец на мои собственные деньги!

Но все это пустяки в сравнении с тем, что последовало далее. Ужас охватывает меня, но я начал и должен, несмотря ни на что, кончить. В следующих этапах вы увидите, о граждане! до чего может дойти в смутные времена злодейство, пребывающее в почете и осмеливающееся погубить безупречного гражданина, чтобы получить таким образом возможность незаметно обворовывать нацию, как это происходит повсюду. Горе тому, кто вынуждает меня входить во все эти чудовищные подробности! Они надеялись натравить на меня обманутый народ: пять раз ужасный кинжал угрожал моей жизни. Если они убьют меня сейчас, *им не удастся воспользоваться плодами* преступления: они разоблачены в печати.

Несмотря на тоску, охватившую меня, я обязан продолжить рассказ. О Лекуантр, если вы не пошлое орудие тайной мести! О Национальный конвент, который судил меня, не выслушав, и на справедливость которого я тем не менее возлагаю все мои надежды! О французы! Я обращаюсь к вам! Внемлите стойкому гражданину, я раскрываю вам истину, доселе таимую мной в национальных интересах и во вред собственному.

Таков ваш долг. Вспомните, как безоговорочно ставил я вопрос *в прошении:* если я не доказал, по-вашему, что предали родину как раз те, кто обвиняет меня,— *я дарю вам ружья!* Если же мои доказательства кажутся вам убедительными, я жду, что вы воздадите мне по справедливости.

Набросьтесь же с жадностью, о граждане! на скуку этих словопрений! Я пишу вовсе не для того, чтобы вас потешить, но для того, чтобы вас убедить; и вы, дерзну сказать, в этом заинтересованы больше, чем я сам. Меня не в чем упрекнуть, я могу лишь потерпеть убыток на этих ружьях; вы же, отказавшись от них, не только нанесете себе огромный ущерб, но и совершите еще бóльшую несправедливость.

Внемлите мне также и вы, рукоплескавшие ложному обвинительному декрету против меня; точно он возвещал победу, одержанную отечеством, точно по каким-то сокровенным мотивам все рады были ухватиться за предлог раздавить меня!

О мои сограждане! В этой тяжбе между мною и вами есть две стороны. Я должен доказать свою правоту, дальнейшее от меня не зависит. Но вы, обманутые лживым докладом, вы должны пересмотреть свое решение и отнестись ко мне по справедливости; ибо Франция и Европа, зрители этого процесса, в свою очередь, положат на свои грозные весы и обвинителя, и обвиняемого, и судей.

Ни один из документов, прочитанных вами, не может быть отвергнут; все они подлинны, это *нотариально заверенные акты, судебные прошения и письма,* оригиналы которых *имеются в министерских канцеляриях.* Я рисую вам день за днем, и каждый из них вносил в дело свою лепту; и чем больше я стану вдаваться в факты, тем больше надеюсь приковать ваш интерес к этому важному делу, имеющему общественное значение. Уделите же мне внимание.

На следующий день после заключения контракта, столько раз подвергавшегося неожиданным изменениям, контракта, отнимавшего у меня все, ничего мне не давая, мой нотариус сказал мне:

— Вас обманули; в этом дополнении, которое стоит после подписей и оттягивает получение вами ваших собственных денег на какой им угодно срок, так же как и в предшествующем соглашении, нет ни слова о том, что вас вынудили пожертвовать *помещением на хранение ваших денег, которое было согласовано с тремя комитетами*; это условие так искусно изъято из акта, что в нем не осталось и следа вашей безмерной преданности.

— Я не могу поверить,— сказал ему я,— что это сделано предумышленно.

— Я не вижу также по этому договору,— сказал он,— на каких основаниях вы сможете просить дополнительные фонды, буде они вам понадобятся, или даже получить ваши *двести тысяч флоринов*, если на месте нынешних министров окажутся люди недоброжелательные. Я вижу, вас провели и, от уступки к уступке, заставили подписать акт, налагающий на вас тяжкие обязательства; еще более тяжкие, чем они посмели сказать, поскольку в нем даже не упоминается, почему вы пошли на жертвы, до такой степени извратившие смысл договора.

Я вернулся домой, убежденный, что совершил ошибку. Я трижды был захвачен врасплох неожиданными изменениями, внесенными начальником управления, который был докладчиком. Но министры вели себя так порядочно! — думал я. Неужели они откажутся подтвердить, что я вел себя как патриот и человек бескорыстный, принеся собственную безопасность в жертву интересам ведомства? Неужели они забудут свое обещание *воздать мне за это самую высокую честь перед лицом комитетов Национального собрания?*

Напишу им, не откладывая. Их поведение покажет, причастны ли они в какой-либо мере к нанесенному мне ущербу, входило ли в их намерения оказать услуги партии, именуемой *«австрийской»*, и помешать доставке ружей, задерживая мои деньги, без которых я не могу сделать ни шагу, и оставляя меня без каких бы то ни было доказательств того, что я пошел им навстречу и, по первой их просьбе, оставил у них в руках мои капиталы! Сердце мое сжимало, как тисками. Я взял перо и составил следующее письмо, исполненное трепета:

«Господам Лажару и Шамбонасу, военному министру и министру иностранных дел.

20 июля 1792 года.

Господа!

Договор, только что заключенный между вами и мной относительно шестидесяти тысяч ружей, столь несправедливо задерживаемых в Голландии, *дал вам новые доказательства того, что я продолжаю самоотверженно поступаться собственными интересами ради служения родине.*

Вы настаивали, господа, на том, чтобы я принес в жертву нынешним нуждам военного ведомства обусловленное ранее помещение на хранение у *моего нотариуса,* вплоть до окончательного расчета, той суммы, которую мне должны, в силу того же самого договора.

Господа, ружья, купленные и оплаченные мною наличными вот уже четыре месяца тому назад; чрезвычайные расходы, вызванные гнусным запретом, наложенным на оружие голландцами; займы, которые вынудило меня заключить на тягостных для меня условиях отсутствие средств, необходимых для ведения моих дел,— все это делает для меня совершенно необходимой уверенность, что мои деньги будут мне возвращены. Предпочтение, которое мой патриотизм оказывает Франции, уступая ей оружие в кредит и по самой низкой цене, в то время как наши враги непрерывно мне предлагают рассчитаться за него наличными по расценке, почти вдвое превышающей вашу (чему у вас есть все доказательства), дает мне, я полагаю, право требовать обусловленного нами ранее помещения на хранение денег, которые мне причитаются, как это следует из позавчерашнего договора: *ведь счел же г-н де Грав необходимым потребовать от меня при выдаче мне первого аванса обеспечения его моими пожизненными контрактами*; но вы, господа, выразили желание, чтобы я поступился моим правом, *пообещав, что военное ведомство придет мне на помощь, буде мне понадобятся новые средства для ведения дел еще до истечения предусмотренного срока окончательного расчета*; и я принес эту жертву.

Перечитав спокойно договор, я не нахожу в нем *и следа ни моей уступки, ни ваших обещаний на этот счет.* Что представлю я в подтверждение министрам, могущим сменить вас, господа, если *вы не дали мне никакого документа, который, упоминая о моей добровольной жертве, послужил бы мне рекомендацией в их глазах?* Поэтому я прошу вас, господа, обсудить и решить совместно с начальником артиллерийского управления, который

был докладчиком по этому делу *и в связи с высказываниями которого относительно теперешних нужд военного ведомства я и отказался от обусловленного ранее помещения денег на хранение,* повторяю, я прошу вас, господа, благоволите обсудить, в какой форме может быть мне дан документ, который поможет мне получить, буде возникнет необходимость, денежное воспомоществование, обещанное вами?

Пользуюсь случаем, господа, чтобы вновь выразить благодарность вам и высокочтимым членам трех объединенных комитетов — *дипломатического, по военным делам и Комитета двенадцати* — за весьма лестное свидетельство, которым вы все удостоили почтить мое гражданское бескорыстие, являющееся, на мой взгляд, всего лишь добросовестным выполнением долга; вы сделали бы то же самое, будь вы на моем месте.

Прошу вас принять, господа, заверения в почтительнейшей преданности доброго гражданина.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

Признаюсь, неприятное чувство страха не оставляло меня, пока я не получил от них ответа.

Вот какой ответ я получил назавтра, около полудня:

«Господину де Бомарше.

Париж, 20 июля 1792 года.

Чтобы избавить Вас, сударь, от какого бы то ни было беспокойства в связи с изменениями, внесенными *по нашей просьбе,* поскольку мы *потребовали,* чтобы был изъят пункт о *помещении на хранение* суммы, соответствующей стоимости ружей *в голландских флоринах, которую государство должно было передать Вашему нотариусу (точно так же, как Вы при получении аванса* в размере пятисот тысяч франков передали на хранение нотариусу военного министерства *пожизненные контракты на сумму в семьсот пятьдесят тысяч ливров),* и Вы согласились оставить эти *деньги в руках государства,* проявив полное к нему доверие, мы с удовольствием повторяем Вам, сударь, что по *единодушному мнению комитетов и министров,* Вы дали доказательства *патриотизма* и *истинного бескорыстия,* отказавшись получить от врагов государства по двенадцать — тринадцать флоринов наличными за каждое ружье, уступив их нам в кредит по цене восемь флоринов восемь су и ограничившись весьма скромным доходом при стольких жертвах; Ваше поведение в этом

деле *заслуживает самых высоких похвал и самой лестной оценки.* Мы вновь заверяем Вас, сударь, что в случае, если после пересчета, проверки, упаковки и опечатывания г-ном *де Мольдом* оружия, право владения на которое Вы нам передаете, и после получения нами как его описи, завизированной этим полномочным посланником, так и счетов на Ваши расходы, которые по договору должны быть возмещены Вам военным ведомством, *Вам понадобятся новые средства для улаживания Ваших дел,* военное ведомство не откажет Вам в выдаче таковых из *остатка нашего Вам долга,* как *мы о том договорились,* принимая во внимание, что Вы поступились помещением денег на хранение у Вашего нотариуса.

Примите наши уверения, сударь.

Подпись: военный министр *А. Лажар,*
министр иностранных дел *Сципион Шамбонас*».

Читая это письмо, я думал: они почувствовали, как я удручен, они поняли, что не должны ни минутой долее оставлять меня в таком состоянии. Да зачтется им это! Из груди моей вырвался вздох облегчения. Я еще не все потерял, сказал я себе; если даже новые препятствия помешают мне довести до конца это дело, оправданием мне будет, по крайней мере, то, что я приложил все старания: *похвалы, которых я удостоился, послужат* мне сладким утешением. Но, по совести, я обязан просить у всех прощения: меня ведь побудили заподозрить в недоброжелательстве весь Совет; я заподозрил обоих министров в намерении помешать доставке оружия, чтобы оказать тем самым услугу противной партии; этого нет и в помине! По счастью, я согрешил лишь в тайне сердца, и мне не нужно исправлять никаких ошибок, совершенных на людях: я раскаиваюсь и пойду завтра поблагодарить министров, этого достаточно.

Напрасно люди так опасливы! Ни Совет, ни министры отнюдь не хотели мне навредить, нет! Напротив, лишь здесь это важное дело и было взято под покровительство. Теперь я не стану доверять всяким слухам. Задержать ружья было бы таким вероломством, что по меньшей мере легковерно обвинять кого-либо в подобном преступлении по отношению к нации! Все это, как я вижу, *отместка канцелярий,* вся причина в сребролюбии: мне дали наглядный урок, что *не следует никогда творить добро, если это мешает им обделывать свои делишки и посягает на заведенный ход грабежа.*

Я *поехал обедать в деревню,* где задержался из-за недомогания. Через два дня мне сообщили, что министры *получили от-*

ставку; что военное министерство вручено *некоему г-ну Абанкуру*, а министерство иностранных дел — г-ну *Дюбушажу*. «О небо! — подумал я.— Тот, кто теряет одно мгновение, теряет его непоправимо. Промедли я день, и мне не удалось бы ничем подтвердить принесенных мною жертв!»

Поскольку в изменившихся обстоятельствах менялось и мое положение, то вместо того, чтобы адресовать начальнику артиллерийского управления упреки за все изменения, внесенные по его требованию в трижды переделанный акт, я счел должным поблагодарить его, напротив, за труды, которые он дал себе, чтобы завершить дело: все иное было ни к чему и могло лишь повредить мне. 25 июля я направил ему следующее письмо:

«Господину Вошелю.

Сего 25 июля 1792 года.

Имею честь, сударь, послать Вам из деревни, где я нахожусь, один из четырех экземпляров последнего договора, заключенного мною с министрами военным и иностранных дел *(это была копия, предназначенная объединенным комитетам)*. Я прилагаю также копию письма, которое я имел честь направить им уже после подписания, оно касается новых сумм, которые, буде в том возникнет необходимость для моих дел, я имею право получить, *коль скоро я поступился помещением на хранение у моего нотариуса всей суммы долга, как Вы знаете, приняв в соображение Ваши справедливые замечания.* Нотариус, однако, обратил мое внимание на то, что в договоре имеется моя расписка в *получении двухсот с лишним тысяч флоринов*; и что я согласился не получать их, пока не добьюсь снятия ареста, связанного с нелепым протестом, направленным против меня и врученным военному министру. Поскольку оба министра ушли в отставку, прошу Вас, сударь, сделайте мне одолжение, сообщите с ответной почтой, в какой форме должен я обратиться к новому министру, *чтобы получить эти двести тысяч флоринов.* Г-н Лажар, как Вы знаете, не дал мне ордера на выплату этой суммы; быть может, мне надлежит получить от нового министра предписание, *удостоверяющее, что я ничего не получил.*

Примите поклон от

Подпись: *Бомарше».*

Я прощупывал почву, так как хотел собрать побольше доказательств. Г-н Вошель ответил мне без обиняков:

«Париж, 27 июля 1792 года.

Я получил, сударь, письмо, которое Вы оказали мне честь написать и к которому были приложены копии Вашего нового договора, Вашего письма к г-ну Лажару и пр.

В Вашем договоре, действительно, имеется расписка на двести с лишним тысяч флоринов, как бы полученных Вами; однако ничто не служит более полным подтверждением того, что выплата не была произведена, как Ваше согласие, выраженное ниже, на отсрочку всех платежей до снятия ареста, вызванного опротестованием.

Что до исполнения Вашего договора, то оно не вызывает у меня сомнений, несмотря на то, что оба министра, его подписавшие, покинули свой пост. Тем не менее надлежало бы, чтобы Вы сами ознакомили с ним нового военного министра, предупредив его, что соответствующим образом оформленная копия Вашей сделки находится в артиллерийском управлении, которое, следственно, может дать ему обо всем отчет, а также осведомив его, что ордер на выплату не может быть Вам выдан, пока Вы не добьетесь снятия ареста *(здесь проглянуло его враждебное отношение)*. Вам придется, сударь, выполнить еще одну формальность перед получением денег: Вы должны оставить у нашего нотариуса заявление, что в дополнение к тем семистам пятидесяти тысячам ливров в денежных бумагах, что были даны Вами в залог при получении пятисот тысяч франков, Вы передаете нам все Ваше наличное и будущее достояние в качестве обеспечения и гарантии суммы, которую Вы имеете получить по предстоящему начислению.

Начальник четвертого управления военного министерства

Подпись: *Вошель».*

В этом пункте он был прав: пятая статья моего последнего договора предусматривала, что я дам закладную на все мое состояние в качестве обеспечения за деньги, которые получу, на срок, пока оружие не перейдет в руки г-на де Мольда; он же, в момент поставки, снимет эту ипотеку.

Таково было состояние дела, когда ушли эти министры. *Как только было бы отослано в Голландию торговое обеспечение,* которого с полным основанием требовал первый поставщик (поскольку он сам внес его) и которое министр обязался дать по статье 8-й, ничто в мире не могло бы уже помешать поставке оружия в *Тервере*. Какими бы тайными происками ни стара-

лись *помешать вывозу,* пусть они даже умудрятся нарушить все остальные условия, предусмотренные актом, *буде только* з а л о г *окажется выплачен, я смогу проделать остальное, прибегнув к займам, как бы они ни были тягостны.* Мне было поэтому необходимо отвести глаза недоброжелательству, показав, что я не требую ничего, кроме внесения *залога в размере пятидесяти тысяч флоринов,* и отложить все остальное до лучших времен; нужда в ружьях для наших безоружных волонтеров с каждым днем становилась все насущнее.

Воспользовавшись мнением, высказанным г-ном *Вошелем* в письме, я составил два обстоятельных обзора дела — один, предназначенный г-ну *д'Абанкуру,* второй для г-на *Дюбушажа;* я должен здесь возблагодарить бога за эти обзоры: *они хранятся во всех архивах.* Вот их краткое резюме:

Надлежит, не откладывая, внести залог, поскольку важно, чтобы оружие было востребовано французским посланником у голландского правительства возможно быстрее, в соответствии с статьей 8-й договора от 18 июля; надлежит тотчас составить инструкцию г-ну *де Мольду* и вручить ее г-ну *де Лаогу,* чей отъезд задерживается только из-за этого документа и паспорта; его ждет в *Дюнкерке* с 24 июня зафрахтованное на средства правительства судно, которое уже доставило его во Францию и на котором он должен отвезти г-ну *де Мольду* ответ на важные депеши, направленные с ним,— ответ, ожидаемый нашим послом в течение месяца.

Тщетные ожидания. Н и к а к о г о о т в е т а от г-на д'Абанкура. Н и к а к о г о о т в е т а и от г-на Дюбушажа. Но они исполняли свои министерские обязанности так недолго, что их трудно упрекнуть. Тем временем я досаждал так, что успел ему надоесть, *Бонн-Карреру,* на которого были возложены важнейшие дела министерства иностранных дел; я добивался, чтобы был выдан *залог,* а также паспорт для Лаога, коль скоро в чудовищном беспорядке тех дней, *к великому сожалению,* было не до депеш г-на де Мольда о *фальшивомонетчиках, которые выпускали ассигнации* и были заключены, по его настоянию, в тюрьму в Голландии, но их старались вырвать из его рук.

Я до того намозолил глаза *Бонн-Карреру,* что в одно прекрасное утро он вышел из своего кабинета и спустился к министру, чтобы уладить с ним вопрос об обеспечении, требуемом г-ном *Дюрвеем* для выдачи *залога,* но когда он взялся за дверь, ему на моих глазах вдруг стало так плохо, что я, забыв обо всем, поспешил оказать ему помощь и не думал уже ни о чем, кроме этого злосчастного приступа, который уложил его на

десять дней в постель и надолго задержал отправку желаемого залога.

Вернувшись домой, я подумал: вот уж, поистине, проклятье! Люди, события, сама природа — все против меня.

Тридцать первого июля я все же добился паспорта для г-на де Лаога и короткого письма, адресованного г-ну де Мольду; *залогом, однако, и не пахло.* Все было в таком чудовищном беспорядке, что больше четырех часов ушло на тщетные поиски депеш г-на де Мольда и на то, чтобы найти в столе некоего г-на *Лебрена* документы на шесть тысяч флоринов, данных в долг от моего имени этому послу, когда он арестовал фальшивомонетчиков, поскольку мне необходимо было получить хотя бы эти деньги, без которых г-н де Лаог не мог выехать, так как на все остальные был наложен арест.

Задолжай мне эти деньги военное ведомство, я ничуть не сомневаюсь, что неумолимый г-н *Вошель* отказал бы в моей просьбе, сославшись *на протест господина Провена!*

Я сказал всем, что г-н Лаог уезжает, чтобы наладить доставку ружей. Поскольку он не трогался из Парижа, ожидая вместе со мной этого нескончаемого залога, пошли разговоры, что я задерживаю г-на де Лаога и явно не хочу, чтобы в момент, когда враг вступил во Францию и нашим солдатам повсюду не хватает оружия, оно было доставлено! Меня предупреждали со всех сторон.

Я попросил моего друга отправиться в *Гавр* и подождать там, пока мне удастся преодолеть все препоны, связанные с чудовищным беспорядком министерского делопроизводства, чтобы его отъезд умерил народное возмущение. С грустью покинул он Париж, умоляя меня не успокаиваться, пока я не добьюсь залога, без которого все его шаги будут напрасны.

Наконец 7 августа, в первый же день, когда г-н *де Сент-Круа* появился в министерстве *иностранных дел,* я направил ему письмо, которое надлежит привести здесь, дабы показать, что, пока меня обвиняли в измене гражданскому долгу и предательстве, я ни на минуту не прекращал своих усилий.

«Господину де Сент-Круа, министру иностранных дел.

Париж, 7 августа 1792 года.

Сударь!

Посылая Вам памятную записку, ранее врученную г-ну Дюбушажу, о состоянии такого неотложного дела, каким является доставка голландских ружей, я имею честь Вас заверить,

что вот уже четыре с половиной месяца каждый пустяк, связанный с этими ружьями, стоит мне двухнедельных просьб и по меньшей мере двадцати бесполезных посещений министерства; это какое-то проклятье. Вот Вам последний пример.

Восемнадцатого июля оба министра — *министр иностранных дел и военный* — подписали наконец акт, *обязывающий правительство немедленно вручить залог в размере пятидесяти тысяч немецких флоринов* моему голландскому поставщику, который, будучи, в свою очередь, связан обязательством направить эти ружья в Америку, данным покойному императору *Леопольду, не может завершить дела без этого залога.* Так вот! То ничтожное обстоятельство, что до сих не установлено, какое обеспечение надлежит дать *г-ну Дюрвею, взявшему на себя внесение залога, уж обошлось нам в девятнадцать дней задержки и тридцать бесполезных посещений министерства,* а г-н де Лаог, который должен был этот залог доставить, так и не смог выехать из Франции, чтобы довести дело до конца, хотя каждый потерянный час *дорого стоит нашей отчизне, громогласно требующей оружия!* Более того, каждый день угрожает мне обвинением в том, что я задерживаю его отъезд (как утверждают, только так можно заставить меня самого донести на истинных виновников этой задержки). Я бьюсь, таким образом, между препонами или забывчивостью, с одной стороны, и недоброжелательством, с другой, и вынужден был выдворить г-на де Лаога из Парижа, чтобы его, по крайней мере, здесь не видели. Он ожидает в Гаврском порту; я же умоляю Вас, сударь, уделить мне всего четверть часа, чтобы покончить с обеспечением, которого *требует от Вас г-н Дюрвей.* Я позволяю себе досаждать Вам, движимый только чувством чести и любовью к отечеству, поскольку дело о ружьях стало личным делом правительства.

В момент, когда хватаются за любой предлог, чтобы обвинить министров, не станем подавать жгучему недоброжелательству столь серьезных поводов.

Давайте действовать, я заклинаю Вас. Я жду ваших распоряжений с нетерпением, от которого моя кровь вскипает, как кровь *святого Януария!*

Примите почтительный поклон от

Подпись: *Бомарше».*

С 7 по 16 августа я не получил ответа ни от кого: ни один министр мне не написал, зато заговорил народ. В ужасный день 10 августа жители Сент-Антуанского предместья кричали,

шагая по улицам: *«Как нам защищаться? У нас есть только пики и нет ни единого ружья!»* Агитаторы твердили им: «Этот негодяй *Бомарше,* этот враг отечества задерживает шестьдесят тысяч ружей в Голландии, это он препятствует их доставке». Другие, подобно эху, откликались: «Нет, все обстоит куда хуже! Он прячет *эти ружья в своих подвалах,* они нужны, чтобы нас всех уничтожить!» А женщины, надрывая глотки, вопили: *«Подожечь его дом!»*

В субботу 11 августа ко мне пришли утром сказать, что враги с адским умыслом морочат голову женщинам у ворот Сен-Поль, настраивая их против меня; и если будет так продолжаться, не исключено, что народ из предместий явится грабить мой дом.

— Я ничем не могу им помешать,— ответил я,— моим врагам только это и нужно. Но пусть будет спасен хотя бы этот портфель с оправдательными документами: если я погибну, его найдут.

О французские граждане! В этом портфеле были бумаги, с которыми я вас только что ознакомил, а также те, которые последуют.

Нужно ли повторять то, что было напечатано об этом событии в августе прошлого года? Я обрисовал *моей дочери,* чтобы она была в курсе, ужасные подробности случившегося: я послал ей в *Гавр,* где она находилась вместе с матерью, это письмо; одиннадцать дней его задерживали на почте: оно было вскрыто в соответствии с законом, усматривающим гнусного преступника во всяком, кто этот закон нарушит; с него была снята копия, опубликована, она ходит по рукам, не в моей власти что-либо там изменить; письмо существует, и мне скажут, что впоследствии я рад бы был его улучшить.

Граждане! Я бросаю это письмо в кипу *моих оправдательных документов.* Если прочие могли прискучить вам своей неприятной сухостью, оно лишено этого порока. Я вложил в него душу: я писал дочери, дочери, страдавшей в тот момент за меня! Чтение этого письма может оказаться не бесполезным для истории революции!

Но вернемся к истории ружей. Г-н *де Сент-Круа* оставил министерский пост. Его место занял г-н *Лебрен.*

В отчаянии от безрезультатности всех моих хлопот и усилий, видя, что опасность нарастает, я написал г-ну *де Лаогу* в *Гавр,* чтобы он немедленно отправлялся в Гаагу, *не дожидаясь злосчастного залога.* Можно составить представление о моем положении, читая мое письмо *Лаогу:*

«Париж 16 августа 1792 года.

Я ждал, мой дорогой Лаог, до сегодняшнего дня, оттягивая Ваш отъезд. Увы! Весь мой патриотизм, все мои бесконечные усилия не властны ни над событиями, ни над людьми! Несмотря на мои огромные жертвы, несмотря на похвалы, которых удостоили меня, у Вас на глазах, объединенные комитеты, *мне никто не помогает;* и у несчастной Франции, гибнущей из-за отсутствия оружия, нет, по чести сказать, никого, кроме меня, кто искренне стремится помочь ей получить его из Голландии. Я писал *г-ну де Сент-Круа, г-ну Бонн-Карреру, Вошелю, господам д'Абанкуру, Дюбушажу,*— ни от кого я не получил ответа относительно этого *треклятого залога,* который г-н *Дюрвей* готов внести, если получит должное обеспечение. Поистине, создается впечатление, что дела отечества никого здесь более не трогают! К кому теперь обращаться? Министры мелькают, как в волшебном фонаре. После великих событий *г-н Лажар,* по слухам, убит; *г-н д'Абанкур арестован, г-да Бертье, Вошель* и другие — в тюрьме; не знаю, где найти *ни г-на Дюбушажа, ни г-на Сент-Круа!* Г-н *Лебрен,* новый министр иностранных дел, только входит в курс дела; *Бонн-Каррер* арестован, все его бумаги опечатаны! Г-н *Серван,* вернувшийся в военное министерство, к сожалению, все еще в *Суассоне,* а его обязанности исполняет — догадайтесь, кто? — *Клавьер,* на которого возложено также податное ведомство. И самое важное для Франции дело, дело о шестидесяти тысячах ружей, лежит без движения! Я задыхаюсь от боли.

Отправляйтесь, наконец, друг мой, выполним наш гражданский долг; я — глас, вопиющий в пустыне: «Французы! У вас в Зеландии шестьдесят тысяч ружей, страна в них нуждается! Я один бьюсь, чтобы вы их получили». Кажется, что все пропускают мои слова мимо ушей, когда я настаиваю; вернее, все поглощены событиями, которые набегают одно на другое. Отправляйтесь, дорогой мой *Лаог,* вручите письмо министра нашему послу; пусть он тем временем займется приемкой оружия! *Злосчастный залог будет выслан, как только мне удастся этого добиться!* Но пусть посол не предпринимает никаких политических шагов в отношении голландцев, *покуда залог не прибудет в Гаагу,* с тем чтобы, когда пробьет великий час, можно было бы со всем покончить разом; иначе, если между снятием эмбарго и вывозом будет промежуток, они придумают новые препоны; а *без залога оружие не вывезти. Ах, бедная Франция!* Как мало твои самые насущные нужды трогают тех, кто к ним при-

частен! Если и дальше так пойдет, я потеряю по пять флоринов на ружье из-за того, что предназначал их Франции. Окажется, что *министры и комитеты* напрасно говорили мне лестные слова о гражданском бескорыстии; и, горе нам! мы лишимся этих ружей, *меж тем как здесь куют пики!* И всё потому, что никто в действительности не выполняет своего долга; и мы не получим вовремя этих ружей, меж тем как сейчас формируется столько новых военных частей!

Оставим все эти сетования; поезжайте, друг мой; и если мое присутствие может быть полезно для отправки оружия, пусть г-н *де Мольд* напишет об этом. Я не посчитаюсь с опасностями, которые могут мне угрожать, если в этом нуждается отчизна. Да, я принесу и эту жертву, я пущусь в путь, хотя я стар и болен! Деятельность трибуналов временно приостановлена, и я не могу снять ареста, наложенного *Провеном,*— не могу получить деньги в *военном министерстве.* Вы не сообщаете мне, получили ли кредитное письмо на двадцать тысяч флоринов, которое я Вам послал на следующий день после Вашего отъезда из Парижа.

Счастливого пути, счастливого пути.

Подпись: *Бомарше».*

Я явился на прием (впустую) к г-ну Лебрену, как к министру, который обо всем осведомлен, *поскольку дело о ружьях проходило через его руки, когда он был управляющим делами министерства иностранных дел.* Никому оно не было известно так хорошо, как ему.

Я счел, что самый надежный путь — обратиться к нему в письменной форме. Я направил ему настоятельную записку.

«16 августа 1792 года.

Господин де Бомарше имеет честь приветствовать г-на Лебрена. Он просит г-на Лебрена соблаговолить удостоить его короткой аудиенции, чтобы обсудить с ним весьма неотложное и весьма важное дело, которое должны были довести до конца один за другим господа *Дюмурье, Шамбонас, Дюбушаж* и *Сент-Круа* и которое до сих пор, в силу неблагоприятных обстоятельств, пребывает под угрозой и под подозрением, *несмотря на содействие и положительное мнение трех объединенных комитетов — дипломатического, по военным делам и Комитета двенадцати.* Речь идет не более и не менее, как о шестидесяти тысячах голландских ружей. Создается впечатление, что, когда это

касается блага отчизны, наша страна поражена неизлечимой слепотой. Не пора ли с этим покончить? *Бомарше* будет ждать указаний г-на *Лебрена*».

Лебрен поручил ответить мне:

«Печати, наложенные на бумаги г-на де Сент-Круа, были сняты только вчера, поэтому министр иностранных дел не был знаком с письмом г-на де Бомарше *(очевидно, с письмом, которое я направил г-ну Сент-Круа вместе с памятной запиской).* Он весьма удивлен задержкой в деле с ружьями; он полагал, что г-н де Лаог уже уехал. Он желает обсудить это с г-ном Бомарше и просит его прийти к нему завтра около полудня.

Сего 16 августа 1792, 4-го года Свободы».

«Хвала господу! — подумал я.— Наконец-то нашелся человек, который *выражает удивление* по поводу препон, чинимых в этом деле *(помешавших г-ну де Лаогу выехать)*; этот министр достойный гражданин, он ознакомился со всеми моими затруднениями и не скрывает, что они его тронули. Вот какие министры нам нужны.

Он покончит с *залогом,* ему с г-ном Дюрвеем тут дела на час. Он вытолкнет моего *Лаога* в море, и у Франции будут, хвала господу, ружья! Благословен господь!»

Но, хотя я и ходил дважды в день к этому министру (а я живу примерно на расстоянии мили от министерства), мне удалось встретиться с ним лишь 18-го, после полудня.

Он принял меня со всей учтивостью, повторил мне то, что уже писал, сказал, что отправляется на Совет, чтобы урегулировать вопрос о *залоге и возможно более скором отъезде г-на де Лаога:* я должен вернуться к нему на следующий день, и *он быстро покончит дело.*

Удовлетворенный встречей с министром, столь *доброжелательным,* я вернулся в министерство назавтра в десять часов; *его не было,* я пошел домой. Курьер, прибывший из *Гавра,* вручил мне срочный пакет от *де Лаога;* это был ответ на мое письмо от 16-го, приведенное выше; в нем содержалась выписка из протокола Гаврской коммуны, касавшаяся визы, поставленной 18 августа 1792 года на его паспорте. Вот она:

«Генеральный совет, обсудив просьбу о визе на паспорт, с которой обратился господин *Ж.-Г. де Лаог,* кавалер ордена Святого Людовика, направляющийся в Голландию с чрезвы-

чайным поручением Национального собрания, и выслушав заключение прокурора Коммуны, решил, что, поскольку упомянутый паспорт датирован 31 июля сего года, его надлежит направить в Национальное собрание для получения указаний, какую позицию *должен занять муниципалитет* по отношению к упомянутому г-ну *де Лаогу,* и до получения сего ответа имеющийся у него пакет, адресованный г-ну *де Мольду,* французскому полномочному посланнику в Гааге, должен быть оставлен на сохранение в секретариате муниципалитета.

С подлинным верно и т. д.
Подпись: *Таво».*

Право же, злодеи слишком усердствуют, они не щадят своих сил, чтобы помешать доставке этих ружей! Почему бы им просто не положиться на ход событий? Бьюсь об заклад, что сам *дьявол* не смог бы ничего сдвинуть с места в этом чудовищном хаосе, именуемом вдобавок эрой свободы!

Нарочный из Гавра сказал, что еще до вручения мне этого письма он передал другое, исходящее от мэра Гавра, в Национальное собрание, г-ну *Кристина́,* депутату от этого города. Я тотчас понял, как опасно *для дела* гласное обсуждение его в *Собрании.* Разумеется, для меня лично оно было выгодно, поскольку я был бы обелен; но *общественное благо превыше всего.*

Я написал г-ну *Кристина́* (с которым вовсе не был знаком):

«Сударь, если еще не поздно, прошу Вас, потребуйте, чтобы полученные вами депеши были направлены в объединенные комитеты. Только они одни должны быть осведомлены, со всей осмотрительностью, об этом деле: оно будет проиграно, если получит огласку».

Я сулю курьеру *три билета по сто су,* если он быстро выполнит мое поручение. Он бежит — и успевает в самое время: г-н *Кристина́* собирается огласить письмо.

Получив мою записку, он просит, чтобы это дело было рассмотрено в комитетах; решение выносят; он поручает передать мне, чтобы я не тревожился, мой испуг проходит. Я рассчитываюсь с моим деятельным курьером и прошу его прийти за пакетом после получения депеши комитетов. Я пишу, утешаю *де Лаога* тем, что речь идет о задержке всего на несколько дней, что г-н *Лебрен* обещал мне *безотлагательно все уладить;* я умоляю его наверстать затем упущенное время и лететь, как на пожар, чтобы успокоить г-на *де Мольда,* который вот уже скоро два месяца как находится в ожидании.

В три часа я вновь являюсь к *министру Лебрену*. Он как раз возвращается к себе. Я выхожу из кареты. Он останавливается у подъезда, бросает мне весьма сухо два слова и, воспользовавшись моей растерянностью, внезапно уходит.

Его слова меня как громом поразили. Я счел, что он уже знает о курьере из Гавра. В большом волнении я поехал домой, чтобы написать ему о моем отношении к *словам, им мне сказанным, и предотвратить зловещие результаты, которые могли из них воспоследовать.*

Я умоляю вас, о граждане! прочесть мое письмо этому министру с тем вниманием, к которому я призывал его самого; это письмо предрекает ужасные преследования, коих жертвой я оказался вскоре.

«Воскресенье, вечером, 19 августа 1792 года.

Сударь!

Прочтите это, прошу Вас, со всем вниманием, на которое Вы способны.

Когда Вы мне сказали сегодня утром, что в настоящий момент *г-н де Лаог менее всего подходит для завершения дела с голландскими ружьями, поскольку о нем идет слишком много неприятных разговоров, и что таково мнение господ министров; что поэтому г-ну де Лаогу будет предоставлена свобода выехать из Гавра, но не в Голландию, а внутрь королевства*, я рассудил, сударь, что опять возникло какое-то недоразумение, по поводу которого я должен Вам дать недвусмысленные разъяснения, чтобы избавить Вас *от некоторых ошибочных представлений* о сути дела, ибо мы можем добиться полезного результата, только представляя себе это дело с полной ясностью и действуя со всей ловкостью.

Но поскольку я один могу осветить все систематически, точно и толково, ибо вот уже пять месяцев я отдаю этому делу все мои силы как негоциант и патриот, я предпочел, сударь, ответить на то, что Вы сказали, не устно, но взяв на себя смелость написать Вам, ибо в наши трудные времена человек, умудренный жизнью, не должен ничего говорить, ничего предлагать по делу, имеющему столь важное значение, не оставляя следа своих слов на бумаге, в точных заметках, которые могут послужить ему *оправдательным документом.*

Я предпочел также написать Вам, чтобы Вы, сударь, смогли переговорить об этом деле со всеми министрами, опираясь на ясные сведения, и уделить мне затем немного времени, чтобы я

мог в их присутствии глубоко осветить его политическое значение. Это чрезвычайно важно и для отечества, и для них, и для меня. Поэтому я буду, если позволите, на этом настаивать. Вот краткий обзор положения:

Во-первых, сударь, *г-н де Лаог отнюдь не находится в Гавре под арестом,* как вы, по-видимому, думаете. Он живет вот уж три недели у *господ Лекуврера и Кюрмера,* моих корреспондентов в этом городе, ожидая моих последних указаний, чтобы отплыть в Голландию. Ибо я ему написал 16 августа, что, *коль скоро беспорядок, царящий в Париже, не позволяет ничего здесь довести до конца, я советую ему ехать, чтобы, по крайней мере, держать все под тщательным надзором и не дать нашему посланнику в Гааге предпринять решительных действий, пока не прибудет ожидаемый им залог, а по его получении покончить все разом.* И только потому, что его паспорт устарел, был прислан нарочный для возобновления паспорта — а *отнюдь не для решения вопроса об аресте де Лаога,* о чем нет и речи.

Во-вторых, сударь, в силу какой пагубной идеи собираются помешать поездке того *единственного человека,* который может поставить ружья?

Кто другой может, сударь, завершить это дело, если не г-н *де Лаог* от моего имени? *Разве что я сам,* ведь ружья принадлежат мне, а г-н *де Лаог* — мой друг, мой представитель, мое доверенное лицо, располагающее моими указаниями, моими средствами, моим кредитом; ведь именно он начал, от моего имени, переговоры как о покупке, так и о продаже, и, следственно, только он — *если не я сам* — может вывезти со склада ружья и передать их Вам, *рассчитавшись за погрузку и по прочим счетам и требованиям, которые обусловлены в договоре о ружьях, как мои обязательства по отношению к Франции:* ибо, если Вам их не передаст *г-н де Лаог, никто другой не может этого сделать,* потому что никто не располагает правами на мою собственность, кроме моего представителя и *меня самого,* сударь.

В-третьих, когда в акте (ст. 7) говорится: *«Мы поручаем завершить дело г-ну де Лаогу, как лицу, для этого наиболее подходящему и по его усердию, и по его талантам, которые обеспечат успех»,*— то речь здесь идет о поручении *от моего имени,* сударь, ибо нам предстоит требовать оружие от моего имени. И я не потерпел бы, чтобы назначили кого-либо иного! Решение сообщить его миссии характер *министерского поручения* было принято единственно ради обеспечения ему большей безопасности в пути, ради того, чтобы он мог без всяких затруднений проехать через любой город королевства, не будучи задер-

жанным. Г-н де Лаог здесь только мой представитель, без него ничто не может быть завершено. *На этом основании он и должен выехать.*

Направь вы, господа, еще хоть десять человек в *Гаагу,* без него все равно не обойтись; ибо он едет в Зеландию, в Тервер, не для принятия оружия, а для *передачи его Вам. Г-н де Мольд* здесь представляет *покупщика;* г-н *де Лаог — поставщика;* ничто, следственно, не может свершиться без г-на де Лаога, он один только обладает ключом для преодоления препятствий и моим кредитом, чтобы от них избавиться.

И если бы я даже не решил оставаться здесь, *на своем посту, чтобы не позволить недоброжелателям употребить во зло мое отсутствие,* если бы даже я сам отправился в Голландию, я был бы все равно вынужден взять с собой моего друга г-на де Лаога; ибо он один досконально знает мое дело, поскольку провел в *Гааге* уже четыре месяца, стараясь его завершить. *В данном случае он — это я;* и необходимо, чтобы в *Тервер* поехал либо я, либо этот человек, обладающий моими полномочиями, потому что (я вынужден повторить это Вам) никто, кроме *него* или *меня,* не имеет ни права, ни полномочий передать в Ваши руки это оружие. Вы видите из этого, сударь, что какой бы дурацкий шум ни поднимали здесь *вокруг этого дела,* ничто *не может помешать поездке г-на де Лаога, поскольку в Голландии общеизвестно* на протяжении пяти месяцев, что именно он представляет там *мои интересы в покупке, оплате и вывозе этих ружей.*

Этого достаточно, сударь, чтобы дать Вам понять, как насущно важно, чтобы *я, с документами в руках, дал министерству объяснения по поводу поездки моего друга;* ибо, задерживая его во Франции, вы отнимаете у себя единственную возможность продвинуться хотя бы на шаг вперед в Зеландии. Все власти мира бессильны что-либо тут изменить без договоренности со мной. *Вот заблуждение, от которого один я могу вас избавить; именно это я сейчас и делаю.*

Это дело, сударь, приняло столь серьезный оборот, что никто (начиная с меня) не должен предпринимать ничего, в чем он не мог бы дать строгого отчета *французской нации, которая* готова нас допросить.

Разъяснив Вам все, о чем *министр, только что занявший свой пост, мог сам и не догадаться, я вынужден заявить, сударь, что, если министерство будет в дальнейшем действовать вразрез с этими данными, я снимаю с себя отныне всякую ответственность и перелагаю груз ее на исполнительную власть*

(о чем и имею честь ее предупредить). На протяжении пяти месяцев я выбиваюсь из сил и трачу свое состояние ради блага отчизны, и *никто меня не слушает, никто не облегчает мне дела!* Десятки раз я подвергался обвинениям,— не пришла ли мне *пора обелить себя?* Я знаю, министры, только что заступившие на этот пост, тут ни при чем; но пусть они, по крайней мере, не отдают никаких приказаний, не согласовав их со мной, когда речь идет о деле столь трудном, ставящем под угрозу и мой патриотизм, и мое состояние, и в котором разбираюсь я один; *или пусть сами отвечают за все перед отечеством,* ч ь и м и н т е р е с а м н а н е с е н в р е д.

В ожидании Ваших распоряжений и с уважением к Вам, сударь,

Ваш и проч.
Подпись: *Карон де Бомарше».*

В то же воскресенье, 19 августа, я пришел вечером, в третий раз за эти сутки, к г-ну *Лебрену.* Я хотел оставить ему мое письмо, предварительно все с ним обсудив, с тем чтобы он передал его другим министрам, своим коллегам. *Он меня не принял,* отложив аудиенцию на завтра. Я явился в девять утра; *он меня не принял. Тот же ответ:* перенесено на вечер.

Придя домой, я нашел там незнакомца, что-то писавшего у моего привратника *(читатель, удвойте внимание).*

— Мне поручено,— сказал он, смеясь,— сделать вам предложение от имени *одной австрийской компании* относительно поставки ваших ружей; я писал вам, чтобы испросить встречи.

И он продолжал, пока мы прогуливались перед домом:

— Знакомы ли вы, сударь, с господином Константини?

— Не имею чести, сударь.

— Будучи связан делами *с одной компанией в Брюсселе, он узнал, что именно оттуда исходит эмбарго, наложенное на ваши ружья в Голландии,* и он предлагает вам через меня, ежели вам будет угодно дать ему половину вашего дохода с этой сделки, пустить в ход н а д е ж н о е с р е д с т в о, *чтобы они были доставлены в течение недели.*

— Он, значит, весьма могуществен, ваш *Константини?* Однако я, по чести, не имею права даже выслушивать столь неопределенное предложение, не вводя в обман этого господина, поскольку при нынешнем положении дела я даже не знаю, окажусь ли я в прибыли или в убытке; прояснite ваше предложение: *сколько денег вы требуете от меня за доставку оружия?*

— Ну что ж, сударь,— сказал он, по флорину за ружье; *дело стоит таких расходов.*

— Сударь, нужно знать, каковы будут эти расходы. Если ваш господин *Константини* использует торговые каналы, придется платить пошлину на вывоз *по полтора флорина за штуку;* учитывая флорин, который вы требуете за его услуги, стоимость ружья возрастет на *два с половиной флорина*, независимо от того, годно оно или нет к употреблению; без какой бы то ни было уверенности, что *при сортировке* все ружья будут приняты, такой нагрузки дело не выдержит.

— Сколько же вы согласны нам дать?— спросил он.

— *Двадцать су за ружье, независимо от его качества.* Но ваш человек должен дать мне *залог*, который послужит мне гарантией в том, что меры, принятые им для извлечения ружей, не приведут к их окончательной задержке в Голландии. Я обдумаю, какое обеспечение я должен у него потребовать. Мое *предложение — шестьдесят тысяч франков.*

Он мне сказал:

— Я оставлю вам его предложение в письменном виде. Меня зовут *Ларше*, вот мой адрес; и передайте мне ваш ответ в течение дня, ибо предупреждаю вас *(при этом он пристально посмотрел на меня)*, вам следует поторопиться!

— Что вы имеете в виду, сударь? — сказал я.

Он покинул меня, ничего не ответив. Я не понимал, как истолковать его странные слова. Я раскрыл предложение *господина Константини* и, к своему величайшему удивлению, прочел записку, которую воспроизвожу:

«Условия, предлагаемые *г-ну Бомарше* в отношении дела о ружьях, находящихся в *Тервере*, в Зеландии.

Господин *Константини,* компаньон брюссельских фирм, предлагает г-ну *Бомарше* поделить доход с этой операции пополам, половина г-ну Бомарше, половина — г-ну *Константини и его компаньонам.*

Господин Бомарше немедленно узаконит это купчей.

Поскольку г-н *Бомарше* внес аванс на покупку ружей, который, как есть основания думать, был ему частично возмещен французским правительством, г-н *Константини*, со своей стороны, обязуется осуществить перевозку их из *Тервера в Дюнкерк,* безотлагательно и надлежащим образом.

Расходы понесет операция. Поскольку существует уверенность, что вывозу ружей из Тервера до сих пор препятствовало только *влияние бывшего министерства,* есть все

основания верить, что г-ну *Бомарше* удастся преодолеть это препятствие.

Необходимо предупредить г-на *Бомарше*, что только немедленное принятие и осуществление мер по доставке оружия *может предупредить решение* расследовать поведение *г-на Бомарше в этом деле»(!)*. И т. д. (дальнейшее касалось условий сделки).

Ха-ха! Господин Константини! Новая интрига, новые угрозы! Следуя моему постоянному методу анализировать все, мною получаемое, я вижу здесь, подумал я, некоего *австро-француза,* который якобы располагает средствами доставить оружие. Этот *австро-француз,* по его утверждению, властен также, как он говорит, приостановить с помощью денег расследование, которое вот-вот должно *начаться относительно моего поведения в этом деле?*

Браво, г-н *Константини!* Теперь против меня действуют не исподтишка, не через мелких подручных! Вы, г-н *Константини,* компаньон человека достаточно могущественного, чтобы снять, *если он пожелает,* в течение трех дней эмбарго, наложенное в *Тервере,* или *заставить меня содрогнуться,* если я откажусь войти в этот славный *триумвират подлецов.* Единственный способ, которым этот могущественный человек может воспользоваться, чтобы убрать с пути препятствие к вывозу оружия, явно состоит в том, чтобы дать именно вам залог, *в котором он упорно отказывает мне.* Все понятно, г-н *Константини!* Ваш компаньон — это новый министр. *Остается выяснить, какой из них. Этим-то я и займусь.* А пока что я отвечу г-ну *Ларше,* вашему представителю. Мой ответ был тотчас отправлен.

«Господину Ларше.

Сего 20 августа 1792 года.

Я прочел, сударь, условия, на которых Вы предлагаете от имени некой *австрийской компании* доставить в *Дюнкерк или Гавр* принадлежащие мне ружья.

Кроме этих письменных условий, Вы предложили мне устно ввезти те же ружья по ставке один флорин за штуку.

Вот мой ответ.

Я дам по двадцать французских су за ружье тому лицу (кем бы оно ни было), которое возьмет на себя доставку в *Дюнкерк* оружия, взятого с моих складов в *Тервере.*

При непременном условии, что это лицо предоставит мне *залог, достаточный,* чтобы возместить мне стоимость ружей,

если они не будут доставлены, поскольку это лицо может прибегнуть к способам, которые, получив огласку, приведут к конфискации ружей Голландией, и я окончательно лишусь возможности получить их обратно.

Что же касается заботливого предуведомления о том, что *«только немедленное принятие и осуществление мер по доставке оружия» может оградить меня от решения «расследовать поведение г-на де Бомарше в этом деле»,* мой недвусмысленный ответ лицу, скрывающемуся за этим безличным предупреждением, таков:

Я глубоко презираю людей, которые мне угрожают, и *не боюсь недоброжелательства.* Единственное, от чего я не могу уберечься, это *кинжал убийцы;* что же касается отчета относительно моего поведения в этом деле, то день, когда я смогу предать всё гласности, *не вредя доставке ружей,* станет днем моей славы.

Тогда я отчитаюсь во весь голос перед Национальным собранием, выложив на стол доказательства. И все увидят, кто здесь истинный гражданин и патриот, а кто — гнусные интриганы, подкалывающиеся под него.

Подпись: *Карон де Бомарше.*

Бульвар Сент-Антуан, *откуда он не сдвинется».*

— Теперь,— сказал я,— чтобы остаться верным себе, нужно направить *г-ну Лебрену, министру,* мой ответ *Константини* и посмотреть, как он, со своей стороны, будет со мной держаться; таким образом я выясню, является ли *г-н Лебрен их человеком.*

Вечером прихожу к г-ну *Лебрену...* Недосягаем, мне отказано. Беру бумагу у его привратника, пишу:

«Понедельник, 20 августа 1792 года.

Увы, сударь, вот так, от отсрочки к отсрочке, на протяжении пяти месяцев разные события губят дело, важнее которого нет для Франции! *Я трижды понапрасну приходил к Вам* и, не имея возможности вручить Вам лично памятную записку, составленную вчера, после того как мы расстались, прошу Вас прочесть ее с тем бо́льшим вниманием, что чудовищное недоброжелательство, которое строит мне всяческие козни, вынуждает меня прибегнуть к гласной самозащите, если *министерство будет упорствовать в своем нежелании со мной договориться!*

Вы найдете тому доказательство в моем ответе некоему лицу, которое явилось ко мне с угрожающими предложениями, изложенными *устно и письменно.*

Если Вы найдете возможность назначить мне встречу на сегодня, Вам удастся, быть может, предупредить *нежелательную огласку,* с помощью которой хотят решительно пресечь доставку наших ружей. Вас об этом весьма серьезно просит, сударь, Ваш верный слуга

Подпись: *Бомарше».*

Я приложил к письму вышеприведенное пространное письмо г-на де Лаога о нашем деле, а также мой гордый ответ посланцу *Константини.*

Никакого ответа.

19-го, 20-го, 21-го и 22-го я являлся к министру по два раза в день, наконец после восьми напрасных хождений за четыре дня, каждое из которых составляло туда и обратно около двух миль, я передал через привратника вторую записку; возвращаясь домой, я думал: если министрам доставляет удовольствие *их недосягаемость,* горе людям, которые за ними гоняются!

«22 августа 1792 года.

Бомарше приходил в воскресенье, позавчера, вчера и сегодня, дабы приветствовать г-на *Лебрена* и напомнить ему, что *залог, обещанный г-ном Дюрвеем, все еще запаздывает и что Бомарше,* со своей стороны, пребывает по-прежнему в неведении относительно *судьбы г-на де Лаога:* подобно героям Гомера, он, сражаясь во мраке, молит всех богов вернуть ему свет, чтобы понять, как должен он поступить с той долей блага, которую вот уже пять месяцев он обязался добыть для отечества, что неизменно наталкивается на препятствия.

Он свидетельствует свое почтение г-ну *Лебрену».*

Никакого ответа.

Я перестал туда ходить. Я не мог разгадать, как решили министры судьбу *де Лаога,* получив мое резкое письмо, и сгорал от нетерпения в бессильном бешенстве. От *Константини* не было никаких известий, если не считать бранного письма, на которое я ответил, что он мне *жалок.*

Господин *Кристина́,* депутат от *Гавра,* уведомил меня письмом, что его курьер отбыл в этот порт и что дело о выезде г-на *де Лаога* было рассмотрено *исполнительной властью,* однако решение ему неизвестно; я говорил себе в ярости: они так

и не занялись этим всерьез, отправили, наверное, выжидательное письмо, какой-нибудь ничего не значащий ответ — и мы снова теряем время. Простите мне, читатели! Они этим занимались, и весьма усердно; вот тому доказательство, не оставляющее сомнений; никто не предполагал, что мне удастся его когда-нибудь заполучить.

Двадцать второго августа приходит отчаянная записка от Лаога:

«Посылаю Вам, сударь, на обороте письма копию ответа министра внутренних дел *по поводу паспорта.*

Мне остается только положиться на Ваше решение, как теперь держаться; в ожидании его я наберусь терпения и останусь здесь, не двигаясь с места.

Подпись: *Лаог*».

Я переворачиваю его письмо и читаю нижеследующее:

«Копия письма министра внутренних дел гаврскому муниципалитету.

Сего 19 августа 1792 года.

Господа, Национальное собрание переслало мне письмо, которое вы написали вчера его председателю, посылая ему паспорт г-на де Лаога. Оно уполномочивает меня сообщить вам, чтобы вы оставили упомянутое лицо на свободе и выдали ему, если оно того пожелает, паспорт *(угадайте, о читатели, какой!)* внутренний, но ни в коем случае не выдавали паспорта заграничного. Относительно пакета, адресованного г-ну *де Мольду,* Собрание распорядилось, чтобы он был переслан мне.

Подпись: *Ролан,* министр внутренних дел».

Я подскочил зайцем, которому дробь попала в мозг, увидев, что Национальное собрание послало чудовищное распоряжение не выпускать Лаога. Потом, придя в себя, сказал с горьким смехом:

— *Черт побери! Я и забыл, что наши друзья опять на коне! Собрание тут ни при чем, это — они. Вот первый результат.* Нашей Франции больше не видать ружей!

Теперь, мои читатели, успокойте ваши нервы, разбираясь вместе со мной, беднягой, в этой новой загадке! Как же вышло,— говорил я себе,— что после того, как с гласного обсуждения Национального собрания было снято из осторожности все относящееся к этому делу, чтобы не дать пищи недоброжелательству

голландцев, которые могли бы понять, насколько оно заинтересовано в оружии,— как же после этого Собрание могло *отдать распоряжение* министру внутренних дел *(а он говорит об этом в своем письме гаврскому муниципалитету), чтобы он запретил г-ну де Лаогу выехать в Голландию для исполнения его миссии?* Все это вероломный умысел!

По счастью, мне пришло в голову перечитать любезный ответ г-на Кристина на мои два письма от 19 августа! С радостью я обнаружил в нем разгадку, которую искал (ибо, когда ожесточенно доискиваешься разгадки, то, найдя ее, испытываешь, даже если она несет беду, некое удовлетворение от того, что докопался до истины); я увидел в письме, читатели, то, что увидите и вы.

«Париж, 22 августа 1792 года.

Я был лишен, сударь, возможности ответить вчера на Ваши два письма, врученные мне курьером. Вторым Вы уведомили меня, что Вам известен ответ, полученный мною на первое. *(Этот ответ был распоряжением Собрания обсудить вопрос в комитетах.)* На меня было возложено Наблюдательным комитетом и Комитетом двенадцати отправиться к г-ну Ролану за получением положительного ответа на письмо муниципалитета Гавра, адресованное г-ну председателю Собрания...»

Вы понимаете, читатели: Собрание направляет *г-на Кристина во временные исполнительные органы* отнюдь не для того, чтобы ему был *дан от имени Собрания приказ написать в Гавр о задержке г-на де Лаога во Франции.* Оно направляет г-на Кристина в комитеты, чтобы обсудить дело без огласки, как я того желал; эти же комитеты не находят ничего лучшего, как послать *г-на Кристина к г-ну Ролану* за готовым *ответом* министров вовсе не на *запрос Национального собрания,* а на *письмо Гаврского муниципалитета;* что в корне меняет дело, поскольку таким образом Собрание и комитеты перелагают опять решение на тех же министров; и *г-н Ролан* тут (в этом я впоследствии неоднократно убеждался) всего лишь послушное перо господ *Клавьера и Лебрена,* единственных министров, имеющих касательство к ружьям. Что же делают эти господа, занявшие свои посты лишь за несколько дней до того и получившие всю информацию о том, что происходило в период их солнечного затмения, от г-на *Лебрена,* который ранее был управляющим делами министерства? В своем ответе муниципалитету они говорят, что по распоряжению Собрания *обязаны воспрепятствовать отбытию в Голландию того единственного человека,*

в поездке которого крайне заинтересовано Собрание, человека, назначенного вдобавок объединенными комитетами!.. С помощью этого фокуса они снова перешли дорогу нашим ружьям! Каковые должны достаться *Константини.*

Господин Кристина заканчивал свое письмо очень просто:

«Получив пакеты *(пакеты г-на Ролана),*— говорит он,— я не мог далее задерживать нарочного. *(Пакеты, следственно, были запечатаны.)* Вручив их около восьми часов, я приказал ему взять экипаж и срочно заехать к Вам за Вашими письмами. Не сомневаюсь, что он это сделал и что Вы не преминули поторопить его с отъездом. Примите мои уверения в искренней преданности и т. д.

Подпись: *Ж.-Ж. Кристина».*

Слова г-на *Кристина,* человека обязательного,— *«не сомневаюсь, что Вы не преминули поторопить его с отъездом»,*— не оставляли, если бы мне еще нужны были доказательства, никаких сомнений в его уверенности, что *курьер вез в Гавр известие, которое было мне приятно.* Таким образом, он, единственное связующее звено между *Собранием и комитетами, между двумя комитетами и министрами, между министрами и курьером,* не знал, что эти последние *воспрепятствовали моему другу выполнить его миссию!* Тем более не знало этого *Национальное собрание,* которое *министры обвиняют* в отдаче распоряжения, *пагубного для общего блага!*

Граждане, вот каким методом я пользуюсь, чтобы вам стала ясна, как она ясна мне, причастность министров ко всем последующим гнусностям.

Таким образом, *Константини* требовал от меня, угрожая, сто тридцать тысяч ливров (или шестьдесят тысяч флоринов) за доставку моих ружей, в качестве единственного человека, якобы располагавшего мощными средствами, *чтобы вырвать их из Тервера.* А новые министры, задерживая *Лаога* во Франции и *отказываясь предоставить залог,* облегчали замысел г-на Константини: они доводили меня до отчаяния, чтобы сделать сговорчивее! Но раньше чем сказать об этом вслух, я *должен был получить подтверждение своих догадок.* Я получил его из Голландии.

Я составил пространную записку в *Национальное собрание, прося его назначить судей;* ее как раз перебеляли, когда, 23 августа, в пять часов утра, раздался громкий стук: это пришли *меня арестовать и опечатать мой дом!* Меня поволокли в мэрию,

где я простоял в темном коридоре с семи утра до четырех часов пополудни, и никто, кроме людей, меня арестовавших, мне слова не сказал. Они пришли ко мне в восемь часов и сказали: *«Оставайтесь здесь, мы уходим; вот расписка по всей форме, которую нам на вас выдали».*

«Прекрасно,— подумал я,— вот я, как *говяжий скот на площади:* провожатые получили свою расписку, а мне, надежно спутанному, остается только дождаться мясника, который меня купит!»

После того, как я прождал стоя девять часов, за мной пришли и отвели меня в комитет мэрии, именовавшийся Наблюдательным, где председательствовал г-н *Панис,* который и приступил к допросу. Удивленный тем, что ничто не записывается, я сделал по этому поводу замечание; он ответил мне, что это *пока общая предварительная беседа и что формальности будут соблюдены позднее, когда с моего имущества будут сняты печати.* Из разговора я узнал, что в Пале-Рояле выкрикивали мое имя, обзывая *предателем, отказавшимся доставить во Францию шестьдесят тысяч ружей,* уже мне оплаченных; что *на меня поступили доносы.*

— Назовите доносчиков, сударь, прошу вас; или я назову вам их сам.

— Что ж,— сказал он,— это некий *господин Кольмар,* член муниципалитета; некий господин *Ларше,* да и другие.

— *Ларше?* — сказал я ему.— А, можете не продолжать! Пошлите только за портфелем, отложенным мною и опечатанным отдельно: вы убедитесь в черных кознях этого *Ларше* и некоего *Константини,* да и *других,* как вы изволили выразиться, которых еще не настало время назвать.

— Завтра печати будут сняты; мы увидим,— сказал г-н Панис,— а пока что вы *переночуете в Аббатстве.*

Я провел там ночь, и провел ее в камере с несчастными... которые вскоре были обезглавлены!

На следующий день, 24-го, после полудня, два муниципальных чиновника явились за мной в Аббатство, чтобы я мог присутствовать при снятии печатей и переписи моих бумаг. Операция продолжалась всю ночь, до девяти утра 25-го; затем меня отвели в мэрию, где мой темный коридор вторично принял меня в свое лоно вплоть до трех часов пополудни, когда я вновь предстал перед *Наблюдательным комитетом под председательством г-на Паниса.*

— Нам доложили,— сказал он,— результаты проверки ваших бумаг. Вы достойны только похвал; но вы говорили о *порт-*

феле с документами по делу о ружьях, в злонамеренной задержке которых в Голландии вы обвиняетесь; эти господа уже просмотрели его (речь шла о муниципальных чиновниках, снимавших печати), они оба даже сказали нам, что *мы будем удивлены.*

— Сударь, я горю нетерпением открыть его перед вами; вот он.

Я вынимаю один за другим все документы, которые были вами только что прочитаны. Я дошел до середины, когда *г-н Панис* воскликнул:

— Господа, *он чист! он чист!* Вам не кажется, что это так?

Все члены комитета закричали:

— Он чист!

— Хорошо, сударь, этого вполне достаточно: тут кроется нечто ужасное. *Господину Бомарше* следует выдать лестное *свидетельство о гражданской благонадежности,* а также принести ему извинения за причиненные тревоги, в которых виновна обстановка наших дней.

Некий г-н *Бершер,* секретарь, доброжелательные взгляды которого утешали и трогали меня, уже писал это свидетельство, когда вошел и что-то сказал на ухо председателю маленький человек, черноволосый, с горбатым носом, с ужасным лицом... Как мне сказать вам об этом, мои читатели! То был *великий, справедливый,* короче, *милосердный* М а р а т.

Он выходит. Г-н Панис, потирая голову в некотором замешательстве, говорит мне:

— Я весьма удручен, сударь, но я не могу освободить вас. На вас поступил новый донос.

— Какой, сударь, скажите, я немедленно дам разъяснения.

— Я не могу этого сделать; достаточно одного слова, одного знака кому-нибудь из друзей, ожидающих вас снаружи, чтобы свести на нет результаты предстоящего расследования.

— Господин председатель, *пусть велят уйти моим друзьям:* я добровольно подвергаю себя заключению в вашем кабинете вплоть до окончания расследования; быть может, я смогу помочь тому, чтобы оно было проведено быстрее. Скажите мне, о чем идет речь.

Он посоветовался с присутствующими и, взяв с меня честное слово, что я не выйду из кабинета и не стану ни с кем тут разговаривать, пока они все не вернутся, сказал мне:

— Вы отправили *пять сундуков с подозрительными бумагами* некоей президентше, проживающей в Марэ, в доме номер пятнадцать по улице Сен-Луи; отдан приказ пойти за ними.

— Господа,— сказал я,— выслушайте меня. Я охотно жертвую бедным все, что будет найдено в пяти указанных сундуках, и *отвечаю головой за то, что в них не будет обнаружено ничего подозрительного;* точнее, я заявляю перед вами, что в доме, вами названном, нет никаких сундуков, принадлежащих мне. Однако в доме одного из моих друзей на улице Труа-Павийон действительно находится связка документов: это денежные бумаги, которые я спас, будучи предупрежден о том, что *в ночь с девятого на десятое* августа мой дом будет разграблен, о чем я сообщил письмом господину *Петиону*. Пока пойдут за пятью сундуками, пошлите также за этой связкой, слуга моего друга выдаст ее по этому распоряжению; вы просмо́трите ее. Еще один сундук с бумагами и старыми счетными книгами был у меня украден в тот самый день, когда эта связка была вынесена из дому; можете известить об этом барабанным боем: больше я ничем не могу вам помочь.

Все это было выполнено. *Мне выдали свидетельство, за подписью всех этих господ, не учитывавшее, однако, результатов осмотра сундуков и связки.*

Эти господа собрались пообедать, с тем чтобы вернуться к моменту доставки сундуков; я должен был остаться под арестом в кабинете с одним из чиновников, которому была поручена охрана.

Они уже выходили, когда ворвался весьма разгоряченный человек с перевязью и сказал, что *у него в руках доказательства моей измены, моего чудовищного намерения передать шестьдесят тысяч ружей,* у ж е м н е о п л а ч е н н ы х, *врагам отечества.*

Он пришел в бешенство от того, что мне выдали свидетельство о благонадежности. Это был г-н *Кольмар,* сообщник моих *«австрийцев»* и сверх того автор доноса на меня.

— Вы видите, господа,— сказал я спокойно,— что *этот господин совершенно не в курсе дела, о котором говорит. Он всего лишь эхо Ларше и Константини.*

Тот накинулся на меня с бранью, говоря, что я отвечу головой.

— Пусть так,— сказал я ему,— только бы не вы были моим судьей!

Все ушли. Я остался в кабинете, печально размышляя о странностях моей судьбы. Мою связку принесли, о пяти сундуках не было ни слуху ни духу! Что же мне сказать вам, французы, читающие меня! Я *пробыл там тридцать два часа, так никого и не дождавшись.* Чиновник, уходя спать, сказал, что не

может оставить меня одного на ночь в кабинете. Он вновь выставил меня в темный коридор; если бы не жалость служителя, бросившего мне на пол матрац, я так и простоял бы всю ночь, умирая от усталости и ужаса.

Прошло тридцать два часа, но поскольку никого все еще не было, муниципальные чиновники, проникнувшись ко мне сочувствием, собрались и сказали мне:

— *Господин Панис не возвращается, возможно, у него какие-нибудь затруднения.* При осмотре сундуков у президентши, где их оказалось восемь или девять, обнаружилось, что в них лежит тряпье *монахинь,* которых она приютила. Нам известно, что вы неповинны в преступлениях, в которых вас обвиняют. В ожидании, пока комитет вернется, мы из жалости отпустим вас спать домой. Завтра утром ваша связка будет просмотрена, и вы получите *окончательное свидетельство.*

Я сказал моему слуге, который был в слезах:

— Ступай приготовь мне ванну: вот уже пять ночей, как я без отдыха.

Он побежал. Меня отпустили, *хотя и в сопровождении двух жандармов, которые должны были стеречь меня ночью.*

На следующий день я послал одного из них узнать, собрался ли наконец *комитет,* чтобы выдать мне *обещанное свидетельство.* Он вернулся вместе с другими стражами и строгим приказом *сопроводить меня в Аббатство и содержать меня там под секретом с особым указанием не давать мне сообщаться с кем-либо вне тюрьмы,* если на то не будет письменного разрешения муниципалитета. Мне с трудом удалось сдержать отчаяние моих близких. Я утешал их, как мог; итак, меня *отвели в тюрьму,* где я вновь оказался вместе с господами *Аффри, Тьерри, Монморенами, Сомбреем* и его *добродетельной дочерью,* которая добровольно пошла вслед за отцом в эту клоаку и которая, как говорят, спасла ему жизнь! С аббатом *де Буа-Желеном,* господами *Лалли-Толлендалем, Ленуаром,* казначеем подаяний, восьмидесятидвухлетним старцем; с г-ном *Жибе,* нотариусом; короче говоря, со ста девяноста двумя лицами, втиснутыми в восемнадцать келий.

Час спустя после моего прибытия пришли сказать, что меня вызывают *по письменному распоряжению муниципалитета.* Я пошел к привратнику, где нашел... угадайте кого, читатель! Г-на *Ларше,* компаньона *Константини,* и некоторых других, чьих имен я пока не называю. Он явился, чтобы возобновить сладкие предложения, которые делал у меня дома, он предложил даже купить у меня голландские ружья по цене *семь*

флоринов восемь су за штуку; всего на один флорин дешевле, чем мне платило государство; и я мог принять в уплату те восемьсот тысяч франков, которые, как он сказал, я только что получил в казначействе. *На этих условиях я смогу выйти из Аббатства и получить мое свидетельство.* Я прошу читателя, следующего за мной с момента, когда я начал эту памятную записку, вообразить, каково было в эту минуту мое лицо, ибо сам я не нахожу слов, чтобы его описать. После минутного молчания я холодно сказал этому человеку:

— Я не веду дел в тюрьме; убирайтесь вон и передайте это министрам, которые вас послали и не хуже меня знают, что я не получил ни одного су из упомянутых вами восьмисот тысяч франков: этот идиотский слух распустили специально, чтобы подвергнуть разграблению мой дом в приснопамятную ночь десятого августа!

— *Вы не получали за последние две недели,*— сказал он, вставая,— *восьмисот тысяч франков?*

— Нет,— ответил я, поворачиваясь к нему спиной.

Он выскочил, только пятки засверкали. С тех пор я его не видел.

«Если уж эти господа предлагают мне по семь флоринов,— подумал я после его ухода,— значит, они, без всякого сомнения, собираются перепродать ружья государству по одиннадцать или двенадцать, у них ведь *вся власть в руках.* Теперь я понял их затею; *но ничего у них не выйдет, только через мой труп»,*— добавил я, стиснув зубы.

Вернувшись в комнату, где были другие заключенные, я *рассказал обо всем происшедшем* и заметил, что это удивляет меня одного.

Один из этих господ сказал нам:

— Враги заняли *Лонгви.* Если им удастся войти в *Верден,* народ будет охвачен ужасом, и этим воспользуются, чтобы с нами здесь покончить.

— Боюсь, что это слишком похоже на правду,— ответил я ему, вздохнув.

На следующий день мне передали в тюрьму записку, которую я воспроизвожу:

Записка

«Кольмар, муниципальный чиновник, а также тот, кто в Вашем присутствии говорил, что имеет против Вас доказательства, добились нового распоряжения *(распоряжения, по которому я содержался под секретом).* Комитет не хотел его отдавать и по-

требовал *письменного доноса от г-на Кольмара.* Я этот донос видел. *Мотивы в нем не указаны.* Нам обещают заняться Вами, не откладывая. *Ваш портфель опечатан, как вы того желали.* Обратитесь в комитет с настоятельной просьбой, я здесь безотлучно».

Эта записка моего племянника была вручена мне привратником, к чести которого я должен сказать, что он смягчал, как мог, участь заключенных.

Я попросил моих товарищей по несчастью расчистить мне место, чтобы я мог, забившись в угол и положив лист на колено, составить настоятельную записку в *Наблюдательный комитет мэрии.* Г-н *Тьерри* снабдил меня бумагой, г-н *Аффри* ссудил свой портфель, который послужил мне письменным столом. Юный *Монморен,* сев на пол, подпирал этот портфель, пока я писал. Г-н *Толлендаль* спорил с аббатом *де Буа-Желеном;* г-н *Жибе* глядел, как я пишу; г-н *Ленуар* горячо молился, стоя на коленях; а я писал мою жалобу, проникнутую чувством собственного достоинства, быть может,— *увы! — в большей мере, нежели это было терпимо в то время.* Я делюсь этим соображением только из уважения к *Лекуантру,* который уверял вас, о граждане! что я *проявил низость в моих записках об этом ужасающем деле!* Вот она, моя низость, обращенная к тем, кто приставил нож к моей груди.

«Господам членам Наблюдательного комитета мэрии.

Сего 28 августа 1792 года.

Господа!

Собрав воедино то немногое, что я мог узнать в недрах моего заключения о принявших такую широкую огласку причинах моего *странного ареста,* я рассудил, что пламенное желание видеть наконец доставленными во Францию шестьдесят тысяч ружей, приобретенных мною в Голландии и уступленных правительству, заставило вас поверить в гнусные обвинения нескольких клеветников, столь же *трусливых, сколь и мало осведомленных о том, насколько я сам заинтересован в том, чтобы доставить вам эту подмогу.*

Но, оставляя в стороне мои собственные интересы как купца и патриота и исходя только из выдвинутых обвинений, позвольте мне снова заметить вам, господа, что обращение со мной *идет вразрез со всяким смыслом и вредит тому, ради чего вы, по вашему утверждению, действуете.* Разве не является самой

неотложной задачей проверить факты и достичь полной ясности, чтобы вы могли тем самым определить вашу собственную позицию и судить о моей?

Вместо этого, господа, я вот уже пять дней таскаюсь из *темного коридора мэрии в гнусную тюрьму Аббатства* и обратно, и до сих пор никто не допросил меня с пристрастием о фактах такой важности, хотя я не перестаю вас о том просить, хотя я принес и *оставил в вашем комитете портфель,* содержащий документы, которые полностью меня оправдывают, восстанавливают мою гражданскую честь и одни только указывают, что́ надлежит делать, чтобы добиться успеха!

Меж тем мой дом, мои бумаги были обысканы, и самая суровая проверка не подсказала вашим комиссарам ничего, кроме лестного для меня свидетельства! *Печати с моего имущества были сняты;* и только я сам остаюсь опечатанным в тюрьме, неудобной и нездоровой из-за чрезмерного притока заключенных, которых сюда сажают.

Будучи вынужден, господа, дать нации самый строгий отчет о моем поведении в этом деле, обернувшемся так неудачно *только по вине других,* я имею честь предупредить вас, что ежели вы отказываете мне в справедливом согла́сии выслушать мои доводы в собственную защиту и вернуть мне возможность действовать, *я буду принужден, к моему глубочайшему сожалению, направить в Национальное собрание открытое письмо с обстоятельным изложением фактов, подкрепленных, все до одного, безупречными и неопровержимыми документами, которого будет более чем достаточно для моего оправдания; однако сама гласность моей защиты окажется смертельным ударом по успеху этого огромного дела.* Содержание меня в тюрьме, под секретом, никого не избавит от моих настойчивых жалоб, поскольку моя записка уже находится в руках нескольких друзей.

Как же так, *господа?* Нам не хватает оружия! Шестьдесят тысяч ружей давно уже могли бы быть во Франции, *если бы каждый* выполнил *свой долг.* Я один выполнял его, но тщетно; и вы *не торо́питесь узнать истинных виновников!* Я вам твердил, господа, что *сделал все, бывшее в моих силах,* голову даю на отсечение, я поступился всем ради доставки этого крупного *подкрепления:* я сказал вам, что мне *пришлось бросить вызов чудовищному недоброжелательству;* а вы, только потому, что я, горя желанием изобличить моих подлых обвинителей, попросил вас назвать их имена, вы, вместо того чтобы продолжить мой едва начавшийся допрос, оставили меня на целых *тридцать два часа в одиночестве, так и не предоставив мне возможности уви-*

деться хоть с одним из тех, кто должен был меня допросить! И не позаботься обо мне милосердное сострадание, я так бы и провел два дня и одну ночь, *не зная, куда приклонить голову!* А в деле о ружьях по-прежнему нет никакой ясности! И единственный человек, который может внести эту ясность, *отправлен вами, господа, в тюрьму, под секрет, меж тем как враг стоит у ваших дверей!* Могли ли бы сделать больше, чтобы нанести нам вред, наши заклятые враги? *Какой-нибудь прусский или австрийский комитет?*

Простите эту понятную скорбь человеку, который винит скорее всеобщую неразбериху, нежели злую волю. *Когда нет порядка, ничего не сделаешь,* а меня все эти пять несчастных дней *ужасает беспорядок, царящий в управлении нашего города!*

Поднись: *Карон де Бомарше».*

Назавтра, 29 августа, часов в пять вечера, мы предавались печальным размышлениям. Г-н *Аффри,* этот почтенный старец, накануне вышел из Аббатства. Вдруг меня вызывает надзиратель!

— *Господин Бомарше, вас спрашивают!*

— Кто меня спрашивает, друг мой?

— Господин Манюэль и *несколько муниципальных чиновников.*

Он уходит. Мы переглядываемся. Г-н *Тьерри* говорит мне:

— Он не из ваших врагов?

— Увы! — говорю им я.— Мы никогда не встречались; начало не предвещает ничего хорошего; это ужасное предзнаменование! Неужели *пробил мой час?*

Все опускают глаза, безмолвствуют; я иду к привратнику и говорю, входя:

— Кто из вас, господа, зовется господином Манюэлем?

— Это я,— говорит один из них, выступая вперед.

— Сударь,— говорю я ему,— мы с вами незнакомы, но у нас было известное всем столкновение по поводу уплаты мною налогов. Я, сударь, не только исправно платил свои налоги, но делал это также и за многих других, *у кого не хватало средств.* Неужто мое дело приняло такой серьезный характер, что сам прокурор-синдик Парижской коммуны, оторвавшись от общественных дел, явился сюда заниматься мною?

— Сударь,— сказал он,— я не только не оторвался от общественных дел, но нахожусь здесь именно для того, чтобы ими заняться; и разве не первейший долг общественного служащего прийти в тюрьму, чтобы вырвать из нее *невинного человека,*

которого преследуют? Ваш обвинитель, Кольмар, уличен как мошенник! Секция сорвала с него перевязь, он ее недостоин: он изгнан из Коммуны, я полагаю даже, что он в тюрьме! Вам предоставляется *право преследовать его по суду. Мне хотелось бы, чтобы вы забыли наше публичное столкновение, и поэтому я специально испросил у Коммуны разрешения отлучиться на час, чтобы вызволить вас отсюда.* Не оставайтесь здесь ни минутой дольше!

Я сжал его в объятиях, не в силах произнесть ни слова: только глаза мои выражали, что творилось в душе; полагаю, они были достаточно красноречивы, если передали ему все мои мысли! Я тверд как сталь, когда сталкиваюсь с несправедливостью, но сердце мое размягчается, глаза влажнеют при малейшем проявлении доброты! Никогда не забуду ни этого человека, ни этой минуты. Я вышел.

Два муниципальных чиновника (те же, что снимали печати у меня дома) отвезли меня в фиакре,— угадайте куда, читатель! Нет: я должен вам это сказать, вам ни за что не доискаться!.. *К г-ну Лебрену, министру иностранных дел,* который вышел из своего кабинета и увидел меня...

Прервем еще раз рассказ. Прочтя пятую, а также последнюю его часть, вы, о граждане, получите исчерпывающие основания оправдать меня, как я обещал, и надеюсь, что я вправе этого *ожидать.*

ПЯТЫЙ ЭТАП

О граждане законодатели! Неужели я, действительно, должен, взывая к вашему правосудию, скрыть часть фактов, снимающих с меня вину? Умалить себя в защитительной речи из страха оскорбить людей влиятельных... Должно быть, четырехмесячное отсутствие сильно извратило мое представление об общепринятом значении великого слова *Свобода,* ежели я никак не могу договориться со своими парижскими друзьями относительно того, как мне должно себя вести в деле, которое рушит мою гражданскую жизнь и наносит смертельный урон той *свободе,* тому *равенству в правах, которые были мне гарантированы нашими законами!*

Все пишут мне:

«Думайте о том, что выходит из-под Вашего пера! Защищайте себя, но никого не обвиняйте! Не задевайте ничьего самолюбия, даже тех, кто Вас больше всех оскорблял! Вы совершенно отстали от жизни!

Помните, что Вас хотели погубить и что, будь Вы сто раз правы, Вы ничего не добьетесь, если не проявите осмотрительности!

Помните, что кинжал приставлен к Вашей груди и все Ваше достояние конфисковано!

Помните, что, за неимением другого преступления, Вас хотят выдать за эмигранта! Что нет ни одного Вашего слова, которое не было бы обращено против Вас! Что каждый Ваш хороший поступок только приводит в ярость Ваших врагов! Что они могущественны... и бессовестны! Помните, что у Вас есть дочь, которую вы любите! Помните...»

Да, у меня есть дочь, которую я люблю. Но, как ни дорога она мне, я перестал бы ее уважать, если бы счел, что она способна перенести унижение отца, если бы заподозрил, что она хочет, чтобы мое состояние, которому завидуют и которое *составляет мою единственную вину,* я сохранил для нее ценой ослабления доводов в свою защиту, ценой замалчивания половины из них, ценой бесчестья, неизбежного, если я пощажу врагов, *не смевших нападать на меня, пока я находился во Франции, хотя у них в руках на протяжении полугода были все те бумаги, опираясь на которые они имеют неосторожность обвинять меня теперь, в мое отсутствие!*

Как! Неправедные министры употребили во зло мое ревностное желание послужить родине и заставили меня выехать из Франции, вероломно выдав паспорт... В надежде, что они провели меня и я никогда не смогу вернуться! Или, если и вернусь, то в цепях, покрытый позором, как предатель отечества; как обвиненный в измене. И после этого я ослаблю доводы в свою защиту?

Как! Из свободной страны, где они пользуются уважением, они направляют за границу, к народу, который также называет себя свободным, чрезвычайного курьера, чтобы он вывез меня оттуда в оковах, рассчитывая, что им удастся проделать в *Гааге* то, чего они не посмели сделать в *Лондоне,* когда по подлому небрежению *допустили побег фальшивомонетчиков, делателей ассигнаций, которых держал там в тюрьме человек бдительный,* допустили потому, что не отвечали этому человеку, не писали ему в течение семи или восьми месяцев. И я буду молчать?

Как! Обвиняя меня в недоказанных преступлениях, они хотели извлечь меня из Голландии, чтобы я погиб по дороге от руки оплаченных ими убийц или обманутого ими народа еще до того, как попаду в тюрьму, куда якобы меня везли, дабы я

привел доводы в свое оправдание? И я, граждане, я не скажу ни слова об этом вопиющем злоупотреблении властью?

— Да, дорогой мой! Так нужно, или вы пропали.

— Друзья мои! Человек не может пропасть, когда доказывает, что он прав! Пропасть — это не значит быть убитым, это значит — умереть обесчещенным! Но возрадуйтесь, друзья! Я не стану выдвигать против них обвинения по этому, никому пока не известному делу, хотя и настало время предать его огласке; ибо я должен спасти свою честь, если не в моей власти помешать им довершить разорение моей дочери и даже убить ее отца!

Нет, я не стану обвинять. Я скажу только о фактах, подтверждая их неопровержимыми документами, как я не перестаю это делать. *Национальный конвент,* который стоит выше мелких интересов этих личностей-однодневок, ибо он — мощное эхо всеобщего стремления воздать каждому по справедливости,— *Конвент* сам, без меня, разберется, кто прав и кто виноват! Кто предал нацию и кто верно ей служил! И он скажет свое мнение, кто из нас — они или я — заслужил тот вердикт, который был вынесен им по лживому докладу!

Что за чудовищная свобода, отвратительней любого рабства, ждала бы нас, друзья мои, если бы человек безупречный вынужден был бы опускать глаза перед могущественными преступниками потому только, что они могут его одолеть? Как? Неужто нам доведется испытать на себе все злоупотребления древних республик при самом зарождении нашей! Да пусть погибнет все мое добро! Пусть погибну я сам, но я не стану ползать на брюхе перед этим наглым деспотизмом! Нация тогда только воистину свободна, когда подчиняется только законам!

О граждане законодатели! Когда эта записка будет прочитана всеми вами, я добровольно отдамся вашим тюремщикам! Ты утешишь меня в тюрьме, дочь моя, как утешала меня и добродетельная *Сомбрей,* к ногам которой я поверг мою душу в Аббатстве, когда надвинулось 2 сентября.

Я остановился, читатель, на том, как опешил министр *Лебрен,* узрев в своем прекрасном салоне меня, явившегося к нему прямо из тюрьмы, с пятидневной щетиной, непричесанного, в грязной сорочке, в сюртуке, меж двумя людьми с перевязями...

— Да, сударь,— сказал я ему,— это я. Невинная жертва, я только что вышел из Аббатства, куда попал по наговору некоторых, *отлично вам известных,* доносчиков, которые кричали повсюду, что это я злонамеренно препятствую доставке наших

ружей. Вам, сударь, *слишком хорошо известно, как обстоит дело,* не так ли?

Один из муниципальных чиновников, прервав меня, сказал министру:

— Мы, сударь, посланы муниципалитетом спросить у вас, в согласии с объяснениями г-на *Бомарше, которые нас вполне удовлетворили,* намерены ли вы или нет немедленно направить в Голландию его курьера, снабдив того всем необходимым, *чтобы ружья были нами получены.*

— Нужен только, *как это указано в договоре, залог, который тридцать раз задерживали,* несмотря на тридцать обещаний,— сказал я,— нужен также *паспорт и некоторая сумма денег.*

Я обратил внимание на то, что глаза г-на *Лебрена* как-то бегали, речь была замедленна, голос нетверд. Он сказал этим господам, что нет никаких оснований... задерживать, что в данную минуту... он не может... с этим покончить, но что, если нам угодно... прийти завтра утром, на все это... не потребуется и часа.

Что же удивило г-на *Лебрена?* Мое заключение в тюрьму или непредвиденный выход из нее? Тогда я этого еще не знал.

Мы уходим, договорившись встретиться на следующий день в девять часов. Мы направляемся в *Наблюдательный комитет мэрии,* где мне весьма любезно выдают свидетельство о гражданской благонадежности, которое должно меня удовлетворить полностью. Одно у меня уже было. Я договорился с этими господами, что верну его и что на основании обоих будет составлено единое свидетельство, которое я мог бы обнародовать.

На следующий день один из муниципальных чиновников зашел за мной и отвел меня в девять часов к г-ну *Лебрену.*

— Его нет,— сказали нам.

Мы вернулись в полдень.

— Его *все еще нет.*

Мы вернулись в три; наконец он нас принял. Я знал из своих источников, что он написал г-ну *де Мольду,* чтобы тот *срочно приехал в Париж*; но г-н Лебрен мне об этом не сказал. «Возможно, они надеются,— думал я,— вытянуть из нашего посла какие-нибудь сведения, могущие мне навредить, и цель его приезда в этом!»

Объясняясь с г-ном *Лебреном* перед нашим членом муниципалитета, я слукавил, упомянув, что просил в своей записке Национальному собранию вызвать г-на *де Мольда,* чтобы тот подтвердил мои неослабные усилия вывезти оружие, кото-

рые он, со своей стороны, неизменно поддерживал. Г-н Лебрен ответил мне с чрезмерной поспешностью:

— *Избавьте себя от этого труда! Он через два дня будет здесь.*

— Как, сударь,— сказал я ему,— он возвращается? Для меня нет ничего приятнее этого известия. Он доложит обо всем *Национальному собранию* и возьмет с собой Лаога.

При этих словах он опять принял *министерский* вид и без всяких объяснений оставил нас, сообщив затем, что *его похитили* для завершения дела, не терпящего отлагательств.

Муниципальный чиновник, удивленный, сказал мне:

— Больше я сюда не ходок, я не стану попусту терять время; пусть посылают кого хотят.

— Вот уже пять месяцев,— сказал я ему,— как меня заставляют вести такую жизнь, я безропотно все проглатываю, потому что в этом деле заинтересована нация.

В тот же вечер, 29 августа, я написал г-ну *Лебрену:*

«Во имя отчизны, находящейся в опасности, во имя всего, что я вижу и слышу, я умоляю г-на Лебрена ускорить момент *завершения дела с голландскими ружьями.*

Мое оправдание? Я его откладываю. Моя безопасность? Я ею пренебрегаю. Наговоры? Я их презираю. Но во имя общественного спасения не станем более терять ни минуты! *Враг у наших дверей,* и сердце мое обливается кровью не от того, что меня заставили пережить, но от того, что нам угрожает.

Ночи, дни, мой труд, все мое время, мои способности, все мои силы я отдаю родине: я жду приказаний г-на *Лебрена* и выражаю ему мое уважение доброго гражданина.

Подпись: *Бомарше».*

Никакого ответа. На следующую ночь, в два часа утра, слуги в страхе прибежали ко мне, говоря, что вооруженные люди требуют открыть ограду.

— Ах, впустите их,— сказал я,— я покорен, я ничему больше не сопротивляюсь.

Мы отделались испугом. Они пришли забрать все мои охотничьи ружья.

— Господа,— сказал я им,— неужели вы находите особое наслаждение в том, чтобы являться в ночные часы, пугая людей? Разве кто-нибудь откажется, если нужно послужить нации?

Я приказал отдать им семь драгоценных ружей, одноствольных и двуствольных, которые имел; они заверили меня, что с ружьями будут обращаться бережно и тотчас сдадут их в секцию. На следующий вечер я послал туда, о ружьях даже не слышали. «Не важно,— сказал я себе,— не такая уж это большая потеря, какая-нибудь сотня луидоров. *Но голландские ружья! Голландские ружья!»*

В тот же вечер я написал г-ну Лебрену еще одну настоятельную записку:

«Париж, сего 30 августа 1792 года.

О сударь! сударь! Если только неизлечимая слепота, которую небо наслало на иудеев, не поразила и *Париж,* этот новый *Иерусалим,* как же получается, что мы никак не доведем до конца дело, наиважнейшее для спасения отечества? Дни складываются в недели, недели в месяцы, а мы не продвинулись ни на шаг!

Из-за одного только паспорта, который понадобилось возобновить *в Гавре г-ну де Лаогу,* чтобы выехать в Голландию, нами упущено уже тринадцать дней, а мне до сих пор так и не удалось никому открыть глаза на *ущерб, наносимый Франции!* Из *Гавра* прибыл курьер, его отправили обратно к г-ну *де Лаогу* с распоряжением, нелепее которого в данном случае не придумаешь. Итак, он *задержан во Франции!* И меня еще спрашивают, почему нами не получены шестьдесят тысяч голландских ружей! И я вынужден отвечать, что, *будь тут замешан сам дьявол, нельзя было бы пуще навредить их получению.*

Из-за этих несчастных ружей я просидел семь дней в Аббатстве, вдобавок под секретом! А теперь сижу у себя дома, как в тюрьме, потому что ожидаю встречи, обещанной Вами для завершения дела! Мне известны все Ваши тяготы; но если мы не приложим усилий, у дела нет ног, само собой оно с места не сдвинется!

Сегодня ночью ко мне пришли вооруженные люди, чтобы изъять мои охотничьи ружья, а я говорил, вздыхая:

— Увы! В Голландии у нас их шестьдесят тысяч, и никто не хочет ничего сделать, чтобы помочь мне — слабосильному — изъять их! А тут мне не дают даже выспаться!

Я пудная птица, у меня монотонная песня: в течение пяти месяцев я только и твержу министрам, которые сменяют друг друга: *«Сударь, когда же Вы покончите с делом об оружии, задержанном в Голландии?»* У всех точно помутился рассудок!

Бросят мне слово и уходят, а я так и остаюсь ни с чем. *О несчастная Франция! Несчастная Франция!*

Простите мои сетования и назначьте мне встречу, сударь; потому что, клянусь Вам честью, я совершенно отчаялся.

Подпись: *Бомарше».*

Никакого ответа.

Вы видите, с каким терпением я забывал о собственных бедах, отдаваясь полностью заботам о бедах общественных. И все же на следующий день после выхода из тюрьмы я отправился в *Наблюдательный комитет мэрии* за обещанным мне свидетельством.

Каково же было мое удивление, читатель! Все кабинеты были пусты, все двери опечатаны и заперты на железные засовы.

— Что случилось? — спросил я сторожей.

— Увы! Сударь, все эти господа сняты со своих постов.

— А пятьдесят арестованных, которые ожидали наверху, на чердаке, на соломе, когда им скажут, почему их туда посадили?

— Их отвели в тюрьму, набили темницы до отказа.

«О боже! — подумал я,— и никого из тех, кто их арестовал, больше нет!! Чем все это кончится? Кто вытянет их оттуда?»

Я вернулся домой с тяжелым сердцем, твердя:

— *О Манюэль, Манюэль!* Когда вы мне говорили: «Выходите побыстрее»,— я и не подозревал, что день спустя будет уже поздно! Да воздаст, да воздаст вам бог, мой благороднейший враг! Ни один друг не сослужил мне такой службы!»

Я сам соединил оба свидетельства Наблюдательного комитета воедино, *поскольку никто другой уже не мог этого сделать,* и поспешил вывесить свидетельство.

Вот оно:

«Свидетельство, данное *П.-О. Карону Бомарше* Наблюдательным комитетом и Комитетом общественного спасения в ответ на все клеветнические доносы, на все проскрипционные списки, в частности, на печатный список избирателей 1791 года, принадлежавших к клубу Сент-Шапель, в который он включен *по злому умыслу.*

Сего 28 и 30 августа одна тысяча семьсот девяносто второго года, четвертого года Свободы и первого года Равенства,

мы, чиновники полицейского управления, члены Наблюдательного комитета и Комитета общественного спасения, на заседании в мэрии рассмотрели со всем тщанием бумаги г-на *Карона Бомарше*. Рассмотрение показало, что среди них *не найдено* ни одного рукописного или печатного *документа, который мог бы послужить основанием для малейших подозрений против него или мог бы поставить под сомнение его гражданскую благонадежность.*

Мы свидетельствуем, кроме того, что чем пристальней мы изучаем дело об аресте вышеупомянутого г-на *Карона Бомарше,* тем яснее видим, что он *ни в какой мере не виновен в поступках, которые ему вменяются,* и даже не может быть взят под подозрение — посему мы отпускаем его на свободу.

Мы рады признать, что донос, сделанный на него и послуживший основанием для наложения печатей в его доме, а также для заключения его лично в Аббатство, был *совершенно необоснован.*

Мы спешим широко обнародовать его оправдание и дать ему удовлетворение, которого он *вправе ожидать от представителей народа.*

Мы полагаем, что он вправе *преследовать своего обвинителя по суду,* и возвращаем *вышеупомянутому г-ну Карону* его счетные книги и бумаги.

Дано в мэрии в указанные дни года; *чиновники полицейского управления, члены Наблюдательного комитета и Комитета общественного спасения.*

Подписи: *Панис, Леклерк, Дюшен, Дюффор, Мартен и др.».*

В воскресенье, 2 сентября, *не получив никакого ответа* от министра *Лебрена,* я узнаю, что разрешен выезд из Парижа; измученный телом и духом, я отправляюсь пообедать в деревне, за три мили от города, рассчитывая к вечеру вернуться. В четыре часа приходят нам сказать, что город вновь закрыт, что ударили в набат, объявили тревогу и что разъяренный народ бросился к тюрьмам, чтобы истребить заключенных. Тогда-то я и воскликнул в исступлении благодарности: *«О Манюэль! О Манюэль!»* В голове у меня стучало, точно молотом по раскаленному железу. Мне казалось, что я сойду с ума!

Мой друг просил меня остаться под его кровом. На следующий день, в шесть вечера, майор местной Национальной гвардии пришел, чтобы тихонько сказать ему:

— Стало известно, что господин де Бомарше находится у вас; он ускользнул сегодня ночью от убийц в Париже; предстоящей ночью они должны явиться сюда, похитить его из вашего дома; возможно, меня заставят при сем присутствовать со всей моей частью. Через час я пришлю за вашим ответом; скажите ему, нам *известно, что у него в подвалах есть ружья, не считая тех шестидесяти тысяч в Голландии, получить которые он нам препятствует,* хотя ему за них заплачено. Так что ему придется худо!

— Во всех этих россказнях нет ни слова правды,— сказал мой друг.— Он в саду. Сейчас я поговорю с ним.

Он подходит ко мне, я вижу, что он бледен, на нем нет лица. Он излагает мне свои печальные новости.

— Бедный друг мой,— говорит он,— как же вы поступите?

— Прежде всего исполню мой долг по отношению к другу, гостеприимно предоставившему мне кров; я обязан *покинуть ваш дом, чтобы его не разорили.* Если пришлют за ответом, скажите, что за мной приехали, что я отправился в Париж. Прощайте. Пусть мои люди и экипаж останутся у вас, а я пойду навстречу злой судьбе. Ни слова больше, возвращайтесь в гостиную и забудьте обо мне.

Он отворил мне калитку, и вот я шагаю по вспаханной земле, избегая дорог. Наконец во мраке, под дождем, пройдя три мили, я нахожу приют у добрых поселян, от которых я ничего не утаил и которые приняли меня с таким трогательным, с таким милым радушием, что я был взволнован до слез. С их помощью окольнейшими путями, никому не сообщая, где я нахожусь, я получил новости из Парижа. Резня все еще продолжалась, меж тем пруссаки вошли в Шампань. Я забыл о том, что́ мне угрожает, и написал г-ну *Лебрену.*

«Из моего пристанища, 4 сентября 1792 года.

Сударь!

После того как я провел шесть дней в тюрьме, подозреваемый народом в стремлении воспрепятствовать доставке во Францию шестидесяти тысяч ружей, которые *я купил для него в Голландии* и за которые *заплатил* вот уже шесть месяцев тому назад, *не настало ли наконец время мне оправдаться, переложив вину на тех, кто в самом деле несет за это ответственность?* Этим я и занимаюсь в данную минуту, составляя обширную записку, предназначенную Национальному собранию; попытаюсь еще раз добиться, чтобы оно прозрело.

Пока что посылаю Вам мою июньскую *жалобу на противозаконное обращение с французским негоциантом, направленную Голландским штатам.* (Она затерялась в министерстве иностранных дел, как всё, что туда посылается.) Я написал г-ну *Лаогу,* чтобы он немедленно возвращался в Париж, *коль скоро ад, ополчившийся против всего,* что *делается на благо этой несчастной страны,* по-прежнему мешает ему отплыть в Голландию.

Ах, если бы министры знали, какой непоправимый урон может причинить в наши злосчастные времена четверть часа невнимания, небрежения, они пожалели бы о месяце, *который мы сейчас из-за них потеряли* в этом деле с ружьями!

Что до меня, сударь, то сейчас, уже после того, как я получил от *Наблюдательного комитета* самые решительные свидетельства о гражданской благонадежности, выданные на основании *внимательного прочтения документов, касающихся этого дела об оружии и собранных в моем портфеле,* меня вновь преследует народная ярость, и я вынужден прятаться, чтобы не пасть ее жертвой, меж тем как те, кто только и делал, что *вредил этим операциям,* спокойно сидят дома, посмеиваясь над моими злоключениями и, возможно, пытаясь их усугубить! Я говорю не о Вас, сударь, *но я назову их имена.*

Вы спрашивали меня, как, на мой взгляд, нужно действовать, чтобы наилучшим образом покончить с этим нескончаемым предприятием? Есть только один путь, сударь,— *придерживаться линии, предусмотренной договором, заключенным с господами Лажаром, Шамбонасом и тремя объединенными комитетами, а поставщика, который должен передать Вам оружие, не приковывать к Франции,* ибо это, право же, слишком нелепо! Затем посоветоваться с господами *де Мольдом* и *Лаогом* насчет обходных маневров, допустимых в торговле, *поскольку наш кабинет слишком слаб, чтобы занять твердую позицию в отношении Голландских штатов;* наконец, не тратить месяцев на то, чтобы *уличить меня в преступлениях, в то время как доказательства моих трудов и моих жертв бросаются в глаза.* Глядя на то, как обращаются со мной во Франции, можно подумать, что нет дела важнее, как разорить и погубить меня, наплевав на то, будут или вовсе не будут получены шестьдесят тысяч ружей! Я попрошу комиссара разобрать по косточкам мое поведение, но заодно *уж и поведение некоторых других!* Пора, и *давно пора,* покончить с этой чудовищной игрой!

Умоляю Вас, во имя отечества, подумать *о залоге, о жалком залоге,* столь ничтожном в деле такой важности! Если меня не прирежут до прибытия г-на *де Мольда,* я почту непременным долгом явиться, *чем бы я ни рисковал,* на встречу, которую Вы мне назначите.

Благоволите прочесть *мою жалобу Голландским штатам* и станьте моим защитником против тех, кто *злоумышляет* на дело, столь насущно важное.

Остаюсь с уважением, сударь,

Ваш и проч.
Подпись: *Бомарше.*

P. S. Сейчас, когда мой дом может подвергнуться разграблению, я оставляю на хранение человеку, занимающему общественный пост, портфель с документами по этому делу. *Могу пропасть я, мой дом,*— но мои доказательства не пропадут».

Не знаю, помогли ли тут высокие слова, которые я повторял в письме, или упоминание о записке в Национальное собрание, где я возложу вину на истинных преступников, но я, наконец, получил следующее ведомственное письмо, подписанное г-ном Лебреном.

«Париж, 6 сентября 1792, 4-го года Свободы.

Министр иностранных дел имеет честь просить г-на де Бомарше прийти завтра, в пятницу, в девять часов утра, в здание этого ведомства для завершения дела о ружьях. Министр желает, чтобы все было покончено к десяти часам утра (вы слышите, читатели, нужен был всего час!), дабы он имел возможность поставить о том в известность г-на де Мольда, который получил распоряжение не покидать Гааги. Завтра день отправки нарочного в Голландию».

Поскольку письмо пришлось переправлять мне окольным путем, чтобы меня не могли выследить, я получил его только в *девять часов утра на следующий день;* уже в тот день, на который г-н Лебрен назначал мне встречу, тем самым невозможную: будучи в пяти милях от Парижа, вынужденный идти туда пешком, один, через вспаханные поля, я не мог добраться до города раньше ночи.

Две вещи, как легко судить, поразили меня в этом письме. Во-первых, догадываясь о том, что я прячусь вне Парижа

и не появлюсь там средь бела дня, когда рискую быть убитым, они, вполне вероятно, рассчитывали заявить, что дело *не закончено по моей вине, поскольку я уклонился от встречи, которая была мне назначена для его завершения.*

Во-вторых, мне сообщали *об отмене поездки г-на де Мольда,* хотя о его вызове меня не уведомляли. Если читатель еще не потерял из виду уловки, которой я воспользовался, чтобы обнаружить истинную причину возвращения посла, читателя, так же как и меня, поразит, что мне писали *об отмене распоряжения, полученного послом.*

Казалось, по радости, которую я проявил при известии о его приезде, они заключили, что этот приезд может не повредить, а, напротив, помочь мне; *и тут же отменили вызов.*

Я немедленно ответил г-ну *Лебрену.*

«Из моего пристанища в одной миле от Парижа
(я был в пяти милях, но скрывал это),
7 сентября 1792 года.

Сударь!

Из пристанища, где я укрылся, отвечаю на Ваше письмо, как могу и когда могу; оно шло ко мне долгими окольными путями; я получил его только сегодня, в пятницу, в девять часов утра. Таким образом, я не могу попасть к Вам до десяти часов. Но если бы я и мог, то поостерегся бы это делать; ибо мне сообщают из дома, что после резни в тюрьмах народ намерен обрушиться на купцов, богатых людей. Составлен огромный проскрипционный список; и из-за злодеев, которые кричат на всех площадях, что это я *мешаю доставке наших ружей,* я занесен в перечень тех, кто должен быть убит! Пусть же пятничный курьер отправляется: письма все равно идут через Англию или на корабле, зафрахтованном *на Гаагу в Дюнкерке,* поскольку Брабант закрыт; мы наверстаем упущенные два дня.

Прошу Вас поэтому, сударь, перенести совещание с десяти часов утра на десять вечера, чтобы я мог прибыть к Вам, не подвергаясь такой опасности расстаться с жизнью, как средь бела дня.

Я полон усердия послужить общественному благу; но если я лишусь жизни, все мое рвение ни к чему. Итак, я прибуду к Вам, по возможности, *к десяти вечера сегодня;* если, однако, мне не удастся получить карету и обеспечить себе возможность возвращения в мое пристанище, все откладывается на завтрашний вечер. Это не повлечет за собой потери времени,

так как письмо г-ну *Мольду* само по себе не может решить дела; для этого необходимо присутствие г-на *де Лаога или мое,* а также осуществление следующих мероприятий: *внесение г-ном Дюрвеем от моего имени залога в размере пятидесяти тысяч флоринов;* выдача мне *средств* для оплаты всех счетов, связанных с задержкой отгрузки, *паспорта* по всей форме, чтобы не быть задержанным в пути, и в высшей степени умное лавирование, *поскольку сейчас уже ни к чему гордая позиция, которая была бы раньше так к лицу нации, оскорбленной гнусным поведением голландцев по отношению ко мне, французскому негоцианту!* Потерянного времени не вернуть; будем исходить из положения на сегодняшний день. Я давно уже стенаю, слыша отовсюду крики: «Оружия!» — и зная, что шестьдесят тысяч ружей лежат за границей по глупости или злому умыслу; здесь *либо одно, либо другое, либо то и другое вместе.*

Простите, сударь, если мои размышления слишком суровы; я тем свободнее позволяю себе поделиться ими с Вами, что они метят не в Вас. Но у меня сердце разрывается от всего, что я вижу.

Примите почтительный поклон гражданина, который весьма удручен, в чем и расписывается.

Подпись: *Бомарше.*

P. S. Не сочтите за труд, сударь, передать ответ через подателя сего, дабы я мог знать, принимаете ли вы мои предложения и одобряете ли принятые мной меры предосторожности.

Я, храбрейший из людей, не знаю, как бороться против опасностей такого рода, и осторожность — единственная сила, которую мне дозволено употребить.

Подпись: *Бомарше».*

Мое письмо было вручено; министр приказал ответить на словах через своего привратника, что он *ждет меня назавтра, в субботу, ровно в девять вечера.*

Я рассчитал, что мне нужно четыре часа, чтобы добраться до Парижа по вспаханным полям. 8 сентября в пять часов вечера я вышел пешком из дома моих добрых хозяев, которые рвались меня проводить; я от этого отказался, опасаясь, что нас заметят.

Я пришел в Париж *один,* устав до изнеможения, весь в поту, с пятидневной щетиной на подбородке, в грязной сорочке и сюртуке (как в тот день, когда я вышел из тюрьмы); ров-

но в девять часов я был у дверей г-на Лебрена. Привратник сказал мне, что министр *сейчас занят* и просил меня прийти либо в одиннадцать часов вечера, либо утром, по моему усмотрению. Я попросил привратника передать ему, что вернусь в одиннадцать часов, поскольку днем не осмеливаюсь показаться.

Ждать у министра было нельзя. Меня могли увидеть, разгласить, что я вернулся; я вышел.

Куда пойти? Что делать в ожидании встречи? Боязнь натолкнуться на какой-нибудь патруль поджигателей заставила меня спрятаться на бульваре среди куч булыжников и бутовых плит, усевшись прямо на землю. Я с восторгом созерцал себя в этом убежище и вскоре от усталости задремал; если бы около одиннадцати не началась поблизости громкая возня, меня так и нашли бы там на следующее утро.

Я услышал бой часов и направился к *министерству иностранных дел*... О боже! Судите о моем отчаянии, когда привратник сказал мне, что министр уже лег; *что он ждет меня завтра, в девять утра.*

— Разве вы не сказали ему?..

— Простите, сударь, я все ему сказал...

— Дайте мне скорее бумагу.

Я написал это короткое письмо, сдерживая бешенство:

«Господину Лебрену, при его пробуждении.
Суббота вечером. 8 сентября, в 11 часов,
у Вашего привратника.

Сударь!

Я проделал пять миль по вспаханной земле, чтобы явиться в Париж и подвергнуть мою жизнь опасности, но не опоздать к часу встречи, которую Вам угодно было мне назначить. Я был у Ваших дверей в девять вечера. Мне сказали, что Вы соблаговолили представить мне на выбор либо одиннадцать часов того же вечера, либо девять утра на следующий день.

Учитывая мое последнее письмо, где я поставил Вас в известность о всех опасностях, подстерегающих меня в этом городе, я рассудил, что Вы будете столь любезны, что предпочтете в моих интересах встречу вечером. Сейчас одиннадцать часов; *крайнее переутомление заставило Вас,* как говорят, *уже лечь.* Но я, я не могу вернуться завтра раньше, чем стемнеет, и буду поэтому ждать дома приказания, которое Вам угодно будет мне отдать.

Ах, сударь! Расстаньтесь с мыслью принять меня днем. Есть опасность, что к Вам прибудут лишь мои жалкие останки!

Я пришлю завтра узнать, какой час вечера Вы посвятите мне. Голландская почта отбывает только утром в понедельник. Подвергнуть опасности самое мою жизнь — вот та единственная жертва, которую мне еще оставалось принести этим ружьям,— *я принес и ее.* Не будем же, прошу Вас, рисковать человеком, столь нужным для дела, принуждая его показываться на улицах днем!

Свидетельствую Вам почтение доброго гражданина.

Подпись: *Бомарше».*

Пока я переписывал письмо, мне вызвали фиакр. В полночь я был дома. Я отослал фиакр за шестьсот шагов, чтобы кучер не понял, кто я. Когда я вернулся, мне стоило больших трудов умерить радость домашних, что я жив: я просил держать это в тайне.

На следующее утро я написал г-ну *Лебрену.*

«Сего 9 октября 1792 года, воскресенье.

Сударь!

Судите о моем рвении по самоотверженной храбрости, проявленной вчера вечером. Его ничто не охладит; но мое имя сунули во все списки подозрительных клубов, хотя я и ногой не ступал ни в один из них, *я не был никогда даже в Национальном собрании — ни в Версале, ни в Париже.*

Вот так действует ненависть! Все, что может обратить на человека ярость обманутого народа, говорится в мой адрес. Таковы причины, мешающие мне увидеть Вас днем. От моей смерти никакой пользы не будет; моя жизнь может еще пригодиться. В котором же часу желаете Вы принять меня сегодня вечером? Мне час безразличен, начиная с семи вечера, когда смеркнется, и до завтрашнего рассвета.

В ожидании Ваших приказаний, сударь, остаюсь с уважением к Вам и т. д.

Подпись: *Бомарше».*

Министр передал мне, опять-таки через своего привратника, чтобы я пришел *в тот же вечер к десяти часам.* Я явился. Но привратник, потупя взор, перенес от его имени встречу *на завтра, на понедельник, в тот же час.*

В смертной тоске пришел я снова в понедельник, *в десять часов вечера.* Вы видите, что, когда речь идет о вещах серьезных, я пренебрегаю оскорблениями, наносимыми мне. Но вместо встречи с министром меня ждало в привратницкой письмо лакея, которое я привожу здесь:

«10 сентября 1792.

Сударь!

Поскольку сиводня Совета не будет, г-н *Лебрен* просит г-на Бомарше саблагавалить прийти снова завтра, без четверти десять вечера, он не может иметь чести встретица с им сиводня вечером по причине занитости».

Я тут же ответил на это письмо...

— Как! Еще одно письмо?

— Я вижу, читатель, вы теряете терпение...

— Смеется, что ли, над нами господин де Бомарше со своей нескончаемой перепиской?

— Нет, читатель, я, право, не смеюсь над вами. Но ваша ярость для меня утешение: она сливается с моей собственной; и я не был бы доволен, если бы вам не захотелось растоптать во гневе все, что я пишу! Ах, если так поступят многие, я выиграл этот гнусный процесс! Я взываю к вашему возмущению!

В самом деле, граждане, взгляните на отважного человека, мнимому счастью которого завидовали многие! Не находите ли вы, что он уже достаточно унижен? Если вам угодно знать, как и почему он вынес все это, ах, я готов вам об этом рассказать.

Прежде всего я хотел послужить отчизне. Мое состояние было под угрозой; обиды, накапливаясь одна за другой, преобразили мое усердие в упрямство, я хотел, чтобы эти ружья прибыли во что бы то ни стало... «Ах, ты не хочешь, чтобы нация получила их, *потому что не ты их поставляешь,*— говорил я,— *так она получит их вопреки тебе!*»

Опасности, мне угрожавшие, и те, что — увы! — все еще продолжают угрожать, обращали мою храбрость в ярость. Бедная человеческая природа! Тут были затронуты мое самолюбие и гордость! К тому же я говорил себе: «Если эти господа, с их козырями всесильной власти, с их безмерным корыстолюбием и возможностью пролезть всюду... если они возьмут надо мной верх, я просто ничтожная скотина; ведь они же — лов-

качи. Народ обманут; они получат мои ружья, которых жаждут; а я буду заколот!»

Дело оборачивалось еще одной стороной, я не мог отступиться. Я забыл обо всем — о самолюбии, о своем достоянии, я хотел одного — одержать победу. Я призывал на помощь осторожность со всеми ее ухищрениями и тонкостями! Я говорил: нужно попрать тщеславие; я обещал отечеству партию оружия; вот *цель*, ее необходимо достичь; все остальное — только *средства*. Если они не бесчестны, годятся любые, только бы они вели к *цели*. Мы сбросим леса наземь, когда чертог будет достроен. Не будем пока задевать этих господ!

Я ответил следующим письмом на прекрасную кухонную записку, которой меня уведомляли от имени министра о новой проволочке.

«Господину Лебрену, министру.

Париж, 11 сентября 1792 года.

Сударь!

Каждый упущенный день приближает опасность. Я уже говорил Вам, сударь, *что голова моя под угрозой, пока дело не двигается*. Никто не хочет мне верить, когда я объясняю, что провожу часы, дни, недели, месяцы в тщетных упрашиваниях министров. Обвиненный в злом умысле, я выслушиваю от перепуганных друзей упреки за то, что, оставаясь в этом городе, подвергаю себя ярости обманутого народа.

Для того чтобы сдвинуть дело с места, я покинул мое пристанище, а мы меж тем потеряли уже три недели на ожидание *г-на де Мольда, которого, по Вашим словам, вызвали и который, в конечном итоге, отнюдь не возвращается*. Те, кто мне угрожает, не считаются ни с чем: злодеи делают свое дело, а *Наблюдательный комитет* говорит мне: *«Почему не видно конца?»* Действительно, ничего невозможно понять. Я надрываюсь понапрасну, подвергаю себя ужасным опасностям; я жертвовал всем, чем мог, а дело ни с места.

Я приду к Вам сегодня вечером, без четверти десять, как указано в Вашей вчерашней записке.

Примите заверения в уважении человека весьма удрученного.

Подпись: *Бомарше».*

Я вложил в конверт краткое соглашение, которое надлежало подписать господам Сервану и Лебрену, в подтверждение соглашения от 18 июля: не то чтобы я надеялся, что они его подпишут, но я хотел приложить для этого, со своей стороны, все усилия.

Господин *Лебрен* не только не допустил меня к себе в этот вечер, как обещал, но и не посовестился *устами своего привратника снова перенести встречу на следующие сутки* — на среду, 12 сентября, в восемь часов, у г-на *Сервана,* где соберется Совет.

— Как! — в ярости сказал я,— он что же, хочет, чтобы меня прикончили? Он вынудил меня покинуть мое убежище и заставил потерять пять дней, откладывая встречу с вечера на вечер, в нарушение собственных точных указаний, а теперь, в итоге, подвергает риску мою жизнь, ставя перед необходимостью показаться моим врагам.

Коль скоро я должен был назавтра открыто появиться в военном министерстве и вступить в бой с властью, поставив все на карту, я принял решение рискнуть, не откладывая. Презрев собственную безопасность, я пришел средь бела дня на прием к министру Лебрену. При мне был мой портфель; я попросил доложить обо мне. Мне показалось, что министр несколько удивлен.

— Мне не удалось,— сказал я, входя,— добиться, чтобы вы соблаговолили назначить мне встречу менее опасную, чем прием в Совете; я пришел спросить вас, сударь, сколь далеко должен я, по-вашему, зайти в моих объяснениях.

— Я не могу вам ничего предписывать,— сказал он мне,— вы будете выслушаны.

Доложили о г-не *Клавьере.* Он входит, я ему говорю:

— Поскольку я должен, сударь, говорить завтра на Совете о деле с голландскими ружьями, позвольте мне обратиться к вам с просьбой: забудьте наши давние распри. Должны ли личные обиды влиять на дело, имеющее национальное значение?

— Эти обиды,— говорит он мне,— слишком давние, чтобы они могли играть здесь какую-нибудь роль; но утверждают, что вы сговорились с вашим поставщиком, чтобы эти ружья не были доставлены.

— Сударь,— сказал я ему с улыбкой,— если кто-нибудь тут прилагает руку, то уж, во всяком случае, не я! Я прочту вам, сударь, мое последнее письмо поставщику, г-ну Ози из Роттердама, а также его ответ: это все объяснит, прошу вас выслушать.

Я прошу здесь прощения у моего голландского корреспондента за то, что один из наших споров выходит за пределы кабинета и моего портфеля. Обстоятельства меня вынуждают к этому; но я переписываю здесь это письмо полностью главным образом для просвещения Лекуантра.

«Господам Ози и сыну, в Роттердаме, в настоящее время пребывающему в Брюсселе.

Париж, 2 августа 1792 года.

Я получил, сударь, письмо от моего друга, находящегося в *Роттердаме,* из которого я узнал, что Вы выразили беспокойство, как бы я не отослал Вас для мелких расчетов за ружья к *г-ну Лаэйю в Брюссель* или не отказался вовсе платить Вам по его счету. Если бы у меня были основания внести изменения в ход дела, сударь, то я прежде всего предупредил бы о том Вас, объявив без околичностей мое новое решение; так принято у порядочных людей.

Я, сударь, напротив, несмотря на все мое недовольство Вами и г-ном *Лаэйем,* распорядился, чтобы мой друг расплатился с Вами полностью, не дожидаясь даже прибытия г-на *де Лаога,* который выезжает в Голландию; ибо мне, человеку, *уязвленному несправедливостью голландского правительства,* приходится самому делать то, что должны были бы сделать Вы для честного негоцианта, добросовестно занявшего Ваше место в этой сделке и полностью избавившего Вас от риска, согласившись присовокупить *залог,* который Вы обязались дать покойному императору *Леопольду,* к прочим платежам разного рода.

Конечно, сударь, Вы, продавая эти ружья, вовсе не хотели расставить ловушку Вашему покупщику, скинув на его плечи весь груз трудностей, с которыми Вы сами отлично справились бы, если по-прежнему были бы лично заинтересованы в этом деле, поскольку Вы, как мне известно, пользуетесь кредитом у обеих держав, австрийской и голландской, посягнувших без всяких оснований, *в своих политических интересах,* на международное и торговое право в лице французского негоцианта, да еще в такой оскорбительной манере!

Но прежде чем я вынесу громогласно мои жалобы на суд всей Европы, прося защиты от обидчиков, я желаю, чтобы все денежные интересы людей, вступивших со мной в сделку, были удовлетворены полностью, чтобы нельзя было ни к чему придраться, во извинение всех этих гнусностей.

Исходя из этого, сударь (это к Вам лично не имеет отношения), я прежде всего выплатил всякого рода сборы, которые каждый, кому не лень, требует со сделки, хотя никто, кроме Вас и меня, не выложил из своего кармана ни одного флорина, ни одного су.

С Вами я рассчитался не только за оружие, но также и за упаковку, ремонт ружей, я возместил Вам даже судебные расходы, несмотря на то, что Вы мне представили счет на них без предварительной договоренности. За мной остается один, весьма значительный, взнос, а именно *требуемый залог;* иначе говоря, расход, который Вам угодно было навязать мне, чтобы избавиться от него самому.

Но после того, как я пошел на жертвы, столь значительные, ради выполнения обязательств, взятых на себя перед нашими Антильскими островами, которые ждут этого оружия и которым наше правительство, со своей стороны, уже не преминуло бы отправить свое оружие, если бы не считало должным рассчитывать на мою честь и не верило бы моему слову, я теперь считаю себя вправе кричать во всеуслышание о притеснениях и *открыто жаловаться на голландское правительство,* а также и на г-на Лаэйя и на Вас, поскольку ни один из вас не соблаговолил вымолвить ни слова, не предпринял ничего, чтобы добиться отмены недостойного эмбарго, наложенного на мой груз в стране, которой процветание только и зиждется, что на свободе торговли, и которая без всякого стыда затрудняет в своих портах свободу торговли других наций.

Нет, сударь, Вы не поступаете по отношению ко мне как принято у порядочных негоциантов, когда не прилагаете никаких усилий, чтобы со мной обошлись по справедливости, чего я лично требовал бы для Вас неустанно, буде наше правительство оказалось бы настолько подлым, что повело бы себя таким же образом по отношению к Вам, и Вы бы меня попросили за вас заступиться! Негоцианты, сударь, придерживаются принципов, куда более благородных, нежели политиканы! Одни только негоцианты обогащают государства и восполняют, ежели они добропорядочны, весь тот урон, который наносят власти, только и умеющие, что порабощать, притеснять и пожирать. *Можно ли после этого удивляться, что народы, возмущенные этим игом, прилагают столь ужасающие усилия, чтобы попытаться его скинуть!*

Но оставим в стороне злосчастия наций, сосредоточимся оба, сударь, на тех, что касаются Вас лично. Я плачу Вам, сударь, а Вы совершенно не помогаете мне добиться отправки

товара, который добросовестно мной оплачен! Вот мои претензии, вот на что я жалуюсь. Вы, сударь, слишком искушенный негоциант, слишком просвещенный человек, чтобы Вам не была очевидна справедливость моих упреков.

Примите поклон человека, уязвленного до глубины души и того не таящего.

Подпись: *Карон де Бомарше».*

— Господа,— сказал я обоим нашим министрам,— господин Ози, написав, что он полностью согласен со мной относительно расходов, которые должны быть оплачены, и всего остального, заканчивает свое письмо следующими ничего не говорящими словами, *достойными большого политика:*

«Я предпочитаю, сударь, не отвечать на выпады, направленные против меня в Вашем письме. Ограничусь заверением, что, если я могу быть Вам полезен, я всегда буду прельщен возможностью доказать свое совершенное к Вам почтение, с которым имею честь оставаться, сударь, Вашим и проч. и проч.

Ози де Зекварт

Роттердам, 23 августа 1792 года».

Господин Клавьер, не сказав ни слова, поднялся и вышел. Г-н *Лебрен* сказал мне:

— У господина *Клавьера* есть подозрения; ваше дело, сударь, их уничтожить. Почему эти ружья не доставляются в течение пяти месяцев?

— И это вы, господин *Лебрен,* спрашиваете меня об этом? *Вы ведь делаете все, обратное тому, что необходимо* для их доставки. Разве, *задерживая залог,* вы хоть сколько-нибудь помогаете хлопотам господина де Мольда? Известен вам его почерк? Взгляните, что он мне пишет!

Я роюсь в моем портфеле.

— *Да, это его почерк,*— говорит он и читает:

«Вы не сомневаетесь, сударь, в моем усердии, в моем рвении и т. д. Так вот! Я буду говорить с Вами, сударь, на единственном языке, которого Вы и я достойны, на языке правды.

Это вражеское правительство решило проявлять к нам несправедливость до тех пор, пока это будет сходить ему с рук безнаказанно, и обстоятельства слишком благоприятствуют его двуличной игре. Поэтому они решили не допустить вывоза

Ваших ружей. *(Слышите, г-н Лебрен, прикидывающийся ничего не знающим об истинном характере препятствий, из-за которых задерживались наши ружья, вы ведь читали это письмо, как и двадцать других писем от г-на де Мольда, адресованных вам, хотя и ни на одно из них вы так и не ответили.)* Я вижу только один выход: разделить товар между несколькими негоциантами, взяв с них гарантийные письма и т. д. и т. д. Тогда Вы можете быть уверены в вывозе, поскольку голландские негоцианты по-прежнему получают на него разрешение. Вот способ, который диктуют обстоятельства. Г-н *Дюран* любезно согласился обстоятельно осветить Вам дело вместо меня; позвольте мне только добавить, что Вы не должны долее подвергать риску Ваши интересы. Пожалуйста, обсудите это с г-ном *де Лаогом,* чье отсутствие слишком затягивается, и т. д. и т. д.».

(У г-на *де Мольда* были все основания на это жаловаться. В течение пяти месяцев ни г-н *де Лаог,* ни кто-либо другой не привозил ему ответа. *Фальшивомонетчиков выпустили на свободу; и они взялись вновь деятельно отравлять страну своими ассигнациями!* Вот чем мы обязаны нашим министрам; допросите г-на *де Мольда.)*

— Ну как? — сказал я г-ну Лебрену.— Вы по-прежнему настаиваете, что ружья задерживаю я? Пока вы не дали *торгового залога,* требуемого господином *Ози,* могу ли я вступать в напрасный спор с голландской политикой, когда не располагаю вашим содействием, вашей поддержкой? Могу ли я использовать торговый нажим *без этого треклятого залога,* который, в конечном итоге, обойдется Франции всего лишь в сумму банковской комиссии! Вы и г-н *Клавьер* прикидываетесь, что не понимаете меня? Нет, не эта банковская комиссия и даже не этот *залог* застопорили дело; нет, тут причина в грязных происках *некоего господина Константини* и его компаньонов; можно, право, подумать, что это из-за них на меня обрушились все беды; я писал вам о них, они засадили меня в тюрьму в надежде, что там я буду убит и что моя семья, доведенная до крайности, отдаст им оружие за бесценок, когда меня не станет, а они перепродадут его Франции втридорога!..

Господин *Лебрен* сказал, что у него нет больше времени слушать меня, так как он должен *начать прием.* Я ушел от него в крайнем недовольстве.

А вы, *Лекуантр,* вы же читали мое послание г-ну *Ози,* его ответ, письмо г-на *де Мольда;* мне кажется, в свете всего это-

го г-н Провен, торговец подержанными вещами, лицо не слишком значимое? Чем подтвердите вы фразу, которую вас заставили включить в донос на нас, *будто я делал в Париже вид, что вывозу оружия препятствует голландское правительство; тогда как, по-вашему, один Провен и его высокие претензии мешали нам получить эти ружья*, а ведь вопрос о Провене и возник-то только в результате канцелярских козней, целью которых было меня прикончить с помощью булавочных уколов!

Но нет, *Лекуантр*, эта ложь шла не от вас! Обманутый сами мошенниками, вы ввели в заблуждение Национальный конвент... Вы раскаетесь в своих ошибках, ибо о вас говорят как о человеке весьма порядочном!

Мне было назначено явиться на заседание Совета через сутки, вечером 12 сентября, я пришел туда, захватив тот самый портфель, который уже склонил *Наблюдательный комитет мэрии* отмести бездоказательные доносы и крикливые требования всяких *Кольмаров, Ларше, Маратов* и им подобных. Я сказал себе: «Вот наконец настал час для последнего объяснения! Я должен их убедить».

Двое из моих добрых друзей, понимая, в какой я опасности, захотели пойти вместе со мной. Я сказал слуге:

— Спрячь под сюртук мой черный портфель и оставайся в передней; если со мной случится беда, не говори, что ты со мной, и немедленно уноси портфель. У тебя под мышкой моя честь и мое отмщение.

Мы являемся; весь Совет в сборе. Под конец приглашают меня. Я вхожу, кланяюсь и, не говоря ни слова, сажусь подле г-на *Лебрена*. Видя, что ко мне никто не обращается, я коротко объясняю, какой важный предмет привел меня сюда. Г-н *Дантон* сидит по другую сторону стола; он открывает обсуждение; но так как я почти вовсе глух, я встаю и, по привычке приставив руку к уху, прошу простить меня, если я подойду поближе к министру (поскольку издалека я плохо слышу). Г-н Клавьер делает движение. Я смотрю и вижу, что смех *Тизифоны* исказил этот небесный лик. Ему показалось очень забавным, что я плохо слышу. Он увлек за собой и остальных, все стали смеяться; я поклялся, что буду держать себя в руках...

Мы приступили к обсуждению; оно сосредоточилось на *валоге*. Г-н Дантон сказал мне:

— Я подойду к делу *как прокурор*.

— А я постараюсь выиграть его *как адвокат*,— ответил я ему.

Господин *Клавьер* взял слово и сказал:

— *Этот залог* не предусмотрен в соглашении с г-ном *де Гравом*; значит, мы имеем дело с другим соглашением.

— Если бы речь шла о точном подобии,— ответил я г-ну Клавьеру,— к чему было бы заключать новое? Обстоятельства изменились: я потребовал без обиняков, чтобы мне либо вернули мои ружья *(поскольку у меня были доказательства, что ими не интересуются)*, либо приняли разумные условия. *Три объединенных комитета и оба министра* предпочли второе решение. Эти новые условия и вошли во второй договор; *следственно, он и должен был быть другим.*

Господин *Клавьер* не сказал больше ни слова.

Господин *Дантон* спросил меня, может ли правительство быть наконец уверенным в том, что получит эти ружья, *если даст залог?*

— Да,— сказал я твердо,— если только перестанут бесконечно вставлять нам палки в колеса, как это происходило до сих пор!

Господин *Дантон* сказал мне еще:

— Допустим, мы внесем залог; кто вернет нам *эти деньги*, если голландцы будут упорствовать и не отдадут оружия?

— Никто,— ответил я ему,— поскольку вы вовсе и не должны давать денег, а должны только обязаться уплатить известную неустойку, если в означенный срок не пришлете залоговую *расписку* с пометкой о доставке оружия, как это предусмотрено договором. И, во-вторых, буде Голландские штаты задержат оружие, залог отпадет сам собой: тут все ясно. К тому же, господин *де Мольд* и я вручим залоговое обязательство, только получив разрешение на погрузку наших ружей.

— Но если все так просто,— взял снова слово г-н *Дантон*,— почему же вы сами не даете этого залога?

— По той причине,— сказал ему я,— что я поставляю это оружие вам, и если после его распределения в наших заокеанских владениях мне не привезут по небрежности или *по злому умыслу залоговую расписку с пометкой о получении его*, то, лишенный возможности оказать на вас давление, я, всем на смех, вынужден буду выплатить сам этот залог полностью. Его должен дать тот, кто заинтересован в оружии, кто использует это оружие по собственному усмотрению и один может выдать на своих островах расписку о получении этого оружия освобождающему залог: тогда собственный интерес понуждает его соблюсти точность и *в выдаче расписки о получении.*

Я прекрасно видел, что министр совершенно не в курсе дела; я сказал ему об этом, он рассердился. Я ответил:

— Господа, если вы желаете получить отчет о моем поведении в этом деле, если вы требуете от меня полного рассказа, ах! я ведь только этого и прошу, у меня с собой все бумаги; рассмотрим их ab ovo, а не выборочно, как вы это делали.

Господин *Клавьер* опять стал смеяться; тут я, в свою очередь, рассердился. Он поднялся и сказал, выходя:

— *Я поручу кому-нибудь проследить за всем в Голландии и сделать нам точный доклад.*

А я ответил:

— Вы окажете мне этим честь и удовольствие.

Он вышел, г-н Ролан тоже.

Господин Лебрен настаивал на том, что, поскольку дело о ружьях получило огласку, довести его до конца лучше не г-ну Лаогу, а кому-нибудь другому.

— Ах, я ничего не имею против, господа, если вы говорите о человеке, который должен принять оружие вместе с господином *де Мольдом* от вашего лица. *Но если речь идет о его сдаче?* Нет, господа, этого никто, кроме него, делать не станет. Припомните мое обстоятельное письмо от девятнадцатого августа сего года, там этот вопрос рассмотрен по существу. *Можно ли требовать от поставщика, чтобы он передал вам товар через кого-либо, кроме своего делового представителя?* Господин Лаог охраняет мои интересы; вы, господа, стоите на страже ваших собственных! А я уж буду бдить против злого умысла! Каждому свое.

Господин Лебрен мне ответил:

— Мы обговорим это завтра: эти господа вас выслушали.

— *Выслушали*, сударь? — отозвался я.— Да, выслушали по самому пустячному вопросу, но, клянусь вам, они ничего не знают о деле: так многого не узнаешь. Вы ни разу не дали мне возможности обстоятельно осветить его сущность! Следственно, я вынужден буду объяснить все *Национальному собранию*. Там я встречу больше понимания, ибо не прошу ничего, кроме справедливости.

Совет разошелся.

Я прошу, чтобы г-н *Дантон* и г-н *Ролан*, не причастные к делу, а также г-н *Грувель*, секретарь Совета, соблаговолили засвидетельствовать, что заседание протекало именно так. Впрочем, письмо, направленное мною на следующий день г-ну *Лебрену*, удостоверит вам, граждане, все подробности того вече-

ра. Я повергаю себя к вашим ногам и прошу вас обсудить его с самым пристальным вниманием. Трудись я над этим на протяжении десятка лет, мне все равно не удалось бы поставить этот вопрос яснее. За этим письмом последовали события столь ужасающие, что отнюдь не лишне изучить его досконально.

«Сударь!

Я полагал, что целью вчерашнего заседания Совета, на которое меня пригласили, было определить средства, с помощью которых можно ускорить выполнение договора от 18 июля о *ружьях, задерживаемых в Голландии.* Вы коснулись лишь наименее важного пункта этого договора *(залога),* и ничто по-прежнему не сдвинулось с места, поскольку вопрос не был поставлен должным образом, на что я имел честь обратить Ваше внимание.

Вместо того чтобы сосредоточиться на вопросе о средствах скорейшего осуществления договора, время было потрачено на прения о том, следует или нет принять одну из его статей, а именно — статью о *залоге.* Я был подвергнут своего рода допросу о мотивах, побудивших изменить статьи этого договора по сравнению с предыдущим, чем, как мне кажется, вовсе не стоило заниматься, если только речь не идет о проверке моего поведения и вынесении мне приговора. Но в таком случае меня следовало допросить не о частностях, а о всей совокупности дела, *как я и предлагал,* и у меня были при себе все бумаги, необходимые для моего оправдания и очевидного подтверждения гражданской благонадежности.

Но если дело идет действительно только о средствах *выполнения торгового договора, заключенного по доброй воле вступающими в соглашение сторонами,* то все иные вопросы, сударь, в этом обсуждении неуместны. Нас сближают и затрагивают здесь только отношения *продавца* и *покупателя.*

В случае, если военное ведомство, *как покупатель,* считает себя вправе отклонить хоть одну из статей договора, меня, *как продавца, нельзя принудить к выполнению ни одной из его статей.* Ибо этот договор предусматривает *обоюдные обязательства.* Следственно, в целях взаимной уверенности и придерживаясь торговых отношений, мы должны ограничиться соблюдением обязательств, налагаемых на нас договором, только и всего.

Таким образом, сударь, *покупатель должен дать залог* не потому, что это ему более или менее выгодно, но потому, что *его обязывает к этому договор.* Когда нужно будет доказать,

что он в этом был весьма заинтересован и потому *министры и комитеты приняли эту статью,* я приведу тому *убедительные* доводы; но это уже относится к *гражданской стороне дела,* а не к его торговому аспекту, который состоит в *осуществлении договора.* Я, сударь, выполню свои обязательства добросовестно; не препирайтесь о Ваших, и я обещаю, что наше дело сдвинется наконец с мертвой точки.

Какое французское сердце может остаться холодным к предмету столь важному? Не мое, во всяком случае, клянусь в этом! У меня есть тому слишком весомые доказательства!

Но пока мы вели обсуждение, в передней произошла сцена, скандальней которой нельзя вообразить. Выходя с заседания Совета, г-н Ролан громко ответил кому-то: *«Я тут занимаюсь с позавчерашнего дня делом, с которым мы, видимо, не покончим до конца войны, делом о ружьях господина Бомарше».* Едва он вышел, невольно сообщив — увы! — дополнительную огласку делу столь щекотливому... как раздался, точно в *Пале-Рояле,* всеобщий крик о проскрипциях против меня: обо мне говорили как о злоумышленнике, которого должно наказать. Кто-то сказал: *«Завтра я еду в Голландию и покончу со всем».* Другой: *«Он не хочет, чтобы эти ружья были доставлены; вот уже пять месяцев, как только по его вине их задерживают в Голландии».* И все наперебой принялись угрожать мне. Оба моих друга, ожидавшие меня, обсуждали между собой, не следует ли им войти и попросить Вас вывести меня через другую дверь.

Я тут же написал председателю комиссии по вооружению и просил его, предлагая свою жизнь в качестве залога, назначить комиссаров — негоциантов, юристов,— чтобы они расследовали с пристрастием мое поведение и высказались наконец о том, кто заслуживает одобрения, а кто порицания в деле о ружьях; ибо мне грозит быть разорванным на куски вакханками, подобно Орфею, раньше чем прибудет оружие, а оно, быть может, не прибудет никогда!

Покончим же, сударь, умоляю Вас, с торговой стороной договора, а я меж тем оправдаю дух его перед *суровым комитетом,* уже в третий раз с момента, когда он был заключен; я больше не в силах вынести состояние, в которое повергает меня это дело.

Остаюсь, сударь, Ваш и проч. и проч.

Подпись: *Карон Бомарше.*
Сего 13 сентября 1792».

В тот же вечер я написал в *Комитет по вооружению;* по молниям, обрушившимся на мою голову в военном министерстве, пока я находился в Совете, я чувствовал, что опасность надвинулась вплотную: кинжал был приставлен к моей груди. Моя записка была вручена на следующее утро, 14 сентября.

«От Бомарше в Комитет по вооружению.

Господин председатель!

Название комитета, коего вы являетесь председателем, говорит мне, что *мое дело о голландских ружьях* подлежит Вашему ведению. Вот уже пять месяцев мне с трудом удается заставить кого-нибудь выслушать меня, чтобы довести до конца дело, насущнейшее для спасения нашего отечества. Из того, что это оружие до сих пор не прибыло, люди неосведомленные, а главное, *мои враги* заключают, что *это я его задерживаю;* между тем у меня в руках доказательства того, что в этом нескончаемом деле, быть может, только я один и выполняю свой долг деятельного патриота и доброго гражданина.

Новые министры заняты, сударь, торговой стороной этого дела, они не могут уделить внимания пристальной проверке моего поведения и, будучи осведомлены лишь об отдельных его моментах, лишены возможности проследить за ним в целом и дать ему оценку, поэтому я имею честь поставить Вас в известность, что для общественного спасения, как и для моего личного, необходимо, чтобы *мое поведение было расследовано* просвещенными комиссарами — *негоциантами, юристами,*— если только вы не сочтете, сударь, более уместным выслушать меня сами на комитете; мы приблизились бы таким образом прямо к цели, каковая состоит *в доставке ружей.*

Я прошу свидетельства о гражданской благонадежности, которое обеспечило бы мое существование, и даю голову на отсечение, что докажу свое право на это свидетельство, ибо заслужил его безмерным усердием, которое сделало бы честь любому французу.

В случае Вашего, сударь, отказа, *меня могут убить, вот уж три раза я с трудом избежал подобной опасности; и все из-за этого дела.* Моя смерть никому не принесет пользы; моя жизнь еще может пригодиться, потому что без меня Вы никогда не получите шестьдесят тысяч ружей, задержанных в Голландии.

Остаюсь с глубоким уважением, сударь,

Ваш и проч.

Подпись: *Карон Бомарше.*

Париж, сего 13 сентября 1792 года».

И это мой обвинитель называет *«низостью, проявившейся в том, что я писал по этому делу»*. Граждане, я полагал, что строгость к себе свидетельствует о *гордости*, а не о *низости!* Но его настолько сбили с толку, что я не хочу сердиться ни на одно его слово.

Комитет по вооружению дал мне четкий ответ на мою просьбу 14 сентября, не теряя ни одного дня. «Ха-ха! — подумал я.— *Эти господа ведут себя совсем по-иному, чем исполнительная власть!* Они удостаивают меня ответа; наконец-то я чувствую почву под ногами». Вот письмо, полученное мною от них:

«Париж, 14 сентября 1792, 4-го года Свободы и 1-го года Равенства.

Комитет по вооружению, получив Ваше письмо от 13 сентября, желал бы, сударь, заслушать Вас сегодня вечером по Вашему делу о голландских ружьях; однако Вам надлежит предварительно направить прошение в Национальное собрание, которое передаст его в тот из своих комитетов, который оно сочтет подходящим, и вполне вероятно, что им окажется Комитет по вооружению; в этом случае, сударь, вы можете рассчитывать, что он обсудит с Вами операцию, о которой Вы говорите, тем охотнее, что надеется получить в результате необходимые разъяснения и возможность вновь воздать честь Вашему патриотизму.

Члены Комитета по вооружению.

Подписи: *Мэньет, Бо и др.».*

Я тотчас направил в Национальное собрание следующее прошение:

«Господин председатель!

Весьма крупное дело, затеянное, чтобы оказать Франции серьезную поддержку иностранным оружием, и *находящееся уже давно в бедственном положении*, требует сейчас обсуждения, *столь же придирчивого, сколь закрытого. Широкая огласка повредила бы ему.* Проситель умоляет Вас, господин председатель, соблаговолить направить дело для обсуждения в комитет, *столь же справедливый, сколь сведущий,* именуемый Комитетом по вооружению.

Прошу Вас принять заверения в глубоком уважении.

Подпись: *Карон Бомарше.*
Сего 14 сентября».

«Направление № 38.

Направляется в Комитет по вооружению и в Комитет по военным делам для безотлагательного совместного изучения и доклада.

Подпись: *Луве».*

Это направление в комитет, не заставившее себя ждать, довершило мою радость. Я получил его 15-го и 15-го же написал в объединенный Комитет по военным делам и вооружению.

«Сего 15 сентября 1792 года.

Господа!

В связи с тем, что Национальное собрание оказало мне честь направить мое ходатайство на ваше нелицеприятное рассмотрение, я жду ваших указаний, чтобы явиться туда, куда вам будет угодно указать. Если я дерзну выразить некое пожелание, то оно будет состоять в том, о мои судьи, чтобы вы *собрались в возможно более полном составе и чтобы министр иностранных дел соблаговолил также прибыть* как противная сторона.

Примите заверения в уважении старца, ни к чему уже не пригодного.

Подпись: *Бомарше».*

Через два часа я получил следующий ответ Комитета по вооружению:

«Париж, 15 сентября 1792, 4-го года Свободы и 1-го года Равенства.

Комитет по вооружению поручил мне уведомить Вас, сударь, что в соответствии с направлением на его рассмотрение декретом Национального собрания Вашего ходатайства он будет иметь удовольствие выслушать сегодня вечером, в восемь часов, соображения, которые Вы желаете ему высказать относительно дела о ружьях, купленных Вами в Голландии.

Секретарь-письмоводитель Комитета по вооружению.
Подпись: *Тежер».*

«Вот так надо вести дела,—сказал я себе, читая письмо,— а отнюдь не на манер наших господ министров, которые заставляют вас из-за каждого пустяка терять две недели и выхаживать по тридцать миль, так ничего и не доведя до конца!»

Вечером я отправился *со своим портфелем* на заседание двух объединенных комитетов. Однако министр не явился туда в качестве *противной стороны,* как я того *настоятельно просил.*

Выступил один я. Впрочем, я просто прочел то, что сейчас перед вами. Я читал и говорил на протяжении трех часов; на следующий день — еще полтора часа. *Лекуантр,* вас одного не было там (не считая г-на *Лебрена*); вы тогда были на границе; и я весьма сожалел о вашем отсутствии.

Как бы там ни было, когда я ушел, эти господа составили весьма лестное свидетельство (которое я приведу здесь), получив предварительно отчет от двух членов своего комитета, посланных к министру *Лебрену,* чтобы потребовать от него обещания *вручить мне на следующий вечер* все необходимое для высвобождения оружия.

Я, со своей стороны, также пошел к нему. Комиссары сказали министру, что «оба комитета, на которые Национальным собранием было возложено расследовать со всей придирчивостью мое поведение в этом деле, *нашли его безупречным, по форме и по существу;* что, исходя из этого, им поручено обоими комитетами передать ему от лица Национального собрания, что их обязали получить от него обещание возможно быстрее обеспечить все необходимое для моего отъезда, коль скоро я дал согласие принести и эту жертву и поехать самому, несмотря на *мой возраст* и болезнь».

Я объяснил министру, что нуждаюсь в приказе г-ну *де Мольду* выполнить договор от 18 июля в той части, которая его касается; *во вручении залога,*— без чего совершенно бесполезно что-либо предпринимать; *в паспорте для меня; в паспорте для г-на Лаога;* и *в деньгах, которые военное министерство могло бы мне уделить,* не стесняя себя.

Господин Лебрен заверил этих господ, *что самое позднее к следующему вечеру я буду иметь* все необходимое *для отъезда.* (Не упускайте из виду, читатель, это обещание. Вы увидите, как оно было выполнено.) Это было 16 сентября. Вечером я пошел в комитеты; но только 19-го секретарь вручил мне свидетельство за всеми подписями, которое вы прочтете:

«Члены Комитета по военным делам и Комитета по вооружению свидетельствуют, что, рассмотрев в соответствии с направлением Национального собрания от 14 числа текущего месяца ходатайство г-на Карона Бомарше, касающееся купленных им в Голландии в марте сего года шестидесяти тысяч ружей, мы пришли к выводу, что вышеупомянутый г-н Бомарше, который предъявил нам свою переписку, неизменно выказывал при всех сменявших друг друга министрах самое ревностное усердие и самое горячее желание добыть для нации оружие, задерживаемое в Голландии из-за препятствий, возникших вследствие небрежения или злого умысла исполнительной власти, господствовавшей при Людовике XVI; что теперь, после совещаний с министром, в присутствии двух комиссаров, выделенных из числа своих членов двумя объединенными комитетами, господин Бомарше избавлен от всех трудностей и ему созданы благоприятные условия для поставки нации шестидесяти тысяч ружей.

В связи с чем мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что вышеупомянутому г-ну Бомарше надлежит оказывать содействие в предпринятой им поездке, целью которой является получение вышеупомянутого оружия, поскольку он движим единственно желанием послужить общественному благу и заслуживает поэтому б л а г о д а р н о с т и н а ц и и.

Дано в вышеупомянутых комитетах, в 4-й год Свободы, 1-й год Равенства, 19 сентября 1792.

Следуют все подписи:
Гарран, Л'Оривье, Л. Карно и др.».

Все еще опасаясь, как бы память г-на *Лебрена*, министра, не сыграла злой шутки с его благими намерениями, я направил ему на следующий день, 17 сентября, для ее освежения письмо, в котором только напоминал обо всем говорившемся ранее; мне важно было закрепить письменно все детали беседы, чтобы их нельзя было отрицать, когда придет час просветить нацию.

Вечером я постучал в ворота *министерства иностранных дел,* чтобы получить от г-на *Лебрена,* как он обещал, все *необходимое* для моего отъезда. Привратник сказал, что меня просили подняться в кабинет, где выдают паспорта. Некий *господин,* в ту пору отменно учтивый, но затем весьма переменившийся, сказал мне, что паспорта не готовы из-за отсутствия моих примет и примет г-на *Лаога.* Я сообщил наши приметы. *Учтивый господин* пообещал, что все будет готово назавтра. Я хотел пройти к министру *за письмом к г-ну де Мольду, залогом и деньгами;* мне сказали, что его нет.

На следующий день, 17-го, я вновь явился в министерство; столоначальник по выдаче паспортов сказал мне, все еще весьма учтиво, что, поскольку наши паспорта должны быть подписаны всеми министрами, необходимо заседание Совета, но его не придется ждать долго. Поблагодарив, я пошел к министру; *к сожалению, его не было!*

На следующий день, 18-го, я пришел так рано, что просто не могло существовать дела, ради которого он мог бы выйти в такой час. Он наконец принял меня и сказал, что не может один решить вопросы, интересующие меня; *о них пойдет разговор вечером, на Совете.* Я попросил разрешения при сем присутствовать; он соблаговолил объяснить мне, что это *могло бы стеснить свободу высказываний.* Он готов был обсудить со мной обеспечение авансов, которое должно было выдать мне министерство *до передачи оружия г-ну де Мольду.* Я вручил ему закладную на все мое имущество, как меня обязывал наш договор.

Он сказал, что г-н Клавьер требовал, чтобы кто-нибудь был послан в Голландию для проверки там моего поведения.

— Мне, сударь,— сказал я ему,— этот *кто-нибудь* отлично известен; я сам присмотрю за его поведением, потому что я-то буду там заниматься только тем, на что меня уполномочивают соответствующие документы. Читая их одним глазом, я — другим — буду неусыпно бдить.

Он сказал мне прийти на следующий день, 19-го, *за залогом, деньгами и письмом к г-ну де Мольду.* Я до такой степени опасался рассеянности г-на *Лебрена,* что, вернувшись домой, написал ему, напоминая об этом обещании и испрашивая его попечения и благорасположения.

Девятнадцатого вечером я узнал через человека, совершенно надежного, что Совет решил *не давать мне ни одного су, даже в счет моих двухсот пятидесяти тысяч ливров.* Какой толк был гневаться? Я понимал: это делается преднамеренно. Человек, посылаемый в Голландию, был г-н *Константини.* Я знал, что он заключил договор со всеми нашими министрами на поставку им *шестидесяти тысяч ружей,* за чем и отправился в Голландию; я знал, что *речь идет о моих ружьях,* что, воспользовавшись тем затруднительным положением, в которое поставил меня министр, он возобновит предложения, уже делавшиеся им через его друга *Ларше,* сначала — пока я был на свободе — у меня дома, а потом — в *Аббатстве, где я сидел под секретом.* Я знал, что он покажет мне купчую, заключенную со всеми нашими министрами, и когда мне тем самым будет доказана *безвыходность моего бедственного положения,* я уступлю ему,

как он надеется, мои ружья по *семь флоринов восемь су за штуку,* а он перепродаст их нации по *двенадцать флоринов,* с благосоизволения министров, которые, не давая мне ни обола, *отказывая в залоге* и зная, что я совершенно опорочен шестью днями, проведенными в тюрьме, и всеобщим ко мне недоброжелательством, рассчитывали, что я не найду ни су в кошельках, к которым попытаюсь прибегнуть, и буду слишком счастлив принять предложения *Константини.* И я хорошо знал, что ему, сверх всего, выдали шестьсот тысяч франков в качестве аванса за *мои шестьдесят тысяч* ружей, которые он должен поставить правительству под обеспечение, как мне сказали, гарантированное неким *аббатом!* Я знал, что их благородному клеврету, *Константини и компании,* предстоит получить исключительное право *на поставку всех товаров, оружия и амуниции, которое нужно вытянуть из Голландии.* Я знал, я знал... Чего я только не знал?

На следующее утро еще не пробило девяти, когда я пришел к министру. *К сожалению, его не было!* Решив держать себя в руках, я оставил ему записку у привратника, который сказал мне от его имени, чтобы я вернулся к часу дня.

«Четверг, *20 сентября 1792 года,* в девять часов утра,
у Вашего привратника.

Сударь!

Я не намерен долее досаждать Вам и приду только для того, чтобы с Вами попрощаться. Я вернусь к часу, как Вы распорядились, за письмами г-ну *де Мольду,* ежели Вы полагаете, что должны мне их вручить.

Сведения, полученные мной вчера вечером, подтверждают, что мне нечего ждать от этого кабинета министров, *если не считать Вас, сударь;* и что я должен поторопиться с отъездом, если хочу послужить моему отечеству. Ради успеха этой поездки я иду на обременительный заем. Я оформлю это по закону и, *вернувшись из Голландии, поступлю так, как надлежит доброму французу, оскорбленному в своих правах!*

Примите заверения в уважении от
Подпись: *Бомарше».*

Я вернулся к г-ну *Лебрену* около часа. Он принял меня с видом... казалось, говорившим, что он огорчен за меня... с видом... несколько напоминавшим первый день, когда мы встрети-

лись. Это заставило меня насторожиться, очень уж явной была перемена.

— Возьмите ваши паспорта,— сказал он мне,— и отправляйтесь. Обратитесь от моего имени к господину *де Мольду и постарайтесь сообща сделать все возможное.*

— А на основании чего, сударь, господин де Мольд, по-вашему, поверит мне и *станет выполнять то, к чему обязывает его договор от восемнадцатого июля, если вы, министр, которому он подчинен,* не сообщите ему, что полностью поддерживаете этот договор, заключенный вашими предшественниками, отдав господину *де Мольду министерский приказ неукоснительно выполнить его?* Мне в этом нет никакой нужды; но он-то ведь станет действовать только по *вашему приказу?*

— *Он должен действовать,*— сказал мне министр с живостью,— *мое письмо его к этому обязывает: я посылаю ему с вами надлежащую грамоту. Сейчас я ее заверю и вложу в мой пакет.*

Он написал в моем присутствии *под актом от 18 июля* следующие слова:

«Копия соответствует оригиналу. Париж, сего 20 сентября 1792 года.

Министр иностранных дел.

Подпись: *Лебрен».*

Он вскрыл свой пакет, *адресованный г-ну де Мольду,* чтобы вложить туда акт от 18 июля, *со своей припиской, удостоверявшей, что он этот договор признает и к нему присоединяется.*

— А *залог?* — сказал я ему.— Разве вы его мне не даете? Не имея залога, нечего и пытаться что-нибудь сделать; без него я не могу уехать.

— *Будет лучше для вас и для меня* (сказал он, не глядя на меня), если *я пошлю его прямо г-ну де Мольду, поскольку это наше дело, и он должен внести его от нашего имени! Не сомневайтесь, он получит его до вашего прибытия в Гаагу.* Что до денег, в которых вам отказано,— добавил он любезно,— *у вас есть все основания жаловаться.* Но если для окончания дела вам нужны двести тысяч франков или даже сто тысяч экю, я *прикажу г-ну де Мольду отсчитать их вам, когда вы попросите.* У него есть семьсот тысяч франков, принадлежащих мне, я беру это на свою ответственность. Пожалуйста, доставьте также мне удовольствие и справьтесь как негоциант, *в соответствии с заметками, которые я вам дам,* о цене и качестве пару-

сины и других важных для нас предметов; мне было бы важно иметь об этом суждение человека сведущего. Оставьте мне *договор и пакет, приходите завтра поутру*; я верну их вам вместе с *моими заметками.*

— *Я уезжаю, сударь, полагаясь на ваше слово,*— сказал я, глядя ему в глаза.

— *Вы можете на него положиться,*— сказал он, отводя взор.

Я вернулся туда на следующий день, 21 сентября; обо мне доложили; слуга вернулся и вручил мне только простое письмо, адресованное г-ну *де Мольду.*

— Министр не может вас видеть. Он приказал передать вам, сударь, чтобы вы поднялись в канцелярию забрать ваши паспорта и отправлялись в Голландию.

Удивленный таким приемом, я сказал ему:

— Спросите, мой милый, вложен ли договор в конверт, который он мне передает, *и не забыл ли он о своих заметках.*

Он вошел в кабинет и вернулся сказать мне, что *г-ну Лебрену больше не о чем со мной говорить*; что договор вложен в письмо и чтобы я уезжал как можно скорее.

«*Браво!* — сказал я себе.— *Следственно, я еду!* Потеряв столько дней, так и не получив ни от кого поддержки, не зная даже, везу ли я с собой заверенный *договор и приказ о его выполнении* или какое-нибудь ничего не значащее письмо в их обычной манере!» Печально взял я наши паспорта и отправился к человеку, который должен был дать мне в долг необходимые деньги; ибо на деньги г-на *Лебрена* я уже не рассчитывал.

Человек сказал мне:

— Сударь, с займом ничего не вышло: на вас смотрят как на лицо, осужденное государством, которое желает вас погубить; кошельки для вас закрыты.

Я вернулся домой, взял немного золота, отложенного мною, как предусмотрительным человеком, на черный день. Экю, которые я намеревался сдать в национальное казначейство, *если бы мне вернули мои деньги*, я отнес к банкиру, чтобы получить кредит на эту сумму в Голландии, и выехал всего с *тридцатью тысячами франков* вместо тех крупных сумм, которые были мне необходимы и *которых меня так предательски лишили!* Итак, я пустился в путь, не преминув, однако, оставить *протест* против всех гнусностей, претерпенных мною от наших министров; поначалу я собирался вручить его запечатанным моему *нотариусу*, с тем чтобы он был вскрыт *в надлежащем месте и в надлежащее время* в случае моей смерти или несчастья. Но я изменил

намерение из опасения, что акт об отдаче на хранение этого запечатанного пакета привлечет до времени их внимание к моему *протесту,* который должен быть оглашен, только если окажется, что министр *Лебрен* нарушил все свои обещания. Я оставил запечатанный конверт в своем запертом секретере, где его нашли бы при снятии печатей, так как в случае обвинительного декрета все в моем доме было бы непременно опечатано. Я прошу сейчас вскрыть этот конверт и огласить мой протест в присутствии комиссаров, которые будут описывать мои бумаги, чтобы его подлинность была удостоверена.

В ожидании этого переписываю его здесь по копии, которую сохранил.

«В Лондоне, сего 8 февраля 1793 года[1].

Мой протест против действий министров, оставленный в запечатанном виде на хранение у г-на Дюфулера, нотариуса, на улице Монмартр[2].

Не зная, что уготовано мне судьбой и удастся ли мне преодолеть растущее с каждым днем сопротивление негодяев доставке во Францию оружия, насущно необходимого нации и задерживаемого голландцами в Тервере —

Я заявляю, что козни, первоначальным источником которых были канцелярии военного министерства, ныне — дело рук самих министров.

Я заявляю, что эти министры постарались (и в этом преуспели) задержать во Франции г-на *де Лаога,* помешав ему отправиться в Голландию для выполнения поручения предыдущих министров и трех объединенных комитетов, а также моего, *передать* нации в Тервере принадлежащие мне ружья, вручив их г-ну *де Мольду* — нашему посланнику в Гааге и опытному генерал-майору — в соответствии с требованием статьи восьмой договора от 18 июля 1792 года.

Я заявляю, что эти министры, действуя якобы по распоряжению Национального собрания, *никогда на самом деле не существовавшему,* задержали во Франции, в силу этого мнимого распоряжения, г-на *Лаога,* моего представителя.

Я заявляю, что министр *Лебрен,* отвечая 16 сентября депутатам комитетов *по военным делам и по вооружению,* которые

---

[1] Поскольку опубликование этого пятого «этапа» моей записки, отосланной из Англии в феврале, задержалось до сегодняшнего дня, 21 марта, из-за невозможности найти типографа, а печати с моих бумаг были сняты без какой бы то ни было их переписки, я сам нашел в своем бюро оригинал протеста, которому и дам обещанный ход.

[2] Выше было указано, почему я его не оставил.

были посланы Собранием, чтобы ускорить вручение *мне обещанного залога и денег, необходимых для высвобождения ружей, торжественно дал* им слово, что в течение суток вручит мне *все нужное* для того, чтобы я мог поехать высвободить и поставить нации это оружие в Тервере, что он снабдит меня *обещанным залогом и деньгами, обусловленными договором от 18 июля*; однако в дальнейшем, по договоренности с другими министрами, г-н Лебрен заявил мне, что Исполнительный совет *отказал мне в деньгах и залоге,* посулив, чтобы побудить меня выехать, что он, *Лебрен,* восполнит эту потерю из средств своего ведомства.

Я заявляю, что, в силу проволочек и отказов, я выезжаю без каких бы то ни было денежных средств и почти без надежды раздобыть их за границей, поскольку мой арест в Париже и мое заключение в *Аббатство* подорвали мой кредит как на родине, так и за ее пределами.

Я заявляю, что протестую против предательских действий теперешнего министерства и возлагаю на него ответственность *перед нацией* за все бедствия, которые могут в результате воспоследовать; что тем самым я только выполняю то, о чем уже предупреждал министров со всей резкостью в письме, имевшем форму памятной записки и врученном г-ну *Лебрену* 19 августа сего года, где я без обиняков говорил ему следующее: «Разъяснив Вам все, о чем министр, только что занявший свой пост, мог сам и не догадаться, я *вынужден заявить,* сударь, что, если министерство будет в дальнейшем действовать вразрез с этими данными, я *снимаю с себя* отныне *всякую ответственность и перелагаю груз ее* на исполнительную власть (о чем и имею честь ее предупредить).

...Десятки раз я подвергался обвинениям,— *не пришла ли мне пора обелить себя?..* Пусть министры не отдают никаких приказаний, не согласовав их со мной... или пусть сами отвечают за все перед отечеством, чьим интересам нанесен вред».

Я заявляю, кроме того, что собираюсь привлечь вышеупомянутое министерство в лице г-на *Лебрена* к суду за ущерб, который может причинить моим делам или моей жизни его гнусное поведение. В удостоверение чего я *оставил на хранение у г-на Дюфулера, нотариуса,* этот протест, запечатанный моей печатью и долженствующий быть вскрытым и пущенным в ход в надлежащее время и в надлежащем месте, если это потребуется.

Париж, 21 сентября 1792 года.
Подпись: *Карон де Бомарше».*

Шестой и *последний этап* моих трудов и мытарств, куда входит мое путешествие в Голландию и мой заезд в *Лондон,* где я и пишу эту весьма пространную записку, дважды связанный из-за этих ружей: обвинительным декретом — во Франции, и арестом за неуплату долга — в Англии (и всё по доброте нашего премудрого министерства); этот шестой этап, говорю я, будет отослан в *Париж* через четыре дня; и как только я получу уведомление, что он находится в печати и что, следственно, мое оправдательное выступление не удастся замолчать, я пожертвую всем, чтобы добиться освобождения из-под ареста в Лондоне: я уеду отсюда, я явлюсь в *парижскую тюрьму.* И если меня там прикончат, Национальный конвент! проявите справедливость к моему ребенку; пусть моя дочь соберет хоть колоски, оставшиеся на том поле, где ей принадлежала вся жатва!

ШЕСТОЙ И ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

Законодатели и вы, о граждане, вы, кто лишь из любви к справедливости набрались мужества следовать шаг за шагом за всеми этими чудовищными подробностями,— ваше благородное возмущение слилось с моим собственным, когда вы увидели, с каким изощренным коварством министерство сумело удалить меня из *Парижа,* где моим присутствием затруднялось осуществление плана, задуманного, чтобы меня погубить.

Обождите минуту, граждане, вы увидите, как надевают личину; позвольте мне только посвятить вас раньше в то, какие шаги предпринял я в Голландии через нашего посла.

Я уезжал, озабоченный и удрученный; *удрученный* мыслями, что все это только ловушка; что мне позволили выехать *без залога и без средств,* чтобы я не мог ничего сделать. *Озабоченный* — увы! — одним вопросом: как разгадать, в интересах которого из министерств строились все эти козни!

Мне были уже известны клевреты, услугами которых пользовались. Поведение руководителей также было ясным, но они, казалось, действовали сообща! Были ли все они посвящены в тайну, или один из них обманывал остальных?

Я говорил себе дорогой: «Не подлежит сомнению, что они хотят вынудить меня бросить это дело, уступив шестьдесят тысяч ружей тем, кто потом, *по сговору с ними,* перепродаст эти ружья Франции по угодной им цене и даже никому не скажет, что это мой товар. Но *Лебрен!* Но *Лебрен!* Причастен он к этому или нет? Его поведение необъяснимо.

Я заметил одну вещь: за все это время меня ни разу не направили вновь к г-ну *Сервану*. На том единственном заседании Совета, где я заметил его, он не разомкнул рта. Отбивались только господа *Лебрен* и *Клавьер*... Однако превращения г-на Лебрена! Доброжелательность, с какой он торопил мой отъезд, столь не похожая на его поведение накануне и на следующий день!.. «Ладно,— сказал я себе,— наберемся терпения! Будущее покажет...»

Прибыв 30-го в *Портсмут*, я 2 октября был в *Лондоне*. Я пробыл там всего сутки. Мои друзья и корреспонденты, господа братья *Лекуант*, которых я посвятил в мои трудности, предоставили мне кредит на *десять тысяч фунтов стерлингов*, говоря: «Необходимо возможно скорее со всем покончить, *не теряйте ни минуты!*»

Очарованный их отношением ко мне, я сел на корабль, который шел в Голландию, куда прибыл смертельно больным после самого тяжелого перехода за последние сорок лет, длившегося шесть дней. Я вручил пакет посланнику г-ну *де Мольду*.

Он принял его весьма любезно, сказав мне:

— *Распоряжение благоприятно, я в точности буду его придерживаться,* но вы сами увидите, что тут помехи на каждом шагу.

Я спросил его, *получил ли он залог от г-на Лебрена.*

— Нет, пока не получил.

— Сударь,— сказал я ему, заканчивая обстоятельный рассказ обо всем, что мне пришлось пережить,— министр сказал мне, что *отдаст вам приказ отсчитать мне двести или триста тысяч франков, ежели они мне понадобятся, из его денег, имеющихся в вашем распоряжении.*

— Но у меня ничего нет,— сказал он,— они давно истрачены. Он, очевидно, вышлет их мне.

Я попросил его снять мне копии со всего, что писали ему различные министры по делу о ружьях. Он обещал и *сдержал слово,* потому что это человек в высшей степени порядочный.

В ожидании, пока я смогу ими воспользоваться, вот письмо г-на Лебрена, к которому был приложен *заверенный договор от 18 июля.*

«Господину де Мольду.
Париж, 20 сентября 1792 года.

Сударь, г-н *Бомарше,* который передаст вам это письмо, решается на поездку в Голландию, чтобы завершить дело с ружьями, задержанными в Тервере. Поскольку Вы полностью

в курсе всех неприятностей, которые до сей поры оттягивают доставку этих ружей по назначению, я прошу Вас договориться с г-ном *Бомарше,* как наиболее быстро получить их. Я желаю, чтобы доставка была осуществлена надежно и экономно. Я очень рассчитываю на Ваше усердие и рвение в выполнении этих обоих условий и заранее убежден, что г-н Бомарше соблаговолит вам оказать в этом содействие.

Министр иностранных дел Лебрен.

P. S. Вы найдете, сударь, в приложении к сему сверенную копию купчей, заключенной между г-ном *Лажаром,* тогда военным министром, и г-ном *Бомарше».*

Прямота этого письма склоняла меня к мысли, что г-н *Лебрен* мог в самом деле быть всего лишь орудием ненависти или корыстолюбия других.

Нельзя было яснее составить *документа* о *восприятии* и *приобретении* этого оружия. «Здесь нет ни слова,— думал я,— которое может быть понято в ином смысле». *(«Поскольку вы в курсе того,— говорит он,— что́ оттягивает доставку ружей по назначению, я прошу вас договориться с г-ном Бомарше, как нам наиболее быстро получить их».)* Кто, кроме владельца, мог бы употребить подобные выражения? *(«Я желаю, чтобы доставка была осуществлена надежно и экономно».)* Если бы он не рассматривал оружие как свою собственность, что за дело было бы ему до *экономии?* Но ведь по договору все расходы возложены на них. *(«Я очень рассчитываю на Ваше усердие и рвение* в неукоснительном выполнении этих обоих условий».) Можно ли после подобных настояний сомневаться в добросовестности г-на *Лебрена*? Это значило бы оскорбить его! *(«И я заранее убежден,* что г-н Бомарше соблаговолит оказать вам в этом содействие».)

Моя роль коренным образом меняется! Речь идет теперь не о содействии мне в моем деле, теперь меня, напротив, просят оказать содействие послу в деле государственном!

— Разумеется,—сказал я,— я так и поступлю, можете не сомневаться, г-н *Лебрен.* Я вложу в это весь мой пыл и патриотизм, как если бы оружие все еще принадлежало мне.

Теперь все ясно: пока г-н Лебрен действовал от лица всех, он обращался со мною дурно. Теперь, когда он говорит от своего имени, он справедлив, обязателен. Я пущу в ход все средства, чтобы обезвредить козни недоброжелателей. Министр *заве-*

рил акт; он распорядился, чтобы договор был выполнен. Он даже просит меня помочь в этом; он сулит дать деньги своего ведомства; он пришлет обещанный залог. Простите, простите меня, г-н *Лебрен!* Быть может, в тот день, когда вы отказались принять меня, г-н Клавьер сидел у вас! Все это весьма запутанно, но — увы! — такова политика, сейчас повсюду так. Поскольку нам не дано ничего изменить, покоримся и поглядим, как поведет себя г-н *Константини,* любимчик и избранник наших *министров-патриотов!*

Я пошел к г-ну *де Мольду* и сказал ему:

— Сударь, в ожидании, пока прибудет залог, я потребую через нотариуса от голландского поставщика, чтобы он *законным образом оформил передачу мне права владения и поставку оружия в самом Тервере.* Но поскольку в Париже я имею дело с людьми вероломными, я хотел бы, чтобы было засвидетельствовано, что, *когда я впервые увидел это оружие* (упакованное в ящики и помещенное на склад за два месяца до того, как мне его предложили), *вы осматривали его вместе со мной.* Вы примете мою поставку в тот же день, когда оружие будет мною получено от голландского поставщика, чтобы впоследствии не могло возникнуть подозрение, что я подменил его или похитил хоть одно ружье в интересах врага; разве это не главный довод, с помощью которого они возбуждают против меня в *Париже* народную ярость? Я хочу, чтобы брабантский оружейник, который год тому назад смазывал, упаковывал и размещал на складе в Тервере эти ружья, явился и засвидетельствовал в вашем присутствии, что нашел их такими же, какими оставил тогда и какими они *по гарантии поставщика переданы мне в девятистах двадцати двух ящиках и двадцати семи бочках или кадках.*

Господин *де Мольд* ответил мне:

— Вы можете избавить себя, если хотите, от всех этих хлопот: некий г-н *Константини,* который привез мне рекомендательное письмо от министра *Лебрена,* просил меня предложить вам, чтобы вы уступили ему всю партию *по семь флоринов восемь су за штуку, которые он выплатит вам золотом, и немедленно.* Это всего на один флорин меньше, чем дает государство, *и вы легко возместите этот убыток, избавившись от всех хлопот!* Этот человек явно вошел в доверие к министрам. Он получил от них *исключительное право на поставку правительству всего, что можно приобрести в Голландии.* И, очевидно, он не столкнется во Франции с теми трудностями, с которыми можете столкнуться вы, во всяком случае, если верить его словам.

Я открыл сердце г-ну *де Мольду* (одному из самых прямых, образованных и порядочных людей, которых я встречал в моей жизни). Я признался ему, что живейшим образом раскаиваюсь в неосторожности, заставившей меня выйти из *безвестности, в которой я замкнулся, дабы не задевать ничьих интересов,* и уступить настойчивым просьбам оказать моей стране услугу, столь опасную!

Я рассказал ему все, о чем здесь написано, в том числе и об опасностях, которых едва избежал перед 2 сентября, когда отверг предложения и презрел угрозы этого г-на *Константини.*

— Вот,— сказал я,— почему эта *исполнительная власть* отказала мне в каком бы то ни было содействии, в какой бы то ни было помощи, в какой бы то ни было справедливости: они хотели, чтобы я оказался во власти их *Константини,* без всякой поддержки и средств. Но г-н *Лебрен* меня вытянет! Он обещал. Мы еще послужим Франции назло им всем; только этим я и утешаюсь! Умоляю вас, однако, сказать мне, в какой форме *Константини* просил вас передать мне его предложения, чтобы я мог правильно судить о вещах, мне известных, сравнив их с тем, что вы соблаговолите мне сообщить.

— О,— сказал он,— что говорить о форме, когда нет сомнений в сути. Он сказал мне весьма небрежным тоном, после того как долго похвалялся, каким доверием пользуется у министров: «Убедите же этого Бомарше уступить мне свой груз на флорин дешевле, чем покупает правительство. Если он станет торговаться, ему не поздоровится! А если даст согласие, тотчас получит свои деньги в Антверпене, у вдовы Ломбаэрт, у которой помещен мой капитал». А когда я сказал ему, что в случае, если вы уступите эти ружья, я не уполномочен принять их в *Тервере,* он ответил: «Я в этом не нуждаюсь, я беру все на свою ответственность. Я пользуюсь доверием Лебрена. Не думаю, чтобы он мне в чем-нибудь отказал». И он даже добавил с несколько покровительственным видом: «Вы принимаете у себя этого Бомарше! Но предупреждаю вас, это может вам повредить во мнении нашего правительства. Подумайте об этом, прошу вас». (Вы видите, читатель, *вошел ли этот человек в доверие к министрам!)*

— И сверх того он имеет, очевидно, все основания быть уверенным в себе,— продолжал г-н *де Мольд,*— потому что, закупив партию *в четыре тысячи ружей,* о которой г-н Лебрен сообщает мне, что *шесть тысяч* из нее им уже поставлены... и узнав, что г-н *де Сен-Падý,* артиллерийский офицер (послан-

ный г-ном Серваном для проверки оружия, которое вывозят отсюда оптовые поставщики), желает осмотреть эти четыре тысячи перед отправкой, Константини сказал мне небрежно: «Я против этого осмотра; мне не нужен ни Сен-Паду, ни кто-либо другой, чтобы оружие было у меня принято; я отвечаю за все. Я пользуюсь доверием. Я сказал Сен-Паду, что он может не беспокоиться».

— Когда я передал г-ну *Сен-Паду* эти слова,— сказал мне г-н *де Мольд,*— он попросил меня ходатайствовать перед военным министерством об его отзыве, поскольку здесь он не приносит пользы, раз эти господа заявляют, что не нуждаются в присутствии представителя противной стороны; *я так и поступил.*

— Что ж, сударь,— ответил я ему,— скажите г-ну *Константини,* что я с презрением отвергаю его предложения, как я отверг их, когда он приставил кинжал к моей груди в *Аббатстве*; ему моих ружей не видать! Это дело для меня давно перестало быть торговой сделкой! Нет, моя родина их получит, но получит *от меня* и по той цене, по которой я их продал с самого начала, *ни одним флорином дороже.* Тут эти разбойники ничем не поживятся.

Я теребил г-на *де Мольда,* чтобы поскорее отправиться в *Тервер;* я призываю его сейчас засвидетельствовать, как я был настойчив. Он отвечал мне:

— Подождем, пока *прибудет залог,* в соответствии с вашим собственным принципом, что следует действовать сразу по всем линиям. Я написал уже г-ну *Лебрену,* что мы ждем залога.

С 20 сентября до 16 октября никаких известий от министра! Мое доверие пошатнулось. 16-го я сам написал г-ну *Лебрену.* Мое письмо напоминало об его обещаниях и обо всем, что вы читали. Уведомив его о силках, которые мне расставлены, я приписал в конце:

«При первом известии о наших успехах (успехах *Дюмурье*) *наши сто двадцать пять миллионов* поднялись на пятнадцать процентов. Сейчас обменный курс тридцать шесть с половиной. Нужно быть за границей, чтобы понять по-настоящему, какое безмерное удовольствие приносят хорошие новости из Франции. Радость здесь доходит до исступления. Радуешься не только добрым новостям, но и досаде, которую они причиняют другим».

Жду до 6 ноября. Так ничего и не получив, посылаю г-ну *Лебрену* второе письмо, более резкое и обстоятельное, но касающееся того же предмета. Я включу его в текст единственно для контраста со всеми последующими.

«Гаага, сего 6 ноября 1792 года.

Гражданин министр!

Если мое письмо от 16 октября было вручено Вам моим старшим приказчиком, Вы убедились, что тотчас по прибытии сюда я счел своим долгом выполнить все обещания, связанные с каверзным делом о шестидесяти тысячах ружей. Сегодня я имею честь сообщить Вам, сударь, что я принудил моего поставщика, *весьма проавстрийски настроенного, хотя он и голландец,*— или именно *потому, что он голландец,*— передать мне законным образом на этой неделе, самое позднее на следующей, весь груз оружия, который *уже так давно оплачен*: я возлагаю на него ответственность за препятствия, чинимые вывозу ружей голландской политикой, поскольку я (как негоциант) намерен иметь дело только с *человеком, продавшим мне оружие,* а отнюдь не с их высокими инстанциями, от которых мне нечего требовать,— заявляю ему я,— тогда как он обязался, напротив, поставить мне оружие *на вывоз, а не для какой-либо иной цели.* Он отвечает мне с забавным замешательством, что моя логика столь же точна, сколь неумолима. И что он, готовясь передать мне ружья как таковые, предпримет все возможное, чтобы помочь мне быстро получить разрешение на вывоз, чему *не может воспрепятствовать существующее положение наших политических дел,*— говорит он. А я отвечаю: *«Я на это надеюсь».*

Будьте уверены, сударь, я не нанесу ущерба доброму имени г-на *де Мольда,* у которого в Гааге и без того хватает неприятностей (я собираюсь поговорить об этом с Вами через минуту). Я намерен использовать только свои возможности, как негоцианта и гражданина свободной страны. Посланник будет лишь поддерживать мои требования своим присутствием, будучи уполномочен на это французским правительством. Но я имею честь предупредить Вас, сударь, что мне нечего ответить, когда мой поставщик, в свою очередь, говорит, что я не вправе предъявлять ему гражданский иск, пока я сам не выполнил непременного условия внести *залог в размере пятидесяти тысяч немецких флоринов,* поставленного им мне, поскольку он сам взял на себя *подобное обязательство перед императором.* И г-н *де Мольд* настолько отдает себе отчет в неоспоримости этого довода, что не поддержит моих усилий, если это предварительное условие не будет мною выполнено, потому что высокие инстанции ответят ему так же четко и жестко от имени моего поставщика, как сам поставщик отвечает мне.

Я предполагаю, сударь, что Вы уже послали г-ну *де Мольду* или мне этот *залог, с которым так долго мешкали,* но без которого бессмысленно начинать какие-либо энергичные действия; ибо для того, чтобы уличить другого в неблаговидном поведении, я прежде всего не должен быть уличен в нем сам. В этом мы с г-ном *де Мольдом* согласны, и Вы, сударь, конечно, тоже? Мы ждем этой важнейшей бумаги, которую *Вы поручились мне не задержать, когда я покидал Францию,* иначе я не почел бы должным выехать.

Возвращаюсь к г-ну *де Мольду* и прошу Вас простить меня, если я выхожу на мгновение за рамки моего частного торгового дела, чтобы коснуться политики! Но я, сударь, прежде всего — гражданин, и ничто, затрагивающее Францию, не может быть мне безразлично. Мне не хотелось бы, однако, чтобы г-ну *де Мольду* стали когда-нибудь известны мысли, которыми я поделюсь с Вами; я опасался бы, что он может принять меня за шпиона, подосланного сюда, или за человека, делающего политику за его счет, не будучи на то никем уполномоченным.

Сущая пытка, на которую осужден здесь французский посланник, непрерывное распинание, которому он здесь подвергается, сохраняя гордость и никому не жалуясь, может отбить всякую охоту заниматься *политикой.* Какими только мерзостями его тут не потчуют с утра до вечера! Нужна, право, сверхчеловеческая добродетель и непреоборимый патриотизм, чтобы не схватить семимильные сапоги и не удрать! Я вижу, как он, страдая от подобного существования, черпает утешение в каторжной работе и управляется самолично со всеми обязанностями, а обязанности немалые, в особенности если учесть, что он вынужден действовать *скрытно* и располагает самыми жалкими средствами из всех, которые когда-либо были даны представителю какой-либо державы в стране, куда сходятся нити всего Севера, в этом важнейшем, на мой взгляд, средоточии европейской дипломатии, где завязываются и развязываются все интриги различных коалиций. Другие послы блистают, подкупают, швыряют деньги, выставляют себя напоказ; один г-н де Мольд доведен до состояния самого жалкого, хотя и облагороженного его республиканскими манерами, и он давно стал бы предметом всеобщего глумления, если бы не опирался с таким талантом на чувство собственного достоинства. Честное слово! Он внушает мне сострадание, и я с трудом могу поверить, что такое его положение не вредит нашим делам.

Позавчера трое или четверо богатых амстердамских негоциантов говорили мне, что ему еще придется хлебнуть горя, если

правда то, о чем сообщают из Берлина... (Здесь я рассказывал о факте, не имеющем отношения к делу о ружьях.)

Не зная, как затронуть предмет, столь щепетильный, с г-ном де Мольдом, я порешил прежде всего написать Вам. Последствия могут быть самые печальные. На этом предупреждении заканчивается, сударь, миссия, взятая мною на себя по собственной инициативе. Вы мудры и сдержанны, Вы не уроните меня в глазах нашего бывшего посла...

Возвращаюсь теперь к моим собственным делам. Мне сообщают из *Парижа,* что гнусный *протест,* наложенный мелкими жуликами на деньги, которые мне полагалось получить в военном ведомстве, *признан парижскими судами безосновательным и неправомочным, а мошенники приговорены к возмещению нанесенного мне ущерба.* Именно эти грязные козни, этот гнусный *протест,* заявленный по наущению других бандитов, только и помешал мне получить в июле те двести тысяч флоринов, за которые я расписался в договоре как за выплаченные мне министром и задержка которых нанесла такой урон моему делу с ружьями и всем моим другим делам. Я дал домой распоряжение, чтобы Вас, *как временно исполняющего обязанности военного министра,* уведомили о снятии протеста; я не могу, сударь, терпеть долее то бедственное положение, в которое меня поставили, принудив перед отъездом отнести банкиру малые деньги, отложенные мною на черный день, поскольку иначе мне не на что было бы здесь жить.

Прекрасная затея посадить меня в Париже в тюрьму, под секрет, для расследования дела о ружьях, а затем разгласить это в газетах, имеющих скандальную репутацию, привела к тому, что из Голландии были отозваны аккредитивы, которые даны были мне банкирами, так как они видели во мне человека, уже убитого или, во всяком случае, вынужденного бежать. Мой кредит был подорван, и я должен признаться, что некоторые подробности пережитого мною во Франции заставляют многих в Голландии считать меня эмигрантом, а это отнюдь не способствует восстановлению здесь моего кредита. Никогда еще патриотический поступок не причинял такого зла ни одному французскому гражданину!

Когда будут оглашены все подробности, тогда непрерывные преследования, которым я подвергался, будут столь же непонятны всем, *как они были непонятны комитетам, давшим мне столь лестные свидетельства.*

Поскольку протест снят, я умоляю Вас, сударь, дать мне возможность должным образом завершить начатый мною труд.

Если Вы пошлете мне хотя бы пятьдесят тысяч флоринов через г-на *де Мольда, как Вы обещали при моем отъезде,* я не ударю в грязь лицом в Голландии: не нуждаясь более ни в чьей здесь помощи, я покажу, какой я гражданин.

Если Вы сочтете, сударь, уместным вручить Ваш ответ моему старшему приказчику, который передаст Вам это письмо, он дойдет до меня надежней, чем любым другим известным путем.

Примите заверение в уважении от гражданина, который Вас высоко ставит, хотя и не щедр на восхваления.

Подпись: *Бомарше.*

P. S. Я имел честь сообщить Вам в моем последнем письме, что некоторые болтливые французы, явившись сюда, внесли сумятицу в дела, в которых заинтересована Франция, заявляя *громогласно, что берут ружья по любой цене.* Это подрывает к нам доверие и бешено взвинчивает цены на все, в чем нуждается Франция. Кто поверил бы, что подобные люди аккредитованы правительством! И что одна из этих бродячих компаний получила под обеспечение... пятьсот тысяч ливров на закупку шестидесяти тысяч ружей, из которых Вы не получите ни одного: *сейчас это известно доподлинно,* поскольку речь идет о моих ружьях; что до Ваших пятисот тысяч франков, то Вы вернете их там и тогда, когда это будет угодно богу, именуемому *Случай* и т. д.».

9 ноября, ничего не получив, я написал ему опять — всего несколько слов, так как не хотел выводить его из себя.

«Господину Лебрену.

Гаага, сего 9 ноября 1792 года.

Сударь!

В момент, когда Франция одерживает такие победы, человек, занимающийся делами в Голландии, чувствует себя в ужасном изгнании.

Но я обречен на это изгнание *до дня, когда получу от Вас не оставляющее сомнений письмо о высылке залога, или до момента, когда мне не останется ничего другого, как выехать во Францию, чтобы доказать на родине патриотизм моих поступков.*

Примите заверения в уважении гражданина

Подпись: *Бомарше.*

P. S. Казна и архивы прибыли из *Брюсселя* в *Роттердам;* известия об армии *Клерфе* повергают здесь всех в отчаяние, исключение составляю я один».

Я начал терять терпение, кляня помехи или медлительность министра; и со следующей почтой написал ему вновь. После того как он, по его заверениям, защищал мое дело в Совете; после того как он повелел мне возможно скорее отправиться в Голландию; после того как он *признал и заверил акт от 18 июля;* после того как он дал г-ну *де Мольду* распоряжение выполнять этот договор со всем усердием и срочностью, *прося меня оказать ему в этом содействие;* после того как он дал мне торжественное обещание, что *пресловутый залог прибудет в Гаагу раньше, чем я;* после того как он предложил мне, *хотя я этого и не требовал, двести или триста тысяч франков из средств своего ведомства* и даже просил меня написать, что́ я думаю *о закупке на наличные деньги парусины и других голландских товаров,*— я не мог, не нанося ему оскорбления, выказать сомнения в его доброй воле. Набравшись терпения, хотя все во мне кипело, я собирался еще раз напомнить ему о себе, когда мне вручили пространное письмо, подписанное *Лебреном.*

«Ах,— сказал я себе со вздохом облегчения,— тому, кто умеет ждать, нередко доводится узреть конец напастям». Я вскрыл письмо и прочел:

«Париж, 9 ноября 1792, 1-го года Республики.

Я получил, гражданин, письмо, посланное Вами из Гааги [1], и медлил с ответом только потому, что до меня дошли новые сведения о партии оружия, задержанной по приказу адмиралтейства в Гааге. Не входя ни в детали Вашей спекуляции, ни в ее цели, я просто введу Вас в курс того, что мне сообщили о качестве упомянутого оружия. Оно уже послужило волонтерам во время последней попытки голландских патриотов совершить революцию; проданное затем бельгийцам, которые также пользовались им во время своей революции, оно, наконец, было куплено голландскими купцами, от которых получили его Вы.

Не спорю, залог в сумме пятидесяти тысяч флоринов, требуемый для снятия эмбарго с этих старых ружей, избавил бы

[1] Я написал ему четыре письма. Я привожу здесь его письмо и мой ответ, потому что это делает всё наконец понятным.

Вас от немалого затруднения найти им сбыт. Не спорю, договор, заключенный между Вами и экс-министром Лажаром, весьма Вам выгоден; но, гражданин, имейте совесть и признайте, в свою очередь, что мы были бы болванами, если бы одобрили и подтвердили такого рода договор. Наши взгляды и принципы коренным образом расходятся со взглядами и принципами наших предшественников. Они прикидывались, что хотят того, чего на самом деле не хотели; тогда как мы — добрые граждане, *добрые патриоты,* искренне желающие творить благо и к нему стремящиеся,— мы выполняем долг, к которому нас обязывают наши посты, столь же добросовестно и честно, сколь прямодушно [1].

С некоторого времени я не вмешиваюсь более в закупку оружия. Эти торгашеские операции никак не соответствуют роду деятельности и знаний, требуемых моим ведомством. В минуту крайности, когда в ружьях была острая нужда, жадно набрасывались на все, что подворачивалось. Сейчас, когда она миновала, военный министр обращает внимание прежде всего на доброкачественность ружей и умеренность цены. Это меня не касается, и я перестал этим заниматься. Обратитесь к гражданину Пашу, предъявите ему Ваши претензии; его дело принять решение и ответить Вам, насколько они справедливы и обоснованны.

Что до меня, то я более не властен и не уполномочен что-либо делать и определять в отношении предмета, который, как Вам известно, не подлежит ведению моего министерства.

Министр иностранных дел
Лебрен.

P. S. Я послал копию Вашего письма военному министру; я получу в ближайшее время его ответ, копию которого направлю Вам».

— О великий боже! — вскричал я, дочитав это,— было ли когда-нибудь подобное видано! И для этого меня посылали в Голландию! О, ненавистное вероломство!

Моим первым побуждением, продиктованным гневом, было восстать против издевки министра. Я противопоставлял ханжеству этого смертоносного патриотизма *низкие обращения и вероломные послания, писанные им императору Иосифу в 1787*

[1] Лебрен — добрый патриот! Любящий свободу! Должно быть, он сильно переменился с 1788 года.

и 1788 годах, где он высказывался против свободы Брабанта, я выводил *на чистую воду газетчика.* Но друзья удержали меня от этого первого порыва, слишком исполненного горечи, и я покорился тяжкой необходимости говорить на языке логики с человеком, который меня оскорблял. Когда утихла во мне буря чувств, я написал ему нижеследующее.

Ах, я прошу моих читателей поглотить эту скуку: здесь разгадка всей чудовищной комедии!

«Гаага, сего 16 ноября 1792 года.

Гражданин министр!

Отвечая на единственное письмо, *полученное мною от Вас за все время* и датированное 9 ноября, я предупреждаю Вас, что препятствия, которые приковывали к *Терверу* голландские ружья, ликвидированы благодаря *Дюмурье,* как раз в тот момент, когда происки *французской бюрократии* создают новые помехи, чтобы по возможности не выпустить их оттуда.

Вы слишком порядочны, чтобы подписать, если Вы ее прочли, ту вероломную издевку, которую мне прислали от Вашего имени.

Вы бы задумались над тем, что я не могу испытывать никаких затруднений в сбыте этих ружей, поскольку вот уже восемь месяцев, как они, по моему первому договору, отданы Франции; поскольку вот уже четыре месяца, как мой второй договор подтверждает, что два министра и три объединенных комитета отвергли мое предложение от них отказаться, когда я, устав от проволочек наших министров-патриотов, недвусмысленно просил позволить мне располагать ими по моему усмотрению, имея тогда возможность продать их с большой выгодой, если бы подтвердилось, что Франция более в них не заинтересована!

Вы бы задумались, что, поскольку я не могу быть одновременно и *владельцем, и лицом, уже передавшим право владения по акту от 18 июля,* я озабочен только доставкой этого оружия; что, буде мое положение иным, ничто бы меня сейчас не связывало, тем более что *Ваш избранник Константини* вновь предложил мне вчера через *г-на де Мольда по семь флоринов восемь су за штуку, как уже предлагали* в Аббатстве его солидные компаньоны, суля *вытянуть меня оттуда, ежели я пойду на сделку.*

Вы задумались бы также и над тем,— Вы, так хорошо осведомленный об этом деле и *в качестве чиновника, и в качестве*

министра,— что я отнюдь не выдавал никогда это оружие *за новое,* что я не переставал говорить и писать и Вам, и всем Вашим коллегам, что оно *отнято у брабантцев.* И разве залог, которого потребовал император от голландца и который я должен покрыть, не является материальным доказательством этого факта? *Разве Вам не прожужжали об этом уши?* Мало же уважают Вас Ваши служащие, если заставляют говорить в этом письме, что Вы только сейчас узнали то, что Вам, как Вы сами знаете, было известно шесть месяцев тому назад! (Я назову того, кому Вы должны сделать выговор.)

Вы задумались бы, кроме всего прочего, и над тем, что, будь это оружие новым, я не уступил бы его Вам по *восемь банковских флоринов, или по четырнадцать шиллингов золотом, или по семнадцать франков в экю, или по тридцать ливров в ассигнациях* (что одно и то же), коль скоро Вы благосклонно согласились *(и Вы по сю пору на это соглашаетесь, господа)* платить в Лондоне за новые ружья, весьма среднего достоинства, *по тридцать шиллингов золотом,* что составляет *тридцать шесть ливров в экю и более шестидесяти ливров в ассигнациях!* И коль скоро Вы уже после сделки со мной заплатили там же по *двадцать* и даже по *двадцать пять шиллингов золотом,* иначе говоря, *по тридцать ливров в экю и по пятьдесят с лишним в ассигнациях,* за старые ружья, которые все почти давно использовались как балласт на судах, ходивших в Индию, и закалку замков которых англичане были вынуждены уничтожить, когда снимали ржавчину, *чтобы иметь возможность Вам их продать,* причем вновь закалили только *огниво.*

Вы тем не менее принимаете эти ружья, *не жалуясь ни на высокую цену, ни на низкое качество,* потому только, как говорят, что поставляют их Ваши *сообщники* («Фы не останетесь ф опите»,— так говорил некий рагузец), хотя по сравнению с этим цена моего оружия, проданного Вам *по восемь флоринов, или четырнадцать шиллингов золотом, иначе говоря, по семнадцать франков во французских экю или по тридцать ливров в ассигнациях,* весьма умеренна! При этом мое оружие в значительной своей части совершенно новое, такое, какого Вы сейчас не получили бы в Льеже и *за шесть крон, то есть за тридцать шесть ливров в экю, или шестьдесят ливров в ассигнациях!* И я сортирую мое оружие, хотя сам купил его оптом!

Вы задумались бы, наконец, над тем, что *торговый залог* в размере пятидесяти тысяч флоринов вовсе не означает расходования этой суммы; и что после возвращения *залоговой*

расписки, по доставке товара, все сведется к банковской комиссии, не достигающей и *двух тысяч франков,* как я Вам двадцать раз повторял, и беседуя с Вами лично, и в *Совете;* но в Вашем окружении, сударь, невежество и злонамеренность шагают рука об руку; таков прискорбный результат неправильного подбора служащих!

Заметьте, *обманутый министр,* что Ваши корреспонденты, те, кто снабжает Вас этими *прекрасными сведениями о моем оружии, никогда его не видели.* Никогда! Потому что оно, *вот уже около года, упаковано в ящики.*

Заметьте, что эти советчики делали все возможное и невозможное, добиваясь от меня как в *Париже,* так впоследствии и в *Гааге,* чтобы я уступил мое оружие *оптом на один флорин дешевле, чем платите мне Вы.*

Заметьте, что я писал Вам об этом 19 августа в Париже; что мой отказ уступить ружья повлек за собой через три дня мое *заключение в Аббатство,* куда они, пользуясь Вашим *высоким покровительством,* явились вновь со своими предложениями, где я чуть не погиб, *как того ожидала* эта шайка.

Заметьте также, *о обманутый министр, что эти подрядчики,* получившие исключительное право *на поставку голландских товаров и набитые до отказа Вашими ассигнациями* (такую щедрость проявляют только к друзьям), не могут предложить мне *по семь флоринов восемь су, учитывая расходы, которые возникнут, едва они раскроют рот,* если они не уверены, что продадут их нации по десять, одиннадцать или *двенадцать флоринов* при благосклонном посредничестве *наших министров-патриотов!* В особенности, если они дают, *как они говорят, двадцать пять процентов со всех своих поставок тому, кто гарантирует им преимущественное право,* не считая всех тех процентов, которые предназначаются друзьям («Фы не останетесь ф опите», разумеется).

Ваш секретарь заставляет Вас сказать в письме, которое я разбираю, что *последнее время Вы более не вмешиваетесь в закупку оружия.* Ах, если бы небу было угодно, чтобы Вы никогда в это не вмешивались, как выиграла бы нация! Но прощупайте-ка себя всерьез, боюсь, что Вас опять водят за нос, тому свидетелем Ваш *избранник Константини, покупающий оружие по Вашему приказу.*

Секретарь заставляет Вас также сказать, что все Ваши предшественники, договариваясь со мной, *делали вид, будто хотят того, чего они на самом деле не хотели.* (Очевидно, Вы имеете в виду *служение отечеству.*) Но он забывает, что Ваши предшест-

венники *Лажар, Шамбонас* и *де Грав* проявили скромность, *которой не проявили Вы,* и испросили совета у *комитетов Национального собрания;* что ни один из них ничего не сделал, *не заручившись предварительно мнением этих комитетов;* откуда вытекает, если Вам верить, хотя Вас и не решаются заставить сказать это прямо, что и *комитеты в полном составе были их и моими сообщниками;* меж тем как Вы, *так называемый министр-патриот, отказали мне во всем,* что было необходимо для служения отечеству, когда я выехал в Голландию, Вы пренебрегли *мнением комитетов, которые требовали этого от лица Собрания и которым Вы дали слово!*

Министр! Совершенно очевидно, что Вы в этом деле никому не сообщник, ни мне, ни им. Никто Вас в этом не обвиняет. Если бы Вы нуждались в хорошем свидетеле, чтобы это подтвердить, друг *Константини* мог бы весьма пригодиться.

Я заканчиваю. Если бы Вы, обманутый министр, случайно знали обо всем этом раньше не от своих служащих или от меня, мне пришлось бы предположить только одно, а именно то, что Вам очень хотелось получить это оружие, с условием, однако, что оно будет поставлено не мной, а Вашим избранником; и коль скоро ему не видать этого оружия, как своих ушей, он со своей галльской наглостью, которой не таит от своих друзей, может добиться изменения ранее принятых мер и принятия новых, еще более суровых, чем мне и угрожают, пока в самой неясной форме! Если это так, мне хотелось бы закончить мое почтительное письмо изъявлением крайнего удивления Вашим неполитичным поведением, гражданин министр, *обманутый в своих ожиданиях.*

Ваш и проч.
Подпись: *Карон Бомарше.*

P. S. *Не дай бог, чтобы я так думал!* Но поскольку Вы, как Вы говорите, передали Ваше письмо новому министру *Пашу,* передайте ему также и мой ответ: *это положит начало расследованию,* за что он будет Вам весьма признателен».

Когда мое письмо было отправлено, я почувствовал огромное облегчение, честное слово! Что до письма, то оно пошло по почте, поскольку я опасался, как бы оно не подвело моего управляющего, если будет передано им.

— Подождем,— сказал я,— *обещанных известий.* Посмотрим, главное, что скажет Паш, наш новый министр.

Я уехал в Роттердам, чтобы составить акты, которые я хотел получить от негоцианта Ози, моего поставщика. Он, казалось, был удивлен такого рода предосторожностями. Я заверил его, что того требует мое положение. Он был в нерешительности. Я отлично видел, что он служит своей стране; но мог ли его в этом укорять я, служивший моей?

Наконец мы покончили со всем, составив четыре нотариальных акта, с которыми вы можете ознакомиться. Первым актом *он признавал во мне законного владельца оружия после выплаты* ему всех должных сумм; по окончательному расчету за мной оставалась скромная сумма в *тысячу двадцать шесть флоринов два су восемь денье;*

вторым актом я брал на себя обязательство *не вывозить ружья из Тервера, не обеспечив ему залога в пятьдесят тысяч немецких флоринов;*

третьим актом он обязывал меня *возместить ему все расходы по хранению и другие расходы,* которые не входят в плату за оружие и должны быть определены отдельно;

наконец, четвертым я обещал не возбуждать против него лично преследований за политические препятствия, которые И. В. П. поставили вывозу моего оружия.

Сверх того, было составлено письмо *Джеймсу Тюрингу, сыну, в Тервере, с распоряжением выдать мне все ружья, которые были им получены,* но воспрепятствовать их погрузке до *внесения искомого залога!* Сверх того, письмо *его брюссельскому оружейнику,* согласно которому тот должен прибыть в Тервер в мое распоряжение, чтобы удостоверить, что *никто не видел и не трогал ружей* с момента, когда они были упакованы в ящики в феврале сего года, и что они соответствуют сделанной ранее описи.

Как видите, ко мне нельзя было придраться. Но во всем этом нет и упоминания ни о претензиях ко мне некоего *Провена, которые выставляет против меня Лекуантр,* ни о протестах сего *Провена,* адресованных негоцианту Ози с требованием не выдавать ружей *Пьеру-Огюстену Бомарше,* то есть мне.

Во всем этом нет также упоминания и о том, что мое *право собственности на эти ружья оспаривалось* каким-либо другим владельцем, который *наложил на них арест в Тервере,* о чем предумышленно заявил *моему обвинителю Лекуантру министр Лебрен,* внезапно сделавший это счастливое открытие.

Господин *Лебрен!* Господин *Лекуантр!* Эти четыре акта напечатаны. Оригиналы их находятся у меня. Прочтите их внимательно, каждый со своей точки зрения. *Лебрен* следит за

тайными маневрами, *Лекуантру* внушили оскорбительное ко мне отношение. Я не силен в подобных поединках. Посмотрим, является ли разум и умеренность оружием достаточно хорошей закалки, чтобы парировать такого рода удары!

Необходимо коротко сказать о поведении голландцев, дабы тут не осталось никаких темных мест.

Голландские штаты никак не могут заявить (как утверждает г-н *Лебрен),* что они *никогда не препятствовали вывозу этого оружия и что протесты исходили только от частных лиц, называвших себя владельцами* и т. д.; истина, подтверждаемая юридическими документами (моя жалоба от 12 июня и ответ Генеральных штатов от 26 июня 1792 года), истина, говорю я, состоит в том, что единственным истцом, опротестовавшим вывоз оружия, был некий г-н *Буоль,* посланник, императорский агент, который утверждал, что его августейший повелитель все еще располагает правами на эти ружья, хотя г-н *Ози* (а я получил их только от него одного) *рассчитался наличными* и хотя этот же г-н Ози, перед тем как забрать их из крепостей *Малин* и *Намюр* или из *Антверпена,* выполняя договор, внес императору через господ *Валкье* и *Гамарша, в Брюсселе,* залог в размере *пятидесяти тысяч флоринов,* что удостоверено актом о внесении вышеозначенного залога, *которым все права императора были погашены,* и о чем мне, по моему настоянию, было, как вы видели, выдано свидетельство, нотариально заверенное тем же банкиром *Ози,* а также расписка об окончательном со мной расчете, осуществленном в присутствии того же нотариуса, дабы у меня была возможность ответить г-ну *Буолю* и, в еще большей степени, господам *Клавьеру* и *Лебрену,* которые делали вид, что сомневаются не только в моем праве на ружья, но и в самом существовании этих ружей в порту *Тервер.*

Нота г-на *Буоля,* врученная Голландским штатам от имени короля Венгрии, настолько необходима для окончательного установления истины и подлинных мотивов эмбарго, наложенного голландцами на наши ружья, а также выяснения меры правдивости г-на *Лебрена,* что я помещу ее здесь:

«Нота г-на *барона* де Буоля, *поверенного в делах Венского двора, врученная 5 июня 1792 года* И. В. П. *и 8 июня, через г-на секретаря Фажеля,* г-ну де Мольду, *полномочному посланнику Франции в Гааге, передавшему 9 июня ее копию* г-ну де Лаогу, *который ответил на нее 12-го и которому* И. В. П. *ответили 26 июня.*

Я, нижеподписавшийся, поверенный в делах его величества апостолического короля Венгрии и Богемии, имею честь обратиться к г-ну секретарю *Фажелю* и прошу его соблаговолить *довести до сведения* И. В. П., что оружие, находящееся в настоящее время в порту *Тервер,* в Зеландии, было продано королевским артиллерийским ведомством Нидерландам, дому *«Жан Ози и сын», в Роттердаме,* на особо оговоренном условии, что вышеупомянутое оружие будет вывезено в Индию, в чем правительству будет дано подтверждение. Это условие не только не было выполнено, но *оказалось с легкостью обойденным* в ущерб интересам его величества *с помощью соглашений о перепродаже, заключенных с различными покупщиками.*

Отсюда вытекает очевидное право апостолического короля[1] *востребовать свою собственность* в связи с невыполнением упомянутого условия, на чем и основываются не оставляющие сомнения распоряжения, в силу которых нижеподписавшийся уполномочен просить вмешательства и проявления власти И. В. П., чтобы на *вывоз этого оружия* ни под каким предлогом не было дано разрешения.

(Слышите вы это, мой изобличитель: ни под каким предлогом? Кажется, все вам объяснено?)

«Генеральные штаты согласятся, вне всяких сомнений, на эту справедливую меру с тем большей готовностью, что от них в их мудрости не укроется, по каким сложным причинам верховное правительство настаивает на высказанном условии, *смысл которого слишком оправдывается обстоятельствами, возникшими впоследствии, чтобы* от него отказаться.

(А это вы слышите, *Лекуантр?* Понимаете вы теперь, до какой степени злоупотребил вашим доверием газетчик *Лебрен*?)

Дано в Гааге, 5 июня 1792 года.

Подпись: барон де *Буоль Шавенштейн».*

---

[1] Хорошенькое право, если в этих актах не обусловлен никакой срок, если г-н Ози дал залог в размере пятидесяти тысяч флоринов и если по решению суда, подвластного тому же императору, это оружие было передано г-ну Лаэйю, поскольку г-н Ози ему его переуступил! Правда, это было сделано до того, как они узнали, что Лаэй уступил его мне для Франции. Происки, чтобы воспрепятствовать вывозу, начались только тогда, когда им, благодаря добросовестности канцелярии нашего тогдашнего военного министерства, стало известно, что оружие купил я и что оно предназначается нашим солдатам. Лебрену это всегда было известно. Так что право императора столь же обоснованно, сколь истинно незнание Лебреном этого факта!

Итак, г-н *Буоль*, от имени императора, выразил, как вы только что прочли, претензию на эти ружья; доказательства этого г-н Лебрен, который все еще прикидывается неосведомленным, получил уже полгода тому назад; это — нота г-на Буоля от 5 июня 1792 года; наша жалоба от 12-го, направленная г-ном де Мольдом Генеральным штатам в ответ на ноту г-на Буоля вместе с настоятельной нотой нашего посла; наконец, ответ И. В. П. от 26 числа того же месяца; все вышеупомянутые документы были вручены Лебрену, тогда управляющему делами ведомства, г-ном Шамбонасом, а впоследствии, когда г-н Лебрен стал министром, и мною самим.

И угодливые голландцы (по своей политической уступчивости) нашли претензии г-на Буоля столь основательными, что *наложили арест на оружие!* Точно Голландия, которой я *выплатил все пошлины* за это оружие, находившееся там лишь *транзитом*, была обязана угождать этому *Буолю, притесняя французов*, чтобы понравиться его очаровательному величеству, вне всяких сомнений, весьма *императорскому, но отнюдь не владельцу оружия!*

Вы видели, что И. В. П. в своем ответе от 26 июня на нашу жалобу от 10-го, в которой мы *громогласно требовали разрешения на изъятие оружия*, заявили, что владельцы *(то есть я) сами отказались от его вывоза*. Затем, поскольку эти *истинные владельцы* почтительно настаивали перед ними на том, что никогда не *утверждали* подобной несусветной чуши ни письменно, ни устно, наши высокомощные сановники не удостоили их вовсе ответа, изящно покуривая свои трубки и продолжая держать мои ружья.

Правда, они добавили в своем ответе от 26 июня *(обратите на это внимание)*, что сии негоцианты *(опять-таки я)* вправе распоряжаться *по своему усмотрению* девятьюстами двадцатью двумя ящиками, двадцатью семью кадками *(бочками)* ружей и штыков в н у т р и Республики, *поскольку на ввоз оружия не существует* о г р а н и ч е н и й *при условии уплаты соответствующих пошлин*, а п о ш л и н ы б ы л и в н е с е н ы. *(Внесены мною, г-н Лекуантр! Внесены мною, г-н Лебрен!)* Не будем терять из виду нить рассуждений голландцев: они неподражаемы.

Голландцы разрешают мне *продать мое оружие внутри страны, поскольку я внес пошлины*. Но какие пошлины я оплатил? *Транзитные*. Полюбуйтесь, как сходятся концы с концами! Раз я оплатил пошлины, которые называются проездными, то есть сбором за *въезд и выезд*, они запирают мои ружья

на замок! (Да пребудет господне благословение на политиках с их неопровержимыми доводами!) И вот такой пищей потчуют мой разум на протяжении девяти прискорбных месяцев — что в Голландии, что в Париже! *Голландцы! Буоль* и *Лебрен!* Все вы одним миром мазаны!

Заметьте также, что эти Штаты, друзья императора Франца, дали мне разрешение *(которого я вовсе не просил)* на *продажу ружей в Европе нашим врагам, добивавшимся их любой ценой* (если мне это будет угодно,— говорят они!), несмотря на то, что *император, их друг, потребовал* от голландца же, чтобы это оружие было отправлено в *Сан-Доминго,* взяв с него в качестве гарантии этого *пятьдесят тысяч флоринов,* и несмотря на то, что сами И. В. П. потребовали с нас в апреле *залога в размере трехкратной стоимости этого оружия* в *подкрепление уже данного обеспечения.* Пустяки, об этом уже забыли! *Французские солдаты!* Все средства были хороши, только бы эти ружья не достались вам! А наши вероломные министры, водя за нос *Лекуантра* и предавая дело огласке, позволяют врагу выиграть эту партию с помощью вашего ноябрьского декрета.

Увы! *Наши голландские высокомощные господа не сочли нас людьми, заслуживающими, чтобы в разговоре с нами дать себе труд доказывать свою правоту!* Оскорбительное глумление, о котором отлично осведомлен *Лебрен!* И ведь это над вашим послом, о *французы,* так надругались, ибо он поддержал мою жалобу *от лица французской нации собственноручной весьма решительной запиской.* Но должно ли это удивлять меня, если *парижский* министр надругался над ним еще пуще, чем *гаагские* чиновники!

Я прошу прощения у этого посла, разруганного, утесненного, отозванного, хотя он один из самых сведущих дипломатов, среди всех, кого мне доводилось встречать, неутомимый труженик, за которого я подал бы во всеуслышание свой голос, если бы *министра иностранных дел* выбирали по способностям; увы! — я говорю о нем все хорошее, что мне известно, чтобы он благоволил простить мне неприятности, испытанные из-за меня, хотя и не по моей воле.

Возвращаясь к моему делу, я настоятельно прошу г-на *де Мольда* заявить напрямик, расходится ли с правдой все то, что, по моим словам, я узнал от него о *Константини.*

Я настоятельно прошу его показать письмо по поводу уступки моих ружей, полученное им от вдовы Ломбаэрт из Антверпена.

И поскольку Константини хвастун и ведет не слишком умные речи, я настоятельно прошу также г-на *де Мольда* сказать нации, не похвалялся ли этот человек в разговоре с ним тем, о чем он болтал в других местах, а именно тем, *что он отдает двадцать пять процентов дохода со всех своих закупок в Голландии некоему покровителю, обеспечившему ему исключительное право поставок, и что он связал себя обязательством.*

Я настоятельно прошу его также сказать нам, не делал ли *Константини и ему подобного рода предложений,* с тем, чтобы он смотрел на все сквозь пальцы и даже оказал при случае помощь *Константини.*

Меня побуждает настаивать на этих фактах внезапное и немотивированное отозвание этого посла, как раз в момент, когда было преступлением устранить из *Гааги* человека, так хорошо осведомленного о делах Севера, любимого голландцами и весьма уважаемого их правительством, хотя ему и чинили обиды из *ненависти к нашей нации;* в момент, говорю я, когда все правительства сошлись и отразились в правительстве *штатгальтерства,* как весь горизонт отражается на сетчатке нашего глаза, хотя она величиной с чижиное яйцо!

И если честь г-на *де Мольда* отринула *триумвират грабителей,* отвергнув их предложение, меня отнюдь не удивляет его грубое отозвание, хотя не было человека более подходящего, чтобы принести нам пользу в Голландии!

Глаза столь бдительные могли многому помешать! И что значит благо отчизны перед *Константини?* Куда удобнее было послать в Гаагу *Тэнвиля,* который, не уступая Константини в *хвастливости,* с благородным видом говорил в *Гавре,* рассказывая, что *едет на смену де Мольду:*

— *Я еду в Гаагу, чтобы вымести всю эту лавочку!*

Дипломатия такого рода может показаться несколько странной тем, кто знает, сколько истинного изящества, таланта, хитрости и гибкости требует выполнение этих поистине инквизиторских миссий!

Вот какие люди заправляют нашими делами, превращая правительство во вместилище личных счетов, клоаку интриг, сплетение глупостей, питомник корысти!

Покончив с *Озн* из *Роттердама* и не обращая внимания на происки *Лебрена,* хотя и ожидая, что́ он мне скажет через своего нового коллегу Паша, я 21 ноября направил г-ну *де Мольду* официальное письмо по поводу приемки им от меня

оружия, которую он должен был осуществить в качестве уполномоченного на это *генерал-майора*. Вы найдете в приложении ответное письмо этого посланника, полученное мною 22-го.

Этот ответ г-на де Мольда, точный и честный, как всё, что он пишет, замечателен тремя пунктами:

1. Его уверенностью в том, что все эти перепродавцы голландских товаров, пользующиеся покровительством — Константини и компания,— не простят мне того, что я помешал им нагреть руки на моих ружьях. *«Я полагаю,*— говорит он,— *что вам, для того чтобы парировать в дальнейшем их адские козни, поскольку эти смутьяны-спекулянты на них не поскупятся...»* и т. д.

2. Искренним стремлением выполнить в отношении этих ружей обязанности, вменяемые ему договором от 18 июля, в полном соответствии с распоряжением *Лебрена, обязанности, которые он отнюдь не считал мнимыми.*

3. *Усталостью от бесконечных обид, которые он не переставал терпеть из-за моего дела на протяжении восьми месяцев, пока вел о нем переговоры и защищал его перед Голландскими штатами* (прочтите его письмо).

Следственно, *долгие и утомительные притеснения со стороны Голландских штатов действительно имели место,* бдительный посол не терял их из виду на протяжении восьми месяцев, не переставал беспокоить ими французских министров, и *Лебрену,* который сейчас делает вид, что получает сведения о происходившем от нового нашего представителя, уши прожужжали и глаза намозолили сначала как управляющему делами, а потом как министру два десятка депеш г-на *де Мольда* и мои настойчивые требования.

Господин де Мольд прислал мне вместе со своим ответом официальное письмо к французскому командующему в Брюсселе. Вот оно.

«Гаага, сего 22 ноября 1792, 1-го года Французской республики.

Гражданин!

Поскольку присутствие в этой стране г-на *Томсона* из Брюсселя совершенно необходимо, чтобы довести до конца покупку оружия, осуществленную для правительства нашей республики г-ном *Бомарше,* прошу вас, гражданин генерал, обеспечить г-ну Томсону паспорт, необходимый для этой поездки.

Служить родине — вот наш долг и счастье. Любить единственно родину — вот культ, достойный нас, истинных французских республиканцев.

Подпись: *Эжм. де Мольд де Осдан».*

Двадцать четвертого ноября я попросил у нашего полномочного посланника, на этот раз официально, копии писем, полученных им от различных министров по делу о ружьях. Он ответил, что в *дипломатии принято давать не копии писем, в которых может идти речь и о других предметах, а только соответствующие выдержки.* Он готов был мне их послать.

Можно выделить следующую фразу моего письма: *«Я не заговариваю уже об этом роковом залоге и т. д., который никак не прибудет и т. д., потому что злой умысел, его задерживающий, ни в какой мере не исходит от Вас и потому что Вы, как и я сам, многократно писали о нем министру и т. д.»*

Можно выделить в ответе г-на де Мольда слова: *«Мы должны иметь возможность внести этот залог, или мы ничего не получим. Вы не сомневаетесь в том, что* я неоднократно повторял это *соображение* министру, *которому, как я предполагаю, гражданин Бомарше пишет с каждой почтой».*

Увы! Да, я ему писал. Г-н *де Мольд* ему писал. *Константини* также, вне всякого сомнения, ему писал. Применение, которое он нашел этим трем перепискам, отвратительно, оно является последним актом этой министерской драмы; но, поскольку это финал, я должен, до его представления, ознакомить вас с моим настоятельным письмом от 30-го и ответом г-на *де Мольда* относительно доставки моего товара. Эти документы слишком важны, чтобы не включить их в текст. Вот мое письмо.

«Гаага, сего 30 ноября 1792, 1-го года Республики.

Гражданин полномочный посланник Франции!

Я имею честь поставить Вас в известность, что брюссельский оружейник, которого мой голландский поставщик и я договорились вызвать в *Тервер* для установления в моем и Вашем присутствии количества оружия, упакованного в ящики и хранящегося на складе вот уже более семи месяцев, прибыл в *Гаагу,* наконец получив паспорт, выданный французским генералом, командующим в *Брюсселе,* в соответствии с просьбой, которую Вы сами ему адресовали.

Я предупреждал Вас в свое время, гражданин посланник и посланник-гражданин, что мы отдаем этому брабантскому оружейнику предпочтение перед всеми иными потому, что этому человеку с самого начала было поручено перевезти оружие из крепостей *Малин* и *Намюр* в Зеландию, а затем отремонтировать часть ружей, имевших в том наибольшую нужду; он смазал и упаковал это оружие, вручив затем заверенную его опись моему поставщику, который впоследствии передал ее мне, в свою очередь заверив.

Поскольку из-за министерского недоброжелательства *требуемый залог до сих пор задерживается во Франции, хотя мы неоднократно его просили и нам неоднократно его обещали*, голландское недоброжелательство, пользуясь этим предлогом, препятствует погрузке и вывозу оружия, и Вы знаете не хуже меня, что момент, когда голландцы готовы были одуматься после побед *Дюмурье*, уже почти упущен в связи с декретом Национального конвента об открытии для навигации рек Мезы и Эско. Поэтому я имею честь просить Вас и даже *настоятельно требовать* (извините мне жесткость термина, вызванную жесткостью обстоятельств), я имею честь, повторяю, просить и настоятельно требовать, чтобы Вы отправились вместе со мною в *Тервер, дабы принять там от меня в Вашем качестве генерал-майора* законные права владения и оружие как таковое, давно уже мною оплаченное и подлежащее оплате со стороны государства в момент действительной передачи, согласно договору, заключенному 18 июня сего года военным министром *Лажаром* и министром иностранных дел *Шамбонасом*, в соответствии с мотивированным мнением *трех объединенных комитетов: дипломатического, военного и Комитета двенадцати;* Вас к этому обязывает договор, смысл которого недвусмысленно подтвержден 20 сентября министром *Лебреном*, пославшим его Вам через меня, а также специальное распоряжение, отданное Вам этим министром в отношении выполнения касающейся Вас части этого договора, содержащееся в письме от 20 сентября, которое я вручил Вам по прибытии в *Гаагу*.

Простите, но я обязан предуведомить Вас, гражданин полномочный посланник, что, если по причине Вашего отказа осуществить *мое требование* и из-за войны между Францией и Голландией, которая, к сожалению, представляется слишком неотвратимой, наше отечество лишится оружия, ему принадлежащего, либо потому, что оно будет разграблено, либо потому, что Голландия захватит его,— *я буду вынужден с сего дня*

возложить всю ответственность *на Вас, как я уже возложил ее в Париже на французское министерство, поскольку оно фактически отказало мне в отправке в Голландию залога, обусловленного договором от 18 июля, тем самым нарушив его условия,* и Вы будете отвечать перед нацией *за все потери, которые она понесет в результате Вашего отказа выслать в Тервер.*

Я написал министру Лебрену, требуя, чтобы это было доведено до сведения Временного исполнительного совета, что я ничего не предприму в Голландии, не оформив этого по всей строгости закона, *поскольку мне отлично известно, откуда исходят препоны, и поскольку я намерен изобличить перед нацией все подлые интриги,* которыми, к сожалению, запутали и оплели наших министров, чтобы воспрепятствовать доставке этого оружия во Францию.

Примите, гражданин полномочный посланник Франции, почтительный поклон от старого гражданина

Подпись: *Бомарше».*

Я был болен; письмо отправил один из моих друзей, которому де Мольд и ответил.

«Гаага, сего 30 ноября 1792 года.

Гражданин!

Я могу только передать гражданину *Карону Бомарше безоговорочное повеление военного министра.* Обсуждать его не мое дело. Наше министерство требует от нас неукоснительного соблюдения полученных указаний. Я их осуществляю официально. Таков мой долг. *Как частному лицу, мне известно, к чему обязывают меня честь и справедливость,* и мне нет нужды испрашивать на этот счет чьего-либо совета. Но *как представитель министра* и тем самым подчиненный, я могу только повиноваться. Вы понимаете, что я лишен отныне возможности поехать в *Тервер.* Вполне вероятно, что причины распоряжения, *которое меня удивляет,* вскоре прояснятся; возможно даже, что Вы узнаете о них раньше, чем я, *так как до меня новости доходят очень медленно.*

Ваш согражданин
полномочный посланник Франции,
Эмм. де Мольд де Осдан».

К его письму была приложена официальная копия другого письма — письма министра *Паша,*— которое необходимо прочесть, дабы судить о беспорядке и полнейшей неосведомленности всех недоброжелателей, поставлявших материалы моего обвинения; письмо было *открыто послано Лебреном гражданину Мольду с собственной припиской* (что заставляет обратить на него особое внимание), тому самому *Мольду,* которого он все еще *именует полномочным посланником в Гааге,* хотя прошел уже месяц с тех пор, как Тэнвиль, *выметший его,* выехал *со своей метлой из Парижа,* чтобы занять этот пост.

О хаос! О противоречия! Клянусь, что так же делаются все дела в этом злосчастном ведомстве.

Письмо министра Лебрена

«Париж, 20 ноября 1792, 1-го года Республики.

Министр иностранных дел направляет прилагаемое письмо, только что врученное ему гражданином военным министром, гражданину *Мольду».*

«Письмо министра Паша. (Артиллерия.)

Прошу Вас, гражданин, со всей возможной срочностью осведомить меня, действительно ли Вы, согласно приглашению, которое могло быть Вами получено в конце апреля или в начале мая сего года, совместно с генерал-майором *Лаогом,* проверяли и устанавливали состояние и количество ружей и другого огнестрельного оружия, помещенного на хранение в порту Тервер на счет *Карона Бомарше,* и если Вы это делали, то были ли Вами перевязаны и опечатаны ящики, в которых ружья упакованы, дабы они остались в целости и сохранности.

Если на Вас, гражданин, была возложена эта операция и Вы ее осуществили, я прошу Вас уведомить меня об этом безотлагательно и воздержаться тем временем от какой бы то ни было дополнительной проверки.

Если же, напротив, на Вас подобное задание не было возложено и Вы этой операции не выполняли, Вы не должны сейчас ни под каким предлогом ничего предпринимать, пока, в соответствии со сведениями, которые я прошу Вас дать мне на этот счет, я не сообщу Вам, что надлежит сделать в дальнейшем.

Подпись военного министра: *Паш».*

Ниже написано:

«Копия дана по просьбе гражданина Бомарше, первого декабря утром.

Подпись: *Леруа д'Эрваль,* секретарь».

Право, не знаешь, с чего начать разбор этого министерского шедевра. Разумеется, это отнюдь не творение г-на *Паша.* Ни один министр, будучи в своем уме, не напишет подобной чуши о деле, ему неизвестном, в особенности, если он подозревает, что может быть смещен. Но случай, придя на помощь моим размышлениям, снова помог мне найти ключ к этой нелепой загадке.

Письмо — дело рук некоего чиновника, творца фальшивых сведений, которые ввели в заблуждение гражданина *Лекуантра.*

Но прежде, чем говорить об этом человеке, разберем письмо за подписью *«Паш».*

(Письмо.)

Прошу Вас (говорит неосведомленный министр осведомленному послу) информировать меня, *«действительно ли Вы, согласно приглашению, которое могло быть Вами получено в конце апреля или в начале мая сего года»...* и т. д.

Почему господин *Паш говорит об апреле и мае месяцах?* Возможно ли, что он не знает о том, что распоряжения, данные министром *Лебреном* гражданину *посланнику Мольду,* относятся к двадцатому сентября сего года? О том, что эти распоряжения, касающиеся приемки от меня права владения в *Тервере,* согласно *статье восьмой договора от восемнадцатого июля,* не могут иметь никакого отношения к тому, что было до него — *в конце апреля,* в ту пору, когда я должен был доставить оружие в *Гавр,* по поводу чего господин *де Мольд* не получал ни от кого *ни приглашений, ни распоряжений, ибо его тогда не было в Голландии.*

(Письмо.)

«Действительно ли Вы, согласно приглашению ...совместно с генерал-майором Лаогом...»

Большое спасибо, господин *Паш,* за моего друга Лаога, вот он в апреле и *генерал-майор,* благодаря вашим чиновникам; он о таком даже мечтать не смел; и вы оказываете ему эту смехотворную честь потому только, что *восемнадцатого июля* договор, заключенный двумя министрами, в соответствии с мне-

нием трех комитетов, вменяет в обязанность гражданину *де Мольду, в качестве генерал-майора, принять партию оружия у моего друга Лаога, ни в какой мере не генерал-майора,* но уполномоченного *мною* осуществить, от моего имени, передачу оружия этому послу, *согласно договору,* заключенному восемнадцатого июля.

Если бы подобное письмо исходило от какого-нибудь вражеского правительства, уж мы бы над ним потешились вдоволь! В какой восторг пришли бы от удовольствия наши *льежские* газетчики! Так и вижу *редактора,* который ходит гоголем в восхищении от собственного остроумия. Он напоминает мне того дворянина-охотника, который, желая выставить напоказ свою осведомленность в мифологии, назвал кобеля *Тизбой,* а суку *Пирамом* и *ходил перед нами гоголем.* Наберитесь терпения, я назову вам имя этого мудрого чиновника.

(Письмо.)

«Действительно ли Вы, совместно с генерал-майором Лаогом, проверяли... и были ли Вами перевязаны и опечатаны ящики» (всё в апреле).

Следуя распоряжениям, которые были даны, как я говорил выше, двадцатого сентября и вручены двенадцатого октября гражданину *Мольду* мною, уполномоченным на это г-ном *Лебреном.*

(Письмо.)

«И если Вы осуществили эту проверку, я прошу Вас воздержаться от какой-либо дополнительной проверки».

Воздержаться от проверки, уже осуществленной и законченной? Во всем этом поражает точность и, я сказал бы, очаровательная осмысленность.

(Письмо.)

«Если же, напротив, на Вас подобное задание не было возложено и Вы этой операции не выполняли, Вы не должны сейчас ничего предпринимать».

С какой стати г-ну *де Мольду* что-либо предпринимать, если это задание не было на него никем возложено? Он посланник Франции, который ничего не делает без указаний свыше, к тому же *генерал-майор* (я возвращаю звание по принадлежности: слишком долго им украшали *моего друга,* который никогда на него не претендовал).

Вернем также честь создания этого письма тому, кому она принадлежит по праву, ибо г-н *Паш* только подписал его.

Г-н Лебрен, досконально знающий предмет, прочел это письмо и переправил его нам, нимало не заботясь о том, есть ли в нем здравый смысл; а мы говорили, читая: «Что, они окончательно, что ли, разумом помутились, все эти начальники и чиновники?»

Я повергаю себя к вашим стопам, о граждане законодатели! И прошу снисхождения к тому, что вынужден входить в подробности, столь смехотворные! Но они настолько присущи также и *доносу,* который побудил вас *издать против меня декрет,* что я полагаю их делом одной руки!

А вы, *мой обвинитель!* Простите мне, или, вернее, будьте мне благодарны, если я докажу *Конвенту,* что эти подложные документы не ваших рук дело; что вы были введены в заблуждение, гнусно обмануты теми, кто удалил меня из Франции только для того, чтобы безнаказанно убить. Вот факты!

Я специально поручил моему управляющему, моему поверенному в делах, не отставать от г-на *Лебрена,* добиваясь от него ответа на *мои четыре письма, посланных одно за другим.* Он написал мне, что ему не удалось ничего вытянуть из этого министра ни по поводу запаздывающих ответов, ни по поводу обещанного залога; что он постоянно наталкивался на те же препятствия, с которыми раньше встречался я сам! Дело дошло до того, что, желая избавиться от моего человека и не дать при этом рухнуть черному замыслу, который он лелеял, г-н Лебрен направил настойчивого просителя к некоему г-ну *дю Бретону,* в канцелярию военного министерства; этот последний, после того, как он, в свою очередь, несколько раз направлял его с отменной учтивостью в разные кабинеты, которые оказывались не в курсе дела, адресовал его, наконец, к некоему г-ну Г. Но предоставим моему поверенному, как человеку, с которым все это произошло, рассказать самому нелепую сцену с этим г-ном Г. Вот его письмо.

«Этот г-н *дю Бретон,*— говорит он,— кончил тем, что адресовал меня к г-ну Г., в чьей приемной я натолкнулся на целую толпу людей, которые должны были быть отпущены до того, как подойдет мой черед. Наконец я проник в его кабинет.

Несколько удивленный безумным видом этого человека, я, чтобы убедиться, что это действительно тот, кто мне нужен, начал с вопроса, имею ли я честь говорить с г-ном Г. Он, свирепо глядя на меня, весь вспыхнув и сжав кулаки, ответил громовым голосом, выражавшим бешенство: «Ты не имеешь чести, я не господин, мое имя Г.».

Смущенный подобным приемом, я готов был уже убежать; но, сочтя, что он лицо не слишком важное, и желая непременно выполнить поручение, я хладнокровно ответил ему: «Прости, гражданин, если я не так повел речь; но прими во внимание, что мы, люди начала века, не можем свыкнуться в одну секунду с нелепым языком его конца. К тому же ты, по-видимому, одержим желанием, чтобы с тобой говорили на «ты»? Могу ли я побеседовать с тобой с глазу на глаз? Меня к тебе направил министр, которого зовут *Лебрен,* чтобы выяснить, как обстоит дело с залогом, *многократно обещанным господину Бомарше.* Ему уже не раз давали слово, а толку все нет. Таков мой вопрос, можешь отвечать».— *«С кем я говорю?»* — *«С Гюденом*[1], поверенным в делах упомянутого лица, которое ждет от тебя положительного ответа».

«Я как раз занят доскональным изучением *дела, о котором ты со мной говоришь,*— отвечает мне Г.,— *Бомарше обманул Лажара, и тот, как дурак, занял место Бомарше,* заключив сделку, которую я намерен расторгнуть;[2] *я опубликую свое мнение одновременно с Бомарше, и пусть все имеют возможность судить сами о деле и человеке».*— «Вы можете это сделать, сударь,— сказал я ему,— и я не сомневаюсь, что после вашего ответа, который я передам ему, он опередит ваши враждебные замыслы и сам расскажет тем, к кому вы намерены обратиться, *каков ущерб, нанесенный ему министрами, и какие усилия он прилагал сам, чтобы деятельно послужить нации,* у которой огласка, сообщаемая, по вашей воле, делу, отнимет пятьдесят три тысячи ружей, столь ей необходимых».— «Мы не нуждаемся в оружии,— отвечает разгневанный Г.— у нас его больше чем нужно; *пусть делает со своим, что ему вздумается».*— «Таков ваш ответ?» — *«Никакого другого я тебе дать не могу!»*

Я мог бы возразить ему, что Вы никого не обманывали, что вы вели переговоры не с одним *Лажаром, а с тремя объединенными комитетами Законодательного собрания и двумя министрами*; но я подумал: пусть прославится, если у него хватит храбрости напечатать свое мнение, поскольку он тем самым позволит Вам дать ему неопровержимый ответ, огласив мнение комитетов и похвалы, *которыми они удостоили* вашу общеизвестную *гражданскую благонадежность.*

---

[1] Брат литератора.

[2] Здесь высунулось ухо доносчика.

Вот, сударь, результат моих хождений к г-ну *Лебрену*. Дело приняло такой оборот, что не приходится сомневаться: Вам расставлена чудовищная ловушка; их только радует, что Вы можете потерять значительную часть своего состояния. Вам не к чему просить благорасположения или справедливости. Добиваться надо не этого, а отмщения! *Обращения к Конвенту* и наказания виновных.

Я имею честь повторить Вам, что они *не хотят Вашего оружия: они хотят Вашего полного разорения; они хотят уронить Вас, если возможно, в глазах всей нации, чтобы нагло погубить!*

Я написал Г., что не вполне его понял и что, не рискуя послать Вам ничего не значащее письмо по делу столь важному, я считаю необходимым, чтобы он начертал собственной рукой то, что я недослышал.

Вот мое письмо к Г., выдержанное в его прекрасном стиле.

«Я просил тебя о разговоре с глазу на глаз, а в твоем кабинете становилось народу все больше, по мере того как я говорил. Я тебя плохо слышал; дай мне твой ответ письменно; ибо я обязан передать его моему доверителю. Вот мой вопрос: *будет ли внесен столько раз обещанный и до сих пор не предоставленный залог?* Как видишь, я усвоил твой урок, что учтивость изгнана из нашего общества! *Будь правдив,* вот все, чего я прошу. Прощай, Г., жду твоего ответа. Когда имеешь дело с человеком твоего характера, ждать не приходится.

Подпись: *Гюден,* республиканец, не менее гордый, чем ты».

Мы получили ответ от этого шута горохового в роли государственного деятеля, который, как говорят, германизировал свое имя *Лельевр,* чтобы оно звучало менее заурядно и могло сравниться по оргинальности с ним самим: он стал называться Г., как бы *«Любящий зайца».* Однако, прежде чем ознакомить Вас с письмом, припомним его изустный ответ, столь мудрый и столь достойный этого человека: *«Мы не нуждаемся в оружии,* у н а с е г о б о л ь ш е, ч е м н у ж н о, *пусть делает со своим, что ему вздумается».*

Как, сударь, и вы всерьез говорите нам подобную чушь? В то время как не хватает более двухсот тысяч ружей, чтобы удовлетворить нашу в них необходимость? Ваш министр *Паш,* осведомленный лучше вас, а главное, более правдивый, ответил в январе сего года Генеральному совету Парижской коммуны совсем в ином тоне, чем его столоначальник:

«Я получил письмо, где Вы просите меня дать оружие взамен того, которое было сдано парижскими гражданами. Несмотря на все мое желание быстро вооружить парижских граждан, я в настоящее время не располагаю возможностью осуществить замену оружия, о которой Вы просите; республика испытывает такую нужду в оружии, что я едва могу удовлетворить потребности в вооружении добровольческих батальонов, рвущихся навстречу врагу...

Подпись: *Паш».*

Один из них лжет — либо начальник, либо чиновник. И, право же, — не министр, я нахожу тому доказательства в ответе чиновника Гюдену, моему управляющему.

«Покончим с неясностью!

Вопрос, который ты ставишь: *«Будет ли дан столько раз обещанный и так и не предоставленный залог?»* — относится к тем вопросам, на которые я не могу и не должен отвечать.

Я, прежде всего, должен получить окончательный ответ на вопрос: *были ли выполнены обязательства, предусмотренные первой и второй сделкой*? Ничто не говорит об этом в письмах и документах, имеющихся в деле».

Следует сообщить моим читателям, что премудрый Г. (который до того, как стать столоначальником, прислуживал химику у горна) не подчеркивал фразы, как это сделано в моей копии его ответа, но писал их черными чернилами, тогда как все послание было начертано красными. Как ни старайся человек науки, ему не замаскироваться! Гюден ответил незамедлительно.

«Ты отвечаешь на мой вопрос вопросом,— это не ответ. А меж тем ты говоришь: *«Покончим с неясностью!»* Разве то, о чем я спрашиваю, не ключ к делу? Если это требование не будет удовлетворено, дело проиграно. *Тем ли, кто ставит препоны, спрашивать, выполнены ли обязательства?* Если имеющейся у тебя переписки недостаточно, чтобы ты мог разобраться, *тебе не все передали.*

У человека, интересы которого я защищаю, вся переписка *в целости и сохранности.* Она однажды уже спасла ему жизнь и обеспечила свидетельства в незапятнанной гражданской благо-

надежности. Хочу верить, что она окажется ему полезной и в этом случае.

Всякий, кто подойдет к этой переписке нелицеприятно, прочтет ее к вящей его славе!

Сверх того, если ты доискиваешься правды, скажи мне напрямик, в невыполнении каких *обязательств по первой, как и по второй купчей ты мог бы его упрекнуть?»*

Гурон не ответил; зато он составил прекрасное *письмо к де Мольду за подписью Паша,* где говорится о *генерал-майоре Лаоге* и обо мне и где обнаруживается, как я уже показал, какая каша была в голове у того, кто создал этот шедевр неосведомленности. Я прошу у *Паша* прощения за эту характеристику. Но кто велел ему подписывать письмо безумца? И этому г-ну Г. поручают разобраться в деле столь важном,— ему, не имеющему половины документов, не соображающему, ни что он читает, ни что он пишет; и он, человек, который совершенно не в курсе дела, хочет тем не менее *(как он открыто похвалялся)* разорвать договор, хотя ничего о нем не знает, не знает даже, каковы его статьи; он готовит *мое обвинение,* поражавшее меня своей вздорностью, пока до меня не дошло, что это дело рук Лельевра.

О боже! как трудна и длинна защита против самых нелепых нападок, если не хочешь ничего упустить! Поспешим, покончим с этим. Недостаток интереса убивает любопытство.

Возобновляю мою печальную повесть.

Первого декабря приносят мне *гаагскую* газету, и я читаю следующую статью:

«Париж, сего 23 ноября 1792 года.

Вчера был издан декрет, которым отдавалось 120 приказов об аресте. В связи с этим здесь вчера опечатывали имущество преступников, в частности, в доме Бомарше, участника и члена клики заговорщиков, который писал разные письма *Людовику XVI».*

Далее шел обзор дела о ружьях, вышедший из-под руки мастера... Гонена. Вам будет вручена эта выписка из газеты, переведенная одним лондонским присяжным нотариусом и законным образом заверенная г-ном *Шовленом,* полномочным посланником Франции.

Я посмеивался, читая, и говорил: «Люди повсюду жаждут знать, что происходит в Париже, и вот газетчики утоляют их

жажду такими ложными новостями». Но некоторые друзья, настроенные весьма доброжелательно, пришли ко мне и предупредили, что, *если я хочу узнать самое ужасное для себя, мне необходимо, не теряя ни минуты, ехать в Лондон, поскольку друзья не решаются писать мне об этом в Гаагу и т. д.*

Я побежал к г-ну *де Мольду* предупредить его, что немедленно уезжаю в Лондон, но скоро вернусь. Я был приглашен к ужину и ждал у него в гостиной. Ему вручили пакет, и он направился к Великому пенсионарию. Я ушел, не дождавшись его, и назавтра написал ему следующее:

«С пакетбота, увозящего меня в Лондон, сего 2 декабря 1792, 1-го года Французской республики.

Гражданин полномочный посланник!

Весьма странное сообщение, затрагивающее меня лично, которое я прочел вчера в голландской газете, побудило меня выехать в *Амстердам;* но подтверждение этого сообщения, полученное двумя друзьями из разных источников, а также совет, исходивший от одного из них, *отправиться в Англию, если я хочу узнать самые важные подробности гнусности, затеваемой против меня в* Национальном конвенте, *заставили меня тут же выехать вместо Амстердама в Лондон.* Я хотел иметь честь лично поставить Вас в известность об этом решении, но мне сказали, что Вы находитесь у г-на *Великого пенсионария.* Меня обвиняют в переписке с *Людовиком XVI. Этот злодейский умысел против меня связан с мошеннической операцией.* Мне за всю мою жизнь не доводилось писать этому монарху, если не считать первого года его царствования, свыше восемнадцати лет тому назад. Как только я пойму в *Лондоне,* в чем суть дела, я тотчас выеду в *Париж,* ибо пора уже осведомить обо всем *Национальный конвент,* или вернусь в *Гаагу,* чтобы мы покончили с нескончаемым делом о терверских ружьях.

Примите, посланник-гражданин, самые искренние заверения в благодарности от старого гражданина, подвергающегося гонениям.

Подпись: *Бомарше».*

Чудом добравшись до Лондона, так как наш корабль чуть не пошел ко дну, подобно судну с эмигрантами, которое шло следом за нами, я в первой же фразе уже ожидавшего меня письма прочел следующее:

«Если вы читаете это в Англии, возблагодарите на коленях господа бога, ибо он сберег вас!»

Далее следовали точные детали всех происков наших министров, и меня призывали возблагодарить небо главным образом за то, что я *не арестован в Голландии,* куда был послан чрезвычайный курьер, чтобы увезти меня, связав по рукам и ногам, и *весь расчет был на то, что живым до Парижа я не доберусь*; ибо больше всего там боялись моего оправдания, которым я, говорят, *слишком угрожал нашим министрам.*

Я, не откладывая, написал гражданину *де Мольду* следующее письмо; умоляю прочесть его со вниманием из-за ответа, который был мною получен не от него, а от одного из моих гаагских друзей.

«Господину де Мольду.
Лондон, сего 7 декабря 1792, 1-го года Французской республики.

Гражданин полномочный посланник!

Инструкции, за которыми мне посоветовали недавно срочно отправиться в *Лондон,* считая ненадежным посылать их мне в *Гаагу,* оказались весьма важными. В них обстоятельно излагается план моих врагов. Меня уверяют даже, что они, как только их гнусные козни увенчаются успехом, намерены выслать Вам приказ *о моем аресте в Голландии.*

Было бы весьма запятно, если бы сей странный министр иностранных дел послал для этого курьера— он, *который не направил Вам ни одного нарочного за все время выполнения Вами посольских обязанностей, он, который допустил освобождение фальшивомонетчиков, пальцем не двинув, чтобы этому помешать!* И если бы он теперь, уже из корысти, впервые проявил бдительность и возложил на Вас через чрезвычайного курьера самое нелепое поручение к Генеральным штатам, предпочтя расследовать со всей беспощадностью мои дела, в то время как Голландия кишит явными врагами, которых пальцем не трогают и которым она предоставляет мирное убежище, он повел бы себя не менее странно, чем *эта держава,* покорная прихотям всех других, если бы она сочла, что должна подчиниться постыдному требованию *Лебрена!*

Но, простите мне болтовню, мой отъезд в Лондон избавит Вас от всех затруднений, если Вы случайно получите такой приказ. Я не нуждаюсь ни в полицейских чинах, ни в конвое, чтобы отправиться в нашу многострадальную столицу, где, *в ожи-*

дании, пока Конвент даст нам наконец законы, свирепствуют беспорядки. Конвенту в этом мешают, как могут, а я, я убедительно прошу у него в моем обращении охранить мою жизнь от кинжала убийц; затем я тотчас еду, чтобы положить ее под лезвие законов, которым я только и подвластен, ежели виновен в том, в чем меня обвиняют.

Примите почтительный поклон от самого гонимого из граждан.

Подпись: *Карон Бомарше».*

Убедившись окончательно в чудовищности разыгрываемого фарса, я возблагодарил небо за то, что оно вновь спасло меня.

Не зная, однако, куда писать моей удрученной и кочующей семье, я поместил в английских газетах *«Письмо к моей семье»,* которое подверглось такой критике и которое вы можете сейчас перечитать. Французы, столь скорые на суд, теперь уже не истолкуют его как мою попытку уклониться от ответственности. Они уже не сочтут неприличным, что я выразил в нем мое пренебрежение к *этому жалкому делу о ружьях* (как я его называю) и что я счел декрет обо мне плодом *доноса, столь же ложного,* сколь и ужасного,— *о моей преступной переписке,* как там говорится, *с Людовиком XVI.*

Только так объяснял я себе *поспешность курьера,* скакавшего по приказу Лебрена *день и ночь, чтобы схватить меня в Голландии* и со скандалом *доставить во Францию,* передав с рук на руки в жандармерию, если по пути не случится чудовищной катастрофы и я не буду похоронен неведомо где! Кто мог бы поверить в слепую ярость министров? А ведь их план был именно таков! *Мне сообщали это из Парижа.*

Министр *Лебрен,* которому лучше всякого другого известно, как болтливы газетчики,— опасаясь не без оснований, чтобы они не разгласили приказ о моем аресте, поторопился отправить в *Гаагу* нарочного, уповая насладиться тем, что будет первым, кто мне об этом сообщит. Но, по счастью, искусство предугадывать действия злодеев столь же усовершенствовалось, сколь их искусство маскироваться!

Я бдил, как и он; и мои друзья вокруг него бдили, хотя он и не подозревал об этом, несмотря на все его зловредные таланты.

Видя, что жизнь моя спасена, враги не побрезговали ничем, чтобы уничтожить меня, лишив состояния, и в день, когда мое *письмо к жене* появилось в английских газетах, они, сменив свои обвинения и свой план потому только, что мое письмо было

помечено *Лондоном*, стали повсюду кричать: *«Эмигрант! Эмигрант!»* Будто человек свободный, или человек, которому внушают *в этом уверенность, поскольку он выехал* из Франции с надлежащим паспортом [1] (вы можете прочесть его в сноске), человек, выехавший при этом для *выполнения задания правительства Франции (ибо таков был характер моей миссии)*, хотя фактически никакого задания не получил, превращался в эмигранта только потому, что дела заставили его выехать из *Гааги*, иностранной столицы, в *Лондон* — другую иностранную столицу.

Я показал вам, граждане, во всех подробностях, что́ за несравненную миссию доверил мне за границей министр *Лебрен*, воспользовавшись моими знаниями, моими талантами, моим опытом. Вы теперь знаете, что эта миссия сводилась к тому, чтобы отправить меня подальше и, воспользовавшись моим отсутствием, поднять против меня в Париже бурю, так как я своим присутствием срывал на протяжении полугода *все их замыслы, за что они в ярости называли меня истинным вулканом энергии!*

И великий *метельщик Тэнвиль*, наш новый представитель в Гааге, где он превосходно поработал, *выметя* (если воспользоваться его благородным выражением) *всю лавочку де Мольда*, с присущей ему любезностью еще называет меня в паспорте, который он выдал моему несчастному больному лакею, беглым *эмигрантом*, потому только, что я не позволил ему *вымести и*

---

[1] Свобода, равенство.

Именем нации.

Всем гражданским и военным чиновникам, на коих возложено поддержание порядка в восьмидесяти трех департаментах и обеспечение должного уважения к званию француза за границей,— пропустите свободно *Пьера-Огюстена Карона Бомарше*, шестидесяти лет, лицо полное, глаза и брови темные, нос правильный, волосы каштановые, редкие, рот большой, подбородок обычный, двойной, рост пять футов пять дюймов, направляющегося в Гаагу, Голландия, в сопровождении слуги, с целью выполнения государственного задания.

Дано в Париже, 18 сентября 1792, 4-го года Свободы, 1-го года Равенства.

Временный исполнительный совет.
Подписи: Лебрен, Дантон, Ж. Серван, Клавьер.
За временный исполнительный совет.
Подпись: Грувелль, *секретарь.*
Просмотрено в Гаврском муниципалитете, 26 сентября 1792, 1-го года Французской республики.
Подпись: Риаль, *мэр.*

себя! Беглый — от кого? От *Тэнвиля?* Прекрасный повод, чтобы уехать из *Гааги*! Эмигрант — откуда? Из Голландии? Но эта страна, сударь, не принадлежит Франции. *«Эмигрировать»* ведь означает в нашем понимании ускользнуть *изнутри страны за рубеж,* будучи человеком преступным или беглым, а вовсе не переехать по доброй воле *из одной зарубежной страны в другую?*

И вот по роковому знаку — *эмигрант! эмигрант*! — все в моем доме опечатано двойными печатями, удвоена, утроена стража; и с изощренной каннибальской жестокостью человек, на *которого возложено поддержание порядка,* преднамеренно избирает ужасную ночь, чтобы явиться со своими солдатами для освидетельствования наложенных ранее печатей и заставить умирать от страха жену и дочь человека, которого не удалось убить, подло оскорбляя их, как делают всегда низкие люди, если считают, что сила на их стороне. Какая важность, прав я или виноват в этом чудовищном деле с ружьями? Разве не ясно, что я *эмигрант,* поскольку, побуждаемый настойчивыми просьбами, я отправился из *Гааги* в *Лондон,* чтобы получить там сведения по одному-единственному делу, заставившему меня выехать из Франции с паспортом и мнимым заданием, подписанными министром *Лебреном и проштемпелеванными* всеми его коллегами?

Вот как действует, а главное, как рассуждает повсюду слепая ненависть. Но я отделяю мою отчизну от всех этих профессиональных убийц. Их побуждения были мне настолько ясны, что 28 декабря я написал об этом министру юстиции следующее:

«Из тюрьмы Бан-дю-Руа, в Лондоне, 28 декабря 1792, 1-го года Республики.

Отправлено 28-го, в одиннадцать часов вечера.

Гражданин французский министр юстиции!

До меня, в моем здешнем одиночестве, дошли из *Парижа* известия от 20 декабря о том, что, предав забвению все прочие нападки и основываясь единственно на моем письме, опубликованном 9 декабря в иностранных газетах, во Франции заключили, что я эмигрант; вследствие этого, не занимаясь более смехотворным делом с голландскими ружьями, в котором я тысячу раз прав, собираются, говорят, пустить с молотка мое имущество как собственность жалкого эмигранта, независимо от того, обоснованна или нет гнусная клевета, которая вызвала *обвинительный декрет против меня.*

В связи с этим я заявляю Вам, министр-гражданин, как главе нашего правосудия, что, не только не будучи эмигрантом, но и не желая им стать, я стремлюсь возможно скорее полностью обелить себя перед Национальным конвентом, что не устраивает ни одного из моих врагов; и не будь этого ужасного перехода, который я вынужден был проделать в непогоду, чуть при этом не погибнув, не отними он у меня все силы и здоровье, и главное, не случись со мной беды, явившейся следствием всех несправедливостей, совершенных по отношению ко мне на родине, я немедленно предстал бы перед Конвентом.

Но один из моих лондонских корреспондентов, который помог мне десятью тысячами луидоров в этом деле с ружьями (после того, как ваша исполнительная власть отказала мне в моих законных требованиях и поставила меня тем самым в безвыходное положение), узнав сегодня, что мое имущество во Франции конфисковано, как собственность эмигранта, и что я хочу вернуться на родину, чтобы доказать противное, потребовал с меня обеспечения моего долга; и поскольку я не мог ему тут же вручить просимый залог, он добился моего заключения в тюрьму Ван-дю-Руа, где я томлюсь желанием поскорее выехать, в ожидании, пока друзья, которым я написал, окажут мне услугу и внесут залог, гарантирующий десять тысяч луидоров моего долга; я надеюсь получить его с ответной почтой.

Я предупреждаю Вас, министр юстиции, что хотя тело мое обессилено, мой ум, подстегиваемый справедливым возмущением, сохранил достаточно сил, чтобы составить обращение в Национальный конвент, в котором я прошу его о единственной милости — оберечь мою жизнь от угрожающего мне кинжала (я слишком прав по всем линиям, чтоб он мне не угрожал); оберечь меня от этого, говорю я, выдав мне охранную грамоту, которая позволит мне предстать перед Конвентом и полностью обелить себя. В этом обращении я обязуюсь разориться дотла, отдав Франции совершенно бесплатно мою огромную партию оружия, если я не докажу моему отечеству и всем порядочным людям, что во всех этих доносах нет ни единого слова, которое не было бы нелепой ложью, ложью, поистине нелепейшей! Я даю в заклад не только мое оружие, но и все мое достояние, мою жизнь; и *Национальный конвент* получил бы мое *прошение* еще неделю назад, печатайся написанное по-французски в *Лондоне* так же скоро, как в *Париже*.

Я пренебрег бы тем, что ноги меня не держат, и приказал бы доставить меня в Париж на носилках следом за моим прошением, пусть бы даже смерть ждала меня по прибытии; но

я заперт в тюрьме до получения ответов из заокеанских земель; впрочем, я подумал о том, что, поскольку, пока меня не было во Франции и именно для того, чтобы я не мог туда вернуться, против меня возбудили народную ярость, моему возвращению должно предшествовать хотя бы начало оправдания; у меня в руках есть доказательства того, что меня хотели убить, чтобы помешать моему полному и безусловному оправданию. Пелена спадет с глаз, как только меня выслушают, а я примчусь, чтобы заставить меня выслушать, как только друзья пришлют мне залог.

Это дело с ружьями — такая чудовищная нелепость, что я никогда не поверил бы в возможность обвинительного декрета, с ним связанного, если бы газета гаагского двора от 1 декабря не напечатала черным по белому вслед за доносом о ружьях следующие слова:

«Вчера, 22 ноября, все было опечатано в доме Бомарше, который также принадлежит к числу крупных заговорщиков и состоял в переписке с Людовиком XVI».

Я привожу вам перевод этих строк, но я написал в Гаагу, прося выслать мне в Париж полдюжины экземпляров этой газеты от 1 декабря; я был озабочен только этим обвинением. Остальные подтасованы так же неумело, и я не премину доказать это самым исчерпывающим образом.

Отправляя это письмо, министр-гражданин, я одновременно посылаю за моим врачом, чтобы выяснить, когда, по его мнению, я буду в силах выдержать путешествие по суше и по морю. Тотчас по прибытии залога я выезжаю в *Париж*; ибо страх смерти не помешает моему отъезду; напротив, опасаясь одного — умереть, не обелив себя и, следственно, не отомстив за всю эту нескончаемую цепь жестокостей,— я пренебрегу всеми опасностями.

Если мне выпадет счастье получить разрешение уехать отсюда, я сдам в лондонскую судебную регистратуру заверенную копию этого письма,— пусть, на всякий случай, останутся доказательства того, что я не эмигрант и не трус и что я предвидел свою судьбу; и если кинжал поразит меня раньше, чем Национальный конвент, ознакомившись с публикацией моей защитительной речи, вынесет свой приговор, пусть все поймут, что мои враги не допустили, чтобы я оправдался при жизни, к вящему посрамлению моих обвинителей. *И пусть тогда общественный гнев обрушится на моих близких и наследников, если, располагая документами, они не добьются моего оправдания после моей смерти.*

Министр юстиции, я заявляю Вам также, что в моем оправдании насущно заинтересована нация; ибо моя поездка в Голландию важна для нее; и если, до моего оправдания, мое имущество будет продано, как собственность эмигранта, я предупреждаю Собрание, что, как только я буду им выслушан, оно будет поставлено перед печальной необходимостью выкупить все обратно, как имущество достойного гражданина, которое было продано в результате чудовищных наветов.

Остаюсь с уважением к Вам,
гражданин французский министр юстиции,—
гражданин, более всех убежденный в Вашей справедливости.

Подпись: *Бомарше».*

Единственное разумное письмо, из всех, которые я получил от высокопоставленных лиц моего отечества, это ответ министра юстиции. Он придал мне мужества немедля написать и отослать защитительную речь. Вскоре, принеся огромнейшие жертвы, я рассчитался с долгами в Англии; я мчался бы уже в парижскую тюрьму, несмотря на весь риск, если бы *Конвент* не удостоил приостановить свой декрет, отсрочив его исполнение на шестьдесят дней, чтобы дать мне время прибыть для защиты. Я не нарушу этого срока: мне достаточно шестидесяти часов. Да воздастся министру юстиции! Да воздастся *Национальному конвенту,* который понял, что ни один гражданин не должен быть осужден, не будучи выслушан!

Вот письмо гражданина *Гарата,* по справедливости министра юстиции, и я специально публикую его, чтобы утешить людей, угнетенных несправедливостью, и замкнуть чистым поступком тот отвратительный круг притеснений, в котором я мучаюсь на протяжении десяти месяцев только за то, что служил родине вопреки желанию всех тех, кто ее грабит.

«Париж, сего 3 января 1793, 2-го года Республики.

Я получил, гражданин, Ваше письмо от 28 декабря 1792 года, помеченное тюрьмой Бан-дю-Руа в Лондоне. Я могу лишь приветствовать Вашу готовность явиться в Париж для оправдания перед Национальным конвентом, в которой Вы меня заверяете; и я полагаю, что, когда Вам будет возвращена свобода и позволит здоровье, ничто более не должно оттягивать поступ-

ка, столь естественного для обвиняемого, ежели он убежден в своей невинности. С выполнением этого замысла, достойного сильной души, не имеющей ни в чем себя упрекнуть, не следует медлить из опасений, которые могли Вам внушить только враги Вашего спокойствия или же люди, слишком склонные к панике. Нет, гражданин, что бы там ни твердили хулители революции 10 августа, прискорбные события, последовавшие за ней и оплакиваемые всеми истинными поборниками свободы, более не повторятся.

Вы просите у *Национального конвента* охранной грамоты, чтобы иметь возможность в полной безопасности представить ему Ваши оправдания; мне неизвестно, каков будет ответ, и не следует предвосхищать его; но когда, в силу самого обвинения, выдвинутого против Вас, Вы окажетесь в руках правосудия, Вы тем самым будете взяты под охрану законов. Декрет, которым я уполномочен осуществлять их, дает мне право успокоить все страхи, внушенные Вам. Укажите мне, в какой порт Вы предполагаете прибыть и примерную дату Вашей высадки. Я тотчас отдам распоряжение, чтобы национальная жандармерия снабдила Вас охраной, достаточной, чтобы унять Вашу тревогу и обеспечить Вашу доставку в Париж. Более того, не нуждаясь даже в моих распоряжениях, Вы можете сами потребовать такую охрану от офицера, командующего жандармерией в порту, где Вы высадитесь.

Вашего прибытия сюда достаточно, чтобы Вас не могли долее причислять к эмигрантам; и граждане, которые сочли своим долгом добиться, чтобы Вас отдали под суд, сами с радостью выслушают Ваши оправдания и будут счастливы узнать, что человек, находившийся на службе Республики, вовсе не заслужил, чтобы ему было отказано в доверии.

Министр юстиции.

Подпись: *Гарат*»[1].

Мне остается обратить внимание добрых граждан, чей рассудок не затемнен партийными страстями, на *обвинительный декрет, изданный против меня*: я разберу его так же придирчиво и тщательно, как рассмотрел мои собственные дела и дела моих обвинителей; затем, подытожив эту пространную записку, я смогу наконец отдохнуть от трудов, доверчиво ожидая вердикта Конвента.

---

[1] Все последующее было написано после моего возвращения в Париж.

«Обвинительный декрет.

Выдержка из протокола Национального конвента от 28 ноября 1792, 1-го года Французской республики.

Национальный конвент, заслушав свой Комитет по военным делам, считает, что договор от 18 июля сего года является плодом *сговора* и мошенничества; что этот договор, отменяя договор от 3 апреля сего года, лишает французское правительство каких бы то ни было гарантий, которые могли бы обеспечить ему покупку и доставку оружия; что этот договор свидетельствует со всей очевидностью о намерении не только не поставить это оружие, но, напротив, заведомо зная, что оно не будет поставлено, воспользоваться договором как возможностью получения *значительных* и *противозаконных* доходов; что разорительные условия, совокупность которых составляет акт от 18 июля сего года, должны быть отвергнуты со всей суровостью.

Ст. 1. Сделка, которую заключил 3 апреля сего года с *Бомарше Пьер Грав,* бывший военный министр, а также соглашение, подписанное 18 июля того же года между *Бомарше, Лажаром и Шамбонасом,* расторгаются; вследствие чего суммы, выданные правительством *Бомарше* в счет платы, согласно вышеуказанным договорам, должны быть им возвращены.

Ст. 2. *Учитывая мошенничество и преступный сговор,* проявившиеся как в сделке от 3 апреля, так и в соглашении от 18 июля, между *Бомарше, Лажаром и Шамбонасом, Пьер-Огюстен Карон,* именуемый *Бомарше,* предается суду.

Ст. 3. *Пьер-Огюст Лажар,* бывший военный министр, и *Сципион Шамбонас,* бывший министр иностранных дел, несли и несут *вместе с Бомарше солидарную ответственность и подлежат личному задержанию за хищения, явившиеся следствием вышеупомянутых договоров*; они будут отвечать по соответствующим статьям, так же как и по тем, по которым уже были изданы против них обвинительные декреты; принимая во внимание вышеизложенное, на исполнительную власть возлагается передать их дело на рассмотрение трибуналов.

Заверено, копия верна оригиналу».

Замечания обвиняемого.

Разумеется, исходя из доклада, выработанного на основе мошеннических подтасовок, и принимая все их за истину, Конвент и не мог вынести иного решения, как призвать меня к ответу и выслушать мои оправдания; при том, в особенности, что

он не мог не знать, что комитеты *по военным делам и вооружению,* заслушав меня со всем пристрастием по тому же делу в сентябре, *по специальному распоряжению Национального собрания,* единогласно дали мне самое лестное из возможных свидетельств в гражданской благонадежности, заканчивавшееся словами, что я *«заслужил* признательность нации».

И если бы *Конвент* соблаговолил вызвать меня, я прижал бы обвинителя к стенке; обсуждение вывело бы все на чистую воду; была бы возможность вынести суждение о человеке и о деле; все наши ружья были бы во Франции; враги не смеялись бы над нами, над тем, как вас обманывают, как вас водят за нос. Не был бы подорван кредит добропорядочного торгового дома, не была бы ввергнута в отчаяние семья, которую сейчас никакое правосудие не может заставить забыть пережитые мытарства. Вот как обстояло бы дело!

Обсудим же декрет, продиктованный гражданину *Лекуантру:* только так можно бросить свет на верования судей...

Декрет (Преамбула).

«Конвент считает, что договор от 18 июля сего года является плодом сговора и мошенничества...»

Обвиняемый.

Сговора — о чем? И мошенничества — чьего? Трех объединенных комитетов, *дипломатического, по военным делам и Комитета двенадцати,* чье мнение я приводил полностью в *третьем этапе этого отчета; каковым мнением* единственно руководствовались оба робкие министра, не осмеливавшиеся ничего взять на себя; от какового *мнения* не отклоняется ни одна статья договора, разве что *к моей невыгоде,* поскольку комитеты предписывают, *чтобы мне были даны все гарантии, обеспечивающие возмещение затрат,* даже требуют, чтобы *оружие было мне оплачено незамедлительно* на тот случай, если враги похитят его, *ведя войну против нашей торговли!* Но гарантии, о которых было договорено, состояли в *помещении денег на хранение у моего нотариуса.* При заключении договора вопрос о гарантиях был изъят из акта, в результате *сговора* против меня (вот здесь это слово уместно), который доказан, изъят *под предлогом нужды, испытываемой военным ведомством.* (Прочтите конец моего третьего этапа.)

Декрет (Преамбула).

«Что этот договор, отменяя договор от 3 апреля сего года, лишает французское правительство каких бы то ни было гарантий, которые могли бы обеспечить ему покупку и доставку оружия...»

Обвиняемый.

Здесь обнаруживается полное незнание фактов; случилось как раз обратное; ибо по первому договору на меня налагалась лишь пеня в пятьдесят тысяч франков, если в силу *препятствий,* возникших по моей вине, партия оружия не прибудет в срок, предписанный договором. И весь мой второй этап был потрачен на то, чтобы доказать *(с помощью документов, которые должны были быть переданы моему обвинителю министрами),* что тогдашние министры, Клавьер и Серван (Дюмурье был исключением), неизменно отказывали мне в малейшем содействии, чтобы добиться снятия эмбарго, наложенного Голландскими штатами на вывоз ружей, пренебрежительно предоставляя мне полную возможность делать с оружием что угодно! А весь мой третий этап достаточно подтверждает, что второй договор нисколько не лишил нацию гарантий, обеспечивающих *покупку и доставку в порт оружия.*

Трем объединенным комитетам, напротив, было доказано, что это оружие более трех месяцев тому назад куплено и оплачено мной для Франции.

Комитетам было доказано, что мне, как негоцианту, было бы чрезвычайно выгодно порвать апрельский договор, чтобы перепродать это оружие другим; что я, как добрый гражданин, не только не хотел этого, но, напротив, предоставлял все возможности *закрепить* этот договор, не поднимая цену на ружья и увеличивая гарантии.

Комитетам было доказано, что вместо пени в размере пятидесяти тысяч франков, предусмотренной договором от 3 апреля, каковая была недостаточно весома при такой крупной сделке, если даже и не принимать во внимание множество доказательств того, что *препятствия возникли* не по моей вине, я, отказываясь от огромных преимуществ, предлагаемых мне в Голландии, и выдвигая условия, которыми этот отказ закреплялся,— я соглашался на немедленную передачу своего права владения *(тут меня поймали на слове)* и тем самым давал нашему правительству все разумные гарантии, которые честь, патриотизм и полное бескорыстие могли предложить нации!

И вот сегодня я *изобличен, оскорблен, обвинен, дискредитирован, разорен* — и именно за то самое, *за что тогда был удостоен самых лестных похвал со стороны трех комитетов.* Нет, не вы сочинили этот *доклад,* гражданин *Лекуантр,* вы ведь порядочный человек.

Декрет (Преамбула).

«Что этот договор свидетельствует со всей очевидностью о намерении не только не поставить это оружие, но, напротив, заведомо зная, что оно не будет поставлено, воспользоваться договором как возможностью получения значительных и противозаконных доходов» и т. д.

Обвиняемый.

Разумеется, я *был бы уверен, что ружья не будут вам доставлены,* если бы я тогда мог предвидеть, что теперешние министры, пагубные для общественного блага, займут свои посты раньше, чем будет осуществлен договор! Но в этом случае я не подписал бы злосчастного июльского договора, даже если бы мне предложили на *миллион больше!*

Нет, они не прочли договора, который осуждают! Иначе как могли бы они утверждать, что он *свидетельствует со всей очевидностью о намерении не поставить оружие,* меж тем как там совершенно ясно сказано, что я передаю мое право владения на него и предлагаю вручить немедленно купленные и оплаченные ружья, требуя для неукоснительного *выполнения этого обязательства только залога,* уже данного *Дюмурье,* но не выплаченного *Огером и Грандом, нашими амстердамскими банкирами,* отказавшимися сделать *это для французской нации* (не было оскорбления, которого не нанесли бы нам в этой стране); *этот злосчастный залог, неизменно задерживаемый с тех пор* всеми нашими теперешними министрами, и был тем *мошенническим трюком,* которым они воспользовались, чтобы попытаться похитить у меня это оружие, прибегнув к *Константини,* к моему аресту, к моему бессмысленному путешествию,— все для того, чтобы продать вам ружья по цене, угодной им!.. *Если я не доказал этого, значит, я не доказал ничего в моей записке!*

Что касается доходов, которые Лекуантр именует незаконными и которые, как он утверждает, я *получил,* то мой третий этап как нельзя лучше доказал, что:

1. *Я вовсе не стремился получить их,* поскольку эти доходы не шли в сравнение с теми, которые я принес вам в жертву. Я не торговал своим гражданским долгом!

2. Вполне можно было избежать даже уплаты мне торгового процента, рассчитавшись со мной наличными, когда я передал право владения; я только говорил об этом и только этого просил, и не по моей воле расчет отсрочили до *конца войны,* которая может продлиться десять лет и разорить меня дотла; а теперь, *в довершение нелепости,* сочинители доклада гражданина *Лекуантра* приписывают мне эти доходы, из которых я не получил ни *единого* су и к которым отношусь почти с таким же презрением, как и к злобной глупости доносчиков.

Декрет (ст. 1).

«Сделка, которую заключил 3 апреля сего года... Пьер Грав... а также соглашение, подписанное 18 июля того же года между Бомарше, Лажаром и Шамбонасом, расторгаются» и т. д.

Обвиняемый.

Как! *Оба?* Однако между преамбулой и статьей 1 есть *явное противоречие:* вы расторгаете договор от 18 июля, так как он, говорите вы, *лишает правительство гарантий, обеспечивающих покупку и доставку оружия, содержавшихся в первом акте!* А этим гарантиям вы, очевидно, придаете большое значение! Но *почему же вы* в таком случае *расторгаете договор от 3 апреля,* который вам давал эти гарантии? Почему вас заставляют расторгнуть этот договор? Это вам неизвестно, гражданин! Сейчас я раскрою Вам секрет, который они от вас утаили. Дело в том, что они еще питают безумную надежду, прижав меня к стенке, заставить *уступить им это оружие за бесценок;* ибо теперь, когда я обвинен декретом (и, пуще того, возможно, убит), они уже не намерены дать по *семь флоринов восемь су за штуку.* Но, пусть я даже буду вынужден бросить это оружие в океан, им не видать ни одного ружья! Вас, конечно, попытаются избавить от всех этих идиотских противоречий второй статьей декрета, поскольку из первой ничего нельзя понять.

Декрет (ст. 2).

«Учитывая мошенничество и преступный сговор, проявившиеся как в сделке от 3 апреля, так и в соглашении от 18 июля... П.-О. К., именуемый Бомарше, предается суду».

Обвиняемый.

Следственно, если нет ни сговора, ни мошенничества, *декрет должен быть отменен!* По этому поводу я скажу лишь одно: почему же, упоминая о *сговоре* между тремя министрами и мной *(печальный факт, который выдуман ими или из которого вас злостно заставили исходить, хотя у вас и нет никаких доказательств, и вы решительно ничего об этом не знаете)*, вы забываете о трех объединенных комитетах, *дипломатическом, по военным делам и Комитете двенадцати?* Разве я не заявил вам, не доказал в моем *третьем этапе*, что эти комитеты были нашими *сообщниками* при заключении договора от 18 июля, и не только сообщниками, но и *повелителями*, более преступными, следственно, чем все остальные, если был преступен хоть один из нас? Почему же вы о них забываете? Или у вас две меры, два подхода?

Почему вы забываете, осуждая договор от 3 апреля, о *Комитете по военным делам той поры?* Вы располагаете доказательствами, что он был сообщником *Пьера Грава* (если даже вы сами и не были его членом)! Вот эти доказательства. Когда *Шабо* в своем доносе, столь же праведном, сколь правильном, обвинил меня в том, что в *подвалах моего дома*, как он утверждал, *находится пятьдесят тысяч ружей*, Лакруа, как вы хорошо помните, ответил: *«Нам известно, что́ это за ружья; нас в свое время поставили в известность о договоре; вот уже три месяца, как эти ружья поставлены правительству»*. Только это и спасло меня от разграбления и убийства!

Всё, таким образом, было тогда доложено Комитету по военным делам! Значит, этот комитет был тогда тоже в сообщничестве и в сговоре с *министром де Гравом* и со мной? И вы, однако, *забываете об этом, диктуя эти обвинения!* Это и непоследовательно, и неточно, и несправедливо! Значит, декрет составлен не вами! Вы куда сильнее во всем, что мне доводилось видеть! Либо у вас две меры, два подхода, *Лекуантр*!

Декрет (ст. 3).

«Пьер-Огюст Лажар... и Сципион Шамбонас... несли и несут вместе с Бомарше солидарную ответственность и подлежат личному задержанию за хищения, явившиеся следствием *вышеупомянутых договоров; они будут отвечать по соответствующим статьям» и т. д.*

Я уже ответил за них, я, которого повсюду называют адвокатом отсутствующих! И я желаю, чтобы ваши министры так же легко обелили себя от сговора и мошенничества *Константини,* как господа *де Грав, Лажар и Шамбонас* сняли с себя обвинение в сговоре со мной. Известие об этом доставит мне удовольствие.

И все же относительно этого пункта о хищениях, в которых вы, *Лекуантр,* столь сурово нас изобличаете, требуя, чтобы мы понесли солидарную ответственность и подверглись *личному задержанию,* мы — оба министра и я — не просим пощады, но благоволите нас, однако, осведомить, что это за хищения. Ибо, раз уж вы оповещаете о них *Национальный конвент,* они, по меньшей мере, должны быть вам известны, и вот тут-то вы и попались!

1. Я, однако, доказал вам, что не получил в военном ведомстве ничего, кроме *пятисот тысяч франков ассигнациями в апреле*; при обмене на голландские флорины, единственную валюту, которой я мог воспользоваться, они потеряли сорок два процента, что свело их менее чем к двумстам девяноста тысячам ливров; в обеспечение этих денег мною был дан залог в размере *семисот сорока пяти тысяч ливров в государственных контрактах, гарантированных вами же, как державой державе; таким образом, у вас еще остается моих двести сорок пять тысяч ливров сверх полученных мною пятисот тысяч ливров.* Пока я не вижу никакого расхищения вашей казны, в которой находится более десяти тысяч луидоров, принадлежащих мне, при том, что я вам ничего не должен. Следственно, вы объявили меня в декрете гнусным расхитителем не на основании этого факта.

2. Я доказал вам в моих трех последних *этапах,* что из всех статей договора от 18 июля, предусматривавших обязательства военного ведомства по отношению ко мне, ни одна не была выполнена! О каких хищениях может идти речь, если человек ничего не получил? Следственно, вы обвиняете меня и не на основании этого?

3. В этом договоре предусматривалось, что, поскольку я соглашаюсь на расчет за ружья, которые я уже оплатил наличными и которые немедленно передаю г-ну *де Мольду,* избранному для их приемки, *по окончании войны* (поистине львиное предложение) военное ведомство обязуется выплатить мне *сто тысяч флоринов* в счет своего долга. Меня мучают, я сопротив-

ляюсь. *Вошель* настаивает, министры давят на меня, я сдаюсь; меня осыпают похвалами!.. Мне не выплатили ни одного флорина! У кого же из нас двоих были похищены средства при этом пиратском натиске, у вас или у меня, скажите, пожалуйста? Следственно, я признан виновным и не на этом основании? Но поищем, может быть, в конце концов мы доищемся!

4. Добиваясь от меня отказа от помещения на *хранение* у моего нотариуса денег, причитающихся мне за оружие, как было постановлено *комитетами,* моими сообщниками, мне предлагают по тому же самому договору *двести тысяч флоринов наличными вместо* ста. Меня торопят, мне не дают подумать, не дают опомниться; несмотря на все мои протесты, проводят это в жизнь, переписав заново акт!.. Я не получил ни одного из этих двухсот тысяч флоринов! Кому же принесли ущерб *хищения,* вам или мне, потерявшему гарантии, не получив взамен никакой компенсации? Что скажете, гражданин *Лекуантр*? Следственно, и не об этом факте вы говорите в ваших нападках? И, однако, декрет против меня издан? Углубимся же в эту пещеру, освещаемую моим факелом.

5. Этот акт устанавливает, что взамен оплаты оружия, о *которой я просил,* мне помимо моего желания будет начислен торговый процент за четыре упущенных месяца! Меня превозносят за то, что я преодолел свое отвращение к подобному обороту дела. Я сдаюсь, я покоряюсь... Мне никогда и ничего не заплатили, хотя вы и заверяете в вашем обвинении, что я получил шестьдесят пять тысяч ливров в качестве этих процентов. Я тщетно выискиваю хищения, за которые мы должны подвергнуться личному задержанию и за которые, как вы говорите, я *должен* сейчас быть отдан под суд. *Я, напротив, вижу, что обманут, проведен, разорен, я, который* ничего и ни от кого не получил. Быть может, вы в *декрете* имеете в виду какой-то другой факт? Мы не обойдем ни одного.

6. Этот акт обещает мне возмещение всех моих расходов с момента, когда нация признáет себя владельцем оружия... Никогда я не получил ни одного су! И в этой части, как и во всех других, *хищения невелики,* однако *декрет против меня* как против *расхитителя* издан! Нет сомнения, что кто-нибудь наконец объяснит нам, какими хищениями обусловлен декрет, отмены которого я требую?

7. Этот акт безоговорочно обязывает министерство иностранных дел немедленно выдать мне, *согласно пожеланию, выраженному тремя объединенными комитетами, требуемый за-*

лог в размере пятидесяти тысяч имперских флоринов, без которого, как я заявил, бесполезно что-либо предпринимать. На это соглашаются, выражают готовность... Это никогда не было выполнено, потому что так удобнее было похитить у вас ружья! Даже рысий глаз не углядит здесь иных хищений, *кроме оскорбительного глумления министров надо мной, от которого я слишком долго страдал и венцом которого является этот декрет.* Значит, и не на этом факте основывается, сударь, *мое обвинение?*

8. Я показал вам, о граждане, с каким ожесточением нынешний Исполнительный совет *неизменно задерживал этот залог,* чтобы помешать мне довести дело до конца! Я показал вам, что таким способом они надеялись утомить меня, чтобы я уступил это оружие их человеку. Вот уже десять месяцев, как мои деньги вложены в это дело, на мои доходы наложен арест, в моем доме три стража, всевозможные оскорбления наносятся мне полицейским исполнителем. Друзья считают, что я пропал, можно умереть от стыда из-за всего этого, мое состояние расхищено! К счастью для *декрета,* еще далеко не все расследовано! Должны же, в конце концов, по моей вине быть растрачены какие-то деньги нации, раз уж меня приговаривают к личному задержанию, чтобы я вернул то, что взял?

9. Этот акт обязывает также г-на *Лаога,* моего друга и *отнюдь не генерал-майора,* что бы там ни писали *министр Паш* и его подчиненный, вручить г-ну де Мольду, в самом деле генерал-майору, все ружья, которые по этому акту становятся собственностью нации, которые оплачены *мною для нее* и за которые она со мной не рассчиталась, хотя в то время весьма торопилась их получить.

Я показал вам в четвертом этапе моих злоключений, при помощи какой дьявольской уловки нынешнее министерство помешало *Лаогу* выехать в *Гаагу,* выдумав распоряжение *Национального собрания,* которого никогда не существовало.

Я показал вам, как это министерство *своею властью* вынудило моего друга пробыть во Франции с 24 июня, когда он покинул Голландию, до 12 октября, когда он вернулся туда вместе со мною *(четыре потерянных месяца),* так и не получавшим денег из казны, не получившим залога и вынужденным пустить в ход свои последние запасы, чтобы иметь возможность выехать.

Я показал вам, как, воспользовавшись моим отсутствием, они издали против меня декрет, обвинив меня в *мнимых*

хищениях, которых нет и следа, если не говорить о том, что *расхищены мои собственные средства*; как они послали курьера, чтобы связать меня и прикончить по дороге в Париж, чтобы я не мог их изобличить! Не может же быть, чтобы *Лекуантр* считал меня виновным только на основании всех мытарств, которые меня заставили претерпеть. Скажем вслух то, что полностью доказано; *его гнусно провели,* вот в чем истинная разгадка.

10. В этом акте, наконец, воздавалась от имени трех объединенных комитетов высокая оценка моей *гражданской благонадежности и моему бескорыстию.* Впоследствии два других комитета, восхищенные моим терпением, удостоили меня еще бóльших похвал, заявив, за всеми подписями, что я *заслужил* благодарность нации; они же потребовали от министра *Лебрена, видевшего выданное ими свидетельство, чтобы он обеспечил мне все необходимое для немедленного отъезда с целью доставки ружей.* Этот министр дает им обещание, вводит меня — *или не вводит* — в заблуждение своими темными речами, своими ложными посулами: шесть недель он мне не пишет; и, наконец, присовокупляет к издевке своего глумливого письма в Голландию подлую жестокость доноса, сделанного, по его наущению, во Франции; и, желая уничтожить самые следы похвал, которые были мне даны, обращает эти похвалы в грубую брань! *Таким образом, я даже морально стал жертвой* хищений, и теперь я обвинен декретом, а министр гуляет на свободе!

Я исчерпал все обстоятельства дела и все статьи договора. Соблаговолите же теперь осведомить нас, *о Лекуантр, за какие хищения* мы, оба министра и я, должны ответить, подлежа личному задержанию? За какие хищения я обвинен, отдан под суд декретом? Почему все в моем доме опечатано, мое имущество конфисковано, моя жизнь в опасности и моя семья в отчаянии? А если вы не можете ответить, проявите справедливость,— *и я на это рассчитываю,*— просите вместе со мной *отмены ужасного декрета.* Значит ли это требовать от вас слишком многого? Узнаёте ли вы во мне старца, которого я сравнил с добряком *Ламот-Ударом?* Он простил грубое оскорбление, а я готов забыть пагубную ошибку. Но тот молодой человек свою вину исправил... *И вы исправите вашу.*

В результате всего этого *нация вот уже год как должна мне семьсот пятьдесят тысяч франков, а также проценты с них; я ей не должен ни одного су; я никогда не просил, не*

требовал и не получал ни от кого пятьсот тысяч франков неустойки, как имели наглость заставить вас заявить в вашем обвинении; не получал я и другой неустойки — за падение курса ассигнаций,— вас заставили сказать и это, чтобы вызвать против меня гнев Конвента и народа, в расчете, что он, вновь помутившись рассудком, меня наконец прикончит! А меж тем, сударь, из-за этих мнимых хищений, приснившихся нашим министрам, страдаю я; вот уже три месяца, как мой дом опечатан, мой кредит *расхищен,* моя семья рыдает, я сам пять раз едва ускользал от смерти, мое состояние полетело к черту, я отсидел в *Лондоне* в тюрьме, и все потому, что, заставив *Конвент* отказаться от моих ружей, заставив его заявить что *он больше о них и слышать не хочет,* и обрадовав этим, к нашему великому прискорбию, врагов Франции, *мудрые и последовательные министры,* которые задерживали оружие в Голландии и преднамеренно лишали вас этого оружия, *пока оно вам принадлежало,* о граждане законодатели, теперь, когда оно более вам не принадлежит, *в ту самую минуту, когда вас заставляют от него отказаться,* посылают отнять его военными средствами и, *что хуже всего,* делают это от вашего имени. В мировой истории, в истории министров, игравших роковую роль, не найдется примера столь наглых нарушений порядка, столь вызывающей издевки, столь глумливого злоупотребления министерской властью! Вот почему мои испуганные заимодавцы смотрели на меня как на человека погибшего, принесенного в жертву без стыда и совести, вот почему они арестовали меня за долги!

Я обхожу молчанием, о гражданин *Лекуантр,* ту более чем странную манеру оскорблять меня, на которую вас толкнули; вас, человека, как говорят, весьма гуманного; ни для кого не секрет, что *в устах обвинителя сильные ругательства — слабые доводы!*

Я не касаюсь *расхищения казны, к которому приводят все закупки, осуществляемые в Голландии любимчиками наших министров,* поскольку это не имеет прямого отношения к моему делу, так же как и вопрос о *фальшивомонетчиках,* сумевших, благодаря тем же самым министрам, выбраться из *амстердамской* тюрьмы, куда засадил их г-н *де Мольд*; причем деньгами на их арест ссудил этого посла, совершенно лишенного средств, я, а эти злоумышленники, крайне опасные для государства, не перестают с той поры делать свое дело, отравляя Францию фальшивыми ассигнациями и причиняя ей огромный урон. Эти министры виновны в том, что ни разу не откликнулись на

депеши нашего посла по этому вопросу; виновны в том, что ни разу не направили нарочного курьера с ответом ни по этому важному делу, ни по ряду других, затронутых в его письмах, если не считать чрезвычайного курьера, посланного *Лебреном* и получившего приказ загнать лошадей, но арестовать меня в Гааге, меня, предупредившего их, что я намерен вернуться в Париж и вынести наконец *перед Конвентом* на чистую воду их темные делишки! Я не скажу здесь больше ни слова об этом, потому что, когда меня станут допрашивать, пробьет час огласить факты, куда более доказанные, чем все те мерзости, которые они взвалили на меня.

Я подытоживаю эту пространную записку и вкратце повторю доводы в свое оправдание, которые уже хорошо известны.

В моем первом *«Этапе»* доказано, что *я купил это оружие вовсе не для того, чтобы перепродать его нашим врагам и попытаться отнять его у Франции,* как меня обвинили, но, напротив, потребовал от поставщика весьма высокой пени за продажу на сторону хотя бы одного ружья, с какой бы целью это ни было им сделано.

Что *я не только не пытался снабдить отечество недоброкачественным оружием,* но, напротив, принял все меры предосторожности, чтобы эти ружья были годными к употреблению, поскольку, купив их *оптом,* подверг впоследствии сортировке.

Что вы никогда не получали оружия ни из одной страны по *такой низкой цене*; что договор был заключен г-ном *де Гравом* в согласии и в соответствии с мнением *тогдашнего Комитета по военным делам и что я оставил в залог семьсот сорок пять тысяч ливров в денежных бумагах, которые давали мне девять процентов пожизненной ренты, также удержанных вами, вы же выдали мне пятьсот тысяч франков ассигнациями, потерявшими 42%, не платили никаких процентов и не вернули мне чистыми сто тысяч экю во флоринах.*

В моем втором *«Этапе»* доказано, что наши враги, проведавшие обо всем, благодаря *злокозненности канцелярий,* наложили в Голландии оскорбительное эмбарго на это оружие; что я всячески добивался от наших министров *(которые все выдавали себя за патриотов)* помощи, чтобы снять это эмбарго, и что все мои усилия были тщетными.

В моем третьем *«Этапе»* доказано, что, когда я потребовал наконец того или иного решения *от двух министров и трех комитетов,* что позволило бы мне продать мои ружья на сторону, *если в них, действительно, болев не нуждались,*— три объеди-

ненных комитета отвергли *сделанное мною предложение забрать назад мои ружья.*

Что они сами выдвинули статьи нового соглашения, закреплявшие это оружие за Францией; что они выразили мне бесконечную признательность за те огромные денежные жертвы, которые я охотно принес, чтобы добиться получения вами этого оружия, пойдя, вопреки собственным интересам, на все, что они сочли полезным для нации.

Что при выполнении договора *все его статьи были нарушены в ущерб мне*; что я вынес все это, не жалуясь, потому что речь шла о служении *нации,* интересы которой я ставлю выше своих собственных.

В моем четвертом *«Этапе»* слишком убедительно доказано, что, потеряв пять месяцев и изнурив восемь или десять министров, но так и не добившись никакой справедливости, *к великому горю для моей страны,* я наконец понял, что разгадка всего этого *в желании новых министров, чтобы мои ружья перешли в руки их компаньонов, которые перепродадут их нации по цене гораздо более высокой, чем моя,* и что мой отказ уступить ружья *этим господам* по семь флоринов восемь су за штуку *привел меня в Аббатство,* где мне повторили те же предложения, сопроводив их обещанием выручить меня из тюрьмы и снабдить прекрасным свидетельством, буде я соглашусь на их предложения в *Аббатстве,* где я, поскольку решительно отверг их, был бы убит 2 сентября, не получи я помощи, *не имеющей никакого отношения к министрам,* благодаря которой я вырвался из этого проклятого места и ускользнул от их смертоносных замыслов.

В моем пятом *«Этапе»* доказано, что *Лебрен, Клавьер* и прочие задержали во Франции г-на *Лаога,* моего представителя (на которого по договору была возложена передача ружей г-ну *де Мольду*), чтобы нельзя было покончить с этим делом, если я не *уступлю оружия* их привилегированному другу; что, разъяренный этими низкими интригами, я подал жалобу в *Национальное собрание,* которое отдало министру *Лебрену* приказ в двадцать четыре часа обеспечить мой отъезд, снабдив меня всем, что мне требовалось по договору, чтобы осуществить поставку оружия.

Что это министр *дал слово, обязался все выполнить;* что он заставил меня потерять еще восемь дней и уехать, так и не получив от него *ни денег, ни залога,* поверив его лукавым посулам, единственной целью которых было удалить меня из Франции, чтобы погубить окончательно, если я буду упорно

отказываться от предложений их покупщика, отправленного ими в Голландию, чтобы возобновить мне предложения через нашего посла, которого я призываю в свидетели.

В моем шестом *«Этапе»* доказано, что, когда я попросил г-на *де Мольда* выказать им все мое презрение к их предложениям, они, уверившись, что ничего не заработают ни на мне, ни на моих ружьях, донесли на меня, обвинили устами *Лекуантра в Национальном конвенте*; срочно направили в Голландию курьера, первого за все время пребывания там г-на *де Мольда,* чтобы арестовать меня; надеясь, что после обвинения *в переписке с Людовиком XVI,* которое было ими выдвинуто против меня в Париже, я не доберусь туда живым и их мерзкая интрига никогда не обнаружится; и что, наконец, после моей смерти они получат за бесценок от тех, кто переживет меня, мои ружья, чтобы перепродать их вам по одиннадцать или двенадцать флоринов, как они уже сделали или хотели сделать с отвратительными ружьями с *Гамбургских* укреплений, которые г-н *де Мольд* отказался купить по пять флоринов за штуку и которые я также отверг. Допросите г-на *де Мольда.*

К счастью, некое божество меня спасло! Я смог направить эту оправдательную записку и последовал за ней сам. Я принес новые жертвы, чтобы выбраться из *Лондонской* тюрьмы; и хотя я уже месяц не подлежал более изгнанию, тотчас выехал в Париж; я рискнул всем, чтобы быть там, поскольку моя оправдательная записка мне предшествовала; я сказал: «Теперь я уже не рискую быть обесчещенным, я удовлетворен. Если предательство меня погубит, это будет всего лишь несчастным случаем: подлая интрига разоблачена; *вот еще одно преступление, совершенное напрасно*».

О граждане законодатели! Я сдержу данное вам слово. Прочтите этот обзор событий и судите сами, являюсь ли я *предателем, мнимым гражданином, грабителем?* Если так, берите *без денег* мое оружие, я вручаю вам этот разорительный дар.

Если же вы, напротив, считаете, что я дал веские доказательства моих неустанных трудов, направленных к тому, чтобы вы получили это оружие *по цене добросовестного негоцианта,* если вы убедились в моих высоких гражданских чувствах, если полагаете, что истинные преступники — мои подлые обвинители, тогда окажите мне справедливость, и окажите ее, не откладывая. Вот уже год, как я мучаюсь и веду жизнь, достойную сострадания!

Я прошу у вас, граждане, отмены декрета, вырванного обманом. Прошу третьего свидетельства о гражданской благонадежности: ваши комитеты уже выдали мне два. Прошу передачи в суд дела о выплате мне проторей и убытков, причиненных моими преследователями!

Я не прошу никакого наказания гражданину *Лекуантру*. После возвращения во Францию я видел достаточно, чтобы убедиться, что лживая сущность и язвительная форма этого доклада не его рук дело. Встретившись со мной, он тотчас понял, что не следует обрисовывать человека, пока его не знаешь; что, позволяя кому-то водить своей рукой, рискуешь исказить облик. Я видел, как невыносимо он страдает от царящего у нас чудовищного беспорядка, от расхищения казны, допущенного нашими министрами, которые распределяли военные подряды, особенно за истекшую зиму. Я прочел ужасающий доклад, только что написанный и опубликованный им, по вопросу об этих разорительных тратах, способных пожрать республику; и меня теперь гораздо меньше удивляет, что, умело распаляя его патриотизм и обманув чудовищными россказнями, которые он не имел возможности проверить, его легко превратили в доверчивое эхо министерской лжи о деле с ружьями. Любовь к родине ввела его в заблуждение. Он явился, сам того не ведая, орудием мести злодеев, которым не приходило даже в голову, что, выбравшись из их ловушки, ускользнув от смертоносного клинка, я явлюсь, чтобы храбро сорвать с них маску *перед вами*.

Я подвергался притеснениям при старом режиме! Министры терзали меня; но их притеснения были детскими шалостями по сравнению с гнусностями нынешних!

Положим наконец перо; я нуждаюсь в отдыхе, да и читатель тоже. Я мучил его, утомлял... наводил скуку, последнее хуже всего. Но если он задумается о том, что эти мытарства одного гражданина, что этот кинжал, разящий меня, нависает над каждой головой и грозит и ему так же, как мне, он будет мне признателен за мужество, которое я употребил, чтобы гарантировать его от жребия, поразившего меня в самое сердце!

О моя отчизна, залитая слезами! О горемычные французы! Что толку в том, что вы повергли в прах бастилии, если на их развалинах отплясывают теперь бандиты, убивая нас всех? *Истинные друзья свободы!* Знайте, что главные наши палачи — распущенность и анархия. Поднимите голос вместе со мной, потребуйте з а к о н о в от депутатов, которые обязаны их дать нам, которых мы только для этого назвали *нашими представителями!* Заключим мир с Европой. Разве не был самым пре-

красным днем нашей славы тот, когда мы провозгласили мир всему миру? Укрепим порядок внутри страны. Сплотимся же наконец без споров, без бурь и, главное, если возможно, без преступлений. Ваши заповеди воплотятся в жизнь; и если народы увидят, что вы *счастливы благодаря* этим заповедям, это будет способствовать их распространению куда лучше, чем войны, убийства и опустошения. Но счастливы ли вы? Будем правдивы. Разве не кровью французов напоена наша земля? Отвечайте! Есть среди нас хоть один, которому не приходится лить слезы? *Мир, законы, конституция!* Без этих благ нет родины и, главное, нет свободы!

Французы! Горе нам, если мы решительно не возьмемся за это сейчас же; мне шестьдесят лет, я знаю людей на опыте и, уйдя от дел, доказал всем, что не лелею честолюбивых замыслов. Ни один человек на нашем континенте не сделал больше меня для освобождения Америки; судите сами, как дорога была мне свобода нашей Франции! Я позволил высказаться всем, я всё объяснил и больше не скажу ни слова. Но если вы еще колеблетесь, не решаясь избрать великодушную позицию, я с болью говорю вам, французы: недолго нам осталось быть свободными; первая нация мира станет, закованная в железы, позором, гнусным срамом нашего века и пугалом наций!

О мои сограждане! Вместо свирепых криков, делающих наших женщин столь отвратительными, я вложил в уста моей дочери «Salvam fac gentem» [1], и ее сладкий, мелодичный голос утишает ежевечерне наши страдания, читая эту краткую молитву:

Отврати, господи, пороки зла,
Что изрыгает на нас ад,
Спаси французов от самих себя —
И им не страшен будет враг.

Ваш согражданин, по-прежнему гонимый,

Карон Бомарше.

Моим судьям,
закончено в Париже, сего 6 марта 1793, 2-го года Республики.

---

[1] Спаси наш род *(лат.)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

«Севильский цирюльник» был первоначально написан в форме фарса-«парада», текст которого до нас не дошел.

В 1772 году Бомарше переделывает его в комическую оперу, используя музыкальные впечатления, полученные во время поездки в Испанию в 1764 году. В связи с отказом музыкального театра Итальянской комедии принять «Севильского цирюльника» к постановке Бомарше вновь переделывает пьесу — на этот раз в прозаическую комедию в четырех актах. «Севильский цирюльник» прошел цензуру, был разрешен начальником полиции де Сартином и 13 февраля 1773 года принят к постановке театром «Комеди Франсез». Премьера не состоялась из-за скандала с герцогом де Шоном, в результате чего Бомарше оказался в тюрьме Фор-л'Эвек. После того как популярность Бомарше, связанная с его мемуарами против советника Парижского парламента Гезмана, достигла апогея, театр добивается нового разрешения на постановку «Севильского цирюльника». После второго цензурного просмотра (5 февраля 1774 г. рукопись подписана цензором Арто) премьера назначается на 12 февраля. Однако, опасаясь намеков на пороки судопроизводства (этих намеков в данном варианте не было), правительство в последний момент, 10 февраля, запрещает спектакль. Приказано заклеить афиши.

В декабре 1774 года, вернувшись из Англии после удачного выполнения секретного поручения Людовика XVI, Бомарше добивается от короля разрешения на постановку комедии, вставляя в нее теперь все те намеки, которых прежде боялись, в том числе и знаменитую тираду Базиля о клевете (второе действие, явление седьмое). После того уже, как 31 января 1775 года текст четырехактной комедии был подписан цензором Кребийоном и начальником полиции Ленуаром, Бомарше дописывает пятое действие.

Премьера пятиактного «Севильского цирюльника» состоялась 23 февраля 1775 года и успеха не имела. Бомарше немедленно убрал все длинноты, усилил характеры, сделал энергичнее ритм за счет отсе-

чения одного акта. 26 февраля состоялась постановка «Севильского цирюльника» в новом варианте, на этот раз она прошла с огромным успехом. Этот последний текст и был опубликован 30 мая того же года в сопровождении «Сдержанного письма о провале и критике «Севильского цирюльника».

В 1781 году «Севильский цирюльник» был сыгран в Санкт-Петербурге на французском языке и, как писал автору актер французского театра Добкур, прошел с успехом более пятидесяти раз.

На русском языке «Севильский цирюльник» был показан в Москве в Петровском театре в 1782 году.

В 1782 году в Придворном театре была поставлена также комическая опера Паизелло «Севильский цирюльник, или Бесполезная предосторожность», текст ее в переводе М. В. Попова на итальянский и русский языки был опубликован в том же году в типографии Морского шляхетского кадетского корпуса.

Впоследствии «Севильский цирюльник» выходил в переводах А. Н. Чудинова (Орел, 1880), М. П. Садовского (Москва, 1884), А. А. Крыля (Москва, 1899). В. Э. Морица («Academia», М.—Л. 1934). Помещаемый в настоящем томе перевод Н. М. Любимова был впервые опубликован в 1954 году (Гослитиздат, М.). Для нашего издания текст пересмотрен переводчиком.

Первыми исполнителями ролей Фигаро и Альмавивы на русской сцене были С. Н. Сандунов и Я. Е. Шушерин. Комедия держалась в репертуаре Петровского театра до 1797 года. В XIX веке «Севильский цирюльник» ставился на сцене императорских театров и в Москве и в Петербурге. В нем играли крупнейшие русские актеры: П. С. Мочалов (Альмавива), М. С. Щепкин (Бартоло), В. В. Самойлов (Альмавива), В. Н. Давыдов (Фигаро), А. П. Ленский (Альмавива), К. А. Варламов (Бартоло), М. П. Садовский (Фигаро), В. Ф. Комиссаржевская (Розина).

Ставился «Севильский цирюльник» и в советское время.

Свою вторую — не менее блистательную — жизнь этот драматургический шедевр Бомарше обрел в одноименной опере Дж. Россини (1816). Опера прочно вошла в золотой фонд мировой музыкальной классики. На русской оперной сцене «Севильский цирюльник» был впервые поставлен в 1821 году (в Одессе, на итальянском языке). Первая постановка оперы на русском языке была осуществлена в Петербурге в 1822 году. В 1843 году на петербургской сцене выступила в партии Розины П. Виардо. Почетное место в истории оперного искусства занимает исполнение Ф. И. Шаляпиным партии Дона Базилио в «Севильском цирюльнике»; впервые эта роль была исполнена Шаляпиным в Тифлисе в театральном сезоне 1893/94 года. При постановке оперы в Москве (1913) партию Розины исполнила А. В. Неждановa, партию Дона Базилио — Ф. И. Шаляпин.

Стр. 33. *...труды Тиссо о воздержании...*— Андре Тиссо (1728—1797) — врач, автор трактатов «Здоровье литераторов» (1769) и «Эссе о заболеваниях светских людей» (1770).

...разверните буйонскую энциклопедическую газету...— Газета «Философское и литературное обозрение типографского общества в Буйоне» поместила отрицательный отзыв о «Севильском цирюльнике».

Стр. 34. *...когда один только жезл Моисея...*— По Библии, бог наделил Моисея чудотворной силой, чтобы тот мог убедить маловеров; Моисей мог превращать свой жезл в змея, по мановению этого жезла вода обращалась в кровь и т. д. *Посох Иакова.*— По Библии, Иаков перешел Иордан с одним только пастушеским посохом, а вернулся на родину богатым человеком.

Стр. 35. *...две печальные пьесы...*— Имеются в виду драмы Бомарше «Евгения» (1767) и «Два друга» (1770).

...со злополучными Мемуарами...— Имеются в виду четыре мемуара Бомарше против советника Гезмана, публиковавшиеся в 1773—1774 годах.

Стр. 38. *...поступил не так, как Кандид...*— Кандид — герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», в которой высмеивается учение о «предустановленной гармонии» и свободе воли.

Стр. 41. *«Великий Митридат»* (1673) — трагедия Расина.

Стр. 42. *Лука Гори́к* — знаменитый астролог XVI века, к чьим предсказаниям обращалась Екатерина Медичи и другие монархи той поры.

Стр. 44. *Кардинал де Ретц* Поль де Гонди (1613—1679) — политический деятель и писатель, один из вдохновителей фронды. Цитата взята из его «Мемуаров», однако приводится неточно.

Франсуа де Вандом герцог *де Бофор* (1616—1669) — внук Генриха IV, один из главарей фронды, прозванный за свою популярность «Королем рынка».

Стр. 49. *Д'Обиньяк* Франсуа, аббат (1604—1676) — теоретик французского классицизма, зафиксировавший в своей «Практике театра» (1675) правило трех единств.

Стр. 50. *«Во всем все равно не разберешься»* — комическая опера Седена, в ситуации которой много сходного с ситуацией «Севильского цирюльника».

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО

Первое упоминание о плане комедии содержится в «Сдержанном письме о провале и критике «Севильского цирюльника». Известно, что в начале 1776 года Бомарше уже читал «Безумный день» принцу де Конти.

Бомарше окончательно завершил работу над пьесой в 1778 году. Вскоре она становится широко известной, так как он мастерски читает ее в салонах. В первом варианте комедии дело происходит во Фран-

ции, в замке Фрэш-Фонтен. В тексте упоминается Бастилия, куда Фигаро попадает за дерзкие высказывания. Значительно сильнее, чем в окончательном варианте, акцентировано возмущение вассалов в финале.

В 1781 году Бомарше отдает «Женитьбу Фигаро» в театр «Комеди Франсез».

Пьеса получает цензурное разрешение (первый цензор «Женитьбы Фигаро» — адвокат Кокле де Шоспьер), однако постановка ее запрещена королем: как сообщает в своих «Мемуарах» госпожа де Кампан, придворная дама, читавшая комедию королевской чете, Людовик XVI, прослушав монолог Фигаро в пятом действии, возмущенно сказал: «Это отвратительно. Если быть последовательным, то, допустив постановку этой пьесы, следует разрушить Бастилию. Этот человек смеется надо всем, что следует почитать при известном образе правления». После чтения комедии Людовик XVI дал хранителю печати де Миромеснилю указание: «Цензор не должен дозволять ни постановки, ни опубликования пьесы». Новый цензор, третьеразрядный драматург Сюар не преминул выполнить королевское пожелание.

Бомарше переносит действие комедии в Испанию. Условность испанских декораций была всем понятна. Как заметил впоследствии К. С. Станиславский, работая над постановкой «Женитьбы Фигаро», «все отношения у Бомарше французские. Народ французский — народ у порога революции 1789 года. При чем тут Испания?»

После еще одного цензурного просмотра было дано разрешение на постановку «Женитьбы Фигаро» в дворцовом зале «Меню плезир», однако в последний момент король отменяет даже этот спектакль, предназначавшийся для узкого круга. Как пишет та же г-жа Кампан, «этот королевский запрет был всеми воспринят как посягательство на публичную свободу. Недовольство, подогреваемое обманутыми надеждами, достигло такого накала, что никогда еще до падения трона слова *угнетение* и *тирания* не произносились с подобной страстью и пылом».

Интерес к «Женитьбе Фигаро» таков, что аристократы во главе с графом де Водрей продолжают, в пику королю, добиваться постановки комедии. Очередной цензор—историк Гайяр—дает одобрительный отзыв. 27 сентября 1783 года комедия стала сенсационным событием придворного празднества, которое де Водрей давал в своем замке в Женевилье. После еще трех цензурных просмотров Бомарше наконец вырывает у короля разрешение на постановку пьесы в театре «Комеди Франсез».

Премьера, состоявшаяся 27 апреля 1784 года, является одним из самых памятных событий в истории французской сцены. Успех был триумфальным. В спектакле играли лучшие актеры труппы: Сенваль (графиня), Конта (Сюзанна), Оливье (Керубино), Моле (Альмавива), Дазенкур (Фигаро). Превиль, игравший Фигаро в «Севильском цирюльнике» и слишком старый, чтобы вновь исполнять эту роль, сыграл Бридуазона.

В годы революции «Женитьба Фигаро» игралась редко. Впоследствии, признанная произведением классическим, комедия почти не сходила со сцены французских театров, однако долгое время шла с купюрами. Так, при возобновлении пьесы в 1802 году, в период Консульства, были изъяты из монолога Фигаро в пятом действии слова о свободе печати. С теми же купюрами шла пьеса и в семидесятых годах XIX века, когда особенно остро ощущался ее революционный дух. Известный театральный критик тех лет Сарсей писал о «Женитьбе Фигаро» в октябре 1871 года, что буржуазная публика не смеется больше на представлении этой опасной пьесы, «смутный инстинкт подсказывает ей, что время смеяться над Фигаро и ему подобными миновало, ибо это они — творцы Коммуны».

О популярности «Женитьбы Фигаро» в наше время свидетельствует постановка этой пьесы крупнейшим современным режиссером Жаном Виларом в парижском Национальном народном театре (1956).

В России с «Женитьбой Фигаро» познакомились вскоре после ее создания. Екатерина II еще в ноябре 1781 года пожелала получить текст комедии. Весной 1782 года Бомарше прочел ее наследнику русского престола, будущему Павлу I, путешествовавшему по Европе под именем графа Северного (Дю Нор). В 1785 году «Женитьба Фигаро» была поставлена в Петербурге на сцене французского театра, а в 1787 году — в Петровском театре в Москве в русском переводе А. Ф. Лабзина. В том же году «Фигарова женидьба», сочинение Петра-Августина Карона де Бомарше, переведенная на российский язык А. Л., представленная первый раз на вольном Петровском театре в Москве, января 15 дня 1787 года иждивением переводившего», печатается в Университетской типографии Н. Новикова.

Комедия продержалась на московской сцене два года и успела пройти двенадцать раз. Как только начались революционные события во Франции, она была запрещена.

Возобновлена постановка была только четверть века спустя в Петербурге. С 1816 года «Женитьба Фигаро» идет с успехом в театрах Москвы и Петербурга до нового запрещения в тридцатые годы. Цензурное разрешение было дано снова в 1867 году (среди хлопотавших о нем был, кстати, И. А. Гончаров). В числе крупных актеров, исполнявших роль Фигаро на русской сцене, можно назвать С. В. Шумского, М. М. Петипа, А. И. Южина, К. А. Горин-Горяинова. В роли Альмавивы выступали П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин, М. С. Щепкин играл Бартоло, Антонио. Г. Н. Федотова, М. Г. Савина, А. Г. Коонен исполняли роль Сюзанны.

После Октябрьской революции «Женитьбу Фигаро» ставило множество театров. Для советских постановок характерно стремление раскрыть общественное содержание комедии.

Особо следует отметить постановку «Женитьбы Фигаро» в Московском Художественном театре в 1927 году. В этом замечательном спектакле, поставленном К. С. Станиславским (в декорациях художника

А. Я. Головина), были заняты Н. П. Баталов (Фигаро), О. Н. Андровская (Сюзанна), Ю. Н. Завадский (Альмавива), А. О. Степанова (графиня), А. М. Комиссаров (Керубино), М. М. Тарханов (Бридуазон), В. Д. Бендина (Фаншетта).

О неослабевающем интересе к шедевру Бомарше говорит и недавнее обращение к нему Московского театра сатиры (режиссер В. Плучек).

Всемирную славу приобрела опера В. Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786), написанная по пьесе Бомарше.

«Безумный день» выходил на русском языке в переводах Баркова (1829, журнал «Дело»), А. Н. Чудинова (СПб. 1889), А. А. Криля (Москва, 1899), И. С. Платона и Н. Н. Худолеева (Москва, 1909), В. Э. Морица («Academia», М.— Л. 1930). Перевод Н. М. Любимова, который публикуется в настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы» и для этого издания пересмотрен автором перевода, впервые был напечатан в 1954 году в однотомнике избранных произведений Бомарше (издательство Гослитиздат).

Стр. 120. *Попробуйте только сыграть теперь Расиновых «Сутяг», и вы непременно услышите, как Дандены...*— «Сутяги» (1668) — комедия Расина, высмеивающая допотопную процедуру французского судопроизводства, его крючкотворство и сутяжничество; Данден — герой комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668), спесивый буржуа, который горько расплачивается за то, что женился на аристократке.

...Попробуйте только написать теперь «Тюркаре»...— «Тюркаре» (1709) — комедия Лесажа, высмеивающая откупщиков и финансистов.

Стр. 121. *...заговоры, захват власти, убийство, отравление и кровосмешение в «Эдипе» и «Федре», братоубийство в «Вандоме», отцеубийство в «Магомете», цареубийство в «Макбете»...*— «Эдип».— Имеется в виду трагедия Корнеля (1659) или Вольтера (1718); «Федра» — трагедия Расина (1677); «Вандом».— Имеется в виду трагедия Вольтера «Аделаида Дюгеклен» (1734); «Фанатизм, или Магомет-пророк» (1742) — трагедия Вольтера, «Макбет» (1603) — трагедия Шекспира.

Стр. 122. *...строгий Буало...*— Никола Буало-Депрео (1636—1711) — поэт и критик. «Поэтическое искусство» Буало было сводом правил классицизма и мерилом хорошего литературного вкуса.

Стр. 123. *Гераклит, Демокрит* — прославленные древнегреческие философы. Гераклит (ок. 576 — ок. 480 гг. до н. э.) родился в Эфесе, Демокрит (460 — ок. 350 гг. до н. э.) родился в Абдере (Фракия).

Стр. 125. *...из зала «Бычий глаз»...*— «Бычий глаз» — вестибюль перед королевской опочивальней в Версальском дворце, где придворные ожидали короля; получил свое название от формы окон.

Стр. 126. *Реньяр* Жан-Франсуа (1655—1709) — автор многочисленных комедий, мастер интриги. В «Единственном наследнике» действие

строится на борьбе за наследство глупого и скупого старика. Большую роль в этой пьесе играют продувной слуга и служанка, заботящиеся не столько об интересах своего господина, сколько о своих собственных.

Стр. 128. *Гюден* де ля Бренеллери Поль-Филип (1738—1812) — автор многотомной истории Франции и других сочинений в стихах и прозе, ныне совершенно забытых. Ближайший друг Бомарше, оставивший его подробное жизнеописание и издавший его сочинения.

Стр. 131. *«К счастью»* — одноактная комедия в стихах Рошона де Шабана; была представлена 29 ноября 1762 года труппой «Комеди Франсез» и в том же году опубликована.

Стр. 143. *...обучаться к философу Бабуку...*—Бабук—герой философской повести Вольтера «Мир как он есть, или Видение Бабука» (1748), в которой рассматривается вопрос о соотношении зла и добра в мироздании.

Стр. 148. *...принадлежащем перу одного почтенного человека...*— Имеется в виду Жан-Батист Сюар (1733—1817), французский критик и журналист, член Французской Академии, единственный из шести цензоров «Женитьбы Фигаро» давший отрицательный о ней отзыв. После постановки комедии вел против нее кампанию в «Журналь де Пари».

Стр. 157. *...Пусть нет любви — зачем же ненавидеть?..*— цитата из комедии Вольтера «Нанина, или Побежденный предрассудок» (1749).

Стр. 167. *...отменили одно ненавистное право...*— По феодальному праву «первой ночи» сеньор имел право после свадьбы своего вассала провести первую ночь с новобрачной.

Стр. 177. *Ванлоо* Шарль-Андре (1705—1765) — известный французский живописец.

Стр. 204. *«А мне милей моя красотка»...*— Эту песенку поет Альцест, герой комедии Мольера «Мизантроп» (действие первое, явление второе).

Стр. 211. *...будто это они сочинили «Речь в защиту Мурены»...*— Имеется в виду знаменитая речь римского политического деятеля Цицерона (I в. до н. э.), после которой суд оправдал консула Луция Лициния Мурену, обвиненного в подкупе.

Стр. 227. *...вспомните Панургово стадо.*— Панург, герой романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», в отместку купцу, запросившему непомерную цену за барана, бросает купленного им барана за борт корабля, на котором купец перевозит стадо; все стадо бросается вслед за блеющим бараном и гибнет в волнах (кн. IV, гл. VIII).

ПРЕСТУПНАЯ МАТЬ, ИЛИ ВТОРОЙ ТАРТЮФ

«Преступная мать, или Второй Тартюф», третья часть трилогии, была задумана еще в начале восьмидесятых годов. В 1784 году Бомарше упоминает в письме к барону де Бретей о том, что работает над пьесой,

«которая заставит пролить слезы всех чувствительных женщин». В том же письме он говорит, что задуманная им пьеса будет отличаться «самой суровой моралью» и «бичевать пороки» современников.

Закончена «Преступная мать» была в январе 1791 года и в феврале того же года принята к постановке театром «Комеди Франсез». Однако вскоре театр отказался от постановки вследствие конфликта с автором (отчасти потому, что Бомарше, как создатель и руководитель Общества драматургов, требовал от театра справедливого вознаграждения авторам пьес и добился от Национального собрания соответствующего декрета).

Премьера «Преступной матери» состоялась 6 июня 1792 года в театре Марэ, который был создан при деятельном участии Бомарше. Успеха пьеса не имела и шла очень недолго: состоялось пятнадцать представлений, последнее — 5 августа того же года. В разгар революции «образумившийся» Фигаро был столь же чужд публике, сколь несимпатичен ей был автор, богач весьма умеренных взглядов, подозреваемый в спекуляции.

В мае 1797 года «Преступная мать» была поставлена в «Комеди Франсез», имела успех и в том же году была опубликована. Оставалась она в репертуаре этого театра до 1850 года.

В России впервые опубликована в 1885 году под названием «В своих сетях, или Преступная мать», в переводе М. А. Ашеберга. Впоследствии выходила в переводах А. А. Криля (Москва, 1899) и В. Э. Морица («Academia», М.— Л. 1930). Перевод Н. М. Любимова, вместе с двумя первыми частями трилогии, был впервые опубликован в 1954 году (Гослитиздат, М.).

БОМАРШЕ — ЛЕКУАНТРУ, СВОЕМУ ОБВИНИТЕЛЮ

Записка Бомарше «Шесть этапов девяти самых тягостных месяцев моей жизни», адресованная члену Конвента Лекуантру, по докладу которого Конвентом был вынесен обвинительный декрет против Бомарше, и являющаяся по своему жанру логическим завершением его четырех «мемуаров» против Гезмана, была опубликована в начале 1793 года. Бомарше выражал в ней желание выступить перед Конвентом лично и оправдать свои действия.

В марте 1793 года Конвент согласился выслушать Бомарше, отсрочив исполнение обвинительного декрета на шестьдесят дней. Бомарше предстал перед Комитетом общественного спасения и доказал свою невиновность. Комитет принял решение вновь направить Бомарше за границу с секретной миссией, чтобы добиться отправки ружей. Он был облечен званием комиссара республики. Ему было выдано шестьсот тысяч франков в ассигнациях и обещано, что залог в размере восьмисот тысяч флоринов будет вручен ему в Швейцарии. Переговоры с Ко-

митетом общественного спасения тянулись до 28 июня 1793 года, когда Бомарше под именем Пьера Шарона смог наконец выехать в Базель. Между тем, еще будучи в Лондоне, Бомарше, узнав об объявлении Англией и Голландией войны Франции (1 февраля 1793 г.) и опасаясь, что ружья могут быть конфискованы Голландскими штатами как собственность француза, фиктивно продал их англичанину, обусловив специальным актом, что в течение двух месяцев имеет право выкупить их.

Прибыв в Базель, Бомарше не нашел там обещанного залога. Не получая никаких ответов на свои письма в Комитет общественного спасения, Бомарше выехал в Лондон. Между тем он вновь был внесен в списки эмигрантов, его имущество опечатано. Вскоре были арестованы его жена, дочь и сестра. Положение лица, облеченного миссией Комитета общественного спасения, делало весьма сложным пребывание Бомарше в Лондоне. Ему было приказано в течение трех суток выехать из английской столицы под угрозой ареста. Несмотря на эту угрозу, Бомарше оставался в Лондоне. Английский негоциант, которому были фиктивно проданы ружья, не соглашался расторгнуть сделку, мотивируя это тем, что два месяца, указанные в акте, давно истекли и тем самым продажа ему ружей обрела окончательную силу. Бомарше мог получить с него деньги и таким образом поправить свое финансовое положение, однако, помня, до какой степени нуждается в оружии Франция, и опасаясь, как бы ружья не были переправлены на остров Гернсей, а оттуда в Вандею, восставшую против Республики, он, принеся новые финансовые жертвы, добился возвращения ему ружей и произвел новую фиктивную их перепродажу, на этот раз американцу.

Голландцы не снимали эмбарго, поскольку они не получили залога. Вновь перебравшись в Базель, Бомарше тщетно добивается от Комитета общественного спасения какой-либо помощи. После победы Пишегрю при Флерюсе (25 июня 1794 г.) и его продвижения к голландским границам осенью 1794 года Бомарше призывает Комитет общественного спасения оказать давление на голландцев и пригрозить им, что Пишегрю перейдет границу и силой заберет оружие. Не получив ответа, Бомарше едет в Голландию, где после 9 термидора пытается договориться с голландским правительством. Однако в это время Лекуантр вновь выступает с трибуны Конвента против Бомарше, объявляя его агентом Робеспьера, удравшим с казенными деньгами за границу из боязни преследований за свои политические убеждения. Узнав об этих обвинениях, голландское правительство прерывает переговоры с Бомарше, французские эмигранты третируют его как агента якобинцев.

Вынужденный перебраться в Гамбург, Бомарше живет там в полной нищете, но отвергает очередное предложение купить у него ружья, исходящее на этот раз от английского правительства. Тогда Питт отдает распоряжение о перевозке ружей, формально принадлежащих амери-

канскому гражданину, из Тервера в Питсбург. Ружья оказываются окончательно потерянными для Франции и для Бомарше.

Шестого июля 1796 года Бомарше, вычеркнутый в результате долгих хлопот жены из списков эмигрантов, возвращается в Париж.

Стр. 333. *Ламот-Удар* Антуан де (1672—1731) — поэт, переводчик «Илиады» Гомера на французский язык, теоретик литературы, автор нескольких трагедий.

Стр. 334. *Де Грав* Пьер-Мари, маркиз (1755—1823) — генерал, литератор, военный министр с 9 марта по 8 мая 1792 года. Эмигрировал, когда против него были выдвинуты обвинения; впоследствии вернулся, служил в армии Наполеона. Людовик XVIII присвоил ему титул пэра Франции.

Лакост де, барон (1730—1820) — министр морского флота с 16 марта по 10 июля 1792 года, впоследствии бонапартист.

Дюмурье Шарль-Франсуа (1739—1823) — французский генерал и политический деятель, честолюбивый авантюрист, министр иностранных дел в первом жирондистском правительстве в марте 1792 года, впоследствии военный министр. После революции 10 августа 1792 года главнокомандующий центральной армией, в апреле 1793 года перебежал на сторону австрийцев. С 1804 года жил в Англии на пенсию английского правительства.

Серван де Жербэ Жозеф (1741—1808) — кадровый офицер французской армии. Сотрудничал в «Энциклопедии». Опубликовал работы «Солдат-гражданин» (1781) и «Проект конституции для армии» (1790). Заменил де Грава на посту военного министра. Инициатор создания лагеря федератов под Парижем. Находился под арестом как жирондист (1793—1795). Впоследствии командовал армией в Западных Пиренеях.

Клавьер Этьен (1735—1793) — женевский негоциант, вынужденный в 1782 году эмигрировать из Швейцарии после аристократического переворота. В Париже занимался финансовой деятельностью. Редактор «Кроник дю муа», ежемесячного философского и литературного журнала. После революции член Якобинского клуба, депутат Парижа в Законодательном собрании. Министр финансов в первом жирондистском министерстве, сформированном королем (23 марта 1792 г.). Один из инициаторов выпуска ассигнаций. Уволенный королем в отставку, после падения трона вновь стал членом Временного исполнительного совета. Друг Ролана и Бриссо. Арестован 2 июня 1793 года. Покончил с собой 19 брюмера II года, выслушав обвинительный акт.

Лажар Пьер-Огюст (1757—1837) — французский генерал, военный министр с 6 июня по 24 июля 1792 года. После революции 10 августа эмигрировал. При Наполеоне исполнял судебные должности.

Шамбонас Виктор Сципион-Луи-Жозеф де ла Гард, маркиз (точные даты жизни неизвестны) — генерал и политический деятель. В 1789 году — мэр Парижа. В 1791 году — генерал-майор, командующий Нацио-

нальной гвардией Парижа и Парижского департамента. С 16 июня 1792 года — министр иностранных дел. Остался предан королю и после революции 10 августа эмигрировал в Англию.

Д'Абанкур Шарль-Ксавье-Жозеф де Франквиль (1758—1792) — министр Людовика XVI, защищал Тюильрийский дворец, отказался, несмотря на требование Законодательного собрания, вывести из него швейцарцев, арестован и убит в тюрьме в Версале 9 июля 1792 года.

Дюбушаж де Грате Франсуа-Жозеф, виконт (1749—1821) — кадровый офицер французской армии, артиллерист, был назначен на пост морского министра 21 июля 1792 года. Роялист. После августовских событий того же года бежал из Франции, вернулся при Директории. Приветствовал реставрацию Бурбонов и после «Ста дней» был вновь назначен морским министром. Ушел в отставку в 1816 году.

Биго де *Сент-Круа* Клод-Луи (1744—1803) — французский дипломат, на пост министра иностранных дел был назначен 1 августа 1792 года, пробыл на этом посту десять дней, впоследствии рассказал об этом в мемуарах «История заговора 10 августа 1792 года». В ночь с 9 на 10 августа был во дворце, сопровождал короля в Законодательное собрание. Вскоре эмигрировал в Англию, где жил до конца своих дней.

Лебрен-Тондю Пьер-Анри (1763—1793) — священник, потом солдат. Основал в Льеже «Журналь женераль де л'Эроп» (1758—1792), в котором сотрудничали жирондисты. Управляющий делами министерства иностранных дел (1791), затем министр. Арестован вместе с другими жирондистами 2 июня 1793 года, бежал, был пойман и гильотинирован.

Паш Жан-Никола (1746—1823) — сотрудник Ролана и Сервана. С октября 1792 года — военный министр. Монтаньяр и противник Дюмурье. Мэр Парижа с февраля 1793 по май 1794 года. Сочувствовал эбертистам, но вовремя от них отмежевался (март 1794 г.). Был арестован; освобожден по всеобщей амнистии 1795 года.

Стр. 335. *...во время последних волнений в Брабанте...* — В начале 1789 года в Бельгии началось восстание против австрийского господства, так называемая Брабантская революция. Императорские войска были изгнаны, 11 января 1790 года провозглашена независимость Соединенных штатов Бельгии. В 1791 году австрийский император Леопольд II (1790—1792) восстановил свою власть в стране.

Стр. 336. *Нарбон* Луи-Мари-Жак-Амальрик де, граф (1755—1813) — генерал-майор, заменил на посту военного министра Дюпортая в декабре 1791 года, отставлен королем в марте 1792 года, эмигрировал в августе 1792 года. Впоследствии бонапартист.

...мой кельский типограф... — После смерти Вольтера Бомарше предпринял издание полного собрания сочинений Вольтера и арендовал для этого у маркграфа Баденского старый форт в Келе, неподалеку от французской границы, где и устроил типографию.

Стр. 340. *Я дам по двадцать два ливра в ассигнациях...*— Ассигнации, то есть свидетельства на получение денег, были выпущены после революции. Курс этих бумажных денег был принудительным. Их покупная цена не соответствовала номинальной и непрерывно падала в связи с тем, что количество выпускаемых ассигнаций превышало действительную стоимость обеспечивающего их национального имущества (не говоря уже о фальшивых ассигнациях, которыми наводнили страну враги революции). В 1791 году курс был 90%, к концу 1792 года—63%, в 1793 году—45%.

Стр. 344. *...мои облигации «тридцати женевских голов»...*— Имеются в виду облигации займа, именовавшегося «тридцать женевских голов» или «тридцать женевских грамот», гарантированного городом Парижем и дававшего пожизненную ренту.

Стр. 347. *...война... была объявлена 20 апреля...*— 20 апреля 1792 года Франция объявила войну Австрии.

Стр. 351. *Вбронам милостив суд...*— Цитата из сатиры Ювенала, стих 63 (перевод Н. Недовича и Ф. Петровского).

Стр. 364. *Шабо* Франсуа (1757—1794) — в прошлом францисканец, занимал в Законодательном собрании крайне левые позиции, разоблачал «австрийский комитет». Впоследствии член Конвента, дантонист. Арестован за спекуляции и подделку декрета Конвента о запрещении Вест-Индской компании. Казнен вместе с Дантоном 5 апреля 1794 г.

Стр. 376. *Калонн* Шарль-Александр де (1734—1802) — видный государственный деятель. С 1783 года — генеральный контролер финансов Франции. При нем французский дефицит достиг суммы в сто двенадцать миллионов. В 1787 году был лишен должности и сослан в Лотарингию, откуда эмигрировал в Англию. В эпоху революции — один из самых активных роялистов. Вернулся во Францию в 1802 году.

Стр. 385. *11 июля 1792 года...*— В этот день, в связи с успешным наступлением вражеской коалиции, Национальное собрание объявило «отечество в опасности».

Стр. 390. *...окажется прав некий великий газетчик...*— Имеется в виду Лебрен (см. прим. к стр. 334).

Стр. 403. *Бонн-Каррер* Гийом де (1754—1825) — политический деятель, близкий Дюмурье. В 1793 году арестован, освобожден после 9 термидора. При Директории выполнял дипломатические поручения.

Стр. 404. *...в момент, когда враг вступил во Францию...*— 25 июля 1792 года герцог Брауншвейгский, командующий австрийской и прусской армиями, обратился с манифестом к жителям Франции, объявляя, что военные действия коалиции ставят перед собой цель «прекратить анархию внутри Франции, покончить с нападками на трон и алтарь, восстановить законную власть, возвратить королю безопасность и свободу». В начале августа войска коалиции перешли границу Франции, 23 августа они без боя взяли Лонгви и осадили Верден, который пал 2 сентября.

В ужасный день 10 августа...— 10 августа 1792 года Тюильрийский дворец был взят народом. Король искал спасения в Законодательном собрании, которое приняло декрет об отрешении Людовика XVI от власти и объявлении его и королевской семьи заложниками. Было решено созвать Национальный конвент. Исполнительная власть была вручена Временному исполнительному комитету, куда вошли недавно уволенные королем министры Ролан, Клавьер и Серван, а также Монж и Лебрен. Во главе Совета встал Дантон.

Стр. 423. *Марат* Жан-Поль (1743—1793) — врач и ученый, редактор газеты «Друг народа» (с сентября 1789 г.), вождь демократического крыла революции, неустанно разоблачавший контрреволюционные планы правых. Убит Шарлоттой Корде.

Стр. 424. *Петион* де Вильнев Жером (1756—1794) — французский политический деятель, адвокат, был депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, с ноября 1791 года — мэр Парижа, впоследствии один из председателей Конвента. Член первого Комитета общественного спасения. Был обвинен в сообщничестве с Дюмурье, включен в проскрипционные списки 2 июня 1793 года, покончил самоубийством.

Стр. 429. *Манюэль* Жак-Антуан (1751—1793) — генеральный прокурор Парижской коммуны. Активно подготовлял революцию 10 августа. Член Конвента. Выступил против казни короля; был арестован и казнен в августе 1793 года.

Стр. 436. *Все кабинеты были пусты...*— 2—5 сентября 1792 года напряженная обстановка в стране вызвала взрыв стихийного террора, обращенного против аристократов и лиц, подозреваемых в измене. Были перебиты почти все заключенные в парижских тюрьмах.

Стр. 447. *...забудьте наши давние распри.*— Клавьер (см. прим. к стр. 334) был одним из банкиров, заинтересованных в падении акций организованной Бомарше в 1784 году компании по водоснабжению Парижа (в основу деятельности компании был положен проект братьев Перье, предложивших установить водокачку на холме Шайо). Клавьер вместе с банкиром Паншо заказал графу Рикетти де Мирабо, в будущем известному политическому деятелю, написать брошюру против Бомарше.

Стр. 452. *Дантон* Жорж-Жак (1759—1794) — один из вождей революции, «величайший мастер революционной тактики», по оценке В. И. Ленина. Возглавлял Временный исполнительный комитет до 21 сентября 1792 года, когда вышел из него в связи с открытием Конвента (члены Конвента не имели права занимать министерские должности). Член Комитета общественного спасения. Пытался примирить монтаньяров и жирондистов. Арестован 30 марта 1794 года по обвинению в контрреволюции и 5 апреля гильотинирован.

...смех Тизифоны исказил этот небесный лик.— Тизифона — одна из эриний (греч. миф.).

Стр. 456. *...быть разорванным на куски вакханками, подобно Орфею...*— По греческим мифам, Орфей, сын музы Каллиопы, своим пением зачаровывал диких зверей; он был растерзан вакханками за то, что после смерти Эвридики отворачивался от женщин. Бомарше имеет в виду парижанок, проявлявших особую нетерпимость ко всем подозреваемым в измене делу революции.

Стр. 473. *«При первом известии о наших успехах...»* — В сентябре 1792 года войска Французской республики под руководством Дюмурье и Келлермана остановили наступление противника и 20 сентября одержали решающую победу при Вальми. Значение этой победы понял Гете, находившийся при армии герцога Брауншвейгского; он сказал: «С этого дня и с этого места начинается новая история мира».

Стр. 478. *...известия об армии Клерфе...*— Франсуа-Себастьян-Карл-Иосиф Клерфе де Круа (1733—1798) — австрийский фельдмаршал. В 1792 году командовал австрийским вспомогательным корпусом в армии герцога Брауншвейгского. В октябре — ноябре его армия терпела поражение за поражением. 6 ноября Дюмурье одержал крупную победу над австрийцами при Жемаппе. Французы заняли Бельгию.

Оно уже послужило волонтерам во время последней попытки голландских патриотов совершить революцию...— В 1785 году партия голландских «патриотов», выражая интересы демократической части буржуазии, подняла восстание против штатгальтера и изгнала его из Нидерландов. Однако в 1787 году его власть была восстановлена с помощью английской и прусской военной интервенции.

Стр. 484. *...препятствия, которые И. В. П. поставили вывозу моего оружия.*— И. В. П.— сокращенное Их высочества пенсионарии; так именовались «высокомощные господа», депутаты провинциальных штатов, составлявшие Генеральные штаты Голландии. Во главе их стоял Великий пенсионарий совета.

Стр. 496. *...назвал кобеля Тизбой, а суку Пирамом...*— Античное сказание, увековеченное в одной из «Метаморфоз» Овидия, рассказывает о трагической любви девушки Тизбы и юноши Пирама.

Стр. 501. *Гурон* — герой философской повести Вольтера «Гурон, или Простак»; будучи воспитан среди дикарей, он проявляет необычайную непосредственность и наивность, попадая из-за этого в нелепейшие ситуации. Символ естественного ума, не испорченного цивилизацией.

Стр. 509. *Гарат* Доминик-Жозеф (1749—1833) — депутат Генеральных штатов, с октября 1792 года — министр юстиции, затем министр внутренних дел. Был обвинен в модерантизме и расхищениях, оправдался с помощью Робеспьера, которого предал 9 термидора. Впоследствии бонапартист.

Л. Зонина

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Зонина. Жизнь и похождения Пьера-Огюстена Карона де Бомарше 5

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ. *Перевод Н. Любимова* 33

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО. *Перевод Н. Любимова* 119

ПРЕСТУПНАЯ МАТЬ, ИЛИ ВТОРОЙ ТАРТЮФ. *Перевод Н. Любимова* 261

БОМАРШЕ—ЛЕКУАНТРУ, СВОЕМУ ОБВИНИТЕЛЮ. ШЕСТЬ ЭТАПОВ ДЕВЯТИ САМЫХ ТЯГОСТНЫХ МЕСЯЦЕВ МОЕЙ ЖИЗНИ. *Перевод Л. Зониной* 333

Примечания *Л. Зониной* 529

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 48

Бомарше

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
МЕМУАРЫ

*

Редактор М. Ваксмахер
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Н. Шкарбанова и Д. Эткина

*

Сдано в набор 26/II 1971 г. Подписано к печати 6/VII 1971 г. Бумага типогр. № 1, формат 60 × 84¹/₁₆. 34 печ. л. 31,72 усл. печ. л. 31,406 + 6 накид. + 1 вкл. = 32,186 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1874.
Цена 1 р. 67 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28